

Американец в ГУЛАГе

Автобиографическая повесть. Александр Долган (Alexander Dolgun) в соавторстве с Патриком Уотсоном (Patrick Watson).

Первые опубликовано в издательстве Ballantine Books, Нью-Йорк, 1975 г.

Посвящается Патрисии Блэйк, ставшей моим близким другом с момента моего возвращения в США и моей путеводной звездой в написании этой книги.

“За тех, кто в море”...

Предисловие переводчика

Эта замечательная книга случайно попала мне давным-давно в какой-то школьной библиотеке в Канаде. Она никогда не была переведена на русский. В то время я начал читать ее запоем и не мог остановиться. С тех пор перечитал несколько раз, рассказывал фрагменты друзьям, оставлял ссылки на английский вариант. Не было человека пока, которого прочтение этой книги оставило бы равнодушным. Кто-то скажет - "А... Это ГУЛАГовская тематика... Ничего нового, по ней уже сотни книг есть, да и то время давно ушло, это не актуально и не интересно..." Конечно, универсальных книг и тем нет, но что касается этой книги - она выделяется на фоне всего сказанного и написанного. Почему?

Это не о ГУЛАГе как таковом (хотя он описан в мельчайших подробностях - у автора феноменальная память, и он восстанавливает все детали своего "путешествия в Ад" с потрясающей правдивостью и точностью в самых мелких деталях). Эта книга - о человеке. Александре Долгане (Alexander Dolgun). Человеке потрясающего жизнелюбия, стойкости и оптимизма. Единственном из тех, кого знал Солженицын как прошедшего через самую страшную тюрьму сталинщины - Сухановку - и вышедшем оттуда с неповрежденным рассудком (причем он был там дважды!). Герой этой книги - молодой человек (на день ареста ему было всего 22 года) - успешный в карьере, любящий жизнь, девушек, веселое времяпрепровождение. Этот человек – не советского покроя, он - американец, исповедующий западные ценности и образ жизни. По своим взглядам, образу жизни и мышления, это – наш современник, типичный молодой человек нашего времени, только без мобильного в кармане. В рассказанной им автобиографической истории есть и веселые приключения, и поездки на машине с девушкой по Москве, и увлечения, вполне понятные и близкие любому молодому человеку наших дней (бодибилдинг, военные корабли, приключенческие кинофильмы и детективные истории)... Поэтому рассказ Алекса о пережитом - это словно современное "кино 3D", погружающее нас, сегодняшних, в наше же прошлое - где "лица, имена, запахи и звуки" приходят к нам "с потрясающей ясностью – словно старые знакомые, которых вы не видели очень-очень давно – и вот они снова стоят на пороге вашего дома".

К сожалению, эта книга, в том числе, не только о нашем прошлом, но и о настоящем. В рассказе Алекса о подавляющей любви проявления свободы личности системе государства, о жуткой машине госбезопасности, перемалывающей человеческие судьбы, мы узнаем современную нам Россию, в которой вновь запущен и скрипит шестеренками старый знакомый ГУЛАГовский механизм - пусть пока не в тех же масштабах, но не изменивший ни своей сути, ни методов "работы". Как написал в предисловии к своей книге Алекс Долган, "спускаться назад в преисподнюю в своих воспоминаниях с целью написать эту книгу не было для меня таким уж радостным занятием. Это путешествие

стало для меня актом катарсиса и исполнения долга перед теми, кто все еще находится в преисподней". Не будем и мы забывать, читая эту книгу, что сегодня в российских тюрьмах и лагерях томятся тысячи ни в чем неповинных людей, закатанных в бетон катком современного российского ГУЛАГа, а методы следствия и условия отбывания наказания изменились совсем не сильно...

Несмотря на тяжелый и подчас страшный материал, это очень оптимистичная и светлая книга. Она – о величии человеческого духа, способного преодолеть самые немыслимые испытания и не согнуться. Иллюстрацией к ней могла бы служить расхожая картинка, на которой уже почти проглоченный цаплей лягушонок пытается душить ее за шею – «никогда, никогда, никогда не сдавайся!». Автор почти не уделяет внимания своей жизненной философии - он просто тщательно, документально описывает все то, что происходило с ним - свои чувства, эмоции, слова, действия. И эта наглядность гораздо лучше любых теоретических построений говорит за себя сама.

P.S. Эпиграф автора - "За тех, кто в море" - никак не связан с морской тематикой. Это старый ГУЛАГовский тост - за тех, кто еще находится ТАМ - в бескрайнем и жестоком море российских тюрем и лагерей...

Меламед Станислав

Глава 1

Однажды, в конце 1948 года, молодой американец, безмятежно шагающий по московским улицам, был остановлен оперативником из МГБ – советской тайной полиции. Если бы молодой человек был проворнее и успел добежать до американского посольства, находившегося всего через два дома от этого места, он бы, возможно, сумел спастись. Однако вместо того, чтобы побежать, он замешкался и дипломатично ответил на вопрос оперативника. Этот момент стал для него судьбоносным. За эти несколько секунд молодой человек превратился в заключенного советских карательных органов, в тени которых ему пришлось прожить в течение последующих двадцати трех лет.

Начало всей этой истории было достаточно прозаичным. В начале 30-х гг, когда в Америке свирепствовала безработица, множество американских технических специалистов приняли предложение работы от советского государства и подписали контракт сроком на один год. Одним из таких специалистов был Майкл Долган¹, проживающий в Нью-Йорке польский эмигрант. В 1933 году он приступил к работе на Московском Автомобильном заводе. Ему платили неплохую зарплату в долларах, но ему было сложно находиться в Москве без своей семьи – оставшихся в Нью-Йорке жены и двух маленьких детей, которым он отсылал большую часть заработанных денег. Поэтому, когда работодатели Майкла предложили ему перевезти жену и детей в Москву при условии подписания контракта на следующий год, он согласился. Хотя Майклу совсем не нравилась жизнь в Москве, он решил, что сможет продержаться здесь еще год, если семья будет рядом. К тому же положение в Америке все еще было достаточно тяжелым. Но этот год растянулся на два, затем на четыре, а затем пришел год 1939, а вместе с ним – война.

Майкл сказал советским чиновникам о своем желании вернуться со своей семьей домой, в Америку. Его жена Анна и дети уже устали от жизни в маленькой и неудобной московской

¹ Michael Dolgun

квартире. Но советская бюрократическая машина начала создавать все новые и новые препоны для их возвращения. Майкл не был достаточно политически грамотным человеком. Даже если бы он узнал в свое время о существовании в Москве американского посольства, ему вряд ли пришло бы в голову обратиться туда за помощью. Ведь в течение шести лет он имел дело с одними и теми же советскими чиновниками – именно они были для него пропуском в мир паспортов, денег и документов, необходимых для переезда.

Еще ничего не было сделано для возвращения Майкла на родину, как в Россию пришла война, и Майкл Долган обнаружил, что в глазах советского правительства он стал советским гражданином – без какого бы то ни было согласия с его стороны или даже предварительного уведомления. Таким образом, он был призван в Красную армию и практически до конца войны не видел свою семью, которая оставалась голодать в осажденной Москве. Анна и ее дети, Стелла и Александр, в то время подростки, мечтали о возвращении домой, в Нью-Йорк – но об этом, конечно, не могло быть и речи.

Алекс воспитывался в католической вере и в свое время слышал немало рассказов об аде. Но по сравнению со страшными картинами реальности из той преисподней, в которой он проведет большую часть своей молодости, те рассказы покажутся ему сущей безделицей.

Я знаю все это, потому что я – тот самый Алекс Долган. Спускаться назад в преисподнюю в своих воспоминаниях с целью написания этой книги было для меня не таким уж радостным занятием. Это путешествие явилось для меня актом катарсиса и исполнения долга перед теми, кто все еще находится в преисподней.

Большая часть написанного – это то, что я действительно помню, но некоторая часть представляет собой то, что должно было происходить. Многие эпизоды, лица, слова и ощущения так прочно врезались в мою память, что время бессильно их уничтожить. Но были и периоды, когда я был настолько измучен – потому что меня лишали сна, или из-за голода, или по причине побоев, или когда я лежал в горячке, или, наоборот, коченел от холода – что в этих временных отрезках я находился словно в тумане, и потому сейчас могу связать их с теми событиями, которые помню вполне ясно, только достроив необходимые связующие звенья между ними.

Например, я знаю, что весной 1950 года я был упакован, словно кусок человеческого мяса, в один из переполненных людьми печально известных сталинских вагонов и отправлен из московской тюрьмы, в которой меня истязали на допросах, в лагерь принудительного труда в Казахстане. Я был изнурен и пребывал в горячке. После полутора лет вынужденного отсутствия нормального сна мое сознание поблекло. Я был единственным американцем в человеческой массе, состоящей из русских, украинцев, татар и людей других национальностей в этом вагоне. Я отчетливо помню некоторые сцены, имевшие место в перевалочных тюрьмах по дороге в лагерь. Я вспоминаю вагон, заваленный трупами, перед воротами джезказганского лагеря, куда мы прибыли в четыре часа утра, и я знаю, что был слишком слаб на тот момент, чтобы передвигаться самостоятельно. Однако следующий момент, который я помню – это марш в колонне по пути на работу в каменоломню. Между этими событиями должен был быть период отдыха, или так называемый карантин – только потом мне должны были назначить рабочее задание. Я знаю в подробностях все, что происходит в этот период, потому что это происходит со всеми заключенными, и поэтому могу с достоверностью описывать все эти события как те события, что происходили со мной. Но у меня не осталось абсолютно никаких воспоминаний об этом двухнедельном периоде, он был словно стерт из моей памяти. У меня чрезвычайно цепкая память. Я могу увидеть сегодня лица тех, кто пытал меня в московских тюрьмах, в Лефортово и Сухановке. Я помню номера всех камер, в которых я

был заключен, количество дней, проведенное в карцерах, имена сотен товарищей по заключению. Во время работы над этой книгой лица, имена, запахи и звуки вернулись ко мне после двадцати лет небытия, и они вернулись с потрясающей ясностью – словно старые знакомые, которых вы не видели очень-очень давно и вот они снова стоят на пороге вашего дома.

Работа над этой книгой была для меня подчас захватывающим занятием – прежде всего в том, как моя память откликалась на мои изыскания. Однако не все эти воспоминания были достаточно приятными. Я знаю, что к некоторым из них я сознательно избегал обращаться в течение двадцати лет, потому что они были непереносимыми. Однако сейчас, когда этот рассказ стал потребностью всей моей жизни, а также по причине того, что достоверный рассказ должен содержать подробности, фактуру и быть максимально полным, даже боль от ужасных воспоминаний приносит чувство удовлетворения от простого осознания того факта, что я способен ПОМНИТЬ.

Глава 2

Однажды, в конце 1948 года, молодой американец, безмятежно шагающий по московским улицам, был остановлен оперативником из МГБ. С этого начинается моя история, и я вновь возвращусь в тот день – в самое его начало, между первым и вторым часом ночи, когда я стоял во дворе дома моей девушки, Мери Като, собираясь сказать ей “спокойной ночи”. Я был влюблен в Мери Като. Она работала в британском посольстве, я – в американском. И я, и она работали тогда на младших должностях, но мы были жизнерадостной и легкой на подъем парой, и у нас было много друзей в сообществе находившихся в Москве дипломатов. Поэтому нас часто приглашали на всевозможные приемы, обеды, в театры – везде, куда, как правило, такого двадцатидвухлетнего человека, как я, вряд ли бы пригласили – даже несмотря на то, что я в это время работал уже главным клерком отдела хранения документации при посольстве.

Окружающие знали, что мы с Мери были влюблены друг в друга, и часто по-дружески посмеивались над разницей в нашем произношении, называя нас мистер и мисс Хафф-и-Хауфф («половинка» - с англ). В тот вечер мы с Мери слишком припозднились. Мы были очень близки и сильно любили друг друга, но мы еще ни разу не проводили ночь вместе – это могло подождать до свадьбы. Тот вечер был одним из тех вечеров, когда почти невозможно сказать «Прощай». Мы стояли в дверях ее дома, обнявшись – счастливые, мечтательные и совершенно отстраненные от всего того, что нас окружало.

Помню, что на меня нахлынуло желание как-то драматизировать этот момент – я был без ума от Мери, и мне требовалось выразить это чувство с наибольшей силой. Я сказал ей: “Любимая, если вдруг что-то случится со мной, и я пропаду на несколько месяцев...”. На ее лице промелькнула неподдельная тревога. В душе я радовался, как ребенок – это означало, что я действительно был важен для нее. Она могла подумать, что меня посылают на некое задание от посольства, о котором я не могу говорить – во всяком случае, именно это я и пытался изобразить. Но она ничего не спрашивала, а только очень сосредоточенно смотрела на меня.

Я спросил: “Ты будешь меня ждать?”

“Я буду ждать тебя вечно, Алекс, - ответила она. – Я люблю тебя, и я буду тебя ждать. Ты это серьезно?”

“Послушай, - рассмеялся я, - забудь про это. Завтра вечером – нет, уже сегодня вечером – мы идем в Большой, и мне нужно немного выспаться. Мне просто хотелось узнать, насколько я важен для тебя”. Мери обняла меня, крепко-крепко – и, наверное, прошло еще с добрых полчаса, прежде чем я, погруженный в романтические мечты, оставил ее и направился обратно в резиденцию при посольстве.

И хотя я не склонен к мистике и суевериям, но и этот вопрос, заданный Мери по поводу моего исчезновения, как и сон, приснившийся мне той ночью, оказались пророческими... Я ехал в автобусе, возвращаясь в посольство с какого-то мероприятия, и тут заметил мужчину, пристально следящего за мной. В действительности посол Бедел Смит¹ незадолго до этого предупреждал нас о том, что появились признаки усиления третирирования американского персонала. Это было время начала создания НАТО и жесткого ответа со стороны Запада на советский захват Чехословакии, и, как нам казалось, все это должно было негативным образом отразиться на нас, американцах, находившихся в Москве. Так или иначе, но мы уже привыкли к слежке со стороны МГБ, и в своем сне я понял, что за мной – хвост, но что все это серьезнее, чем обычно. По мере приближения к посольству я осознал, что за мной наблюдает сразу несколько человек. Когда мы подъехали к остановке перед посольством я, стараясь вести себя безмятежно, встал перед дверью и нажал на кнопку выхода. Трое мужчин поднялись со своих мест и встали позади меня. Я нырнул в открывшуюся дверь и что есть мочи побежал к дверям главного входа в посольство. Они кинулись за мной. Я вырвался вперед, но что-то странное случилось с моими коленями. Внезапно я почувствовал в них слабость, и мои ноги стали подкашиваться. Те трое сзади нагоняли меня. Я споткнулся и упал, заставил себя подняться и упал снова, и тут они набросились на меня. В этот момент я, кажется, проснулся – потому что это все, что я помню из того сна. Он меня немного расстроил, но не очень сильно. Я знал, что в городе меня всегда подстерегает опасность. Посол Смит строго наказывал нам никогда не выходить поодиночке на улицу ночью, и, возможно, этот сон был реакцией на мою ночную прогулку – кто знает...

Но этот сон никак не выходил у меня из головы, и я рассказал о нем девчонкам на работе, когда пришел туда утром. Одна из них сказала мне, что утром в посольство приходила, о чем-то прося, еще одна русская женщина. Я говорю “еще одна”, потому что незадолго до этого некая бедная отчаявшаяся русская женщина с поврежденным рассудком пришла в посольство и заявила, что она – жена Эдварда Стеттиниуса², последнего госсекретаря президента Рузвельта, и что в Ленинграде ее ждет корабль, чтобы увезти домой, и почему мы ничего для нее не делаем. И точно так же, как и в случае с той женщиной, этим декабрьским утром 13-го числа мы наблюдали из окна, как вышла из посольства эта “еще одна” женщина, а советский караульный у ворот кивнул человеку на улице, который сразу же пошел за ней следом.

Они заберут ее, мы знали это. За нами всеми тоже следили, хотя и ни разу не входили в прямой контакт. Я даже развил недюжинную способность к уходу от слежки, и в то утро со смехом сказал одной из девушек на работе: “Знаете, эти мгбешники буквально повсюду. А вот я – сам по себе!” И все посмеялись над моей шуткой.

В то утро перед тем, как пойти на работу, я взял с собой один из моих пистолетов. Я всегда обожал пистолеты, и в то время в моей коллекции находилось три из них: 9-миллиметровый Вальтер, японский револьвер 22-го калибра, такой компактный, что мог поместиться в ладони, и замечательный испанский довоенный пистолет-автомат 32-го калибра. У него была красивая костяная рукоять коричневого оттенка с прорезью, в которой находился скользящий указатель, показывающий, сколько выстрелов из возможных девяти было произведено. Именно этот пистолет я взял с собой в то утро на работу, чтобы смазать маслом от печатной машинки, потому как дома у меня подходящего масла не было.

У меня был также пневматический пистолет, стреляющий дротиками для дартс, он и стал потом предметом разбирательств. Хорошо, что я вынул испанский пистолет из кармана и

¹ Bedell Smith. Уолтер Беделл Смит (1895—1961) — американский военный и государственный деятель, Директор Центральной разведки и глава ЦРУ США (1950—1953). Был послом в СССР с 1946 по 1948 гг.

² Edward Stettinius. Edward Reilly Stettinius, Jr. (1900 –1949) – госсекретарь США (1944-45 гг) – прим. переводчика.

оставил его в закрытом ящике письменного стола перед тем, как выйти на ланч – в ином случае, я уверен, это бы мне очень дорого стоило.

Ланч я собирался провести в компании с капитаном Нортсом, помощником военного атташе при дипломатической миссии Австралии. Берт Нортс¹ был из той категории друзей, которых заводишь только после драки с ними. Перед тем, как мы с Мери начали встречаться, за ней ухаживал Берт, а потом она оставила его и стала встречаться со мной. Берт ужасно ревновал, замкнулся в себе, и вот однажды, годом ранее, мы встретились с ним на одном из приемов при британском посольстве. Берт тогда сильно надрался и пригласил меня выйти с ним на лестницу. Мы начали, и тут он потерял равновесие, упал и поранил голову. Я дотащил его до туалета и стал смывать кровь, а он принялся обнимать меня со словами, что я его лучший друг, что он вовсе не хотел меня обидеть и так далее, что обычно говорят люди в таком состоянии. После этого случая мы с ним стали частенько видаться и стали хорошими друзьями, а соперничество из-за Мери осталось в прошлом.

В Москве не так-то просто найти ресторан с хорошей едой, но к этому времени я уже стал специалистом, как и Нортс, и мы договорились встретиться в «Арагви», действительно хорошем грузинском ресторане на улице Горького. Чтобы дойти туда пешком от посольства, мне требовалось около двадцати минут. Когда я вышел из посольства, на часах было несколько минут второго. Проходя мимо караульного у ворот, я подмигнул ему и спросил: “Ну, как, поймал еще одного шпиона с утра?” Тот ответил мне непроницаемым взглядом и отвернулся.

День был солнечный и яркий. Американское посольство в то время располагалось прямо напротив северной стены Кремля², и, перейдя улицу Горького, я взглянул направо и увидел очередь к мавзолею Ленина и множество людей, прогуливающих по Красной площади в этот обеденный час. Приближалось Рождество, но на улицах еще совсем не было снега. Раскрашенные купола храма Василия Блаженного сияли на солнце.

Я повернул налево и зашагал вдоль по улице Горького, пробираясь сквозь толпу людей перед зданием Совета Министров, потом пересек небольшой переулок и пошел вдоль магазина “Диета”. Когда я был еще мальчишкой, шныряющим по московским улицам во время войны, одна из бомб упала рядом с этим магазином – и вокруг лежали мертвые люди, почти без признаков повреждений, в основном женщины, а их веревочные сумки, авоськи, были разбросаны по дороге вместе с картошкой и помидорами. Женщина-кассир сидела, выпрямившись, за кассой, но ее голова лежала в открытом ящике кассового аппарата. Я часто вспоминал эту неприятную картину, проходя мимо магазина “Диета”, припомнилась она мне и тем утром. Но только на краткий миг, так как в следующий миг, как только я прошел магазин, я услышал громкий голос сзади, окликающий меня по имени.

Я осознал, что этот кто-то уже крикнул мне несколько раз и теперь почти бежал за мной. Но он называл меня “Александр Михайлович”, исключительно русским по форме обращением, которым меня никто не называл раньше, поэтому я в начале и не обратил на это никакого внимания. Теперь этот человек бежал на меня, раскинув руки, словно собираясь обнять. “Кирюха! (старый приятель) – сказал он громко, гораздо громче, чем это имело смысл, стоя всего в полуметре от меня. – Как я рад тебя видеть, сколько лет, сколько зим!”

Я был чрезвычайно озадачен. Мне казалось, что это какой-то розыгрыш. Никогда раньше я не видел этого высокого, ухмыляющегося, импозантного мужчину – в этом я был уверен.

¹ Bert North

² Посольство США с 1934 по 1953 г. располагалось по адресу ул. Моховая, 13 – прим. переводчика

Он продолжал что-то громко говорить и, взяв меня под руку, отвел к обочине дороги. “Вот так сюрприз, вот это да! Как здорово, что мы снова встретились! Давай отойдем в сторонку, а то здесь люди мешают, поговорим!”

Я подумал, не сумасшедший ли это, судя по его странной ухмылке и манере громко разговаривать. Я сказал: “Послушайте, вы ошибаетесь. Я вас никогда раньше в своей жизни не видел”. Я пытался высвободить свою руку, не прибегая к грубости.

“Пожалуйста, вы меня с кем-то спутали”.

К этому моменту мы стояли уже на краю тротуара. Он понизил свой голос и сказал: “Нет, я так не думаю. Вас зовут Александр Должин, верно?”

Многие русские произносили мое имя именно так, делая ударение на втором слоге, как в слове “джин”.

Я сказал: “Да, а вы кто?” Мне стало немного не по себе. До сих пор я не могу понять, почему тогда я не сообразил все быстрее и не бросился бежать. Особенно после того сна. Высокий опустил руку в карман и достал оттуда удостоверение с корочкой синего и красного цвета. Я открыл его. Внутри была фотокарточка и подпись – Харитонов С.И., майор, оперативное управление, МГБ.

Я похолодел. Но его манера была абсолютно располагающей к себе. “Да вы не волнуйтесь, ничего серьезного, просто нам хотелось бы поговорить с вами в управлении, всего пять минут”.

Мне захотелось поскорее убраться отсюда. Я вынул свое удостоверение и жестко произнес: “Послушайте, я сотрудник посольства Соединенных Штатов. Мне не позволено разговаривать с кем-либо из советских официальных лиц без предварительного разрешения. Прошу меня извинить”. Харитонов взял мою карточку. “А ты мужик”, - сказал он вполголоса. Я протянул руку за своей карточкой. Он молча посмотрел на меня и медленно опустил руку с удостоверением в свой боковой карман. Я окаменел. Спектакль окончился. В этот судьбоносный момент я замешкался на какую-то долю секунды, и первой мыслью было – “лучше бы мне вернуть мою карточку”. Затем я осознал, что не смогу этого сделать и приготовился бежать. Я взглянул налево, на дорогу, по которой проезжали машины. Мне подумалось - он не осмелится стрелять при таком скоплении людей. Но уже в следующий миг я почувствовал, как две пары рук крепко взяли меня сзади под локти, и те двое, кому принадлежали эти руки, придвинулись вплотную ко мне. Я оказался в ловушке.

Харитонов опять повысил голос и громко произнес, как я теперь понимал, разыгрывая спектакль перед прохожими на улице: “Какая удача – а вот и мой приятель на машине! Давай немного прокатимся и поговорим”.

Рядом со мной остановилась бежевая “Победа” с уже открытой задней дверью. Тот, что стоял справа, сказал мне на ухо: “Ведите себя тихо. Пожалуйста, никакого шума”. И прежде, чем я успел что-то подумать, не говоря о том, чтобы как-то среагировать, я уже был зажат между двумя мужчинами на заднем сидении “Победы”.

Я обернулся и посмотрел на улицу за окном. Эта сцена осталась запечатленной в моей памяти, словно фотография. Огромные часы на здании центрального телеграфа показывали десять минут второго. Сбоку от себя я видел нижнюю часть женского тела, приближающуюся со стороны магазина “Диета”, а также веревочную сумку с картошкой, которую несла эта женщина. Такие сумки называются в России авоськами. Слово авоська происходит от слова “авось”, или “возможно”. В то время, да и сейчас тоже, многие люди в России носят с собой авоськи – потому что, возможно, им случится встретить по пути очередь за продуктами и, возможно, купить немного картошки, капусты или хлеба.

Никогда не угадаешь – “возможно”. Когда я вспоминаю тот момент, то эта женщина кажется мне застывшей, без движения, хотя, конечно, она двигалась, а я мог видеть только ее ноги из окна машины. Голубое платье-полька с белыми кружочками. Авоська, полная картошки, и пара женских туфель с торчащими из них пальцами. Эта картина показалась мне забавной, и в тот момент, когда машина трогалась с места, я давился от смеха.

И в этот же самый момент я необычайно остро почувствовал, что моей жизни пришел конец.

Харитонов сидел спереди и, обернувшись ко мне, продолжил успокаивать меня, что мы, мол, просто заедем в управление на короткую беседу. “Не волнуйтесь, - повторял он, - пять минут, только и всего”.

Его поведение, и правда, успокаивало. В какой-то момент я перестал волноваться и подумал – “Господи, да они просто хотят меня завербовать. Деньги, женщины и так далее. Они хотят сделать меня своим агентом. Это просто предложение работы”. Такое объяснение всего происходящего было единственным, имевшим хоть какой-то смысл. “Ну, вот и приехали, - провозгласил Харитонов. Вы знаете, что это такое?”

Наша машина оставила позади Кузнецкий Мост, мы проехали вдоль по Пушечной и выехали на площадь Дзержинского, огибая ее с юго-западной стороны. Я взглянул в окно – мимо тянулась громада здания из серого камня. Это была Лубянка – городская тюрьма и главное управление МГБ.

“Конечно, - ответил я. – Это ГосУжас. Место, где люди сходят с ума”.

Харитонов добродушно рассмеялся.

Незадолго до революции в этом здании располагалось государственное страховое общество, или Госстрах¹. “Страхкасса” означает страховую контору. Но слово “страх” означает по-русски также “ужас”, поэтому некоторое время тюрьма именовалась “государственным страхом”. Затем, после начала масштабных репрессий, когда это здание стало постоянно заглатывать людей, уже не выходящих назад, его стали называть “ГосУжас”. Это массивное здание действительно впечатляет, полностью заполняя собой одну из сторон Дзержинской площади. Я часто проходил мимо – оно находилось всего в нескольких минутах ходьбы от посольства. Огромные стальные ворота всегда были закрыты. Однако сейчас, при приближении нашей машины, они начали открываться, разъезжаясь в стороны. Это было словно в кино. Я подумал – вот подождите, вот будет история, чтобы рассказать ребятам в посольстве!

Ворота были на рельсах и разъехались в стороны, в проемы в стене, а потом со скрежетом закрылись за нами. Двери машины открылись, и мы оказались в центре большого внутреннего двора, где не было никого кроме меня с Харитоновым. “Пожалуйста, не волнуйтесь, это займет всего пару минут, сюда, пожалуйста”, - продолжал Харитонов в своей успокаивающей и обнадеживающей манере. В дверях он вежливо пропустил меня первым, а затем проскользнул вперед, указывая дорогу. Вокруг никого не было, те двое куда-то исчезли. Мысли одна за другой проносились у меня в голове. Если это какая-то грязная ловушка, думалось мне, то этот Харитонов слишком обходителен для этого. Да, конечно – они собираются что-то мне предложить. “Немного информации, мистер Долган, это все, что нам нужно. Это никак не повредит вам, а мы будем чрезвычайно признательны вам за это”.

Мы свернули в узкий боковой коридор. Вдоль стен тянулись двери, странно близко расположенные друг к другу. Все еще продолжая движение, не замедляя взятого темпа, Харитонов открыл дверь и учтиво пригласил меня внутрь – “Сюда, пожалуйста”. Я вошел, продолжая двигаться все в том же заданном темпе, в котором мы проходили по коридору, и затем внезапно остановился. Я был в каменном мешке размером полтора на два с половиной метра. Пустая комнатка со скамьей. Я резко обернулся – “Что за черт!” Я был взбешен, но сказал я это уже двери, тяжело захлопнувшейся за мной. Обитая железом дверь с глазком посередине. Она закрылась за мной со звуком клацающего замка. “Не нравится мне этот звук!” – подумалось мне.

¹ До 1918 г. это печально известное здание принадлежало страховому обществу «Россия» - прим. переводчика.

Глазок сразу же приоткрылся. Я приблизился вплотную к двери и произнес: “Майор, откройте. Это не смешно!” Глазок снова закрылся – но перед этим я сумел разглядеть за ним чей-то темный зрачок и темную бровь – они определенно не принадлежали светлокожему майору. Я ждал звука открывающегося замка. Затем я предположил, что человек за дверью ищет ключ или еще что-то. Я решил подождать, пока мое терпение не кончится. Ожидание это было не очень долгим. Но более долгим, чем это могло бы показаться оправданным.

Я был очень возбужден. В моей голове проносились самые разные мысли, но все они означали только одно – необыкновенное приключение и шикарную историю для рассказа ребятам в посольстве. Я и в самом деле находился *внутри* печально знаменитой Лубянки! Многие рассказывали о ней всякие истории, еще больше делились разными слухами. Я же мог видеть ее изнутри, этот бастион советской тайной полиции, чего никто из тех, кого я встречал до сих пор, сказать о себе не мог. От возбуждения у меня почти кружилась голова. В своем воображении я рисовал перед собой яркие картинки того, что и как я скажу в ответ на их предложения завербовать меня в качестве агента, и как я раскрою перед всем миром зловещие планы МГБ по подкупу американцев. Может, я даже стану героем и отправлюсь в тур по Штатам, снова увижу Нью-Йорк, вернусь домой... Тогда мне даже в голову не приходило, что все происходящее – это начало моего заключения, которое вполне могло бы окончиться моей смертью. Меня совсем не одолевали мрачные мысли, хотя, конечно, мое сердце колотилось, и я был, безусловно, испуган. Но это был скорее тот страх, что появляется перед большой игрой – ну-ка, посмотрим, как ты себя покажешь?

Я сказал себе: “Что ж, приехали”.

Единственное, в чем я мог тогда отдавать себе отчет, это в том, что что-то большое и важное происходит в моей жизни.

Я решил, что охранник с темными бровями пошел за Харитоновым. Я обернулся и осмотрел тот ящик, в котором находился. У него был высокий потолок, около трех метров в высоту. Стены до уровня плеч окрашены в коричневый цвет, выше была побелка. В углублении над дверью размещалась лампочка, закрытая сеткой из толстой проволоки. Я взглянул на дверь – глазок открылся и закрылся вновь. Вот и они, подумалось мне, и я ждал, что дверь сейчас откроется. Ничего. Тишина. Затем где-то поблизости я услышал легкий стук и приглушенный жалобный голос. Глазок закрылся. В камере было невыносимо душно. Ничего так и не произошло, и во мне вскипала ярость. Я забарабанил кулаками в дверь и закричал: “Выпустите меня отсюда, черт побери! Я – американский гражданин! Я заявляю о нарушении своих прав! Что тут, черт возьми, происходит!?” Засов моментально открылся. В камеру быстро проскользнул человек, замеченный мной в коридоре перед тем, как меня заперли – мужчина с синюшным подбородком, темными бровями и дряблой фигурой, одетый в синеватую робу, наподобие лабораторного халата, накинутую поверх униформы. “Тише, пожалуйста, тише! – прошептал он мне. – Здесь не положено кричать. Там другие”, - и он качнул головой в сторону коридора, но я не понял, что бы это значило.

Однако его манера была настолько вежливой и подкупающей, что мой пыл сразу угас. Он продолжал говорить шепотом, почти доверительно, словно уважая чью-то потребность в абсолютной тишине – “Не волнуйтесь, пожалуйста. Все скоро разрешится”.

Он напоминал секретаря на приеме у врача – пожалуйста, не волнуйтесь, доктор скоро вас примет.

Но затем в дальнем конце коридора снова послышался стук, а также женский крик: “Но там никого нет с моим ребенком! Что будет с моим ребенком?! Пожалуйста!

Пожалуйста!” Вновь закрывшаяся передо мной дверь заглушила звук женского голоса. Этот крик заставил меня похолодеть изнутри, несмотря на жару в камере. Я собрался было стучать и кричать дальше, но тут дверь открылась, и человек с синюшным подбородком вежливо произнес: “Пожалуйста, пройдемте”.

Я подумал – ну вот, мне жаль эту бедную женщину, но теперь все то, что касается меня, должно разрешиться. Они поймут, что сделали ошибку, я в милой беседе за минуту покончу с этим предложением о вербовке и, может быть, еще даже успею добраться до “Арагви” - прежде, чем Нортс решит, что его подставили.

Я помню лицо этого тюремщика чрезвычайно отчетливо. Я увидел его снова через несколько лет, когда меня привезли из лагеря на новый допрос, но он тогда не узнал меня. Теперь он вел меня по коридору – мы завернули за угол, и он указал на другую дверь – “Входите”. Размеры этой комнаты были два на четыре метра, окна не было, те же коричневые стены с побелкой, а также стол и стул с прямой спинкой. Манера тюремщика изменилась. Он все еще был вежлив, но в его голосе явно чувствовалась абсолютная и не допускающая возражений властность. Дверь за нами закрылась. Мне подумалось было о том, чтобы завалить его, но в дверной глазок наблюдали и, к тому же, мы были заперты. “Что это все значит? Вы не знаете, что имеете дело с гражданином Соединенных Штатов Америки? Я хочу знать, что происходит!”

“Не шумите, - был ответ. – Не волнуйтесь, скоро вы все узнаете. А сейчас выньте все из карманов и положите на стол”.

Я подумал было снова протестовать, но одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять бесполезность этой затеи. Очень спокойно, пока я снимал часы и клал на стол деньги, сигареты, зажигалку, ручку и все остальное, я объяснил ему, что все происходящее является нарушением международных соглашений и очень серьезной дипломатической ошибкой, способной иметь самые серьезные последствия в отношениях с сильнейшей мировой державой. Но затем я остановился, так как понял, что передо мной только исполнитель, который к тому же не обращает на мои слова никакого внимания, и мне следует сберечь весь свой пыл до встречи с тем, кто действительно принимает решения.

Он собрал со стола все мои вещи и затем коротко бросил: “Снимите всю одежду и положите на стол”.

Я лизал губы от бешенства. Я знал, что мне придется это сделать, но все еще пытался протестовать ему вслед – но он, так и не обернувшись ко мне, вышел из камеры, и дверь снова закрылась.

“Ну, подожди!” – сквозь зубы проговаривал я, снимая ботинки, носки, рубашку и брюки. – Ты только подожди у меня!». Наконец я остался стоять посреди жаркой комнаты в одних трусах.

Мне кажется, я находился там около часа перед тем, как дверь снова открылась. Окошко дверного глазка периодически подымалось, и я решил вести себя так, как будто и не замечаю этого. Может быть, времени прошло и меньше, но мой желудок уже начинал урчать, к тому же жара в комнате выматывала, и мне казалось, что время тянулось очень медленно. Затем дверь открылась, и в нее вошел смуглый человек с синюшным подбородком в халате и мужчина в форме полковника МГБ. У полковника в руках был лист бумаги.

«Это список ваших вещей, взятых на хранение», - сказал он. «Я полковник Миронов, комендант внутренней тюрьмы. Если вам понадобится сходить в туалет или захочется воды, позовите охранника». Он развернулся было, чтобы уходить, но я ухватил его за руку. Полковник вырвал руку и жестко взглянул на меня. Прежде, чем я успел задать все те вопросы, что роились в моей голове, он коротко отрезал: «Не волнуйтесь, - их любимая фраза. – Вас вскоре обо всем проинформируют».

Смуглый указал на трусы: «Все снять». Было ясно, что следует подчиниться. Я сел на стул и стал их снимать. Когда я поднял глаза, то увидел, что он разложил на столе мой пиджак и вспарывает швы ножом. Я просто смотрел на это. Я знал, что возражать бессмысленно, но произнес: «Эй, парень, погоди. Это мой лучший пиджак». Он продолжил вспаривать швы, как ни в чем не бывало, и я знал, что он продолжит это делать. Он прощупал изнутри подкладку и отвороты, потом оторвал набивку на плечах.

Затем он взял мои ботинки и стал вспарывать подошву ножом. Он вытащил из нее стальную укрепляющую пластину и положил ботинки обратно на пол, с болтающимися подошвами. Затем он взял со стола мой галстук, ремень и шнурки от ботинок и постучал в дверь. «Теперь я могу одеться?» - спросил я. «Не сейчас», - был ответ.

Я сел на стул и сказал себе: «Да, парень, это надолго. В какое же замешательство они придут, когда эта ошибка обнаружится!»

Затем дверь снова открылась и в нее вошла приятной наружности женщина в докторском халате поверх униформы. Смуглый в это время встал в дверях, загородив собой проход и посматривая в коридор. У женщины было непроницаемое выражение лица. Я пытался закрыться руками, и был ужасно смущен. В руках женщина держала планшет и карандаш. Она спросила, был ли я болен туберкулезом, корью, малярией, скарлатиной, сифилисом или гонореей (я все еще был способен почувствовать себя оскорбленным такими вопросами), а также диабетом или психическими заболеваниями. Затем она подошла вплотную ко мне и приказала открыть рот. Она проинспектировала мои зубы и посмотрела под языком. Потом повернула мою голову и посмотрела в уши и ноздри. Заглянула под веки. Потом попросила вытянуть руки вперед и растопырить пальцы, затем перевернуть ладони. Затем посмотрела у меня подмышками. Она заставила меня оттянуть крайнюю плоть, затем поднять мой пенис и мошонку, чтобы она могла осмотреть их, хоть она и не дотрагивалась до меня там. Затем мне пришлось повернуться, нагнуться и раздвинуть ягодицы.

Внутренний осмотр она делать не стала. «Можете одеться», - произнесла она безразлично и покинула комнату.

Затем меня отвели в ярко освещенную комнату и сфотографировали с трех сторон при помощи старой фотокамеры, в которой фотограф снимал крышку с линзы, используя ее вместо затвора. Затем у меня сняли отпечатки пальцев. Потом отвели в комнату, которая показалась мне кабинетом зубного врача, и оказалась таковым к моему изумлению. С двух сторон встали два охранника, и по выражениям их лиц было абсолютно понятно, зачем они здесь находятся. Человек в белом халате открыл мой рот и, не говоря ни слова, просверлил большое отверстие в моем коренном зубе.

К этому моменту я был уже в достаточной мере унижен всеми этими событиями в череде обыска и дальнейшей моей обработки. Я пытался от негодования, но сдерживал свою ярость, потому что прекрасно понимал, что никто из этих людей не ответит на мои жалобы, а если я осмелюсь сопротивляться, они остановят меня силой. Я знал, что вскоре мне предстоит встреча с Ним. Я понятия не имел, кто это будет, но я знал, что сразу пойму, что это именно Тот человек. И я копил в себе всю ту ярость, желчь, презрение и остальной спектр всех тех чувств, которые я намеревался вылить на этого бедолагу, который не усидит долго на своем месте вскоре после того, как обнаружит, какую ошибку он совершил.

Затем был душ, очень горячий. Сделать немного прохладнее было невозможно, и для него мне выдали маленький кусочек мыла с неприятным и едким запахом. Каким-то чутьем я понимал, что отнестись к этой процедуре следует серьезно, и использовал почти весь дурно пахнущий кусок, тщательно вымыв свое тело, хотя вода была настолько горячей, что я задыхался. В то время я был в очень хорошей физической форме. Я весил 84 кг при росте 177 см, был подтянутым, с широкой грудью 80 см в обхвате. Благодаря упражнениям мышцы пресса были твердыми, а плечи и бицепсы еще тверже. Я занимался акробатикой и довольно прилично ходил на руках, увлекался спортом – немного боксировал, и в течение нескольких лет занимался по программе наращивания мускулатуры по Чарльзу Атласу¹ – хотя, конечно, я и ранее никогда не походил на тщедушного 44-килограммового персонажа из комиксов.

¹ Charles Atlas (1892 – 1972) – разработчик популярного курса бодибилдинга, - прим. переводчика.

Когда я вновь оделся после душа, то обнаружил, что мне оставили только ботинки с частично отрезанными подошвами, болтающимися при ходьбе, светло-серые флотские брюки из хорошей грубой суконной ткани, моя флотская рубашка с эполетами и окантованной прорезью в одном из двух карманов, две пачки сигарет «Честерфилд» и пятьдесят две деревянные спички. Моя расческа исчезла, хотя здесь в ней все равно не было нужды – в душе не было зеркала, как и в туалете, куда я позже попросил себя отвести. Все то время, что я провел в московской тюрьме, я ни разу не видел зеркала. Однажды, намного позднее, меня отвели в офицерский туалет Лубянки, и там, на стене, висело большое зеркало, занавешенное темной тканью.

После душа ко мне приставили другого охранника. Я проследовал за его черными сапогами вдоль по устланным ковром коридорам, которые вывели нас к старой клетке лифта. Дребезжащий и скрипящий на все лады лифт поднял нас на три этажа. Затем я помню толстую железную дверь с зарешеченным окошком, и офицера, у которого уже имелась папка с делом на меня. Этот офицер назначил мне номер камеры, и мы вновь двинулись в путь по коридорам. Во время этого своего первого путешествия, из душа в свою первую камеру, я понял, что нахожусь в огромной тюрьме. По пути я видел длинные темные коридоры, по обе стороны которых тянулись двери, каждая с дверным глазком и окошком для еды с металлической задвижкой. Все коридоры были устланы ковровой дорожкой, поэтому единственным звуком при нашей ходьбе было цоканье языком охранника – сигнал, используемый на Лубянке для того, чтобы дать знать, что ведут заключенного. Между цоканьем слышалось тяжелое дыхание охранника через заложенный нос. Все эти железные двери были серыми, темно-серыми, как на военных кораблях, и все это – полумрак, тишина, повторяющиеся двери, теряющиеся во мрачной глубине коридора – создавало гнетущее, давящее впечатление.

Однако я все еще не мог воспринимать происходящее серьезно. Я считал, что это – ошибка, и вопрос только в том, как скоро они поймут, что ошиблись, и выпустят меня. И когда мы завернули за угол и я оказался в очередном каменном мешке без окон, я почувствовал некоторое замешательство, так как считал, что меня ведут к тому значительному лицу, встреча с которым и положит конец этому недоразумению. Камера была около четырех метров в длину и метра полтора в ширину. Потолок находился высоко, воздух был жарким. Вдоль одной из стен располагалась узкая деревянная скамейка. Над дверью висела яркая лампочка без плафона, наверное, около 150 ватт, в клетке из толстой проволоки. Когда охранник закрывал за мной дверь, я спросил его: «Что теперь?»

«Не волнуйтесь, - был ответ. – Все будет хорошо».

Я начал прохаживаться туда-сюда по душной камере. Через некоторое время пребывания в духоте под палящей лампой внутри у меня все пересохло, и я постучал в дверь, чтобы позвать охранника. Глазок открылся немедленно. Я произнес: «Я очень хочу пить. Пожалуйста, дайте воды». Я помню, что на тот момент я уже начал подстраивать тон своего голоса и говорил тихо.

Я и глазом не успел моргнуть, как он принес мне полную кружку. Скорость, с которой он это сделал, меня приободрила – я выпил кружку залпом и попросил еще. Через минуту он вернулся с новой.

Десять минут спустя мой мочевой пузырь дал о себе знать. До сих пор я не испытывал каких-либо физиологических потребностей – ни голода, ни желания сходить в туалет, ничего – до тех пор, пока меня не обуяла жажда. Полагаю, что в действительности я находился в некотором оцепенении и был напуган более, чем мне хочется думать. Так или иначе, я снова постучал в дверь, и глазок открылся мгновенно: «Мне нужно в туалет». Глазок закрылся, и я услышал звук открывающейся задвижки. Туалет оказался в комнате напротив – писсуар на стене и несколько отверстий в полу с металлическими пластинами для ног, чтобы садиться на корточки. Охранник был для меня новый, и, хотя я знал ответ

заранее, но по пути обратно в камеру тихо спросил: «Послушайте, вы знаете, что тут происходит? Я в полном недоумении. Я не понимаю, почему я здесь».

Охранник мотнул головой и шепотом произнес: «Не волнуйтесь. Обо всем вскоре позаботятся. А сейчас не волнуйтесь».

Я сказал: «Хорошо. Принесите мне еще воды, пожалуйста».

Он ничего не ответил. Он закрыл меня, а спустя короткое время задвижка отодвинулась, и я вновь получил полную кружку воды.

Когда бы я ни попросился в туалет, меня туда выводили моментально, не задавая вопросов.

Сложно сказать, сколько времени это продолжалось. Мне казалось, что прошел целый день, но я знаю, что это было не так, что вечером в день моего ареста за мной пришли, чтобы отконвоировать на допрос. Никакой еды мне не предлагалось, но, как ни странно, я совсем не чувствовал голода.

В конце концов, охранник открыл дверь и приказал мне выйти и следовать за ним, держа руки за спиной. Мы прошли по нескольким коридорам, и я вновь почувствовал прилив волнения и энтузиазма – я был уверен, что грядущая встреча все объяснит и положит конец всей этой фантастической истории.

Мы вышли в коридор, двери по сторонам которого отстояли одна от другой дальше, чем в коридорах с камерами. В одну из этих дверей охранник слегка постучал, и затем сразу открыл ее, не дожидаясь приглашения. Внутри мой взгляд уперся в большое зарешеченное окно, занавешенное темно-коричневыми шторами. Хотя шторы были закрыты, я мог заметить, что за окнами была ночь. Я пытался понять, сколько времени прошло, и во все глаза глядел на шторы, силясь восстановить контакт с внешним миром, когда услышал голос: «Я – полковник Сидоров, следователь по вашему делу».

Тот, кому принадлежал этот голос, возвышался над громадным столом, находящимся в дальнем конце комнаты. На столе была лампа с абажуром, а яркий свет от лампы под потолком отсвечивал на его голове. Он был довольно высоким, около 180 см. На его вытянутом лице играла слегка удивленная и циничная улыбка. Это лицо можно было бы назвать красивым, если бы оно не было изъедено оспой, и вначале мне было немного трудно на него смотреть.

«Садитесь» - сказал Сидоров, указав мне на маленький деревянный столик с жестким стулом, стоявший напротив его стола справа от меня. Большой и маленький столы разделяло около двух метров. Я сел и, ничего не говоря, внимательно изучил сидящего напротив мужчину. В камере у меня было достаточно времени для того, чтобы взять свою ярость под контроль, и я твердо намеревался держать себя в руках – настолько, насколько возможно. Если они уже думают, что поймали меня, говорил я себе, то им следует подготовиться к сюрпризам. Мужчине, которого я изучал, было около тридцати семи или восьми лет; он был подтянутым и стройным, с двумя звездами лейтенанта-полковника на погонах; на лацкан его мундира была приколата большая заколка в форме бриллианта темно-синего цвета. Он тоже сел за свой стол, открыл папку и принялся молча читать. У меня было время отметить, что на столе, помимо лампы, есть еще телефон, а позади стола находится некое подобие контрольной панели с кнопками и несколько розеток. Один из проводов тянулся к столу.

Сидоров несколько минут читал бумаги из папки, время от времени поглядывая на меня со своей удивленной полуулыбкой, оставлявшей небольшие морщинки на его хорошо упитанном лице. Вскоре я почувствовал, что уже достаточно владею ситуацией, и, когда он в очередной раз устремил на меня свой иронично-циничным взгляд, я улыбнулся в ответ и произнес: «Что ж, я рад наконец-то встретить кого-то из ответственных лиц, полковник Сидоров, потому что было бы в самый раз исправить эту маленькую ошибку, пока кое-кто не озаботится этим всерьез».

Выражение лица Сидорова едва заметным образом изменилось. Его улыбка на миллиметр приблизилась к реальной. Он поднял кверху указательный палец, показывая, что мне следует подождать, и продолжил свое чтение.

Я сказал: «Послушайте, я извиняюсь, что отрываю вас от вашего чтения, но мне кажется, что вам следует услышать то, что я хотел бы вам сказать, не так ли?»

Он положил папку на стол и произнес: «Да, да! Именно для этого мы здесь. По крайней мере, именно для этого Я здесь. Вы знаете, почему мы доставили вас сюда?»

«В том то и дело, - отвечал я спокойно, продолжая улыбаться Сидорову и демонстрируя свою уверенность. – Я здесь безо всякой причины. И не существует такой причины, по которой мне следовало бы здесь находиться. Ваше правительство попадет в весьма неприятную ситуацию, если меня немедленно не освободят. Когда в посольстве Соединенных Штатов узнают, что...»

Но Сидоров прервал мое выступление коротким взмахом руки: «Думайте! – отрезал он резко, но беззлобно. На его лице продолжала играть все та же полуулыбка. Он был похож на учителя математики, который знает, что вы всего лишь в шаге от правильного ответа, и пытается подтолкнуть вас к нему. – Подумайте об этом немного. Я уверен, что если вы хоть немного подумаете, вы поймете, почему вы здесь. Затем вы сможете мне рассказать об этом, и я буду очень рад, как вы выразились, услышать то, что вы хотите мне сказать». Внезапно мне в голову пришла идея. Мой русский акцент не был таким уж плохим, но я позволил ему опуститься ниже обычного уровня и неуверенно произнес: «Может быть, я не очень вас хорошо понимаю. Мы можем достать переводчик? Я боюсь, мой русский не есть очень хорош».

На какой-то момент брови Сидорова удивленно приподнялись. Затем он отошел к двери и о чем-то поговорил с охранником. Пока мы ждали, он продолжил чтение бумаг из довольно толстой папки, около 7 см. толщиной, и достал сигарету. Я вынул свои сигареты и отрывисто произнес по-русски: «Хотите ли вы попробовать американских сигарет?»

Сидоров на секунду замешкался, а затем произнес: «Конечно, советские сигареты намного лучше, - что определенно неправда. - Но из вежливости, да, я возьму, спасибо».

Я произнес: «Простите, сэр, но я не понял всего, что вы сказали».

Он улыбнулся, взял предложенный мной Честерфилд, зажег мою сигарету, а после свою. Вскоре прибыл юноша - младший лейтенант с блокнотом для ведения стенограммы.

Быстро и гораздо более серьезным тоном Сидоров приказал ему сказать мне, что я обвиняюсь в шпионаже против Советского Союза. Когда я услышал эти слова, сказанные по-русски, на моем лице должен был отобразиться тот шок, что я при этом испытал, но я дождался слов переводчика. Затем я сказал по-английски, вначале чрезвычайно эмоционально: «Это ужасная ошибка! Скажите ему, что я никогда не участвовал в какой-либо шпионской деятельности. Я просто клерк в американском посольстве, он взял не того человека!»

Языковые навыки переводчика оказались не совсем адекватными заданию. С сильным украинским акцентом он перевел это, как «Произошла большая ошибка. Я всегда участвовал в шпионской деятельности с клерком из американского посольства. Он – не тот человек».

Эта белиберда привела меня в бешенство. Я закричал Сидорову по-русски: «Нет, нет, черт побери! Этот парень никуда не годится. Я сказал, что я никогда не участвовал в какой-либо шпионской деятельности! Я..» И тут я понял, что попался. Наверное, я говорил по-русски даже лучше, чем этот украинский паренек, вызвавшийся быть переводчиком. На этот раз улыбка Сидорова растянулась действительно широко, показав немалое количество золота. Он кивнул младшему лейтенанту выйти – «Все». Парень удалился из комнаты.

«Давайте не будем больше терять время, гражданин Должин, - произнес Сидоров, продолжая улыбаться. – Вы говорите, мы сделали ошибку. Я вам скажу – мы никогда не делаем ошибок. Вы утверждаете, что никогда не были вовлечены в шпионскую

деятельность. Я вам говорю, что мы можем это очень легко доказать». Он поднял со стола папку, и я увидел, что в действительности это были две папки, сшитые одна с другой. «Это все – здесь, - продолжил он. – Явки, даты, имена сообщников. Все здесь. У нас на вас целое дело. Действительно, целое дело! Поэтому не волнуйтесь», - опять! «Не волнуйтесь, что это ошибка».

Затем он наклонился над своим столом, посмотрел мне в глаза очень жестко и тихо произнес: «МГБ не совершает ошибок, мой друг. Мы Никогда Не Делаем Ошибок». Он сунул мне листок бумаги с печатью. Это был ордер на мой арест. В нем значилось, что в соответствии со статьей 58 советского уголовного законодательства, пункты 6, 8, 10 и т.д., я обвинялся в шпионаже, политическом терроризме, антисоветской пропаганде и т.д. и т.п. Но наибольшее впечатление на меня произвела подпись под этим документом: Руденко.

Генерал Роман Руденко был генеральным прокурором Советского Союза¹. Я был шокирован и в то же время поражен своей значимостью, будучи обвиненным самой большой «шишкой». Все это стало казаться мне одновременно как большой глупостью, так и чем-то очень серьезным. Я недоумевал, известно ли что-либо об этом в посольстве – к этому времени там должны были меня хватить.

Я сказал: «Мне нужно сделать телефонный звонок».

Сидоров сочувственно улыбнулся и покачал головой.

«Послушайте, - я повысил голос. – В моей стране даже обычному уголовному преступнику позволяется позвонить своему адвокату. Я хочу позвонить в посольство и вызвать сюда представителя! Я хочу...»

«То, чего вы хотите, вообще-то уже не имеет особого значения, - по отечески произнес Сидоров. – Вам надо было думать об этом перед тем, как становиться шпионом в *моей* стране. А так как это не рядовое уголовное преступление, то вы лишены привилегий обычного преступника».

«Однако, - Сидоров продолжил все в той же легкой дружественной манере, - может быть, что-то удастся сделать утром. Сейчас звонить уже слишком поздно, и мне необходимо получить от вас некоторую базовую информацию».

Я глубоко вздохнул. Кажется, мне нужно смириться с тем, что придется провести эту ночь на Лубянке. Хотя из всего этого получится даже более интересная история – как меня допрашивали люди из МГБ. Я сказал себе – ладно, Алекс, приободришься. Завтра из посольства придут, чтобы забрать тебя отсюда. Попытайся, пока у тебя есть такая возможность, получить от всего этого удовольствие. Я кивнул Сидорову в знак своего согласия.

- Где вы родились?

- Нью-Йорк, Ист стрит, дом номер 110.

- Как вы попали в СССР?

- Мой отец приехал сюда в 30-х по контракту, работать специалистом на Московском Автомобильном заводе. Позже он привез сюда свою семью. Во время войны его забрали служить в вашу армию, а я получил место в посольстве. Вот и все. Вскоре я собираюсь пожениться и уехать обратно в Штаты.

Сидоров записал все сказанное. В ответ на последнее мое высказывание он заметил: «Да, нам известно многое о ваших отношениях с женщинами здесь, в Москве. Но я думаю, что теперь ваша женитьба вряд ли возможна, вы так не считаете?»

«Что это? - думал я. – Возможно, он ищет подход к тому, чтобы предложить мне работать на них. Поставить кандидата под полный контроль, запугать, а потом предложить выход, если тот согласится сотрудничать». Предположение о существовании в их головах такого

¹ Роман Андреевич Руденко (1907-1981). Прокурор УССР (1944-53), Генеральный прокурор СССР (1953-81). Был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе. Активный участник сталинских репрессий, - прим. переводчика.

плана бесило меня. Я решил заставить себя вести как можно более хладнокровно, вне зависимости от того, что они еще выкинут, и никогда более не выходить из себя, как это произошло в случае с переводчиком. Будь выше их, говорил я себе. Поэтому, вместо того, чтобы клюнуть на приманку относительно свадьбы, я продолжал улыбаться, ожидая следующего вопроса.

Я провел всю ночь, отвечая на вопросы. На все, что он спрашивал, я отвечал легко и в полной мере. Вопросы были простыми и касались моих школьных лет, друзей, семьи, где мы жили и т.д. Мне нечего было тут скрывать, и я решил, что облегчу себе жизнь в процессе прохождения через этот дурдом в ожидании представителя посольства.

Я понимал, что прошло уже немало времени. Тем не менее, я был немало удивлен, когда услышал, как то там, то здесь в коридоре открываются и закрываются двери, а также уловил несколько приглушенных фраз охранников, из которых следовало, что настало утро. Света за окнами не было видно, но в Москве в это время, близкое к самой долгой ночи в году, светает не раньше семи, если не позже. Сидоров подошел к моему столу с бумагами, которые он писал, и сказал: «Пожалуйста, прочтите протокол, и, если здесь все верно, поставьте подпись внизу каждого листа».

«Что это еще такое, что за протокол?» - спросил я.

«Так называют записи, сделанные мной, следователем, во время допроса. Мы сможем обратиться к ним позднее, по прошествии недель..», - Сидоров сделал паузу, чтобы слова возымели эффект. – Чтобы посмотреть, насколько вы были последовательны, и так далее. Ваша подпись означает согласие, что наша беседа записана верно. Как вы можете заметить, мы стремимся быть абсолютно честными и открытыми в этом деле».

Я прочитал запись. «Сволочь, ты пытаешься меня запугать, - думал я. – Ничего у тебя не получится». Я подписал бумаги подписью, не имеющей ничего общего с моей собственной – кроме того, пожалуй, что там было написано «Александр Долган», латиницей, непривычной для русского, который знает только кириллицу. Сидоров небрежно взглянул на подпись и, вернувшись к своему столу, нажал на кнопку вызова охраны и снял со спинки стула свою накидку.

Охранник открыл дверь и через лабиринт коридоров провел меня обратно в камеру, заперев за мной дверь. Внезапно я почувствовал, что обессилен. Предыдущей ночью я проспал всего три часа. Я думал о том, что было с Мери, когда я не появился в опере. Там давали «Князя Игоря». Я недоумевал, почему никто из посольства до сих пор не пришел ко мне. Слова Сидорова о том, что, возможно, мне удастся сделать звонок утром, вселяли в меня некоторую надежду.

Я лег на бок и вытянулся на узкой деревянной скамейке, положив руку под голову и закрыв глаза, с мыслью о том, что в ожидании следующего поворота событий я мог бы поспать. Меня одолевала страшная зевота, и я чувствовал резь в глазах. Я постарался устроиться в более удобном положении – по крайней мере, менее неудобном, чем то, в котором я находился до этого, сидя на жестком стуле. Я все зевал и зевал. Затем я почувствовал, как бьется мое сердце. Оно билось сильно и тяжело. Я ощущал, как во мне поднимаются волны гнева, которые я старался поставить под контроль: «Успокойся, - твердил я себе. – Расслабься! Утром все разрешится».

Однако я уверен, что даже на этой начальной стадии где-то в самой глубине моего сознания таилось подозрение, что я просто обманываю себя, что дела обстоят намного хуже, чем я могу позволить себе осознать. Так или иначе, но этот благословенный механизм, который позволяет вам отключиться от событий дня и заснуть, в то мое первое утро на Лубянке никак не хотел работать. В конце концов, я оставил всякие попытки заснуть, и следующие несколько часов провел, шагая взад-вперед по камере и прокручивая в голове все то, что случилось со мной накануне.

Глава 3

Второй день на Лубянке начался с некоторого приглушенного шума, доносящегося из коридора. Звуки были неясными благодаря ковровому покрытию, но я мог слышать шаги и приглушенные голоса, а также звук открывающихся заслонок для пищи. Вскоре и моя заслонка открылась, и на полку внутри были поставлены кружка горячего чая и буханка хлеба.

В лубянской тюрьме дают полную буханку. Она маленькая, плотная, прямоугольная и, по сравнению с такими же в других тюрьмах, достаточно вкусная. Поверх буханки было положено два кусочка сахара – один полный кусок и половинка. Чай не был настоящим чаем – это была подкрашенная вода с едва ощутимым привкусом некой травяной субстанции, в нее добавленной.

Хотя я ничего не ел с момента своего последнего завтрака днем ранее, мой желудок себя никак не проявлял, и я совсем не ощущал голода. Я опустил сахар в «чай» и стал медленно пить его, взвешивая свою ситуацию. Взглянув на хлеб, я решил, что выглядит он не очень аппетитно – к тому же, скоро я буду есть яйца с беконом или стейк в посольстве, и могу обойтись без этой дряни.

Прошел час, за ним другой. Я вытянулся на боку на узкой скамейке и попытался вздремнуть – правда, безуспешно. Затем я стал прохаживаться взад-вперед по камере, все более переполняемый чувством раздражения на посольство за то, что они все еще не вытащили меня отсюда. Через некоторое время я постучал в дверь и попросился в туалет. Усевшись на корточках над дырой в полу, я, к своему удовлетворению, обнаружил, что мой организм функционирует нормально. Затем, через полчаса после моего возвращения в камеру, дверь открылась и охранник, которого я днем ранее не видел, повел меня по коридорам, цокая по ходу языком, и оставил меня снова наедине с Сидоровым.

Я был поражен тем, как свежо он выглядел. По моим подсчетам, он спал не более четырех или пяти часов, даже если и оставался на Лубянке. Он был выбрит, и на нем была свежая рубашка, в то время как я спал, точнее, пытался спать, в своей прежней рубашке, был не умыт и чувствовал щетину на своем лице, чего я терпеть не мог и всегда брился очень тщательно. К тому же я ощущал сильный запах подмышками, и меня одолевало желание почистить зубы.

Манера Сидорова была все такой же прямой и открытой, а на лице играла все та же слегка удивленная полуулыбка. Он заявил, что мы продолжим уточнять детали моей биографии. Я спросил его про обещанный телефонный звонок, но он прервал мой вопрос. Он спросил про мою сестру, Стеллу, которая уехала из России двумя годами ранее, а также про наши паспорта и другие подобные мелочи – что меня удивило, потому что я считал, что в МГБ обо всем этом должны были знать.

Этот второй день допроса отпечатался в моей памяти не так четко, как то, что последовало после. Сидоров продолжал задавать вопросы, относящиеся к обыденным фактам нашей семейной жизни. Где родились мои родители? Какие у меня есть родственники в США? Где они живут? – и т.д. Я отвечал на все из них. Сидоров же подробно записывал мои ответы; за этим занятием мы провели весь день. Я помню, что видел угасающий свет дня за окном – судя по всему, было около четырех или половины пятого. Мы продвигались вперед не очень быстро – ему требовалось все записать, а затем, время от времени, передавать мне на подпись. Процесс шел медленно.

Где-то в середине дня Сидоров резко встал и вышел из комнаты. Меня сопроводили в туалет, затем привели обратно. Я с беспокойством ерзал на своем стуле, в то время как охранник хмуро следил за мной, облокотившись на письменный стол Сидорова. У себя в голове я пытался разрешить мучавшую меня загадку. Я был по-прежнему уверен, что вскоре кто-нибудь придет за мной, но не мог понять причину задержки. Я решил для себя, что буду продолжать играть в эту игру с ожиданием еще, по крайней мере, сутки, если это будет необходимо, прежде чем... Хмм, прежде чем что? Что я могу сделать? До того

момента, пока меня не придут вытащить отсюда из посольства, я должен буду играть в эту глупую игру по правилам Сидорова. Хотя, конечно, рано или поздно в своих расспросах он подойдет к тому пункту, который и станет началом конца всего этого бреда по поводу обвинений меня в шпионаже. Я решил, что если он не докопается до сути происходящего до завтрашнего утра сам, я поставлю перед ним этот вопрос. Не стоит выводить его из себя раньше, чем это будет необходимо. К тому же, может быть, мне это и не понадобится.

Вскоре после того, как стемнело, я вернулся в камеру. На полке под окошком для выдачи еды стояла миска холодного супа. Чуть погодя принесли тонкий слой горячей каши и кружку с так называемым «чаем». Чай я выпил – и все. Аппетита все еще не было. И я по-прежнему не мог заснуть, хотя к этому времени я чувствовал себя по-настоящему разбитым. Измученным. И затем, к моему изумлению, около половины десятого или в десять – мне приходилось гадать, так как я не видел чего-либо наподобие часов все это время – меня снова отвели к Сидорову.

К этому времени я выкурил уже всю первую пачку Честерфилда, и, хотя мои нервы были на пределе и мне хотелось много курить, я решил, что оставшиеся сигареты мне следует беречь. Я продолжал курить у Сидорова на допросе, но больше не предлагал ему свои сигареты. Я чувствовал у себя скверно во рту, а от тела шел резкий запах – температура в камере была достаточно высокой, а возможности помыться у меня не было. Сидоров же выглядел, как и раньше, свежо – вероятно, у него была возможность выспаться между пятью или шестью вечера, когда мы закончили в прошлый раз, и временем, когда меня снова привели на допрос.

Этой ночью мы вновь углубились в мои биографические данные, хотя, казалось, он испытывает к этому меньше интереса, чем накануне – он часто повторялся и, судя по всему, чего-то ожидал. Время от времени он выходил из комнаты. Затем, вернувшись в очередной раз, он сказал, что на сегодня мы закончили и меня переводят в военную тюрьму Лефортово.

Все это время, несмотря на усталость и запряванный глубоко внутри гнев, я все еще переживал своего рода эйфорию от осознания того факта, что нахожусь *внутри*. У меня по-прежнему было чувство, что еще чуть-чуть – и настанет момент истины, и я продолжал гадать, будет ли это предложением работать на них. Внешне я все еще выглядел бодрым и жизнерадостным, улыбаясь Сидорову каждый раз в ответ на очередной задаваемый мне вопрос. Время от времени, между вопросами о нашей жизни в Нью-Йорке, названием корабля, на котором мы плыли из Штатов и тому подобной рутине, Сидоров обращался ко мне, также с улыбкой: «Послушайте. Вы наверняка уже успели все хорошенько обдумать. Не хотите рассказать о своей шпионской деятельности? Вы все еще не понимаете, почему вы здесь?»

В ответ я недоуменно качал головой, продолжая улыбаться. «Хорошо, - продолжал Сидоров. – Мы до этого доберемся. Мне нужно, так или иначе, чтобы все это было записано». И вопросы биографического характера продолжались.

Охранник отвел меня обратно в камеру. Я лег – и, кажется, задремал, потому что испытал настоящий шок, когда вскоре охранник вновь открыл дверь и приказал мне вставать и идти за ним. Когда я шагнул в коридор, там меня ждали еще двое охранников. Мы спустились на лифте, затем меня провели по каким-то запутанным коридорам. Потом я очутился в некоем подобии холла, служившим, по всей видимости, главным выходом из тюрьмы. Там я впервые увидел часы – они показывали чуть больше трех часов ночи. Мне выдали узел и сказали, что в нем находится пиджак, галстук и все то, что у меня изъяли при обыске – включая мою замечательную широкополую шляпу, которая, как я печально подумал, наверняка была безнадежно смята в этом кулке одежды. Я все еще был способен сожалеть о таких вещах. Затем мне дали мое легкое пальто, в котором я был арестован, боковая дверь открылась, и я шагнул наружу, в морозную темноту ночи.

Воздух бодрил, и я почувствовал себя освеженным. Во дворе стоял автофургон с открытой боковой дверью, к которой была приставлена железная лестница. Со стены светил прожектор, и в его свете я смог прочитать расцветченную надпись на боковой стенке фургона – «Пейте советское шампанское», с нарисованной бутылкой и некими художественными изысками. Я часто видел такие фургоны в Москве. Только раньше я не обращал внимания на два ряда вентиляционных отверстий на крыше – всего их было шесть.

Новые охранники вели себя намного грубее. Один из них препроводил меня по лестнице в фургон, и я заметил револьвер в его руке. Другой забрался в фургон передо мной. С обеих сторон чрезвычайно узкого центрального прохода были расположены шесть маленьких боковых дверей, напоминавших щели. Тот охранник, что забрался в фургон передо мной, открыл одну из них и махнул рукой, приказывая мне забираться внутрь. Это был закрытый ящик размером с клетку для кролика. В нем невозможно было ни сидеть, ни стоять – только свернуться в комок, упираясь в колени подбородком. Я с трудом мог представить, что вообще помещусь в нем, однако меня втолкнули вовнутрь, и дверь закрылась. Затем я услышал, как первый охранник вышел из фургона, в него сел второй, боковая дверь захлопнулась, водитель завел мотор, и машина тронулась с места.

Я услышал, как вновь со скрежетом разъехались створки ворот по направляющим рельсам, и мы поехали вперед – я снова очутился на московских улицах.

Прошло, как мне сейчас кажется, минут пятнадцать – хотя тогда мне казалось, что дольше, потому что все мое тело болело из-за скрюченного положения, в котором я вынужден был находиться. Большая часть моей природной самоуверенности ушла от меня в тот самый момент, когда меня впихнули, словно кусок мяса, в эту железную клетку. Мне пришлось вновь успокаивать себя – «полегче, Алекс, полегче; самое последнее, что тебе нужно сейчас, это взбеситься и потерять самообладание». К тому времени, как фургон остановился, я перестал дрожать от гнева, но моя спина и ноги чертовски болели. Я услышал, как кто-то вышел из кабины, потом хлопнула дверь. Затем, после небольшой паузы, я услышал звук металлических ворот, поворачивающихся в своих петлях. Машина вновь завелась и переехала через высокий бордюр или острый съезд.

Все это время я сидел, скукожившись, в абсолютной темноте, болтаясь взад-вперед вслед за движением фургона. Во всем этом было одно небольшое преимущество – после всего полутора дней в тюрьме свежий ночной воздух, проникавший в вентиляционные отверстия, казался невероятно чудесным.

Фургон остановился опять. Я услышал, как открылась боковая дверь. Затем охранник отпер мою кроличью клетку. Пока я выползал наружу, я не видел охранника, стоящего внутри – они никогда не подпускают заключенного слишком близко к вооруженной охране. Было еще слишком темно, чтобы я мог что-то разглядеть – хотя после времени, проведенного в абсолютной темноте, мои глаза были очень чувствительны к свету.

Фургон остановился напротив двери, меня провели через плохо освещенный коридор, и мы вышли в своего рода приемную, где за окошком сидел человек.

- Имя?

- Меня зовут Александр Долган. Я американский гра...

- Заключенный, молчать!

«Заключенный». В его руках была папка, и, судя по всему, там была моя фотография. Он посмотрел в папку, и некоторое время изучал мое лицо. Неужели они никогда ничего не путают? Никогда не делают ошибок? Может, Сидоров прав?

Мне выдали ложку, миску, свернутый матрас (очень тонкий), простыню, затхлое старое одеяло и жесткую подушку. Затем меня провели и завели за угол, и я снова очутился в каменном мешке, но на этот раз пол в нем был асфальтовым, он отдавал сыростью и другим запахом, который впоследствии я научился распознавать как тюремный запах – аммиака, мочи, грязных тел – запах смерти.

И затем, после короткого промежутка времени, меня выпроводили оттуда и привели в камеру, которой суждено было стать моим домом в течение последующих десяти месяцев. По пути туда охранник привел меня в главный корпус Лефортовской тюрьмы, и я остановился на мгновение от изумления, взглянув вверх. “Вперед, - прошипел охранник. – Двигайся!” На ремне у него болтались ключи, которыми он позванивал при ходьбе – в отличие от Лубянки, где охрана цокала языком при сопровождении заключенного. Я же по мере движения вглядывался в необъятное пространство надо мной – у меня было такое впечатление, словно я попал в чрево огромного стального корабля. По обеим сторонам вдоль стен тянулись узкие металлические проходы, уходя на несколько этажей вверх. Все центральное пространство между каждым из уровней заполняла металлическая сетка, протянутая поперек. Каждый проход, шириной чуть более метра, был огорожен извне металлическими перилами, и каждый, кто бы не прыгнул через них или не упал, оказался бы лежать невредимым на железной сетке.

Мы повернули за угол и пошли вдоль стены. Стена была окрашена в черный цвет, но, когда я протянул руку, я почувствовал, что она была каменная. Взглянув вверх, я увидел, что поднимающиеся стены теряются в головокружительной высоте – самые верхние уровни растворялись в полутемной дымке, поэтому я не мог определить, сколько же их было всего, и была ли надо всем этим крыша. Создавалось впечатление чего-то необъятного, вздымающегося ввысь. Мы подошли к лестнице, ведущей наверх, в глубину этого подобного пещере пространства. Вид этой лестницы заставил меня похолодеть изнутри – я почувствовал холод в спине и руках, словно озноб от холодного ветерка. В ступенях лестницы были углубления, словно миллионы и миллионы ног износили ее, выточив камень.

Лефортовская тюрьма по форме напоминает букву К – одна прямая длинная секция, и два крыла, радиально отходящие от центра в стороны. Охранники провели меня на третий этаж по этой каменной лестнице, а затем, от центральной точки, в конец одного из диагональных крыльев здания.

Хотя само здание, вся его темная масса, навевало ужас, почти ощутимой тяжестью висящий в воздухе, я испытывал не столько страх, сколько чрезвычайное любопытство, смешанное с вызывающим дурноту мрачным предчувствием. В целом мои чувства не были исключительно неприятными. Я все яснее осознавал, что все это не сможет прекратиться и разрешиться в мгновение ока, но в тот момент я рассчитывал, что могу провести здесь еще, быть может, двое суток, ну, четверо – или, в самом крайнем случае, неделю. Теперь, когда первоначальный шок от ареста и унижений сошел на нет, я снова смотрел на все это как на некое экстремальное приключение. Все это напоминало мне поход маленьким ребенком в кино на фильм ужасов – когда ты понимаешь, что можешь напугаться сильнее, чем вынесут твои нервы, но бравада и любопытство толкают тебя вперед. И вот так я шел со своим узлом, спотыкаясь, вперед – озираясь то вверх, то вниз, то по сторонам, где за выточенными каменными ступенями и металлической сеткой внизу простиралось огромное чрево пещеры, в которую я попал. Шагая по узким дорожкам и вглядываясь в темную прорву внизу, я чувствовал небольшое головокружение, ощущая себя героем фильма ужасов, попавшим непосредственно в сам фильм. Наконец, мы дошли до конца крыла здания, охранник открыл два тяжелых засова на двери камеры и движением руки приказал мне входить. Перед тем, как шагнуть в темноту внутри, я успел заметить номер на двери камеры – 111. Вначале темнота внутри нее показалась мне приятной – после яркого света на Лубянке она располагала к отдыху. Я подумал: это хорошо, что здесь на ночь в камерах гасят свет. Но затем, к своему изумлению, я обнаружил, что стены камеры, как и ее пол, как и тяжелая металлическая койка у стены – все было выкрашено в черный цвет. Над дверью в жестяном фартуке еле-еле светила тусклая 25-ваттная лампочка.

В отличие от камеры на Лубянке, здесь я обнаружил также кран с водой и раковину, слив от которой шел к унитазу. Последний представлял собой просто чугунную воронку в

полу, закрытую крышкой. Я открыл крышку, и в нос мне ударил зловонный запах – я тут же закрыл ее обратно.

Обычно, когда вы смертельно устали – а я чувствовал себя именно так – достаточно лишь почувствовать постель под собой, как вас немедленно валит в сон. Но тонкий жесткий матрас, как и изрядно потрепанное одеяло с покрывалом, пахли ужасно. Будучи невероятно усталым, я понимал, что быстро уснуть у меня не получится. Мне начали вспоминаться сотни историй из тюремной жизни, виденные мною в кино или прочитанные в книгах. “Узник Зенды”, «Человек в железной маске», «Отверженные». Что ж, решил я – в самый раз начать вести календарь. Необходимо поддерживать связь со временем. Я взял свою ложку и процарапал линию на черной поверхности стены напротив койки. Мой первый день в Лефортово. Глядя на эту отметку, что-то зацепило мой взгляд – царапины на стене выглядели как слова, покрашенные поверху. Я наклонил голову влево, чтобы тусклый свет, идущий сбоку от двери, высветил царапины получше, и стер со стены пыль. Под ней проявились новые слова. Печальная весточка из прошлого – стихи, ироническое приветствие. Знак.

Кто сюда вошел, не теряй надежды
Кто выходит, не радуйся
Кто тут не был, тот будет
А кто был, тот не забудет.

Ну, я еще не потерял надежды – подумалось мне. У того бедолаги было чувство юмора. Вероятно, отсидел немалый срок, несчастный сукин сын. Слава Богу, что я ничего не совершил. Уж мне бы точно не захотелось провести столько времени в этой дыре! Я положил свои постельные принадлежности на койку, не став их разворачивать. Камера выглядела достаточно чистой. В ширину она была, как я прикинул, около двух метров с небольшим, в длину – чуть больше трех с половиной метров. Рядом с дверью располагался конический чугунный унитаз с деревянной крышкой, к которому вел слив из раковины – таким образом, его можно было, более-менее, промывать. Из противоположного конца камеры, если встать на угол койки, можно было дотянуться до рамы маленького окна, закрытого толстым матовым стеклом, усиленным изнутри проволокой. Свет, шедший извне, был виден в виде слабого блика на противоположной стене – судя по всему, над окном снаружи располагался металлический козырек. Непосредственно под окном стоял маленький хлипкий стол. Я все еще продолжал стоять на краю своей койки, когда окошко на двери с лязгом открылось, и охранник прошипел громким шепотом: «Заключенный! Еще раз сделаешь это, и отправишься в карцер! Лечь на койку! И, если будешь накрываться, держи руки поверх одеяла, чтоб я их видел. На койке не стоять и к окну не приближаться!»

Внутри меня все кипело от возмущения. Я попытался протестовать, сказав, что останусь здесь еще максимум на несколько часов и понятия не имею, что такое карцер, и поэтому все это для меня ничего не значит, и что-то еще, о чем я тогда мог подумать – но охранник только приказал мне замолчать, если я не хочу настоящих неприятностей, и захлопнул окошко. Ну ты и сукин сын, подумалось мне о нем – после всех тех достаточно вежливых охранников на Лубянке и той манеры, с которой держал себя со мной Сидоров. Сидоров, подумалось мне, не такой уж и плохой парень – особенно по сравнению с этим тюремным ублюдком. Возможно, утром мы снова поговорим о том, чтобы связаться с посольством, возможно, он поймет...

В кармане у меня оставалась последняя сигарета. И еще с десяток неиспользованных спичек. Что-то заставило меня поискать в кармане окурки уже выкуренных сигарет. Я достал свою последнюю сигарету, некоторое время вдыхал ее аромат и затем зажег. Глазок на двери открылся. Интересно, станет ли этот узколобый жлоб возмущаться тем, что я курю, подумалось мне. Глазок закрылся. Минуту спустя он открылся снова. И опять

закрылся. Вскоре я понял, что это был ритм – короткий досмотр раз в минуту. Покурив, я немного успокоился. Пусть этот ублюдок смотрит, подумалось мне. Я подошел к параше, открыл крышку и с наслаждением помочился. Я предвосхищал свою утреннюю встречу с Сидоровым, когда что-то, наконец, будет сделано. Однажды, думалось мне, я напишу об этом фантастическом сооружении, похожем на корабль. Какое отличное кино бы из этого вышло – надо только вложить туда подходящий сюжет.

Я почувствовал, как на меня накатывает сон, и был благодарен за это. В отличие от камеры на Лубянке, здесь было прохладно. Я натянул одеяло до подбородка, помня о том, что охранник говорил мне про руки, и затем провалился в сон.

- Подъем! - дверь грохотала от ударов. – Подъем!

Мне казалось, что я спал всего секунд десять. Впервые за более чем сорок часов. В реальности я спал, наверное, около полутора часов. В Лефортово вас будят в шесть утра. Я вновь натянул одеяло и мысленно послал все это к черту. В следующее мгновение дверь с ужасным грохотом распахнулась, и человек с жестким взглядом сорвал с меня одеяло.

- Заключенный должен встать, когда ему говорят встать! Если он не встает немедленно, то отправляется в карцер. Это твой первый день здесь, поэтому в этот раз я сделаю поблажку. Но в следующий раз ее не будет. Подъем!

Странно, но он до меня даже не дотронулся.

Я встал.

В голове у меня был туман, глаза слезились, в груди чувствовалась тяжесть. Я подошел к раковине и плеснул на лицо немного воды. Внезапно, впервые после своего ареста, я почувствовал голод. Мне вспомнился запах маленькой полукилограммовой буханки хлеба на Лубянке, и я отметил про себя, что с нетерпением жду ее прибытия. Я слышал, как вдоль по коридору раздаются клацанье замков, грохот открывающихся и захлопывающихся дверей. Вскоре открылась и моя дверь – и человек с жестким взглядом протянул мне ведро, наполненное до половины холодной водой, и маленькую серую тряпку.

- Мой пол, - вот все, что он сказал.

Господи, подумалось мне, одно унижение за другим. Лучше бы мне побыстрее добраться до Сидорова. Сидоров стал мне казаться чуть ли не другом. «Он положит конец этому дерьму!» – сказал я громко.

Окошко на двери вновь открылось. Человек с жестким взглядом произнес:

- Заключенный, разговаривать в камере не положено. Вымой пол и вытри его как следует! Он кинул в мою сторону тяжелый взгляд, убедившись, что его слова были мной восприняты должным образом.

Я вылил немного воды на асфальт, растер ее тряпкой, и пол оказался вымыт достаточно хорошо. Затем я встал перед дверью и, когда глазок вновь открылся, я вытянул руки с ведром и тряпкой, чтобы охранник увидел, что я закончил с мытьем. Дверь открылась. Он взглянул на пол, хмыкнул, взял ведро и снова закрыл дверь.

Когда пришло время завтрака, я перестал чувствовать голод, так как кусок хлеба, который мне принесли, выглядел затхлым и грубым; он был грязно-коричневого цвета и от него шел гниловатый запах. Сверху хлеб был немного посыпан сахаром. Это не была та маленькая, но полноценная буханка, что мне давали на Лубянке – это был кусок, отрезанный от большой буханки. В месте отреза хлеб выглядел подозрительно темным. Я вздохнул, но подумал, что, возможно, мне придется провести здесь еще день или два, и поэтому мне понадобятся некоторые силы, для чего следует все же немного поесть. Я откусил кусок от неприятно влажной массы, потом оторвал другой и посыпал на него сверху немного сахара, прежде чем положить в рот. Дымящаяся кружка у окошка раздачи выглядела как чай, но не содержала внутри себя совершенно никакого аромата. Тем не

менее, эта теплая жидкость была приятна, так как без одеяла в камере ощущалась довольно явственная прохлада.

Моя голова немного гудела, и от куска съеденного хлеба меня стало вновь клонить в сон. Я допил чай, сел на край своей койки и закрыл глаза.

Окошко на двери с лязгом открылось.

- Заключенный, спать в течение дня не положено. Закрывать глаза не положено. Сидеть на кровати можно, но лицом к двери, глаза держать открытыми. Тебе следует выучить эти правила как можно быстрее, иначе в Лефортово тебе придется очень нелегко. Дозволяется ходить по камере или стоять лицом к двери. Не допускается ложиться или садиться, кроме как на койку лицом к двери. Понятно?

Я устало кивнул. Энтузиазма продолжать играть в эту дурацкую игру у меня оставалось все меньше. Мне хотелось поскорее добраться до Сидорова и закончить с этим.

Когда мне подошло время сходить в туалет по большому, я понял, что в камере нет туалетной бумаги. Я постучал в дверь, и когда охранник подошел, я попросил его принести немного. Он отрицательно помотал головой. Я повторил свою просьбу, дав ясно понять, что мне это нужно прямо *сейчас*, но он снова помотал головой и закрыл окошко. Таким образом, я научился подмываться по мусульманскому обычаю, левой рукой.

В Лефортово, когда заключенного ведут на допрос, его проводят через маленькую комнатку наподобие приемной, а оттуда затем в здание, в котором вдоль стен идут комнаты для допросов. В маленькой комнатке находится большая книга, наподобие бухгалтерской, в тяжелой металлической оправе, отшлифованной годами использования. В оправе есть щель, расположенная таким образом, что видно только имя заключенного, которого ведут на допрос или с допроса, и имя следователя. Все остальное скрыто от глаз. В этой комнатке с железной книгой были две вещи, встречи с которыми я всегда ждал. Во-первых, часы. Благодаря этим часам я всегда знал точное время, когда меня ведут на допрос, и это позволяло мне фиксировать в сознании последовательность времени суток. Этот маленький якорь, связывающий меня с реальностью, становился все более важным для меня по мере того, как один день сменялся другим, и мое сознание становилось все менее ясным.

Другой важной вещью была подпись, которую я должен был оставить в этой книге. Всякий раз, когда я подписывал протокол допроса у Сидорова, используя латинские буквы, я чувствовал внутри себя радость от маленькой победы. Мне было прекрасно известно, как ставить подпись, используя русские буквы, мне неоднократно приходилось таким образом расписываться под различными официальными документами. Но я решил для себя, в качестве некоего способа держать ситуацию под своим личным контролем, каждый раз расписываться иначе, придумывая новые стили росписи – как по-русски, так и по-английски, чтобы ни разу не предоставить им два одинаковых образца своей подписи. Я думал также о том, что в случае, если дела приобретут серьезный оборот и меня заставят подписаться под сострепанными инкриминирующими меня материалами, я потребую, чтобы эту подпись сравнили с моей настоящей росписью, и тогда бы я смог заявить, что это был не я. И каким бы ребячеством все это не казалось, как бы ни смотрелось все это несерьезным, но это стало одной из тех первых техник, которые я развил с целью сохранения чувства некоего превосходства и контроля над ситуацией, где каждая подобная мелочь была важна для поддержания моего духа в целом.

Мне доставляло удовлетворение все, что противоречило ИХ ожиданиям и условиям. Постоянно улыбаться на допросах, быть всегда подчеркнута вежливым, каждый раз изменять подпись: все это помогало мне сохранять самообладание и человеческое достоинство, а не стать просто куском мяса, которым эти ребята распоряжаются по своему усмотрению.

Итак, руки за спину, взгляд строго перед собой – и вперед, шагом марш, по мостику галереи внутреннего двора, бросая быстрый взгляд вниз-вверх через металлическую сетку. Вниз по ступеням на первый уровень, ступая по протертым в камне следам, наискосок через главное крыло (прямо в букве «К»), затем наружу, по переходу через деревянный коридор в соседнее здание, вход в которое предваряла та комната с железной книгой. Снова расписался невообразимой подписью и почувствовал себя на высоте. Этим утром я должен получить новости из посольства, я был в этом уверен.

Вдоль по коридору, а вот и вход в комнату для допросов. Сидоров улыбается. Отлично.

- Мы получили письмо из посольства, - начал Сидоров.
- Я так и знал! Это чудесно! – я подался вперед за письмом.

Манера Сидорова резко изменилась, и он выхватил у меня письмо.

- Ничего особенного, просто формальная нота протеста. Они ничего не знают, и они ничего не узнают. Спрашивают, не могли бы мы их проинформировать. Ха!

Меня словно ударило громом. Вероятно, я даже побледнел. Но затем что-то произошло – я увидел свет. Я сказал себе: «Он играет с тобой, Алекс. Не дай ему достать тебя. Достань его!»

И я громко произнес:

- Конечно, вы не осмелитесь показать мне письмо, - я широко улыбался. - Потому что вопрос моего освобождения будет решен через более высокие инстанции, и вы окажетесь в весьма неловком положении. Не волнуйтесь, - я испытывал восторг от этих слов, я их специально припас для этого случая, - не волнуйтесь. Скоро все разрешится.

Сидоров был крепким парнем. Он поднял на меня свой взгляд, исполненный едкой циничной усмешки. Мне показалось, что в этом взгляде была примесь даже некоторого восхищения. Затем его лицо потемнело, и он бросил: «К такой-то матери твое посольство. Это все, что ты от них услышишь. Это конец. Это все, на что они способны. Ты будешь здесь до конца своей жизни, ты это понял?! И даже если мы и выпустим тебя когда-либо, ты всегда будешь под нашим наблюдением. Это навсегда, заключенный. Не обнадеживай себя мечтами о помощи от твоего дерьмового посольства, потому что они ничего не смогут сделать!»

Сидоров обошел свой стол и повернулся ко мне спиной, чтобы я лучше ощутил тяжесть его слов. Я ощутил ее вполне. Мне стало плохо. Холодно. Ужасно. Но в то же самое время я знал, что он играет со мной. Я знал, что, скорее всего, он врет (хотя время показало, что он говорил чистую правду), и я знал, что мне следует любой ценой не дать его игре взять над собой верх. Если бы он был фокусником, то я должен был стать тем хитрым мальцом, что следит за его левой рукой, опускающейся в карман, в то время как остальные дети заворожено смотрят за правой, в которой вот-вот должны появиться часы и кольцо. И когда Сидоров развернулся ко мне, я снова широко улыбался: «Что ж, - произнес я оптимистично, - тогда примемся за работу?»

Глава 4

Если бы я знал, насколько тяжелой будет эта «работа», я не был бы столь оптимистичен. В этот день я вернулся в свою камеру с отчаянным желанием урвать хоть немного от того сна, от которого меня оторвали. Однако только я прилег, как окошко на двери с грохотом распахнулось, и последовал рык охранника: «Заключенный, лежать до десяти вечера не положено! Сесть лицом к двери!» К тому времени, когда, по моим ощущениям, должно было быть около девяти вечера, я уже не мог сдерживать зевоту. Мне казалось, что еще часа я не выдержу. Затем окошко опять распахнулось: «Приготовиться к допросу!» Я не мог в это поверить! Когда вошел Сидоров, я с яростью на него набросился. Я кричал, что он не может ждать от меня достоверных показаний, если мой мозг не имеет возможности отдохнуть. Он выслушал меня со своей циничной усмешкой и затем приступил к новым вопросам. Я осознал, что эти первые ночной и дневной допросы были только началом нашей шахматной партии. И что это все будет еще продолжаться до... до чего? Я осознавал, в оцепенении, что все это – начало самого ужасающего испытания на выносливость в моей жизни. И тогда я принял решение. Я бросил на Сидорова взгляд, полный глубокой затаенной ярости, и тихо, но внятно произнес: «Я не сломаюсь. Ты сломаешься первым, сволочь!»

Секретная полиция в Советском Союзе известна под именем «органы». В этом слове есть некоторый сексуальный подтекст, хотя они и сами используют его. Оно прочно вошло в русский язык. Однако это совсем не то слово, услышав которое, человек улыбается – кроме как в редком анекдоте из разряда черного юмора. «Органы», как и все, что они олицетворяют (на протяжении последних десятилетий именуемые как ОГПУ, НКВД, МГБ и, наконец, КГБ), служат символом репрессий такого размаха, что лишь один вид униформы с бордовыми лампасами, или упоминание о ночном стуке в дверь («это были Органы, ну, вы понимаете»), как и любая реальная встреча с их представителями, кажется, полностью отнимают у большинства советских граждан саму волю к какому бы то ни было сопротивлению. То же самое, судя по всему, в некоторой степени произошло и со мной в момент моего ареста.

Хотя, правильнее будет сказать, в момент моего похищения. Когда обычный полицейский арестовывает вас, у него нет нужды скрывать свои действия. На его стороне как закон, так и всеобщая поддержка граждан, и потому он может открыто сказать: «Я арестовываю вас по обвинению в том-то и том-то». Но эти люди никогда не говорили мне, что я арестован. «Пройдемте на пять минут, нам нужно поговорить», - вот что они мне сказали.

И в то же самое время я понимал, что происходит. По крайней мере, я догадывался о части этого. Не об всем. У меня не было ни малейшего представления о том, насколько фатальным для меня мог оказаться тот момент. Солженицын писал о «кроликах» по всей России – о тех, кто никогда не протестовал. «Что с нами такое?» - задавался он вопросом в своем «Архипелаге Гулаге» (с этим государством в государстве мне вскоре суждено было непосредственно познакомиться). «Почему мы не восстали, не сопротивлялись?»

У меня есть ответ на этот вопрос. Потому что КГБ и все предыдущие версии этой организации не являются легитимными, или не действуют в рамках закона. В нашем американском обществе все то, что нелегитимно, автоматически воспринимается менее существенным. Однако нелегитимный орган, наделенный огромной властью и полномочиями, гораздо более эффективен в своей способности запугать миллионы людей по сравнению с легитимным органом. По причине того, что этот орган превышает закон, он не подотчетен никому и ничему – кроме как прихотям и аппетитам своих создателей. А его создатели и руководители либо всегда находятся в тени, либо это некие мифические фигуры вроде Сталина – таких гигантских масштабов, что они обладают бесконечной властью и неподотчетны никаким законам или органам.

Люди боготворили Сталина. Людям нравится выражать свою любовь к тому, кто обладает бесконечной властью – в надежде, что он также ответит им своей любовью. Людям было прекрасно известно, что при Сталине миллионы исчезли посреди ночи – но большинство

считало, что «все это, должно быть, во благо». Мать моей жены была замужем за офицером КГБ. Когда она впервые услышала мою историю, то тайком сказала Ирине – хотя ненавидела своего мужа, который бросил ее за много лет до этого - «Алекс, *должно быть*, сделал что-то ужасное, иначе они никогда бы его не взяли!» Ей потребовалось долгое время, чтобы посмотреть на вещи по-иному.

Я знал советского военного летчика, Петра Бехтемирова. Я встретился с ним в лагере. Он обожал Сталина. Однажды ночью ему приснился ужасный сон – Вождь умер. Бехтемиров проснулся в слезах. Он разбудил свою жену и рассказал ей, что только что видел самый ужасный из снов – о том, что умер Иосиф Виссарионович. Его душили рыдания. В тот день он пошел на базу, все еще терзаемый ночным кошмаром. Некоторым своим приятелям-летчикам он поведал о своем сне и о том, как это видение его угнетало. Один из них его и выдал, и МГБ обвинило его в подготовке покушения на Сталина («политический терроризм»), а вторым обвинением было «попытка увидеть антисоветский сон». Он получил двадцать пять лет лагерей. Его жена получила десять – за недонесение. Никто мне не верит, когда я это рассказываю, но я знаю, что эта история – чистая правда.

Так или иначе, но сам факт того, что тайная полиция способна на такое и делает такого рода невероятные вещи, противоречащие здравому смыслу и гуманности, дает ей огромную психологическую власть на улицах советских городов и в домах советских граждан. И когда рука офицера тайной полиции ложится вам на плечо, это словно рука дьявола, которому не требуется каких-либо оправданий. И вы не сопротивляетесь.

После нескольких дней допросов у Сидорова, во время которых я старался использовать любую возможность, чтобы пожаловаться на отвратительное питание и недостаток сна - всегда, однако, в шутовском ключе, насколько это могло у меня получиться, а он снова и снова возвращался к основным моментам моей биографии, стараясь подловить меня на том, что я что-то утаил - теперь мы, наконец-то, начали переходить к делу. В последние дни этой первой недели, когда я думал, что умру, если у меня не будет в самое ближайшее время возможности отоспаться, Сидоров начал проговариваться:

- Слушайте, мы *знаем*, что вы собирались предпринять. Например, вы работали клерком, старшим клерком отдела документации в консульском департаменте – верно, вы так сказали?

- Конечно, вам все это известно, - отвечал я.

- Отлично. Это верно. Мы все о вас знаем, вы в этом убедитесь. Итак, клерк – это достаточно низкая должность. Простого клерка обычно не приглашают в качестве частного гостя на вечер к поверенному в делах, или на обед в разные посольства. Но у нас здесь есть примеры с датами, - Сидоров хлопнул по папке тыльной стороной ладони, он всегда так делал, - о вашем обеде в Миссии Австралии.

- Видите ли, помощник военного атташе – мой хороший друг. Однажды я увел у него девушку, и...

- Помощник военного атташе! Действительно. Молодой клерк – близкий друг помощника военного атташе! Это немного необычно, вы не согласитесь? А теперь посмотрим сюда. В другой день у вас состоялась частная встреча на обеде с сирийским поверенным в делах, господином Баба. Поверенным в делах! Вы скажите, что это вполне обычно? А здесь вы на обеде в посольстве Канады, здесь – в бельгийском посольстве, тут – во французском. Младший клерк? И я могу в это поверить? И вы можете после этого утверждать, что в действительности не готовились к специальному заданию? Мы знаем, что вас готовили. И мы могли бы сэкономить уйму времени, если бы вы начали мне рассказывать об этом прямо сейчас.

Я тянулся за папкой: «Покажите мне хотя бы часть этой дряни. Дайте увидеть все эти так называемые доказательства! Дайте взглянуть, на чем вы их строите!»

Но Сидоров убирал папку со словами: «Нет, конечно же, нет! Это оперативные материалы. Вы никак не можете их видеть».

Тогда я обычно улыбался – простая улыбка: «хорошо», - показывая, тем самым, что, если я не могу ничего увидеть, то ничего и не скажу.

Сидоров знал по именам каждую из девушек, с кем я когда-либо встречался. Большинство моих девушек были русскими, и теперь я думаю, что большинство из них были из МГБ, или, вернее было бы сказать, что они отчитывались перед МГБ и, вероятно, в значительной степени находились под контролем этой организации.

В послевоенной Москве я отлично проводил время. Русским девушкам очень импонировали американцы. Во-первых, мы были тогда большими друзьями, союзниками, а потом у нас было много хороших сигарет, мы могли достать нейлоновые колготки, у нас водились деньги, и нам нравилось весело проводить время. Удивительно, как много эпизодов этого веселого времяпрепровождения было известно Сидорову, и еще более удивительным было его умение придавать множеству самых невинных эпизодов значение, так или иначе связанное с моей предполагаемой антисоветской деятельностью. К примеру, я знал одного торговца бриллиантами из Нью-Йорка, с которым мы однажды пошли в ресторан. Я был знаком с торговцами мехами и бриллиантами, а они знали друг друга, у них у всех водились деньги, и мне нравилось ходить с ними по хорошим ресторанам, о которых знал я, и развлекаться там за их счет. И я любил поговорить об Америке, потому что планировал вскоре вернуться домой, и мне хотелось быть в курсе всех сплетен и разговоров с улиц Нью-Йорка, а также всего того, о чем вы не узнаете со страниц газет или из журнала «Тайм». Так или иначе, но этот господин из Нью-Йорка, уже достаточно пожилой, предложил пообедать с ним в гостинице «Метрополь», что находится неподалеку от Красной Площади и от здания посольства, и чтобы я привел с собой парочку проституток. «Ничего серьезного, - сказал он. – Просто мне нравится быть в компании женщин».

Я выяснил, что в Москве существует целая индустрия проституции (которая до сих пор там процветает), и наладить контакт было достаточно просто. Цены варьировались от, например, пятидесяти рублей у нее и сорока рублей у меня.

Итак, я подцепил парочку девчонок, сказав им, что они, возможно, многого не заработают, но получают хороший обед и, как минимум, чаевые – за этим я обязался проследить. Девчонки оказались компанейскими, мы очень весело провели время и достаточно неплохо пообедали; «Метрополь» – фешенебельный отель, но еда в крупных отелях обычно не дотягивала до их уровня.

Когда девушки потом удалились в дамскую комнату, Гарри, торговец бриллиантами, спросил у меня, считаю ли я безопасным пригласить их к нему в номера наверх – он беспокоился, что они могут быть агентами МГБ. Я ответил, что не знаю. Любой человек мог сотрудничать с МГБ. Однако многие, насколько мне было известно, отводили к себе проституток, и все заканчивалось благополучно. В любом случае, это нужно было решать ему, и мне это было безразлично. На этом все и закончилось.

Только вот этот наш разговор, как выяснилось, был записан с помощью скрытого микрофона. У Сидорова имелась его распечатка, и позднее он стал напрямую ссылаться на этот разговор, обвиняя меня в попытке раскрыть личности оперативников МГБ!

Я не знаю, был ли этот разговор одним из тех «неопровержимых» свидетельств, которые, по его словам, были собраны против меня, но одним из наиболее маразматических, безусловно, он был. Надо отдать Сидорову должное в том, что он (или мне это показалось) относился к этому «свидетельству» с некоторой иронией. Возможно, он использовал этот разговор для того, чтобы смутить меня – но, так или иначе, вскоре он сменил тему разговора.

Я сказал Сидорову:

- В любом случае, ваши оперативники неуклюжие и заметные. Они постоянно следовали за мной и за всеми остальными из посольства. И нам всегда было об этом известно, и мы всегда знали, как уйти от слежки. Вы думаете, что знаете обо мне все, но есть очень многое, о чем вы не знаете. Это все не имеет никакого отношения к шпионской деятельности, но вам и правда следует получше тренировать своих оперативников!

- Я не понимаю, о чем это, - ответил Сидоров с некоторым раздражением.

- Хорошо, я вам расскажу. Например, я выхожу из посольства пообедать, или у меня с кем-то встреча, или свидание вечером? Человек в гражданской одежде следует за мной до первого перекрестка, и следит, в каком направлении я пойду. Он не хочет, чтобы я знал, что за мной хвост, так? Поэтому он остается сзади, заходит в будку и звонит по телефону человеку в паре кварталов от меня по той же улице. «Следи за молодым блондином, рост метр восемьдесят, восемьдесят пять килограмм. Американское посольство». Или что-то типа этого, так? Предполагается, что я думаю, будто за мной не следят – ведь сзади меня уже никого нет. Конечно – ведь тот парень, что следит за мной, теперь находится впереди меня! Я прав?

Сидоров не сказал ни слова. Он просто уставился на меня своим серым, исполненным цинизма взглядом.

- Только я уже начеку, - продолжал я свой рассказ, - и слежу за телефонной будкой впереди меня. И, как только я вижу человека рядом с будкой за пару перекрестков от меня, я жду некоторое время, пока человек позади меня не исчезнет из вида, а затем сворачиваю в боковую улицу, или захожу в магазин и затем иду обратно. Мне всегда удавалось избавиться от хвоста, стоило мне только этого захотеть.

Я улыбнулся Сидорову. К моему удивлению, он улыбнулся в ответ.

- Пожалуйста, продолжайте, - сказал он с небольшим нажимом. – Это все очень интересно.

- Конечно, - ответил я. – Ваши люди постоянно надоедали мне, когда по вечерам я брал машину из посольства. Они следовали за мной повсюду и очень нервировали девушку, с которой я находился в машине в это время.

Сидоров покачал головой.

- Вы не верите, что я все знал? – продолжил я. – Хорошо. М6-3839. М6-5514, М3-7921. Вы не знаете, что это такое? (На самом деле, все эти номера я придумал на ходу. Хотя я, действительно, запоминал номера машин МГБ, которые следили за мной, но в тот момент я помнил только один из них, так как эта машина преследовала меня несколько раз.)

- Смотрите, - сказал я. – Если вы мне не верите, запишите номер. М7-2895. Проверьте, не одна ли это из ваших машин.

Достаточно продолжительное время Сидоров серьезно смотрел на меня. Он записал номер. Затем он встал и прошелся по комнате, что-то обдумывая.

Я подавил в себе желание похвастать в деталях о том, как я избавлялся от преследующей меня машины. Я считал, что эта техника мне еще пригодится. Квартал между Большим театром и филиалом Московского Художественного театра был, словно пчелиные соты, испещрен замысловато связанными друг с другом дворами, открывающимися либо на улицу, либо в другой двор посредством узких переходов. Я хорошо их изучил, и мне были знакомы все ходы и выходы. Я мог вести своего преследователя вдоль по Петровке в сторону от Большого театра, и, не доезжая до угла Петровского пассажа, где расположен

театр, внезапно свернуть в арку налево. Там было темно, и приходилось ехать медленно, если только вы не были полностью в себе уверены. Я обычно выключал фары, так как мне они не были нужны. Мои преследователи часто оказывались в проходах, слишком узких для них. А я мог вывернуть влево-вправо и снова оказаться на Петровке, выехав через другую арку и поехав в противоположном направлении. Или, проехав напрямую через квартал, оказаться на Пушкинской, или, зигзагом, вернуться к Петровскому и выехать напротив театра – в то время как мои преследователи, вероятно, все еще пытались выбраться задним ходом из своего тупика. Все это я уместил в одной фразе и просто сказал Сидорову, чтобы он, проверяя номер, поинтересовался у своего оперативника, удавалось ли ему оставаться у меня на хвосте. «Так вы узнаете, насколько он честен – потому что ему никогда этого не удавалось».

Сидоров попытался вывернуться и вновь стать хозяином положения, небрежно обронив:

- Конечно, все это нам хорошо известно. Я просто ждал, пока вы не расскажете об этом; я знал, что вы это сделаете, и вы сделали. Но после того как вы рассказали обо всех этих инкриминирующих вас фактах, почему бы вам не признаться в том, что вы занимались шпионажем?

- В том, что я пытался уйти от вашей слежки, нет ничего инкриминирующего. Ваши люди меня раздражали. Мне хотелось хорошо провести время с девушкой. Вы не можете чувствовать себя легко и свободно с девушкой, когда за вами постоянно следует машина, полная оперативников из МГБ.

- А почему нет, если вам нечего скрывать?

- А вам нравится находиться под слежкой во время ваших свиданий?

Улыбка Сидорова испарилась. Он понял, что я слышал разговоры, которые он вел со своей подругой по телефону в комнате для допросов. Обычно он звонил ей почти каждый день – иногда чтобы сказать, что будет работать этой ночью, иногда чтобы назначить свидание. Я уверен, что он никогда не думал, что у меня хватит смелости хотя бы слегка намекнуть на эти его разговоры. Сидоров сел на свое место, неотрывно глядя на меня, держа руки на столе. Затем он открыл ящик стола, вынул револьвер Токарева и положил его на стол, направив в мою сторону. Должно быть, это был ночной допрос – днем он никогда такого не делал.

Он встал и прошел в дальний левый угол комнаты, играючи держа револьвер в руке направленным в мою сторону.

- Я не думаю, что ты отдаешь себе отчет в том, в какой ситуации находишься, тупой ты сукин сын, - произнес Сидоров. – Если бы я захотел этого, то мог бы прямо сейчас вывести тебя отсюда, поставить к стенке, и все было бы кончено. Я могу это сделать. Если только ты не будешь продолжать вести себя также глупо. Ты настолько глуп, что продолжаешь выдавать себя с головой, и даже не догадываешься об этом. Взять случай с машинами. Каждый раз, когда тебе была нужна машина, ты ее брал. Просто *брал* ее! Ты думаешь, что мне неизвестно, что младший персонал не может выделять таких вещей? Ты думаешь, я слепой?!!

Вещи такого рода было бесполезно объяснять, потому что любой обычный русский с жизненным опытом Сидорова никогда не смог бы понять, что любой обычный американский подросток может запросто взять, чтобы покататься, машину своего отца, если в ней есть ключи, и ему никогда ничего за это не будет – просто потому, что в Америке такие вещи никого не заботят. Во дворе посольства всегда стояло с десяток разных машин. Парочка новых «Доджей» с модным послевоенным радиатором в виде наклонной решетки, бежевый «Студебеккер» - ранее невиданная мной машина с кабиной,

посаженной на корпус - вместо того, чтобы быть частью корпуса, и с окнами по всему периметру. И когда я хотел взять машину, то просто забирался в свободную и, махнув рукой парню у ворот - мол, еду по заданию - выезжал со двора. С машиной даже такой унылый и тяжелый город, как Москва, становился намного веселее. Для Сидорова же обладание машиной ассоциировалось с властью и официозом. Ему просто не дано было понять, что машину можно использовать просто для того, чтобы хорошо провести время – если только, конечно, ее хозяин не обладал достаточно высоким, в его понимании, статусом.

И поэтому именно таким было его представление обо мне.

По крайней мере, мне так казалось. Временами, особенно в эти самые первые дни, я подозревал, что он ухватится за любое мало-мальски достоверное признание, чем бы оно ни было и какое бы отношение к истине оно бы не имело. В другие моменты, а точнее, большую часть времени, я чувствовал, что Сидоров считает, что имеет дело с настоящим профессионалом, крепким орешком, который знает, где скрывает настоящие сокровища и потому не выдаст их местонахождения в спешке. В этом и была сложность для меня – ведь как бы я не был умен или хитер, или как бы не был честен в объяснениях своих поступков, знакомств и всех остальных тривиальных вещей, из которых Сидоров пытался сложить мозаику в деле против меня – он просто считал, что я пользуюсь наиболее приемлемой для себя, с его точки зрения, тактикой.

Моей же подлинной тактикой было не сойти с ума от нехватки сна. И я обнаружил, что чем более сложной становится наша игра, или чем больше энергии удастся мне найти в себе для того, чтобы заставлять Сидорова работать, раздражать его, провоцировать, заставлять думать, что он вот-вот выйдет на что-то, а затем разочаровывать – тем крепче состояние моего духа, и тем проще мне переносить эту ужасную нехватку сна. Мне действительно становилось все страшнее при мысли о том, что может со мной случиться. Временами я осознавал, что у меня начисто отсутствует память о том, что случилось в последние несколько минут. Провалы в памяти. Полностью стерты из сознания куски. Что до Сидорова, то он почти совершенно не выказывал признаков усталости. По моим подсчетам, он спал ночью от пяти до шести часов, с перерывом – по два-три часа в промежутке между шестью вечера и половиной или без четверти десять по утрам. И, как я понял из его телефонных разговоров со своей подругой, за ночные допросы он получал дополнительные премиальные.

Но даже Сидоров время от времени не мог противиться сну. Прежде всего, в ранние утренние часы, около трех ночи – это время было особенно трудным для нас обоих, но, в некотором роде, эти часы были хорошими для меня, так как после долгих попыток подавить зевоту Сидоров в какой-то момент откидывался в своем кресле, закрывал глаза и задремывал. Я обычно выжидал около минуты, чтобы удостовериться, что он действительно спит, а затем клал голову на руки, сложенные на столе, и мгновенно отключался. Когда Сидоров просыпался, он орал на меня:

- Спать не положено!
- Вы же спите, - отвечал я.
- Тебя это не касается!

Затем – конечно, позднее – я начал экспериментировать, пытаюсь научиться спать в вертикальном положении, приучая свое тело к тому, чтобы оно продолжало держаться во время сна прямо. Мне подумалось, что у меня получится, таким образом, не быть раскрытым со своей хитростью – хотя бы на несколько минут – и охранник не заподозрит, что я сплю, если я буду продолжать сидеть вертикально.

И так вот это и работало – ухватить десять минут сна тут, полчаса там, иногда чуть-чуть дольше, если Сидоров завершал допрос немного раньше, чем в шесть утра, и охрана оставляла меня в покое до утренней пробудки. Но этого было слишком мало. Слишком. С

каждым днем я ощущал себя все более сонным, вялым, все менее дисциплинированным. Я боялся сойти с ума. Я боялся этого даже сильнее – нет, в действительности намного сильнее – чем смерти. С той давней поры, когда в детстве я посещал мессу по воскресеньям и проходил катехизис, я никогда не был особенно церковным человеком, но я продолжал верить в Бога и в то, что после смерти будет какая-то иная жизнь. Я боялся боли в момент умирания, и мне совершенно не хотелось оставлять этот мир, потому что я очень любил жизнь, даже несмотря на то, что иногда она могла быть достаточно тяжелой. И в то же время смерть была намного предпочтительнее этой ужасной вещи – сумасшествию – и потому я сражался с ним также отчаянно, как и с простым физическим разложением.

Попробуйте целый день не пить воды. Затем вообразите, что ваша жажда – это желание сна. И тогда вы почувствуете одну десятую того, что чувствовал я. Попробуйте задержать дыхание, читая эту страницу. Проверьте, как долго вы сможете не дышать. Почувствуйте, как вас начнет охватывать отчаянное желание сделать вдох, в то время как сердце начнет биться тяжелее, а в голове появится странный шум. Теперь, все еще не дыша, вообразите, что в комнате больше нет воздуха. Мышцы вокруг вашей шеи и у подбородка начнут напрягаться. В гортани начнутся спазмы, а в нижней части грудной клетки будет разрастаться боль. Если у вас хватит выдержки продолжать еще дальше, то в глазах у вас начнет темнеть. Вот так вот мне хотелось спать. Я думал о сне постоянно. Я воображал сон в своих мечтах, как блудник мечтает о юной девичьей плоти или как потерпевший кораблекрушение моряк предается мечтам о куске жареной говядины с картошкой. Мою голову постоянно сжимало, словно железным обручем, прямо поверх глаз. Когда я шел, шаги мои были неуверенными, а дыхание коротким и шумным. Я обнаружил, что постоянно облизываю свои губы.

Часто, когда мне кричали «Подъем!» в шесть часов утра, а я был до этого в койке всего пять или десять минут, мне хотелось сдаться прямо сейчас, броситься с кулаками на дверь и кричать, умолять, чтобы позвали Сидорова, и тогда я скажу ему все – все, что угодно, подпишусь подо всем, приму любое унижение – лишь бы закрыть глаза и исчезнуть из этого мира на несколько часов абсолютного покоя.

Но вот пришла вторая половина дня субботы, Сидоров собрал свои вещи в портфель, и перед тем, как стемнело, позвонил своей жене, сказав, что отбывает домой на выходные. Можете ли вы представить себе, что услышанное означало для меня? Когда он выходил из кабинета, мне прямо-таки хотелось встать и склониться перед ним в благодарности. Вернувшись в свою камеру, я сразу съел весь свой холодный суп, все до остатка, словно в ознаменование праздника. Позже, когда принесли кашу и чай, в шесть тридцать, я тоже вылизал все до крошки, смакуя каждую ложку и разговаривая сам с собой в попытках заполнить чем-то оставшееся до десяти вечера время, когда мне позволят – я был в этом уверен, ведь Сидоров уехал на выходные – забраться под одеяло (держа руки поверх него, разумеется) и спать. И *спать*.

У себя в голове я начал слышать звуки музыки. Приятную мелодию, наподобие вальса. Эти звуки доносились со стороны окна. Некоторое время я гадал, действительно ли я слышу музыку, или мне это только кажется. Но, когда я сделал пару шагов к столу в конце своей мрачной черной камеры, остановился и прислушался, то понял, что музыка действительно доносится с улицы. Она слышалась достаточно отчетливо. Я мог различить голоса, нечетко, крики и смех, а также звук, который было невозможно ни с чем спутать – ритмический, скрежещущий, так мне знакомый (ведь многие годы я сам извлекал его своими ногами) – звук коньков, скользящих по льду! Где-то неподалеку находился открытый каток, с музыкой. Где-то прямо рядом с тюрьмой¹. Я мог видеть его в своем воображении. Многие годы спустя я даже вполне убежденно говорил своему другу,

¹ Судя по всему, этот каток – манеж стадиона МЭИ (Московского энергетического института). Расположен всего в 200 м. от тюрьмы.

что я, и правда, *видел* этот каток – что я умудрился подпрыгнуть, достать руками до подоконника и, подтянувшись, изловчиться и взглянуть сквозь щель под навесом, оставленную каким-то инженером-неудачником по тюремным навесам, на катающихся на льду людей.

В действительности же произошло следующее: я высчитал секунды между тем, как охранник открывал дверной глазок, стоя неподвижно перед дверью и смотря вперед, а затем начал, про себя, отсчет. «И раз, и два»... Продолжая считать, и изо всех сил сдерживая дыхание, я встал на кровать, присел (я был слишком слаб от недостаточного питания и отсутствия отдыха), подпрыгнул так высоко, как только мог, схватился за оконную раму, подтянулся («и двенадцать, и тринадцать, и четырнадцать»), оттолкнулся ногой от стены, чтобы вскарабкаться выше, будучи осторожным, чтобы не наступить на шаткий стол, извиваясь, подтянулся, ухватил, как мне показалось, некоторый свет извне, поднырнул головой, втянул в себя воздух для еще одной последней попытки («и тридцать один, и тридцать два»), из последних сил подтянулся вновь, насколько возможно выше, понял, что увидеть каток поверх перегородки не представляется возможным, задержался на мгновение, слушая эту изумительную музыку (я всегда любил музыку, но в тот момент я любил ее как Бога, как Мери Катто, как великолепное блюдо из жареной курицы с зеленым горошком, как сон), продолжил наслаждаться ей так долго, как мог осмелиться («и сорок пять, и сорок шесть»), а затем упал на пол, сдерживая дыхание, чтобы охранник не увидел, как тяжело подымается моя грудь – в тот момент, как глазок открылся на счет «пятьдесят один». Я стоял перед дверью, будучи все так же неподвижен и глядя вперед, а сердце в моей груди стучало, подобно огромному гулкому барабану.

Я помню, что вальсировал по камере вперед-назад до самого отбоя. Хотя я был настолько утомлен, что мои глаза болели, а дыхание стало неглубоким и прерывистым, состояние моего духа было наилучшим за все это время пребывания в Лефортово, потому что я знал, что скоро мне дадут заснуть – если только Сидоров не играет со мной, намереваясь снова вызвать на допрос в половине десятого. И вот так вот я танцевал и катался по льду в камере под музыку. Оторванные подошвы ботинок шлепали по асфальтовому полу, а я держал Мери в своих объятиях, и мы кружились и кружились по бальной зале в отеле «Метрополь». Глазок открывался ритмично, каждую минуту. Я продолжал танцевать. Отворачиваясь в танце от двери, я закрывал глаза, чтобы уменьшить боль, пытаюсь угадать, как долго еще ждать десятичасового отбоя. Когда, как мне показалось, время приблизилось к девяти, у меня возникло ужасное предчувствие, что Сидоров опять, несмотря ни на что, придет и украдет у меня мой сон. Я с усилием зажмурил глаза, а потом снова танцевал и танцевал, иногда ударяясь о стены, мыча мелодию себе под нос, на пределе своего дыхания. Я держал Мери очень близко, шепча ей, что люблю ее. Спустя какое-то время я понял, что минуло девять часов, потом половина десятого. Я знал, что на дежурстве в этот вечер находился весьма сносный охранник. Чувствуя, как тюрьма погружается в сон, я решил попробовать. Я присел на койку и прислонился к стене, что было против правил. Глазок открылся, но задвижка оставалась закрытой. Если бы охранник собирался кричать и угрожать мне, он открыл бы задвижку. Я вытянулся на койке поверх одеяла, продолжая держать глаза открытыми. Глазок открылся, но задвижка оставалась на месте. Я натянул на себя одеяло, держа руки поверх его, а глаза широко открытыми. Глазок открылся, задвижка оставалась на месте. Я закрыл глаза, слушая, как вновь откроется глазок, но я этого так и не услышал. Я не видел никаких снов. Не слышал никакой музыки. Я провалился в тысячекилометровую пропасть полного небытия, уносящего меня прочь из реальности. Не приятного благодарственного отдыха, не облегчения, не мира. Ничего, в чем была бы хоть капля сознательного. Ничего, что я мог бы запомнить. Забвение.

Утром я еле волочил ноги со сна. Когда через окошко для еды прокричали «подъем», я знал, что мне надо двигаться, и я двигался, но, словно будучи под водой, замедленно. К этому времени я осознал важность следования повседневной дисциплине: так, я сначала включил воду и очень тщательно умыл свое лицо. Затем снял рубашку и тщательно, сантиметр за сантиметром, вымыл верхнюю часть своего тела, набирая немного воды в ладонь и растирая ее по телу, а затем, подождав, когда немного высохнет, снова – так я мылся до тех пор, пока не стал уже дрожать от холода. Затем пришел черед нижней части. Я снял мешковатые тюремные штаны, которые мне выдали, со шнурками на лодыжках, аккуратно сложил их, пока мылся и вытирался, используя маленькое полотенце только там, где сложно было высушиться так. К тому времени, когда я закончил свои процедуры, я почувствовал себя жизнерадостным и голодным – голодным почти до боли.

Дневной рацион почти не менялся. На завтрак это были 400 грамм прокисшего хлеба, кусочек которого я заставлял себя приберечь на более позднее время дня, хотя был голоден настолько, что мне хотелось есть свою собственную плоть. Потом давали сахар и безвкусную имитацию чая. Так как моя камера находилась в самом конце крыла тюремного здания, рядом с лифтом, то по утрам я слышал, как механизм лифта начинает свою работу, поднимая баки с чаем и лотки с хлебом. И теперь, всего лишь на четвертый день моего нахождения в тюрьме, я начинал глотать слюни автоматически при первых звуках работы этого лифта.

На непродолжительное время я попался в ловушку своих фантазий о великолепных блюдах. В своем воображении я заставлял стол красивой посудой, наполняя ее жареной говядиной, печеным картофелем, рыбой, чашами с черным и белым хлебом, зеленым горошком, мороженым, чашками со свежим сваренным кофе. Когда я смотрел на все это в своем воображении, мой желудок начинал болеть от голода. Внутри появлялась боль, словно от удара. Слюна во рту текла все обильнее, я глотал ее, а в желудке начались спазмы, все более и более глубокие. Затем я понял, что все это к добру не приведет. Я испугался, что все эти фантазии сведут меня с ума. Тогда я заключил с самим собой договор, поклявшись его исполнить. Я пообещал себе, что если подобные образы еды просочатся в мое воображение, я заставлю себя думать о чем-то другом. Как, например, о прогулках в лесу с Мери, или об игре в покер в посольстве, или об улицах нью-йоркского Ист-Энда. Поначалу это не слишком хорошо работало, потому что как только я уходил на прогулку в лес с Мери, она расстилала скатерть, разложив на ней холодные сосиски, бутылку вина, сыр, масло – и мой рот вновь начинал заполняться слюной. Или, проходя по улицам Манхеттена, я натякался на булочную. Тогда я попытался занять себя арифметикой, или перечислением всех кораблей, принимавших участие в важнейших морских сражениях Первой и Второй мировых войн. Это было сложно делать молча. Но я был полон абсолютной решимости доводить до конца, так или иначе, каждое задание, которое я перед собой ставил. Неудача в этом означала выигрыш Сидорова, или *их* выигрыш. И, благодаря постоянным словам поддержки, которые я говорил сам себе, я научился следовать своим решениям.

Спокойно, Алекс! Расслабься. Ты сможешь это сделать. Ты выдержал уже неделю без сна, и ты сможешь сделать все, что захочешь. Ты в порядке, парень. Ты не из слабаков. Ты молод и силен. Эти русские ублюдки пытаются тебя сломать, но это не они, а ты на коне, не так ли? И пока ты будешь на голову выше их, они тебя не достанут.

И, таким вот образом, я заставлял себя идти вперед.

Я говорил себе: «Послушай, тебе нужно всего лишь пройти через этот день. Завтра снова будут допросы. Сидоров становится злее с каждым днем. Он вполне может по-настоящему рассвирепеть. Возможно, охрана застанет тебя за каким-нибудь занятием и бросит в карцер. Возможно, они даже просто выведут тебя и пристрелят. Но все, что тебе

нужно сделать сейчас – это просто пройти через *этот* день. Вот и все, что тебе нужно сделать».

Позднее утром в то первое воскресенье задвижка на двери открылась, и охранник, которого я раньше не видел, кинул три книги на полку.

«Что это?» - спросил я, но он просто закрыл окошко, не сказав ни слова. Они никогда ничего не говорят, если можно обойтись без разговоров.

Я кинулся к книгам. Они были оборванными и грязными, но для меня это было сокровище. Несмотря на резь в глазах и тяжесть в голове, я начал читать немедленно. Я прочитывал каждое слово с огромным интересом. Мне кажется, что в течение последующих двух-трех недель я прочел эти книги четыре или пять раз подряд.

Не знаю, были ли эти книги выбраны специально. Одна из них называлась «Политические узники в царской России». Книга была написана в виде свидетельства о всех тех ужасных преступлениях и унижениях, которым подвергались люди в период бесчеловечного царского правления. Первое, что я усвоил из этого чтения, это то, что никого из заключенных, о которых там писалось, никогда не лишали сна. Это мне показалось очень любопытным. Также меня очень увлекло чтение о том, что заключенные пользовались специальным кодом, чтобы обмениваться сообщениями друг с другом через тюремные стены посредством стука. Это называлось тюремным морзе, но мне это ни о чем не говорило. Мне становилось все более одиноко, и я чувствовал бы себя намного лучше, если бы у меня была возможность общаться с кем-то помимо Сидорова, пусть и перестукиваясь через стену.

Другой книгой были «Записки из мертвого дома» Достоевского. Книга оказалась очень увлекательной, хотя и жуткой. Девяносто девять лет назад до меня, этого несчастного сослани и отправили на телеге в Сибирь за обсуждение радикальных экономических теорий. Он провел в ссылке четыре ужасных года - «как человек, погребенный заживо, заколоченный в своем гробу». Чтение о тех давних, но реально перенесенных испытаниях навело меня на мысли о том, что мои испытания были, возможно, и не такими уж тяжкими.

В это воскресное утро я читал около часа, потом ходил взад-вперед по камере, потом снова читал – делая перерывы для того, чтобы не закончить свое чтение слишком быстро. Я также подумал, что мне следует регулярно заниматься физическими упражнениями, чтобы не впасть в слишком большую зависимость от фантазий и не терять связь с реальностью. В своей рубашке я обнаружил прореху и решил, что мне нужно будет найти способ ее заделать. Из прочтенных старых приключенческих книг я помнил, что люди, находившиеся в заключении, делали себе иголки из рыбьих костей. В моем обеденном рационе обычно были рыбьи кости – хотя иногда даже попадалось несколько граммов самой рыбы. Я решил, что если у меня получится расщепить толстый конец кости или проделать в нем дыру, а потом высушить кость, то я смог бы вытянуть несколько нитей от тюремного полотенца и зашить эту дырку.

Когда в середине дня принесли мой жиденький суп, я достал из него три или четыре рыбьих кости и попытался, безуспешно, проделать дырку в плоской широкой части кости – сначала при помощи зубов, а потом ложки. Но разваренная в супе кость либо расщеплялась, либо просто крошилась. Тогда я попытался заострить конец своей ложки об асфальтовый пол, размышляя, что если мне удастся заострить ее до желаемого уровня, то я смог бы сделать на следующий день отверстие в кости наподобие игольного ушка. Потом мне подумалось, что, заострив ложку достаточно хорошо с двух сторон, я мог бы сделать из нее некое подобие холодного оружия. Это, в свою очередь, навело меня на размышления о побеге – убить охранника, переодеться в его одежду и каким-то образом пробраться через тюрьму – словно в типичном сценарии огромного количества виденных голливудских боевиков и приключенческих книг. Одной из серьезных проблем в том, что

касалось убийства охранника или других аспектов возможного побега, было то, что я все более и более слабел от недостатка питания и отдыха. На тот момент эта слабость еще не была достаточно серьезной, но я знал, что если меня продержат в таких же условиях довольно длительное время, то она превратится в очень серьезную проблему.

Так или иначе, но охранник заметил, как я пытаюсь наточить ложку, и отобрал ее у меня, пригрозив карцером – на какое-то время я позабыл о том, что должен следить за интервалами, в которые открывается глазок. Но даже если бы я был осторожен, они все равно, вероятно, нашли и забрали бы ее в то время, когда меня отводили на допрос.

Потом у меня вдруг возникла идея, непонятно откуда взявшаяся, сделать более элегантный календарь, нежели чем царапины на стене. Я решил продолжить делать свои царапины, для общего счета, но подумал, что могу сделать несколько цифр и основу для них из сырого хлеба, который выдавался мне в ежедневном рационе. Когда этот хлеб черствел, то становился довольно твердым. К работе по изготовлению календаря я приступил в это первое воскресенье, начав с изготовления основы для него. У меня оставалось достаточно хлеба, понемногу утаенного с каждой порции. Я размял его, раскатал об пол, а затем принялся давить – до тех пор, пока у меня не получился маленький целый прямоугольник, примерно восемь сантиметров в длину, два в ширину и один в толщину. Затем я взял одну из тщательно сохраняемых спичек и при помощи ее острого конца проделал две дырочки – посередине, на одном расстоянии от края плоской основы. Дырочки должны были служить для крючков, которые я планировал сделать из спичек, чтобы надевать на них цифры, которые я также планировал сделать из хлеба.

С помощью спички я выдавил дату – 1948 – в нижней части основы. Потом я положил полученную основу на подоконник для лучшего затвердевания, гадая, заберет ли ее охрана при очередном обыске. Я решил, что когда основа достаточно затвердеет, я смогу отполировать ее об свои ботинки или об пол, с нетерпением предвкушая тот момент, когда смогу приступить к изготовлению цифр, утаив еще немного хлеба от своего скудного рациона.

Так прошла большая часть второй половины дня того первого воскресенья – в чтении, изготовлении хлебного календаря, неудачных попытках сделать иглу из рыбной кости. Я был голоден, но не отчаянно. В один из моментов охранник поймал меня на том, что я негромко мычал мелодию себе под нос – он угрожающе помотал головой, я сразу же прекратил, и он оставил меня в покое. Было ужасно тяжело продолжать бодрствовать, но я думал, что смогу хорошо выспаться ночью и гадал, смогу ли продержаться следующую неделю до выходных, и придется ли мне вообще держаться. Может быть, вся эта игра наконец-то уже закончится к этому времени?

Я скучал по человеческим голосам, дружеским голосам, и было очень сложно удержаться от того, чтобы не заговорить с самим собой. При ходьбе взад-вперед по камере я, когда разворачивался и шел от двери, шептал себе кусочки припоминаемых разговоров и коротенькие ободряющие реплики в свой адрес, а также отпускал комментарии относительно прочитанного.

Позже, во второй половине дня, странный охранник вывел меня в душевую комнату. Выражение его лица было абсолютно пустым. Я пытался с ним заговорить, но каждый раз он только беззвучно мотал головой и прикладывал палец к губам. Я спросил о погоде на улице. Он помотал головой. Спросил, как часто меня будут выводить в душ. То же движение, более сердито. Потом у меня возникла идея – я спросил, нравится ли ему его работа. Он снова помотал головой и даже скривился, поднося палец к губам – выглядел он

в тот момент достаточно свирепо. Хотя я не думаю, что он слушал мои вопросы. Не говоря ни слова, он достал старые парикмахерские ножницы и прошелся ими по моей мягкой бороде недельной давности, превратив ее в жесткую щетину, вырвав в процессе немало волос, так как ножницы были тупыми. Не говоря ни слова, далее он указал мне на душевую.

Хотя мыло было таким же дурно пахнущим и мягким, как и на Лубянке неделей раньше, душ был приятен своим теплом, а также по той причине, что, несмотря на мой строгий режим с ежедневным обмыванием по утрам, после холодной воды без мыла мое тело оставалось недостаточно чистым. Взглянув на себя под душем, мне показалось, что я немного похудел. Я решил продолжать выполнять свои физические упражнения, чтобы верхняя моя часть не стала вялой, и принялся еще под душем делать жим одной рукой о другую.

Кусок мыла был размером с треть спичечного коробка, и я почти весь его израсходовал – а оставшееся припрятал, когда охранник отвернулся, чтобы взять с собой в камеру. Я не собирался мыться с этим мылом под холодной водой – оно едва растворялось в горячей. Но у меня начали развиваться крысиные инстинкты, автоматически.

Задолго до того, как подошло время ужина, от голода меня стала одолевать сильная икота. Когда мне, наконец, принесли мою вечернюю кашу, я принялся есть ее медленно, тщательно пережевывая каждую ложку, несмотря на то, что каша была жидкой, а ее слой – очень тонким. Я вытер миску последним кусочком хлеба, припасенным с завтрака. Во время еды я размышлял о том, почему посольство до сих пор не пришло мне на помощь. Этот факт вызывал во мне чувство горечи и недоумения. Затем горечь переросла в ярость. Как они могли оставить меня здесь на целую неделю и не устроить скандала! Чем больше я думал об этом, тем эта ярость все больше вскипала во мне. Затем я решил, что эти мысли мне только вредят, и решил направить их на Мери Катто, чтобы немного успокоиться.

По мере того как приближалась ночь, я все больше думал о Мери. Ее слова, что она будет меня ждать, поддерживали меня. Воспоминание о том, как я добился от нее этого обещания, интриговало меня и придавало мне сил. Меня переполняло желание оказаться рядом с ней. Некоторое время я размышлял, стоит ли мне подавлять эти мысли – также как и фантазии, связанные с едой – но, в конце концов, я решил, что не буду им препятствовать. Воспоминания о Мери, как и о других девушках в моей жизни, стали для меня связующим звеном с внешним миром. От них мне становилось лучше, а не наоборот – даже несмотря на сильные приступы горечи, которые эти воспоминания иногда вызывали во мне. Таким образом, к десяти часам вечера, когда моему теперь немного менее утомленному сознанию был вновь позволен отдых в виде сна, я ощущал себя собранным, и в то же время меня одолевало одиночество. Поэтому, не смотря на сильное отвращение к Сидорову, я почти предвкушал нашу встречу с ним утром – настолько сильным было мое желание поговорить хоть с кем-то.

Оглядываясь назад, я удивляюсь, как все эти инстинкты и твердое намерение установить для себя столько важных правил и видов деятельности развились у меня на столь раннем этапе пребывания в заключении – ведь я по-прежнему был уверен, что все это лишь ошибка, которая вскоре будет исправлена. Сидоров прекрасно понимал мое состояние и не упускал возможности этим воспользоваться, напоминая мне о том, что «мы» (органы) «никогда не ошибаемся». «Все заявляют о том, что это – ошибка», говорил он мне. И, конечно же, просил «не волноваться». Время от времени его слова действовали на меня подавляюще, и я начинал думать, что он, возможно, прав. Вероятно, это стало одной из

тех причин, что побудили меня к развитию навыков выживания. Скорее всего, в своем подсознании я понимал, в какой опасности нахожусь в действительности. К тому же я был молод, напитан множеством прочитанных приключенческих историй и просмотренных фильмов, и у меня, как и у любого молодого человека, имелась склонность имитировать приключения в реальной жизни.

Кроме того, не следует забывать о той послевоенной атмосфере, в которой протекала моя жизнь до ареста. Это была пьянящая атмосфера, немного нереальная, в которой жизнь казалась дерзкой игрой – в особенности, если вы находились в положении относительно неплохо зарабатывающего иностранца, которому были легко доступны многие дефицитные товары и имеющего внутреннее ощущение защищенности, передаваемое вместе с дипломатическим статусом. По крайней мере, я *думал*, что был защищен, до определенного времени. На дальнейших допросах я пытался объяснить эту атмосферу Сидорову, продолжавшему бесконечно цепляться к таким вещам, как моя привычка кататься по Москве в посольских машинах, когда бы мне это не вздумалось, и принимать участие в различных вечеринках с влиятельными людьми из других посольств. Но я не один был такой. Может, я и был немного более авантюрным, чем другие, но не сильно больше. Мы все ощущали после войны эту атмосферу облегчения. Даже обычные москвичи чувствовали прилив оптимизма и надеялись, что лучшие дни уже не за горами. Для меня, как и для многих других молодых людей моего возраста, воздух был насыщен этим пьянящим чувством уверенности в завтрашнем дне, которое, безусловно, способствовало романтическому взгляду на жизнь. Значительная доля этого чувства осталась со мной и в тюрьме – и слава Богу, что так, потому что оно стало щитом в моей борьбе со всеми теми унижениями разных видов, которым, с течением времени, все чаще и сильнее стали меня подвергать. Сидоров никогда не принимал моих объяснений относительно послевоенного настроения, царившего в Москве. Мне кажется, он просто не понимал этого.

По ночам манера Сидорова была агрессивной, он много и грязно ругался. Днем он был настроен легко и даже был не прочь поболтать. Нередко он проводил время за чтением своей книги или писал отчет, не относящийся к моему делу. У него была привычка нервно крутить ручку между пальцами. В послеобеденные часы он обычно откидывался в своем кресле, крутя ручку и рассуждая о единственном предмете, который, по моим наблюдениям, вызывал в нем хоть какой-то энтузиазм – о футболе и московской команде «Динамо». Эта команда находилась под покровительством тайной полиции, и Сидоров никогда не пропускал их игр. Он знал характеристики и сильные стороны каждого из членов команды так, как школьник знает таблицу умножения, и иногда всю вторую половину дня проводил за обсуждением этой темы.

Но по ночам он всегда был настроен враждебно и агрессивно. Я никогда не был для него ни кем иным, как только «подследственным», либо «тупым подследственным», а часто «проституткой» или «сукиным сыном» во всех возможных комбинациях. Он изрыгал эти слова с оглушительным ревом и пронзительными криками, изрядно брызгая слюной. По ночам в его руках нередко появлялся пистолет. Он неистово размахивал им, а потом садился за свой стол и молча смотрел на меня, целясь прямо между глаз, взведя курок и подергивая пальцем, словно он мог случайно выстрелить в любой момент. У пистолета Токарева достаточно тугий спусковой механизм, но я знал о пистолетах и о происшествиях с ними достаточно много, и такое поведение Сидорова щекотало мне нервы. Я никогда не показывал вида, что нервничаю. Я просто продолжал улыбаться. Иногда я даже подмигивал ему в тот момент, когда он целился мне промеж глаз, и это его бесило.

Однажды, это случилось на этой второй неделе моего пребывания в тюрьме, я обнаружил, что лежу без сознания на полу, а Сидоров орет на меня сверху. Я совсем не помнил момента, когда заснул. То есть для меня было полной неожиданностью слышать, что мне кричат просыпаться, а я при этом нахожусь вовсе не в кровати. Минуту назад я пристально смотрел на Сидорова, стараясь держать свои глаза открытыми – и вот меня уже будят, а я лежу на полу.

В камере мне приходилось собирать по крохам всю ту силу воли, что у меня оставалась, чтобы не уснуть. Несколько раз я позволял себе вздремнуть, сидя на койке с выпрямленной спиной. Если на дежурстве в это время находился сносный охранник, то меня оставляли в таком состоянии на несколько минут, иногда даже, может, до получаса. Но сносные охранники попадались очень и очень редко. Среди них был один молодой парень с комсомольским значком (комсомол – это такая юношеская коммунистическая организация). Он был единственным из охранников, кто когда-либо разговаривал со мной – это говорило о том, что он был новичком на этой работе. Большинство охранников, когда я пытался с ними заговаривать, просто отвечали – «не положено!». Эта фраза, *не положено*, была наиболее часто слышимой мной на всем протяжении моего пребывания в тюрьме. Спать было *не положено*, говорить было *не положено*, смеяться было *не положено*, все человеческое и простое, что бы вам хотелось, было *не положено*. Эту фразу можно было бы применить к самой жизни. Она могла бы даже стать заголовком для этой книги. Дошло до того, что я специально просил охранника о чем-то, чего, как я знал, он мне не разрешит – например, дать мне сигарету, или что-то невообразимое вроде этого – только для того, чтобы успеть произнести «не положено» перед тем, как это сделает он. Конечно, я проделывал это не со всеми охранниками, ведь такая шалость могла обойтись мне лишними ведрами воды, вылитыми на пол моей камеры следующим утром. Молодой комсомолец был по натуре отзывчивым парнем. Позднее, когда я разработал технику, которая спасла мне жизнь, позволявшую выкрадывать в общем и целом до двух-трех часов сна в течение дня, технику, включавшую в себя процесс, названный мной «приручением» охранников, этот парень был приручен мной очень легко. Мои намерения он воспринимал с пониманием и никогда меня не беспокоил. Когда он только появился в нашем крыле тюрьмы, то время от времени позволял мне спать в положении сидя в течение нескольких минут.

Конечно, он имел четкие указания не давать мне спать, кроме как между десятью вечера и шестью утра – в то время, когда меня обычно не было в камере. Но даже это правило он соблюдал в манере, которую можно назвать тактичной. Он открывал задвижку тихо, не кричал и не шипел со злостью, как делали другие охранники, но говорил спокойно и вежливо: «Заклученный, помните, мне не дозволено позволить вам спать. Сядьте». Хотя я внутренне симпатизировал этому парню – он был примерно моего возраста – но не мог сдержаться, чтобы не подтрунивать над ним. Это стало частью моей техники выживания – создавать ощущение своего нахождения над ситуацией. Подкалывать любого, кто для этого годился. Я спросил его:

- Тебе нравится быть комсомольцем?

- О, - с энтузиазмом ответил он, - очень нравится. Это здорово!

- А ты уже давно в комсомоле?

- Ну, как по мне видно, я еще довольно молод, но (с неподдельной гордостью) – я уже в комсомоле несколько лет!

- Что ж, - ответил я с видом знатока, - ты попался!

Он уставился на меня в недоумении.

- Да-да, это так, - продолжил я, - у тебя большие неприятности!

- Что ты имеешь в виду?

- Не волнуйся! – сказал я глубокомысленно-загадочным тоном. - Увидишь!

На самом деле, как я считал, работая охранником его ждет жестокое разочарование в тех идеалистических картинах советского государства и его системы, которыми пичкали всех этих ребят из комсомола. Но он пробыл у нас не так долго, чтобы я смог понять, случилось ли это с ним потом. Может, он не удержался на этой работе, я не знаю. Вполне возможно, что его арестовали за какую-нибудь антисоветскую деятельность, вроде позволения заключенным, как я, спать в течение пары минут. Когда я говорил ему, что у него неприятности, это было не просто шуткой. В жизни охранника не было места для сострадания.

Я выдержал, прошел через эту вторую неделю. К вечеру субботы моя голова гудела, и сердце тревожно билось - но, в то же самое время, мне было приятно осознавать, что я сумел дать отпор всем попыткам Сидорова заставить меня признать всю эту чушь о шпионаже. Огромное удовлетворение у меня также вызывал тот факт, что я был способен все также широко улыбаться и не показал ему ни одной слабинки. Присев на край своей койки, я поклялся себе, что буду бодрствовать до момента отбоя и новых выходных, когда наступит долгожданная передышка. Я прочитал стихи на стене – как я делал всегда по вечерам, проверяя свой календарь:

Кто вошел сюда, не теряй надежды.

«Не волнуйся, - прошептал я стене. – Я не сдамся».

Потом я обратился к календарю, добавив очередную дату. Двенадцать дней прошло с момента моего ареста. Это был...

Это было Рождество.

Будучи обессиленным и потерявшим связь с обычной реальностью, я совсем забыл о рождественском вечере. Он прошел мимо меня.

Пребывая в состоянии гнева и в постоянной борьбе за то, чтобы не потерять рассудок и выжить, я почти совсем не вспоминал о матери, чье взволнованное лицо встало теперь у меня перед глазами и переполнило меня изнутри чувством горечи. Она, должно быть, ждала меня к праздничному ужину. И сейчас она ходит взад-вперед, заламывая руки, больная от волнения. А отец утешает ее, приговаривая: «Все в порядке, родная, все в порядке. Ему, наверное, нужно было отлучиться куда-то. Завтра он подаст весточку. Я уж ему задам за то, что не предупредил нас».

И что они будут делать теперь после того, как настанет и пройдет завтра, послезавтра, а от меня ни слова? Эта мысль сводила меня с ума. Мои руки начали дрожать от ярости – мне казалось это пределом бесчеловечности; это было даже хуже, чем собственно все то, что происходило со мной. Оставить этих двух ни в чем не повинных людей в безумном волнении. Мне потребовалось взять себя в руки. Я вынужден был строго приказать себе отсечь это бесполезное волнение. Я ничего не мог с этим поделать. В любом случае, внушал я себе – хотя, к этому моменту, намного менее уверенно – я увижу их завтра и все расскажу.

Но когда я наконец-то лег, чтобы уснуть, мои глаза были влажными от слез.

До конца этой недели я старался противиться картинам празднования Рождества и Нового года, возникавшим в моем сознании. Мне было до боли одиноко. Но я обнаружил, что вполне могу с этим справиться, и на следующей неделе я прошел через новогоднюю ночь и первый день нового года так, как будто они существовали исключительно в виде черточек на стене.

Дневные часы в камере я проводил в занятиях над своим хлебным календарем, работа над которым шла совсем неплохо, а также в попытках смастерить иглу. Все это на некоторое время отвлекло меня. Когда основа для календаря стала достаточно твердой, ее поверхность оказалась немного серой и шершавой. Тогда я снял ботинок и принялся полировать основу о подошву, пока она не стала выглядеть достаточно гладкой, а затем продолжил полировку с помощью одеяла. Я полировал ее каждый день. Через некоторое время она приобрела блеск отполированного дерева. В это же время я принялся изготавливать цифры. В качестве крючка на конце каждой из них я использовал кусочек спички. Я сделал две двойки и две единицы, и по одной – все остальные цифры; всего этих маленьких цифр получилось двенадцать. Я не спешил, кропотливо работая над каждой из них. Те из них, что выходили недостаточно хорошими, я съедал. Работа над этой простой вещью доставляла мне невыразимое удовольствие. Занимался я своим календарем без усталости. Часто случалось так, что, спустя пару дней, я вдруг решал, что цифра 6 или 8, которые было особенно сложно сделать, недостаточно хороши. Тогда я их съедал, и приступал к изготовлению замены.

Все это время моя потребность во сне постоянно увеличивалась, и страх потерять рассудок на этой почве и сломаться сам по себе превратился в испытание. Погружение в работу над календарем и все еще неуклюжие и безуспешные попытки сделать иглу – все это было частью отчаянной борьбы за то, чтобы пребывать в состоянии бодрствования и оставаться при этом в рассудке. По моей просьбе Сидоров объяснил мне, что камеры карцера располагались ниже уровня земли, не обогревались даже в самые лютые холода, не имели окон и коек, и что весь дневной рацион в них составляло то, что я получал в качестве завтрака – и ничего более. Поэтому я твердо решил, что не сделаю ничего, что могло бы дать повод поместить меня в условия, которых, безусловно, я не выдержал бы. Вот почему я так упорно боролся со сном, и по большей части успешно, в течение моей второй недели в тюрьме: за этим стоял страх оказаться в том отдаленном, ужасном и смертельном ящике, что находился в дебрях построенной в виде буквы К тюрьмы для политических узников – поворот сюжета страшнее всего того, что я встречал в прочитанных романах и просмотренных кинофильмах.

При этом не следует думать, что моя собственная камера была в той или иной степени «комфортной». Припоминая все то, что происходило со мной в Лефортово – все эти успешные попытки перехитрить охранников и Сидорова, и, что более важно, перехитрить безумие и смерть – я опасаясь, что человек, читающий обо всем этом, забудет о том аде, в котором я вынужден был существовать. Когда я рассказываю людям о календаре, например, они улыбаются, веселятся и понимающе кивают головой. По моему мнению, работа над календарем была по настоящему гениальной задумкой, и она приносила мне радость. Поэтому я с готовностью вспоминаю об этом и рассказываю про это с чувством облегчения. Но следует помнить, что я занимался всем этим в камере, намеренно спроектированной так, чтобы наводить ужас на тех, кто туда помещен. Она даже именовалась «психической» камерой, и Сидоров не скрывал того факта, что ее назначением было подавить мой дух – а это было и его собственной целью. «Ты не протянешь здесь и шести месяцев, - часто говорил он мне. – Никто не смог, и потому лучше бы тебе начать признаваться прямо сейчас».

- Мне не в чем признаваться.

И так далее.

Камера номер 111. Психическая камера. Черная краска была ни матовой, наподобие вельвета, что давало бы ощущение теплоты, ни глянцевой, в которой могли бы играть огоньки – просто тяжелая чернота. Койка тоже была черной. Пол был черным. Тусклая лампочка над дверью, лицом к которой я должен был лежать во время сна, была недостаточно яркой, чтобы осветить всю эту черноту, и в то же время достаточно яркой для того, чтобы досаждал мне ночью. Я воспринимал ее как один из компонентов этого ада – она никогда не гасла, чтобы дать вам отдохнуть, и никогда не горела достаточно ярко, чтобы подбодрить вас.

Камера была холодной. В ней не было источника тепла. Когда температура за окном падала ниже нуля, на полу появлялся лед. Мне было тепло только тогда, когда меня отводили к Сидорову. В камере не было воздуха. Она воняла всеми теми ужасными запахами, которые есть в тюрьме. Но самое ужасное, что в ней было – это ее атмосфера, атмосфера унылого и безысходного мрака. Безусловно, он действовал на меня чрезвычайно угнетающе – настолько, что первые недели в тюрьме для меня было облегчением покинуть эту камеру, даже ради допроса. И затем – это было другой частью ада – у меня возникало желание уйти прочь от насмешек, лжи, ярости и слюнявой брани Сидорова, уйти в тихое место, в МОЮ камеру, которая почти тут же, как только я в ней оказывался, снова начинала давить меня своей чернотой и холодом.

Глазок, который периодически открывался, вначале тоже был для меня пыткой. Потом я привык к его ритму, как к ритму дыхания. Если бы они догадались открывать его хаотично, внезапно, когда бы я этого не ждал, оставлять целый день без просмотра, а затем с грохотом открыть, потом снова час не открывать, а потом открывать каждые полминуты и в таком духе – это свело бы меня с ума достаточно быстро. Но глазок открывался очень регулярно. На эту регулярность можно было положиться, хотя она мне и не очень-то нравилась.

Память помогает нам выжить. Я в этом твердо уверен. Конечно, нам необходима пища, вода, воздух и крыша над головой, это понятно. Но одинокие люди сходили с ума или убивали себя даже тогда, когда им было достаточно тепло и когда у них было достаточно еды. Человеку в моем положении – оставленному в темной комнате, без достаточного количества пищи, в холоде, и потому вынужденному поддерживать в себе тепло, испытывающему издевательства со стороны тех немногих людей, с которыми он общается, и потому людей в них более не видящему – такому человеку требуется хорошая память, чтобы оставаться в контакте с теми человеческими существами, которые существуют где-то еще.

Если бы я не был способен помнить лица, имена, сценарии кинофильмов, слова, которые мне говорили, книги, которые я читал, рестораны, в которых я ел, карты и виды Европы, крыши Манхэттена – я бы никогда не смог выжить в московских тюрьмах. В трудовом лагере – возможно. Там вы находитесь вместе с другими людьми. В Лефортовской тюрьме, даже проводя почти восемнадцать часов в день и шесть дней в неделю на допросах с полковником Сидоровым, я был одинок. И это одиночество, наряду с отчаянным желанием спать, было самым сильным чувством и самым опасным моим противником в то время.

Очень важны для меня были также слова песен – всех тех знакомых, романтических, легкомысленных хитов, которые мы проигрывали на фонографе в посольстве и распевали на вечеринках. Эти песни стали ниточкой, связующей меня с жизнью.

Где-то на третьей неделе моего пребывания в Лефортово к холоду, черноте и одиночеству моей камеры номер 111 добавилась новая пытка. Однажды рано утром где-то за моим окном начался странный низкий гул, вскоре он вырос на порядок и превратился в оглушительный рев. Когда я взглянул на свою тарелку и ложку, лежащие на шатком маленьком столике, я увидел, что они дрожат. Их края казались расплывчатыми! Я был в ярости. Я решил, что этот звук был изобретен специалистом по пыткам – дьявольским специалистом, желающим разрушить человеческую волю. Я был восхищен гением человека, придумавшего эту пытку. Даже если я закрывал уши, рев проникал внутрь моего черепа. От него невозможно было спастись. Когда меня повели к Сидорову, я испытал облегчение. С кривой усмешкой я похвалил его за это нечеловечески гениальное изобретение в виде ужасного шума. Сидоров плохо воспринимал иронию, и он меня не понял. Он произнес: «Я знаю. Это ужасно. Тут по соседству есть авиационный исследовательский институт¹. Это их аэродинамическая труба. Хорошо, что мой кабинет с другой стороны, иначе я бы никогда не смог дописать своих рапортов». Бедный Сидоров.

Итак, это была аэродинамическая труба, а не приспособление для пыток. Тем не менее, это работало на то, чтобы меня сломить. Я это понимал. И я решил, что буду сражаться с этим шумом – также как я сражался со всем, что они использовали против меня. Я решил, что буду учиться становиться глухим.

Я читал когда-то, что некоторые люди становились глухими после большого эмоционального потрясения. Я решил, что буду тренировать себя становиться глухим на время – как я натренировал себя улыбаться Сидорову на каждом ночном допросе вместо того, чтобы показывать ему, насколько я был зол и испуган. Однако мне так и не пришлось проделать с собой этого, потому что как только я об этом подумал, то тут же понял, что вой аэродинамической трубы может стать тем, что поможет мне выжить. Вместо того чтобы с ним бороться, я могу его использовать в качестве своего союзника.

На следующий день охранник привел меня обратно в камеру в четверть шестого утра. Я знал, что время было более ранним, чем обычно, потому что в течение последних часов допроса Сидоров все время зевал, и когда он, наконец, сказал, что на сегодня достаточно и нажал на кнопку вызова охраны, двери в других комнатах для допросов были все еще закрыты, и в коридорах стояла тишина. Обычно какие-то двери уже были открыты, и можно было услышать бряцанье связок ключей на поясах у охранников, разводящих заключенных по камерам. Этот звук охранники использовали для того, чтобы знать, что ведут другого заключенного, и не дать заключенным возможности увидеть друг друга. Обычно охранник удерживал меня в комнате, прежде чем вывести, чтобы оглядеть коридор в обе стороны. Но этим утром он просто сделал знак рукой, чтобы я выходил. Когда я добрался до камеры, то был уверен, что до шести часов остается еще довольно много времени. Я лег на койку, меня никто не беспокоил. Как мне кажется, я проспал, по крайней мере, полчаса. Может, минут сорок пять.

¹ Сегодня - ФГУП Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова. Расположен по соседству со зданием лефортовской тюрьмы. – прим. переводчика.

Мне всегда казалось, что нет ничего хуже, чем проснуться после сна, который был слишком коротким. Но сейчас я складывал в копилку каждую минуту своего сна, понимая, что это спасет меня от сумасшествия и мой разум – от помрачения, и, тем самым, поможет мне остаться в живых. Глаза мои слезились, и я испытывал настоящую ненависть к охраннику, барабанящему в дверь: «Подъем!» в шесть часов утра. Не раздражение, а именно настоящую ненависть. И, в то же самое время, я знал, что смог немного поспать, и мысленно я положил это в свою копилку в качестве некоего преимущества над Сидоровым. Сидоров рассчитывал на то, что сможет меня сломать. На тот момент я считал, что смогу сломать его.

Человек состоит из своих воспоминаний, и если вы их утрачиваете, вы перестаете быть человеком. Даже если тело продолжает жить, человек умирает. Но это не совсем то, что я имею в виду. Я говорю о том, как память помогает простому физическому выживанию.

Я встал, когда начали барабанить в дверь, крича «Подъем!». За маленьким окошком, находящимся под козырьком, все еще не было видно света. Там, за окном, был московский январь. Я тщательно вымыл лицо под холодной водой, затем присел на унитаз, закрыв глаза на пятьдесят безопасных секунд, на которые я мог полагаться – перед тем, как глазок снова откроется. Таким образом, сидя в позе орла на этом железном круге, я мог схватить еще минуту-другую сна.

Затем я поднялся и принялся ходить взад-вперед по камере – потому что пока вы в движении, они оставляют вас в покое, если только вы не делаете чего-то подозрительного. И затем я принялся отсчитывать минуты до того момента, когда аэродинамическая труба снова заработает – ведь теперь у меня был план, как использовать это.

Говорить или производить какой-либо шум в камере запрещалось. Если вы разговариваете сами с собой, охранник откидывает задвижку и шипит на вас: «Заткнись, ты! Не разговаривать! В карцер, если еще раз это сделаешь!». Всего лишь за разговор с самим собой! Если на вахте «хороший» охранник, и он застает вас бормочущим что-то в полубезытье – потому что вы постоянно находитесь наполовину в спящем состоянии – он может просто постучать в глазок и погрозить пальцем, или покачать головой, когда вы поднимите на него глаза. Но большинство охранников, судя по всему, использовали возможность как-то разнообразить рутину своей службы и отшвыривали заслонку, угрожая мне карцером.

Так или иначе, они действительно верили, что я был врагом народа. Я обнаружил это позднее.

Завтрак выдавали около половины шестого. Я вычислил это, сосчитав, сколько раз открывается глазок между криком «Подъем» и завтраком. Открывался он примерно раз в минуту. Я не утверждаю, что мои вычисления абсолютно точны.

Четыреста граммов жесткого, сырого, прокисшего черного хлеба, полтора кусочка сахара и кружка «чая». Затем, около семи утра, дверь снова открывается, и охранник дает вам старую шинель времен революции, которой самое малое лет тридцать, сильно протертую, и выводит вас в коридор; потом, бряцая связкой ключей на поясе, он ведет вас вниз по ступенькам, и далее во двор – на прогулку.

Двор разделен деревянными перегородками. Места между ними не больше, чем в моей камере. Я не могу никого увидеть, кроме охранника, смотрящего вниз с вышки. У меня есть пятнадцать минут, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Если поднять глаза вверх, то

удавалось увидеть краешек неба. В то утро, насколько я помню, оно все еще было темным и ясным, и я увидел на нем звезду. Наверное, одинокие люди по всему миру вот так вот смотрят на звезды. Видит ли Мери эту звезду? – подумалось мне.

За перегородками слышались смутные шаркающие звуки. Кого-то еще вывели на прогулку в этом дворе, подобном деревянной коробке для яиц. Наверное, они тоже сейчас смотрят на ту же звезду и задают себе вопрос, смотрят ли на нее их жены, дети или подруги.

Потом пришел охранник и увел меня назад в мою камеру – но это было хорошо, потому что я ждал начала работы аэродинамической трубы, чтобы осуществить свой эксперимент и заставить ее работать на меня. Я отсчитывал оставшееся время, наблюдая за тем, как открывается глазок. Когда, по моим расчетам, время подошло к восьми, я подумал – что ж, сейчас. Может, после того, как глазок откроется в этот раз, но перед тем, как он откроется во второй раз. Немного погодя – наверное, вам знакомо это чувство, когда вы не хотите себя разочаровывать – я решил, что на пару минут ошибся в своих подсчетах, и сейчас еще слишком рано. Пусть глазок откроется еще раза три.

И, наконец-то, началось.

Сначала приглушенный низкий шум, затем нечто вроде завывания ветра, и, наконец, все это переросло в полноценный оглушительный рев. Хотя здание и не дрожало, но я чувствовал, как этот рев отдается внутри моей груди. Развернувшись от двери с глазком и сделав шаг в сторону окна, я набрал полные легкие воздуха, открыл рот так широко, как только мог, и запел что есть мочи:

Mairzy doats and dozy doats
And liddle lamzy divey¹

*Лашапки кушаньят трулѳс
Трулес они трапят!*

Громко. Выдохнул, что было сил. Fortissimo. Это было здорово! Веселая задорная детская песенка, ставшая хитом среди американских солдат на фронте в сорок четвертом.

Дойдя до стены, я развернулся и посмотрел на глазок. Я решил, что на обратном пути, когда охранник может увидеть мое лицо, я почти не буду двигать губами, и петь я тоже буду негромко – поэтому, даже если он присмотрится, то ничего не заподозрит. Итак, теперь немного осторожнее, Алекс, sotto voice, кажется, так это называется? Или piano?

Тарирам-пам парам, тари-рирам!

Эффект был фантастический. Я имею в виду то, что произошло со мной. Меня распирало от смеха. Я нашел еще один инструмент для выживания. Это кажется безумием – детская песенка как инструмент выживания. Но это была песенка из Америки. Это была песенка, которую пели сейчас где-то в Нью-Йорке. В посольстве на Моховой мы тоже заводили фонограф с этой пластинкой. Может, не прямо сейчас, в восемь утра, но пластинка там все равно была, и кто-то, возможно уже сегодня, может быть, вечером после работы, поставит ее в проигрыватель.

И что за странные слова

¹ Песня, ставшая хитом в марте 1944 г. На первый взгляд бессмысленный набор слов. Американские солдаты иногда использовали их в качестве пароля на фронте.

*Мудрено их понять весьма
Но чтобы лучше их понять
Давайте лучше петь опять:
Лошадки кушают овес,
Трам-нам – овес едят!
Ягнята, сунь им плющ под нос,
Они плющом хрустят!*

Я сразу же почувствовал себя менее обессиленным. В течение часа, я знал это, меня поведут на допрос. Сидоров наверняка спал три, три с половиной, или, может, почти четыре часа в это утро, потому что он закончил допрос раньше обычного. Спал на настоящей кровати, с подушкой и одеялом. Потом он брился, под горячей водой. Наверное, съел на завтрак яйцо, или какой-нибудь другой хорошей еды, выпил чаю, настоящего чаю, с молоком. Ему будет известно, что я не спал. Он прекрасно знает, что я немного не в себе, что в голове у меня муторно, и будет пытаться меня подловить. Мои руки, ноги и спина будут болеть после жесткой койки. И у меня уже почти не останется сил на тот момент, когда он за меня по настоящему возьмется. Он гнет меня уже на протяжении трех недель, и довольно скоро я сломаюсь и скажу ему все, что он хочет, он в этом уверен – это написано у него на лице. Хотя, когда я просто продолжаю ему вежливо улыбаться, я чувствую, что в нем все сильнее вскипает затаенная ярость.

Но этим утром я знаю, что достану этого ублюдка. Потому что я могу петь – а это значит, что у меня есть ниточка, которая связывает меня с тем миром, что остался снаружи. И я смог полчаса поспать – даже, может быть, минут сорок – и когда он меня увидит, то не поймет, почему я такой, черт побери, веселый! А я намерен, черт побери, быть веселым в это утро, потому что знаю, что этот ублюдок не получит того, чего он от меня хочет, и в один из таких вот дней ему не останется ничего, кроме как отпустить меня!

Я помню, как ходил взад-вперед по камере тем утром, все более ускоряя шаг, разворачиваясь на пятках, наполняя легкие воздухом, и пел не переставая. Я – оркестр имени Лефортово, сказал я себе.

*- Послушай, друг!
А где здесь Чаттануга Чу-Чу?
- Десятый путь!
Вперед и вправо свернуть.¹*

Сдаться было бы очень легко, думал я – это и есть цель всего того, что они со мной проделывают в камере 111 и на бесконечных допросах. Я обвиняюсь в терроризме, в антисоветской пропаганде, в шпионаже. Возможно, если я сознаюсь, они перестанут мучить меня по ночам, дадут что-нибудь сносное из еды, и кровать, в которой я мог бы спать. Но даже если бы мне и было в чем сознаваться, я бы никогда этого не сделал. Но мне не в чем сознаваться, и до сих пор я пребываю в совершенном недоумении, когда Сидоров говорит, так уверенно – «Послушай, мы все знаем, почему бы тебе не сознаться!». При этом он берет в руку толстую пачку бумаг и хлопает по ней ладонью:

- Здесь все. Следствие написало полный отчет. Мы знаем, что в определенное время в 1946 году вы планировали террористическую деятельность, и мы знаем, что вы вербовали людей с целью работы на вас. А теперь расскажите мне об этом.

¹ Популярная песня 40-х - музыка Гарри Уоррена, слова Мака Гордона. Была исполнена оркестром Глена Миллера, солистами Тэксом Бенеке, Паулой Келли и вокальным ансамблем "Модернэйрс" в фильме "Серенада солнечной долины".

...Через некоторое время мои ноги слишком устали от хождения взад-вперед, и я сел на койку. Это позволялось – до тех пор, пока вы держали свои руки на коленях и сидели лицом к двери. Но я чувствовал себя хорошо. Ко мне снова вернулся мой оптимизм, который уже почти улетучился в течение последних нескольких дней. Я решил, что пришло время немного проверить самого себя, как я справляюсь.

Имя: Александр М. Долган.

Возраст: двадцать-два.

Дата рождения: 29 сентября 1926 г.

Адрес: Американский Дом, Посольство США, Москва.

Все это – твердо, в полный голос, но когда глазок открывается, я прекращаю двигать губами и просто смотрю вперед.

Как руки? Я вытянул их вперед перед собой. Они немного дрожат, но это нормально, потому что мне не давали спать, начиная с... Мне было сложно припомнить, сколько точно времени прошло, и я решил над этим поработать. Я взглянул на свой календарь – на серию царапин на черной краске стены моей камеры. Меня арестовали 13 декабря 1948 года. В понедельник. Перевезли сюда, в Лефортово, с Лубянки, пятнадцатого, и сразу поместили в эту черную камеру с одной лампочкой на 25 ватт под железной сеткой над дверью, поэтому мне было тяжело разглядеть свои царапины. Но они показывали первую неполную неделю, только пять дней, потом еще одну полную неделю, и еще одну, и потом еще три царапины – значит, сегодня среда, 5 января, и это значит, что меня держат два полных дня и две ночи без нормального сна. По субботам и воскресеньям мне давали спать, пока Сидоров уезжал домой или куда он там ездил.

Дверь в камеру открылась, охранник протянул мне ведро ледяной воды с тряпкой, а затем вышел, не промолвив ни слова. Это означало, что у меня есть около получаса перед тем, как меня отведут наверх. Я вылил немного воды на черный асфальтовый пол, стал на колени и начал тереть. Если вы делали это «плохо», что бы это ни означало, они могли заставить вас начать все заново. Среди охранников была одна женщина, воистину жестокая особь, которая любила находить ошибки в том, как я вытирал пол. Однажды она зашла в камеру со вторым ведром и полностью вылила его на пол, а затем принялась орать на меня, чтобы я поторопился вытереть его, потому что уже было время вести меня на допрос.

Она любила открывать с грохотом дверь в тот момент, когда я сидел на железном кольце нужника – не спал, а действительно им пользовался, со спущенными штанами, полностью беззащитный, и орала: «Быстрее, стерва! Что-то ты слишком долго это делаешь!». «Стерва» - очень неприятное русское ругательство. И эта стерва, то есть эта женщина, была единственной из охранников, кто пользовался грязными ругательствами. Другие могли на вас просто наорать, но она действительно вела себя гнусно – почти так же, как Сидоров, и гораздо более злобно. Каждый раз, когда я пользовался туалетом, она открывала окошко и орала на меня.

Но в это утро мне достался спокойный охранник. Когда я закончил с полом и встал напротив двери с тряпкой и ведром, он открыл дверь и без единого слова взял все обратно, заперев меня вновь.

Теперь оставалось пять или десять минут до того времени, как меня поведут наверх. Я снова вошел в становящуюся привычной колею дневных и ночных допросов. Все повторялось с абсолютной регулярностью. Я решил, что это было осознанной тактикой –

ругаться и оскорблять меня ночью, сохраняя выжидательную позицию днем, чтобы предоставить мне возможность, расслабившись, попасться на удочку. На допросе днем ранее Сидоров снова рассуждал о московском «Динамо». Ходил ли я когда-либо на футбольные матчи? Не кажется ли мне, что эта игра более интересная, чем баскетбол? И так далее.

И при этом в эту же ночь он был мрачным и неразговорчивым, злобно смотрел на меня, стараясь пощекотать мои нервы, потом периодически ходил взад-вперед, хлопая ладонью по своим папкам и бросая угрозы в мою сторону: «Ты – сукин сын, ... твою мать. Если ты не будешь со мной сотрудничать, я тебя за яйца возьму, а потом выведу к стенке и лично расстреляю».

Затем, в запале этой ругани, он брал самые высокие ноты. И уже на этом этапе моего заключения, когда Сидоров кричал, что «государство тебя поймет, тупой ты сукин сын!», я чувствовал, как сжимаются его кулаки, и что близится нечто похуже словесных угроз. Ночью он часто брал в руки свой пистолет, револьвер Токарева, рассчитанный на семь патронов. Он вынимал его из ящика и клал на стол, направленный стволом на меня. Это в то время, когда он заявлял, что выведет меня и пристрелит.

Но днем Сидоров такого никогда себе не позволял. Обычно он начинал со слов: «Ну, не решили ли вы рассказать мне все и избавиться себя от многих неприятностей?». В ответ я произносил: «Ну, я же все вам уже рассказал, из того, что я знаю, и мне нечего добавить. Чего еще вы хотите?».

Тогда он отвечал: «У меня много времени. Мы все равно все знаем».

Затем он что-то бурчал, а потом начинал просматривать свои бумаги или листать газету. Спрашивал, что я знаю о марксизме-ленинизме – все это в легкой, почти дружеской манере. В детективных рассказах часто фигурирует известная техника допросов, когда «плохой» и «хороший» полицейский работают в команде. «Плохой» полицейский терроризирует подследственного, в то время как «хороший» всем видом показывает, что угрозы и насилие его расстраивают. «Плохой» парень выходит из комнаты за стаканом воды, или еще за чем, а «хороший» в доверительном тоне говорит: «Послушайте, не волнуйтесь, я думаю, что смогу удержать его, чтобы он не потерял терпение. Доверьтесь мне – у него, и правда, тяжелый характер», - и так далее, чтобы смутить и запутать заключенного, либо ослабить его сопротивляемость «суровой» технике, либо поймать его на «дружескую» удочку. Мне кажется, что техника МГБ совмещала этих двух парней в лице одного следователя. По крайней мере, это выглядело именно так.

Ну что ж, в этот день я собирался еще немного удивить Сидорова. Я чувствовал, что настроен на это. Голова моя была немного затуманена. Мне нужно было как-то прожить еще три ночи без сна – перед тем, как настанет суббота. Но где-то в глубине себя я знал, что выдержу, и что каким-то образом в течение этой недели я найду способ еще немного поспать.

Я встал и снова принялся ходить по камере. Аэродинамическая труба продолжала реветь. Я усмехнулся в ее сторону через тюремные стены: «Спасибо, друг!» А потом что есть мочи прокричал ей: «Спасибо, друг!» Затем развернулся к окну и наполнил все то время, что оставалось мне до допроса, еще одной песней, в которую я смог вложить всю свою душу на тот момент.

Дай мне простор, много простора

*под звездными небесами,
Не запирай меня в клетке!
Дай мне промчаться по широкой свободной стране
Которую я люблю,
Не запирай меня в клетке!
Я хочу умчаться на край земли,
где начинается Запад,
И смотреть на луну до потери чувств,
я не могу смотреть на лачуги, и я не выношу клеток -
не запирай меня!¹*

Дверь заскрипела и распахнулась. «Приготовиться к допросу!». Охранник оглядел коридор и затем сделал мне знак выйти. Как я помню, это был относительно сносный парень. Когда он взглянул на меня, чтобы выпроводить из камеры, его брови поднялись довольно высоко, потому что я счастливо улыбался. Но он не произнес ни слова.

Глава 6

Когда меня привели в комнату для допросов, Сидорова там еще не было. Я сел на стул и мгновенно заснул. Вероятно, это продолжалось около двух минут, но в этот раз я не упал со стула. Я почти научился спать, сидя на жестком деревянном стуле, не падая с него и пребывая в постоянной готовности проснуться от малейшего шороха. Я уже два или три раза опробовал это на Сидорове, но, как мне казалось, он разгадал мой маневр. Он задавал вопрос, и я отвечал: «Послушайте, мне нужно с минуту подумать об этом». Затем я прикладывал руку ко лбу, закрывал глаза и дремал. В первый раз я вздрогнул, проснувшись, и он понял, что я спал. Я сказал: «Не могу ничего поделать. Я пытаюсь вспомнить, но меня клонит в сон». Сидоров бросил в ответ: «Тогда держи глаза открытыми». Я сказал: «Мне это помогает вспомнить. Не волнуйтесь, я постараюсь не засыпать».

Днем позже, на дневном допросе, я повторил этот трюк, но в этот раз я смог подать себе сигнал и пробудиться через минуту, плавно, и спокойно произнести: «Нет, я не помню», - в ответ на его вопрос.

В этот раз, лишь услышав, как открывается дверь, я проснулся и обнаружил, что продолжаю сидеть прямо, и когда Сидоров заглянул мне в глаза, они были широко открыты. Сидоров направился прямо к своему большому письменному столу, стоявшему напротив моего маленького столика, и бухнул на него свои папки. Затем он разложил на столе газету, продолжая стоять над столом и смотря в нее, стряхивая что-то невидимое со своей штанины тыльной частью ладони. Затем он сел за свой стол и некоторое время читал, не глядя на меня. Потом вынул из кармана пачку сигарет и закурил. Все шло как обычно. Он продолжал курить, а затем уставился на меня и некоторое время смотрел, не говоря ни слова. Позднее я говорил с сотнями заключенных, прошедших через допросы, и теперь я знаю, что все это было частью обычного метода следователя. Заставить вас ждать и теряться в догадках. Сидоров заставлял меня ждать слишком долго, потому что особой тонкостью не отличался, и даже не догадывался, в какую игру с ним играю я. Это я заставляю его теряться в догадках, говорил я себе.

¹Don't Fence Me In - Баллада ковбоя из кинофильма «HOLLYWOOD CANTEEN», 1944.

Через некоторое время он произнес: «Заклученный, подойди сюда».

Я встал и подошел к его столу. У Сидорова были очень серые глаза. Я заметил, что под носом у него было не выбрито. Спустя некоторое время он предложил мне сигарету: «Вот».

Я взял ее, и он поднес мне зажигалку с некоторой учтивостью.

- Твои уже давно закончились, не так ли?

- Да, я вам об этом говорил. Две недели назад. Даже больше. Их мне хватило только на два или три дня.

- Ты любишь курить, не так ли?

- Конечно, вам это известно.

- Мне многое о тебе известно, мой друг.

Я ждал.

- В трудовом лагере, куда я тебя отправлю, после того, как я тут с тобой закончу, всегда есть курево, и ты сможешь курить, когда захочешь. Разве это не лучше, чем то, что у тебя есть здесь?

Я продолжал улыбаться своей обычной улыбкой и пожал плечами.

- Послушай, заключенный, я дам тебе совет. Здесь тебя ничего лучшего не ожидает. Ты думаешь, что у тебя сейчас тяжелые времена, но они будут еще более тяжелыми, если ты не станешь сотрудничать. Теперь слушай – все равно все у нас здесь, - Сидоров хлопнул ладонью по папке. – И я собираюсь вытащить это из тебя, потому что это – моя работа, и я с ней хорошо справляюсь, и еще ни разу не было, чтобы не справился. Поэтому вместо того, чтобы ждать еще месяц или два или сколько там еще ты хочешь упрямитесь, почему бы не закончить с этим прямо сейчас? Сегодня. Расскажи мне все, потому что мы все равно все знаем. Все что нам нужно – это несколько деталей и подписанное признание, и потом ты сможешь спать по ночам, курить сигареты, получишь сносную еду и целыми днями будешь в компании с другими, и, наверняка, получишь недолгий срок, если будешь сотрудничать.

В своей голове я слышал звуки музыки. Я громко рассмеялся и произнес по-английски: «Is this the Chattanooga Choo-Choo?»¹

- Что это? – резко спросил Сидоров.

Я ответил: «Why don't you give me a shine?» - «Почему бы тебе не подарить мне свою улыбку?» - прим. пер.²

- Заключенный, говорить по-английски запрещается!

Я продолжил по-русски.

- Простите, мне очень жаль. Но ведь это просто великолепно! Я не думаю, что вы осознаете, насколько это замечательно!

- К чему ты клонишь? – ответил Сидоров.

- Послушайте, - продолжил я. – Вы получаете надбавку за ночные допросы. Если я расскажу вам все прямо сейчас, вы ее потеряете. Почему же я должен так с вами поступать после всего того, что вы для меня сделали? К тому же, если вы итак уже все знаете, для чего я вам нужен, в любом случае? Почему бы просто не отправить меня тихо в лагерь? Вы бы могли провести следующие шесть месяцев дома, составляя там свои рапорты. Затем вы могли бы написать, что получили нужное вам признание. Я вам не понадобится, если вы итак уже все знаете.

Учитывая, что моя голова была не вполне ясной, все это, вероятно, прозвучало для меня несколько лучше, чем для Сидорова. Но я все же смог на какое-то время ввести его в замешательство. Сначала его лицо ничего не выражало, а затем на нем проявилась

¹ Строка из песни к фильму "Серенада солнечной долины"

² Из той же песни.

скрытая ярость. Однако он просто отвернулся от меня и взял в руки газету. «Сегодня ночью тебе не будет так весело», - промолвил он сквозь зубы.

Я затянулся сигаретой. Ощущение блаженства проникло внутрь меня. Это была первая сигарета с прошлых выходных, и сладостное чувство переполнило мою голову, которая итак уже была затуманена. Затяжка сигаретой успокоила мои нервы, и мне отчаянно захотелось спать. Мне пришлось употребить всю свою силу воли, чтобы побороть желание сказать Сидорову: «Пожалуйста, отпустите меня поспать! Если вы дадите мне поспать, я сделаю все, что вы хотите!»

Но даже пытаться делать этого не стоило – потому что ему нужны были детали моей шпионской деятельности, а у меня просто не было никаких таких деталей, которые я мог бы ему предоставить. Я не мог выиграть, но в то же время я чувствовал, что также могу и не проиграть, если продолжу отказываться сдаваться и показывать ему свою слабость. Весь день я сидел на стуле, ерзая на нем своими похудевшими ягодицами из стороны в сторону, стараясь сморгнуть жжение в глазах. Сидоров почти не говорил. Раз или два он брал трубку телефона, чтобы позвонить своей жене. Где-то в середине дня он встал и отошел обедать, сказав охраннику, чтобы тот следил, чтобы я не уснул. Я пытался спать на своем стуле, не показывая этого, но каждый раз, когда мои глаза закрывались, охранник подходил и тряс меня. Тот духовный подъем, что был у меня с утра после моего пения, начинал сходить на нет. Мне хотелось отправиться в камеру и спеть еще несколько песен, но я знал, что они выключат трубу в шестом часу вечера, и мне придется теперь ждать до утра. Я чувствовал, как внутри моей головы нарастает некое давление. Не головная боль, а именно сильное, непрерывное давление, ощутимое в глазах. Я знал, что вылечить это мог только сон. Перед тем, как Сидоров вернулся, я снова потерял сознание и упал со стула с закрытыми глазами. Кто-то меня поднял и начал яростно трясти.

- Спать, - проговорил я.

- Говори, и ты пойдешь спать, - услышал я голос Сидорова.

Я открыл свои воспаленные глаза и улыбнулся ему в ответ.

Назад в камеру в шесть часов вечера. Где-то в середине дня они принесли миску жидкой капустной похлебки с небольшим кусочком рыбы. Когда дверь камеры 111 открылась и меня впихнули вовнутрь, я увидел свой суп, холодный. Но если я хочу получить немного протеина, фосфора и других необходимых веществ, мне придется съесть его немедленно, таким холодным и неприятным, каков он есть, либо остаться без горячей каши, которую дадут, как только я освобожу свою миску – ведь она у меня одна.

В тот вечер, или на следующий вечер, две вещи случились почти одновременно. Я обнаружил, что у меня стали выпадать волосы, и я нашел некоторую информацию на задней стороне своей миски.

На самом деле, волосы у меня стали выпадать уже в конце второй недели. Многими годами позже мне сказали, что это могло быть результатом огромного нервного стресса, наряду со всем остальным, что со мной произошло. Я продолжал терять вес, хотя немного этого я мог себе позволить. Однако я был лишен какой бы то ни было свежей пищи. Я был уверен, что у меня начнется цинга, если я пробуду в тюрьме достаточно долго. Мои десны начали воспаляться. Когда я умывался холодной водой и потом проводил рукой по волосам, несколько волос оставалось в раковине. В следующий раз, когда меня повели под душ и я вытирался, то увидел еще больше волос, лежащих у меня в руке. В этот раз в руке у меня оказался целый клочок. Когда я проводил рукой по голове, чтобы как то снять внутреннее напряжение, давящее мою голову изнутри, я буквально ощущал, как масса волос отделяется – в то время, как пальцы проходят по голове. Оставшись с клоком светлых волос в руке, я уставился на него. От вида этих волос меня охватило достаточно сильное смятение. Это был признак физического распада. Я ожидал чего-то подобного, но не этого.

На меня накатила волна паники. Тогда я сказал себе: «Спокойно, Алекс – это то, чего они добиваются. Чтобы ты потерял контроль над собой». Мне ужасно хотелось вновь провести рукой по волосам и увидеть, сколько еще волос выпадет, но мне стало страшно, и я этого не сделал.

Я решил, что мне нужно заняться чем-то новым – чем угодно, что заставит мою голову работать. Я приступил к дыхательным упражнениям, делая долгие вдохи, чтобы расслабиться. Грудь была тяжелой, и я дышал с ощущением, что она стянута ремнями. Потом я поднялся, открыл воду и плеснул ее на лицо. Затем решил очень тщательно вымыть свою миску, а после вытереть ее своим маленьким полотенцем. И вот отсюда-то и появилась новая информация.

Я помню историю, которую мне рассказал один парень из посольства – о человеке, попавшем в тюрьму. Надзиратель ругал его за то, что он хранил у себя в камере колоду карт вместо Библии. Тогда тот человек показал надзирателю, как эти карты могли служить ему, символически указывая на всех известных библейских персонажей, а также могли использоваться в качестве календаря и так далее. Что ж, такова жизнь в тюрьме. Вы учитесь использовать крохи информации, уходя с ними далеко вперед. Когда я вытирал эту эмалированную миску, то заметил на ее днище название московской фабрики, где она была сделана, а также цифры: 10-22.

Мне всегда нравились ребусы с числами, и я подумал – а вот и еще один. Ну-ка, догадайся, что это обозначает - 10-22?

Вероятно, в самом начале, как только я увидел эти цифры, то предположил, что это дата изготовления – октябрь 1922 г. Но миска выглядела достаточно новой – было совсем не похоже, чтобы ее использовали четверть века. Некоторое время я рассуждал, не могут ли эти номера каким-то образом относиться к тюрьме, в качестве некоего кода. Затем, просто сидя и рассматривая миску в своей руке, я заметил про себя, что она была около двадцати двух сантиметров в диаметре, а ширина ее внутренней стороны составляла около десяти сантиметров поперек. Если это так, то я мог бы это проверить, измерив две длины и сравнив их друг с другом.

Конечно, моего ремня и галстука давно при мне не было.

Я начал оглядывать камеру в поисках чего бы то ни было, чем бы я мог воспользоваться. Мой взгляд упал на полотенце. Оно было сшито из грубой хлопковой ткани и уже порядком истрепалось. Мне потребовалась всего пара секунд, чтобы отделить от него нитку, потянув с конца, и вот у меня уже был отрезок длиной около сорока сантиметров. От него я оторвал поменьше, чуть длиннее ширины миски. Я протянул нить поперек миски и сложил ее там, где, как я надеялся, должна быть отметка в 22 сантиметра. Затем я отмерил и отметил узелками отрезки, равные шести сантиметрам – от края миски до края внутреннего диаметра. Потом – десять сантиметров в поперечнике внутри. 16 сантиметров от внешнего края до противоположного внутреннего края. И другие двадцать – два раза по длине внутреннего диаметра.

Я полностью погрузился в эти сложные вычисления. Время от времени я поглядывал на дверной глазок, но то, что я делал, явно казалось достаточно невинным занятием, и мне никто не помешал. Потом я отмерил отрезок, равный разнице между шестью и десятью, затем сложил его пополам, и к своему восторгу обнаружил, что он в точности равен разнице между двадцатью и двадцатью двумя. Вроде ничего особенного, но я почти рассмеялся вслух, радуясь своему успеху. Все мои другие сравнения также работали. Я аккуратно вытягивал из полотенца новые нити, пока у меня не получился отрезок, равный одному метру. Затем я разделил его на десять десятисантиметровых отрезков, делая острые надкусы зубами, а последний из них разделил на еще десять сантиметровых. Теперь у меня была линейка.

В начале я решил измерить свою камеру. В голове у меня родился вопрос: «А как много я прохожу каждый день, шагая взад-вперед по камере?» Камера оказалась 227 сантиметров в ширину и 351 сантиметра длиной. Я задумался – а сколько километров это будет в день, ходя взад-вперед, руки за спиной? Я прошел от двери до противоположной стены и обратно. Десять шагов, по пять в одну сторону. Это означало, что один шаг равнялся примерно семидесяти сантиметрам. Я решил, что работать с семьюдесятью сантиметрами в голове для меня довольно сложно, но, если уменьшить это до 66,5, то каждые три шага равны двум метрам, а километр будет равен тысяче пятистам шагов.

Я решил дойти до посольства.

Мне было неизвестно, какое в точности расстояние между Лефортовской тюрьмой и посольством, но я помнил, что поездка по городу ночью заняла около пятнадцати минут на довольно малой скорости, поэтому я решил, что до посольства мне идти около восьми километров. На юго-запад, как мне казалось¹. Давай посмотрим, сколько у меня это займет.

Эта идея придала мне какое-то необычное воодушевление. В моей мертвой черной камере, изолированный ото всех, кроме скрытного взгляда за дверью, наблюдавшего за мной через глазок раз в минуту, фантастическая идея прогуляться через всю Москву, чтобы соединиться с друзьями, выглядела потрясающе соблазнительной. Я не видел тюрьмы снаружи, но я слышал звук открывающихся ворот, и мог вообразить их размер. Я сделал ворота своей первой целью, встал и пошел – так быстро, как только мог, считая свои шаги и воображая, как я спускаюсь вниз, все ближе к выходу. Взад-вперед по камере. И вот я в коридоре. Еще тридцать шагов, и – мне повезло, дверь оказалась открытой. Никто не следит за мной, и вот я уже во дворе. Там достаточно темно. Вот во двор въезжает грузовик с заключенными, я проскальзываю за ним, ворота еще открыты, и вот я уже снаружи, на заснеженной улице, на свободе!

Вдохновляющая фантазия. Фантазия, наполненная энергией. Вдыхая чистый морозный воображаемый воздух, я устремился дальше, запахнув полы своего пальто. (Какого пальто? Ах, да – мне каким-то образом удалось унести с собой то пальто, что выдают мне на прогулку в тюремном дворе – так, пожалуй, сойдет). Я повернул на юго-запад и стал считать свои шаги, взад-вперед. Прошел мимо катка, с его огнями, музыкой и веселящимися девушками и парнями, но я не смотрел по сторонам – я просто шел и считал, взад-вперед. Вот шесть сотен шагов – а всего нужно сегодня пройти двенадцать тысяч, Алекс, приятель, и лучше бы тебе успеть сделать это до рассвета, или тебя схватят. Держи шаг.

И вот тут произошла забавная вещь. Я начал узнавать улицы Москвы – улицы, по которым мы катались с ребятами из посольства, когда выезжали в город на посольских машинах. Я подумал – погоди, я не мог уйти уже так далеко. Какой там счет? Улицы, по которым мы катались с Мери, когда ее голова лежала на моем плече, строя планы на будущее, говорили об Америке, которая так далеко на западе...

А я иду на юго-запад Москвы.

А потом я подумал – Господи! Почему бы мне не пойти на запад, вместо того, чтобы идти на юго-запад? Почему бы просто не уйти прочь из этой забытой Богом страны? Скажем, отсюда до окраины города всего около шести километров, а потом я могу выбрать дорогу, ведущую на запад, и, скрываясь по деревьям, в хлеву или амбарах под утро, продолжать идти через Россию, пока я не окажусь на свободе! Всего девять тысяч шагов до границ города, парень. Давай, держи шаг, держи шаг!

В своем воображении на следующей улице я повернул направо. Улица была мне незнакома. Низко на горизонте, на западе, висела Луна, и я направился прямо к ней. Никто

¹ Очень точное вычисление. Поразительно, насколько точен автор в своем повествовании – даже в таких, как казалось бы, несущественных деталях. – прим. переводчика.

на окружающих пустынных улицах не обращал на меня внимания. И с чего бы они обратили? Немного пригнув голову от ветра, я все шел и шел.

Дверь в камеру отворилась. «Приготовиться к допросу!»

В голове пронеслась мысль – о, черт! Я прошел всего 4150 шагов. Я ходил в течение часа. А потом я подумал – а почему я должен останавливаться? Кивнул охраннику, продолжая считать, с твердым намерением не потерять счет, потому что каждый шаг имеет значение – также как и каждая минута сна, которую мне удастся умыкнуть, имеет значение. Я держал шаг позади охранника, руки за спиной, глаза строго вперед, шел и считал. Вдоль по коридору, вверх по лестнице до комнаты с книгой в железной обложке, поставил подпись, ноги продолжают двигаться, а я продолжаю считать и считать, добавлять шаги, где только возможно – ведь, парень, мы идем домой! И вот комната для допросов, и вот я вхожу в комнату, и вот дохожу, наконец, до стула и сажусь, мои ноги порядком устали, и я рад передохнуть, я прошел 4450 шагов, а Сидорова еще нет. Сейчас я могу добавить еще пятьдесят шагов, перед тем, как он вернется, и я буду на полпути до границ Москвы, и смогу закончить свое путешествие утром, перед тем, как рассветет – и тогда я вырвусь за пределы этого города!

Я встал и начал ходить. Когда Сидоров вошел, я заканчивал второй круг по комнате. «Заклученный, сесть!» - рявкнул он. Четыре тысячи четыреста семьдесят два, и еще три шага поперек комнаты до моего стула, 4475 – значит, утром мне нужно будет пройти еще двадцать пять. А теперь давай посмотрим, где я нахожусь сейчас, и какому количеству километров в точности соответствуют 4475 шагов? Интересно, думалось мне, смогу ли я сосчитать это в уме? Это на двадцать пять шагов меньше, чем полпути, а полпути, как я вычислил, равно, кажется, трем километрам? Или я смухлевал? Ведь я начал считать, когда ушел с улицы, на которой находится тюрьма, когда уже перестал слышать музыку, доносящуюся с катка. Или нет? Двадцать-пять шагов – это около шестнадцати метров. Шестнадцати метров мне не хватает до трех километров. Тебе нужно, Алекс, приятель, поработать над этим в десятичной системе, чтобы выработать некую эффективную почасовую норму – старая добрая американская эффективность. И так далее. Но потом Сидоров стал кричать на меня, что он уже трижды задал мне один и тот же вопрос и не получил ответа, и что такое со мной сегодня, черт возьми.

«Я почти не сплю, вы же знаете», - помню, сказал я ему в ответ.

Эта ночь была не из приятных, и допрос растянулся на всю ее длину. Я падал со стула по крайней мере дважды, и во второй раз меня будили, облив холодной водой. Когда меня вели обратно в камеру 111 в шесть утра, я дрожал от холода, а мои ноги гудели после вечернего сумасшедшего энтузиазма. И в то же время, как только дверь комнаты для допросов открылась, и охранник указал мне жестом выйти за ним, я снова начал считать, чтобы сохранить свой рассудок. К тому времени, как принесли завтрак – хотя мои ноги умоляли о пощаде – московские дома попадались мне все реже и реже, и я находился уже в километре от границ города.

Хотя это действительно правда, что формально я находился на допросе от шестнадцати до восемнадцати часов каждый день, но, конечно же, никто не сможет допрашивать в течение такого длительного времени, как и никакой заключенный не сможет реагировать на это в более-менее приемлемом виде. Дневные допросы Сидоров обычно начинал с формального предложения о том, что пора бы мне признаться – обычно он повторял это по нескольку раз за день, не вкладывая в эти слова, однако, особого значения. В остальное время он болтал о всякой всячине. Даже на ночных допросах, за которые ему полагалась премия, он обычно не заставлял меня отвечать нон-стоп. Хотя в некоторые ночи он проводил допрос без остановки. Возможно, он считал, что приближается к чему-то, или, возможно, это было частью некой тактики, преследующей целью изматывать и изматывать меня. В остальные ночи около полуночи или часа (это мои предположения –

единственные часы, которые я видел, находились в комнате с книгой в железном окладе) он обычно выходил, чтобы хорошенько подкрепиться, а потом приходил, вытирая свой подбородок, и некоторое время читал или работал со своими документами. В одну из ночей я сильно разозлил его, посмеявшись над той работой по шнуровке папок, которую ему приходилось постоянно делать. Страницы в папке были связаны шнурком с картонной обложкой, имевшей дырки на торце, и когда Сидорову нужно было вложить лист готового протокола допроса в папку, ему приходилось брать что-то вроде длинной иглы и грубой нити, и, расшнуровав эту кипу бумаг, потом вновь ее сшивать. Когда я предположил, что в военной организации с должным порядком такому важному человеку, как подполковник, никогда бы не пришлось делать подобную ручную работу, он подлетел ко мне с такой яростью, что, как мне показалось, сейчас вот-вот меня убьет. Он орал на меня без перерыва в течение получаса, назвав всеми самыми мерзкими словами, на которые только был способен. Он сказал, что мое заявление доказывало, какой антисоветской проституткой я был в действительности, угрожал воткнуть в меня свою иголку тысячью самых оригинальных способов, и разбрызгал немало слюны по комнате. Сидоров ненавидел заниматься прошивкой документов, и, вероятно, ехидное замечание заключенного по этому поводу стало для него невыносимо унижительным.

В один из дней на второй неделе моего пребывания в Лефортово Сидоров явился с чековой книжкой из моего нью-йоркского банка. Она лежала в кармане моего пиджака. Он спросил, сколько у меня есть на счету, и прежде, чем хорошенько подумать, я ответил, что там были все мои сбережения, но не ответил, сколько точно. В действительности, насколько я помню, там была тысяча долларов с лишним. С почти елейной учтивостью он намекнул, что еда в Лефортово очень плохая, и мне было бы намного лучше, если бы я мог позволить купить себе особой еды. Он сказал, что мог бы для меня это организовать, если я подпишу все чеки. Я спросил, почему должен подписывать *все* чеки, и он ответил, что так он сможет снимать небольшие суммы от моего имени время от времени, не рискуя хранить у себя большую сумму. Я ему совершенно не поверил, да и он, вероятно, на это особо не надеялся. Так или иначе, но перед тем, как он показался с моей чековой книжкой, меня уже стала немного утомлять игра по постоянному изменению своей подписи, но теперь я дал себе слово ничего не подписывать своей законной подписью. И, конечно, я отказался подписывать чеки.

И, естественно, следуя маятнику дневных и ночных допросов, он принял мой отказ довольно спокойно днем и стал угрожать мне по этому поводу ночью.

В значительной степени вопросы Сидорова теперь стали концентрироваться на моих связях с армейским персоналом. Сидоров продолжал указывать на мою дружбу с капитаном Нортом, а также на знакомства с другими военными из посольства, как если бы это что-то доказывало. А потом, через некоторое время, он начал высказывать предположения, что я был хорошо знаком и со многими советскими офицерами, не так ли? Я сказал, что единственным временем для таких контактов мог стать день, когда все напились до беспамятства, в ночь, когда была провозглашена победа в Европе, и советские моряки-офицеры пригласили нас выпить с ними в баре гостиницы Метрополь. Что мы, конечно, и сделали. Сидорова это очень заинтересовало, и он продолжил свои предположения о том, что у меня были очень интересные знакомства среди военных, и что, по крайней мере, одного человека я знал очень хорошо, и попытался его завербовать. «Мы обо всем этом знаем, - говорил он, всегда хлопая ладонью по сшитым вручную папкам с листами бумаг. – Если вы этого не признаете, то вас ждут большие неприятности. Подумайте об этом».

Я, конечно, все отрицал.

Тогда он обычно уходил на некоторое время в другие области, но, после паузы или своего обеда, в течение которого охранник не давал мне заснуть, он начинал свою речь со слов:

«Что ж, я даю вам еще одну возможность рассказать о вашей попытке завербовать некоторого советского офицера в свою шпионскую сеть», или что-то вроде этого, всегда намекая на некое индивидуума. Я недоумевал, потому что по тому тону, с которым он задавал эти свои вопросы, я понимал, что под этим есть нечто большее, чем просто закидывание удочки. Он держал что-то у себя голове. У него на уме должно было быть какое-то событие, которое он искажал, либо намеренно, либо в надежде, что оно его куда-то выведет. И в течение некоторого времени я был в совершенном недоумении. Я просто не мог предположить, к чему он ведет. Внезапно мне вспомнился один эпизод, который было бы чрезвычайно сложно объяснить, и в нем частично присутствовало нарушение законов, и в результате этого случая я достаточно близко столкнулся в свое время с МГБ. По непонятным мне причинам, этот эпизод совершенно выпал из моей памяти. Теперь мне нужно было все быстро обдумать. До сих пор я говорил Сидорову правду обо всем. Если же он знал детали этого события, а я бы солгал об этом или все отрицал, то это событие в их глазах могло стать чем-то худшим, чем тем, чем оно было в реальности. Но если бы я рассказал ему об этом эпизоде все, а Сидорову про это было ничего неизвестно, то я бы выдал им тот случай, о котором им знать не следовало. И я решил повременить. Мне нужно было тщательно все обдумать. Тем эпизодом, о котором я неожиданно вспомнил, была поездка, предпринятая мной в 1946 году. В результате в один из дней меня застукали на территории дачи секретаря коммунистической партии Украины, и при этом я был с оружием. Тем человеком на Украине, которого я решил тогда навестить, был старый друг моего отца, и звали его Михаил Ковко. А имя партийного секретаря компартии Украины в то время было Никита Сергеевич Хрущев¹.

Глава 7

Михаил Ковко был украинцем, который работал с моим отцом в Нью-Йорке в двадцатых и вернулся обратно в СССР в 1929 г. Во время войны его серьезно ранило, и его отослали в Москву в качестве заведующего трофейным вооружением, или кем-то вроде этого. Он оставался военнослужащим, а так как он являлся специалистом по автомашинам и грузовикам, то его отправили в Киев, столицу Украины, заведовать различными транспортными службами и отвечать за техосмотр.

Однажды в 1945 г. Михаил Ковко нашел моего отца в Москве и приехал повидаться с ним. На тот момент он стал уже капитаном. Мы все встретились с ним в квартире моего отца, посидели за столом, поговорили о Нью-Йорке. Потом он довольно часто навещал моего отца, и я виделся с ним еще несколько раз. Его очень впечатлило то, что я работаю в американском посольстве. Мне не очень понятно, почему, но он глядел на меня с неким преувеличенным уважением. Мы хорошо сошлись. Он оставался в Москве только пару недель, и несколько раз за это время он сказал мне: «Почему бы тебе не приехать как-нибудь к нам? Познакомишься с моей женой и детьми, посмотришь Украину», и т.д. Это было сказано очень искренне, как мне тогда казалось, и я решил так и сделать, если представится возможность.

Когда Михаил Ковко уехал из Москвы домой в Киев, я на некоторое время совершенно о нем позабыл. Но в 1946 г., когда весь город погрузился в атмосферу того особенного сумасшедшего послевоенного оптимизма, я в один из дней вспомнил о Михаиле Ковко и решил, прямо вот так вот, очень импульсивно, что поеду и навещу его – как только найду время, свободное от работы в посольстве.

Девушка, которая у меня была тогда, решила, что это отличная идея для приключения. Ее звали Дина – она закончила московский Институт Иностранных Языков и была очень

¹ Н.С.Хрущев в этот период работал председателем Совета министров Украинской ССР, первым секретарем ЦК КП(б) Украины был назначен в 1938 г. – прим. переводчика.

энергична, умна и готова практически на все. Она была моим первым романтическим увлечением, и, хотя мои чувства к ней не были столь сильны, как впоследствии к Мери, мы провели вдвоем чудесное время, и я всегда буду помнить ее – со смешанными чувствами, однако, как оказалось позднее.

Чтобы поехать в то время куда-либо в Советском Союзе, вам нужно было получать официальное разрешение на каждую конкретную поездку. Даже советским гражданам это удавалось с трудом – что уж говорить про иностранца, у которого не было большой необходимости в этом путешествии. Я подумал – что за черт, я никогда не был в других частях России, я хочу поехать, и я сделаю это как-нибудь без получения разрешения. Дина была целиком на моей стороне. Она меня поддерживала. Таким образом, я начал ходить по вокзалам, смотреть расписание, наблюдать и прислушиваться – чтобы узнать, как следует действовать. Вокзалы были набиты людьми и их пожитками, свернутыми в узлы. В основном это были солдаты, а также самые разные люди, в большинстве своем бедно одетые, с пожитками, завязанными тряпьем. Чемодан или сумку можно было увидеть нечасто. Многие спали на лавках или даже на полу. Люди жили там целыми семьями. Я видел матерей, которые кормили детей из своего скудного рациона, состоящего из черного хлеба и капусты. Я видел людей, одетых в свои наряды, со всего Советского Союза – конечно, это были не красочные национальные костюмы, однако можно было явственно ощутить, что находишься на перекрестке культур и дорог – по мешанине из одежд, лиц, диалектов и языков, которые слышались вокруг.

Я стал перекидываться словами с людьми, намекая, что собираюсь в дорогу. Я даже попытался пройти сквозь кассу, чтобы понять, получится ли соврать насчет разрешения и взять билет, потому что русские очень небрежно относятся к своим бюрократическим процедурам, в которых всегда существует множество «лазеек» и неразберихи. Но этим способом мне не удалось ничего сделать. Однако я узнал, что большое количество людей путешествовало без разрешений, и чтобы все устроить, нужно было найти какого-нибудь доброжелательного проводника или кондуктора, и предложить ему несколько рублей, чтобы он посадил вас на поезд. У меня хватило дерзости обойти весь вокзал в поисках такого кондуктора, и, наконец, я нашел человека, с которым смог легко договориться. Он сказал, что посадит меня на поезд, и для меня это обойдется в несколько рублей, а также что он за мной присмотрит и все будет отлично.

Он предупредил меня, чтобы я взял с собой еды, потому что пищи было мало, выдача ее нормирована, а в поезде я не смогу ее достать.

Этот успех нас с Диной чрезвычайно воодушевил. Мне понадобилось больше месяца, чтобы все устроить – найти нужный поезд, нужную станцию, разузнать все остальные детали. И вот все было готово – я объявил на работе о своем отъезде, и нам пришла пора выдвигаться. Я упаковал большой чемодан вещей и еды – положив туда консервированное мясо, фрукты, другие тяжелые вещи, а также бутылку виски. С собой я также решил взять два своих пистолета – на случай, если мы будем за городом, и мне выпадет возможность немного поупражняться в стрельбе. Дина жила в принадлежавшей ей небольшой комнате, и рано утром 10 июля я взял посольскую машину и перевез все наши вещи к ней домой. Потом я вернул машину и доехал до Дины на автобусе. Перевозя вещи, я был предусмотрителен и постарался избавиться от хвоста МГБ по дороге к Дине. Когда я ехал по Покровке, они следовали довольно близко позади меня. Затем я вильнул в сторону и ушел в один из своих любимых дворов, а потом симитировал поворот обратно, через другой двор, в Петровский переулок, и когда они начали выезжать на него через предыдущую арку (я был уверен, что они так и сделают), я развернулся и поехал назад на Пушкинскую улицу, расположенную с другой стороны квартала. Я внимательно осмотрелся – следов МГБ нигде не было, и направился к Дине, не заметив по пути никого за собой. Все эти дворы и кварталы я знал превосходно, так как жил в этих местах во время войны и исходил их все пешком вдоль и поперек.

Проводник сказал нам, как пробраться окольной дорогой к путям, и назначил время, когда мы должны были встретить его на погрузочной платформе, далеко за пределами самого вокзала. На улицах Москвы можно было всегда встретить немало пустых чиновничьих автомашин со свободными шоферами, которые в перерыве между своими разъездами были рады отвести вас куда угодно за небольшую плату. Мы этим и воспользовались. Я был тогда достаточно наивен, чтобы не беспокоиться относительно МГБ – хотя шофер, которому я махнул рукой, вполне мог оказаться одним из них, в гражданской одежде, и я знал это.

Договариваясь с проводником, я заплатил ему 200 рублей и пообещал еще 300, когда он посадит нас на поезд. Я был уверен, что он сдержит свое обещание – ведь сумма в 500 рублей была очень неплохой для русского рабочего человека в то время, а для меня тогда эти деньги не были значительными, потому что издержек у меня было мало, а платили мне очень хорошо. Однако я переоценил его честность и порядочность. Он обещал мне хорошее купе, а в результате мы оказались в телячьем вагоне. Я кричал: «А что же насчет вашего обещания?» и т.д., но он просто продолжил запихивать нас в вагон, крича, что поезд вот-вот тронется (все это происходило в темноте, было около десяти или половины одиннадцатого вечера). И действительно, весь состав задрожал и заскрипел, и мы услышали пыхтение паровоза, а телячий вагон был уже довольно плотно забит людьми. «Садитесь или останетесь!» - закричал проводник. Мы бросились вперед и забрались в вагон. Все это стало частью наших приключений.

Этот вагон был явно переоборудован для перевозки людей. Не знаю, были ли в нем другие такие нелегальные пассажиры, как мы. Судя по всему, советское государство пыталось поставить на рельсы все, что только могло по ним двигаться, чтобы развезти обратно по домам огромное количество людей, не создавая при этом помех передвижению чиновничества и высших армейских чинов, предпочитавших комфортные пассажирские вагоны. В нашем телячьем вагоне было много простых солдат, и у многих из них при себе еще имелись ружья, что впоследствии оказалось очень кстати.

Я помню ночную сцену в этом вагоне, представлявшую собой кошмар – казалось, что в этот вагон упакованы сотни обернутых в тряпье человеческих тел. Люди в нем лежали на двух ярусах деревянных полок. Полки кишели вшами и клопами, но у меня была банка с порошком ДДТ, и с его помощью мы с Диной огородили пространство вокруг себя в виде изолированного острова. У всех остальных были узлы и бумажные свертки. Кажется, что чемодан был только у нас. Я подумал, не ограбят ли нас по дороге. Мы условились, чтобы один из нас всегда бодрствовал. Это было несложно. Шатающийся вагон, плач женщин, смрад от давно немых людских тел, клопы, угольная пыль, ветер, дующий из всех щелей – все это помогало нам не терять бдительности.

Чтобы не потерять также бодрости духа, мы в первую же ночь выпили почти всю бутылку виски. На следующий день нас одолевало похмелье, и мы умирали от жажды. Поезд делал остановки редко. На остановках я бегал и наполнял кипятком бутылку из-под виски и армейскую флягу, и потом мы заваривали растворимый кофе, ели консервированный бекон и другие продукты, в то время как другие довольствовались черствым черным хлебом и смотрели на нас со злобой. Мы провели в этом поезде трое суток. В последнюю ночь, когда поезд шел по Украине, он был атакован бандитами, пытавшимися ограбить пассажиров. Мы слышали в ночи несколько выстрелов – солдаты воспользовались своими винтовками, чтобы держать бандитов на расстоянии.

В пять утра поезд прибыл на киевский вокзал – точнее, на то, что от него осталось после тяжелой бомбардировки во время войны. Крыши почти не было, как и складов и зала ожидания – просто платформа и мусор, а также несколько временных дощатых билетных киосков. Но нас Диной все еще переполняла романтика приключений, и хотя мы и сильно

устали, она согласилась подождать на вокзале с чемоданом, пока я пойду разыскивать Михаила Ковко. Это было в моем стиле – я даже не написал Ковко о том, что мы едем. В конце концов, он же сам говорил, чтобы я приезжал в любое время. И вот я ранним утром пошел бродить по разрушенным улицам Киева со своей адресной книгой. Мне пришлось идти пешком, потому что общественный транспорт не работал. Не было еще и 6 утра, как я нашел дорогу к нужному дому на улице Леваневского¹. Поднявшись на несколько пролетов вверх, я постучал в дверь, чувствуя, что веду себя немного неделикатно, и в то же время ощущая внутренний подъем после успешного путешествия и ночного столкновения с бандитами, а также от чувства пребывания в совершенно новом месте и в компании чрезвычайно привлекательной девушки.

Я постучал в дверь и позвонил несколько раз, и затем услышал голос: «Кто там?»

- Это Алекс!

- Алекс? Алекс? – Дверь приоткрылась на цепочку. – Алекс! Алекс Долган! Входи, входи!

Михаил Ковко был еще в нижнем белье. Он добродушно улыбался, протирая глаза со сна. - Слушай, моя жена с детьми на даче. Тут полный бардак. Я сварю немного кофе. Проходи в комнату и рассказывай, что ты тут делаешь, а я пока оденусь.

Я начал было рассказывать, проговорив: «Ну, я тут с девушкой, и...»

И тут я остановился, потому что был настолько шокирован тем, что увидел в комнате.

Моя рука тут же потянулась за маленьким японским пистолетом в кармане. Я подумал: «Если придется, то я...». Ковко вновь заговорил, думая, что я смущаюсь, говоря о своей девушке: «Это замечательно, не стесняйся, расскажи мне о ней», - и т.д. Но тем, что заставило меня замолчать, был вид униформы, которую надевал Ковко. Это была униформа МГБ.

Он поднял глаза и поймал взгляд, с которым я смотрел на бордовые лампасы.

«Н-да, - произнес он. – Отвратительно, правда? Ну, им потребовался хороший автомеханик, и мне предложили чин майора, и это не так уж плохо. Работа та же, что и в армии. Ранг выше, и зарплата тоже».

Я подумал – да уж, сам вид этой униформы многое значит.

Несмотря на то, что Ковко был старым другом семьи, присутствие символов этой огромной, никому не подотчетной силы заставило меня мысленно потянуться за своим пистолетом. Я следил за ним, в то время как он подпоясывался португеей со своим пистолетом, шагая взад и вперед по комнате, а я рассказывал ему о нашем путешествии. Наша дерзость и смелость его впечатлили. Потом он сказал, что пойдет за машиной, и мы возьмем Дину и поедем загород, где находится его семья, чтобы провести несколько дней на природе.

Несмотря на дружелюбие и открытость Ковко, моя настороженность к нему сохранялась. Униформа МГБ практически убивала доверие к людям. Я поймал себя на мыслях о том, что если он попробует перехитрить меня, я его пристрелю, и точка.

«Ну что, пошли! – он обернулся ко мне. – Давай, поехали за твоей девчонкой!»

Мы вышли на улицу и прошли несколько домов, пока не дошли до массивного здания.

«Главный отдел, - беспечно обронил Ковко. – Не беспокойся ни о чем. Я им скажу, что ты мой свояк. Не показывай никаких бумаг, ничего».

Я держал в кармане рукоять своего пистолета. Мы прошли прямо к будке охраны. В окружении сотрудников органов! Я размышлял, героически, что успею пристрелить как минимум троих, прежде чем они меня возьмут. У меня было немного нереальное ощущение от происходящего. Ковко сказал охране, что я – брат его жены, и мне выдали

¹ Улица Леваневского в Киеве находится прим. в трех километрах от центрального вокзала – прим. переводчика.

пропуск. Просто вот так. Мы прошли прямо в гараж, и мне не довелось поучаствовать даже в самой крошечной перестрелке.

«Это наша тюрьма», - Ковко небрежно махнул рукой в сторону каменной стены позади гаража. Группа механиков поприветствовала его очень уважительно.

«Я беру машину на выходные, - обратился он к ним. – А вы двое подгоните мне грузовик, мне надо перевезти кое-что из мебели на дачу».

Никто не задавал вопросов. Ковко послал двух молодых офицеров на грузовом студебеккере к себе домой, забрать несколько стульев и еще что-то, а мы сели в зеленый БМВ и поехали на станцию за Диной.

Как и многие русские, занимающие достаточно видное положение - бюрократы среднего и высшего звена, армейские офицеры рангом выше капитана - Ковко проводил часть лета в нескольких снятых комнатах в небольшой деревушке, неподалеку от реки и леса, где можно было гулять и устраивать пикники. Они называли это «дача», хотя лучше было бы назвать это меблированными арендованными комнатами. Когда мы очутились за городом, мое напряжение начало спадать, а Дина чувствовала себя просто прекрасно – судя по всему, наводившая ужас униформа секретной полиции моего друга ее ничуть не смутила. Так что все было замечательно.

Долгие вечера мы проводили за разговорами и вином, а потом мы с Диной уединялись в своей комнате, прежде чем Ковко со своей женой уходили спать. Утром я оставлял Дину спящей, а мы с Михаилом брали его дробовик и пистолет Токарева, уходя на берег Днепра поупражняться в стрельбе. При этом я благоразумно не показывал ему своего оружия, которое всегда было при мне – маленького японского пистолета 22-го калибра. Ковко был впечатлен, когда я подстрелил несколько птиц из его Токарева. А меня впечатлил пистолет Токарева. Я часто видел такие пистолеты на поясах офицеров, но раньше не имел представления о том, насколько это основательное и точное оружие.

Время от времени мы садились в весельную лодку, переплывали Днепр и взбирались на противоположный крутой берег, чтобы побродить там в лесу. В то время мы еще не знали, что этот лес находится на территории дачи, принадлежащей в то время Хрущевым. В полдень или вскоре после него мы обычно возвращались в деревню, и Валентина, приятная молодая женщина, жена Михаила, обычно уединялась на кухне с Диной, а потом мы ели холодный борщ, сладости с чаем и шли спать. Вечером мы устраивали пикники, ужинали; каждый новый день все более располагал к спокойствию и отдыху, и мое волнение по поводу того, что Михаил работал в органах, улеглось.

Однажды утром мы с Михаилом подстрелили двух птиц из ружья, переплыли на лодке через Днепр, взобрались на крутой противоположный берег и бросили птиц в ручей. Потом мы по очереди стреляли по ним из пистолета. Мне удалось попасть, но Михаил так и не смог этого сделать. Он позавидовал моей меткости, как всегда, в своей добродушной и легкой шутливой манере. Внезапно, в то время как мы палили по этим несчастным птицам, я услышал шум в кустах позади нас. Я обернулся и остолбенел. Четверо мужчин, в гражданской одежде, окружили нас, направив на нас пистолеты. Один из них приблизился и заговорил низким, твердым голосом, в котором звучала властность:

- Почему вы здесь стреляете? Вы не знаете, что это – запретная зона? Кто вы такие?

Потом он заметил лампасы на брюках Михаила и знаки отличия на его рубашке.

- Извините, товарищ майор, не могли бы вы объясниться? Понимаете, вы находитесь на территории дачи секретаря Хрущева, и никому не дозволяется здесь находиться.

Михаил вынул свое удостоверение, как всегда, в своей добродушной манере:

- Конечно, конечно, ребята. Извините. Не знал, где мы находимся. Просто немного развлекаемся с моим другом Александром, братом моей жены. Вы, ребята, отлично знаете свою работу, молодцы.

И так далее. Я был очень впечатлен тем, как он держался с ними. Они сразу стали дружелюбнее и убрали свое оружие, а мы поспешили прочь, но не растеряв при этом своего достоинства. Ковко посчитал этот случай забавным, однако мне потребовался день или два, чтобы отыскать в нем хоть что-то забавное. Ведь я не имел права находиться на Украине, и если бы они спросили мои документы, все могло закончиться совсем не так забавно.

Перед отъездом я составил несколько писем на посольских бланках для себя, где было сказано, что я являюсь сотрудником посольства, путешествующим с официальным поручением, с просьбой к станционному начальству в Киеве о содействии в том, чтобы предоставить г-ну Долгану билет, и т.д. и т.п. Я понятия не имел, сработает ли это. В Москве бы точно не сработало, но чем дальше от Москвы, как я предполагал, тем более расхлябанно работает бюрократия. Я рассказал об этих своих намерениях Михаилу, когда пришло время возвращаться назад. Он сказал, чтобы я ни о чем не волновался, и что он все уладит, когда мы приедем на станцию. К этому времени я был уже достаточно спокоен и уверен, что его слово крепко. И действительно, Михаил разместил нас в вагоне первого класса, предназначенном исключительно для официальных лиц, со скатертями и цветами на столах, с превосходной едой в пути и удобными спальными местами. Таким образом, обратный путь был намного легче, чем путь туда, хотя и не был столь волнующим и полным приключений. Мы уехали из Москвы десятого июля, а шестнадцатого отменили ограничения на передвижение, и поэтому на обратном пути нам не о чем было волноваться.

На Украине мы провели чудесное время. Прогулки в лесу, волнующая встреча с охраной дачи Хрущева, страстные ночи с Диной, много веселья и приятных неторопливых бесед с Михаилом и Валентиной. Я помню, с каким восторгом Михаил смотрел на мой тяжелый серебряный браслет на цепочке с гравировкой – Alexander M. Dolgun, American Embassy, Moscow. Он никогда ничего подобного нигде не видел, и считал, что это нечто особенное. Я решил, что сделаю для него такой же и перешлю в Киев. Пару раз, когда Михаил хватил лишнего, он рассказывал мне мрачные истории о транспортировке заключенных – это было, в общем, основной частью его работы. Однажды он был ответственен за транспортировку нескольких барж с заключенными, плывущих в связке по этому самому отрезку Днепра, где мы стреляли по птицам и плавали на лодке. Восемь или десять заключенных решили сбежать и прыгнули в реку. Охрана, рассказывал Михаил, не предприняла ни малейшей попытки схватить их. Они просто расстреляли их из пулеметов в воде, и оставили тела плыть вниз по течению. Двое доплыли до берега, где были схвачены и расстреляны.

Иногда Дина тоже вставала пораньше, чтобы пойти пострелять вместе с нами, и ей понравилось держать пистолет. Поэтому, когда мы приехали в Москву, я взял свой револьвер 38 калибра с длинным барабаном и оттянул курок немного назад, чтобы он был мягче для нее. Мы ходили в лес по выходным и упражнялись в стрельбе, стараясь отстрелить, к примеру, днище от винной бутылки, стреляя ей в горлышко, при этом не повреждая стенок. Не скажу, чтобы нам удалось достичь такой точности, хотя я был и неплохой стрелок. Иногда по ночам я оставался у Дины, и мы проводили чудесное время вместе, и все это могло в конечном итоге зайти достаточно далеко, хотя, по крайней мере, для меня, все это не было таким уж серьезным.

Но вот в один из дней я шел по улице Большая Полянка. Я не помню, почему я там оказался. Так или иначе, но впереди я увидел идущую в том же направлении Дину, и решил, ради смеха, не окликать ее, а тихо идти за ней следом, чтобы потом положить руку

на плечо и строго сказать: «Тихо! МГБ!». Я решил, что подшучу над ней таким образом тогда, когда она будет входить в свой дом, и потому немного замедлил шаг, чтобы не приближаться до того момента, как она наклонится, вынимая ключи. Однако она внезапно повернула во двор, не доходя до своего дома, и направилась в здание школы. Я поднялся за ней по ступенькам школы, и как только вошел, увидел, как Дина впереди меня вошла в комнату в дальней части коридора.

У входной двери сидел дежурный, и он спросил меня, что мне нужно. Я сказал, что жду приятеля, и поинтересовался, что за контора находилась прямо по коридору. А-а, ответил он, это *спецотдел* МГБ, - одно из тех особых мест, где сотрудники органов неформально встречаются со своими осведомителями.

Я был в бешенстве. Моим первым порывом было дождаться ее снаружи и встретить лицом к лицу, когда она выйдет. Но я понял, что был вне себя и мог ударить ее, и все это закончилось бы плохо. Поэтому я просто развернулся и вышел, и никогда больше не искал встречи с ней. В течение нескольких дней она много раз звонила в посольство, но я ни разу не перезвонил.

Поэтому я был почти уверен, что именно этот эпизод имел в виду Сидоров, когда он намекал на мою связь с неким военным офицером. Хотя в этом присутствовала некоторая непоследовательность. Сидоров ни разу не упомянул МГБ, и не дал мне ни единой подсказки, что все это происходило на Украине. С другой стороны, когда он называл нескольких моих подруг по именам, он ни разу не упомянул Дину.

Я сидел в своей камере, пытаюсь сложить этот пазл, и от этих размышлений мне стало только тяжелее, потому что я чувствовал, что, так или иначе, я проиграю. Мое путешествие было бы очень сложно объяснить. В случайность моего появления на территории дачи Хрущева никто бы не поверил. Михаила Ковко ожидали бы серьезные неприятности, если он уже в них не попал. При условии, конечно, что он и Дина не были в стоворе, и не они оба меня выдали. Я решил, что если буду вынужден рассказать о своей поездке, то не буду упоминать случай с охраной Хрущева, в надежде, что Сидорову об этом неизвестно. Потом я решил, что вообще не буду ничего говорить, пока не удостоверюсь, что он эту историю уже знает. Но мне потребуется для этого провести некоторую разведку.

Я сказал: «Послушайте, я действительно пытаюсь вспомнить. Вы думаете, что я пытаюсь ввести вас в заблуждение, но я пытаюсь вспомнить, был ли какой-то случай с военными, который мог вам дать повод думать, что я пытался кого-то завербовать».

Я сказал это так, чтобы вопрос повис в воздухе. Сидоров явно заинтересовался. Я чувствовал, что он попался на наживку и ждет, что я могу выдать нечто важное. Тогда я произнес, понимая, что рискую: «Не могли бы вы сказать, где эти встречи, как предполагается, происходили?»

Рыба сорвалась с крючка. Он ответил: «Я думаю, что это вам лучше мне об этом сказать. Я все знаю, конечно, но если вы хотите избавиться себя от неприятностей, то расскажете мне все совершенно свободно».

Я пытался выждать какое-то время, не скажет ли он мне хоть что-то, хоть каплю – из того, что могло бы указать мне, что в его голове существуют такие слова как *Киев* или *Ковко*. Безрезультатно.

Тогда я решил, что попробую разыграть другой гамбит, зафиксировав время. Если бы я смог найти способ определить год и месяц, то это дало бы мне возможность продвинуться к разгадке. Я глубоко вздохнул и сказал: «Так, мне кажется, мы с вами говорили о лете 1945 года», - с целью сбить его со следа моего вояжа в Киев, если он вообще шел по какому-то следу. Сидоров остался абсолютно невозмутим, хотя в действительности он вообще не называл никаких дат. Но они должны были быть у него в голове. Он кивнул

головой в знак согласия и продолжил ждать. Я тоже ждал. После некоторого времени Сидоров повторил: «Тысяча девятьсот сорок пятый. Верно».

Мы оба выжидали.

- Ну? – спросил Сидоров.

- Ну, - ответил я, - помедлив, дразня его, потому что теперь я был совершенно спокоен: мне не придется рассказывать ему о поездке в Киев в 1946. Может, и в своих подозрениях насчет Дины я был несправедлив, в конце концов. Может, она просто зашла туда воспользоваться туалетом, может, дежурный при входе, сказавший мне по *спецотдел*, просто пошутил, может...

- Ну? Ну??? – Сидоров терял терпение.

Отлично. Я медленно покачал головой и произнес слова, полные чистейшей правды:

- Нет. Мне жаль. Я пытаюсь, но не могу припомнить ничего о 1945 году. Вы знаете, мне кажется, что в этот раз вы действительно ошиблись».

Время было послеполуденное. Сидоров просто плюхнулся в свое кресло с выражением отвращения. Потом он поднялся, и нажал на кнопку позади себя. Когда дверь открылась, он обратился к конвоиру со словами: «Следи внимательно за этим сукиным сыном. Не позволять ему вставать и спать. Я выйду, выпью чаю».

Позже в тот же день на ночном допросе он отыгрался на мне, сыпля угрозами, под дулом пистолета, обвиняя в связях с высокопоставленными военными. Было ясно, что он сдаваться не собирается. Может, я и не был у него на крючке применительно к связи с Михаилом Ковко, но у него в голове было что-то определенное, к чему он клонил. Чем более искренне я отрицал его обвинения и говорил ему, абсолютно честно, что не понимаю его вопросов, тем яростнее он становился. Я чувствовал, что напряжение растет. Я прикинул, что это просто вопрос нескольких дней, а затем оно во что-то выльется, и я точно не предвкушал этого момента.

Глава 8

К концу моего первого месяца пребывания в Лефортовской тюрьме мое положение серьезно ухудшилось. За исключением выходных мне не удавалось уцепить более чем, в лучшем случае, одного часа сна в сутки - но, оглядываясь назад, я понимаю, что и часа там не было, иногда это были всего несколько минут за ночь. Фактически это означало то же самое, что и полное отсутствие сна, и моя голова стала отключаться все чаще. Я продолжал делать над собой усилия, чтобы считать шаги, переводить их в километры, запоминать, где я остановился в прошлый день – но все это почти превосходило мои возможности. Глаза у меня постоянно болели и слезились. Внезапный яркий свет вызывал приступ агонии. В те моменты, когда я пел, я иногда обнаруживал, что уплываю в нечленораздельное бормотание, и затем мне приходилось жестко себя отчитывать, чтобы вновь собраться. В один из дней я испытал настоящий ужас, сидя на своей кушетке и смотря в стену. Стена была неоднократно перекрашена, чтобы скрыть надписи, оставленные прежними узниками моей психической камеры. Следы этих надписей, наполовину скрытые краской, соединялись в моем сознании с узорами трещин, бегущих по каменной кладке стены, и превращались в реальные образы – подобно тому, как узоры на обоях в детстве, когда я лежал в своей кровати, превращались в корабли, животных и автомобили. Один из этих образов начал меня просто завораживать. Если я достаточно долго вглядывался в определенное место на стене, я начинал видеть лицо старика, появлявшееся из хаотично идущих царапин и трещин. Вначале это казалось облегчением – вглядываться в этот узор, успокоиться и ждать, пока в полутьме не начнет проявляться старческий лик. Позднее этот лик принял зловещий образ, но я продолжал вглядываться в него просто из любопытства. Ужаснувшим меня моментом в тот день явилось то, что лицо, в которое я вглядывался, внезапно сузило свои глаза и растянуло свой рот в зловещей, полной молчаливой угрозы ухмылке. Эта галлюцинация была для меня вполне

реальной. Намерения этого старого злобного существа были вполне очевидны. Оно хотело причинить мне зло, так или иначе. Однако страх, что заставил мое сердце учащенно биться, а меня подняться и ходить взад-вперед по камере, считая шаги, словно в горячечном бреду, был не тем страхом, что преследует вас после ужасного видения во сне, когда вы продолжаете в него верить, и оно вас преследует. Я испугался, что схожу с ума. Более всего на свете я боялся потерять свой рассудок.

Интенсивность ночных допросов у Сидорова усилилась. Он начал говорить о моем предполагаемом сотрудничестве с определенными офицерами советского флота. Сидоров заявил, что моя дружба с морским офицером Бобом Дрейером, работавшем в нашем посольстве, с которым мы вместе часто ходили на вечеринки выпить и потанцевать, была подозрительной – по их сведениям он являлся шпионом. Незадолго перед тем, как меня похитили, Дрейер попал в неприятную историю, связанную с посольским складом. МГБ ложно обвинило его в том, что товары со склада попали на черный рынок. Он был признан персоной нон грата, и посольству пришлось отправить его обратно в Соединенные Штаты.

Сидоров заявлял:

- У нас имеются неопровержимые доказательства, что вы были вовлечены в шпионскую деятельность с Бобом Дрейером. Зачем это отрицать?

Мой ответ:

- Я отрицаю это, и все.

Весь этот пустой диалог тщательно записывался в протоколе, день за днем, и затем Сидоров приносил его мне через комнату на подпись. Ночью он всегда был агрессивен. Его злило каждое отрицание, злило то, что я менял подпись, злило мое молчание, когда я отчаянно пытался заставить замолчать свое чувство голода, свое волнение и горячее желание сна, пытаюсь сконцентрироваться на арифметике и своем путешествии через западную Россию по своей воображаемой карте.

Однажды утром, когда я, спотыкаясь, вошел в камеру, в ней было так холодно, что изо рта у меня шел пар. Мне понадобилось ускорить свои шаги, чтобы согреться, но я продолжать сильно терять в весе из-за мизерных рационов, и в моем теле было все меньше топлива, чтобы поддерживать в нем тепло.

Однако, несмотря на все эти растущие опасности, которым подвергалась моя выносливость и мой разум, я все еще верил, что найду некий способ урвать немного сна - и это поможет мне продолжать выживать несмотря на все то, чему меня подвергали.

Сидоров выложил передо мной набор фотографий. На них были в основном советские флотские офицеры, в форме. Он принялся показывать их мне во время допросов, одну фотографию за другой, требуя, чтобы я идентифицировал этих незнакомых мне людей и ругаясь, когда я говорю, что не знаю никого из них.

Снова и снова, одни и те же фотографии, сделанные тайком на улице или сделанные в студии, незнакомые лица – одно за другим. Снова и снова, плюс острое чувство надвигающейся расправы, подходящей ко мне все ближе и ближе. «Я даю тебе еще один шанс. Мы знаем, что ты знаешь некоторых из этих людей. Укажи тех, кого ты знаешь! Фотографии сделаны в 1945. Почему ты отрицаешь, что знаешь этих людей!»

Мой ответ: «Я отрицаю».

Подпись протокола.

Сидоров указывал мне, и он был прав, на мою хорошую осведомленность о советских военных кораблях и самолетах. Он нередко проверял меня, задавая вопросы про тоннаж, вооружения, и т.д. Не знаю, было ли это глупо, но я отвечал ему подробно. Если агенты в посольстве, а также, как выяснилось, уборщица и многие другие докладывали о моих разговорах и интересах, то не было смысла отрицать, что меня интересовали вооружения, особенно военные корабли. Это было моим хобби, и все в посольстве знали об этом.

Сидоров заявил, что книги, которые я брал в посольской библиотеке, такие как «Военно-морской флот», «Все военные самолеты мира» и т.д., безусловно, характеризуют меня как шпиона, и он ни за что мне не поверит. Я пытался объяснить ему, что в свободной стране вы можете купить такие книги в любом книжном магазине. Я рассказывал ему, как тысячи подростков в Штатах заучивают в подробностях сведения о самолетах и кораблях, так же как другие тысячи – подробности бейсбольных матчей; но он лишь обвинял меня во лжи, которой я пытаюсь прикрыть свою «продемонстрированную антисоветскую деятельность».

Затем, около трех утра, Сидоров снова положил фотографии на мой маленький столик и прокричал, из другого конца комнаты, чтобы я продолжал их рассматривать до тех пор, пока не буду готов признать, что на них есть люди, которых я могу опознать. Я вздохнул, нагнул голову и принялся переворачивать фотографии. Я произнес: «Это бесполезно, мы это уже делали много раз. Я никого не могу опознать. Ни одного!»

Я продолжал переворачивать фотографии, безмолвно, одну за одной, лицом вниз, после того, как просматривал их. Я не заметил приближения Сидорова – до тех пор, когда уже было поздно защищаться, подняв руки или отклонив голову. Его кулак жестко вошел мне в скулу – с силой, достаточной для того, чтобы выбросить меня со стула на пол. От шока, последовавшего за ударом, моя голова кружилась. Я лежал на полу, неподвижно, закрывая руками глаза. Моя голова все еще гудела внутри от удара. До меня донесся лай Сидорова: «Врешь! Врешь! Врешь!». Он подошел и встал надо мной, в то время как я лежал, подтянув ноги к голове, в углу комнаты. «Вставай!» - орал Сидоров. «Вставай и пересматривай их снова и снова, пока не поумнеешь и не признаешься, что ты его знаешь!»

«Кого? Кого? - кричал я ему в ответ, все еще лежа на полу. – Я никогда не видел никого из них! Никого!»

Внезапно я почувствовал, как мне показалось, что моя правая голень раскололась, словно орех. Я сел и схватился за нее, почти крича про себя, когда тяжелый носок высокого ботинка Сидорова ударил по другой голени. Я почувствовал, как меня выворачивает наизнанку, но в моем животе не было ничего, что могло бы выйти наверх. Каким-то образом я оказался в результате на четвереньках. Мои глаза слезились и болели, и я едва заметил, как ботинки Сидорова остановились на ковре сбоку от меня. Я боялся, что он ударит снова. Я знал, что второго удара, поверх первого, я не перенесу. Тогда я изо всех сил кинул свое тело вперед, стараясь встать, тяжело и сбивчиво дыша, удерживая слезы и изо всех сил стараясь не закричать.

«Фотографии!» - заорал Сидоров. И, будучи едва способным их видеть, я снова склонился над ними. Я начинал *верить*, что среди них есть кто-то, кого я могу распознать. Но также я знал, что повторяемые утверждения Сидорова о том, что я знал кого-то среди этих людей, могли заставить меня поверить в это, даже в том случае, если это было неправдой. Я дал себе слово не попасться на эту удочку. Мои руки тряслись от боли и ярости, но я начал снова просматривать фотографии – так быстро, как только мог, узнавая некоторые улицы и дома, бормоча: «Я стараюсь, я стараюсь изо всех сил». Сидоров шагал взад-вперед по комнате. Я склонился над фотографиями еще ниже - так, чтобы он не видел моего лица. В это время я постарался собраться. Постепенно у меня получилось замедлить сердцебиение и взять под контроль свое дыхание. Теперь я действительно внимательно всматривался в фотографии. Я подождал, пока Сидоров устанет от ходьбы и усядется в свое кресло. Затем я взглянул ему прямо в глаза и улыбнулся своей широкой улыбкой. Я произнес: «Может быть, у вас найдутся фотографии получше?»

Его глаза еще больше сузились. Я рисковал снова нарваться на его кулак или ботинок, но я также понимал, что это был тот самый момент, когда мне нужно было показать ему, что он не выигрывает. Сидоров не поднялся со своего кресла. Он не стал кричать. Он просто смотрел на меня. Думаю, что в этом взгляде должна была быть слабая тень восхищения.

Вернувшись в мерзлую камеру, я закатал штанины и осмотрел свои голени. Левая была ярко-красного цвета, на ней были видны шрамы от побоев. Кожа на правой была содрана, и когда я приподнял длинные тюремные штаны, часть запекшейся крови отслоилась, и она вновь начала сочиться тоненькой струйкой. Я вымыл свои голени под холодной водой. Кажется, было около шести утра. Голова моя тяжело гудела. Я дрожал, меня мутило. Я залез под одеяло, страстно *желая*, чтобы еще оставалось время для сна. Некоторое время моя гудящая голова не давала мне заснуть, и я видел пульсирующий свет. Затем я провалился в сон, и проспал наверное минут десять или двадцать перед тем, как задвижка открылась и этот мерзкий, гадкий ублюдок стал орать на меня.

В тот самый момент, как только я открыл глаза, боль пронзила меня снова. Ублюдок принес мое пальто для утренней прогулки, но я сказал, что хочу остаться в камере, потому что болен.

- Не положено!

Я вышел наружу, зажмурив глаза от яркого света коридорных ламп, чтобы уменьшить боль. Каким-то образом я помнил, что мне нужно продолжить считать свои шаги. Я находился уже за городом, обходя населенные пункты, достаточно большие для того, чтобы иметь отделение милиции, и принялся задумываться над тем, как мне преодолеть государственную границу. Но до нее было еще далеко. Я прошел только сорок или пятьдесят километров, но оставить Москву далеко позади себя было облегчением. После завтрака меня стало тошнить еще больше, но усилием воли я заставил содержимое своего желудка остаться внизу. Несколько минут я судорожно работал над своим календарем. Я молил о том, чтобы снова завели аэродинамическую трубу, и я смог бы проорать парочку ругательств, рассказать пару шуток, спеть песню, подымающую дух. И в то же время я боялся, что вой трубы разорвет мою голову. Но трубу не завели. Сегодня не будет аэродинамических исследований, сказал я себе.

Я выпил горячую подкрашенную воду с сахаром, а потом много холодной воды, и поэтому часто мочился. Потрогал свои голени. Они были чрезвычайно мягкими. Когда я вымыл голову и провел рукой по волосам, еще один клочок остался у меня в руке. Теперь, ощупывая пальцами голову, я мог почувствовать три небольших голых места. Это был знак серьезного физического истощения, и он заставил мое сердце биться учащенно, так что мне пришлось усесться на койку, уставить на дверной глазок и прочитать себе нравоучение, чтобы успокоиться. Я сделал несколько длинных вдохов и выдохов. Когда время подошло к без пятнадцати десять, и я расписался в книге из железа, боль в моей голове значительно спала – хотя, когда я закрывал глаза, то все еще видел пульсирующие огни.

Сидоров пришел позже. Он произнес: «Доброе утро», - как если бы ничего не случилось.

- Вы готовы во всем сознаться сейчас?

- Мне не в чем сознаваться.

Усилием воли я улыбнулся в это ненавистное лицо.

- Вы также можете понять, что мне не в чем сознаваться, и я никогда не признаюсь. А потом мы можем побеседовать о чем-нибудь, или вы дадите мне хоть немного поспать!

- Посмотрим.

Совершенно никакой день. Сидоров часто зевал. Мне было очень тяжело. Я зевал постоянно, тер свои глаза снова и снова. Почти в обычном порядке я свалился на пол, мертвецки спящим. Несколько раз, как мне кажется, Сидоров оставлял меня на полу достаточно долгое время для того, чтобы я провалился в сон еще глубже, перед тем, как вызвать охранника, чтобы тот вылил мне за шею холодной воды. Шок от этого был настолько силен, что, как мне казалось, что я мог слышать тяжелое биение своего сердца.

Мы прошли через этот день. Меня почти донесли до камеры, потому что я постоянно спотыкался. Видел я плохо. Странно, но мне захотелось читать. Слова, мне нужны были слова – для возобновления человеческого контакта. Я обнаружил, что моих книг нет. Их

унесли. Я постучал в дверь. На место той женщины заступил другой, более мягкий охранник. «Мои книги», - промямлил я жалобным голосом. Он наверняка подумал, что я сошел с ума. Он просто покачал головой и закрыл задвижку. Книг мне больше так и не вернули, и новых также не приносили.

Я поел холодного супа, и меня сразу же вырвало. Потом выпил холодной воды, а затем осторожно попробовал съесть несколько кусочков хлеба, оставленных с завтрака. Они остались внизу. Когда принесли кашу, я ел ее с величайшей осторожностью, медленно. Она тоже осталась внизу.

Мне хотелось продолжить свой путь до Америки, но я был слишком слаб. Несколько раз я сполоснул свое лицо. Решил поспать, сидя прямо, и, возможно, мне это удалось в течение пары минут, но потом задвижка с грохотом отворилась, и я услышал: «Не положено». Мне почему-то показалось это забавным – я рассмеялся слабым смехом и, махнув рукой в его сторону, произнес: «Я знаю, знаю». Потом я возился со своим календарем, пытаюсь вспомнить, менял ли я на нем дату этим утром. Мне вспомнилось, что я еще не сделал царапины на стене, для общего счета дней, и я сделал ее. Потом я попытался сложить все эти дни, чтобы определить, что за день был сегодня, и сравнить это с моим хлебным календарем. Но у меня все время забывалась общая сумма, так что в результате я сдался.

Потом я ощупывал пальцами свою голову, и тут у меня возникла идея. Она явилась из неоткуда. Я ощупывал лысые места, смотрел на волосы в своих пальцах и внезапно ощутил прилив энергии от открытия, которое могло спасти меня от безумия. Я снова постучал в дверь, и относительно сносный охранник показался в окошке. Понизив, насколько возможно, свой голос, я сказал ему, что состояние моей головы очень серьезно, и что если я в самое ближайшее время не увижу доктора, оно может чрезвычайно ухудшиться. Наклонившись, я дал ему взглянуть на свою голову с пятнами от выпавших волос. Он ничего не ответил, но ушел и вернулся с надзирателем по блоку, который также взглянул на мою голову. Я слышал, как они переговаривались снаружи. Я помню воодушевление, испытываемое мною по пути в комнату для допросов от этой новой затеи, как это всегда бывало со мной, когда я придумывал новый способ выживания. Но мое воодушевление не продлилось и десяти секунд после того, как я туда прибыл.

Сидоров даже не стал ждать моего обычного отрицания. Он обрушился на меня с кулаками, крича, что если я не расскажу ему все, он убьет меня голыми руками здесь же. Я полетел через комнату, пытаюсь сохранить баланс, который итак был не очень хорош. Сильно ударившись о стену, я сполз вниз, оказавшись на коленях. В моей голове была лишь одна мысль – надо защитить голени! Нужно защитить голени! Сидоров сгрел меня в охапку, подхватив под плечи, и, грязно ругаясь, потащил к моему стулу. Бросив меня на стул, он дал мне пару сильных пощечин, крича, чтобы я сел ровно. Я держал глаза закрытыми, предохраняя их от боли, которую вызывал свет в комнате. Сидоров опять ударил меня по щекам, крича, чтобы я открыл глаза. Я попытался улыбнуться, но мои губы онемели от того первого удара кулаком. Я вытер свой рот, и на тыльной стороне ладони остался след крови. Сидоров возвышался надо мной, приблизив свое лицо к моему:

- Ты собираешься опознать того человека? – сказал он спокойно, внезапно понизив свой голос.

Своему голосу я не доверял. Поэтому просто покачал головой и промямлил слова:

- Не могу.

Шок от удара ботинком по голени, поверх того первого удара, заставил меня хватать ртом воздух. Следующий удар заставил меня кричать со всей мочи: «Пожалуйста! Пожалуйста! Как я могу сказать вам имена, которых я не знаю! Пожалуйста! Я скажу любое имя!

Борис, Андрей, я не знаю. Любое, только не бейте снова!»

От удара кулаком мое сознание поблекло. У меня остались смутные воспоминания о том, что кто-то прикладывал стетоскоп к моей груди, открывал пальцами веки моих глаз,

пронзаемых жгучей болью. Потом, я знаю, меня поволокли через коридор, а затем до камеры двое охранников, взяв меня под руки. Пока они волокли меня по лестницам, я то приходил в себя, то снова отключался. Затем они бросили меня на пол в камере. Я почувствовал запах блевотины, и чуть позже осознал, что она была на моей рубашке. Меня мучило, и в то же время меня одолевала жажда. Я умудрился встать на колени, хотя оглушающие удары, продолжавшие звенеть в моей голове, выбили из меня весь мой баланс, и от любого движения голова у меня шла кругом. Я открыл кран, и вода побежала по моим щекам. Сделал несколько глотков. Мой желудок немедленно вытолкнул воду обратно.

Рубашка моя намочилась, и мне стало холодно. Меня колотило от бешеного озноба. Асфальтовый пол был ужасно холодным, но каждый раз, когда я пытался ползти к кровати, на меня наваливались головокружение и слабость.

Долгое время я лежал, дрожа, на этом полу. Потом случилось странное. Боль утихла. Я был в полном сознании. Я стоял в углу камеры и смотрел вниз на дрожащую, покрытую рвотой человеческую развалину, лежащую в углу рядом с вонючим нужником. На лице этого человека была кровь, его губа распухла. На голове виднелись лысые розовые пятна. С каждым вдохом он стонал, время от времени его тело скрючивало и начинались приступы рвоты, но его желудок был пуст. Я подумал – вот ведь несчастный сукин сын! Посмотрите, как он страдает! Но при этом он не плачет. Он не даст им этой радости. ...Я вполне осознанно пребывал вне себя и своих страданий. Это мое самое четкое воспоминание о той ночи, наполненной пульсацией, слепотой, замешательством и агонией. Некоторое время я был погружен в полный мир и ясность. Я смотрел на то, как страдает мое тело. И когда страдание немного утихло, стоны прекратились, глаза открылись и попытались сфокусироваться, я снова вошел в тело, а потом дотащил себя до койки, вскарабкался на нее, благословил теплоту одеяла и, оставив руки поверх его, заснул недвижимо.

Когда прокричали «Подъем», я сел на своей койке, но в голове вновь застучало, и мне пришлось двигаться очень медленно. Когда они увидели, что я едва держусь на ногах, то решили освободить меня от прогулки. Я обнаружил, что могу есть свой хлеб, хотя в это же время меня одолевал как острый голод, так и приступы тошноты одновременно. Горячий чай, кажется, помог моей голове. Я решил взглянуть на свои голени. Одна была покрыта багрово-синюшными шрамами. Другая намертво слиплась запекшейся кровью со штаниной, и я решил ее не трогать.

Когда аэродинамическая труба начала набирать мощность, меня пронзила судорога. Я боялся, что этот рев повредит мою голову. Когда же он достиг наивысшей точки, я внезапно почувствовал облегчение. Мне ужасно хотелось плакать, но, черт возьми, я не мог позволить им увидеть себя плачущим. Я подумал – давай, быстро, какую самую яростную песню ты знаешь? Затем я, хромая, принялся ходить взад-вперед по камере, чувствуя себя все сильнее по мере того, как онемение в нижней части моих ног спадало. И я запел:

*Roll! Out! The barr-ell!
We'll have a barrel of fun!¹*

(Давай! Выкатывай! Бочку!

¹ Песня **Beer Barrel Polka**, также известная в английской варианте как **Roll Out the Barrel**, стала чрезвычайно популярной среди солдат во время Второй Мировой Войны. Музыка изначально написал чешский композитор Яромир Вейвода в 1927 г., позже появился текст. Затем песня стала исполняться на различных языках, она приобрела популярность как в Германии, так и в США (исполнена в 1939 г. Andrews Sisters, затем оркестром Глена Миллера и другими) - прим. переводчика.

У нас будет целый бочонок веселья!)

Ревел я в полный голос.

Roll out the barrel!

We've got the blues on the run

(Выкатывай бочку!

И будем веселиться!)

Классная песня! Песня, в которую я верил. Я ощущал сильные позывы к тому, чтобы разрыдаться, идущие откуда-то изнутри, но я загонял их обратно своей песней.

Zing, boom, tararrel!

Ring out the song of good cheer!

(Бах-бабах, тратата!

Выкатывай песню хорошего настроения!)

Маршируя по камере, словно барабанщик на параде, я бросал руку вверх-вниз, держа в ней невидимую палочку. Наплевать, если они смотрят. Пусть глядят. Я пристально уставился в глазок, дождался, когда он откроется, и заставил себя растянуть свой рот в широкой улыбке, в то время как пораженный глаз охранника смотрел на меня.

Now's the time to roll the barrel,

Because the gang's! All! He-e-e-re!

(Настало время выкатить бочку,

Потому что наши, все, уже здесь!)

Я был уверен, что охранник войдет. Но этого не произошло. Тогда я впервые понял, что в основе запрета говорить и петь была инструкция не дать другим заключенным услышать меня. С этого момента я стал петь не таясь, когда шагал в сторону двери – до тех пор, пока аэродинамическая труба не замолкала.

Внезапно дверь открылась, и в камеру вошел врач.

- Что там у вас с головой? – прокричал он сквозь рев трубы.

Я прокричал ему свой ответ. Он позвал охранника, и меня вывели из камеры на металлическую дорожку, где было больше света, и закрыли дверь от шума.

Я объяснил, как мог убедительнее, что у меня старинное заболевание, которое передавалось каждому члену нашей семьи, вызываемое переохлаждением. Историю я придумал. Я заявил, что не знаю, насколько это было правдой, но двое моих двоюродных братьев умерли, как говорят, от воспаления мозга, после того, как у них выпали все волосы. По этой причине в семье мы всегда носили головной убор в холодное время года. Я сказал, что когда меня арестовали, на моей голове была шляпа, но потом ее забрали. Вероятно, я звучал очень убедительно. Может быть, мое общее полуживое состояние этому помогло. Так или иначе, но чудо случилось. Когда я вернулся в камеру после дневного допроса (абсолютно рутинного, в течение которого Сидоров объявил, что на данный момент изменит линию дознания и следующие несколько допросов мы будем обсуждать мою работу в качестве клерка отдела хранения информации и те сведения, к которым у меня был доступ), я обнаружил, что моя шляпа лежит у меня на койке! Моя великолепная *федора* - фетровая мягкая шляпа, с широкими полями, американского производства! Я смаковал это слово. *Федора*. Шляпа была немного помята после того, как

ее завязали с вещами в узел, но потом поля распрямились, и вскоре благодаря моим стараниям она приобрела почти изначальную форму. Я с восторгом водрузил ее на свою гудящую голову и сел на койке лицом к двери. Поля шляпы закрывали маленькую лампочку над дверью, и я знал, что мои глаза находятся в тени. Свет был так слаб, что я был уверен в том, что охранник не видит моих глаз. Когда глазок открылся, я сел абсолютно недвижимо. Охранник подождал немногим дольше обычного, но потом глазок закрылся. Я решил, что он ждет и хочет проверить, сдвинусь ли я, когда он подойдет снова. Я не двинулся. Через минуту глазок снова открылся. Я сконцентрировался и сидел недвижимо, пытаюсь понять, как долго он будет смотреть, прежде чем решит, что я пытаюсь спать. И как только он, как мне казалось, собрался уже открыть задвижку и заорать на меня, перед этим вдвое дольше обычного изучая меня через глазок, я поднял руку и потер тыльной стороной ладони свой нос. Глазок закрылся. Весь остаток вечера перед допросом я посвятил приручению охранника таким вот образом. Каждый раз он изучал меня дольше обычного, и каждый раз я делал некое движение в самый последний момент. Мне ужасно хотелось просто уснуть, тем более теперь я был уверен в том, что могу спать, не падая, но я отговорил себя от этого. *Сбавь прыть, парень. Прошлой ночью ты провел несколько часов под одеялом, пусть и сильно избитый. Не стоит горячиться. Одно неправильное движение, и они заберут эту шляпу. А она поможет тебе сохранить жизнь, если все работает. Поэтому надо потянуть еще немного, совсем немного, в таком же духе, вот и все.*

По мере приближения ночного допроса я чувствовал, как тяжелый ком нарастает у меня в животе. Я с осторожностью ощупал свои голени. Я знал, что буду кричать, если Сидоров снова пнет меня, и был уверен, что он так и сделает. Как я это смогу выдержать, я и не представлял себе – может, снова потеряю сознание. Или, может, с новыми вопросами я смогу рассказать ему те вещи, что он хочет услышать, без необходимости себя компрометировать, и я смогу отсрочить побои на какое-то время. Но, как оказалось в результате, последующие две ночи были вовсе не такими уж плохими. Сидоров пытался заставить меня признать, что в должности главного клерка отдела хранения информации у меня имелся доступ к кодированной информации, но я настаивал, что кодированная информация хранилась в отдельной комнате (что Сидорову, безусловно, было известно), и что я никогда не видел никаких секретных документов (что было неправдой).

Первое, что я сделал утром – надел свою шляпу и приступил к процессу приручения охранника. На дежурстве был тот замечательный юный парень-комсомолец, и он просто оставил меня в покое. Вероятно, он догадывался, что я задумал – не знаю. Но он ни разу даже не задержался у глазка, и я воспользовался шансом и проспал час в сидячем положении. Когда я заставил себя открыть глаза, моя спина болела, но голова стала немного яснее. А потом наступил адский день с охранником-женщиной, которую, как я понял, никогда не удастся приручить, а затем снова настала ночь на субботу. Сидоров, как он это часто делал, остановил допрос рано утром в субботу. Когда меня привели в камеру, то даже несмотря на издевательства этой уродливой жабы, которые продолжались на всем протяжении ее дежурства, я нашел период для разрядки – во время работы аэродинамической трубы, которая в тот день ревела в полную мощь до шести вечера. Я отыскал еще один повод для поднятия своего духа. Я вообразил Сидорова, шагающего вдоль по улице прочь от Лефортовской тюрьмы навстречу со своей возлюбленной, отдал салют его удаляющейся спине и заорал что есть мочи:
- Сидоров, ты, сволочь, эта песня посвящается тебе!
И потом я запел все, что помнил, из

Saturday Night Is the Loneliest Night of the Week¹

¹ Saturday Night (Is the Loneliest Night of the Week)" – популярная лирическая песня, появившаяся в 1944 г. в США и исполненная Фрэнком Синатрой, а также другими исполнителями – прим. переводчика.

*'Cause that's the night my baby and I
Used to dance cheek to cheek.*

*(Вечер субботы – самый одинокий вечер на неделе,
Потому что в этот вечер моя крошка и я
Обычно раньше всегда танцевали, прижавшись щека к щеке)*

Я пел эту песню с иронией, не в том ключе, как в оригинале. Я, таким образом, праздновал отбытие Сидорова на выходные. И далее, на протяжении всего моего пребывания под его присмотром, я пел эту песню каждый вечер субботы, предвкушая на протяжении недели тот момент, когда спую ее снова. Эта песня стала еще одной маленькой вещицей в ряду прочих подобных мелочей, кажущихся почти детскими, однако послуживших теми кирпичиками, что помогали мне укреплять свой дух.

Мой сон в эту субботнюю ночь был длинным, без сновидений – просто полным уходом в небытие. Проснулся я в воскресенье с затекшими мышцами, но затем последовала энергичная прогулка во дворе, а потом продолжилось мое путешествие по воображаемой карте, в результате чего в нем прибавилось еще несколько километров. А затем случилось еще одно событие, которое очень сильно меня воодушевило.

Я осознал, что у меня появился сосед – в камере, находящейся сбоку от моей. Я слышал шепот охранника и звук отрывающейся задвижки во время обеда. Это было первым знаком того, что в соседней камере кто-то есть, и я решил, что его, по всей видимости, только что сюда перевели. И вот, когда в послеобеденное время в этот день я сидел на нужнике, работая над очередной иглой из рыбьей кости, я услышал звук, приведший меня в неопишуемый восторг. Очень простой звук. Серии стуков в стену – шедших, очевидно, из соседней камеры.

Я простучал в ответ костяшками пальцев: *Тук тук тук.*

Он простучал в ответ. Три стука. Потом была пауза. Услышав, как отворился глазок, я умудрился мгновенно встать и продолжил ходить, сконцентрировавшись на работе над своей костью.

Затем, в паузу, когда глазок был закрыт, последовали серии стуков, достаточно быстрых, но четко структурированных в группы по два: 2,4. Потом – 1,5. Потом – 4,3. Затем 1,1. И так далее. По крайней мере, это все, что я услышал в первый раз. Я достаточно хорошо знал азбуку Морзе чтобы понять, что это была не она. Но это был код, без сомнения.

Затем я вспомнил свою книгу, «Политические узники в Царской России». Должно быть, это тюремное Морзе! Черт! Почему этот отвратительный автор не объяснил этого кода?!

Я начал отвечать теми же группами, хотя некоторые последовательности были слишком длинными, я не мог запомнить их полностью и тогда сдавался, посылая серии простых стуков, или два стука и затем еще два. Я смеялся от счастья. У меня появилась компания!

Другое человеческое существо за соседней дверью, мой товарищ по несчастью – тот, с кем можно разделить свои чувства, тот, кому ты не безразличен, кто поймет. Я понятия не имел, что у него был за код, и даже был ли этот код на русском языке. Но это было общением. Меня полностью захватило это занятие – я стучал, слушал, стучал и смеялся. На глазок я перестал обращать внимания, совсем забыл про него. Задвижка открылась с ужасающим лязгом. Охранник, бывший на дежурстве в этот раз, не был особо дружелюбен, но и не принадлежал к совершенно ужасному типу. Он просто произнес безразличным голосом: «Не положено! Если ты сделаешь это снова, то отправишься в карцер. Стучать – очень серьезное нарушение!» Он взглянул на меня, чтобы удостовериться, что я понял. «Я понял», - сказал я, подошел к койке и сел. Мое сердце радостно колотилось. Я услышал, как задвижка в соседней камере открылась, и по голосу охранника я понял, что он делает аналогичное внушение моему новому другу. Но я знал, что мы сможем что-то в результате придумать, и внутри меня переполнял восторг.

Некоторое время далее я провел за дрессировкой этого охранника с моей шляпой. Потом я снова приступил к работе над рыбьей костью, и, пребывая в состоянии большого воодушевления, придумал нечто, что должно было сработать. Я расщепил мягкий конец кости и обернул два получившихся кончика вокруг спички. По моей задумке после того, как кость засохнет и затвердеет, я мог бы вынуть спичку и получить, таким образом, вполне рабочую иглу с ушком, склеенным природным костным клеем. Потребовался день для того, чтобы кость затвердела. Затем я продел нитку в ушко и начал работать над латанием своей рубашки – игла держалась. Маленький успех, но он казался мне триумфом. Несколько пуговиц от своей рубашки я потерял. Видя, каким твердым и гладким стал мой хлебный календарь, я сделал таким же образом несколько хлебных пуговиц, в которых продавил дырки. После того, как через день или два они затвердели, я отполировал их об одеяло, и они стали такими же гладкими, как кость, а потом я пришел их к своей рубашке. Через некоторое время игла поизносилась, но смастерить еще одну было мне в радость.

Мой сосед и я продолжали обмениваться стуками. В следующий раз, когда аэродинамическая труба включилась, я постучал что есть мочи в стену в перерыве между открыванием глазка. Я знал, что вне камеры этого никто не услышит. Пришел ответ.

Опять в группах по две цифры. Теперь я знал, что одна и та же последовательность повторялась снова и снова, словно одна и та же мелодия. Она была следующей: 2,4; 3,6; 3,2; (пауза). Потом 1,3; 5,2.

Я попробовал вернуть обратно ту же последовательность, как только ее выучил. Это привело к тому, что на меня обрушился шквал стуков. Я понял, что мой сосед решил, что я разгадал код. Чувство разочарования и никчемности овладело мной. Я ответил простой парой стуков. Должно быть, он понял. Простая пара стуков пришла в ответ.

Мы обнаружили, что можем достаточно свободно перестукиваться во время обеда, когда охранники занимались раздачей еды и не смотрели в глазок каждую минуту. По вечерам начала проследиваться новая последовательность. Мой сосед, как обычно, начинал со знакомой 2,4; 3,6; 3,2... 1,3; 5,2.

Я отвечал одним стуком. Он принимал это за то, что я не понимаю. И затем он начинал следующую последовательность:

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6. Потом пауза. Потом 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6. Потом снова пауза. Затем 3,1; 3,2; и т.д. – до 3,6. Потом также было с 4,1 до 4,6, потом – с 5,1 до 5,6. Я понимал, что ключ к разгадке лежит где-то рядом. Достав свои оставшиеся спички, я разложил их на одеяле по тем группам, что услышал. Голова у меня соображала туго по причине постоянного недосыпания. Что-то совершенно ясное, как дважды два, было в этой последовательности. Я знал это. Но я не мог найти ключ. Тогда я послал обратно простое «тук» - я *не понимаю*. И он терпеливо простучал мне с самого начала – 1,1; 1,2 – снова всю последовательность.

Нам приходилось быть очень осторожными, чтобы нас не поймали. Я обнаружил, что, сидя на нужнике, я могу очень тихо стучать по сливной трубе, которая уходила через стену в соседнюю камеру, и получать ответ. Глядя снаружи, нужник был с правой стороны от двери. Охранник не мог видеть моей правой руки, опущенной вниз.

Мой друг продолжал свои попытки обучения во время каждой раздачи еды, но утром он обычно посылал простые стуки, соответствовавшие рутинному ритму дня. Никакого кода – просто знак того, что мы с ним разделяем одну общую долю. Два стука - *«Доброе утро»* - когда меня привели с допроса. (Он всегда уже был в камере, когда меня приводили – значит, его не допрашивали?). Два стука – *иду на прогулку сейчас*, когда его выводили на двор. Два стука – *я вернулся*. Два маленьких знака человеческого участия.

Я продолжал дрессировку охранников, приучая их считать, что под тенью полей своей шляпы я оставался бодрствующим. Мне требовалось достичь того момента, когда они бы уже не выжидали, двинусь я или нет, а просто делали рутинную проверку, взглянув в глазок и проходя дальше. По достижении этого результата я мог бы осмелиться спать

более продолжительный отрезок времени в течение дня. Под «продолжительным» я имею в виду час или около того.

Сидоров работал над тем, чтобы получить в ходе допросов удовлетворительную пачку протоколов, свидетельствующих об информационной системе, функционирующей в посольстве Соединенных Штатов. Время от времени он отвечивал довольно внушительные затрешины мне по ушам, от чего моя голова гудела. Но в течение нескольких недель особо серьезных побоев не было. Я продолжал часто отключаться на допросах, и тогда Сидоров бил меня по щекам, чтобы разбудить, орал и ругался. Но в течение некоторого времени он не пинал меня по медленно заживающим голням.

Теперь почти каждый день я прокручивал в своем воображении свою любимую кинокартину, 13 Rue Madeleine («Дом 13 по улице Мадлен»)¹. Это была история группы коммандос, которая десантировалась в оккупированной Франции и вступила в схватку с Гестапо. На своих частных киносеансах я побывал несколько раз. И обнаружил, что каждый новый раз, когда я «просматривал» фильм, то вспоминал больше деталей – и через некоторое время был готов написать уже практически весь сценарий.

Я также начал читать себе лекции по географии – вспоминая все, что мог, об осадках, населении земли, промышленности, растительности, реках, городах, политических системах стран и т.д. И я продолжал и продолжал дрессировку охранников, заставляя их думать, что под своей шляпой я продолжаю бодрствовать. Прошло совсем немного времени, и я дал им промежуточную контрольную работу, а затем провел и выпускной экзамен. Они все их прошли, за исключением той мерзкой старой жабы – я просто махнул рукой на нее. Таким образом, вскоре я смог спать урывками по полчаса, а с молодым комсомольцем я мог позволить себе два часа сна – так долго, как только был способен сидеть во сне прямо.

На этом месте я могу предположить, как мне кажется, что чувствует читатель этой книги. Облегчение. *«Он сделал это. Теперь все в порядке».*

Я, частично, чувствовал то же самое. Облегчение – безусловно, и уверенность, что теперь я смогу выжить. Но во всем этом была и другая сторона. Как только Сидоров стал избивать меня, я четко осознал, что пробуду в тюрьме еще долгое время. Я не думал о конкретном периоде времени, и уж точно не думал, что это будет до конца моей жизни. Но я знал, что скоро это не закончится. Я понимал, что грядут новые избиения, и что мне придется сильно страдать. Я знал, что должен готовиться к встрече с этой угрозой, и понимание этого отдавалось холодом у меня внутри. Два или три часа сна, которые мне удавалось урвать днем, лишь едва помогали мне не сломаться. Я постоянно испытывал голод. Сильно исхудал. Когда мне выдали мою шляпу, то тот ад, в котором я находился, стал адом, в котором я мог выжить, но при этом он по-прежнему оставался адом. Думаю, что именно в это время мои глаза и рот начали собираться в ту мрачную гримасу, которая до сих пор остается обычным выражением моего лица – за исключением моментов, когда я радуюсь чему-либо или смеюсь. Хотя мне говорят, что даже когда я смеюсь, следы этой гримасы все еще остаются в уголках моих глаз. Моя железная маска никогда с тех пор не покидала меня, и я уверен, что теперь уже никогда не покинет.

Глава 9

Мне нужно было выработать стратегию против избиений, и я решил объявить голодовку. У меня не было намерения заморить себя до смерти. Я только хотел сделать наиболее сильный ход, выбрав из всего того арсенала, что у меня был, и надеялся, что они, кем бы они ни были, что-нибудь с этим сделают и заставят Сидорова прекратить

¹ Популярный шпионский детектив, вышедший на экраны в 1947 г.

меня избивать. Я заявил Сидорову, что расскажу ему все, что знаю. За исключением засекреченной информации, я был полностью готов это сделать. Если бы он показал, что знает кое-что о моей поездке в Киев, я бы даже рассказал ему и это. Ничто из моих действий, по моему мнению, не содержало в себе чего-то плохого. В то время я еще не знал, что по всему Советскому Союзу в тюрьмах и лагерях находились миллионы тех, кто также не сделал ничего плохого. И я все еще предполагал, что, сколько бы времени это не заняло, но однажды я буду оправдан, и они признают, что ошиблись насчет меня. Но это я ошибся насчет них.

Хотя я страдал от постоянного дискомфорта, причиной которого была пустота в моем желудке, и становился все слабее и слабее, я помнил, как продолжительная публичная голодовка Махатмы Ганди отозвалась сенсацией по всему миру. А ведь он начинал как ужасно худой маленький человек – и я тоже начал оставлять хлеб на полке у окошка раздачи, когда его приносили по утрам, и отказывался подать свою тарелку для супа или каши. Я пил чай, потому что он помогал мне согреться в моей ужасно холодной камере и помогал остановить дрожь на какое-то время, а также помогал спать. Но в течение трех дней я ничего не ел.

Ни к чему хорошему это не привело. Сидоров продолжал швырять меня по комнате со словами, что я просто полный дурак, чтобы пробовать такие бесполезные трюки. По прошествии трех дней меня притащили волоком, так как я уже не мог достаточно хорошо держаться на ногах, в комнату, выглядевшую наподобие медицинского кабинета, бросили на стул, и принялись открывать мой зажатый рот сначала с помощью ножа, а потом неким специальным зондом. Затем мне в горло опустили желудочную трубку и залили в нее сладкий чай, яичный желток и жир печени трески. Я понял, что продолжать голодную забастовку бессмысленно, и сдался. Избиения то шли, то прекращались волнами, и я часто заново переживал тот же опыт видения себя со стороны – дрожащего на полу и скрюченного от боли, в кровоподтеках и рвоте.

Но мое сознание оставалось достаточно незамутненным и мой дух, как я теперь сужу об этом, был чрезвычайно высок. Я полюбил невидимое безымянное существо за соседней дверью, которое каждый день приветствовало и провожало меня. Каждый вечер он пытался обучить меня шифру: 1.1; 1,2; 1,3 и т.д. Я все не мог разгадать его. Он продолжал упорствовать. Я воспринимал его упорство как форму безусловной моральной поддержки. Даже в его простом двойном утреннем постукивании я слышал, как он говорит мне не сдаваться, что я молодец, что я смогу это выдержать, и что он переживает за меня. Это помогало мне выживать и оставаться в здравом уме в той же степени, что и сон, который мне удавалось выкрадывать при помощи своей шляпы. Если бы какой-то из этих двух вещей не было, я лишился бы очень многого.

В те периоды, когда избиения прекращались, и боль была не столь велика, чтобы делать что-либо, кроме как выходить из себя и наблюдать свое тело со стороны, я продолжал штопать свою одежду при помощи костяных игл, вытягивая нити из полотенца. Время от времени иглы из моей камеры пропадали, но мне требовалось лишь три дня, чтобы новая заостенела. И у меня было достаточно использованных спичек, которыми я пользовался для счета и для того, чтобы сделать ушко у иглы. Они также служили мне в качестве напоминания о тех днях, когда я смогу вновь зажечь сигарету для Мери и небрежно отбросить спичку в сторону.

Я пел «Don't sit under the apple tree with anyone else but me» («Не садись ни с кем под яблоней кроме меня»), и «I've got spurs that Jingle Jangle Jingle», и «Anchors Aweigh», и «The Caisons Go Rolling Along». «Roll out the barrel» я хранил для особо тяжелых времен, и она всегда помогала мне почувствовать себя намного лучше.

Мне часто хотелось заплакать для разрядки, но я знал, что если они увидят меня плачущим через глазок, то будут знать, что я скоро сломаюсь. Иногда я думал – мне всего-навсего двадцать два года, и все это происходит со мной! Часто меня посещали мысли, и

они придавали мне сил, о том, какую историю я смогу рассказать, когда выйду отсюда! Снова и снова, когда со мной случалось что-то новое и странное, даже когда это было отвратительным или болезненным, я находил некоторое удовлетворение в предвкушении того, как расскажу об этом ребятам из посольства.

Затем пришло время, когда мне пришлось потревожиться относительно того, что Сидорову, возможно, все же было известно о моем путешествии в Киев с визитом к Михаилу Ковко. В один из дней Сидоров сказал: «У нас имеются неопровержимые доказательства, что в 1946 году вы проходили подготовку к террористической деятельности».

Я ответил: «Это интересно. А почему, как вы думаете, мне ничего неизвестно об этом?» Такого рода ответ всегда ставил Сидорова в тупик, потому что у него не наблюдалось признаков наличия хоть какого бы то ни было чувства юмора, и сарказм был ему также неведом. Поэтому он просто потряс головой, как если бы я не понял вопрос, и повторил: «Нет, нет! Я говорю тебе, что МЫ знаем об этом. И теперь я хочу, чтобы ты подтвердил, что проходил подготовку к террористической деятельности. Иначе тебя ждут большие неприятности».

Я спросил: «А какого рода подготовку?»

Сидоров произнес, почти торжествуя: «В 1946 году по неоспоримым свидетельствам ты практиковал точность стрельбы с пистолетом высокой огневой мощи».

Если бы он предъявил мне это несколькими неделями ранее, еще перед тем, как мое лицо окаменело, выражение на нем могло бы выдать что-то лишнее, потому что я почувствовал, как начало биться мое сердце. Как много он знает о Киеве и Ковко? – думал я. А затем Сидоров заявил непонятную вещь, и мне стало немного спокойнее, хотя я и пребывал в недоразумении. Он произнес: «Как видишь, наши оперативники следили за тобой очень внимательно. Даже когда ты думал, что можешь в безопасности заниматься своей антисоветской деятельностью, где бы ты ни был в Москве, мы знали, что ты делал, и ты был у нас под наблюдением».

В Москве! Значит, это было не про Киев. Тогда, про что же это?

И снова, как тогда, с фотографиями армейских офицеров, я чувствовал, что у Сидорова в голове есть некое реальное событие, но я не мог понять, что бы это могло быть. Каждый раз, когда я ездил за город поупражняться в стрельбе, я проверял, чтобы за нами не было слежки – если только, конечно, Дина сама не была оперативником. Но если бы это была Дина, то зачем бы ей докладывать про то, как я стрелял по бутылкам в лесу, если у нее была история гораздо лучше – про дачу Хрущева?

И снова Сидоров перешел к побоям. С ночных допросов я возвращался с дюжиной шрамов на лице, а мои голени буквально кричали от боли. Но теперь я не всегда был настолько болен и разбит после побоев, как в первые дни, когда Сидоров начал избивать меня, потому что был менее ослаблен от отсутствия сна. Но когда я чувствовал, что грядет очередной раунд пинков по моим голениям, еще не зажившим с предыдущего раунда, я начинал дрожать от страха.

Если бы в то время я мог сознаться в чем-либо, думаю, что сознался бы. У меня не было ни малейшего представления о том, что Сидоров имеет в виду под упражнениями в точности стрельбы. Наконец я признался, что обычно брал с собой пистолет в лес, чтобы пострелять там по бутылкам, но его это признание не заинтересовало ни в малейшей степени. Меня приводило в бешенство его умение уходить от ответа, когда я просил его дать мне подробности, которые, как я был уверен, у него были, или я считал, что они у него есть. Но он хотел, чтобы все исходило только от меня. Я могу с уверенностью сказать, что если бы даже я сказал ему: «Хорошо, я признаю, что проходил антисоветскую подготовку в точности стрельбы», то он не был бы удовлетворен этим до тех пор, пока я не рассказал бы ему о том, где я проходил эту подготовку и кто был моим инструктором – но у меня просто не было таких подробностей, о которых я мог бы ему поведать.

На одном из допросов, когда меня мутило от боли после ударов по голове и ногам, я прокричал Сидорову, что готов признать все, что он от меня хочет. Я был словно в припадке безумия. «Запишите, что я японский шпион! – кричал я. – Я подпишу это! Напишите, что я был рожден шпионом. Напишите, что я Папа Римский или Китайский император, я это подпишу! Все, что хотите!»

Сидоров был в ярости. Он ходил взад-вперед по комнате, рвякая: «Проститутка! Блядь! Тупой сукин сын! Мне нужны детали твоей подготовки к террористической деятельности и тренировок в точности стрельбы, и они нужны мне сейчас!»

«Я не знаю, о чем вы говорите!» - прокричал я в ответ.

Послышался хруст. Ботинок ударил по моей голени, и решил, что удар сломал кость. Скрюченный от боли, я ударился головой об стол. Затем сполз на пол, воя от боли и ярости, а Сидоров подошел и ударил меня кулаком по затылку.

А на следующем дневном допросе он рассуждал о хоккейных новостях и футболе, и о повести, которую читает. И, может быть, я все же подпишу эти свои чеки?

К моему сожалению, я не мог упустить ни одной возможности, чтобы не посмеяться над ним или не унижить его. Однажды, когда все комнаты для допросов были заняты, меня, вместо того чтобы вести в другое крыло здания, вывели вниз по ступенькам во двор. Там в ожидании стоял фургон с надписью «Пейте советское шампанское» и шестью вентиляционными отверстиями на крыше. Меня отвезли на Лубянку и отвели в комнату, которую Сидоров делил с тремя или четырьмя другими офицерами. Перед этим я бывал там уже несколько раз, и обычно меня отвозили туда в фургоне «Пейте советское шампанское», а один или два раза – в хлебном фургоне, оборудованном такими же узкими клетками. В этот день я был в приподнятом настроении, потому что это был мой юбилей. Помнится, в самом начале Сидоров сказал мне, что никто и никогда не выдерживал более полугода в этих условиях. Под «этими условиями» он имел в виду только мою одиночную камеру с черными стенами и отсутствие сна, потому что избиения еще тогда не начались. И поводом для моего приподнятого настроения было то, что на календаре значилось 15 июня. Погода была теплой, и мне больше не приходилось дрожать на полу своей камеры, когда меня бросали туда после очередной нелегкой ночи с Сидоровым. Несколько суток допросы проходили относительно спокойно, потому что Сидоров был занят чем-то иным, и к тому же, как мне кажется, эти переезды туда-сюда из Лефортово на Лубянку положительно влияли на его настроение, отвлекали его, что ли. Он всегда убавлял свою прыть, когда мы так перемещались. Но главной причиной моего веселого настроения было, конечно же, то, что сегодня, 15 июня, я мог сказать себе, что выдержал эти шесть месяцев и все еще продолжал держаться. Я был худым, ослабленным и иногда пребывающим немного не в своем уме, но по-прежнему глубоко убежденным в том, что они меня не достанут. И все еще способным улыбаться в лицо ублюдку, который старался вогнать меня в могилу.

Когда я прибыл на Лубянку в этот день, 15 июня, двое коллег Сидорова занимались бумажной работой за своими письменными столами. Пока Сидоров раскрывал свои папки, вошел другой подполковник и передал бумаги своему коллеге. Он поздоровался с Сидоровым.

- Кстати, как она, еще не призналась? – спросил его Сидоров.

Подполковник сухо ответил:

- Ты же знаешь этих старых революционеров, какие они упрямые. Пока ничего.

- Ну, - продолжал Сидоров, - а ты сказал ей, что ее мужа расстреляли?

- Конечно, нет! – воскликнул первый. – Мне еще нужно воспользоваться угрозой расстрелять его, чтобы ее сломать.

Они говорили так, словно бы меня там не было.

Офицер продолжил:

- Я показал ей несколько протоколов, ты знаешь. Она признала, что на них была его подпись. Но заявила, что он никогда бы не подписал таких абсурдных обвинений, и потому они должны быть фальшивкой, и в том же духе. Скоро я до нее доберусь. Не переживай.

Он достал связку ключей и поболтал ими перед Сидоровым.

- Шеф отписал на меня их дачу. Видел бы ты их мебель! И шикарная библиотека. Приезжай ко мне, когда закончишь со своим делом.

Он помахал рукой и вышел из комнаты.

Я понял, что сегодня день для меня предстоит не тяжелый, и принялся размышлять над тем, как бы выставить Сидорова дураком перед его коллегами.

- Собираешься говорить сегодня? – спросил Сидоров.

Я покачал головой.

- Ну, хорошо, хорошо, - произнес он миролюбиво. – Посмотрим, не передумаешь ли ты позднее.

Затем он достал свою длинную иглу, шнур и царапающую авторучку, и принялся за работу со своей папкой. При этом он постоянно проклинал свою ручку: «Чертова штука! Капает на меня чернилами, царапает как кошка, и при этом не пишет, черт ее подери!» Один из следователей начал смеяться над Сидоровым:

- Ну, ты и дурак, Сидоров! Ты же можешь достать вполне приличную ручку, если захочешь. Вот смотри. Я достал эту, американский «паркер», три года назад. Пишет она великолепно. Держи, попробуй!

Сидоров взял ручку, попробовал, и восхитился тем, как гладко она пишет. Я произнес вслух:

- Пятьдесят восемь и десять!

Сидоров поднял на меня свой взгляд. Небольшая морщинка недоразумения отобразилась на его лбу. Я испытал приятное чувство от своей способности произвести на свет эту морщинку.

- Что это?

- Пятьдесят восемь и десять! – повторил я. - Пятьдесят восемь и десять!

Советский уголовный кодекс был знаменит своей пятьдесят восьмой статьей. Под ней обвиняли политических узников – во всем, начиная с антисоветских снов и до попытки вооруженного свержения правительства. Подраздел десятый этой статьи, антисоветская пропаганда, включал в себя обвинения в обливании грязью советских изделий, и даже, в том числе, за счет восхваления изделий иностранного производства.

- Арестуйте его! – сказал я, кивнув на Сидорова другому следователю. – Он совершил антисоветскую пропаганду. Восхваление изделий иностранного производства. Это одно из моих обвинений. Десять лет, если можно будет это доказать, и я буду свидетелем. Арестуйте его!

Я недооценил Сидорова. Или переоценил его сдержанность перед своими коллегами. Он просто быстро шагнул через комнату и свалил меня со стула тяжелым ударом открытой ладони, оставив лежать на полу.

Через некоторое время усталым голосом он произнес: «Вставай, сукин сын». Я вскарабкался на стул. Я смотрел ему в глаза, а он уставился на меня. Интересно, что он думает, размышлял я. И снова мне показалось, что в его глазах я увидел искру восхищения тем, как я продолжаю держаться. И в то же время Сидоров выглядел злым и усталым. Шесть месяцев – подумал я. Шесть месяцев, и этот парень работает надо мной по шестнадцать, восемнадцать часов в сутки, и это Я изматываю его! В моем ухе звенело от удара, но я все еще чувствовал себя весело, хотя и не настолько, чтобы рискнуть получить еще один подзатыльник, заработав его очередным остроумным замечанием. В тот день, изучая Сидорова, я обнаружил также, что он изрядно потерял в весе. Конечно, не так много, как я – мой вес, должно быть, снизился с 84 килограмм до 58. Но мундир Сидорова, который он заполнял собой достаточно плотно, когда я впервые его увидел, теперь болтался на нем довольно свободно, а его лицо, имевшее прежде жировую складку под подбородком, высохло. Он делал все, что мог, в этой битве интеллекта, стратегии и тактики, но если и не проигрывал ее, то и не выигрывал также. Хотя я был слаб, голоден и измучен, но все еще надеялся на ничью. Я не имел ни малейшего представления, чем все это закончится, но все еще чувствовал в себе силы достать его – перед тем, как он достанет меня.

Избиения не приносили Сидорову желаемого результата. Его попытки подделать мои заявления в протоколе (заставить меня признать то, что я не говорил, изменяя запятую или частицу «не», что я мог бы не заметить, подписывая протокол), не работали. Я всегда читал протокол внимательно, и – если моим глазам было сложно сфокусироваться по причине сильного удара, или от недостатка сна (что случалась тогда, когда на дежурстве была та мерзкая женщина) – я отказывался подписывать бумаги до тех пор, пока не мог прочитать все ясно. Допускаю, что ему удалось подловить меня на каких-то мелочах, но точно ни на чем существенном.

И вот он был теперь передо мной, и выглядел он уставшим, и я произнес внутри себя: «Послушай, ты, ублюдок, я выиграю у тебя эту партию».

Поездки в фургоне для шампанского на Лубянку и обратно приносили мне радость, несмотря на боль в коленях из-за скрюченной позы, в которой я находился. В дневное время до меня доносился уличный шум снаружи, и я мечтал, что в один из дней снова стану его частью. Когда фургон проезжал Кузнецкий мост, я знал, что люди смотрят на меня, думая, что я – это ящик с шампанским. Но в один из дней, думалось мне, я выберусь наружу и расскажу им, кем я в действительности был тогда.

Когда меня снова привели в камеру, я простучал два стука: «Я вернулся».

Я выдержал шесть месяцев, мне удалось уязвить Сидорова, и все это - в один день. Удовлетворение от этих событий придало мне воодушевление, и я даже стал немного яснее соображать, чем обычно. К этому моменту я уже долгое время бился над разгадкой кода, выстукиваемого мне соседом по камере. Ежедневная последовательность 2,4; 3,6; 3,2 ... 1,3; 5,2 прочно врезалась в мою память – для меня она звучала как законченный ритм, узнаваемая форма. Так буквы азбуки Морзе начинают звучать для вас, когда вы к ним привыкаете. Я разложил последовательность стуков на одеяле с помощью спичек, и принялся изучать ее всеми доступными мне способами. В этот день у меня было ощущение, что я мыслю достаточно ясно, чтобы совершить некий прорыв. Несколько сделанных попыток оказались неудачными. Я попробовал применить подход, взятый из книги «Золотой Жук» Эдгара По, где ключом была частота появления в языке определенных букв. Этот подход ничего мне не дал. Мне не хватало материала, чтобы

работать с этой теорией. Но она подвигла меня к тому, чтобы начать размышлять о науке шифровки в целом. Может, вычесть эти цифры одну из другой – чтобы получилось 1,2, 3 - до 31, т.е. тридцать одна буква русского алфавита? Но и так не получалось. Я пытался применять разные приемы сложения и вычитания, но все они вели в никуда.

Я продолжил свои попытки. Теперь я взял знакомую последовательность – 2,4; 3,6; 3,2 ... 1,3; 5,2, - и, используя тридцать один кусочек спичек, попытался разложить эти цифры на постели в шахматном порядке, вот так:

II III III
III III II
I III
III II

И здесь меня ждала неудача.

Что-то вертелось у меня в голове. Почему он упорствует каждую ночь с уроком арифметики? 1,1; 1,2; 1,3 и т.д. до 1,6 – до тех пор, пока последовательность не завершалась на 5,6.

Когда я бился над этой загадкой, то заметил, что мой рот заполняет слюна. Звук работающего лифта выработал у меня рефлекторную реакцию, хотя я даже и не осознавал, что слышу его. Теперь охранники будут заняты раздачей еды. Я знал, что мой сосед вскоре снова начнет свой урок. Терпеливый друг! Сохраняй свое терпение, подумал я. Разгадка все ближе. Я поприветствовал его, дал сигнал начинать -

Тук тук.

В ответ послышалось: 1,1; 1,2. Вся последовательность.

Я поблагодарил его: *Тук тук.*

Уселся на лавке, жуя свою водянистую кашу и заставляя голову думать. Охранник снова начал смотреть в глазок. Я уставился в стену.

Что же это такое, черт возьми – 1,1; 1,2; 1,3?

Потом я подумал – может, мне следует читать это как 11,12, 13, 14, 15, 16? Но если так, то почему он перескакивает с 16 на 21, с 26 до 31, с 46 до 51? Может, что-то есть в этом интервале из пяти? Или в группах из пяти? Но ведь еще были и группы из шести – от 11 до 16, от 21 до 26.

Я решил разложить спички в полной последовательности, но у меня столько не было. Я положил несколько спичек на одеяло, пытаюсь вообразить, как должен выглядеть остаток. Группы по пять и шесть. Пять плюс шесть – это первые цифры, которые он всегда посылает. Одиннадцать. Ну и что?

Пять на шесть – это тридцать. Ну и что? В коде этих 30 нет.

Подождите минутку.

Подождите минутку!

Если исключить твердый знак, то можно сказать, что в русском алфавите тридцать букв. Пять рядов из шести букв. Конечно! Вот что он посылает мне каждую ночь! Целый чертов алфавит! Как я мог не понять этого так долго? Цифры следует поместить на простой сетке координат. Доска координат! Мои руки тряслись от радостного возбуждения. Я попробовал обозначить цифры на одеяле с помощью спички. И хотя следы исчезали почти мгновенно, я мог видеть их в своей голове, как если бы они и не исчезали:

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6

Так! А теперь просто распределим буквы алфавита по этой сетке:

А Б В Г Д Е
Ж З И К Л М
Н О П Р С Т
У Ф Х Ц Ч Ш
Щ Ы Ь Э Ю Я

Бог мой! Я был уверен, что у меня получилось. Мне почти не пришлось изображать позыв сесть на нужник – мой желудок итак урчал слишком сильно. Сколько еще времени до того, как меня отведут к Сидорову? Я был настолько поглощен своим открытием, что потерял счет времени, но я должен был сообщить своему другу, что могу понимать его! Но как только я немного успокоился, то осознал, что пока не смогу этого сделать, потому что пока не запомнил сетку и даже не проверил знакомую утреннюю последовательность. Натянув штаны, я вернулся к своей койке и попытался увидеть в своем воображении сетку координат на одеяле. Чтобы помочь себе, я положил тридцать спичек на одеяло, а потом мысленно разместил по букве на каждой из них. Я проверил хорошо знакомое сообщение:

2,4 3,6 3,2 1,3 5,2

К Т О В Ы

«Кто вы?»

О, господи! В своей груди я ощутил огромный прилив любви к этому человеку, который уже в течение трех месяцев спрашивал меня о том, кто я, а я даже не мог ничего сказать ему. Быстро. Координаты для «Александр Долган». Посмотри на тридцать спичек на кровати. Это будет 1,1; 2,5; 1,6; 2,4; 3,5; Закрывать глаза и попытаться запомнить это. Голова кружится от прилива радостного возбуждения, трудно стоять, начинаю идти к туалету, забываю цифры, снова смотрю на одеяло. Думай. Нет, это не то, что надо послать. Пошли ему... пошли ему вопрос, пошли ему...

О, нет! Дверь открывают. Не сейчас! Пожалуйста!

«Приготовиться к допросу».

Но это ничего! Это ничего! Я ухмыльнулся бесстрастному охраннику и проследовал за ним пружинистой походкой, впервые за несколько месяцев. Я был на небе от счастья, внушая себе, что это будет для меня хорошая ночь в комнате для допросов. *Хорошая ночь.* Я проведу ее, мысленно работая над кодом. К утру у меня получится его запомнить. И потом я смогу по-настоящему разговаривать со своим приятелем. Узнавать у него новости. Рассказывать о своих надеждах и страхах. Я удовлетворенно цокнул языком при ходьбе. Охранник обернулся и нахмурился. Я улыбнулся ему в ответ. Широкой, радостной улыбкой.

Когда я прибыл, Сидоров угрюмо смотрел в страницы своего романа и даже не поднял на меня взгляд. Я сел на стул и снова раскинул «кто вы» на сетке, чтобы удостовериться, что не ошибся. Все совпадало. Я принялся хихикать. Так, как, бывает, хихикают в церкви. Тот факт, что вы не должны этого делать, только усугубляет реакцию. Я хихикал и хихикал. Сидоров поднял на меня свой хмурый взгляд. Я боялся, что он расквитается со мной за мою послеобеденную шутку о 58.10, но его, по всей видимости, больше увлекала книжка. Он принялся читать снова. Я подумал, что 58.10 в этом коде не сработает, а вот 51.11 будет означать, дайте подумать... А, да – «ща». Я сказал вслух: «Ща!», и не смог сдержать хихиканья.

Сидоров громыхнул книгой об стол.

- Что, черт побери, с тобой такое?
- Я схожу с ума! – ответил я радостно.
- И что же смешного в этом?
- Вы не поймете, - хихикал я.
- Хорошо, пытайся сходить с ума тихо. Я читаю.

И он вновь принялся за чтение.

Всю ночь напролет он читал. Это было мне на руку. Всю ночь напролет я работал над кодом. Я решил для себя, каким вопросом огорошу своего друга на рассвете. Я пошлю ему: «Как вас звать?» Начну разговор с двух стуков, как обычно. Он, как обычно, ответит двумя стуками. А потом я спрошу у него его имя, и мой терпеливый невидимый друг тут же грохнется с нужника от неожиданности и восторга.

К утру Сидоров отложил свою книгу и вяло уставился на меня. «Думаешь, ты был сегодня очень умный, да?»

Я сонно хихикнул.

- Прекратить это!
- Простите.

Шесть утра.

Назад в камеру, дрожь от предвкушения. Глазок открывался очень регулярно, и охранник на дежурстве был достаточно суровым типом. Я решил не рисковать с перестукиваниями, пока не будут разносить еду. Всего два стука: «Привет». Сосед ответил мне тем же. Очень сложно ждать до семи. Я разложил на кровати тридцать спичек – матрица для моей сетки, в которой я размещу свои буквы. Целая вечность прошла, прежде чем я услышал клацанье старого лифта, и во рту у меня появилась слюна. Как всегда, голод одолевал меня, и я хищно оторвал кусок от буханки, выпил глоток горячей подкрашенной воды, шагнул ближе к стене, задержал дыхание, мысленно вновь прокрутил цифры для фразы «как вас звать», и только собрался простукать два стука, «я готов», как он постучал:

Тук тук.

А теперь смотри! – подумал я.

Я начал стучать.

Тук тук, тук тук тук тук.

Тук тук

Тук тук, тук тук тук тук.

На той стороне воцарилось молчание.

Потом я услышал звук, похожий на то, как если бы упал стол, и шорох некой борьбы.

А затем, словно водопад, или звуки печатной машинки, с той стороны через каменную преграду полилась картелью шифрованная дробь.

Я взглянул на свою сетку из спичек. «Медленно», – подумал я.

Я выступал это.

Тук тук, тук тук тук тук тук тук.

Когда я с этим закончил, ко мне вернулось, ужасно медленными стуками, так осторожно, чтобы не ускользнуть от меня:

ДМИТРИЙ

РОГОЗИН

Я послал ему свое имя.

В ответ пришло:

СТАТЬЯ

Под какой статьей меня обвиняют?

Я выслал номер.

Он выслал свой.

Я мог бы очень легко уйти с головой в этот разговор, но я понимал, что это общение для меня сейчас – самая большая драгоценность, что у меня есть, и поэтому я был полон решимости исключить малейший риск по причине потери бдительности. Я простучал слово «нужник», решив, что лучше мне быть там, когда охрана вернется к обычному порядку наблюдения через глазок после раздачи еды, что вскоре должно было произойти. У нас было десять минут. Довольно трудоемкая работа, особенно по началу. Мне часто приходилось переспрашивать его: «снова?». И внимательно подглядывая в свою таблицу, я смог воссоздать его историю.

Рогозин был инженером, на десять лет старше меня. В тридцатых он провел некоторое время за границей, и, как и для многих подобных советских граждан, позже у него из-за этого начались неприятности. Среди его статей была 58.4 - позже я узнал, что она означает «заговор с иностранной буржуазией» - и 58.1, «государственная измена». Кажется, статья 58.10 у него тоже имелась.

Хотя я буквально поедал эту возможность человеческого общения, словно пищу, я знал, что мне следует быть начеку, чтобы избежать малейшей опасности быть пойманным. Я простучал ему – медленно, старательно – «спать сейчас». И потом наше, интимное, уютное, универсальное - *тук тук*.

Я устроился на краю своей койки, сидя лицом к двери.

Поправил свою шляпу, чтобы образовалась тень под нужным углом, закрывающая глаза. Подождал два лишних открытия глазка, просто для перестраховки. Охранник в этот день был суровый, но он прошел у меня хорошую дрессировку. Никаких пауз – просто рутинный обход. Я позволил своим болящим глазам с благодарностью закрыться. Мое ощущение было похоже на то, какое бывает, когда вы засыпаете с образом любимого человека в своем воображении. Я уверен, что в течение следующего часа или около того, пока я спал сидя строго прямо, широкая улыбка не сходила с моего лица – улыбка удовлетворения и счастья от человеческого контакта и достижений, бывших у меня в этот день.

На протяжении следующих нескольких дней Сидоров выглядел изможденным и нередко погружался в дремоту – что ж, также поступал и я. Хотя у меня получалось поспать более двух часов в будние дни – кроме тех дней, когда на дежурстве была та злобная женщина – я по-прежнему большую часть времени находился на грани нервного истощения, и мгновенно погружался в сон при первой же возможности. Мы с Сидоровым проделали за эти дни совсем немного «работы».

В одну из ночей, когда Сидоров несколько раз поймал меня на том, что я сплю, он просто подошел и небрежно отхлестал меня по щекам, проговорив низким и усталым голосом: «Проснись, проснись». А потом вернулся к своему столу и попытался сосредоточиться на своей книге.

Была теплая ночь. Когда Сидоров вернулся после чаепития, он оставил дверь в комнату приоткрытой для проветривания. Я услышал, как из-за закрытой двери комнаты, находившейся дальше по коридору, послышалось бормотание низкого мужского голоса, затем, внезапно, громкий крик женщины, переходящий в стон, а затем – пронзительный визг, от которого волосы на моей голове зашевелились. Мне представились ужасные пытки, каким должны были ее подвергать. Голос женщины умолк, и наступила тишина. Потом вновь послышался тихий мужской голос, и почти немедленно бедная женщина вновь начинала визжать и кричать. В этом диком визге было что-то нечеловеческое. Слушая это, я дрожал. Через некоторое время Сидоров нажал кнопку и в комнату заглянул охранник, которому он приказал закрыть дверь от шума. Весь остаток ночи меня преследовали эти крики. В пять или пять тридцать утра Сидоров вновь нажал на кнопку и,

когда вошел охранник, приказал ему оставить дверь приоткрытой, чтобы впустить немного свежего воздуха.

«Я подержу его немного дольше», - произнес он, даже не взглянув на меня.

Я услышал, как охранник подошел к соседней двери, дверь открылась, а потом он тихо произнес что-то. К моему удивлению, ему ответила женщина. Потом наступила пауза. Потом тот же визг, что я слышал раньше, начался снова. Но теперь я расслышал слова – следователем была женщина! Она выкрикивала грязные ругательства в чей-то адрес, и ее ругань была такой же отвратительной, как и у Сидорова, но от женщины это звучало намного ужаснее – она перечисляла все те отвратительные вещи, что она собирается сделать с этим несчастным мужчиной - точнее, с нижней его частью, и т.д. А потом в ответ послышался приглушенный, измученный мужской голос.

Когда охранник выводил меня из комнаты, я увидел ее, стоящую в коридоре. Это была женщина среднего возраста, около пятидесяти, нельзя сказать, что некрасивая, и очень собранная. Со знаками отличия майора на погонах.

Я спросил про нее у Сидорова на следующий день. Он просто покачал головой и ничего не ответил. На дневных допросах я нередко задавал ему личные вопросы. Он никогда не отвечал. А я никогда не сдавался. Это было еще одним способом выводить его из себя.

Как зовут его жену, спрашивал я, после того, как он заканчивал говорить со своей подругой по телефону. Или – сколько у него детей? Страдал ли он когда-либо от геморроя? Сидоров просто отказывался отвечать. Единственным, что он мне поведал о себе, было то, что у него имелся диплом юриста, и пуговица в форме ограненного бриллианта на его мундире была отличительным знаком его квалификации.

По мере того, как проходило время, я старался придумать все более и более саркастические вопросы, которые я мог бы задать Сидорову. Моя ненависть к нему росла с каждым новым ударом или пинком. Я ловил себя на мысли, что, наблюдая, как он вертит передо мной своим пистолетом с целью запугать, во мне все сильнее подымается желание набраться сил и прыгнуть на него через комнату, выхватить пистолет и застрелить его, либо оглушить рукояткой, переодеться в его униформу и уйти из Лефортово. Но я был слишком слаб, чтобы предпринять такую эскападу – хотя фантазия эта была настолько приятной, что я проигрывал ее снова и снова в своем воображении, выпуская, таким образом, свою ярость. Жажда убить Сидорова стала моим самым страстным желанием. Чтобы подавить его в себе, я усилием воли концентрировался на своих фантазиях. В своем воображаемом путешествии к дому я уже перешел советскую границу, ускользнув от патрулей и сторожевых собак, и теперь шел через леса в Польше. Ощущение свободы придавало мне сил. Теперь мне не нужно было скрываться от русских, хотя Польша и была страной за железным занавесом. Я мысленно сосредоточился на карте, стараясь припомнить названия городов и примерное расстояние между ними. Мне приходилось многое додумывать, но жирная черная линия, которую я прочерчивал через свою воображаемую карту Европы, вытягивалась все дальше и дальше.

Спустя несколько дней Сидоров вернулся к фотографиям советских офицеров. Осознав, с моими настойчивыми подсказками, что туманные общие вопросы, подкрепляемые битьем, не приносят ему желаемого результата, Сидоров старался говорить более конкретно. Он напомнил мне, что я признал факт знакомства с некоторыми советскими офицерами, и что я гулял вместе с ними в День Победы в Метрополе. Я ответил, что все это так, но я не узнаю никого из них на этих фотографиях.

Наконец Сидоров показал мне одного мужчину. «Это – командующий Георг Тэнно¹, - сказал Сидоров. – Ты его знаешь. Он пытался установить с тобой контакт, чтобы передать информацию. Не припоминаешь?»

Я уставился на фотографию. Я был чрезвычайно измотан и обескуражен. Лицо казалось знакомым. Голос Сидорова звучал мягко и успокаивающе. Мне было так просто ответить: «Хорошо, Георг Тэнно, все верно. Я пытался завербовать его, а он хотел продать мне информацию», - или что-то наподобие этого. Это было так соблазнительно – дать Сидорову то, что он хочет, и освободиться пораньше, чтобы пойти спать. Возможно, он даже предложил бы мне сигарету, или какой-нибудь еды. Возможно, все на этом и закончилось бы. Пока я всматривался в лицо Георга Тэнно, мне подумалось, что да – я узнаю его, и да, возможно, могу что-то сказать про него... А потом я поймал себя на этом и сказал себе: «Алекс, ради всего святого, не сдавайся. Ты прошел такой длинный путь. Продолжай идти, парень». Мысленно я пропел несколько строк из «Roll Out The Barrel». «Я уже приближаюсь к границе восточной Германии, к востоку от Дрездена, - подумал я. - Восточно-германские полицейские, как я слышал, жесткие и смышленные ребята, поэтому мне нужно быть начеку». Меня коснулся запах, идущий от Сидорова – он склонился надо мной, и это вернуло меня в Лефортово.

«Георг Тэнно, - произнес он. – Какие у вас были отношения с Георгом Тэнно?» Я задержал дыхание. Поднял глаза на Сидорова. И ответил чистосердечно: «Я не знаю этого имени. Если это тот человек, о котором вы говорите, то я, возможно, выпивал с ним, а, может, и нет. Я не помню. Мы все сильно напились в тот день. А вы разве нет?»

Я знал, что это приближается. Я полетел назад со своего стула. Сидоров пинал меня и ругался. Я умолял его остановиться, но ничего не признавал, потому что теперь моя оборона, почти погрузившаяся было в сонное состояние, снова приобрела свой боевой порядок.

Те удары и пинки, которые, словно из-под наковальни, обрушились на меня в тот день, годы спустя стали тем цементным раствором, что скрепил мою дружбу с одним из лучших людей, встреченных мною в жизни. Но в ту ночь удары продолжали градом сыпаться на меня, а я катался по полу, пытаюсь увернуться и прося о пощаде – до тех пор, пока моя голова не стала рассыпаться на ужасные клочья, и я потерял сознание. Следующим моим воспоминанием было то, что я лежал на полу в камере, мокрый и дрожащий. Лето закончилось. За окнами Лефортовской тюрьмы веяло стылмым ветром сентября, и этот ветер нашел свою дорогу в мою жуткую, сотрясающуюся от озноба камеру. В Лефортово я провел уже более девяти месяцев.

Глава 10

На некоторое время после всех этих ужасных избиений я потерял способность говорить внятно. Я помню, что в один из дней Сидоров сунул мне протокол, подписанный неизвестным оперативником, удостоверяющий, что меня видели выпивающим в компании командира Тэнно 8 мая 1945 года, и что оперативник заподозрил, что у нашей встречи имелись некие скрытые цели, потому как Тэнно был офицером разведки с сомнительной лояльностью, а я находился под подозрением, будучи иностранцем. Сидоров спросил меня, не хочу ли я провести еще одну ночь так же, как мы провели ее в прошлый раз, когда обсуждали Тэнно. Я просто уставился на него своим тяжелым, мрачным, отстраненным взглядом - я познакомился с этим своим взглядом позже, глядя в зеркало. Я не отвечал. Сидоров тихо и настойчиво повторил вопрос относительно Тэнно и долгое

¹ **Георгий Павлович Тэнно** фамилия при рождении **Теннов** (20 сентября 1911 — 22 октября 1967) — морской офицер, переводчик, спортсмен, политзаключенный, «убежденный беглец», автор одной из глав книги «Архипелаг ГУЛАГ».

время ждал моего ответа. Наконец я произнес: «Я рассказал вам все про Георга Тэнно». Кажется, он понял, что я имею в виду именно то, что и сказал. Сидоров написал протокол. Я начал читать его сквозь сильно опухшие веки. Мне пришлось перечитать его несколько раз, потому что сконцентрироваться было трудно. Мой зад со сморщившимися ягодицами болел от сидения на жестком стуле, а дыхание было поверхностным и шумным. Моя ненависть к Сидорову была столь велика, что мне хотелось каким-то образом причинить вред этому листку бумаги, от которого так сильно зависело его существование. Но я не мог найти в нем никаких неточностей, и не придумал ничего, что я мог бы сказать. К тому же я был скован страхом и слишком слаб для того, чтобы перенести еще одно избиение. Я подписал этот протокол своей трясущейся рукой, и Сидоров молча забрал его.

Теперь я ослаб настолько, что падал на пол со стула в комнате для допросов или со скамейки в психической камере почти сразу же после того, как проваливался в сон. И в результате падения пробуждался. Были дни, когда мне не удавалось вообще поспать, и дни, которых я не помню. Все, что осталось от них в моей памяти – это замутненное ощущение проходящего времени, большого количества боли, и камера, которая становилась все холоднее и холоднее по мере наступления осени. Когда я был способен читать, Сидоров совал мне протокол. Он снова вернулся к вопросу моих упражнений в стрельбе и провел несколько бессистемных избиений, которые едва проникали сквозь мое онемевшее тело, хотя и вызывали ужасное головокружение и тошноту. Протокол, который он мне в результате показал, вызвал у меня приступ хохота. Сидорову могло показаться, что со мной случилась истерика, но для меня это стало просто облегчением.

Дело в том, что вскоре после войны я подружился с сирийским поверенным в делах. Его настоящее имя было Али Баба. Он был очень приятным парнем и любил выпить. Америка его восторгала, и я любил рассказывать ему об Америке и хвастать ее достижениями. День четвертого июля 1946 года мы провели вместе. Почему – я не помню точно. Я помню, что начали мы пить у него, и его секретарша вошла как раз в тот момент, когда я рассказывал ему о только что прочитанной книге, посвященной ФБР. По-моему, книга называлась «Внутри ФБР». Помню, я рассказывал ему о том, как агентов ФБР учили стрелять с бедра – его это очень заинтересовало, а мне было приятно иметь в его лице благодарного слушателя.

Чтобы продолжить наш разговор о стрельбе, полицейских и тому подобном, я пригласил его к себе в комнату в Американском Доме – вот здесь и получила свое продолжение вторая часть истории, оказавшаяся у Сидорова. Первая часть была получена от секретаря Али Бабы, которая, как оказалось, была агентом МГБ. На протоколе, который мне сунул Сидоров, значилась ее подпись. Очевидно, что подпись эта была получена в тюрьме. Судя по всему, она была арестована за недонесение об этом инциденте с Али Бабой, который она, к радости ее следователя, интерпретировала в том ключе, что это я был агентом разведки Соединенных Штатов, натренированный стрелять с бедра. (Насколько я помнил, ее английский оставлял желать лучшего). Ее спросили: «Почему вы не доложили об этом раньше? Вы могли бы избежать ареста». Она отвечала: «Я думала, что господин Али Баба был пьян, и это не являлось серьезным разговором».

Я описал весь этот день Сидорову, хихикая от облегчения, хотя и злился на секретаршу Али Бабы – она всегда казалась такой милой девушкой. Баба и я оставили ее и пошли ко мне в комнату, где я хранил свой пневматический пистолет, стреляющий маленькими дротиками по мишени – он выглядел почти как Люггер¹. Некоторое время мы провели в моей комнате, и я показал Али Бабе, каким хорошим стрелком, по моему мнению, я был. Я помню это очень отчетливо. Как оказалось, Сидоров тоже был в курсе этого. Он

¹ Пистолет Люггера, знаменитый своей высокой точностью стрельбы.

написал целый протокол об этом эпизоде. Узнал он об этом не от Али Бабы, а от оперативника, который наблюдал за нами в бинокль с крыши здания в километре от моего дома на набережной Москвы-реки. Он шпионил за мной через окно всю вторую половину дня 4 июля 1946 года – наблюдая, как я «тренировался с использованием высокоточного оружия большой мощности, вероятно, немецкого производства».

Я рассказал эту историю Сидорову. Он спросил: «Почему ты помнишь все это так хорошо, и не помнишь ничего из того, о чем я тебя спрашиваю?»

Я ответил: «Вероятно, потому что это было 4 июля».

«Что же такого особенного в четвертом июля?» - поинтересовался Сидоров.

Я ответил с нотой раздражения в голосе: «Как же вы можете допрашивать американского гражданина, если даже не знаете о нашем Дне Независимости?»

Избиения, последовавшего затем, я не помню. Я помню, как Сидоров носился за мной с кулаками, швыряя меня по комнате. Также я помню, каким я был после этого. Вероятно, это было на следующий день. Я стоял перед письменным столом Сидорова, с опухшими губами, все мои мышцы болели. Не помню, что точно мне нужно было подписать. Я только помню, что развернулся, чтобы доковылять до своего стула, и в это время краем глаза я увидел, как Сидоров взял в руки свою резиновую галошу. Со слабой надеждой я подумал, что он, возможно, уйдет домой пораньше, и я смогу немного поспать. Затем, когда я повернулся спиной, он наподдал мне сильнейшего пинка сзади между ног – ужасный удар пришелся мне прямо по мошонке. Мне раньше казалось, что ничего ужаснее этих повторяющихся ударов по голениям быть не может – но этот удар отозвался во всем моем нутре так, словно бы меня распорол пополам. Я рухнул на пол и изрыгнул на него оставшееся содержимое моего желудка. По-моему, там была каша - значит, это происходило на ночном допросе. Сидоров просто вызвал охранника: «Помой это и убери его отсюда», - произнес он сухо. Я стонал, лежа на полу, но сумел выкрикнуть в его сторону: «Я никогда не подпишу больше протокола для вас! Никогда!» Кажется, это было самой ужасной вещью, которую я мог придумать на тот момент.

Далее последовательность во времени теряется. Все было в ужасном тумане. Я знаю, что однажды вновь стоял перед столом Сидорова, несколько часов или дней спустя. Я трясся от слабости, но я помню эту сцену с абсолютной ясностью - вероятно, я смог перед этим немного поспать.

У Сидорова скопилось шесть или семь листов неподписанных протоколов. Я произнес: «Я сказал вам, что не подпишу больше ни одного протокола!»

Я схватил листы и разорвал их пополам, а затем направился обратно к своему стулу.

Сидоров натянул галошу и вновь дал почувствовать мне ее между ног. В этот раз он был менее точен, и удар меня не парализовал. Во мне поднялась такая ярость, что она не оставила места ни для чего кроме нее. Я прислонился к своему стулу. Посмотрел назад. Сидоров стоял ко мне спиной у стола, подбирая разорванные листы протокола. Я воззвал к каждой капельке тех сил, что во мне еще оставались, ради этого одного единственного момента – и обрушил свой стул на голову Сидорова, чтобы убить его, наконец. Но я был слишком немощен. Удар получился слабым, медленным и неточным. Сидоров уловил его приближение, уклонился и повернулся, и я лишь зацепил его лоб. На лбу его я увидел кровь, но мной овладело отчаяние оттого, что я не разбил этот ненавистный, покрытый опилками череп. Сидоров просто сбил меня с ног. Выглядел он немного испуганным.

Потом он вызвал охранника.

- Я убью тебя, и ты это знаешь, - произнес я.

- Нет, – отвечал Сидоров. – Ты отправишься в карцер на максимальный срок. Это двадцать один день. Живым оттуда ты уже не выйдешь. Я с тобой закончил!

Меня вытащили из комнаты. Пока меня тащили через порог, я кричал Сидорову: «Я выйду когда-нибудь, и я убью тебя!»

Меня протащили наискосок через тюрьму, вниз по плоским каменным ступеням. Я помню, что меня бросили в абсолютно голую камеру. В ней было ужасно холодно. Там не было ни койки, ни раковины, только ведро с крышкой. Окна не было. Серый камень и черный асфальт. Я лежал, дрожа, на полу, и кричал так громко, как только мог: «Я убью тебя!!!»

Я знал, что не смогу выжить в этой камере. На мне были только рубашка и штаны. Температура была ниже нуля. На улице стоял поздний октябрь, а в ноябре в Москву приходят настоящие морозы. Когда мне принесли воды, мои руки тряслись так сильно, что часть воды выплеснулась на грязный пол. Когда я взглянул на него в следующий раз, вода была замерзшей.

Ночью принесли деревянные нары, на которых мне полагалось спать. Более всего на свете я хотел спать, но дрожь была слишком сильной, и поэтому я задремывал и просыпался, а потом снова начинал дремать.

Я был абсолютно уверен, что не протяну и пяти дней в этой камере, не говоря уже о двадцати одном, и решил, что лучше буду вести календарь, чтобы увидеть, сколько я протяну. Мне не приходило в голову, что результата я так и не узнаю. Голова моя была слишком затуманена.

Наступило утро, а у меня даже не было насморка. Мне принесли хлеба и воды. Я специально пролил немного воды в угол. Позже, когда вода заледенела, я катался на льду на своих ботинках – для физических упражнений, и чтобы разогреться. Я пел все свои песни так громко, как только мог, и никто меня не беспокоил. Часто я терял сознание и приходил в себя, лежа и дрожа на льду. Всей моей одеждой в этот период было тюремное нижнее белье из тонкого хлопка, а также рубашка и штаны, которые были на мне в день ареста. Одежда на ночь у меня не было.

Мне кажется, что я вообще не переставал дрожать – если только это возможно для человека.

Через пару дней мне принесли горячий суп с селедкой. Я выпил его залпом - прежде чем понял, что суп слишком соленый. Потом я попытался ограничить себя в воде, но был слишком слаб, чтобы дисциплинировать себя, и выпил разом всю кружку. К ночи я кричал от жажды. Перед наступлением утра у меня начались галлюцинации – я видел себя плавающим. В море или в озере? Пил ли я ту воду, в которой плавал? Была она соленой или пресной? Я только помню, какой шок испытал, придя в себя и осознав, что я «плыву» на полу своей камеры, делая слабые, но неистовые движения. Иногда камера в моем воображении вдруг наполнялась водой. Каждый третий день мне приносили селедочный суп, и я был так голоден, что съедал его, хотя знал, что потом буду сходить с ума от жажды.

Мои дни проходили почти в полностью помраченном сознании – кроме тех моментов, когда я заставлял себя делать отметку на стене каждое утро, когда мне приносили хлеб. Это был единственный ясный момент в течение дня. Удивительно, но отметки перешли цифру пять, потом десять. Я дрожал, немного спал, катался на своем катке, что еще – не помню. Однажды я в полузабытьи простучал сообщение через стену. Ответа не было. Мне было настолько одиноко, что я бы обрадовался, если бы зашел охранник и приказал мне перестать стучать.

Думаю, что раз в день они выносили мое ведро. Я знаю, что они всегда все делали молча. Штрихи на стене перешли за отметку двадцать один. Потом – тридцать. Я находился в карцере уже месяц. Знаю, что в некоторые дни я был в помутненном состоянии рассудка в течение целого дня. Я почти ничего не помню - кроме того, что часто повторял себе: «Держись, Алекс, держись до конца!» Я ожидал этот Конец.

Сорок один день. В камеру заползла мышь. Я поймаю ее и съем. Она приходит через маленькие дыры в полу камеры. Если тут есть одна мышь, значит, есть и еще. У меня бегут слюнки при мысли о том, как я буду жевать живую мышь. Я жду мышь, лежа на полу. Мышь вылезает из своей норки и обнюхивает меня. Пытаюсь поймать мышь, но она проскальзывает у меня между рук. Я жду с бесконечным терпением, день за днем, мою мышь.

А потом я вижу себя лежащим на полу и дрожащим, покрытым грязью – живой скелет, ждущий мышь. Я жду часами, но мышь так никогда и не приходит к человеку, лежащему на полу.

Я лежу на полу, уставившись на мышь. Она убегает в норку. Я не могу найти норку. Сорок девять дней на стене.

Я пытаюсь поймать мышь, а они наблюдают за мной через окошко в двери, но они никогда не войдут и не помогут мне поймать эту мышь.

Теперь я понимаю, что никакой мыши нет, нет норки, но еще некоторое время я пробую ее поймать. Потом я сдаюсь. Она все еще приходит ко мне через отверстие в стене, которого не существует.

Они наблюдают за мной через дверь.

Пятьдесят два дня на стене, и я скоро умру, и это хорошо, но у меня до сих пор так и не появилось насморка.

Дверь в камеру открылась.

«Заклученный, встать!»

Я могу встать на руки и на колени. Мне помогают. Не бережно, не грубо – просто чтобы заставить заключенного двигаться. Мне кажется, что с ними есть врач. Или это было потом? Я стою у двери моей камеры, психической камеры 111. По крайней мере, там есть одеяло и подушка.

Я не понимаю, что они говорят. Завернуть одеяло и подушку? Они хотят забрать их от меня? Я поразмыслил. Потом я понял, что меня уведут из камеры 111. Что-то все еще живое внутри меня сказало мне: «Алекс, ты выдержал».

Меня переводят.

Ты прошел через это.

С тобой все будет хорошо! Ты выжил, и плохая часть подошла к концу. Голова моя кружилась, меня все еще трясла дрожь, но вместе с тем меня наполняло чувство наподобие счастья.

Мне кажется, что меня повезли на лифте вверх. Такое у меня было впечатление, хотя в памяти этот момент остался не очень четким. Я знаю, что мы прибыли на шестой этаж. Меня это удивило. Мне казалось, что я разгадал внутреннее устройство Лефортовской тюрьмы во время своих частых походов в комнату для допросов и обратно по различным маршрутам, чтобы избежать встреч с другими арестантами. И я как-то вычислил, что в ней имелось только пять этажей. Но на этом шестом этаже оказался маленький коридор с деревянным полом, и выглядел он намного более новым, чем другие части здания. Когда мы подошли к камере (это была камера номер 216 – я до сих пор вижу эту цифру), охранник сделал нечто странное. Он остановился, открыл глазок и посмотрел в него. Мое сердце, как об этом говорят, буквально выпрыгнуло из груди. Я буду не один! После тех двух месяцев, что я провел дрожащим на полу карцера, не слыша ни звука человеческого голоса, у меня теперь будет кампания!

Дверь в камеру распахнулась. Внутри нее был полированный деревянный пол. Большое окно наполняло камеру ярким светом, и воздух в ней был свежим. Поначалу мои глаза почти ничего не видели, после пребывания почти в полной тьме на протяжении пятидесяти двух дней. На одной из двух кроватей я разглядел контуры человека. После того, как дверь за мной закрылась, он встал и шагнул мне навстречу. Выглядел он свирепо, и примерно с минуту внутри меня жили дурные предчувствия. Ключья темных

волос, клок черной бороды, напряженный горящий взгляд, старая и полинявшая униформа. Я решил, что меня поместили в камеру к убийце. Призрак протянул мне свою сильную руку. Я взял ее в растерянности. Он пожал мою руку крепко и учтиво, а потом мягко произнес, на чистейшем музыкальном русском языке: «Пожалуйста, разрешите представиться: меня зовут Орлов. Капитан Григорий Орлов».

Глава 11

Несколько раз на допросах Сидоров пытался манипулировать мной, обещая лучшую еду, сон на всю ночь и кампанию в камере, если я только признаюсь. Всякий раз, когда он упоминал о том, что я буду помещен в камеру с кем-то еще, я был уверен, что этим «кем-то еще» окажется стукач, и мне нужно будет быть предельно осторожным – ведь обо всем, что я скажу, будет доложено. Хорошо известно, что заключенный, которого долгое время держат в одиночестве, а потом помещают в камеру с кем-то, не может удержаться от разговоров. Но я не мог остановиться, болтая с Орловым. Я сказал себе, что этот человек – стукач, но потом добавил – ну и что, мне все равно, ведь разговаривать – это такое счастье! А Орлов казался таким искренним, таким сочувствующим и таким заинтересованным, что я просто выговаривался и выговаривался.

У Орлова был небольшой запас хлеба и сахара для себя, но он немедленно предложил его мне. «Прошу вас, без колебаний, - сказал он. – Просто съешьте все это. Будет еще». Он был чрезвычайно галантным. Недоумение, вызванное его странным внешним видом, быстро прошло. Я понял, что, должно быть, выгляжу также ужасно. Я почувствовал к Орлову глубокую и сердечную привязанность. И, несмотря на то, что через месяц нас разлучили, и я больше потом никогда его не видел, я сохранил к нему самые теплые чувства.

Первые дни в камере 216 были наполнены сном и разговорами, причем я делал и то и другое за двоих. Выражение «словесный понос» существует и в русском языке: вот он у меня и был. Я рассказал Орлову всю историю своей жизни. При упоминании о моей прекрасной Мери я стал сентиментален и не смог сдержать своих чувств, говоря о том, что она станет моей женой, как только я выйду отсюда. Я хвастал тем, как держал себя с Сидоровым. Помню, что чувство настороженности все же удержало меня от рассказа о моем путешествии в Киев с Диной, но, по-моему, это было единственное, в чем я себя цензурировал.

Орлов удовлетворенно посмеивался при моем рассказе о поездке в Загорск на День Святого Валентина. Загорск – красивый старинный город в восьмидесяти километрах, или около того, от центра Москвы. Там есть несколько средневековых монастырей с церквями, и он пользуется популярностью у туристов. Я, Мери и молодой человек моего возраста из посольства Канады со своей девушкой, которая работала в посольстве Великобритании вместе с Мери, поехали туда на выходные в День Святого Валентина, в 1948 году. Тот канадский парень лег спать со мной в одной комнате, а две наших девушки разместились в другой. После того, как мы улеглись, девушки, вспомнив обычай, просунули под нашу дверь записки с предложением взять их замуж. В записке Мери говорилось, что она обещает сделать из меня замечательного мужчину, поможет уменьшить количество приходящейся на мою долю выпивки, наполнит мою жизнь счастьем и т.д.; если же я ей откажу, то мне придется заплатить неустойку в виде десяти пар нейлоновых колготок, или что-то в этом роде. Проблема заключалась в том, что мы с тем парнем были настолько поглощены нашей беседой, что не услышали, как девушки подсунули записки под дверь. А девушки пошли в свою комнату и лежали там некоторое время, чуть дыша и сдержанно хихикая. Потом, по мере того, как ответа все не было и не было, они все более и более приходили в бешенство. Мы же увидели записки только

утром, когда проснулись. Девушки были так разгневаны, что некоторое время не разговаривали с нами.

Мои словоизлияния Орлову состояли из смеси дорогих сердцу, бережно хранимых обыденных моментов - таких, как поездка в Загорск - и горьких, отзвучивших в душе гневом событий только что минувшего ужасного года. Когда я рассказывал об этом, он слушал меня внимательно, с мрачным выражением на лице. Питание Орлов получал сверх рациона – как выяснилось, он был доставлен в Лефортово из лагеря для того, чтобы выдать некую нужную органам информацию. Орлов всегда делил свою экстра-пайку со мной. У него также было немного сигарет, и время от времени он предлагал их мне. Табак был роскошью, которой я был лишен уже много месяцев, и я с настоящим восторгом зажег первую сигарету, хотя она и вызвала у меня кашель и легкое головокружение.

«Ну, - произнес Орлов несколько дней спустя, когда я уже в досталь наговорился про свою историю и наконец-то перестал дрожать, отдохнув в этой большой, светлой и теплой камере, - я думаю, что теперь вам хорошо бы подготовиться к лагерю, и я могу быть вам в этом полезен».

Мне не понравилось это предложение. Я произнес: «Но ведь со мной закончили. У них на меня ничего нет. Наверняка им придется меня вскоре выпустить отсюда?»

Орлов выглядел немного смущенным, и отвел глаза в сторону. Потом он сказал: «Боюсь, что вам придется столкнуться со странной реальностью, в которой вы находитесь. Да, я определенно считаю, что вам придется это сделать. Если они действительно не нашли ничего против вас, ваш срок будет не очень большим, это совершенная правда. Но вам непременно дадут срок. Это невозможно для органов – арестовать и затем выпустить человека. Они никогда не делают ошибок, вы знаете; ваш усердный дознаватель наверняка сообщил вам об этом, я полагаю?»

Я рассеянно уставился на Орлова.

Он произнес: «Послушайте, приободритесь. Лагерь – это не дом отдыха, но после всего того, что вы преодолели с таким выдающимся мужеством, если я могу употребить эти слова, там вам будет очень хорошо. В лагере есть две группы заключенных: первые быстро умирают, а вторые устраивают себе вполне сносную жизнь и выживают очень хорошо. Вы, безусловно, не из той породы, что умирают быстро, и я дам вам несколько советов, как держать себя там».

Я постарался немного собраться. Ладно, подумал я, по крайней мере, с допросами покончено, и если я выдержал год этого ада, еще один год в лагере – это не так уж и плохо. Мне было интересно послушать, что скажет Орлов. Теперь, когда мои словесные излияния окончились, настало время и ему приоткрыться. Говорил он обо всем чрезвычайно подробно. Я попросил его рассказать о себе.

«Видите ли, я – экономист, и хороший экономист, - начал Орлов. – Я помогал организовывать сельскохозяйственное производство в Саратовской области. И мы были очень успешны. Мы получили настолько хороший урожай пшеницы в 1938 году, что государство наградило меня орденом почета второй степени. Я был очень лояльным гражданином, по настоящему патриотом своей страны. В армию я записался добровольцем на второй же день войны. Мне присвоили звание старшего лейтенанта и быстро переправили на фронт. В конце 1941 года меня захватили в плен. В немецком лагере со мной обращались очень скверно. Кое-что из того, через что прошли вы, мне знакомо, по настоящему знакомо».

Мы сели и закурили, помолчав. Я видел, что при воспоминаниях об этом тяжелом времени его лицо помрачнело. Потом Орлов продолжил.

«Случилась странная вещь. Навестить меня в лагерь пришли несколько советских офицеров. Они были одеты в немецкую униформу, выглядели хорошо откормленными и довольными. Мне они доверительно сообщили, что меня будут морить голодом до смерти, если я не соглашусь работать на немцев. Я ответил, что никогда не сделаю этого. Они

сказали, что в этом нет ничего плохого, и что в один из дней мы найдем для себя возможность убежать и присоединиться к своим частям. Себя они предателями не считали. Очевидно, что они не смогли бы снова послужить Советскому Союзу, умерев в тюрьме, и они просто проявляли осторожность, чтобы не сделать для немцев чего-либо, что могло бы поставить под сомнение их лояльность.

Это был по-настоящему соблазнительный аргумент. И я соблазнился. Меня перевели в лагерь по подготовке разведчиков, хорошо кормили и учили немецкому языку, хотя выучить его было чрезвычайно сложно. Мне выдали униформу, и даже пистолет, и я присоединился к отряду, названному NORD».

«Как же вы могли работать в немецкой разведке, не ставя под сомнение свою лояльность?» - спросил я.

Орлов почесал затылок. Вид у него был жалкий, и я уже пожалел, что спросил его об этом. Через некоторое время он произнес: «Я всегда рассчитывал присоединиться как-нибудь к нашим войскам, к своим людям, и выдать им немецких разведчиков. Нашим шефом был полковник Краузе. Его части располагались под Могилевом. Он специализировался на вербовке бывших советских военных, заключенных и дезертиров в немецкую армию. Мне неприятно об этом говорить, но я должен сказать вам – дезертиров было очень много. Условия в нашей армии во многом были очень плохими. А многие из этих парнишек были из деревни. Образования у них не было. Им хотелось пищи, чтобы набить свой желудок, хотелось девушек и водки, и они ненавидели своих офицеров, ничего не знали о Советах и вообще о политике, и все, чего они желали по настоящему – это выжить. Поэтому они дезертировали».

Рассказывая об этом периоде своей жизни, Орлов выглядел удрученно, и я решил сменить тему разговора. Но, по всей видимости, ему хотелось облегчить свою душу. «В действительности, - произнес он, - я должен назвать вещи своими словами, и должен признаться, что то, что делал я, в своей основе не отличалось от того, что делали все эти неграмотные мальчишки. Я делал то, что делал, ради того, чтобы выжить».

Я сочувствовал Орлову с его чувством вины, и сказал ему об этом. Предательство Орлова вызвало во мне некоторое презрение к нему, но об этом я умолчал.

Орлов продолжал: «Мне были доступны все виды информации в подразделении Краузе. И сейчас у меня появилась возможность оправдаться, потому что после захвата Краузе в американском секторе Берлина в прошлом месяце меня вызвали в Москву на очную ставку с ним. Меня для этого отвезут на Лубянку. Я думаю, что в глазах государства я могу в некоторой степени искупить свою вину. В конце войны меня преследовало такое сильное чувство вины, что я пошел на запад, а не на восток – через британский сектор, и оказался в результате в Льеже. Я был там ранее, в отпуске. Там я женился на женщине – хозяйке небольшой гостиницы. Я вел замечательную, комфортную жизнь, и был совершенно уверен в том, что окончу свои дни спокойно, в качестве хозяина отеля. Однажды появился человек, он говорил по-русски. Он представился мне старым эмигрантом. Я был в таком же состоянии, как и вы, когда перешагнули порог этой камеры пару дней назад. У меня была огромная неутоленная жажда общения на своем родном языке, и я искренне поведал ему свою историю, пригласив заходить почаще. Он пришел снова буквально на следующий день, очень пунктуально. Мы выпивали вместе. Следующее, что я помню – это то, что я проснулся в советском самолете. Это был агент, вы понимаете. А я даже оплатил ту выпивку, которой меня усыпили», - с грустью добавил он.

За свое сотрудничество с немцами Орлов получил десять лет лагерей, и его жизнь в Дубравлаге, одном из лагерей Потьмы, где он был с конца 1945 года, была нелегкой. Но допросы прошли для него легко. У него не было необходимости что-то утаивать, ведь он ощущал себя лояльным советским гражданином, и хотел искупить свою вину. Поэтому там не было никаких избиений, бессонных ночей, и пайка у Орлова была достаточно

хорошая. А теперь, когда он по своей воле передавал следователям информацию о немецком полковнике и согласился на очную ставку с Краузе, Орлову выдали прибавку к рациону и обращались с ним вполне сносно. Он делил со мной свой рацион, и силы достаточно быстро стали возвращаться ко мне. Мои ягодичные мышцы стали мягче, бедра также немного подросли.

Для меня время в камере 216 протекало так, словно это были каникулы. Каждый день после полудня нашу камеру заполнял солнечный свет, пробиваясь через замерзшее окно. Сама камера была маленькой, меньше трех квадратных метров, но свет снаружи и светлые бежевые стены придавали ей объема. Каждую ночь я сваливался в сон, а праздник общения продолжался и продолжался.

Иногда по утрам заходил охранник, чтобы вывести Орлова на допрос, но меня из камеры не выводили. Я снова начал делать отжимания и упражнения на динамическую нагрузку, и, хотя я дрожал от напряжения после двух-трех отжиманий в начале, прогресс шел быстро. Мои мышцы начали приходить в тонус, и я постоянно набирал вес, хотя, конечно, я все еще оставался доходягой. Орлова в дни его отсутствия возили на Лубянку то в фургоне с рекламой шампанского, то, в другой раз – в мясном фургоне, и мы потом оба смеялись над этим. Его возили туда для допросов и очных ставок с Краузе. После возвращения он всегда был в хорошем расположении духа, и делился со мной той радостью, которую испытываешь, слыша уличный шум вокруг – в то время как фургон проталкивается сквозь потоки машин в разгар рабочего дня.

Орлов начал говорить мне о жизни в лагере и рассказал о нескольких правилах выживания, которых я потом никогда не забывал. Некоторые из этих правил походили на пародию на те пуританские основы морали, которые мы учили, будучи школьниками. «Никогда не делай сегодня того, что ты можешь отложить до завтра», - вот пример заповеди, относящейся к сохранению энергии. «Никогда не говори правды, если и ложь сойдет», - правило обращения с тюремщиками, а также способ обмануть и запутать их. Орлов поведал мне также, что в лагере важно найти некую приносящую дивиденды работу, и что в каждом лагере всегда есть определенная потребность в чем-либо, и если ты придумал, как смастерить или утащить нужные вещи (буханки хлеба – в случае, если работаешь на кухне, к примеру), - то, не задумываясь, делай это. Эти украденные вещи потом можно продать или обменять на другие жизненно необходимые вещи у других заключенных.

Орлов предупредил меня, чтобы я был начеку и следил за уголовниками, и рассмеялся, когда я рассказал ему, что в начале принял за уголовника его самого.

- Это действительно очень серьезные ребята, Алекс, - говорил мне Орлов. - Они организованы по всему Советскому Союзу. У них есть свой свод законов, и он очень строгий. И если вы окажетесь в лагере, где политические заключенные и уголовники перемешаны, будьте осторожны, потому что «цветные» - так их называют – живут тем, что воруют у политических. Цветные зовут политических «фашистами», а себя они называют «урки».

- Урки?

- Да, так они именуются. А теперь послушайте меня, Александр Михайлович. У этих урок есть одно большое преимущество по сравнению с политическими заключенными. Вам лучше бы знать об этом. Урки приходят в лагерь хорошо подготовленными, если так можно выразиться, для выживания. Их свод законов говорит им держаться вместе. Они понимают образ мышления друг друга. Они всегда жили в ситуациях, учивших их тому, как выживать во враждебном окружении, и когда они попадают в заключение, то это для них не сильно отличается от жизни «на воле».

Орлов приподнял указательный палец, и наставительно произнес:

- Они считают себя лояльными советскими гражданами, которые, так получилось, живут по иному своду законов. И они считают всех политических врагами народа.
- Поэтому они называют их «фашистами»?
- Думаю, да. Единственная ошибка урки – это то, что его поймали. У некоторых из них вытатуированы патриотические лозунги на руках. Они представляют собой грубую, злобную и антисоциальную банду, Александр Михайлович, но они держатся вместе, и это дает им силу.
- А что политические?
- Полная противоположность! Полная противоположность! Каждый из политических считает себя невиновным, а всех вокруг себя – виновными в политических преступлениях. У них нет уличного опыта борьбы за выживание и действий сообща. Тот факт, что их посадили, вызывает у них недоумение. Друг другу они не доверяют. Они абсолютно не способны организовать. Поэтому они представляют собой прекрасную мишень для урок. На воле урки практиковали свое ремесло на подозрительном, никому не доверяющем и дезорганизованном обществе «гражданских». В заключении они продолжают заниматься тем же. Поэтому будьте начеку!

Орлов спросил, пытали ли меня когда-либо соленой пищей, и я рассказал ему о селедочном супе, который мне давали в карцере. «Следите за этим, - заметил Орлов. – Иногда на пересылке охрана делает это, чтобы по-настоящему свести вас с ума. Согласно правилам, заключенным нужно выдать определенное количество грамм мяса или рыбы, и они выдают селедку. И потом люди сходят с ума от жажды. Иногда они дают вам воды, и отказываются выпустить по нужде, и вам приходится либо терпеть ужасную боль в мочевом пузыре, и, вероятно, заработать проблемы с почками, или облегчиться на пол. За это вас накажут, разумеется».

Я ужасно скучал по Орлову, когда его увозили на целый день на Лубянку, и по возвращении мы с жаром начинали наши беседы вновь, как старые приятели, которые несколько лет не видели друг друга. Я все более и более привязывался к нему – за его устаревшую интеллигентную манеру общения, благородство, за внимательность и понимание, с которыми он умел выслушать меня, а также за то бескорыстие, с которым он делил со мной свою пищу. Когда Орлова не было, я занимал себя физическими упражнениями. Я снова продолжил свой путь на Запад, с того места, где остановился – в Германии, к западу от Штуттгарта, направляясь в сторону долины Рейна и границы с Францией. Я смастерил еще несколько иголок и аккуратно починил свою одежду при помощи ниток из полотенца.

Прошло около месяца с тех пор, как я, спотыкаясь, вошел в камеру 216. Теперь я был намного сильнее. Мой разум был ясен и готов к чему угодно. Однажды рано утром Орлова увели на очередной допрос на Лубянке, а я занимался упражнениями на грудные мышцы и мышцы рук. Внезапно дверь распахнулась, и голос снаружи произнес: «Д., со всеми вещами – на выход!»

На какое-то мгновение я подумал, не относится ли это к Орлову, говорят ли это про меня? Я понял, что в моей жизни грядут некие перемены. Какие – этого я не представлял. Я был уверен, что Орлову было сказано доносить на меня, но я сомневался, что он когда-либо расскажет им что-то, что может причинить мне вред. Не говоря о том, что доносить, собственно, было особо нечего - кроме как о моей ненависти к Сидорову и моих попытках переиграть его, и, в конечном счете, убить. Но за это я уже понес свое наказание. Меня отвели в тюремный двор. Я радовался, как ребенок, когда увидел стоящий там мясной фургон – с красочными картинками кусков мяса и шестью маленькими вентиляционными отверстиями на крыше. Не было сказано ни слова. Мне молча указали

пройти внутрь, и я услышал, что охранник взобрался в фургон после меня, также как во время первой поездки в Лефортово. Судя по всему, настал очередной поворотный момент. Тот факт, что мне приказали забрать свои вещи, говорил мне о том, что я не увижу больше Лефортово, и мое сердце пело. Пока мы катили по московским улицам, я стал тихо напевать себе под нос:

Over hill, over dale
We will hit the dusty trail
As those caissons go rolling along!¹

Снаружи до меня доносились звуки с улицы - звонок троллейбуса, автобусные гудки, и самые дорогие из всех звуков – голоса свободных людей, их разговоры: я мог расслышать их в то время, как люди обходили фургон, стоящий перед светофором. Однажды кто-то даже стукнулся о борт фургона, проходя мимо, и хлопнул по нему ладонью – в полном неведении о том, что за «мясо» этот фургон везет внутри, подумалось мне.

На Лубянке меня поместили в небольшой бокс на нижнем этаже. Мне было грустно оттого, что я не смог попрощаться с Орловым. Я предположил, что меня вновь посадят в одиночную камеру. Теперь, после того, как я выговорился с Орловым, эта перспектива меня немного огорчала, но я чувствовал себя достаточно сильным, чтобы вновь встретиться с одиночеством. Я представлял себе это в виде некой системы накоплений. Так, каждые пять минут сна, которые у меня получалось урвать в Лефортово, я бережно складывал в копилку своих сил, необходимых для противостояния Сидорову. И вот теперь я рассматривал месяц своего отдыха в камере с Орловым как депозит, который поможет мне перенести несколько месяцев одиночного заключения, если меня это ожидает.

Через короткий промежуток времени дверь в мой ящик открылась, и мне приказали выходить с вещами и следовать за охранником. С изумлением я вновь услышал знакомый цокающий звук. Охранник провел меня на третий этаж, в камеру 33. К моей радости, остановившись перед дверью, он заглянул в глазок. У меня опять будет компания! На мгновение я подумал, не ожидает ли меня там снова встреча с Орловым. Но я ошибся – больше я никогда не видел Орлова. В камере оказалось двое незнакомцев – высокий, интеллигентного вида мужчина лет за пятьдесят, с седыми волосами и густыми бровями, и низкий, темный мужчина лет тридцати. Я почувствовал себя обессиленным. Камера была довольно большая – раньше, когда здание еще служило отелем, это была гостиничная комната. Я быстро прошел вперед, протянув руку, вспомнив манеры Орлова, и произнес: «Разрешите представиться. Меня зовут Долган. Я – американский гражданин». Вначале я представился пожилому мужчине. Он поклонился, очень учтиво, и ответил просто: «Игорь Кривошеин». Это хорошо известная фамилия из российской истории – одним из царских министров при Николае Втором тоже был Кривошеин. Седовласый мужчина отступил назад, вежливо пригласив жестом второго пройти вперед. Темноволосый расплылся в широкой улыбке и сильно потряс мою руку. Он был гораздо менее сдержан, чем Кривошеин, и произнес: «Мое имя – Фельдман, и, клянусь, что я знаю все про вас!» Я удивленно посмотрел на него. Фельдман продолжил: «Конечно. Я читал про вас в Лондоне. Вас схватили, когда вы вышли из посольства, верно? Конечно, конечно. Я читал про это в газете, не помню, в какой. Я был корреспондентом «Красной Звезды, -

¹ Через холмы, через долины

Мы поедем по пыльным дорогам,

А ящики со снарядами катятся рядом –

Песня, написанная артиллеристом, лейтенантом Эдмундом Грубером с товарищами, когда они находились на службе на Филиппинах в 1908 г. Позднее песня, видоизменившись, стала маршем полевых артиллеристов в американской армии.

продолжил Фельдман. – И частенько напивался со своими английскими друзьями, рассказывая им антисоветские анекдоты. Мне казалось, это анекдоты эти были довольно смешными. Но один из моих английских друзей оказался не таким уж английским, и не таким уж и другом. И вот я здесь! Пятьдесят-восемь, десять».

Кривошеин, как оказалось, воевал на стороне Белой армии в Гражданской войне, и после разгрома в Крыму перебрался в Париж, где работал водителем такси. Довольно резкий спуск по социальной лестнице, заметил он, для человека, бывшего видным российским государственным деятелем. Во время Второй мировой войны он служил в рядах французского сопротивления, где начал мечтать о возвращении назад, потому что безумно скучал по России и был уверен, что после войны ситуация изменится. И действительно, в 1946 г. Сталин провозгласил, что русские эмигранты прощены и приглашаются домой. Кривошеин был безумно счастлив. Он собрался в путь со своей женой, урожденной француженкой, и своим ребенком. Они прибыли в Москву, и ему дали место, где жить, и работу в Свердловске, за Уралом – порядка полутора тысяч километров к востоку от Москвы. Работал он в гараже. Однажды начальник сказал ему, что хочет посылать его иногда в Москву за запчастями, и что в первый раз он поедет вместе с ним, чтобы помочь. Естественно, когда они приехали в Москву, начальник сразу же сдал его в руки МГБ, и единственной загадкой было лишь то, зачем им вообще нужно было устраивать Кривошеину все эти «каникулы» в Свердловске¹.

С этими двумя людьми я провел только три или четыре дня. Камера была светлой и пахла свежим паркетным воском, потому что каждое утро нам давали щетку и кусок воска, чтобы мы полировали ими паркетный пол. Во второй половине дня нас выводили на крышу на прогулку. Крыша была огорожена высоким парапетом, в будках находились охранники, поэтому увидеть московские улицы внизу было невозможно, но можно было слышать шум автомобилей и голоса людей, а однажды я даже услышал детский смех. Каждый день я продолжал делать свои физические упражнения, обсуждая с Фельдманом и Кривошеином, что нас ждет дальше. Фельдман считал, что им дадут срок один-три года, и находил это приемлемым. Я был изумлен тем, с каким спокойствием они смотрели на перспективу провести в заключении годы, но им это казалось вполне естественным. Хотя Кривошеин при этом частенько тяжело вздыхал со словами: «Никогда не жди от МГБ ничего хорошего!»

Они оба подписали пункт 206 - окончание расследования, и жестким допросам их не подвергали.

Фельдман признался мне: «Долган, я не знаю, как вы все это вынесли. Я вами восхищаюсь. Чрезвычайно. Действительно, это так. Я благодарю Бога за то, что вас не отправили в Сухановку».

Никогда раньше я не слышал этого названия.

- Сказать вам по правде, - продолжил Фельдман, - я даже не уверен, что она существует. Но, по слухам, есть тюрьма, называемая Сухановкой, где расследуются только большие дела. Большие чины, которых обвинили в предательстве или еще в чем-то, или люди, от которых Лидер хочет избавиться, или получить от них признания с тем, чтобы использовать эти признания против своих врагов. Это такое место, о котором говорят шепотом. Но, видите ли, я никогда не слышал о том, чтобы кто-то *вышел* из Сухановки. Я слышал, что людей туда отправляли, но никогда – о том, что они выходили обратно.
- Хуже, чем я уже пережил, быть уже не могло бы», - ответил я.

¹ Когда эта книга готовилась к изданию, я получил известия о том, что Игорь Кривошеин получил возможность уехать из Советского Союза, и теперь снова живет во Франции – прим. автора.
Прим. перев. – Автор видимо перепутал Свердловск и Ульяновск, где И.А.Кривошеин жил перед арестом, работая инженером на заводе.

- Возможно, так, - ответил Фельдман. – Но ведь вы *вышли*.

Я расспрашивал их о том, что меня может ожидать дальше. По их словам, мне нужно было ждать – пока я не узнаю, будет ли суд, какой у меня приговор и в чем меня обвиняют. «Но я же ничего не сделал!» – протестовал я.

«Рассказывать анекдоты про Советский Союз – разве здесь есть что-то, что я сделал?», - с горечью в голосе парировал Фельдман.

Но ждать долго мне не пришлось. Кажется, это случилось на четвертый день. Дверь распахнулась. «Д., выйти». Меня отвели в комнату для допросов, где у прикрытого шторами окна стоял майор в форме военно-воздушных сил. На секунду я подумал, что меня ожидает очная ставка с кем-то из военных офицеров, о которых часто говорил Сидоров. Но оказалось, что этот Кожухов, майор «военно-воздушных сил», на самом деле – мgbшник. Как и многие его коллеги, он носил форму обычных войск для прикрытия – чтобы уменьшить количество брюк с малиновыми лампасами, которые в ином случае заполнили бы улицы Москвы - впрочем, как и любого другого города Советского Союза. Я был уверен, что видел этого человека раньше. У него были явно выраженные восточные черты, и что-то в его глазах создавало сильное ощущение дежавю – некоего воспоминания, от которого мне сделалось не по себе; но я не припоминал места, где мог его видеть. После формальностей по идентификации и т.д. Кожухов сунул мне листы протоколов, собранных Сидоровым на допросах. Они были в четырех томах. Я пролистал их. Все это я уже читал раньше. Потом Кожухов протянул мне на подпись форму 206 – окончание расследования. В груди у меня потеплело – кажется, что я даже подписал этот листок своей настоящей подписью.

Хотя я отчетливо помню, что к Кожухову никаких теплых чувств я тогда не испытывал. Что-то с ним было не так. Хотя его последующие слова, на первый взгляд, были очень обнадеживающими:

«Все обвинения по статье 58 были изъяты за отсутствием доказательств. Теперь вы обвиняетесь по статье 7.35 в качестве социально-опасного элемента».

Для меня это мало что значило. Может быть, это значит, что посольству придется отправить меня обратно в Штаты, и это было бы замечательно. Я спросил Кожухова, что будет дальше, и он ответил, очень формально, что не может этого знать, он просто следователь, и его попросили вызвать меня для подписи. Я подписал бумагу, и проследовал обратно в камеру 33, крайне воодушевленный.

Фельдман и Кривошеин расплылись в улыбке, когда я рассказал им, что это 7.35. Они одновременно схватили меня за руки и смеялись, а Фельдман чуть ли не подпрыгивал от радости.

- Это чудесные новости! Чудесные новости! – глаза Фельдмана сияли. – Самое худшее, что они могут сделать, *самое худшее*, это пять лет лагерей. Но ведь многие получают и по пять лет ссылки. Это здорово!

Должно быть, с моего лица сошло всякое радостное выражение. Здесь, в камере, среди друзей, я себя совершенно не контролировал. Я не мог поверить своим ушам.

- Пять лет! – воскликнул я в недоумении. – Пять лет заключения в лагере за то, что я – социально опасный элемент?

- В чем дело? – сказал Кривошеин. – Ведь лучше и быть не могло, вы же понимаете.

Я вспомнил, как Орлов говорил мне про то, что МГБ никогда не делает ошибок. Я был так уверен, что теперь-то меня отпустят... Пять лет из моей жизни. Ни за что. Пять лет без

Мери. Пять лет казались вечностью. Внутри меня как будто что-то оборвалось. Теперь будет только хуже. Выходные я провел в мрачном расположении духа, пытаюсь воодушевить себя и расспрашивая Фельдмана и Кривошеина, существуют ли лучшие варианты, но они были искренне раздосадованы, увидев, что я вовсе не ликую по поводу той легкой статьи, которая мне вменялась.

В понедельник меня снова вызвали в комнату для допросов, и снова это был майор Кожухов. Он очень безразлично заявил, как если бы говорил о погоде, что против меня возникли новые доказательства, и что обвинения по статьям 58.6, шпионаж, и 58.10, антисоветская деятельность, были вновь мне предъявлены. Вначале я вообще ничего не понял.

- Это повлияет на мой приговор? – спросил я.

- Нет, приговор пока не вынесен. Мы собираемся возобновить допросы.

Он подождал, пока до меня дойдет смысл его слов. Я похолодел внутри и почувствовал приступ тошноты.

- Но меня не отправят обратно в Лефортово, к полковнику Сидорову? - глухо произнес я.

- Нет, - отвечал Кожухов. – Теперь вашим следователем буду я.

- Здесь, на Лубянке?

- Нет, - ответил он, глядя на меня с очень неприятной улыбкой. – Нет, я немедленно перевожу вас в Сухановку.

Я ощущал дурноту и головокружение. Хотя и пытался этого не показывать. Не знаю, получилось ли это у меня. Не помню, попрощался ли я с Фельдманом и Кривошеиным, хотя меня должны были отвести обратно в камеру 33, чтобы я забрал свои вещи. Я только помню, что это снова был фургон «Пейте советское шампанское».

Ярость помогла моей голове немного просветлеть во время этого переезда, оказавшегося долгим, в течение которого я был зажат в своей клетке, словно селедка в банке. По звукам, доносящимся снаружи, я понял, что мы выезжаем загород. Потом скорость увеличилась – мы выехали на шоссе. Поездка заняла примерно полтора часа, насколько я мог судить. Когда фургон наконец-то остановился, я услышал скрежет металлических ворот, а затем мой ящик открыли, и я вышел на очень яркий солнечный свет. Был январь – морозный, светлый и чудесный. Я поймал взглядом высокую желтую стену с колючей проволокой, идущую по довольно внушительному периметру. Стена окружала строения внутри, очень похожие на монастырские – как оказалось, раньше это место долгое время и правда служило монастырем¹. Меня погнали внутрь. Кто-то из охраны запихнул меня в маленький шкаф – до того узкий, что, стоя прямо, я практически упирался в дверь с одной стороны, и в стену – с другой. Места чтобы согнуться или сесть не было. Надо мной, высоко в узком вертикальном гробу, тускло светилась лампочка в зарешеченном углублении. Через щель окна для раздачи еды просачивался более яркий свет из коридора. Я недоумевал, зачем понадобилось делать окно для раздачи в этом ящике временного содержания. Около часа я прождал, когда придут за мной, чтобы провести обычные процедуры с новоприбывшим – баня, обыск и остальное. Но когда за мной все никак не приходили и мне стало ужасно неудобно, я постучал в дверь, чтобы позвать охранника. Открылся глазок. «Хочу в туалет», - сказал я. Дверь открылась, и я вышел в коридор, щурясь от света. Охранник показал мне жестом следовать за ним - вдоль по коридору и в туалет, который располагался в нескольких шагах. Я пытался заговорить с охранником, но

¹ Сухановская особорежимная тюрьма (Сухановка) — тюрьма сталинского времени, существовавшая на территории монастыря Свято-Екатерининская пустынь (рядом с нынешним городом Видное в Московской области).

он только приложил пальцы к губам и глухо произнес: «Не положено». Я попросил его ответить, по крайней мере, когда меня отведут в мою камеру, но он только помотал головой – нет.

Когда я снова оказался в шкафу, мои ноги начали ныть, и я попытался отдохнуть, упершись коленями в дверь, а спиной – в стену позади меня. Это облегчило боль в ногах на некоторое время, но теперь заболели мои колени; я снова встал прямо и принялся переминаться с ноги на ногу. Вскоре открылось окно для раздачи, вовне – подставки на нем не было – и мне протянули маленькую тарелку супа. Супа было немного, но он был восхитителен! Через мгновение я постучал в окошко, и пустую тарелку забрали, заменив ее маленькой тарелкой с крошечным кусочком изумительной телячьей котлеты и ложкой вкуснейшего жареного картофеля, испускавшего горячий аромат. Я с трудом мог в это поверить. На то, чтобы проглотить все это, у меня ушло два движения ложкой. Я снова постучал, и когда охранник забрал пустую тарелку, я сказал ему «спасибо» – я действительно был ему благодарен! Такой пищи мне не доводилось есть уже больше года. Меня раздражало от любопытства, что же мне подадут дальше. Дальше мне дали кружку воды. А потом я понял, что больше еды не будет. Восхитительные дегустационные блюда возбудили мой аппетит настолько, что я поддался на фантазии, связанные с едой, которые я привык подавлять в себе все то время, что находился в Лефортово. И вот теперь мне требовалось подавить их снова, но оставшийся во рту вкус этих деликатесных соленых кусочков продолжал будоражить мое воображение, заставляя меня думать о еде. Я попросил еще воды, и когда охранник принес мне ее, я тщательно прополоскал рот перед тем, как сделать глоток, вымывая сводящие меня с ума вкусы.

Ко времени наступления вечера я ощущал в своем теле уже острую боль. Новый охранник принес мне миску великолепной горячей каши, чрезвычайно вкусной, объемом со столовую ложку. Я съел ее с осторожностью, потом постучал и попросился в туалет. Этот охранник был более разговорчив. Он произнес: «сюда», выводя меня из камеры. Я решил, что это хороший знак, и на обратном пути спросил, в разговорной манере: «Послушайте, когда меня переведут?»

Он ответил, небрежно: «Вас перевели».

Вот и все. Очень просто: «вас перевели».

Конечно, я не поверил этому, и все ждал, когда же меня отведут в камеру. Но никто так и не пришел. Мне очень хотелось спать, но устроиться хоть как-то удобно было невозможно. Я прислонялся головой к двери, упершись бедром в одну из стен. Поспав так несколько минут, я проснулся от ужасной боли в спине. Тогда я попытался спать, уперев колени в дверь, но и это было очень больно. К утру мои ноги стали постоянно подкашиваться в коленях. Я просил выводить себя в туалет так часто, как это было возможно – три или четыре раза в день – только для того, чтобы иметь возможность сесть, хоть там и была лишь дыра в полу с пластинами для ног для сидения на корточках. Я просто позволил себе опуститься на холодный пол – пока охранник, наблюдающий за представлением, не приказал мне снова вставать. Ходить было сложно и больно, и в то же время это было облегчением.

Мысль о том, чтобы начать вести календарь, даже не пришла мне в голову, и поэтому я не делал отметок. Помню, что изучал взглядом комаров, неподвижных и сбитых вместе в пыли по углам наверху, размышляя, находятся ли они в спячке или мертвы. На третье утро я сказал себе вести счет дням, но у меня не было ничего, чем я мог бы процарапать отметку – и, хотя я мог бы провести линию пальцем в той самой пыли с комарами, я решил не утруждать себя. Когда настало утро пятого дня, я просто не мог в это поверить. Проваливаясь в небытие, я приходил в себя от острой боли, которая начиналась в коленных чашечках и потом пронзала все мышцы ног. Безусловно, я понимал, что они делают со мной при помощи этих мизерных дразнящих кусочков пищи, и вернулся к той

дисциплине, что выработал в первое время еще в Лефортово – откусывать крошечные кусочки и жевать их как можно дольше. Хотя на мой урчащий желудок это действия не возымело. Как только приносили еду, во рту с невообразимой скоростью начинала вырабатываться слюна, и у меня развился конвульсивный глотательный рефлекс. Меня держали в этом ящике на протяжении пяти дней. На пятый день меня отвели в камеру - дрожащего, с ужасно опухшими ногами и с болью в коленях, вызывавшей у меня агонию. Кровать, откидывающаяся от стены, была установлена в нижнее положение. Мне выдали чистое одеяло и подушку. Но боль была такой сильной, что поспать дольше, чем несколько минут, мне не удавалось, а потом наступило утро. Мои ступни и нижняя часть ног онемели еще раньше, и по мере того, как к ним возвращалась чувствительность, в них сначала немного покалывало, затем там становилось все горячее, а потом пришла глубокая, тупая боль.

Я был ошеломлен. Теперь я мог поверить в то, что никто не выходил из этого адского места. Я никак не мог внутренне собраться, чтобы вернуться к тому «только-этот-один-день-за-днем» подходу, который помог мне выдержать все бывшее со мной ранее. Я был близок к панике. Все свои помогавшие мне выжить приемы я забыл. Мне просто не верилось, что все это происходит со мной – и в то же время я видел, что это так. Страх был настолько велик, что сделался изнуряющим.

В камеру меня отвели в пятницу вечером. Думаю, что где-то под утро я, должно быть, обрел некоторую долю собранности и самоконтроля. Я знал, что впереди выходные, и что меня, вероятно, оставят в покое. У меня все еще оставалась моя измерительная нитка, лежавшая свернутой в кармане. Она была слишком легкой и тонкой для того, чтобы быть когда-либо найденной при обыске. Даже когда я выворачивал карманы, я мог засунуть ее в самый верхний угол тем же самым движением, с которым я их отворачивал, и эту нитку так никогда у меня не нашли и не отобрали. Когда утром принесли хлеб и горячую воду, я стал говорить себе, что мне нужно собраться. Хлеб был неплох, но кусок был маленьким, около 400 грамм. Я заставил себя прекратить думать о перспективе голода и приступил к обмеру своей тесной камеры. Она оказалось ровно 1,56 на 2,09 метра, и этого впритык хватило для размещения двух узких коек, сделанных из тяжелого дерева и укрепленных железным каркасом. Они откидывались и крепились вертикально к стене, словно две горизонтальные двери. Камера была, таким образом, предназначена для двух человек. Между койками и внизу под ними, когда они обе были опущены (в моем случае так ни разу не было), находился узкий стол в метр длиной, толщиной 2,5 см. и шириной всего 15 см., походивший на гладильную доску, покоящийся на трубе толщиной 2,5 см., вделанной в пол. В противоположных углах по отношению к этому маленькому столу и подставке для двух коек находились две круглые табуретки. Установлены они были на трубе, и располагались немного ниже уровня стола, будучи менее 20 см. в диаметре. На них мне полагалось сидеть в течение дня. Попробуйте нечто подобное. Если ваши ягодички не достаточно мягкие, это болезненное занятие. На столе же мне сидеть воспрещалось. Кровать, которая поднималась по утрам и закреплялась на стене, имела пружинный замок – его открывали с помощью ключа в десять тридцать вечером. Камера была довольно уютной и не холодной. В ней было большое заиндевевшее окно, с тяжелой решеткой и сеткой, запертое на замок. Окно было закрыто. Охранник открывал небольшую створку в его верхней части на несколько минут по утрам – и позже, когда погода стала теплее, до меня доносился запах сосен снаружи. Большую часть дня в камере было душно – а к утру, в особенности, если мне давали поспать, воздух становился настолько тяжелым, что моя голова от него начинала болеть.

Еще там было железное ведро с железной крышкой. Ни раковины, ни унитаза не было. В десять тридцать надзиратель блока пришел с ключом, открыл замок на кровати и молча указал, что я должен помочь ему ее опустить. Кровать была очень тяжелой. Если бы я

случайно оставил свою руку на столе или на табуретке в момент опускания, то она бы раскрошила мне пальцы. Соломенный матрас был достаточно чистым. Спать мне полагалось лицом к двери, конечно же, с руками поверх одеяла – обычные тюремные правила. Утром охранник приказал мне поднять и закрепить кровать в вертикальном положении, проследив, чтобы замок защелкнулся.

Раньше здесь были монашеские кельи. Позже я обнаружил, что всего их там было шестьдесят восемь, в этом странном каменном строении, все еще служащим умерщвлению плоти, как и сотни лет до этого, хотя и с несколько иной целью.

Утром, после завтрака, дверь отворилась, и охранник произнес только одно слово: «оправка». Туалет. Мне нужно было вынести ведро в уборную, вылить и сполоснуть его там. В туалет вела одна из восьми дверей, находящихся в этом коротком коридоре – по четыре двери с каждой стороны. Остальные двери вели в бывшие кельи. Для ополаскивания ведра в уборной имелась бочка с хлорированной водой и тряпка. Когда меня отвели обратно в камеру, я принялся снова ходить и считать шаги – к этому времени я находился уже почти на границе с Францией; но ходьба шла трудно и медленно, принимая во внимание табуретки, стул и саму крошечную камеру, где я мог сделать только два шага в одну сторону, потом полшага – разворот вокруг конца стола, снова два шага, полшага, и так далее. У меня до сих пор сохранилась привычка так ходить – делая два шага, а потом еще полшага. В Сухановке при ходьбе требовалось всегда смотреть на дверь; поэтому, шагая в направлении французской границы, часть пути мне пришлось преодолеть, оглядываясь через плечо.

Когда наступило утро понедельника, за мной пришли в половине десятого и повели через замерзший дощатый коридор, стены которого были в ином, в другое здание, где находились комнаты для допросов. По дороге я раздумывал – если все остальное в этом месте настолько ужасно, что же представляют собой допросы? Кожухов не заставил меня биться над разгадкой. Войдя в комнату, я сразу же оказался на полу после удара ногой. Кожухов рассмеялся – смех его был жестким и хриплым. Когда я попытался подняться и встал на корячки, он поставил свою большую, обутую в сапог ногу мне на лопатки и резко придавил обратно к полу. Я повернул голову и взглянул на него – широкие монгольские скулы и злобный взгляд. «Ты увидишь, Сухановка – это не та воскресная прогулка, что была у тебя в этом детском саду, в Лефортово! – резко произнес он. – А теперь, иди за стол и начинай отвечать на вопросы, быстро – я не собираюсь тут дурака с тобой валять, как некоторые мои коллеги».

Что ж, приехали – сказал я себе снова.

Глава 12

В человеческом сознании присутствует большой набор предохранительных клапанов, и большинство из них работали у меня хорошо. Я не очень уверен в правильности определения «предохранительные клапаны», потому что когда человеку нужно облегчить внешнее давление при помощи шуток, ухода в воспоминания или фантазии, то одновременно с этим происходит подавление тех вещей, с которыми ему сложно смириться – в особенности, если он физически слаб или испытывает нужду в чем-либо. Работая над этой книгой, я в течение долгого времени подавлял свои воспоминания о планах покончить с собой, которые были у меня в Лефортово, с Сидоровым. Мне кажется, что в этом подавлении тоже есть элемент предохранительного клапана, позволяющий ослабить напряжение. Так или иначе, безусловно, наиболее трудной и тяжелой работой стали для меня попытки углубиться в свои воспоминания, вытаскивая оттуда ужасные вещи. По этой причине, когда люди спрашивают меня про тюрьму и, в особенности, про

лагерь, и мне нужно рассказать некую историю, то на поверхность обычно сразу всплывают смешные эпизоды, забавные персонажи или удачные выходы из той или иной ситуации, и так далее. Но восприятие себя как человека, который дважды холодно и целенаправленно готовился разрушить свою собственную жизнь – это та часть моих воспоминаний, которую я «забыл» - до того момента, когда мне пришлось ее вспомнить. Повествуя о своей жизни в Лефортово, у меня получалось держать эти факты «забытыми»; в случае же с Сухановкой так сделать не получится. До момента появления у меня этих планов и начала реальной подготовки к их реализации прошло еще немало времени с этих первых дней моего пребывания в легендарной российской тюрьме ужасов, которой страшились более всего на свете. Однако при воспоминаниях об устройстве камеры у меня появляются и воспоминания об этих планах, а с ними, в свою очередь, припоминается и более ранний план, бывший у меня в Лефортово, хотя там он и не был столь же тщательно проработан, как в Сухановке.

Это был план «на случай», и я работал над ним почти без эмоций. На самом деле, слова «план» и «работал над ним» слишком замысловатые. То, что я для себя решил, было очень простым и однозначным. Решение это заключалось в следующем: если я уже больше не смогу переносить допросы Сидорова и приду к убеждению, что скоро определенно сломаюсь или стану игрушкой в его руках, которой он сможет играть, как захочет, чтобы сфабриковать любую унижающую меня ложь, либо если я пойму, что в скором времени наверняка потеряю силы и волю для поддержания тех правил и стратегий выживания, которые я развил, и потому мне все равно предстоит умереть, то, в таком случае, я просто встану на железную койку в момент, когда охранник не будет смотреть в глазок, и брошусь с нее вниз головой на манер, который мы в детстве называли «мертвый солдатик» - с руками по швам - так, чтобы удариться головой об обитый железом нужник. Крышка с него будет снята. Железные края были достаточно твердыми и острыми, и, сидя на этом нужнике с моими почти исчезнувшими ягодицами, я испытывал боль, которую терпел только ради той радости, что приносило мне общение с соседом за стеной, в то время как я выстукивал ему свои послания. Я был уверен, что мой череп расколется от удара, и я умру быстро, будучи в самом конце без сознания.

Этот план в итоге оказался не так уж хорош. К тому времени, когда я начал всерьез подумывать о том, что, возможно, мне придется им воспользоваться, я сделался уже слишком слабым, чтобы быть хоть как-то уверенным в том, что смогу с достаточной точностью послать себя в этот стальной обруч - причем с силой, достаточной для полного завершения работы – в том случае, если мне все же удастся удариться головой об его край.

Здесь, в Сухановке, мои намерения воспользоваться подобным планом стали намного более серьезными, а сам план был более тщательно разработан. Кровать, которую отпирали ключом и опускали вниз каждую ночь, была ужасно тяжелой. Первые несколько дней – пока меня не стало лихорадить от обезвоживания и я еще не был обессилен бессонницей и голодом – мне, и правда, удавалось поднять эту кровать и закреплять ее в своем положении, как приказывал по утрам охранник. Первый десяток сантиметров поднимать ее было ужасно тяжело, но потом, когда угол наклона переваливал за сорок пять градусов, становилось уже легче, а затем я уже мог затолкнуть ее в пружинный замок без особых сложностей. Позже – и это позже наступило довольно скоро – я уже не мог помочь надзирателю по блоку опускать кровать на ночь, как не мог и приподнимать ее со стола и табуреток, на которых она покоилась, по утрам. В какой-то момент я понял, что если найду способ открыть замок, то смогу использовать эту кровать в качестве оружия для своего саморазрушения.

Раз в день меня выводили в туалет и приказывали брать туда свое ведро со всем его содержимым, скопившимся за двадцать четыре часа. При этом мне давали маленький отрезок жесткой бумаги в качестве туалетной. Но, вместо того, чтобы использовать бумагу, я подмывался и уносил ее, спрятав в ладони. Возвратившись в камеру, я

перепрятывал там свою бумагу, и постепенно у меня скопилось довольно много этих маленьких бумажных кусочков. Я решил, что могу сделать из них папье-маше, пережевывая эти кусочки, и потом забить им углубление, в которое входила задвижка замка. Тогда, после подъема кровати, будет только казаться, что замок закрыт – на самом же деле кровать будет держаться лишь потому, что находится в вертикальном положении. Ранее я заметил, что перед тем моментом, когда замок защелкивается, кровать уже находится в сбалансированном положении и не падает обратно вниз. Заранее подготовившись – перед тем, как охранник поднимет кровать утром – я мог бы потом дождаться безопасного момента, когда он не будет смотреть в глазок, и потянуть тяжелый каркас из железа и дерева на себя – до момента, когда он будет едва балансировать в петлях и его будет валить вниз, на маленькую круглую табуретку. Потом, перед тем, как кровать начнет свое движение, мне следовало быстро встать на колени и положить голову виском на табурет – так, чтобы десятки килограмм дерева и стали рухнули на нее и моментально раскрошили мой череп. Конечно, я не могу назвать все это приятным занятием – обдумывать такой план, начать собирать бумагу для подготовки к нему – но, в то же время, этот план дал мне небольшое, но физически необходимое ощущение некоторого элемента контроля над своим будущим. И он также открывал мне путь к некоему выходу – в том случае, если бы происходящее со мной тогда перешло некоторую грань, за которой я уже не смог бы этого переносить.

Я уже упоминал свою лихорадку. Она была похожа на малярию. Сейчас я уже не помню, откуда она у меня взялась, но, кажется, ее проявления бывали у меня еще в детстве. Вскоре после того, как Кожухов в который раз заново приступил к выяснению моей личной истории, я однажды проснулся утром после короткого получасового сна и обнаружил, что мои щеки горят, а губы сделались сухими. Я попросил позвать врача. Пришла женщина – среднего возраста, усталая, вытянутое лицо, сочувствующий взгляд – и сунула мне подмышку термометр. На нем было более 40°C, и я очень перепугался. Женщина печально сказала, что не может ничего для меня сделать, но дала мне немного аспирина. Я был просто ошеломлен, когда понял, что это означало продолжение допросов. Для Кожухова моя горячка была вроде забавы. Я умолял его. Я сказал ему, что обливаюсь потом, и что у меня чрезвычайно опасная температура, что моя голова и суставы болят – и он не мог не заметить пересохших губ и цвета моего лица. Но в ответ он просто рассмеялся. «Что ж, я помогу тебе остыть!» - заявил он, подошел к окну и распахнул его. Заканчивался февраль, и температура воздуха на улице была ниже нуля. Кожухов обмотал шерстяным шарфом свою шею, надел теплое армейское пальто, меховую шапку и толстые рукавицы. А затем принялся просто хохотать надо мной. Думаю, что смех у него был искренним. Он нашел эту ситуацию довольно забавной, и она развеселила его, каким-то диким весельем. Потом он попробовал продолжить дознание, но большую часть времени я дрожал слишком сильно, чтобы быть способным ему отвечать. Наконец он закрыл окно – но вовсе не из человеколюбия, а просто потому, что моя дрожь и клацающие зубы замедляли его работу, делая продвижение вперед невозможным. На следующий день он заявил с угрожающей усмешкой, потирая, в предвкушении, руки: «У тебя сегодня высокая температура, заключенный? Ну, мы можем снизить эту температуру очень легко. Ты увидишь. Мы гораздо лучше этих докторов. Ты убедишься!». И он снова надел свою шинель, открыл окно и хохотал, наблюдая, как я содрогаюсь от неконтрольной дрожи. И так было на допросах не раз.

Поэтому я не удивляюсь тому, что последовательных, хронологических воспоминаний от пребывания в Сухановке у меня почти не осталось. Я все быстрее превращался в доходягу, теряя вес и ясность сознания. Я помню, на какие вещи Кожухов напирал при допросах, но из самих разговоров с ним в моей памяти почти ничего не осталось. У Кожухова было грязное нутро. Он в деталях расспрашивал меня о сексуальной части моих

отношений с девушками, которых я знал. Я помню, что однажды рассказывал ему, как мы со Стивом Сейджем гуляли в Парке Горького и взяли с собой покататься в лодке двух девушек. Мы предложили их проводить, очень по-джентльменски, но, конечно, ожидая, что выпьем вместе и повеселимся, когда доберемся до дома. Девушка, которую пошел провожать я, жила очень далеко от центра, и поэтому, когда мы доехали, мне уже нужно было садиться на последний трамвай в обратную сторону. Она показала мне на дом, где жили ее родители и сестры, но пойти с собой не предложила, так что вся эта затея обернулась просто потерей времени. Я запрыгнул в трамвай, но он остановился где-то на окраине, и кондуктор велела мне выйти – это была последняя остановка. Я спросил ее, как добраться до центра Москвы, и она просто махнула рукой – «туда». И я пошел пешком. После полуночи.

Некоторое время спустя я проходил по очень тускло освещенной улице, и увидел трех молодых людей, поджидающих меня на углу. Вероятно, ищут себе приключений – подумал я. Потом они некоторое время шли за мной следом. Наконец, двое из них забежали вперед меня, остановили и попросили закурить.

«Я не курю, - сказал я вежливо. - Извините».

В это же время я судорожно искал взглядом милиционера или дом, в который я мог бы нырнуть, или еще какую-то помощь или пути отхода – все напрасно. Один из них спросил, который час. Я ответил, что часов у меня нет. Он заявил, что даже слышит, как они у меня тикают. Я попятился к стене дома, где была большая водосточная труба, чтобы обезопасить себя со спины и с одной из двух сторон, и жестко произнес: «Ладно, ребята, так что вам от меня действительно нужно?»

«Твое пальто», - сказал один из них. Он вынул нож и пошел на меня. Я ударил ногой – но не его, а парня рядом с ним. Мой удар пришелся ему в пах, и тот парень осел, но в тот же момент я получил от первого ножом выше глаза. Чувствуя, как полилась кровь, я развернулся и нанес правой рукой удар по чьей-то челюсти, а потом пригнулся и побежал. Они не стали меня преследовать. На некоторое время мне показалось, что я ослеп на левый глаз. Я вытер его шарфом - на нем осталось много крови, и тут я обнаружил, что кровь идет из раны на лбу, прямо над глазом, и я все еще могу видеть нормально. Милиционер, дежуривший на станции метро, отвел меня к фельдшеру, и тот наложил на рану зажим. Я рассказал Кожухову историю про девушек, но не упомянул о драке. История эта его не заинтересовала.

Также я рассказал ему другую историю, об очень красивой девушке, наполовину китаянке, с которой мы со Стивеном Сейджем познакомились в баре гостиницы «Москва». Она работала за стойкой и знала только три слова по-английски: «I love you!» Мы разговорились и предложили ей устроить совместную вечеринку, она согласилась и решила позвать на нее свою подругу. В результате мы все оказались в квартире ее подруги. Вечеринка прошла очень здорово – на столе было много икры, холодной буженины и вина; мы ставили пластинки на фонографе, много смеялись, рассказывали друг другу разные истории и так далее – до тех пор, пока за дверью не объявился разгневанный супруг этой самой подруги и не стал угрожать, что выломает дверь и всех нас поубивает. Мы со Стивом выбрались через окно второго этажа, перед этим прихватив с собой бутылки из-под шампанского – в качестве защиты, на случай, если бы ревнивый муж к нам ворвался. Спрыгнув вниз, мы обнаружили, что эти бутылки все еще были с нами. Затем мы как сумасшедшие бежали по Москве, а эти бутылки звякали у нас в руках. Эта история Кожухову очень понравилась, хотя он и был раздосадован тем, что секса в ней не было. Одну из деталей этой истории я от Кожухова утаил – дело в том, что ревнивый муж был полковником МГБ. Хотя я *жаждал* бросить этим в Кожухова, чтобы его унижить. Если бы я был с Сидоровым, то, вероятно, так бы и сделал. Я бы, наверное, даже добавил что-то провокационное, вроде: «Это ведь были не вы, случайно? Ведь нет?». А потом бы принял его пинки и побои – просто ради удовлетворения от того факта, что я его достал. С Кожуховым все было по-другому. Большую часть времени на его допросах

я находился в ужасно болезненном состоянии, и, к тому же, у меня никогда не возникало ощущения, что Кожухову не все равно, умер ли я или еще жив. Сидоров был настроен на то, чтобы получить от меня информацию. Кожухов, по моим ощущениям, был настроен на то, чтобы издеваться надо мной, и, если бы в процессе появилась также и некая информация, то это было бы хорошо. Но сам конечный итог не имел для него значения; ему нужно было просто отработать свой день, получив от него удовлетворение. Поэтому я решил, что если слишком задену его, то он просто забудет меня до смерти, без особых раздумий. Хотя, на самом деле, он не избивал меня так сильно, как Сидоров. Ведь большую часть времени я представлял собой хлипкую смесь горячки и истощения. Спать мне давали очень мало. Значительную часть времени в Сухановке я находился без сознания, и многие дни там прошли для меня без следа какой-либо осознанной деятельности - хотя, как мне кажется, у меня почти всегда получалось оставлять царапину на стене для своего календаря.

Однажды Кожухов стал расспрашивать меня про другую девушку, художницу, которую звали Элла - я познакомился с ней на вечеринке у Джо О' Брайена из нашего посольства. Элла сказала, что хочет написать мой портрет, и я провел с ней достаточно много приятных минут в ее квартире-студии, пока не осознал, что через нее у меня утекает слишком много денег. Например, мы лежали в постели, был прекрасный солнечный день, и она могла сказать: «Слушай, мне нужно двадцать рублей – завтра верну».

Я всегда давал. Потом, через некоторое время, я понял, что обратно она никогда ничего не возвращает. Я чувствовал неловкость, чтобы спросить ее об этом, но некоторое время спустя я получил четкий сигнал – она и не собирается ничего возвращать. Когда я понял, что она представляет собой просто вышедший из моды типаж искателя легкой жизни, то перестал с ней встречаться.

Эти отношения никогда не были важны для меня, хотя Элла была красивой, очень энергичной и с хорошим чувством юмора. Но мы были вместе совсем недолгое время. Меня удивило, с каким упорством Кожухов расспрашивает про нее. Он описал особенности ее сложения, фигуру, местонахождение ее студии, и, наконец, место нашей первой встречи после знакомства на вечеринке, после которой мы назначили свидание на станции метро. Он знал, где стоял я, где она, и в какой мы были одежде. По мере того, как он говорил, я начал воссоздавать эту сцену в своей памяти. Наконец, в ней возник четкий силуэт хвоста – оперативника из МГБ, который следовал за мной в тот вечер. Теперь я, наконец, вспомнил, где видел Кожухова раньше. Он и был этим хвостом.

«Кстати, она у тебя занимала когда-либо деньги?» - спросил Кожухов.

Я продолжал ощущать неловкость от того, как она со мной себя вела, и поэтому я ответил, что нет.

«Да ладно, расскажи, она брала у тебя денег?» - продолжил вопрошать Кожухов.

Я подумал – парень, да он знает про тебя очень много! А потом я поразмыслил, отчего он это знает, и спросил: «Мы с вами, случайно, не молочные братья?» Эта русская фраза подразумевает двух мужчин, у которых была одна и та же женщина. Он рассмеялся и продолжил спрашивать, брала ли Элла у меня деньги, но я продолжал истово отнекиваться – «Нет, ради Бога, почему вы спрашиваете!» И тогда он, наконец, произнес: «Ладно, могу поспорить, что брала, потому что у меня она взяла очень много, а назад так ничего и не вернула!»

Этот разговор состоялся еще до того, как моя жизнь с Кожуховым стала практически невозможной, и мысли о самоубийстве начали снова формироваться в моем сознании. Кожухов был очень агрессивен. Его потоки ругательств превосходили те, что имелись у Сидорова – не качеством, что было бы невозможно, но количеством: постоянный, непрекращающийся поток грязных, гадких слов.

Кожухов пытался добиться от меня признания в том, что я пытался принудить советского сотрудника посольства Соединенных Штатов, Мориса Зельцера, к побегу из Советского Союза в Штаты, и что я помогал ему разрабатывать планы такого побега. Когда обсуждение невинных предметов вроде девушек и прочих знакомств осталось позади, поведение Кожухова стало более определенным. Спрашивая меня о Зельцере, он мерил комнату четкими твердыми шагами. Держал он себя при этом собранно, по-военному. Его армейские брюки были туго заправлены в высокие сапоги, и своим тяжелым и настойчивым шагом он словно говорил мне: «Я покажу тебе, заключенный. Я вытащу из тебя это!» Свой квадратный подбородок Кожухов выставлял вперед, а углы его рта опускались в угрожающей гримасе. Выглядел он свирепо.

В отличие Сидорова, с его туманными предположениями, Кожухов сразу назвал имя Зельцера и обозначил обвинение. Я все отрицал. Кожухов заявил, что в свое время он был боксером, и может продемонстрировать на мне парочку своих коронных ударов, чтобы помочь мне все вспомнить. Одним из его любимых был тяжелый удар по бицепсам, который он повторял до тех пор, пока моя рука не становилась полностью опухшей и абсолютно беспомощной. Я сказал, что хорошо помню Зельцера. Это был очень почтительный человек – во время нашего первого и единственного разговора он обращался ко мне «мистер Долган», а я называл его «Моррис». Зельцер служил посыльным и был ловким малым, выгодно промышлявшим продажей по Москве бывших в употреблении товаров, которые он доставал у работников посольства, симпатизировавших его учтивости. Пачка сигарет могла принести 200 р. в то время. В посольстве Моррис мог достать и сигареты, и одежду, за что он платил посольским работникам деньги, которые те считали очень хорошими.

Я никогда не играл в эти игры на черном рынке. Мне казалось, что все это дурно пахнет. Кроме моей скромной коллекции пистолетов, которую я собрал в обмен на сигареты через курьеров дипмиссий и других посольских работников, за исключением советских граждан, я никогда ничего не продавал за деньги, хотя и дарил множество подарков своим русским девушкам. Но в тот день я разговорился с Моррисом об его успешности в торговле – он хвастал, что, живи он в Америке, то стал бы миллионером, потому что очень хорошо знает, как купить подешевле и продать подороже. Ему нравилось этим бахвалиться. Как оказалось, на этом единственном разговоре между нами и строилось все обвинение меня в том, что я помогал Моррису Зельцеру убежать в Америку. Вот на этой его ремарке о том, что он был бы миллионером, если бы жил в моей стране.

Каждый день Кожухов бил меня. Избиения не продолжались непрерывно. Я был слишком слаб. Одно или двух ударов хватало, чтобы заставить меня биться в агонии часами, а лишение меня сна было, конечно, главным их оружием. Время от времени Кожухов наносил мне удар прямо под нос ребром своей открытой ладони. От таких ударов я на время терял зрение, из глаз лились слезы, иногда кровоточили губы. И снова и снова я отрицал и отрицал попытку убедить Мориса Зельцера к побегу за границу – до тех пор, пока в один из дней Кожухов не принес мне протокол, из которого следовало, что в комнате, в которой состоялась наша с Моррисом беседа, были установлены жучки прослушки. В протоколе говорилось, что Зельцер пытался купить у меня муку. Большую часть муки, которую мне удавалось достать, я отдавал своей матери, но будучи человеком отзывчивым, я отдал и Моррису мешок, хотя и знал, что он продаст его за приличную сумму. И вот в этот момент Зельцер и сказал: «Если бы я жил в Соединенных Штатах». Я был в ярости на Кожухова, и эта ярость превозмогла мое чувство страха, слабость, горячку и боль. Я заорал: «И вот это и есть доказательство того, что я пытался склонить Зельцера к побегу? И вы это говорите серьезно?!»

Я даже расхохотался над ним. Когда мне было предъявлено это дерьмо, я нашел в себе мужество насмеяться над Кожуховым. Мое чувство собственного достоинства не могло позволить мне упустить эту возможность, пусть даже это и вышло бы мне боком в

результате. Но Кожухов не стал бить меня за мои насмешки. Я полагаю, что ему было сказано выведать, было ли что-то крамольное в этом невинном разговоре, он сделал столько попыток, сколько посчитал нужным, и, наконец, закончил свое дело, показав мне протокол. При этом он не чувствовал себя глупо – ему, скорее, было все равно. Так или иначе, он не мог действительно верить в то, что делал. Он просто выполнял приказ.

К концу февраля 1950 года мои ягодицы сжались до состояния сморщенной кожи, и сидеть на чем-либо мне было больно. Я весил, вероятно, меньше того знаменитого сорока-четырех килограммового доходяги, что был изображен в «Атласе Чарльза» к этому времени, и был слишком слаб, чтобы делать какие-то физические упражнения. Я понемногу ходил в камере, продолжая свой мысленный переход через Францию в сторону границы с Испанией. На прогулки меня никогда не выводили. В течение всего этого периода в Сухановке я ни разу не видел неба; хотя, к концу марта, до меня стал доноситься запах сосен - через окно, в те немногие драгоценные моменты, когда оно было открыто по утрам. Этот запах рисовал в моем воображении картины мира, оставшегося снаружи, и приносил с собой слабую надежду на то, что хотя бы такие вещи, как сосны, все еще существуют. В самой тюрьме стояла мертвящая тишина. Все полы в ней были укрыты коврами. Поначалу, когда меня оставляли одного в этой камере с ее ужасными тяжелыми кроватями и круглыми табуретками, ощущение тяжести возникало не только по причине духоты и жесткого света, но также и из-за абсолютной тишины.

Позже я начал слышать приглушенные голоса, а затем, долгое время спустя, я открыл для себя, что в камере напротив моей находились двое заключенных, которые имели, судя по всему, некий привилегированный статус – им позволялось разговаривать, а также, как я вскоре узнал, подслушивая у двери, их каждый день выводили на прогулку. Я сильно завидовал их особому положению и даже почувствовал ненависть по отношению к ним – ведь у них было то, чего не было у меня. В один из дней я чуть не закричал от ярости, услышав, как мягкий голос у задвижки напротив попросил их выбрать для себя книги из библиотечного списка. «Вот каталог, какие книги вы хотите заказать на этой неделе?» - спрашивал голос. За книгу я бы тогда отдал даже один из своих мизерных кусков хлеба, несмотря на то, что глаза мои были слишком воспалены, чтобы читать, а мое тело сжалось до состояния невидимки. (В русском для этого есть выражение. Меня называли так в нескольких случаях. Вот эта фраза: «тонкий, звонкий и прозрачный» - т.е. словно хрустальный бокал: до того тонкий, что почти невидимый).

Позже мне рассказали, что некоторые высокопоставленные чиновники отбывают свои сроки в десять-пятнадцать и двадцать лет в закрытых тюрьмах наподобие Сухановки - их никогда не отправляли в рабские трудовые лагеря, где они могли бы создать группы и найти себе союзников, поддержкой которых могли воспользоваться в заключении или после освобождения. Я так и не узнал, кто были те двое. Я возненавидел их еще сильнее в тот день, когда понял, что услышанный мною шум был звуком опускающихся кроватей, и мне открылось, что им было позволено поднимать и опускать свои кровати тогда, когда они этого пожелают.

К концу недели я стал падать в обморок с увеличивающейся частотой. Когда я приходил в чувства, то обнаруживал себя иногда лежащим на полу в комнате для допросов – в то время как меня осматривал врач, а иногда на полу своей камеры – в то время как охранник стучал ключами по задвижке, чтобы меня разбудить. По субботам Кожухов обычно отпускал меня с допроса раньше, чтобы потом отправиться в Москву к своим друзьям. Я часто слышал, как он назначал встречи в пивных, говоря по телефону из комнаты для допросов. Было сложно поверить, что у такого человека есть друзья. Я даже не помню, чтобы встречал еще кого-то, о ком думал так же.

Когда Кожухов засыпал в своем кресле по ночам, что случалось довольно часто, он потом просыпался в страхе, и страх этот длился достаточно долго, чтобы я мог его заметить. Затем Кожухов набрасывался на меня с потоком грязных ругательств, изливавшихся из него в течение нескольких минут без остановки, за исключением, разве что, перерыва на удар по бицепсам или ребром ладони по верхней губе. Думаю, он боялся, что я доберусь до него и убью во время сна. На самом же деле я проваливался в сон в тот же момент, как он засыпал, иногда умудряясь остаться в сидячем положении на своем стуле, а иногда просыпаясь на полу после пинка его тяжелого ботинка.

По мере того, как шло время, я становился для Кожухова все более и более бесполезен – как в качестве жертвы его садизма, так и в качестве источника информации. По причине того, что я терял сознание все чаще, он мог закончить допрос в час или два ночи, и мне позволяли спать до шести. А затем, незадолго до шести, я слышал, как вели с допросов других людей – одни из них кричали и молили о снисхождении и помощи, некоторые стонали, другие молчали, еще одни – судя по слабым звукам волочения – сами идти уже не могли. Я знал, что это означает. Это были кто-то вроде меня.

Один мужчина, который много стонал и кричал, находился в камере наискосок от моей. Однажды субботним вечером, когда я собирался отдохнуть и поспать долгим сном и провести следующий день без Кожухова, внезапно я услышал глухой топот ботинок по ковру, а затем шепот множества голосов. Потом я услышал, как дверь камеры резко распахнулась, и наступила тишина. Затем громкий голос произнес: «Принесите носилки! Быстро!»

Потом послышались звуки еще большего количества ног, шарканье, и через некоторое время раздраженный шепот: «Нет! Дурак! Так в дверь не войдет. Переверни. В эту сторону поворачивай! Боже, ну и месиво. Нет! Нет! Поднимай его с боков. Ну и месиво!» И так далее. Я напряженно прислушивался у двери, отходя от нее только в тот момент, когда слышал мягкий звук шагов приближающегося охранника, шедшего посмотреть в глазок, а потом снова льнул к ней, стараясь услышать все, что возможно. Судя по слабым неопределенным звукам, дверь камеры несколько раз открывалась и закрывалась. Потом послышалось, как плеснули воды, и через некоторое время – тишина.

Я стоял у двери, чтобы услышать объяснение. Оно пришло, вероятно, несколькими часами позже, я не могу сказать точнее, когда охранник моего блока сделал перерыв на пару минут в своей скучной рутинной работе и приоткрыл дверь в соседний блок, чтобы пошептать со своим коллегой. Я смог ухватить всего несколько слов. «Казалось, все в порядке... стоял лицом к двери... тишина... что случилось? ... Кровь кругом...» Я решил, что это было самоубийство.

Теперь я начал раздумывать о своем собственном самоубийстве. Хотя по причине частых полных обмороков я, вероятно, спал больше, чем когда был в Лефортово, но горячка и микроскопические порции еды медленно вымывали из меня все мои физические силы, а с ними и волю сопротивляться. А это было главным критерием, который я выработал для себя – если моя воля меня оставит, то это значит, что пришло время умирать. Шепот охранников по поводу моего неизвестного соседа взвинтил мои нервы. Из-за услышанного я потерял уверенность в своей способности убить себя – не по причине недостатка смелости совершить сам акт, а в результате физической неспособности. Я не был уверен в своей силе и координации – в том, что смогу сделать все как надо и не напортачить, как тот заключенный, про которого я читал где-то раньше: он бросился вниз не с той высоты и сумел только выбить себе глаза и сломать шею, так что еще много лет потом он жил, оставаясь слепым, парализованным и никому не нужным. Я бы лучше сгнил или сдался, чем закончить так.

И в то же самое время я не представлял себе, как я смогу выживать дальше. Хотя мне больше не было холодно, так как началась весна, все равно большую часть времени я дрожал. Мой желудок постоянно сводили боли – также как и мою голову, колени, локти и

спину. В ясном сознании я пребывал нечасто. В отличие от моего пребывания в Лефортово, в моих воспоминаниях об этом периоде в Сухановке многие дни отсутствуют. Однажды наступил момент, когда внезапно я почувствовал себя намного ужаснее, чем даже когда замерзал в карцере, находясь в подвале того К-образного бастиона. Я даже не помню, где я находился, когда это произошло. Может быть, меня тогда отвели в баню в Сухановке? Думаю, что меня туда водили, хотя я и не помню непосредственно самой бани. То, что я помню – и меня до сих пор бросает в дрожь, как только ко мне приходит это чудовищное зрелище, которое вырастает передо мной, стоит мне позволить себе воскресить его в своей памяти – это увиденное мной в какой-то момент, когда я оказался раздетым. Должно быть, это было в бане. Я взглянул на свое сжавшееся тело и увидел жуткую вещь: мои колени были толще, чем все остальные части моих ног! Я чуть не упал в обморок, когда увидел это. В моем сознании сразу всплыло другое кошмарное видение – фотография из журнала Life, на которой были показаны выжившие узники Белзена и Аушвица – нацистских концентрационных лагерей. Те люди, что глядели с той фотографии, уже не были настоящими людьми. Они стояли, лежали и висели на проволоке забора, окруженные телами тех, кто умер в утро перед освобождением или, может, днем раньше. Некоторые тела были разорваны – ради печени или других мягких частей. Это уже не были человеческие существа, на этих фотографиях, хотя раньше они ими были. Их глаза смотрели из глубоких, темных глазниц, но, я думаю, они не могли видеть и осознавать чего-либо в тот момент, и мне временами казалось, что такая жизнь хуже смерти, ибо она более непотребная, чем все, что можно вообще себе представить. Тот фоторепортаж вызвал у меня внутреннее содрогание, а теперь я сам стал героем этого фоторепортажа. Я не мог увидеть своего лица, но я мог представить, что это было то самое, смотрящее, отсутствующее лицо, как на тех фотографиях. Я трясся в своей горячке и думал – разве такая жизнь чем-то лучше смерти? А потом у меня возникла мысль – если я задаю себе этот вопрос, не значит ли это, что я вплотную подошел к Концу? Не стоит ли мне лучше вспомнить, где я спрятал те клочки бумаги, пережевать их и забить замок на кровати? Бог мой – мне кажется, я произнес это – где же ты теперь, Алекс Долган? А ведь когда-то ты мог все перенести. Если ты сам уже куда-то ушел, то зачем поддерживать жизнь одного тела?

Я знаю, что подошел очень близко к тому, чтобы заблокировать пружинный замок. Не знаю, насколько близко. Я знаю только то, что однажды в конце апреля или начале мая Конец должен был вот-вот настать. И я воспринимал это почти равнодушно. Я говорил себе: «Алекс, ты сделал все, что мог. А теперь пришло время отдохнуть. Навсегда». Теперь почти все свое время я находился словно в тумане, в полубреду, и в этом красноватом тумане моих глаз однажды утром дверь в камеру отворилась, и я помню, что в нее вошла женщина в белом халате. Я ее никогда раньше не видел, но сразу почувствовал странное, мечтательное влечение к ней. Кто-то произнес, чтобы я вставал и брал свои вещи. Думаю, что я попытался это сделать, но было ясно, что я не смогу сам себя поднять. Мои губы были слишком сухими, чтобы говорить, когда я попробовал что-то сказать, а моя голова пульсировала в горячке – так, что я не был способен чего-либо выговорить.

Потом я вижу себя в фургоне, на скамейке. Рядом со мной узел, который я смутно припоминаю. Фургон трогается с места, я смотрю вверх, и мне видно то, что находится снаружи – машина едет, а мимо проносятся деревья с молодыми листьями. От толчка меня почти сбрасывает с койки, и охранник в форме удерживает меня на месте. Не бережно, не грубо – просто как предмет: чтобы не дать заключенному свалиться на пол. Но заключенный безмятежно и бесчувственно все же сползает на пол. Потом слышатся звуки гудков автомобилей, звонки трамвая, и я заставляю себя проснуться, подтянуться и ухватить взглядом немного улиц Москвы и людей на них. Вот я узнаю Каляевскую улицу. Очень странное ощущение, узнавать улицы.

Кто-то говорит мне, где мы. Бутырская тюрьма. Это старая тюрьма с долгой историей. Орлов рассказывал мне про Бутырку. «Ленивое место», - говорил он. Я чувствую, как напряжение внутри меня спадает. Больше из того, как меня привезли туда, я ничего не помню. Помню только, что несколько дней спустя пришел в себя после бесконечного сна в хорошей уютной кровати, окруженной другими кроватями, среди людей, говорящих тихими голосами, и других людей, в белых халатах, ходящих мимо. К моей руке приторочены какие-то трубки, а внутри меня – чудесное и незнакомое ощущение, говорящее, что я не голоден, и что сознание снова возвращается ко мне во всей своей ясности.

Глава 13

Больничным корпус в Бутырке был, тем не менее, тюрьмой. А я по-прежнему был заключенным, и, несмотря на «ленивость» режима, Бутырка также была тюрьмой. Доктора и фельдшеры безмолвно ходили по палате и обращались с пациентами строго по-деловому, поэтому, хотя они и не были к нам враждебно настроены, их отношение нельзя было также охарактеризовать и как дружелюбное.

Когда я пришел в сознание и моя температура пошла вниз, мне начали давать сладкий чай, яйца всмятку и масло печени трески. С каждым днем я чувствовал, как силы понемногу возвращаются ко мне. Я решил, что сделаю все, чтобы оставаться здесь как можно дольше. Слишком сильны были мои ощущения от приближения вплотную к Абсолюту. Теперь меня накрыло волной чрезвычайной уверенности и оптимизма. Я снова поверил в то, что у меня есть будущее – пусть не легкое и далеко не чудесное, но то будущее, с которым я смогу справиться. Я *знал*, что выживу, потому что уже выжил.

Понемногу туман вокруг меня рассеивался, и из него стали появляться отдельные люди. Я запомнил двух из них, что лежали рядом со мной, хотя их имена моя память и не сохранила. Один был профессором русской истории, арестованным за антисоветскую пропаганду и употребление наркотиков – он страдал от сильной ломки. Ему давали снотворное. С другой стороны от меня лежал австриец, который говорил по-английски с сильным акцентом. Я умолял его говорить со мной по-английски, несмотря на то, что по-русски у него получилось бы лучше. Он рассказал, что был специалистом по сельскому хозяйству в Украине во время войны, работая на немцев. Потом он уехал обратно в Вену, и однажды, когда он перевозил большую сумму денег, около 25 тысяч долларов, из своего дома в банк, находящийся в американском секторе Вены, его усадили в машину, полную сотрудников МГБ. Там его оглушили, и он пришел в себя уже на пути в Москву. Судили его как военного преступника, но, судя по всему, на самом деле их интересовали доллары. В лагере он встречался с Орловым.

Каждый день мне делали инъекции хлорида кальция, отчего мое тело погружалось в приятное тепло, а также вводили через шприц глюкозу и витамины. Когда моя температура стала снижаться довольно существенно, я заволновался, что меня выпишут, и принаровился держать пальцы в чашке с горячим чаем, когда мне по утрам приносили термометр, а потом протягивать его фельдшеру, держа своими горячими пальцами за кончик. Таким способом мне удавалось поддерживать свою температуру около 39° или 39,5°, что позволяло мне оставаться в постели. По вечерам я нагревал градусник сильнее, так как помнил, как моя мама говорила мне, что в конце дня у больного человека температура повышается, а после сна она снижается.

Счета дням я не вел. Я был слишком благодарен судьбе за этот отдых, чтобы заботиться о календаре. Никаких пометок на стене, никаких попыток запомнить время. Думаю, что в этом госпитале я пробыл около трех недель, но, возможно, это были и две недели, и месяц. Я знал, что вскоре меня выпишут, хотя и был по-прежнему слабым и истощенным. В один из дней меня отвели в комнату, похожую на комнату для допросов. Мне было приятно увидеть за столом человека в гражданской одежде, так как уже полтора года я

видел только униформу либо медицинский халат. Где-то в ходе моего следствия мне присвоили, с непонятной для меня целью, еще одно имя – «Довгун». И теперь они писали его через дефис с их версией моей фамилии, и, таким образом, я стал теперь для них «Довгуном-Должином». Причины этого мне никто и никогда так и не объяснил: просто мне было присвоено это новое имя. Человек за письменным столом, очень важный с виду, спросил у меня имя, и исправил его на «Довгун-Должин», когда я ответил ему только «Александр Дол-джин». После этого он зачитал следующую четверть столетия моей жизни так, словно прописывал микстуру от кашля:

- Александр М. Довгун-Должин, решением особого комитета министерства государственной безопасности, на основании вашей шпионской деятельности и другой антисоветской деятельности, вы лишаетесь свободы на срок двадцать пять лет в ИТК.

(«Исправительно-трудовом лагере», - пояснил он). Позднее мне предстояло еще не один раз услышать эти слова: «Через тяжелый труд вы обретете свободу!» Странно, но услышанное меня не ошарашило и даже не удивило. Небольшой гнев – вот было самое сильное мое ощущение. Этот человек дал мне подписать приговор. Я отказался: подписывать его означало согласиться с ним, поэтому я решил послать все это к черту.

- Подписывайте! – скомандовал он. – Или отправитесь в карцер!
Я покачал головой.
Он кинул в меня ручкой.
Я снова покачал головой и произнес: «Не положено!»

Он пришел в полную растерянность, а я почувствовал, как вновь становлюсь самим собой. Меня так и не посадили в карцер после этого. Мне кажется, что, потратив столько усилий на возвращение меня к жизни, напичкав лекарствами и витаминами, они решили, что будет нелогично сразу же взять и снова убить меня. Хотя, сложно сказать – ведь все в этой безумной системе выглядит нелогичным в самой своей сути. Возможно, то, что я избежал карцера в Бутырке, было просто следствием разгильдяйства, или забывчивости, или, возможно, такой угрозы и не существовало изначально. Узнать это наверняка не представляется возможным.

Я не видел своего лица в течение долгого времени. Когда я был в Лефортово, солнечный луч пробивался через тяжелое окно и освещал мою голову наполовину - так, что я мог увидеть неясное отражение своих впалых щек и вдавненных глаз в воде, открыв чугунную заслонку нужника. Сейчас мне не хотелось видеть, как я выглядел. Все, что я хотел – это чтобы мои бедра стали толще, чем колени. У меня выработалась привычка ощупывать свои выпирающие суставы кончиками пальцев, проводить пальцами по обвисшей коже выше и ниже колен, а также по выпирающим костям голени, на которой оставались грубые шрамы от ботинок Сидорова. Мне хотелось почувствовать, как плоть снова начинает нарастать на моих ягодицах и костях, чтобы освободиться от кошмара той фотографии.

Пока я лежал в госпитале, и позже, в перенаселенной камере, я часто думал о тех странных видениях, бывших со мной в тюрьме, когда тюремные стены исчезали, и я смотрел со стороны на свое собственное тело. Откуда бы не приходил тогда ко мне этот дар, я знал, что это был дар жизни, но теперь я хотел вернуться в саму жизнь, со всем тем, чем я был ранее. Мне не нужно было более этих уходов от жизни – мне хотелось, чтобы жизнь просто шла дальше – а там посмотрим, куда она приведет. Если бы я знал тогда, куда она меня потом приведет, то, возможно, и не желал бы этого так сильно, но жизнь снова начала струиться по моим венам.

В переполненной камере, куда меня поместили после госпиталя, было двадцать пять кроватей, и более чем двадцать пять человек, поэтому спали по-очереди, а в остальное время по большей части лежали на полу. Я никого не помню из этой камеры, так как пробыл в ней всего день или два. Мне вспоминаются только две вещи: люди, играющие в шахматы (вид этого зрелища был для меня очень воодушевляющим), а также то, что я пошел по камере, спрашивая людей, какие сроки получили они – теперь мой срок уже не был для меня столь безразличен. У одного было десять лет. У всех остальных было двадцать пять лет «исправительных работ», по пять лет ссылки и пять лет лишения гражданских прав. Последнее означало отсутствие возможности голосовать на советских выборах за единственного кандидата, а также то, что вы находились под риском сест в тюрьму за малейшую провинность в этот период.

Все, с кем я говорил в этой переполненной камере, отвечали одно: «Двадцать пять, пять и пять. Двадцать пять, пять и пять». Я был единственным, с двадцатью-пятью годами, кому не прибавили еще по пять и пять.

Люди в камере говорили об *этапе*. То есть о перевозке заключенных в трудовые лагеря, расположенные где-либо в бескрайних восточных просторах Советского Союза. Помню, как я выразил надежду, что меня не пошлют на север Сибири. Я все еще дрожал при воспоминании о холоде карцера в Лефортово. Другие заключенные говорили, что в пустынных лагерях юга не менее ужасно. Мне рассказали, что теперь, когда нас начнут перемещать по перевалочным тюрьмам, сажать и ссаживать с поезда, мне нужно выучить свою молитву заключенного, которую требовалось произносить вслух. Если охранник хотел вызвать кого-то, он выкрикивал первую букву: «Д!». На самом деле, они произносили «На Д.!» Тогда все, чьи фамилии начинались на Д, должны были выйти за дверь камеры и зачитать свою молитву, включающую в себя полное имя, дату рождения, длину срока и статьи уголовного кодекса, по которым человек был осужден. Таким образом, получалось: «Довгун-Должин, Александр М., 1926. Двадцать пять лет. Пятьдесят восемь, шесть. Пятьдесят восемь, десять». Такой была моя молитва, и мне придется произнести ее сотни и сотни раз в последующие годы. Тысячи раз, возможно.

На второй день к двери этой переполненной камеры, где я пытался набраться сил, подошел охранник и выкрикнул: «На Д». Двое или трое из нас прочитали свои молитвы, и остальным было приказано отойти назад, в то время как мне – собрать свой узел и проследовать за ними на *этап*. Но когда мы прибыли на железнодорожную платформу, я свалился без чувств, и офицер, ответственный за конвой, отказался меня брать. Он сказал, что я был слишком слаб, чтобы выдержать транспортировку, и что он не возьмет на себя ответственности за наличие трупа под своим началом ко времени прибытия в Куйбышев – который, судя по всему, должен был стать первой нашей остановкой. Таким образом, я был снова погружен в фургон и отправлен назад в Бутырку. После этой внезапной поездки, последовавшей сразу за периодом отдыха, в моей голове сильно шумело, но я был рад провести еще несколько дней в тюрьме и набраться еще немного сил перед отправкой по этапу на поезде.

Но вот настал и мой черед – мне предстоял этап. Было решено, что я подхожу для транспортировки. (Кем? Кто был этот всезнающий, сумевший предсказать мое выживание на этапе, столь подкованный в медицине провидец? Насколько я помню, никто меня ни разу не осматривал). Меня запихнули в «Черную Марию»¹ и отвезли на станцию с десятком других людей – возрастом от семнадцати до пятидесяти лет, чье физическое состояние варьировалось от доходяг, вроде меня, до парней, выглядевших сильными и здоровыми – хорошими кандидатами на выживание, не то, что я. Но позже я понял, что внешность здесь обманчива.

¹ В США этим сленговым выражением называли полицейский автомобиль.

Столыпинские вагоны – это еще одно произведение искусства лжи секретных служб Советского Союза. Снаружи они были покрашены так, чтобы выглядеть как почтовые вагоны. Но так как в обычном составе подчас бывает до четырех, пяти, а то и больше таких вагонов, никого все равно не удастся обмануть, заставив думать, что советских граждан внезапно обуяла невероятная страсть к написанию писем. Однако при этом никто официально не признает существования такой вещи, как «столыпинский вагон». Эти вагоны были в свое время сконструированы по приказу царского министра, и потому носят его имя. Их переделали, и из пассажирских вагонов с четырьмя койками в одном купе, выходящим в коридор, сделали вагоны с камерами, где было четыре доски, якобы рассчитанные на шестнадцать заключенных максимум, но в них редко когда помещали меньше двадцати человек, по моему опыту. С каждой стороны коридора находился туалет. Охранники ходили по коридору. Вам не позволяли разговаривать с теми, кто находился в соседней камере, но со своими соседями, к моей радости, говорить было можно. Мне повезло, я был одним из первых, кого грузили в вагон, и я занял доску, перекинутую между двумя верхними полками – до того, как камера заполнилась. «Заполнилась» – правильное слово. Охранники поезда с помощью ботинок и прикладов засунули невероятное количество – двадцать девять человек – в наше четырехместное отделение. Люди лежали в узком пространстве под нижними полками. Люди лежали друг на друге в середине и на верхних полках. Некоторые стояли, упакованные в пространство между другими, с головами, склоненными в неудобной позе под досками, на одной из которых лежал я. Руки, ноги и тела были перемешаны между собой. Запах снаружи был ужасен, как и смятенные чувства внутри меня. Этот первый переезд, как мне кажется, занял два или три дня. Запах мочи был самым сильным из всех, и пол камеры все время был мокрым. На момент отправки мой организм был обезвожен по причине внезапного приступа диареи еще в Бутырке, и когда мой кишечник начал переходить снова под мой контроль, у меня вновь началась горячка – почти сразу же после нашей погрузки в вагоны. Обезвоживание преследовало меня всю дорогу до Куйбышева. Спать получалось урывками, но, по крайней мере, если удавалось как-то успокоиться и отключиться на некоторое время, охранники нас не беспокоили. Погода стояла теплая, и по мере того, как мы продвигались все дальше на восток и затем на юг, становилось все теплее. Замерзшее окно в камере было заколочено, но вместо двери были только прутья решетки. Когда мы выехали загород, где любопытные гражданские не могли более поинтересоваться, что это за почта отправляется в таком количестве в восточную Россию, охранники под свою ответственность открыли шторы на окнах в коридоре, и мы могли видеть проплывающие мимо сельские пейзажи. Перед отправлением, после того, как нас запаковали в камеру, к двери подошел охранник и стал выкрикивать наши имена. Когда мы прочли наши молитвы, он сверился со списком, содержащим фотографию заключенного и детали пересылки, включая место назначения. Я лежал на верхней полке у самой решетки, и смог взглянуть вниз на эти бумаги. Я увидел свой лист, когда он появился. Место назначения было отмечено как *степлаг* (степной лагерь) в Казахстане, в Джебказгане, но для меня в то время это ни о чем не говорило. Я также заметил, как красным карандашом в углу на моем листке большими буквами было написано: «склонен к побегу». Учитывая мое физическое состояние, это было довольно забавно, и в то же время я был горд тем, что заработал такую репутацию.

После того, как нас погрузили, наши столыпинские вагоны перевезли в другое место, и потом мы ждали, пока к нам сзади не подцепят пассажирский поезд. Потом, после долгой задержки, мы начали движение. В конце дня охранники отводили нас по одному в туалет, крича и ругаясь, пока мы не делали там то, что требовалось сделать. Дверь в туалет была все время открыта. Когда наступил вечер, находящиеся в нашей камере попытались выработать некую систему ротации, чтобы каждому удалось немного поспать. Я со своего места на верхней полке наблюдал за старым священником. Погруженный в свои молитвы,

он был сильно озабочен сохранностью высоких сапог, которые он вез – один в одном, хорошего качества. Везти их было для него затруднительным занятием. Другие заключенные ругались, когда ударялись об эти сапоги, или когда он ронял сапоги на них – ему никак не удавалось удержать их в удобном положении.

Наконец кто-то сказал: «Слушай, отец, поставь сапоги на пол. Никто здесь не сможет с ними уйти!» Раздался смех, и бородатый старец, наконец, принял это предложение, и сапоги засунули под лавку. Этой же ночью (или это было в следующую ночь), кто-то ухитрился использовать сапоги старика в качестве ночного горшка, наложив большую кучу в один из них. Позже, в Куйбышеве, на третий день нашего этапа, это обнаружилось, что повлекло за собой жестокое наказание.

Перед погрузкой на поезд нам выдали пайки на этап: две дневных нормы хлеба, сахара, и, как предсказывал Орлов, несколько кусков селедки. Я предупредил всех рядом со мной, чтобы они не ели селедку. Некоторые поняли. Другие подумали, что я вру, чтобы присвоить их селедку себе. Третьи знали, что я прав, но были слишком голодны, и съели всю свою селедку сразу, включая куски тех, кто, как и я, знали, к чему это приведет. Спустя два часа по всему вагону стали раздаваться стоны и мольбы о воде. Охранники прохаживались вдоль по коридору, насмехаясь над теми, кто просил у них воды – их измученные лица были вдавлены в решетку. Охранники на поездах всегда вели себя чрезвычайно жестоко. В тюрьме – как в Лефортово, так и Сухановке, и, конечно, в Лубянке и в Бутырке – все охранники, за исключением той ужасной женщины, вели себя более-менее корректно. Они просто делали свою работу, а что касается жестокости, то они оставляли ее следователям. Но здесь, погрузившись на поезд, мы почувствовали перемены. Эти охранники и выглядели свирепо, и вели себя также. Возможно, такие требования предъявлялись к их работе. Обычно жестокость проявлялась ими в своем наиболее свирепом и прямом виде – в виде пинков, ударов прикладом и ругательств. Но иногда она принимала немного более примитивно-усложненную форму. Так, группа охранников в нашем вагоне не давала людям пить до тех пор, пока крики не превратились в непрерывный вой. Затем они принесли каждому столько воды, сколько тот мог выпить, и уселись наблюдать спектакль, начавшийся через полчаса или около того – когда переполненные мочевые пузыри потребовали облегчения, и люди погрузились в тихую агонию. Некоторые не выдерживали и мочились прямо в одежду, другие – на пол. Один бедолага облегчился через решетку прямо в коридор. В мгновение ока охранники вытащили его, в то время как тот еще продолжал, и один из них принялся бить его по голове и по плечам, выкрикивая ругательства; когда они запихнули его обратно, у него спереди, через грубую прорезь в штанах, все еще текла тоненькая струйка. Этот человек раньше был армейским капитаном.

Ночью я разговорился с заключенным, лежавшем на верхней полке. Он был таким же беспомощным, как и я, но не по причине переутомления или болезни. У него были ампутированы конечности, и его костыли лежали снаружи, в коридоре, где он мог взять их, когда ему нужно было пойти в туалет. Этот старик отправлялся в тюрьму на все то время, что оставалось ему в жизни. Срок у него был десять лет, а ему уже было семьдесят три, и он был беспомощен. Его фамилия была Никифоров, а его преступлением стали письма Сталину, в которых он сообщал вождю о том, как в действительности идут дела в его районе столицы. По его словам, он всегда читал газеты. Из победных речей Лидера, говорившего о чудесном состоянии дел в Советском Союзе, он сделал вывод, что кто-то утаивает правду от великого Отца и Учителя, и что ему, старому человеку, нужно исправить это, написав Лидеру прямо и рассказав, как обстоят дела в реальности.

Никифоров не был так уж наивен. Он знал, что его письма могут быть перехвачены и что официальные лица, в страхе потерять свои места, могут выследить и наказать его. Поэтому он никогда не подписывал своих писем, и каждый раз использовал для отправки разные почтовые ящики. Но по причине инвалидности, территория его действий была небольшой, и сотрудники МГБ вычислили его, используя следующую технику: они знали,

по почтовым штампам, район Москвы, откуда шли все эти письма. И они провели обыски последовательно в каждом доме. Обыскать каждую квартиру было невозможно, и поэтому они приходили к управдому и спрашивали жалобную книгу. В Москве вы можете пожаловаться насчет работы водопровода, или отопления, или электроснабжения только в письменной форме, и домоуправление должно хранить все эти жалобы. Секретные службы разослали своих агентов с образцом почерка старика, и агенты просто сверяли его почерк с жалобами жильцов, пока не обнаружили сходство.

Как рассказал мне Никифоров, его следователь хвастал перед ним своей образцовой работой детектива. Судя по всему, этого старого человека вовсе не удивило то, какая массивная охота была объявлена для поимки того, кто просто писал правду Сталину.

Куйбышев находится на расстоянии примерно тысячи двухсот километров к востоку от Москвы, почти на подступах к Уральским горам. Он построен на берегах Волги в ее среднем течении, недалеко от того места, где в нее вливаются воды Камы, и она начинает свой тысячекилометровый путь на юг к Астрахани, где мелководная, состоящая из многих рукавов дельта протянулась почти на пятьдесят километров к Каспийскому морю. В Куйбышев сбежало советское правительство во время войны, когда немцы вплотную подступили к Москве. Сталин уехал туда в секрете, хотя пропаганда и уверяла, будто он мужественно остается в столице. Посольство США также переехало тогда в Куйбышев на время. Мне рассказывали, что это отличный город, но я увидел только мощеные улицы и бедные, облезшие дома с облупленной штукатуркой, а также покошенные некрашенные заборы. Вдалеке виднелись более высокие здания – чувствовалось, что это был большой город. Охранники не предпринимали никаких мер, чтобы скрыть наше присутствие от местного населения. Нас просто протащили по городу между двух рядов вооруженных солдат с большими немецкими овчарками, которые рычали и рвались на своих цепях. Мы маршировали через город, в то время как люди смотрели на нас, или часто просто безразлично шли по своим делам. Чтобы держаться на ногах мне требовалась помощь других заключенных, и когда я падал, а случалось это довольно часто, охранники орали на меня и моих бедных товарищей, которые помогали мне подняться и идти дальше. Шли мы порядка двух километров, и под конец меня уже волокли, так как идти сам я уже не мог. Когда мы подошли к желтой каменной стене тюрьмы с натянутой поверх нее колючей проволокой и вышками с пулеметами по сторонам, охрана открыла большие ворота, и нас повели вовнутрь. В этот момент я смог обернуться и увидел, насколько огромной была наша шеренга. В ней были как мужчины, так и женщины. Некоторые женщины несли с собой младенцев, в возрасте от нескольких дней от роду до нескольких месяцев. Это была невероятная картина – несколько сотен мужчин и женщин, от подростков до седоволосых стариков, некоторые из которых были близки к смерти. Другие выглядели энергичными и холеными, хотя большинство были бледные, худые и слабые, наподобие меня. Некоторые были, очевидно, новичками, «с воли» - одетыми в хорошую одежду, все пуговицы на которой были целы, чистую, без прорех и заплаток. Другие были одеты в ужасные лохмотья. Тяжелый запах от грязных тел ощущался даже на открытом воздухе. Мы все сели или легли на землю, ожидая следующую команду. Некоторые из заключенных, в особенности женщины, принялись бродить вокруг, чтобы разузнать новости о своих родных. «Откуда ты, брат? Потьма? Не видел моего мужа? Василий Григорьевич Кравчук? Нет? А ты, брат, откуда ты приехал? Из Москвы? Лубянка? Слышал что-нибудь о моем муже? Василий Кравчук? Нет? А ты, брат?» - жалостливо вопрошала женщина, переходя от одного к другому. Иногда раздавался гул голосов, головы склонялись вместе, и грязные безнадежные лица немного светлели – было понятно, что контакт установлен. Я наблюдал все это, лежа на земле.

Прошел час или более, и к нам вышел майор МВД. Именно МВД, министерство внутренних дел, было ответственным за безопасность лагерей и тюрем. Они охранялись отдельной армией, входившей в состав советских вооруженных сил. Она являлась

отдельным от МГБ, министерства государственной безопасности, формированием. Майор приказал всем встать и построиться в ряды. Мне помогли подняться. Потом он призвал тишину. Когда все голоса смолкли, майор крикнул зычным голосом: «Все честняги, выйти из строя!» Из двухсот или трехсот человек, собранных в этом грязном дворе, около тридцати или сорока шагнули вперед. По-моему, женщин среди них не было, но я не уверен в этом. Я пытался разгадать, что означает это слово – «честняги».

Один из них был в моей камере, и я заключил по его манерам и татуировкам на спине и руках, что он, должно быть, принадлежал к преступному миру и не являлся «фашистом», или политическим заключенным. Большинство из идентифицировавших себя в качестве «честняг» выглядели достаточно здоровыми, а их одежда была в хорошем состоянии. Майор кивнул группе охранников, и честняги были уведены. Так, подумал я – это профессиональные уголовники.

Потом майор закричал вновь: «Все суки. Выйти вперед!» И опять я не понял значения этого слова. Снова двенадцать или пятнадцать человек, выступивших вперед, были намного лучше одеты, чем большинство из нас. Среди них точно не было никого в лохмотьях. Средний возраст в этих двух группах также был меньше общего среднего. Я спросил старика-инвалида, знает ли он, что значат эти слова, но он не знал – как и никто рядом со мной.

Когда суки и честняги ушли, внутрь повели нас. Мне кажется, что женщин с детьми отделили от общей группы, но более чем две сотни мужчин и женщин построили в ряд вместе друг с другом в большом помещении барачного типа, с одной стороны которого была устроена душевая, и нам было приказано раздеться, положив свои вещи на пол перед собой. Женщины кричали и отказывались, но охранники вышли вперед и били их по лицам, если они медлили. Вскоре мы все были раздеты – две сотни потных, грязных, запаршивевших, бледных, истощенных, незащитных человеческих тел. Отряд из пятнадцати или двадцати невооруженных охранников промаршировал в помещение и встал в линию, лицом к нескольким шеренгам обнаженных заключенных. Охранники смеялись и шутили по поводу физических характеристик голых тел, стоявших перед ними. «Эй, взгляни на сиськи вон той, она, должно быть, новенькая». «Ну, там не так уж много для тебя, Борис». «А вон у того – такой длинный, можно на нем узел завязать. Напоминает твой, Саня», - и еще много просто ругательств и грязных оскорблений, в основном адресованных женщинам. Женщины хныкали и пытались прикрыться. Когда охранники построились, а все наши пожитки были сложены перед нами в маленькие кучки, нам приказали отступить на шаг назад, и линия охраны выдвинулась вперед, чтобы обыскать наши вещи.

Старый священник стоял рядом со мной, а его войлочные сапоги стояли напротив, на полу. Они не выдавали запахом своего содержимого, потому как вонь в помещении итак стояла страшная. Охранник засунул свою руку в один из них, ища запрещенные вещи, но тут же с криком выдернул ее обратно. Рука его была почти до локтя измазана в коричневой массе. «Ты, скотина!» - заорал он на священника, который был изумлен ничуть не меньше и даже перестал молиться. Охранник подошел к нему, обтер руку обо все его лицо и бороду, а потом сшиб с ног и тяжело пнул по ребрам. Несчастный старик скрючился от боли. Он лежал на полу и стонал, содрогаясь своим бледным, морщинистым животом.

Вскоре нас построили, мужчин и женщин, в отдельные ряды, которые вели к длинным низким столам, к которым подошли двое *придурков* с ножницами, приказав нам поднять свои руки. Они стригли у нас подмышками, а также волосы на голове и бороды. Затем нам следовало встать на стол, а они в это время работали над нашими интимными местами. Женщины почти все рыдали и просили о снисхождении, в то время как охранники и те, с ножницами, отпускали грязные ремарки, наподобие: «А теперь подвинь губки немного левее, сестра. Так, улыбайся». «А у этой больше волос на сиськах, чем между ног. Мне ее

сиськи тоже остригать, Сергей?». В огромной комнате царил ужас и унижение. После стрижки нас толпой погнали в душевую, мужчин и женщин вместе. Затем послышались отчаянные вопли и крики ярости - в течение нескольких минут нас обваривали в ужасно горячей воде. Нашу одежду развесили по крючьям на колесных тележках, наподобие тех, что можно встретить в одежных магазинах Нью-Йорка, а остальные вещи сложили в нижней части тележек, и потом эти тележки вкатили в огромную печь, где их дезинфицировали жаром. После обработки нам пришлось рыться в общей куче штанов, рубашек, носков и ботинок, пытаясь найти свои пожитки. Затем мужчин и женщин наконец-то разделили на группы, нас опять вывели во двор и выстроили в ряды, лицом к нескольким каменным баракам.

Дверь камеры, в которую повели меня и еще около пятнадцати человек, открывалась прямо во двор. Это была камера номер 12. Перед ней нас построили в шеренгу, и мы должны были по одному произнести свою молитву, после чего нас грубо вталкивали вовнутрь. На пороге я споткнулся и полетел вперед, напрямик в группу людей, стоявших за дверью, потом покатился по полу, но меня остановил деревянный столб. Я поднялся, держась за него, и обнаружил, что столб служит опорой для длинных нар, расположенных наподобие полок в шкафу. Схватившись за попавшееся мне свободное место, я сел.

Первым моим впечатлением было ощущение полного бедлама. Барак ходил ходуном от людской болтовни. Позднее я обнаружил, что в нем, пять на двенадцать метров, обитало 129 человек. Вдоль каждой из длинных сторон барака шло два уровня коек, представлявших собой просто жесткие плоские доски; в торце они располагались поперек. В дальнем конце барака виднелось большое окно, зарешеченное с внешней стороны. Оно было открыто, так как погода стояла теплая. Из окна шел яркий свет, и в этом свете было сложно четко разглядеть дальний конец камеры, но было ясно, что он уже заполнен людьми - стоящими на полу, сидящими или лежащими на и под нарами. Около двери, с противоположной стороны от окна, стояла большая деревянная бочка, служившая отхожим местом. Пол рядом с ней намок, так как бочка была слишком высокой для того, чтобы воспользоваться ею без затруднений – если только, конечно, вы не были для этого достаточно рослым. Смерд от бочки был бы удушающим, если бы не открытое с противоположного конца барака окно.

Я помню, что почти сразу же ко мне подошли несколько человек, чтобы узнать новости «оттуда». Первым вопросом всегда был: «Вы с воли?». Даже несмотря мои слова о том, что пробыл в тюрьме полтора года, многим из них все еще было интересно узнать, что представляет собой жизнь «там». Они провели в тюрьме кто по пять лет, кто по десять, а некоторые и целых двадцать лет.

Помню, что по какой-то причине я встал. Возможно, меня вытеснили с перенаселенных нар. Я был очень слаб, но сидеть на твердом дереве с моими почти исчезнувшими ягодицами было сложно, и я помню, что часто вставал, чтобы облегчить боль в бедренных костях. Внезапно разговоры вокруг меня умолкли, и головы людей, собравшихся услышать от меня новости, развернулись по направлению к центру барака. Потом люди вокруг меня поспешно отодвинулись в стороны. Тут я увидел трех грязных, в лохмотьях, молодых парней, направляющихся ко мне с недоброй ухмылкой. Они остановились в полушаге от того места, где я стоял, прислонившись к стойке нар, и нагло оглядели меня с ног до головы. На мне все еще были мои флотские габардиновые штаны, и даже после полутора лет тюрьмы они были в гораздо лучшем состоянии, чем одежда большинства заключенных. Эти ребята принадлежали к *шобле-ебле*, низшему классу *урок*, или уголовников. Вид у них был чрезвычайно злобный. Они смотрели на мои штаны с нескрываемым интересом. Тот, что стоял в середине, сказал, обращаясь к остальным: «Смотрите-ка, братцы, на нем мои штаны!» Он принялся ощупывать материал. Я произнес: «Что ты, черт возьми, мелешь? Они мои. Руки прочь!»

Главный из них продолжал жестко наступать на меня. «Смотрите-ка, братцы! Вор утащил мои штаны! И он говорит, что они его! Ну-ну!»

Потом он схватил узел, бывший в руках у одного из его молодых шакалов, и протянул его мне – узел с рваньем: «*Вот* твои штаны, - произнес он сквозь зубы, сунув узел мне прямо под нос и придвинувшись своим лицом вплотную к моему. – А теперь отдавай мне мои, и делай это быстро». При этом он выставил вперед два своих пальца, как если бы хотел воткнуть их мне в глаза.

На протяжении полутора лет я противостоял более крутым парням, чем этот, и я точно не собирался ему уступать. Для хорошего удара я был слишком слаб, но я крепко схватился своей левой рукой за деревянную опору, а правую вынес апперкотом снизу вверх – с той силой и скоростью, на которые я только был способен. Боль в руке была адская, потому что удар пришелся прямо в цель, в яблочко, и паренек грохнулся назад, на спину.

Выглядел он ошарашенным, но во взгляде его читалась готовность убить. Остальные два начали приближаться ко мне с двух сторон. Они продолжали ухмыляться, но ухмылки эти стали теперь намного более жесткими, а руки они держали перед собой, наподобие борцов реслинга.

В бараке воцарилась мертвая тишина. Все те по-дружески настроенные люди, что спрашивали меня про новости, словно испарились. Я чувствовал себя абсолютно одиноким среди этой дикой толпы. Тот парень встал с пола, потирая свой подбородок. На губе у него была кровь. Он выбросил вперед руки и отодвинул двух других назад. «Я его возьму» - коротко бросил он своим напарникам, глядя на меня глазами убийцы. Потом он сделал шаг ко мне. Я еще сильнее вцепился в свою подпорку. Я дрожал, но решил, что, по крайней мере, смогу нырнуть вперед и ударить его головой в живот, а потом ударить в пах одного из остальных, перед тем, как он до меня доберется. Я чувствовал сильный страх и ярость одновременно, и был готов броситься на них, как бы слаб я не был.

Но этого так и не случилось. Громкий окрик, послышавшийся из конца барака, оттуда, где свет от окна не давал мне ничего увидеть, заставил *шоблу-еблу* замереть на месте – они остановились, как вкопанные.

- Назад! - сказал голос, очень четко, полный власти. - Все, отставить. Этот человек – *духарик!*

Слово «дух» в этом контексте означало примерно то же, что по-английски выражается словом «guts» - т.е. у этого человека есть «дух».

- Приведите его ко мне», - сказал голос немного тише.

Я щурился и закрывал глаза от света окна, пытаясь разглядеть, кто же это был. Все головы в бараке глядели либо на меня, либо на того невидимого, что говорил из конца барака.

Шобла-ебла выглядели испуганно. Один из них произнес, почти в почтительном тоне: «*Пахан* зовет тебя. Лучше пойти к нему», - и затем он повел меня в конец барака.

Пахан – жаргонное слово, обозначающее «главарь». По своему статусу и авторитету этот человек равен королю. В мафии он был бы кем-то вроде крестного отца, но я не хочу употреблять здесь это слово, потому что крестный отец есть и в лагере, но там это обозначает совсем другое. К тому же *пахан* может находиться в любом месте, и он не связан с какой-то определенной семьей. Это человек, которого чтят в криминальном сообществе за его навыки, опыт и авторитет. Встретить такого особого человека, принадлежащего к высшему классу *урок* – достаточно большая редкость.

Когда я приблизился довольно близко, чтобы меня больше не слепил свет от окна, я смог, наконец, разглядеть этого человека, сидящего на нижней полке в самом конце барака.

Всем своим видом он производил сильное впечатление. Ростом он был значительно выше

метра восьмидесяти, у него были широкие плечи и сильные темные руки. Сидел он на своем месте скрестив ноги, обутые в очень высокие ботинки из хорошей мягкой черной кожи, в которые были заправлены синие штаны. Весь его костюм был ярко синего цвета и сделан из хорошей ткани. На *пахане* красовалась розовая рубашка и яркий галстук в полоску, а из кармана пиджака выглядывал белый платок. Но то, что более всего поразило меня – это большой отполированный охотничий нож в его руке, с рукояткой из разноцветных ламинированных пластиковых колец. При этом я только что прошел через самую тщательную процедуру обыска и знал, что все настолько безобидное, как чайная ложка, будет конфисковано – на случай, если вам придет в голову сделать из нее оружие. В абсолютно классической манере крутого парня из кинокартины, он восседал на своем месте, отрезая ломтики копченого мяса от большого куска и забрасывая их себе в рот. И это не все – у него также был *белый* хлеб, которого я не видел с 13 декабря 1948 года, почти восемнадцать месяцев с того дня. *Пахан* оглядывал меня с улыбкой удивления на лице, но это было очень доброжелательное удивление.

«Сюда, садись», - произнес он. Тут же рядом с ним освободили место. Я достал из своего узла свой пиджак, и, используя его вместо подушки, сел на него. *Пахан* рассматривал меня, а я – людей, бывших с ним рядом. По правую руку от него сидел низкорослый светловолосый парень. Время от времени к нему подходили люди и шептали ему что-то на ухо, а он либо тоже отвечал им шепотом, либо кивал, а иногда отрицательно мотал головой, и проситель уходил. Выглядело это так, словно он был главным визирем *пахана* - в результате так и оказалось.

Пахан отрезал кусок копченой сосиски, положил ее на ломоть белого хлеба и протянул мне. Я разом проглотил все это. Такой хорошей пищи я не ел с моего последнего завтрака в американском посольстве.

У моего благодетеля немного расширились глаза от скорости, с которой исчез его дар. Он отрезал другой кусок мяса, сделал бутерброд и предложил мне. В то время как он исчезал у меня внутри, *пахан* махнул рукой, и появилась кружка воды, которую он протянул мне после того, как я начисто вылизал свои пальцы. Он подождал, пока я выпью воду, а потом просто сказал: «Ну?»

- Я американский гражданин, - начал я. Был похищен органами. Только что из Сухановки. Мне дали двадцать пять лет, и, думаю, везут в Джеккаган. Мое имя Александр Долган.

- Тогда я буду звать тебя Саша Американец, ладно? Это, - он показал на визиря, - Сашка Козырь. Он мой представитель. Меня зовут Валентин Интеллигент. Ты можешь звать меня Валька.

- Спасибо за еду, - ответил я. – Не понимаю, правда, откуда у вас все это... и нож? Что тут происходит?

Я пребывал в совершенном изумлении. Валентин Интеллигент только рассмеялся.

- Я тебе объясню это в свое время, - ответил он очень доброжелательно, и в то же время в его ответе явственно звучало, что это *он* здесь главный и *ему* решать, в какой последовательности все должно происходить.

- Послушай, - продолжил он. - Если ты – американец, то, наверное, смотрел много фильмов, да?

Я кивнул.

- И ты разговариваешь как образованный человек, как я, так? Читал много книг? Много романов?

Я снова кивнул.

- Хорошо. Я думаю, что у нас с тобой могут получиться хорошие деловые отношения.

В ответ на мое недоумение *пахан* широко улыбнулся. Затем его настроение изменилось. Он серьезно и сосредоточенно смотрел мне прямо в лицо, и лишь только тень от улыбки играла в уголках его темных глаз. Лицо его было очень красивым – оно было чисто выбрито, а темные волосы тщательно зачесаны назад. «Он бреется тем самым ножом», - подумал я. Нож выглядел для этого достаточно острым.

- А теперь слушай, - сказал *пахан* серьезно. – Ты можешь *тиснуть роман*?

- Что значит *тиснуть*?» - спросил я.

- Понимаешь, - ответил Валентин, - «тиснуть» по-нашему означает «рассказать». Ты можешь рассказывать нам повести, всякие истории, из кино, например? У нас тут нет рассказчика, а нам нужны всякие истории. Жизнь пуста без хорошего рассказа, который помогает тебе протянуть этот день. Ты сможешь это делать?

- Конечно, - ответил я с готовностью, - последние полтора года я рассказывал себе все кинофильмы и романы, которые только помнил. У меня это отлично получается.

- Превосходно! – воскликнул Валентин. – Я скажу браткам, чтобы собирались вокруг, и мы начнем.

- Валька, подожди минутку, - я прервал его. – Я только что с этапа. У меня нет сил. Долгое время я голодал, и от еды, что ты мне дал, очень хочется спать. Голова моя в тумане. Я почти не спал двое суток в поезде. У меня получится намного лучше тиснуть роман, если вначале я хорошо высплюсь.

Во взгляде Вальки на мгновение появилось разочарование. Потом он вдумчиво кивнул и произнес:

- Конечно. Мне нужно лучшее от тебя. Спи, а когда будешь готов, я тебя еще покормлю, и потом начнем.

Он заставил освободить мне место на верхней полке сбоку от окна, чтобы я мог дышать свежим воздухом – но не перед самим окном, где мне было бы неудобно из-за сквозняка и яркого света. Во взглядах урок, уступающих свое место для меня, читалась дикая ненависть, но они бы ни за что не осмелились показать этого *пахану*. Все они и вправду представляли собой шайку коварных головорезов, но Валентин Интеллигент выступал среди них словно бриллиант. В отличие от них, он был цивилизованным и образованным преступником. Остальное его окружение состояло из безграмотных недолудей. Однако все они проявляли абсолютное уважение к своему величественному *пахану*. Валентин раздобыл несколько пальто и других вещей, из которых помог устроить мне лежанку, где я смог вытянуться. Вдобавок он дал мне хорошую мягкую подушку, сделанную из небольшой авоськи, набитой тряпьем. Сам он забрался на полку ниже, и, встав на нее, наклонил ко мне свою голову.

- Саша, ты выглядишь ужасно, - произнес он. – Мне не стоило и думать о том, чтобы заставить тебя работать прямо сейчас. Спи сколько хочешь. Никто не сделает тебе ничего плохого, потому что я присматриваю за тобой.

Я пребывал в молчаливом изумлении. Ничего выговорить я не мог – в горле у меня стоял ком. Я ощущал благодарность и некоторую неловкость, встретив такую доброту в таком жестоком месте. Валентин Интеллигент развернулся, поднял руку и, обратившись к Сашке Козырю, тихо сказал ему:

- Хочу тишины.

Сашка Козырь вскочил на верхнюю полку и пронзительно свистнул в свои два пальца. Болтовня в бараке быстро умолкла. Визирь крикнул:

- Пахан говорит!

Валентин Интеллигент оглядел барак, убедившись, что все слушали. Никто не проронил ни звука.

- Хорошо, - сказал он после небольшой паузы. – Так и должно быть, пока я не скажу иначе.

Он указал на меня.

- Я хочу тишины в бараке, потому что Человек спит!

Он использовал слово «человек», и произнес он это слово с большой буквы – Человек, Личность. «Человек спит!» Я чувствовал себя польщенным этим комплиментом. Сквозь полузакрытые глаза я оглядел барак. Заключенные сбились в небольшие кучки, шепотом разговаривая друг с другом. Перед тем, как отключиться, мне удалось узнать кое-что об источнике процветания моего покровителя. В углу барака двое его крепостных-урок вели шепотом оживленную беседу с тремя вновь прибывшими эстонцами. Судя по всему, разговор был довольно увлекательный. Трое новоприбывших были, определенно, политическими и новенькими, «с воли». Рядом с ними на полу лежали характерные прибалтийские сумки, судя по всему, полные вещей. Того, что произошло далее, они даже не заметили. Третий бандит беззвучно сел на полку позади эстонцев. Он снял свой ботинок. Из некоторого неведомого скрытного места он извлек тонкий кусок отломанного бритвенного лезвия. Позже я узнал, что это называется «мойка», и что это обычное оружие среди профессиональных преступников, которое они почти всегда могли спрятать так, чтобы его не нашли при любом обыске. Как оказалось, Валентин Интеллигент брился именно ей. Я наблюдал, как третий шобла-ебла ловко схватил мойку двумя грязными пальцами своей ноги, а потом вытянул ногу и беззвучно распорол эстонский мешок сверху донизу. Я с восторгом наблюдал, как наблюдают за действиями акробата, жонглера или фокусника, как потом он также беззвучно вытащил оттуда своей проворной ногой несколько сосисок, буханку хлеба, несколько носовых платков и несколько бумажных пакетов, содержащих, по всей видимости, чай, - т.е. вытащил из мешка все его содержимое.

Другие политические робко смотрели на это, не делая никаких попыток вмешаться. Если бы они это сделали, то их бы избили. «Что ж, просто бизнес, как обычно», - подумал я про себя. Потом мои глаза закрылись, и я погрузился в спокойный и определенно счастливый сон.

Глава 14

Валентин Интеллигент сдержал свое слово. Пока я находился в бараке, где он заправлял, словно феодальный князь, никто не попытался сделать мне что-либо плохое и никто у меня ничего не украл. Кроме того, что Валентин стал моим благотворителем и охранителем, я обнаружил, что он был искусным рассказчиком, мудрым и точным советчиком, а также преданным другом.

Когда я проснулся после того первого послеполуночного сна, в голове у меня было неясно, я ощущал слабость в руках и ногах, а также отчаянное желание помочиться. Я с трудом слез с верхней полки, и молодой парень тут же занял мое место, беззвучно дав мне знак, что будет сторожить его для меня. Я похромал вдоль барака по направлению к бочке. Перед тем, как я до нее добрался, путь мне преградили трое политических.

- Послушай, - очень сурово сказал один из них, он был морским офицером – на нем все еще была форма с оторванными с плеч погонами. – Что, черт возьми, ты делаешь с этими головорезами? Мы знаем, что ты – политический, как и мы. Эти ублюдки ограбят тебя посреди ночи, когда ты будешь спать, и бросят на пол рядом с бочкой. Ты с ума сошел, что им доверился!

- Ты должен быть с нами, - продолжил другой. – Эти цветные, бандиты, перережут тебе глотку за копейку.

- Ну, хорошо, предположим, я к вам присоединюсь, - ответил я. – Вы сможете пообещать, что будете оберегать мою жизнь?

- Нет, конечно, нет! Ты что, вообще, говоришь такое? Мы не можем тебя защищать. Мы бессильны!

- Вы и никого другого не можете защитить, - продолжил я. – Я видел, как недавно двух новоприбывших бедолаг обчистили, отняв все, что у них было, и никто из вас и пальцем не пошевелил. Вас тут больше сотни, а их только двадцать. А вы просто сидите, сложив руки, пока они вас грабят.

Ответа не было. Я оттолкнул их в сторону и прошел дальше, чтобы облегчиться. К черту их. У бочки меня ожидало странное зрелище. Двое урок держали за руки сорокалетнего мужчину, крепко рукой зажав ему рот, чтобы не было слышно крика. Третий методично и беззвучно бил его в живот. У бедняги глаза вылезли из орбит, а лицо его было пунцовым. Когда я к ним подошел, избивание закончилось, и один из урок прошептал на ухо политическому: «Только издашь звук, когда мы тебя отпустим, и это начнется снова!» Политический яростно затряс головой. Они его отпустили. Он схватился за живот, согнулся и стремительно потрусил прочь. Урки молча проследовали мимо меня, в то время как я расстегивал ширинку. «За что?» - спросил я их.

«Эта сука насрала в бочку. Не чувствуешь запах?»

Я не чувствовал, потому что запах мочи был настолько едким и сильным, что, по-моему, перебивал все остальные запахи. Но доказательство, плавающее в наполовину заполненной бочке, можно было увидеть.

Когда я вернулся назад, пахан ждал меня, чтобы подать мне руку и помочь забраться на койку. «Как ты?» - спросил он. Я лишь нечленораздельно промычал в ответ, кивнул и тут же снова уснул.

Когда я снова проснулся, то почувствовал запах каши. Разносили вечернюю пайку. Ее накладывали из больших бочек в миски, которые просовывали через окошко. Урки, конечно, первыми получали свои порции. Политические, как кролики, смиренно ждали зади, пока глашатай Валентина не разрешил им подойти.

- Голоден, Саша?

Это был Валентин.

- Очень, - ответил я.

- Хочешь порцию побольше?

Я был удивлен, хоть и не должен был уже чему-то удивляться на этот момент. От мысли о том, чтобы наполнить свое нутро горячей едой, мой рот наполнила слюна.

- Конечно, хочу, - ответил я. – Отлично!

Валентин дал указание. Его поверенный прислал двенадцать порций добавки водянистой кашицы, которые подчиненные Валентина передавали от двери из рук в руки. Впервые с тех пор, как меня похитили, я наелся досыта.

После еды меня вновь ужасно потянуло в сон.

Подошел Валентин и выжидающе посмотрел на меня. Потом произнес: «Все еще не готов пока, брат?»

Я помотал головой.

«Спи», - сказал он.

Когда я опять проснулся, в бараке было темно и все еще тихо, иногда из углов и с разных уровней коек слышался шепот. Я снова ощущал голод, но уже не сильный, его можно было терпеть. В это же время я чувствовал бодрость, оптимизм и был настроен на общение.

Я сел и стал высматривать пахана. Сашка-визирь поймал мой взгляд и дал знак, что он его для меня найдет. Валентин подошел и тепло улыбнулся, обнаружив меня отдохнувшим и бодрым. Он отрезал для меня хлеба и копченого мяса, а потом спросил: «Хочешь стакан настоящего чая?»

Чай в тюрьме был под запретом, но теперь я ожидал от этого человека чего угодно. Я энергично потряс головой, так как мой рот был набит белым хлебом и жирным мясом. «Я имею в виду *настоящий* чай», - повторил Валентин с хитровой улыбкой. Я просто пожал плечами и кивнул, так как понятия не имел, что он имеет в виду.

Валентин кликнул одного из шестерок – урку рангом ниже Сашки-визиря, и тот начал сооружать забавный костерок на бетонном полу рядом с окном. Основным топливом служили пластиковые ручки от зубных щеток, украденных у бедных политических. Было ясно, что никто из шоблы-еблы никогда не использовал зубной щетки по назначению. От пластика шел густой и смрадный дым, но большая его часть улетучивалась через окно. Шестерка держал кружку воды над огнем, пока вода не закипела. Потом он положил внутрь кусок спрессованного чая, и дал напитку несколько минут настояться. Затем, в то время как некоторые из урок низшего класса наблюдали со злобной завистью на расстоянии, чай был передан внутри группы, состоявшей из пахана, Сашки, того шестерки, что делал чай, и меня – каждый из нас, по очереди, сделал по глотку из дымящейся кружки. «Это называется *чифирь*», - сказал Валентин. – Он тебя взбодрит».

Взбодрит! Этот напиток практически снес мне голову! Я начал понимать, как эти ребята выживают в тюрьме без своих привычных наркотиков. Вскоре мое сердце стало колотиться очень быстро. Я был буквально заведен. Валентин ухмыльнулся, взглянув на меня: «Готов?» Я кивнул. Визирь и некоторые более-менее цивилизованные урки собрались вокруг. Несколько политических нервозно подошли к краю нашей небольшой группы, сохраняя почтительную дистанцию. Я посмотрел на собравшихся – теперь я был в центре внимания, и уверен, что глаза мои сияли. Сердце билось как у бегуна на длинную дистанцию – таков был эффект от нескольких глотков чифиря.

Я начал: «Во время войны на оккупированной территории Франции был дом, в котором располагался один из самых свирепых отделов Гестапо из всех, созданных немцами. Дом этот находился по адресу улица Мадлен, тринадцать».

Слушатели были заворожены. Я столько раз пересказывал сам себе сюжет этого фильма, что, рассказывая его, мог видеть почти каждый его кадр. Я помнил выражения лиц актеров и даже тон, с которым они говорили ту или иную фразу. Я мог детально описывать жестокое лицо злодея из Гестапо, одежду героини и самолет, который был послан на бомбардировку немецкого убежища. В конце, когда главного героя должны были пытать в гестапо по адресу «улица Мадлен, 13», а второму герою нужно было вылетать на ночной рейд, чтобы сбросить бомбы, которые бы спасли его лучшего друга от

агонии, и в то же время сохранили в тайне его секреты, глаза Сашки Визиря, как мне показалось, заблестели немного сильнее, чем обычно.

На улице уже стало светло. Со всеми удлинненными описаниями, рассказом о внутренних чувствах героев и дополнительными разъяснениями, которые я привел для того, чтобы не-американцам было проще понять каждый оттенок и нюанс всей истории, я проговорил всю ночь напролет. Чифирь и вправду помог мне держаться. Некоторые зевали, но никто не уснул. Я был польщен их реакцией. «Ну что, Алекс, малыш, - подумал я. – Если ты не вернешься на работу в посольство, то всегда сможешь подработать в качестве неплохого рассказчика!»

Пахан встал и тепло пожал мою руку. «Только что заступила новая смена охраны, - сказал он, - и мы получили кое-что, что, я думаю, очень тебя порадует». Валентину протянули пакет. Пахан развязал его, и на свет появилось несколько пачек новых, крепких русских сигарет. Валентин открыл одну пачку, и мне первому предложил закурить. Потом остальное было распределено по кругу между остальными – мы все курили, выдыхали дым и удовлетворенно улыбались друг другу. От действия табака моя голова немного закружилась. Хотя она уже итак кружилась от ощущения безопасности и того успеха, который я приобрел в компании Валентина Интеллекта.

Когда в бараке разносили завтрак, Валентин отдал мою порцию черного хлеба своим шестеркам из шоблы-еблы, а мне дал взамен еще белого хлеба и жирного копченого мяса. В ту подкрашенную горячую воду, что нам разносили, он положил немного украденного чая, и все это вместе сошло за вполне приличный завтрак. После завтрака весь барак был выведен во двор на прогулку и в туалет. Четверо заключенных – политические, само собой – продели длинные жерди в уключины бочки для мочи и потащили ее на улицу, в горку, к зданию туалета. В самом туалете было шесть отверстий для того, чтобы справлять туда нужду, причем все потом выходило наружу и стекало в дыру в полу, расположенную в самом конце здания. Судя по всему, рядом шло строительство большего туалета – тут же валялись доски и длинные трубы, сложенные у стены этого низкого деревянного строения, расположенного неподалеку от внешней тюремной ограды. У самой тюремной стены находилась огневая зона, с мотками колючей проволоки, и Валентин Интеллигент объяснил мне, что если заключенный делал шаг в эту зону, охрана с вышек стреляла без предупреждения, и стреляла сразу на поражение.

Перед тем, как подошла наша очередь в туалет, а также и после его посещения, я шагал в паре с Валентином, придерживаясь рукой за его плечо для опоры. Мы ходили кругами по двору, делясь друг с другом рассказами из своей жизни. Как поведал мне Валентин, он был «медвежатником» - на воровском жаргоне это обозначает взломщика сейфов. Это ставило его на вершину класса профессионалов преступного мира. Ограбить кого-то, пусть даже и на большую сумму денег, было ниже его достоинства, по его словам, если только, конечно, грабеж не представлял из себя нечто выдающееся, вроде налета на военизированный эскорт, сопровождающий сейф с сотнями тысяч рублей. Время от времени Валентин пробовал, и успешно, захватывать целые вагоны с товарами, которые впоследствии распродал на черном рынке. Но его настоящей страстью была элегантная работа по взламыванию «невскрываемых» сейфов, и, по его словам, он вскрыл множество таких. Я ему верил. Валентин был одним из наиболее внимательных и быстрых на ум людей, которых я когда-либо встречал. У него была особенная способность знать, что вы собираетесь сказать, прежде чем вы закончите свою фразу, и он отвечал на вопрос прежде, чем вы его полностью зададите, потому что интуитивно угадывал, куда ведет ваш вопрос. Валентин обладал чрезвычайно острым слухом и цепким взглядом. В детстве, в возрасте восьми или десяти лет, он остался сиротой, и с тех пор был предоставлен самому себе. Однако он никогда не терял манер разговора, усвоенных еще в своем доме, так как его мать и отец были оба профессорами – вот откуда и пошла его кличка «Валентина Интеллекта».

Я спросил его, кто такие *суки* и *честняги*, и он рассмеялся. «Суки были созданы в МВД, - ответил он. – Эти гады не выносят, что *люди* сумели организовать, и они годами пытаются разрушить эту нашу организованность».

Меня зацепило слово «люди», которое в русском языке является множественным числом от слова «человек», и может употребляться в значении «народ». По мере того, как Валентин продолжал рассказывать, я понял, что этим словом урки именовали себя. Поэтому, когда Валентин назвал меня «человеком», сказав остальным в бараке: «Человек спит», то, тем самым, он сделал меня почетным членом своего сообщества. Позже я узнал, что все урки, или преступники, обычно приберегали слова «человек» и «люди» для особо драматических случаев, когда полагалось немного превознести самих себя. В обычном разговоре Валентин использовал слово «урки», принадлежащее к чисто уголовному жаргону и не имеющее английского эквивалента.

- Понимаешь, - рассказывал он, - иногда в МВД нас считают врагами народа, как *фашистов*. Но мы – преданные советские люди. Мы не хотим разрушить систему, не дай бог. У нас просто иное поле деятельности: мы очень хорошо живем за счет этой системы. Мы не создаем проблем, как эти прочие ничтожные отбросы (Валентин махнул рукой в сторону группы политических, с любопытством наблюдающих за нашей парой, проходящей мимо). – Мы просто делаем то, что умеем, и держимся вместе, и если будет еще одна война, мы поможем всем, чем возможно, и так далее. Но *урки* организованы, а *фашисты* – нет. Ты это видишь. Мы договорились с охранниками и продаем через них вещи, которые получаем от новоприбывших, делимся с ними, и они покупают нам хорошую еду и табак в городе, и следят, чтобы у нас было все, что нам нужно. Командиры пытаются искоренить это, наказывая охранников, которых поймали на таком сотрудничестве, но это никогда не работало, и они знают, что и не сработает. Поэтому они изобрели другой план. Они пошли в лагеря и начали терроризировать наименее стойких уроков побоями и угрозами, ты понимаешь, до тех пор, пока некоторых из этих бедолаг не запугали настолько, что они были согласны на все. А потом они сделали очень хитро, гады. Они заставили этих уроков делать работу, которая полностью противоречила воровскому закону.

- Какую работу?

- Что угодно, для тюрьмы. По закону ты никогда не можешь помогать строить тюремную стену или размещать колючую проволоку. Уважающий себя урка никогда не будет этого делать, или остальные его изгонят. То есть они заставили их нарушить собственные неписанные законы, понимаешь? Заставили их возглавить работы, например. Абсолютное табу. Каждый *человек* это знает. Принять такую работу – это почти то же самое, что и совершить самоубийство. И поэтому их прозвали «суки». МВД нужно было отделить их от основной массы уроков, или их бы быстро перебили. *Суки* – это те, кого перевербовали в МВД. «*Честняги*» – это те, кого не сумели перевербовать, и они ненавидят первых. Поэтому МВД всегда разделяет эти две группы во время этапа. Они не хотят, чтобы их ценных перевербованных перерезали. Эта война продолжается и в лагерях. Каждый раз, когда обнаруживается *сука*, обычно он теряет голову.

- Буквально? Ему кто-то отрезает голову?

- Да. Или его могут удавить. Таков закон. Кстати, очень хорошая у тебя шляпа, - мимоходом заметил Валентин. – Американская?

Я рассказал ему историю своей шляпы, и то, как она спасла мне жизнь.

- Она очень хороша, - тепло продолжил он. – Давай-ка посмотрим, как она сидит на мне.

Он примерил ее. Она ему отлично подошла, и прекрасно смотрелась с его ярким костюмом.

- Мне определенно нравится эта шляпа, - повторил он.

Я был недостаточно сообразителен и пропустил намек, но он на время оставил эту тему, хотя и носил шляпу до конца нашей первой утренней прогулки.

Время от времени другие *люди* подходили к Сашке Козырю, шедшему по двору впереди нас, но никогда не отдалявшемся слишком далеко от своего шефа. Они вполголоса говорили ему что-то, и иногда он отрицательно качал головой, и тогда просители отходили; в другой раз он кивал, подходил к Валентину, тянул его за плечо и шептал ему что-то на ухо, а Валентин либо вдумчиво слушал, либо, выслушав, дважды крепко хлопал Сашку по спине, либо так же конфиденциально отвечал ему что-то в нескольких словах. Мне не удалось расслышать ни одной из этих бесед, но Валентин объяснил мне, что обычно в них шла речь о передвижениях людей или товаров, иногда ему сообщали о делах в лагере, иногда говорилось о разбирательствах, в которых он, как *пахан*, призван был быть судьей. По его словам, обычно они решали все эти вопросы тихо, если только не требовалось более широкого обсуждения, да и просто существовала традиция уважения к мнению пахана, которую никто не нарушал.

Прогулка меня сильно утомила, и по возвращении я немного вздремнул. Когда я проснулся, то увидел множество глаз, устремленных на меня в ожидании. Моя популярность мне льстила. Я попросил пить, и визирь сварил еще немного выносящего мозг чифирия. Потом я дал знак Валентину, что готов. Он собрал моих слушателей, передал мне зажженную сигарету и кивнул начинать. Я решил, что попробую что-нибудь не столь длинное, и начал рассказывать им короткую историю, которая, я был уверен, им понравится. Сейчас я даже не могу вспомнить, была ли эта история реальной, или я прочел об этом в газете или в журнале, но, как мне кажется, она все же случилась на самом деле. Это была история про кинокомпанию, приехавшую в Нью-Йорк снимать фильм про ограбление банка. Долгое время кинокомпания вела переговоры с банком, чтобы им позволили там снимать. В результате переговоров с департаментом полиции Нью-Йорка копы согласились привлечь множество своих людей, чтобы обеспечить отсутствие машин и прохожих поблизости, которые могли бы помешать съемкам в тот момент, когда на улице показались бы вооруженные бандиты в масках. В назначенный день организаторы съемок установили камеры, свет, а потом просто тихо ограбили банк под присмотром ничего не подозревающих полицейских Нью-Йорка, считающих, что они охраняют съемочную группу, актеров и техников от любопытных прохожих. Все крики и вопли, которые стали доноситься из банка после того, как оттуда стремительно выехали машины, полицейские сочли за часть сценария.

Моя история произвела фурор! По мере того, как я рассказывал, каждый раз, когда моя сигарета гасла, мне тут же протягивали новую. Где-то во второй половине дня откуда-то взялся кипяток, и у нас снова появился свежий чай. Когда принесли дневной суп, Валентин с помощью своего знаменитого ножа накрошил в него немного отличного прибалтийского сыра, и я обнаружил, что из этого получилось просто восхитительное блюдо. По мере того, как сюжет истории разворачивался, мои слушатели сидели, почти не шелохнувшись. А я привлекал их внимание то к одному, то к другому моменту, чтобы дать им возможность гадать о развязке. Когда же я дошел до ключевого момента, побега, в красках описывая полицейских, стоявших вокруг с лицами, которые все более и более багровели по мере того, как полиция начала понимать, что же случилось, вокруг раздался смех, а на лицах слушателей читалось глубокое удовлетворение. Один из шестерок – тот, что разводил костерок из зубных щеток для приготовления дополнительной порции чая – хлопнул меня по спине, сказав, что им хотелось бы услышать от меня еще подобных историй. Это был мой успех, и мне это нравилось. Но оттого, что я долго говорил и курил, во рту у меня стало неважно, и я сказал, что мне нужно передохнуть до вечера. Они были жутко раздосадованы и начали шуметь, требуя другой истории немедленно – до

вечера еще слишком долго, и что я, черт возьми, о себе думаю, ради чего они меня так хорошо кормят? Хотя все это было сказано в дружеской манере, но сказанное имелось в виду, и я почувствовал облегчение, когда вмешался Валентин и объявил, что мне действительно нужно восстановить свой голос и силы для хорошего рассказа на всю ночь. Поэтому я отказался от чифиря, который не дал бы мне заснуть. Я забрался на зарезервированное за мной место и немного поспал, а потом просто тихо сидел с Валентином на протяжении остатка дня и грыз понемногу белый хлеб с мясом, внимая его советам относительно жизни в тюрьме и секретам выживания в лагере. В числе прочего он рассказал мне, что если я услышу, как охрана в пересыльной тюрьме упоминает «Индию», то мне следует сделать все, что бы не идти туда, потому что это слово означает камеру, где находятся сговорившиеся с охраной урки. В эту камеру политических «по ошибке» сажают на несколько минут (обычно политических и уголовников разделяли). К тому времени, как «ошибка» обнаружится и будет исправлена, бедные политические станут еще намного беднее.

- Валька, - спросил я, - как же туда не попасть, ведь ты идешь туда, куда тебя отправляют? Как же этого избежать?
- Ну, упади в обморок, споткнись, что-то вроде этого, прикинься больным, только не ходи.
- А если я не смогу сделать так, чтобы не попасть в эту камеру?
- Ну, это просто.

Другие урки, слушающие наш разговор, усмехнулись и обменялись понимающими взглядами.

- Давай, пахан, расскажи ему! - сказал один из них.
- Конечно! Ведь он мой брат, - с готовностью ответил Валентин и обратился ко мне:
- Итак, Саша, если ты увидишь белый чистый платок, лежащий посреди грязи рядом с бочкой для мочи, ты вытрешь об него свои грязные ноги?
- Конечно, нет! - ответил я.

Я не понимал, к чему он клонит. Остальные рассмеялись после моего ответа.

- Конечно, да! - выразительно произнес Валентин, и весело засмеялся, а все остальные также смеялись в ответ на мое недоумение.
- Послушай, Валька, это какая-то загадка, или что это? Я не понял, - произнес я, смущенный их смехом.
- Просто запомни, что я сказал, - ответил Валентин. Он все еще посмеивался. В его глазах играл задорный огонек, и он явно надо мной потешался. Больше про эту загадку он мне ничего не поведал.

Когда начался ужин, меня снова спросили, хочу ли я добавки, и я снова с жадностью ее съел. Потом меня практически накрыло сном. Я сказал Валентину и остальным, что посплю час или два, возможно, до темноты, и это их устроило. Я думаю, что более всего им нравились истории, рассказанные в темноте, несмотря на яркий свет лампы в конце барака. Я стал засыпать в надежде на то, что смогу хорошенько отдохнуть. Но не прошло и часа, как меня разбудили ужасные колики в животе. Я точно знал, что со мной происходит, и сильно встревожился, так как хорошо помнил жуткую сцену, виденную накануне. Жирное мясо и все те тарелки жидкой каши, что я съел, возымели свое действие. До очередного визита в туалет оставалось, по крайней мере, еще восемь или десять часов, и я уже видел, что происходит, если воспользоваться бочкой.

Я решил рассказать обо всем Валентину и обратился к его помощнику, спросив его, могу ли поговорить с паханом. Сашка Козырь вразвалку удалился куда-то в хаос барака и вернулся с Валентином. Я прошептал ему на ухо, в той же манере, как это делал Сашка:

- Валька, у меня ужасный приступ поноса. Что делать?

Валентин на какой-то момент погрузился в раздумья. Выглядел он очень мрачно. Потом он быстро спросил:

- Это уже произошло?

- Пока нет, но я не смогу сдерживаться долго.

Валентин повернулся и подозвал своего поверенного. Они склонились головами друг к другу, потом взглянули на меня, потом подозвали еще двух других. Менее чем через полминуты их переговоры окончились, и я увидел, что мой друг уже раздает указания. Другие кивали. Валентин снова подошел ко мне.

- Ты можешь петь? - спросил меня он.

Я уже начал привыкать к его шарадам.

- Да, и что? - ответил я.

- Хорошо, - ответил Валька, загадочно улыбаясь. - Иди с ними.

Сашка и еще двое поверенных помогли мне перебраться через барак до бочки. Когда мы туда дошли, они посадили меня на край и загородили собой спереди – так, что моя голова торчала из-за их плеч, но нижняя часть туловища была скрыта от посторонних глаз. При этом они стали громко горланить непристойную песню о попойках и женщинах.

- Пой! - один из них сказал мне.

- Я не знаю слов!

- Просто открой рот и делай вид, - прокричал он мне в ответ.

Я силился стащить с себя штаны, и при этом мне определенно не хотелось упасть назад. Наконец, я их стянул. Внезапно мои провожатые разом зажгли сигареты и стали яростно дымить, продолжая орать свою песню. Через некоторое время я произнес: «Спасибо. Можем идти назад».

По пути я еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Потом я хорошенько перекурил и выпил кружку холодного чая, а затем люди из внутреннего круга Валентина снова собрались кругом. Для затравки я рассказал им короткую историю под названием «Банкнота в миллион долларов». Они обожали все истории, где речь шла о деньгах. А затем я приступил к мистической истории Эллери Квин (Ellery Queen), которую я помнил достаточно хорошо, и рассказывал ее на протяжении всей ночи. Каждые полтора часа, или около того, я с поверенными делал очередной визит к бочке, чтобы вновь перекурить и погорланить вульгарные песни. Так и прошла эта ночь.

На следующий день во время прогулки Валентин сделал еще один шаг, показывающий его доверие ко мне. Он поведал мне про свой план побега, и пригласил к нему присоединиться. Меня это очень взволновало. Сердце принялось бешено колотиться. На середине объяснений его плана у меня случился очередной приступ, и мне пришлось броситься к сараю уборной и умолять, чтобы меня пустили в очередь. Когда я вернулся, Валентин продолжил. Уборная должна была стать нашей отправной точкой. К моменту

нашего разговора ему уже удалось спрятать в складской куче у сарая несколько длинных железных труб, лежавших неподалеку. План был следующий: спрятаться в уборной, и ночью воспользоваться этими трубами, как шестами, чтобы перемахнуть через стену. Я ответил, что для этого предприятия мне сперва нужно набраться сил. Валентин согласился, что нам следует подождать – ему действительно очень хотелось, чтобы я был в его компании.

- Я честно признаюсь тебе, почему я так восторгался твоей шляпой, Саша, - сказал Валентин; в его искреннем и открытом взгляде, обращенном ко мне, как обычно, присутствовала толика иронии. – Мне она нужна для побега. Я решил, что буду выглядеть в этой шляпе как большой партийный начальник, и никто меня никогда не остановит. Но если ты тоже пойдешь с нами, она поможет нам всем. Но я не по этой причине позвал тебя. Я думал об этом, когда ты рассказывал свою мистическую историю ночью. Ты мне очень нравишься, Саша, и я считаю, что тебе надо к нам присоединиться.

Некоторое время я обдумывал сказанное. Потом я спросил:

- Но какая жизнь меня ждет там? Я же буду прятаться до самого ее конца.
- Я сам прятался довольно значительную часть своей жизни, ты же знаешь, - сказал Валентин. – Это не так уж и плохо. Я сбежал из детдома, после того, как моих родителей...

Он замолчал, и некоторое время мы шли в тишине. Потом он продолжил:

- На самом деле, мои родители были членами партии. Их поймали на каком-то заговоре, или что-то вроде. Я так и не узнал, с чем это было связано. Я помню, что они вели себя как совершенно обычные люди. Но их арестовали за измену, а потом расстреляли, значит, они, должно быть, сделали что-то ужасное.

Я не мог поверить в такую наивность.

- Очень многих совершенно невинных людей расстреляли во время зачисток, ты же, конечно, знаешь об этом! - ответил я.

Валентин посмотрел на меня так, будто я его оскорбил.

- Сталин бы никогда этого не допустил! - произнес он с помпой.

Я понял, что он говорит это абсолютно серьезно, и поэтому не стал продолжать эту тему. Должно быть, он верил, что я – шпион, и поэтому знаю разные способы того, как вести потайной образ жизни. Мои познавательные рассказы о криминальной жизни в Америке, должно быть, усилили это впечатление. Я решил, что пусть на данный момент так оно и останется.

- Валька, - спросил я. – Сколько времени в тюрьме ты провел в общей сложности?
- Если считать детдом, который я, безусловно, засчитываю, то почти двадцать лет.
- И тебе еще нет сорока.
- Тридцать восемь, ты прав. Мой первый побег я совершил, когда мне было одиннадцать.
- Но разве это не ужасная жизнь?
- Я скучаю по своей женщине. И по вину. Без вина мне очень тяжело. Но ты же видишь, что в тюрьме я живу очень неплохо. Такая жизнь никогда не продолжается очень долго. И

когда я выйду, то у меня нет другого пути, чтобы быть со своей женщиной, пить вино и носить хорошие костюмы, как только быть вместе с урками.

Валентин иронично усмехнулся.

- Ты можешь представить, чтобы я работал в конторе? Это же сумасшествие! Это и есть настоящий рабский труд. У нас прямо тут, в Куйбышеве, есть отличная малина. И девушка там меня ждет. Я использую свой шанс, и надеюсь, что ты будешь со мной. Мы можем устроить очень хорошую жизнь.

Мы пожали руку друг другу - я пообещал, что буду с ним. По тюремному двору мы шли, держась за руки. В Советском Союзе в этом нет ничего такого, что отдавало бы гомосексуализмом. Мужчины, которые дружат, ходят так открыто, и это воспринимается совершенно нормально. То же относится и к женщинам.

Когда мы вернулись в барак, там всюду шла некая «игра». Двое парней из шоблы-еблы лежали на верхней полке со спущенными штанами, задницей кверху. Другой стоял рядом с коробком спичек. Как только один из лежащих говорил: «Давай!», третий зажигал спичку и держал ее над задом своего товарища, в то время как тот выпускал газ, и голубое облако пламени метана взмывало в воздух. Политические смотрели на это с отвращением, в то время как молодые шобла-ебла смеялись и аплодировали. Что же до моего собственного желудка, то он, казалось, успокоился. В течение этого дня я не столько рассказывал истории, сколько отвечал на вопросы о криминальной жизни в Америке, электрическом стуле, ФБР, оружии, жизни известных уголовных авторитетов, техниках взламывания сейфов (едва ли здесь я был экспертом, но Валентин выразил вежливую заинтересованность, поэтому я продолжил).

Потом Валентин рассказал об одном из своих предприятий, когда он украл целый вагон сахара, около шестидесяти тонн, и продал его по очень выгодной цене. Спросив разрешения пахана, другие также рассказывали о своих делах. Один урка рассказывал ужасно неприятные вещи о том, как заключенные калечили себя, чтобы избежать отправки в печально известные лагеря на Колыме, в Сибири. Так, один такой заключенный, например, при помощи своей *мойки* накрошил грифель карандаша, а затем втер эту пыль себе в глаз, тем самым ослепив себя. Глаз покрылся язвами, и его удалили. И при этом того беднягу все равно отослали на Колыму. Другой прибил свою мошонку к нарам и кричал: «Убейте меня, сволочи! Выведите и убейте меня!» Но они просто вытащили гвоздь при помощи гвоздодера, вылили йод на рану и посадили его в состав. Несколько молодых парней печально и сентиментально говорили о своих матерях. Большинство урок имели татуировки, у некоторых их было очень много, и многие носили слово «Мать» на тыльной стороне ладони или на бицепсе. Валентин попросил меня рассказать про мою мать. Я ответил, что ничего не знаю про нее, и что, вероятно, она была в Москве, а также что моя мать неважно чувствовала себя в последнее время. Я сказал, что у меня нет с ней никакой связи, и я даже не знаю, знает ли она о том, что случилось со мной.

- Напиши ей письмо, - сказал Валентин.

Я горько рассмеялся в ответ на эту жестокую шутку.

- Я серьезно, - сказал Валентин. – Послушай, неужели ты думаешь, что я не смогу переправить его на волю? Напиши ей треугольник. Сейчас! Давай.

И он поручил Сашке достать мне кусок бумаги и карандаш.

Что такое «треугольник»? Это значит, что если вы слишком бедны, чтобы позволить себе купить конверт и марки, вы складываете свое письмо треугольником, и советская почта все равно его доставит. Начало такому письму было положено во время войны, когда у солдат не было ни денег, ни конвертов. Этот способ почтовых отправок все еще использовался в пятидесятые годы. Я написал письмо матери, хотя и не верил, что оно дойдет, несмотря на заверения Валентина. Я написал ей, что со мной все хорошо, что буду отбывать срок в Средней Азии, в Джезказгане 292 (я видел этот номер на папке со своим именем, и был прав, догадавшись, что это был почтовый адрес – однако я не знал, как оказалось впоследствии, что этот адрес был неполным). В письме я спрашивал, выдали ли ей в посольстве мои личные вещи – потому что думал, что она сможет их продать, и это дало бы ей хоть некоторые мизерные средства для существования. Также я попросил ее связаться с Мери и сказать ей, что со мной все в порядке, и что она может не чувствовать себя стесненной данным мне обязательством ждать меня. От этой мысли мне стало очень грустно, но даже с планами побега в голове я понимал, что пройдет немало лет перед тем, как я смогу снова ее увидеть. Я не хотел держать ее в заточении данным мне обещанием ждать меня - обещанием, доставшимся мне в результате шуточного розыгрыша. Теперь та шутка не казалась мне удачной.

Валентин взял письмо и отдал его Сашке, который сразу же пошел к двери барака, и я увидел, как он просунул его в окошко раздачи, отдав охраннику.

- На самом деле, Валька,- произнес я, - все, что я хочу – это выбраться из Советского Союза как можно быстрее, и если для этого потребуется какое-то время быть с тобой, в качестве первого шага, то я - за.

- Но зачем ты хочешь оставить СССР? - спросил Валька. Он был по настоящему обескуражен.

Когда снова наступила ночь, я начал свое самое длинное повествование. Оно растянулось на много ночей, а в дневное время, между большими порциями сна и еды, я рассказывал об американском преступном мире. Но ночи были отведены мной под настоящее искусство, и я решил посвятить их «Отверженным» Виктора Гюго. Сейчас я уже не помню, как долго занял у меня этот многосерийный пересказ. Несколько ночей. Помню, что я часто терял линию, и мне приходилось возвращаться назад, чтобы найти ту или иную зацепку. Но это воспринималось нормально. В особенности молодые заключенные, хотя, как мне кажется, и все остальные мужчины, привыкшие жить вне закона на протяжении всей своей жизни, были захвачены этой историей. Их тронула судьба Жана Вальжана и его беспощадного преследователя. Им было нетрудно представить в качестве каторжников на галерах себя. Эта история была для них близкой и настоящей. Думаю, каждый из них мог увидеть себя в образе преследуемого главного героя, клейменного несправедливым обществом, которое не позволяло ему прожить свою жизнь так, как бы он этого хотел.

Моя диарея так и не прошла полностью, и после некоторого времени я стал волноваться по поводу того, что не смогу набраться сил в полной мере для побега с Сашкой и Валентином. Время от времени ко мне возвращалась небольшая горячка. Аппетит у меня оставался хорошим – ел я много, и набрал достаточно неплохой вес. У меня вновь появились силы для того, чтобы делать некоторые упражнения и ходить с легкостью. Мои мышцы набирали упругости и приходили в тонус. Но я все же не мог представить, что я смогу прыгнуть с шестом с крыши уборной, а потом бежать так быстро, как только возможно, в течение длительного времени – в том случае, если не сломаю ногу или если меня не ранят. В один из дней я сказал Валентину об этом. По его взгляду можно было понять, что он ужасно расстроен – судя по всему, он действительно с горечью воспринял мои слова. «Если я не смогу пойти, а ты будешь готов, я хочу, чтобы ты взял мою шляпу и галстук», - сказал я ему. Ранее я показывал Валентину свой галстук, который был на мне в

день ареста – хотя он был смят в моем узле, но позже мы «погладили» его, положив под моим матрацем. Валентин надевал его время от времени вместо своего, гораздо более яркого. Он был польщен моим предложением. Валентин знал, что моя шляпа ему поможет, а галстук будет выглядеть более респектабельно, чем его, если он решит сойти за чиновника. Но после нашего разговора Валентин настоял на том, чтобы подождать еще какое-то время.

Это не помогло. Моя горячка стала навещать меня ежедневно, а от приступов диареи мой организм обезвоживался. Ну а затем, в один из дней, утром, пришли новости, положившие конец всяким раздумьям. Нам предстояло продолжить путь по этапу в Джезказган. По этапу, само собой, должны были отправить меня, а также другого заключенного, урку, молодого парня по имени Вася.

«Я туда не поеду!» - заявил он, и затем приступил к странной процедуре. Сначала Вася достал у кого-то иголку и обрывок хорошей нитки. Потом он несколько раз процедил нитку сквозь свои грязные зубы – до тех пор, пока она хорошенько не покрылась зубным налетом. Затем он засучил штанину и просунул нитку с иглой себе под кожу, в верхней части бедра, в жировую ткань, неглубоко – так, что показалась только капля крови, и вытащил нитку наружу. Я спросил Валентина, что это он делает.

- К вечеру увидишь, - ответил Валентин. – Он будет очень плох. И тебе бы тоже неплохо было бы стать таким же, потому что для этапа ты не в форме.

- Мне не нужно претворяться, - ответил я. – Уверен, что горячка у меня достаточно сильная. Я не говорил тебе об этом - потому что не хотел, чтобы ты волновался, да и потом я хотел пойти с тобой, ты же знаешь.

Валентин поднял на меня тяжелый взгляд.

- Это очень плохо, брат, - сказал он мне. – У нас бы с тобой могла быть хорошая жизнь.

Потом наступила пауза. Затем Валентин произнес:

- Тебе следовало бы начать представление. Этап начинается завтра.

Мы еще немного поговорили, и Валентин помог мне разработать сценарий моего шоу. Я передал ему свою любимую шляпу и галстук, и мы пожали друг другу руки. Потом я свернул свои пожитки, пошел и лег на мокрый пол рядом с бочкой и принялся стонать, держась за живот. Время от времени охранник заглядывал в окошко. Мы подождали, пока он несколько раз не увидит это представление. Затем Валентин постучал в дверь и сказал охраннику, чтобы тот вызвал врача, потому что в бараке находится больной человек. И он был прав. К этому времени я действительно чувствовал себя ужасно. Валентин предупредил меня, что дело это растянется на весь день, и к концу этого дня мне и правда не нужно уже было ничего изображать. Мой желудок сводили тяжелые судороги, а сам я лежал в холодном поту и дрожал. Наступил вечер, но доктор так еще и не подошел, а я был хорош и по-настоящему болен. Время от времени Валентин подходил туда, откуда я мог его видеть, и ободряющее махал мне рукой. Когда подходило время ужина, Валентин привел с собой Васю и сделал знак, что он теперь будет со мной. Вася подошел и уселся за мной на корточках в неудобной позе. Лицо его пылало, а в глазах горел нездоровый огонь. Он задрал свою штанину. «Смотри», - только и сказал он мне. От увиденного меня чуть не вырвало. Его бедро настолько опухло, что вся кожа на нем натянулась. Она была ужасно обесцвечена. Инфекция свирепствовала, но не было абсолютно никакого следа от той ранки, что ее вызвала. Вася взял мою руку и приложил ее к своему бедру. Оно было горячее, и он сам был в горячке. «Ты когда-нибудь видел такую *мастырку*?» - спросил он меня с гордостью. Я вообще никогда раньше не видел ни одной *мастырки*, но я слышал

жуткие рассказы о том, что делали с собой заключенные для того, чтобы избежать этапа, и поэтому догадался о значении этого слова. «Поздравляю», - слабо ответил я.

Пришел врач. У Васи к этому моменту температура была 41, и он находился в бреде. Меня уже дважды вырвало, а мой градусник показал 39. Прибыли носилки, и нас отнесли в другое здание, где располагался небольшой госпиталь. Сразу после наступления темноты, на второй день моего пребывания в больнице, я услышал ужасную канонаду выстрелов, эхо от которых гулко разносилось между зданиями тюрьмы. Позже, в ту же ночь, меня бережно разбудил один из санитаров-заключенных. «Проснись и выслушай то, что я должен тебе сказать, *человек*», - прошептал он. Я заставил себя проснуться. «Пахан, Сашка и другой, по кличке Тигр, сделали сегодня попытку. Ты, наверное, слышал кое-что?»

Я слабо кивнул, страшась новостей.

«Тигр мертв. Сашка получил пулю в ногу, но смог перебраться через стену. Пахан тоже смог. Доброй ночи, *человек*».

Я уснул.

Глава 15

Мужчина, лежавший на соседней койке, был из «цветных» - то есть политических заключенных, перенявших кое-что от *урока*. Мне он витиевато представился в качестве «Барона Ласло какого-то» (я не запомнил его фамилию); все, что я запомнил, это то, что он был неким «бароном». Благодаря своему особому чутью у него отлично получалось торговать, покупая дешево и продавая дорого любому, кто за это заплатит. Из-за своих повадок в тюрьме, хотя он и был политическим, уголовные авторитеты относились к нему как к одному из *уроков*. Мне он показался скользким и увертливым типом, а его вычурную манерность я нашел немного подозрительной.

Барон рассказал мне, что сидел в тюрьме с конца войны. Во время же войны он продавал сведения всем, кто платил за это. Работал он на англичан, швейцарцев, немцев, дважды перепродавая информацию между ними, при любой возможности делая на этом деньги. В конце войны, имея при себе секреты от всех воюющих сторон, он начал продавать их советским агентам.

Когда Красная Армия входила в Будапешт, друзья Барона советовали ему бежать на Запад. «Почему я должен бежать? - парировал он. – Ведь скоро здесь будут мои работодатели!»

Русские вошли в город, и он наведлся к советскому коменданту Будапешта. Комендант сказал ему, что советская армия высоко ценит полученные от него разведанные, и что в Москве его наградят за сотрудничество. Барона посадили в самолет, по прилету в Москву ему показали город, а после этого отправили прямиком в главное управление МГБ. Там некий генерал задал ему вопрос: «Мой дорогой Барон, то, что вы работали на британскую, немецкую и нашу разведку, мы знаем. А на кого еще вы работали?»

Ему дали десять лет. Он был ошеломлен. Ведь он думал, что находится среди друзей. Но он был достаточно умен, чтобы принять свое положение, когда он его понял. Барон во всем признался, и полтора года допросов он провел достаточно легко – в основном, насколько я мог судить, в бахвальстве о своих подвигах. Мне он доверился и рассказал, что, по слухам, его должны были отправить в печально известные колымские лагеря. Он спросил одного из своих друзей-уроков, что с этим делать. По совету этого друга он очистил головку чеснока, выкупленного загодя у охранника, и засунул ее себе в задний проход: «Проверенный способ поднять температуру, мой друг! Я и тебе это советую. Никогда не подводит. Они меня сюда отправили с тридцатью девятью градусами сегодня днем!»

Врач, который пришел нас осматривать, также был заключенным, матерым типом. Он быстро закончил со мной, выписав таблетки от диареи и горячки, а также для стимуляции сердца, и обратился к Барону. Его он осмотрел очень тщательно. Потом отозвал прочь фельдшера, который нас сопровождал, и стал очень тихо говорить с Бароном. Кое-что из этого разговора я ухватил, хоть и притворился спящим.

«Барон, я тебя очень уважаю, - говорил ему врач. – Я буду держать тебя здесь до тех пор, пока не пройдет этап. Но помни, что будет еще один этап, и ты не сможешь их всех избежать. Кстати, ты мог бы мне все рассказать, мне было бы проще. Так бы и признался, что засунул кусок чеснока себе в задницу. Я бы все равно тебя здесь держал».

Потом он усмехнулся, похлопал Барона по руке и пошел дальше по своим делам. Из этого случая я сделал для себя вывод, что заключенный-врач может сотрудничать с некоторыми типами заключенных - до тех пор, пока у него есть, что предъявить начальству в качестве медицинского свидетельства, оправдывающего госпитализацию. Я решил запомнить это, ведь позже эти сведения могли мне пригодиться.

Параша, или тюремный телеграф, подтвердила побег *пахана* и Сашки, а также гибель Тигра. Также нам сообщили, что где-то в системе произошел сбой, и трех *честняк* (отказавшихся сотрудничать с администрацией) посадили в камеру, где были *суки*, и те просто повесили их. *Парашей* именовалась также бочка для мочи, служившая своеобразным центром обмена информацией в бараке.

Венгерского барона выписали из госпиталя – предполагаю, что со свободным от чеснока задним проходом – как только этап, которого он хотел избежать, закончился, и я больше никогда его не видел.

Врач отнесся ко мне с симпатией, и когда моя горячка пошла на убыль, продержал меня в больнице еще три или четыре дня. Также он сделал все для того, чтобы меня хорошо кормили, и я смог восстановить свои силы. Однако когда подошел следующий этап в Джебказган, мне не представилось возможности избежать его. Нас опять построили во дворе. Потребовалось некоторое время для того, чтобы собрать группу из сорока или пятидесяти заключенных, и пока мы там стояли, я заметил человека, ходившего вдоль рядов с письмом. Он узнавал имена у стоявших. Кто-то указал на меня. Человек подошел. «Ты Должин?» - спросил он. Я кивнул, в изумлении. Он протянул мне письмо. «Оно здесь уже несколько дней, - сказал он. – Я думал, что уже не найдет тебя».

Я не мог в это поверить. Письмо было из Москвы, от моей матери. Я был так ошарашен, что порвал его, открывая конверт. Новостей в нем было немного. Написано оно было достаточно сухо – в письме мать сообщала, что получила мой треугольник, и была рада узнать, что со мной все в порядке, а также что она попытается переслать мне продуктовую посылку. Погода стоит хорошая, писала она, и этим почти все исчерпывалось.

Однако, тем не менее, это письмо было для меня как пища, как теплая ванна или глоток вина. Я почувствовал себя намного сильнее, и новая надежда, словно волна, нахлынула на меня. Весь свой путь до железнодорожного состава, пока мы вышагивали по улицам Куйбышева, я прошел с улыбкой на лице. Мне кажется, что даже в тот момент, когда меня, словно кусок мяса, втискивали в столыпинский вагон, я все еще улыбался. Теперь у меня появился шанс, что кто-то начнет что-то делать от моего имени: ведь отныне там знали, где я нахожусь.

Все это оказалось напрасной надеждой. И, тем не менее, она позволила мне держаться на протяжении всего того времени, как наш поезд пробирался все дальше и дальше на восток – добравшись сначала до Урала, а потом перевалив и за него.

Среди нас был один красивый мужчина, военный, бывший Герой Советского Союза. Погоны с него были сорваны, а сам он поник духом. Еще там был министр из Армении. Ранее, до ареста, он был чрезвычайно тучным, но растерял весь свой вес во время допросов. Теперь кожа на нем висела. Он мог бы пройти по улицам голым без смущения, потому что складки его живота доставали ему почти до колен. Мне этот человек

признался в том, что в этих складках он прячет сверток денег, который никогда не находили при обыске – ведь стоило ему немного напрячь мышцы, и сокровище было надежно спрятано. Звали его Хачатурян – я запомнил это имя, так как интересовался в свое время работами одноименного композитора.

Когда поезд проходил через Уральские горы и охранники открыли окна, мы получили возможность увидеть покрытые весенней травой склоны холмов. Прошло немногим более суток, как мы доехали до следующей пересыльной тюрьмы, находящейся в небольшом городке под названием Челябинск. Я никогда не забуду своих впечатлений о первом часе, проведенном в той тюрьме.

В нашей группе было восемь политических заключенных, включая того Героя Советского Союза и армянского министра с его деньгами в складках живота. Нас построили, как всегда, и отделили от обычных уголовников, составлявших самую большую группу на нашем поезде.

Несколько охранников вышли из здания. Они спросили тех, кто нас обыскивал: «Куда этих?» Кто-то ответил: «В Индию».

Я упал на землю, держась за живот. Я катался, стонал и кричал, что у меня ужасная горячка, и я умираю.

Внезапно мои сморщенные ягодицы ощутили тяжелый пинок ботинком. Я вскочил на ноги, крича от боли. Охранник, пнувший меня, грубо засмеялся, добавив, что койке в госпитале придется ждать меня еще долго, если я могу так отплясывать. Я же кричал ему, что у меня ужасная горячка. И правда, она у меня была. Я чувствовал, как она снова накатывает на меня во время нашего путешествия на поезде. Мои губы пересохли, а голова и суставы болели. Я кричал им, чтобы они потрогали мой лоб, вызвали доктора, измерили температуру, и они сами все увидят! Но охранники просто впихнули меня в шеренгу, а потом погнали нас сначала по коридору, затем вниз по ступенькам, пока мы не оказались напротив камер под номером 49.

Изнутри доносился ужасный шум – слышался постоянный гул, словно там находилось стадо животных. У двери мы, по одному, прочитали охране наши «молитвы», а потом нас друг за другом впихнули вовнутрь. В этой шеренге я шел пятым. Когда в камеру вошел первый, гомон утих, наступила пауза, а потом раздался громкий смех. Потом пошел второй. Пауза. Смех. Когда третий входил в камеру, мне удалось заглянуть туда. У меня возникло ощущение абсолютного бедлама – я увидел мешанину из тел, и, как мне показалось на первый взгляд, они все были голыми. Но мне бросилось в глаза другое – это был лежащий возле бочки для мочи, точно на пути каждого входящего, расстеленный на полу белоснежный платок. Третий политический, войдя, осторожно сделал шаг в сторону, чтобы обойти его, и тут же раздался хохот. Человек, шедший передо мной, прочел свою молитву. Меня начало мутить, я чувствовал слабость, но, в то же время, был заинтригован этим платком. Я вспомнил тот загадочный вопрос, что услышал в свое время от Валентина. Как он, отвечая, сказал мне, что я *конечно* вытру свои ноги об этот платок. Теперь я гадал – зачем? Мне по-прежнему хотелось выбраться из этой камеры, но, если уж мне предстояло оказаться в ней, то, по крайней мере, я знал кое-что, чего, похоже, никто другой не знал. Конечно, думал я, хорошо бы, чтобы мне это пригодилось. Ведь мой *пахан* никогда ранее меня не подводил.

И вот я сделал шаг вперед и прочел свою молитву, добавив: «Послушайте, я весь в горячке, я...» Но охранник лишь с силой выпихнул меня за дверь. Ну что ж, подумал я – ладно.

Войдя, я тщательно вытер свои ноги об платок.

Никакого смеха. Потом я взглянул вперед.

Увиденное все еще стоит у меня перед глазами, хотя временами в эту картину мне трудно поверить – казалось, что горячка исказила мое зрение.

То, что я увидел, в точности напоминало перенаселенную клетку с обезьянами в большом зоопарке. Здесь были, казалось, сотни тел – они висели на руках и на ногах, вверх тормашками, держась за лежанки и балки, перемещались вверх-вниз между ними, как молодые обезьяны, лежали в гротескных позах, ели что-то руками, болтая и жестикулируя – и все они были голыми, за исключением нижнего белья, и потными от жары в этой душной камере. И все эти полуголые лоснящиеся от пота тела были покрыты татуировками – как казалось на первый взгляд, с головы до пяток.

Кроме нашей группы политических, во всей камере не было ни одного полностью одетого человека.

Как только я сошел с платка, три или четыре грязных, жутких на вид человека немедленно бросились ко мне. Один из них взял мой узел, с явным намерением помочь, а не украсть: «Сюда, дай-ка снять его с твоих плеч, брат, ты выглядишь как развалина». Меня подвели к койке. «Добро пожаловать, брат, садись, мы сделаем чай, а потом ты сможешь рассказать нам о себе».

Я гадал, как долго смогу их обманывать. Я, определенно, не был никаким братом по отношению к этим мерзким типам. На моем теле не было ни одной татуировки. «Может, мне сослаться на горячку, чтобы оставаться одетым?» – размышлял я. Тем более что дрожать я начинал уже достаточно сильно.

Татуировки – отличительный знак этих членов советского общества, которые, по выражению Валентина Интеллигента, избрали в нем «иную линию поведения». В Куйбышеве я уже видел искусно выполненные татуировки на пальцах и руках. Здесь же моим глазам предстала целая галерея изображений на обнаженной плоти. У одного человека на одной из ягодиц красовалась кошка, а на другой – мышь, и когда он шел, кошка преследовала мышку. Многие татуировки были эротическими. Также тут можно было увидеть, конечно же, множество венков и ленточек с именами девушек, цветы и сердца. У одного мужчины всю спину занимала сложная цветочная композиция, обрамляющая горделивый девиз: «Умру за свою мать». У другого на каждом из пальцев рук и ног красовалось по женскому имени. Несколько заключенных имели татуировки даже на пенисе, гласившие: «Шалун». Один был с надписью на лбу: «Раб коммунистической партии». Интересно, подумалось мне, насколько преданным советским гражданином был этот тип? Еще один ходил с абсолютно черной грудью, усеянной отметинами татуировки, скрывавшими, по всей видимости, некое изображение. Я не мог удержаться, чтобы не спросить его об этом, в то время как приходил понемногу в себя, сидя на койке и потягивая горький чифирь, принесенный мне одним из них. Он ответил, что та татуировка была гордостью всей его жизни – на ней в полную величину красовался портрет Лидера, Сталина, который «эти сволочи» замарали после ареста, сказав, что это было неуважением. «Неуважение! Да я люблю Лидера! Эти сволочи даже не знают, что такое уважение!» - говорил мне он.

Я рассказал им о Куйбышеве и побеге пахана, выиграв немного времени перед тем, как они стали спрашивать меня о моем собственном уголовном прошлом. Многие из них хорошо знали Валентина, и все они без исключения знали его репутацию. Они начали смотреть на меня с огромным уважением, когда я поведал о том, что был приглашен участвовать в побеге, и сочувственно вздохнули, когда я сказал, как был помещен в госпиталь и не смог к нему присоединиться. К этому времени я зашел в своем маскараде уже так далеко, как только мог, и потому решил дать волю своей трясучке, сделав ее более выраженной, со словами: «Братья, боюсь, что я очень болен; у меня снова горячка подступает. Надеюсь, что не заражу никого из вас!»

Они от меня сразу отшатнулись. Но один лысый, со звездами на сосках и змеей, вьющейся вокруг его живота, приблизился ко мне. Хотя вид у него был свирепый, голос оказался мягким, а повадками он походил на медбрата или доктора. Он потрогал мой лоб тыльной стороной руки. «Брат, ты, и правда, плох», - сказал он мне. Потом он повернулся и

призвал тишину в камере. Когда все обратились во внимание, он произнес: «Один из Людей умирает, братья. Ему нужен врач, быстрее!»

Немедленно некоторые из этих обезьян помчались к открытым окнам и начали кричать. Другие барабанили в дверь барака. «Срочно, помощь!» - кричали они. «Человек умирает! Помогите! Эти мучители не вызывают врача! Помогите! Врача! Помогите!»

Кромешный ад.

Через все эти крики я слышал также другие вопли. Теперь, когда они удовлетворили свое любопытство относительно меня, их внимание переключилось на моих товарищей – политических заключенных. Тут уже не было никаких потайных ухищрений с мойкой. Они просто сбивали бедняг с ног, и пока один или двое держали жертву, другие стягивали с него одежду и обыскивали.

Некогда толстый армянский министр лежал на спине, ноги в стороны, покрывавая, точно резиновый болванчик. Его сверток с деньгами был найден, что вызвало всеобщий смех и ликование. Не прошло и пары минут, как бедные *фашисты* отчаянно пытались прикрыться грязным и плохо подходившим им тряпьем, которое *урки* выдали им в обмен на их одежду. Судя по всему, бывший герой Союза попытался сопротивляться, так как теперь он с ошарашенным видом сидел на полу, пытаясь остановить идущую из носа кровь, а голова его жалобно тряслась.

Вскоре дверь в камеру открылась, и вошел старший офицер с двумя или тремя охранниками. «Это безобразие! – крикнул он. – Это ужасная ошибка!» Потом, как будто он был рассержен, прикрикнул на охранников: «Выведите отсюда политических, идиоты! Что, не знаете, что эта камера только для цветных?» В то время как недоуменных *фашистов* выводили – с тем, что осталось от их пожитков – майор извинялся перед каждым: «Ужасная ошибка. Этого ранее никогда не случалось. Эти безглазые идиоты будут наказаны, не сомневайтесь». В ответ на это охранники ухмылялись. Один из политических, более храбрый, нежели остальные, спросил: «А что насчет того, чтобы вернуть обратно наши вещи?» Но офицер только продолжал бормотать об ужасной ошибке, как будто ничего и не слышал, а охранники выпихнули семерых человек в коридор. Перед тем, как дверь за ними закрылась, офицер заглянул в камеру и подмигнул уркам.

После завершения этого представления урки вновь подняли вопли, призывая доктора. «Один из нас умирает!» Несколько человек сняли тяжелую крышку с бочки для мочи и стали барабанить ею в дверь – так, что почти оглушили меня. Этот шум продолжался еще, по меньшей мере, минут десять, пока дверь вновь не отворилась – в нее вошел тюремный врач (заключенный) в сопровождении надзирателя по блоку. Врач измерил мою температуру и пощупал пульс. Потом меня отволокли в госпиталь. Там врач провел более полное обследование, дал мне хинина, аспирина, выписал меня, и я был помещен в камеру к политическим, в которой было от двадцати до тридцати человек. Хотя я чувствовал себя больным, я был рад, что выбрался из Индии с нетронутыми пожитками. В этой камере я провел не больше суток – перед тем, как наш этап продолжился.

Следующая часть путешествия оказалась достаточно долгой для того, чтобы дать мне почувствовать горький привкус грядущего периода моей жизни. Среди нас был высокий, истощенный мужчина, который беспрестанно ходил взад-вперед по камере и кашлял. Его лицо и тело выглядели ужасно, а одежда резко выделялась. Она состояла из черной хлопчатобумажной куртки и сделанных из того же материала черных штанов и черной кепки. В куртке на левой стороне груди был прямоугольный вырез, на месте которого находилась белая нашивка с цифрами и буквами на ней, что-то вроде «СВ 551». Такие же нашивки были у него на обоих рукавах, спереди – на кепке, на левой штанине и сзади на куртке.

Он был слабым и старым, но продолжал шагать, кашлять и шагать. Я попросил его рассказать свою историю. Перед тем, как начать рассказывать, он долго смотрел на меня

своими впалыми, наводящими тоску глазами. Мне пришлось шагать с ним рядом, потому что он не мог остановиться.

Наконец он ответил, что его отсылают в Спасск – в лагерь для умирающих. У него был силикоз, рак легких, от работы в медных рудниках, и ему оставалось недолго, он знал это. Единственным послаблением было то, что в Спасске вас не заставляли работать – по крайней мере, так ему говорили, хотя, возможно, это было враньем – как и все остальное. Номера на себе носили заключенные во всех лагерях в Джебказгане, в которых он побывал на протяжении нескольких лет. Да, его ужасала перспектива конца, но это было ничуть не хуже того ада, которым была жизнь в Джебказгане. Его рассказ ужаснул меня, и я сказал ему, задыхаясь от страха, что тоже направляюсь в Джебказган. Он только помотал головой, тяжело закашлялся и не произнес более ни слова, а когда я попробовал завязать разговор немного позже, он отказался.

Эта ходячая Смерть наполнила все мое существо страхом. Лекарства, которые мне дали, уняли дрожь от горячки, но теперь я стал буквально дрожать от страха. Все же каким-то образом мне удалось взять себя в руки, и возобновить старые ободряющие диалоги с самим собой. «Помни, что говорил Орлов, - напоминал себе я. – Некоторое умирают быстро, а некоторые выживают очень неплохо, и я точно не из той категории, что умирают быстро. Вспомни свое заключение в Лефортово. Если ты смог выжить в этом, то ты выживешь где угодно. Помни, что тебе нужно найти занятие, позволяющее заработать себе на хлеб. Находи себе друзей. Помни максимы относительно сохранения энергии».

У меня получилось вновь отыскать некоторые лоскутки от бывшего оптимизма, помогавшие поднять мой дух. Тут по тюрьме разнеслись слухи, которые также помогли этому процессу – только по той причине, что эти вести были волнующими и отвлекали меня от тяжелых размышлений. Шла весна 1950 года, и на нее пришлось очередная волна гонений. В Ленинграде арестовали группу партийных чиновников. Многие из них были расстреляны, вместе с семьями, а других отправили в лагеря. И здесь, в Петропавловске, по слухам, целое крыло тюрьмы отвели для жен и детей этих репрессированных.

К тому времени, как нас погрузили на поезд, я полностью взял себя в руки. Физически я все еще был очень слаб, но духом крепок, и даже снова почувствовал вкус очередного приближающегося приключения.

Вскоре холмы, поросшие деревьями с зеленой листвой, остались позади, а поезд начал свой натужный подъем через травянистую степную зону. В начале названия городков по дороге все еще звучали по-русски: Кокчетав, Акмолинск, и так далее. Потом они приобрели азиатское звучание: одна из остановок называлась Темир-Тау, а затем, рано утром следующего дня, мы остановились в Караганде. Вскоре после Караганды трава стала редеть, а затем уступила место бескрайнему пустому простору, состоящему из камня и песка. Охранники зловеще поведали нам, что это место имеет название «Бетпак-Дала», или «мертвая степь», и что мы вскоре сами сделаемся ее частью. Эта пустыня находится на большой высоте, более шестисот метров над уровнем моря. По ночам вагон промерзал, и охранники надевали шинели, в то время как мы сбивались в кучу. Днем снаружи стояла жара свыше тридцати пяти градусов.

В три утра на третий день пути поезд остановился на станции, которая, как казалось, была расположена посреди абсолютно пустого пространства. Первый звук, что я услышал, был звуком непрекращающегося собачьего лая, словно наш поезд въехал в огромную конуру. Когда мы вышли, вокруг нас не было ничего, кроме плоской пустыни из камней, уходящей в темноту. Собаки, немецкие овчарки, рвались на цепях, удерживаемые десятками охранников в летней униформе – последние дрожали от холода, потому что рассвет еще не наступил.

Нас посадили на землю, и охранники пошли между нами с папками, выслушивая наши «молитвы». Меня и нескольких из нас признали слишком слабыми, чтобы идти пешком одиннадцать километров до лагеря, и посадили в грузовик под присмотром охраны. Небо

светилось бриллиантами звезд. К тому времени, как мы доехали до лагеря, на востоке оно начало светлеть. Нас сгрузили на землю рядом с огромной каменной стеной, которая, как казалось, уходила в обе стороны на километр. Наверху находились вышки и колючая проволока. Метрах в тридцати от того места, где нас усадили и приказали ждать подхода основной колонны, марширующей от станции, располагались огромные ворота. Ворота эти были деревянными, около четырех метров в высоту. С внешней стороны перед ними находился шлагбаум, представляющий из себя шест с противовесом, как на железнодорожном переезде.

Восход солнца оказался внезапным и чувствительным. Я словно почувствовал удар, и лишь тепло было приятным. Оно ощущалось сразу.

Почти в ту же минуту, как вышло солнце, из-за ворот раздался шум, а затем они распахнулись. Показалась тощая усталая лошадь, запряженная в повозку с деревянными колесами. На телеге лежало десять или двенадцать трупов. Странно, но я нашел это нормальным. Я безразлично наблюдал за тележкой, пока она не остановилась, и не появились двое охранников с топорами. Затем меня стало мутить. Охранники размеренно переходили от трупа к трупу, взмахивая своими орудиями. Вскоре каждый череп был широко расколот. Человек, управлявший повозкой, натянул вожжи, и она тронулась. К большому пальцу ноги каждого из трупов была прикреплена маленькая металлическая пластинка, и эти пластинки раскачивались из стороны в сторону по мере того, как тележка удалялась все дальше степь.

Теперь мне снова показалось, что у меня начались галлюцинации, ведь я услышал звуки музыки – словно от оркестра, играющего некий бравурный марш. Звук был слабым, а инструменты неважно настроенными, но ритм – быстрым, и я был уверен, что музыка звучит из-за ворот. В это время я испытал почти космический ужас, от которого у меня закружилась голова. В отдалении виднелись силуэты трупов, лежащие на тележке. Оркестр, казалось, играл что-то наподобие гротескного прощального марша. Потом стало еще хуже. Из ворот вышла, по пять человек в шеренге, колонна шагающих мертвецов в черных робах с белыми нашитыми номерами. Они едва волочили ноги. Лица их были бледными, изможденными, без следа каких бы то ни было эмоций; смотрели они строго перед собой. Мне кто-то сказал, что это были заключенные из штрафного отряда, называемого БУР. Значит, это для них оркестр, рассудил я. Они промаршировали, вернее, прошаркали ногами вдаль, окруженные охраной и собаками. Все направления казались одинаковыми рядом с этой плоской стеной посреди плоской каменной равнины. Все дороги вели прочь от тюрьмы, за исключением одной, что вела вовнутрь – через ворота. Оркестр продолжал играть. В отдалении я увидел черную приближающуюся линию, ее сопровождал лай собак. Это был наш *этан*. Когда он подошел, из нас сформировали колонну по пять человек в шеренге и повели через ворота. Навстречу нам шли другие колонны, выходившие из лагеря. Они выглядели немного лучше, чем группа из БУРа, но лишь совсем немного. Большинство людей в них были темны от загара. На всех висели черные куртки с нашивками-номерами. В отличие от колонны шагающих мертвецов, некоторые из этих смотрели на нас – кто с любопытством, кто безразлично, кто радушно, а кто, как мне показалось, с сочувствием.

Ужасно хотелось пить. Я постоянно просил воды, но никто не обращал на это внимания. Охранники снова прошли по рядам со своими папками, проверяя каждого заключенного. За стеной лагерь предстал в виде деревни с низкими каменными зданиями с белой штукатуркой и низко посаженными шиферными крышами. Между зданиями проходила пыльная сухая дорога, или площадь. Эта дорога тянулась от самых ворот, и впечатление городка производило перемещение людей между бараками. Одно из зданий выделялось своим размером. Как оказалось, это был сборный пункт, где также располагалась кухня. Остальные здания в основном служили бараками. Справа стояла небольшая постройка бани и другая небольшая пристройка – пекарня. Музыку, как я обнаружил, стараясь рассмотреть что-то в глубокой тени (так как солнце было еще низким), производила

жалкая на вид группа заключенных, находившаяся рядом со зданием *вахты* (будки охраны). Музыканты сидели на деревянной скамье в ряд, играя с безучастными лицами – туба, труба, барабан, аккордеон и скрипка. Они играли все еще тот же самый марш. Глаза трубача выглядели особенно пустыми поверх его надутых щек. Вся картина представлялась настолько дикой и невероятной, что я по-прежнему ощущал себя в некоем полубреду. «На самом ли деле я вижу все это?» – думал я. Люди-призраки с номерами на рукавах. Мертвецкие лица, наигрывающие бодрый марш.

Снова почувствовал реальность я в тот момент, когда ко мне прикоснулись чьи-то грубые руки, обыскивающие меня. Охрана обыскала узлы с нашими вещами, их содержимое переписали, а потом отправили на хранение. Заключенные, которые шли в туалет, на сборный пункт или обратно в бараки, пытались в это время заговаривать с нами. Охранники этому не очень препятствовали, поэтому завязывались первые знакомства. После бани, в которой нам отводилось полведра воды (так как воды в лагере не хватало), нас в группах по пять человек отвели в кладовку, где выдали черную одежду и номера. Моим номером стал «СЯ 265». Он оставался неизменным все мое время пребывания в Джеккагане. Одежда была сильно поношена – потом мне сказали, что такая одежда называлась «тридцать три срока»: т.е. ее носили много сроков подряд. Номера на нашивках писали черной краской заключенные при помощи кисточек.

Несколько следующих дней прошли для меня в основном за разговорами. Это время называлось карантином. Я был рад отдыху. После этого нас отправили на «медосмотр», а потом распределили по баракам. Ягодицы у меня практически отсутствовали. Как оказалось, это было хорошо. Если ягодицы у вас были, то вас распределяли в медные рудники, что означало силикоз и быструю смерть. Если ягодиц у вас не было, то вы были слишком слабы для медного рудника и вас распределяли на строительные работы или в каменоломни. Осмотр осуществлялся не медиком, а офицером МВД. Почти целиком этот осмотр состоял в том, что вам просто сжимали ягодицы.

Потом каждому был назван номер его барака, и нас вывели на дорогу, что проходила между бараками и другими зданиями. Мне следовало идти в барак под номером пять. Пришлось спросить дорогу. Когда я туда добрался, нужно было найти бригадира, или начальника рабочего отряда. Его звали Втырин – он показал место, где мне предстояло спать: на верхней полке первой секции барака.

Бараки представляли собой длинные прямоугольные здания, разделенные на четыре секции для сна рабочих бригад, по две секции с каждой стороны барака. В центре располагалась частично баня, а частично секция для *придурков* – заключенных, которые выполняли легкую работу по лагерю, такую как помощь в администрировании или в госпитале. С каждой стороны к этой центральной секции примыкал коридор, выходящий на улицу. Вы могли, к примеру, попасть через южный коридор в рабочие секции один и два, а через северный коридор – в секцию три и четыре. Только один из коридоров имел дверь, ведущую в секцию *придурков*, и оба коридора оканчивались входом в умывальное помещение. В нем по длинным желобам бежала вода, когда она была. Чтобы помыться, нужно было поднять рычаг, и вниз стекала маленькая струйка. Койки располагались на двух уровнях. Когда лагерь был перенаселен, а именно так и было в момент моего прибытия, промежутки между койками застилали, чтобы сделать одну длинную платформу для сна. Таким образом, в каждой секции могло находиться от 120 до 150 человек – между 600 и 700 заключенных в каждом из бараков, включая *придурков*. Мне выдали наволочку, одеяло и каркас матраца – просто плоский мешок. Мне самому предстояло найти, чем его набить, и первые несколько дней я спал на одном дереве, подложив под себя два слоя легкой одежды. Я задумался о том, чтобы найти опилки, или мягкую землю, чем можно было набить этот матрац, и прикинул, что, если я найду

хороший источник такого материала для набивки, то это может стать моим промыслом в лагере.

Первым, с кем я там познакомился, стал московский биолог, отбывавший свой второй десятилетний срок – по причине того, что он осмелился не согласиться с Лысенко и его знаменитой теорией, согласно которой среда и поведение могут изменить наследственные характеристики. Звали его Владимир Павлович Эфроимсон¹. В заключении мы хорошо подружились, хотя годы спустя, когда я попытался проведать его в Москве, он отказался встречаться – ведь я был американцем, и он опасался получить за это свой третий срок. Но здесь, в Джебгазгане, при первой нашей встрече, он поделился со мной своими запасами еды и начал объяснять мне порядки в лагере. Он производил впечатление знающего человека, и я решил, что буду по началу держаться к нему поближе, пока мне будет необходима помощь. Мы немного поговорили, и потом он спросил про меня – мою статью. Это было в порядке вещей. Как спрашивал меня Рогозин, стуча через тюремную стену в Лефортово – статья, пункт? Вскоре после любого знакомства вам всегда приходилось в подробностях вспоминать свою «молитву». Это было похоже на обмен верительными грамотами. И ваш собеседник сразу понимал, кто вы и что вы. В обычной жизни мы для этого задаем вопросы, типа: «Чем занимаетесь?», «Откуда вы?». Как только Эфроимсон услышал мою историю, он обронил:

- Вам повезло. Здесь в лагере есть человек из американского посольства.

Моя челюсть, должно быть, отвисла.

- Быстрее! Расскажите! – выпалил я. – Как его зовут?

Я предположил, что это был бедняга Морис Зельцер. Эфроимсон ответил:

- Виктор С.

- Виктор! – воскликнул я. – Это невозможно! Его расстреляли в 1941. Я с ним никогда не встречался, но постоянно слышал рассказы о нем. Его жена была армянкой. Она совсем потерялась в Москве, и ей дали работу в качестве клерка в посольстве. Органы ей сказали, что Виктора расстреляли.

- Ну, - ответил Эфроимсон, - в таком случае у вас будет возможность в первый раз пообщаться с мертвецом, потому что вон он, здесь!

¹ Владимир Павлович Эфроимсон (1908 - 1989) — советский генетик. Был арестован в мае 1949 г. по обвинению в дискредитации Советской армии за его докладную 1945 г. о красноармейцах-насильниках. Приговорен к 10 годам заключения в Джебгазгане (Степлаг). В 1955 г. освобожден с ограничением в правах. В «Архипелаге Гулага» А. И. Солженицын перечислил Владимира Павловича Эфроимсона среди 257 «свидетелей Архипелага», «чьи рассказы, письма, мемуары и поправки использованы при создании этой книги». В тексте книги упоминается один из эпизодов борьбы Эфроимсона с лысенковщиной. Широкий резонанс среди научной общественности получило выступление Эфроимсона в декабре 1985 года в Политехническом музее на премьере документального фильма «Звезда Вавилова»: подчеркнув, что (хотя фильм об этом умалчивал) Вавилов, как и тысячи других узников ГУЛага, погиб страшной смертью в заключении после заведомо ложных обвинений, Эфроимсон обратился к собравшимся с призывом: "До тех пор, пока страной правит номенклатурная шпана, охраняемая политической полицией, называемой КГБ, пока на наших глазах в тюрьмы и лагеря бросают людей за то, что они осмелились сказать слово правды, за то, что они осмелились сохранить хоть малые крохи достоинства, до тех пор, пока не будут названы поименно виновники этого страха, — вы не можете, вы не должны спать спокойно. Над каждым из вас и над вашими детьми висит этот страх. <...> Палачи, которые правили нашей страной, — не наказаны. <...> Пока на смену партократии у руководства государства не встанут люди, отвечающие за каждый свой поступок, за каждое свое слово — наша страна будет страной рабов, страной, представляющей чудовищный урок всему миру". — источник: Википедия.

Он указал в окно, и я взглянул на барак, находившийся через дорогу. Там стоял долговязый мужчина. Он немного склонился, разговаривая со своим более низким собеседником. Число на его номере было совсем небольшим – это значило, что он был одним из первых счастливицков, отправленных в Джезказган. Я был чрезвычайно взволнован. Извинившись перед Эфроимсоном, я кинулся на улицу. Было воскресенье. Обычно воскресенье в лагере – это простой рабочий день, как и все другие дни. Но время от времени бывали и свободные от работы воскресенья. Как правило, они часто прерывались различными акциями со стороны администрации, направленными на унижение и третирование заключенных – обыск барачков, построение в ряды на улице под угрозы и окрики сотрудников МВД. Но мне посчастливилось застать воскресенье свободное не только от работы, но и от домогательств лагерной администрации. Если бы мне не выпал этот день, когда я смог познакомиться с людьми и с лагерными порядками, то прошло бы гораздо больше времени, прежде чем я смог бы во всем этом разобраться – потому что в обычные дни заключенный к отбою обессилен, и не в состоянии объяснять новопривыкшему странности этого нового мира в пять утра. Только в такой день, как в это свободное воскресенье, у меня могло найтись время для столь важных знакомств – таких, как знакомство с Виктором С. Я подошел к нему сзади, и произнес по-русски, очень официально:

- Гражданин С.?

Он обернулся и с достоинством, не скрывая любопытства, посмотрел на меня. Я тут же продолжил:

- Вы из Москвы?

- Да.

- Работали в американском посольстве?

- Верно.

- Я тоже. Меня зовут Александр Долган... - и далее, развернутая молитва: статья, пункт – все, что полагается при первом знакомстве.

Через некоторое время нашего разговора я спросил:

- Послушай, мне постоянно твердили, что это лагерь смерти. И когда я сюда прибыл, это место показалось мне довольно ужасающим. Но ты в хорошей форме. Как так?

Виктор рассмеялся:

- По какой-то причине на моем деле стояла пометка «чрезвычайно опасен», когда меня в первый раз привезли в Караганду. Это было в сорок втором, ты знаешь. Тогда для политических заключенных лагерей еще не было. «Чрезвычайно опасен»! Не знаю, почему. Но они не осмеливались выпускать меня за пределы лагеря на работы. И мне досталась работа *придурка* с самых первых дней. Все время в лагере, все время больше возможности стащить еды. Никаких медных рудников. Теперь все по-другому. Они знают, что я не опасен. Поэтому дают некоторые тяжелые рабочие задания. Но теперь я знаю свою *туфту*. И вот так выкручиваюсь.

- Туфта?

- Сделать туфту – это значит выполнить свою норму, при этом ничего не делая. Смотри, я могу тебе кое-что подсказать, но в основном тебе придется изобретать свою туфту, в зависимости от той работы, куда тебя поставят. Если будем иногда работать вместе, то тебе вообще не придется работать, поверь мне. Но тебе нужно знать, как это делается. Если ты этого не выучишь, то умрешь прежде, чем закончишь школу!

Потом он спросил:

- Кто твой бригадир?

- Втырин.

- Ну, я его не знаю. Но тебе лучше подружиться со своим бригадиром. Это и есть начало удачной *туфты*.

- Я только его встретил, но спасибо за совет, - ответил я.

Потом я сказал:

- Кстати, я видел твою жену года два назад. Она считает, что тебя расстреляли. Ты знаешь?

Виктор взглянул на меня с улыбкой, а потом коротко усмехнулся.

- Отлично. Пусть так и думает, если она действительно так думает. Но эта сучка скажет что угодно, если ей что-то потребуется.

Меня удивила эта язвительность.

- Но она уже долгое время работает в посольстве, как советский служащий, и свела нас с ума, рыдая и прося о помощи.

- И она ее получила?

- Ну, ей давали немного продуктов и денег. Все очень сожалели о том, что случилось с тобой.

- Она приносит домой продукты из посольства, и органы ее не забирают за спекуляцию, верно? Неужели это не наводит на некоторые мысли?

Я раньше никогда об этом не думал.

- Может быть, потому что ты там работал раньше, органы считают, что у нее есть на то причина... Я не знаю, - закончил я неуверенно.

- Конечно, у нее есть причина! – бросил с горечью в голосе Виктор. – Она в прекрасных отношениях с этими чертовыми органами. Ведь это она выдала меня им.

Виктор С. отправился вместе с нашим посольством в Куйбышев, когда его перевели туда в начале войны. Работал он переводчиком в экономическом департаменте, будучи советским гражданином. Виктор частенько ругался и ссорился со своей женой, как это бывает в семьях, но жена его оказалась мстительной женщиной и решила одержать безусловную победу. Она сказала сотрудникам МГБ, что Виктор - немецкий шпион. Он носил, кстати, немецкую фамилию. Его забрали, и на допросах ему пришлось нелегко. Сознаться ему было не в чем, поэтому допрашивали его очень жестко. В конце концов, при отсутствии каких бы то ни было доказательств, ему дали двадцать лет за шпионаж. Это было странное ощущение – стоять там под палящим солнцем и болтать с Виктором. Хотя я впервые его видел, он казался мне почти что старым другом. Разговаривали мы по-английски. Его английский был великолепен, и слышать и говорить по-английски впервые с ... Я уже не мог вспомнить, когда это было в последний раз, и почувствовал огромный прилив сил. Несмотря на вагон с трупами, на репутацию лагеря и рассказы об ужасных медных рудниках, ко мне вновь вернулось то теплое и обнадеживающее убеждение, что я смогу со всем этим справиться, и что в результате я обязательно выйду из этой игры победителем. Через некоторое время, хотя мне ужасно не хотелось оставлять звуки

английской речи, я сказал Виктору, что мне нужно устраиваться в бараке и идти знакомиться с Втыриным, моим бригадиром. Мы тепло пожали друг другу руки. Я понял, что мы можем стать хорошими друзьями. Мы пообещали, что будем присматривать друг за другом и потом сойдемся и поговорим еще, как только представится возможность. Чтобы найти Втырина, мне потребовалось некоторое время. Он поговорил со мной очень сухо. Втырин сказал, что работа в каменоломне очень тяжелая, и что он тщательно следит за тем, чтобы норма была выполнена. В отличие почти от всех остальных, с кем я встречался в заключении, его не очень заинтересовало то, что я – американец, и я решил для себя, что здесь мне вряд ли улыбнется удача. Затем я разговорился с двумя москвичами – Борисом Гореловым и Вадимом Поповым – сидевшими за «терроризм» и «пропаганду». В свои школьные годы они организовали группу, именованную «Черный страж», и вывесили несколько юношеских листовок, призывающих к установлению нового демократического правления, а также повалили парочку киосков в парках и разбили несколько уличных фонарей. Когда они всем этим занимались, им было шестнадцать. Попова, Горелова и еще нескольких студентов забрали спустя несколько лет. В то время Попов учился в медицинском институте и признался в своих детских забавах девушке, в которую был влюблен. Она его и выдала. Двадцать пять, пять и пять. Девушка тоже получила срок. Двадцать пять, пять и пять – за знакомство с диверсантами. Попов считал это забавным.

Мы продолжали разговаривать, и в этот момент с улицы послышались громкие крики. Это приехала машина с цистерной воды для наполнения бочек. Все, у кого имелась кружка, выбежали наружу, чтобы ухватить немного воды, капающей из шланга. У меня своей кружки не было. В эти первые недели я постоянно испытывал жажду. Попов поделился со мной немногим из того, что он сумел ухватить. Мне кажется, что в то время все заключенные в Джеккагане испытывали жажду – только многим позже водоснабжение улучшилось.

Около девяти вечера раздался громкий звон – это стучали железным прутком по куску рельса, подвешенному в центре лагеря. Начинался вечерний пересчет. Вскоре всех нас вывели из барака под злобные окрики охраны. Единственным человеком, которому было позволено остаться внутри, был старик, инвалид, чья работа состояла в том, чтобы весь день находиться в бараке и поддерживать в нем чистоту, опорожнять *парашу*, или бочку для малой нужды, а также присматривать за вещами. Остальных, всех нас, вывели и посчитали по пять человек, потом построили и пересчитали снова. Охранники фиксировали свой подсчет, делая черточки карандашом на листе фанеры, которые потом стирались, чтобы использовать лист снова. Не знаю, почему они никогда не пользовались бумагой, но, судя по всему, во всей этой системе предпочтение при пересчете отдавалось куску фанеры. После того, как нас завели обратно в барак и вновь пересчитали, охранники разразились потоком ругательств, и нам опять пришлось выйти – счет не совпадал. У меня сложилось впечатление, что охранники были не особо умными ребятами, и со счетом у них имелись проблемы. В общей сложности в этот мой первый вечер в бараке номер пять нас пересчитали три раза. В конце концов, нас заперли. Было десять часов. Я забрался на верхнюю полку, которую мне назначил Втырин. Я был очень усталым, и поэтому даже плоские доски принесли облегчение. Знакомство с Виктором С. меня воодушевило, я чувствовал, что он теперь – мой союзник, как и Эфроимсон. Все должно было сложиться хорошо. Свет четырех ярких ламп под потолком не добавлял уюта, но я натянул свое тоненькое одеяло на лицо, вытянулся, зевнул и с благодарностью почувствовал приближение долгожданного отдыха.

Затем я вздрогнул и резко сел на своей койке. Меня укусили в ногу. Я сбросил одеяло – ничего не было видно. Потом я почувствовал укус на животе. Я сунул руку под рубашку. Оттуда вылез постельный клоп и потом исчез. Потом меня укусили в ногу, потом – в руку, потом – в спину, несколько раз. Их было все больше. Я стал крутиться на своем месте.

Укусы клопов были очень болезненными, и в первых местах укусов, на руке и животе, кожа уже начала опухать. Мой сосед по койке тоже сел и проговорил сурово:

- Что ты, черт побери, делаешь?
- Хочу прикончить этих чертовых клопов! – ответил я.
- Не сходи с ума, - ответил он. – Посмотри на стену.

Я уставился на побеленную стену. Но теперь она уже не была белой. Масса черных насекомых спускалась по стене вниз. Я вскрикнул и спрыгнул с койки. Послышались раздраженные голоса, советовавшие мне поскорее заткнуться. Казалось, что стена движется. Было такое ощущение, что глаза меня обманывают. Я почувствовал тошноту и снова начал дрожать. В бараке было прохладно, но не холодно – в нем имелось достаточно тел, чтобы поддерживать тепло, даже несмотря на то, что ночью температура на улице падала, и через открытые окна холодный воздух шел вовнутрь.

Я прошел к столу, расположенному рядом с дверью, у параша. Потом снял с себя всех клопов, которых нашел на своем теле. Сел за стол и уставился на поток насекомых, спускающихся вниз по стене и заползающих вверх, с пола, на нары. Постоянно кто-то из заключенных вздрагивал, дотрагиваясь рукой до места укуса. Но большинство спали беспробудным сном. То здесь, то там начали раздаваться то протяжные, то резкие стоны – ночные кошмары одолевали погруженный в сон барак. Я положил руки и голову на стол, пытаюсь уснуть. Внезапно я почувствовал, как что-то дотронулось до моей шеи, и в ужасе вскочил. Взглянул вверх. Клопы ползли по потолку надо мной, и теперь некоторые из них время от времени начали отваливаться – падая на меня и на стол. Я пытался дремать, просыпаясь уже не только от укусов, но и от ожидания их – либо оттого, что в своем воображении мне рисовалось, как очередной клоп сваливается мне за шиворот. Это была плохая ночь. Около часа ночи в одном из углов барака возникло смятение. Спящие с ругательствами просыпались, а потом спрыгивали со своих коек. Я наблюдал за этим из-за стола. В начале это меня сильно озадачило. Потом из криков, доносившихся до меня, я понял, что в чьей-то постели обнаружили смертельно ядовитого паука, которого теперь пытались убить. Затем раздались торжествующие возгласы. Удалось. А потом шепот: «Быстрее по койкам, пока охрана не вошла!».

Но было уже поздно. Дверь барака распахнулась, и двое в форме МВД шагнули в барак.

- Так! Так! Почему все не в койках? Что тут происходит?

- Каракурт! Каракурт! Мы его убили! - раздалось в ответ, и один выглядящий испуганным заключенный, на тощем теле которого мешком болталась одежда не по размеру, предъявил охранникам паука, нанизанного на конец тонкой палки. Паука положили на стол рядом с моим. Он был примерно трех сантиметров в длину, с длинными черными волосатыми ногами, темный сверху и черный снизу. На его теле виднелся отчетливый крест. Каракурт по-казахски означает «черная смерть». Охранник осторожно приподнял паука палкой, крикнул всем ложиться и вышел. Через десять минут он вернулся, приведя с собой двух капитанов и майора – они протирали свои заспанные глаза. Меня отогнали от стола. Ими было проведено расследование – прямо на месте – по поводу убийства паука! Кто-то говорил потом, что они, должно быть, опасались, что заключенные извлекут из паука яд для террористических целей. Я не понял совершенно ничего из этого.

К утру количество клопов уменьшилось. Я дремал, положив голову на руки, а затем раздался пронзительный звук от ударов по рельсу – около четырех или половины пятого утра. Охранники немедленно распахнули дверь, ругаясь и крича «Подъем!», угрожая поместить в карцер всякого, кого через две минуты застанут в постели. Судя по всему, эти угрозы были реальными – заключенные спрыгивали с коек, ругаясь и протирая глаза,

натягивали свою одежду. На сон отводилось всего шесть часов – и это при том, что все эти люди работали на тяжелых работах, разбивая камни и таская бревна по двенадцать часов в день.

Бригадир построил нас к завтраку. Одного человека отправили на кухню, чтобы принести миски на двадцать пять человек, а другого, со списком живых заключенных – за дневным рационом хлеба, составлявшим 700 граммов на одного. В эту ночь никто не умер, но мне сказали убедиться, что это так – в отношении тех, с кем рядом я спал. Если кто-то умирал, то смерть скрывали от охраны, сообщая об этом только после раздачи дневного рациона. Странно, но утром нас не пересчитали. Нам позволили сходить в туалет – тем, кто этого хотел. Потом в обязанность бригадира входило препроводить нас в столовую, где нас уже ждал свободный стол, проследить, чтобы в нас влили нашу порцию супа, и побыстрее выпроводить, чтобы освободить место для следующей бригады. Ложек нам не полагалось. Мне пришлось одолжить ложку у Горелова, когда тот покончил со своим капустным супом. И это натолкнуло меня на еще одну мысль о способе заработка.

Каждый день отдельные бригады распределялись на различные работы в зависимости от потребности. А другие бригады – такие, как моя – постоянно трудились в одном месте. Когда до шести утра оставалось минут пятнадцать, из нас начали формировать колонну, по пять человек, перед воротами лагеря, а печальный оркестр принялся играть свой сбивчивый марш. Потом нашу колонну вывели за ворота и остановили перед шестом, игравшим роль шлагбаума. Здесь состоялся пересчет по головам – запись делали карандашом на куске фанеры. Потом офицер МВД, ответственный за конвоирование, громко выкрикнул:

- Заключенные! По дороге на работу сохранять сомкнутый строй! Руки за спину. Шаг влево или шаг вправо будут считаться попыткой к побегу, и у охраны есть приказ стрелять без предупреждения. Помните – шаг влево или шаг вправо!
- Или шаг вверх, - ответила колонна в том же ключе.

Никто на это не реагировал.

Собаки рвались на поводках со всех сторон вокруг нас. Как только нам приказали выдвинуться, внутри колонны начался обмен противоречивыми командами среди заключенных: «Побыстрее!», «Потише, мы так не успеваем!», «Двигайся, или пристрелят!», «Остановитесь, надо подождать, когда хвост подтянется. Эй, сзади, давай быстрее!»

Постоянный поток пререканий, приправленный оскаленными и рычащими собачьими мордами.

Это был длинный, очень длинный марш. Когда мы вышли, от нас вытягивались длинные тени. Через полтора часа, когда мы дошли до места работы, тени заметно укоротились, а жар от солнца уже вызывал дискомфорт. Мы прошли около пяти километров – возможно, пять с половиной. Сначала по пути на каменоломню на фоне желтеющего неба показались силуэты двух вышек. Потом колючая проволока, которой не было видно за пару километров, начала проявляться, а затем перед взором предстал забор, растянувшийся в обе стороны, конца которому не было видно. Когда мы подошли ближе, между двумя вышками обозначились ворота. Можно было разглядеть также и другие вышки вдоль забора, что вытянутой дугой уходил прочь от нас. Все еще не было заметно ни камней, ни инструментов, ни еще чего-то, что напоминало бы о каменоломне. Перед тем, как охрана открыла ворота, нас пересчитали в колонне по пять, а потом нам приказали лечь на землю – в это время охранники занимали свои посты на вышках. На это у них ушло около получаса. Многие вышки, как я понял, были расположены слишком далеко. Отдых был приятен. Марш меня очень утомил, и я не представлял себе, как смогу таскать камни. Потом ворота открыли и нас провели вовнутрь, снова пересчитали, и вот я оказался на

краю самого громадного карьера из всех, виденных мною в жизни. Длина его составляла, по всей видимости, около двух километров в поперечнике – может, полтора – и около километра в ширину. Карьер имел овальную форму, и к его основанию вела спиралевидная дорога, по которой сновали грузовики. В глубину карьер уходил в землю на полкилометра. Мне выдали кувалду, которую я едва мог поднять, и долото, а потом повели к месту отбоя породы глубоко вниз. Здесь нам предстояло откалывать куски камня долотом и складывать их для погрузки в грузовики. Невероятная дневная норма составляла три кубических метра на человека. Сердце у меня опустилось. Я понимал, что мне сложно будет отколоть тридцать кубических сантиметров, не говоря про метры. Я оглянулся. Вокруг меня люди тяжело подымали свои кувалды, бессильно ударяя по огромным камням. Работа эта напоминала подвиги Геракла. Каждый отколотый кусок камня удваивался в размерах в моем воображении. Я попробовал приподнять свой молот, но он потянул меня вбок и я упал вместе с ним. Пытаясь отдышаться, я лежал на земле. Помощник бригадира подошел и стал орать на меня, чтобы я подымался. «Не уверен, что могу», - ответил я. На самом деле, я не был *настолько* слаб, но задание казалось невыполнимым, и мне требовалось некоторое время, чтобы придумать способ увильнуть от него. Помощник был вне себя от ярости. Он уже собирался пнуть меня по ребрам, как к нему подошел человек, взял за руку и прошептал ему что-то на ухо. Помощник пожал плечами и отошел, так и не выместив на мне свою злость. Этим подошедшим был Горелов, мой друг из «Черного стража» - каким-то образом ему удалось отослать подручного бригадира. Он подал мне руку и помог встать на ноги.

- Тебе лучше сегодня поработать со мной, - сказал он. – Любой, кто в твоём положении пытается поднять кувалду, либо сумасшедший, либо слишком зеленый, чтобы быть здесь самому по себе.

Мы оба рассмеялись.

- Согласен. Все, что ни скажешь, - ответил я Горелову.

Глава 16

Благодарю Бога, что он послал мне Горелова в тот день! Горелов был удачлив, к тому же он получал продуктовые посылки из дома и предусмотрительно делился более чем половиной их содержимого с бригадиром. Благодаря этому его норма была снижена, и к тому же бригадир закрывал глаза на его туфту, т.е. обман с нормой. Горелов изобрел способ насыпать кучу камней, пустую внутри, которая выглядела как три кубических метра – или шесть, если он работал с кем-то в паре – но на самом деле содержала в себе треть положенной нормы. Если он работал усердно, то мог самостоятельно сделать почти два кубических метра. И в этот мой первый день он, пожалев меня, сделал пустую горку камней для меня, а потом, когда солнце стало жарить уже нестерпимо, он отвел меня отдохнуть в тень, а сам принялся за свою горку. От солнца камни раскалялись так, что нам приходилось надевать рукавицы, чтобы не обжечься. Свою горку Горелов пристроил к стене карьера – поэтому ему нужно было сделать только три стороны и крышу. Работа над крышей была самой тяжелой, но он наклонил все сооружение так, что несколько больших камней сверху довершили все дело.

Под черной тюремной робой на мне была моя собственная рубашка. И вот, когда мы сняли верхнюю одежду в середине жаркого дня, кто-то украл ее. Неподалеку работала бригада, состоящая из *урок*, и Горелов отошел, чтобы найти их главного. Сначала этот парень отрицал, что кто-то из его ребят украл мою рубашку, но потом мы разговорились, он стал дружелюбнее и обещал, что вернет мне ее к концу дня. «У меня влиятельные друзья», - подмигнул он и усмехнулся, а потом пошел обратно к своим. В полдень нас

повели наверх, на более высокий уровень, где располагалась примитивная полевая кухня: железная плита на колесах с кипящим котлом каши. Пахла она превосходно, но когда кашу разлили по мискам, она оказалось настолько жидкой, что ее можно было пить, как воду. Как объяснил Горелов, повар, тоже заключенный, получал треть мешка крупы для своей каши. Что-то он оставлял себе, в качестве награды за работу. Что-то отдавал бригадиру, чтобы облегчить жизнь для себя в бараке. Уркам всегда удавалось украсть еще немного. И к тому времени, как ему нужно было варить кашу, для заключенных уже почти ничего не оставалось.

У Горелова имелась припрятанная порция своей еды, которой он поделился со мной. Белый хлеб и жирный, лоснящийся на солнце кусок копченого мяса. Вид жирного мяса остановил меня в нерешительности – возможно, подумал я, с меня уже хватит жирного мяса, которым меня угощал в свое время Валентин, и от которого у меня началась моя непрекращающаяся диарея. Но выбора у меня не было – либо есть мясо, либо голодать. И я выбрал есть.

Потом мы снова отправились на работу. Теперь к нам присоединился молодой парень, наполовину китаец. Его отец в свое время жил в Шанхае, где работал на восточно-китайской железной дороге. Сталин пригласил всех бывших русских эмигрантов возвращаться, а потом их арестовывали. Этому парню дали двадцать пять лет. Ни за что. Он присоединился к нам с Гореловым, и все вместе мы начали расширять нашу полую конструкцию из камня так, чтобы она выглядела на девять кубических метров. Парень работал очень хорошо, и к середине второй половины дня у нас имелась достаточная груда камней. Мы уселись в тени, чтобы поболтать и покурить. А затем моя диарея вновь о себе напомнила, как я того и опасался.

Время от времени к нам заглядывал помощник бригадира. Остальные бригадиры рассылали вокруг шайки своих соглядатаев, подгонявших заключенных ругательствами, угрозами или палкой. Рядом с Гореловым мы обрели покой – остаток дня мы просто лежали, рассказывая друг другу истории о себе. Спустя некоторое время я решил поговорить о побеге. По тому, как двое моих приятеля переглянулись друг с другом, я понял, что у них на уме что-то есть. Я нажимал, вынуждая их рассказать. Они все пытались уйти от ответа, но через некоторое время решились поведать о своих планах и пригласить меня с собой, если я этого захочу.

Как оказалось, им удалось сделать два ножа из обрезков стали, которые они спрятали в сарае с инструментом, находившемся в карьере. Они задумали похитить гражданского водителя грузовика в конце дня, когда грузовики приезжали, чтобы загрузить камни. Они намеревались связать его и заткнуть ему рот, угрожая ножами, а потом спрятать в сарае для инструментов. Убить его они также были готовы, если понадобится, но водители не принадлежали к МВД и были просто вольнонаемными рабочими, поэтому причинять ему зло не входило в их планы. Потом они собирались прыгнуть в грузовик и поехать к воротам. При приближении к воротам они собирались поднять кузов и высыпать породу на землю, что стало бы препятствием для погони, а затем, прибавив скорости, пробить ворота. Поднятый кузов служил бы им щитом, защищающим от пуль с вышек, а ворота представляли собой просто жерди с колючей проволокой – и далее на полной скорости они просто продолжали бы гнать все дальше в пустыню. Я предположил, что радиатор грузовика будет пробит при проезде через ворота, и двигатель сгорит немедленно. Они не согласились. Так мы и провели остаток дня – я время от времени отлучался, чтобы присесть за каким-нибудь камнем, а потом мы снова обсуждали план, в расслабленном состоянии. Мне он казался слишком фантастическим, и в глубине души я думал, что это для них всего лишь разговоры.

Ближе к вечеру главарь того молодого урки сунул голову в наше укрытие и протянул мою рубашку. Я сунул руку в карманы. Немного сахара и табака, что оставил мне Эфроимсон, там уже не было. «Извини, - произнес урка. – Наверно, у моих парней появились либеральные наклонности». Он подмигнул мне и ушел.

Мне становилось все хуже и хуже. Я обессилел от такого многократного напряжения кишечника, и меня одолевала жажда. Горелов и тот наполовину китайский паренек по очереди бегали за водой для меня. В шесть часов после удара в рельс мы все стали подниматься по спиральной дороге вверх к воротам. Подъем для меня оказался чрезвычайно тяжел, и я с тревогой думал о предстоящем марше обратно в лагерь. После пересчета по головам у нас выдалось время отдыха, в то время как охранники расходились по своим постам, и я почувствовал, что все же найду в себе силы для этого марша.

Обратный путь был ужасен. Мы не прошли и километра, как я почувствовал приближение очередного приступа. «Они позволят остановиться? Мой желудок...» - прошептал я своему соседу.

Тот отчаянно замотал головой: «И не пытайся. Последнего они пристреливают».

В конце концов мне пришлось продолжать идти, облегчившись на ходу. Я чувствовал себя униженным, но никто ничего не сказал, поэтому я заключил, что такое случается уже не в первый раз.

Потом впереди колонны произошло некое замешательство. Конвоиры стали орать на заключенных, угрожая стрелять. Впереди по колонне шла некая волна, которая все приближалась и приближалась к нам. Потом я понял, что люди, шедшие впереди меня, перешагивают через что-то. Это было тело человека. Какой-то бедняга упал, а конвой все продолжал гнать колонну вперед. Наконец, они остановили нас и приказали двум заключенным оттащить упавшего в сторону, чтобы они могли внимательнее на него взглянуть. Один из охранников направил ружье на вызывавшую жалость скрюченную фигуру, в то время как другой прощупал пульс и закатил веки у лежащего на земле человека. «Он мертвый», - коротко бросил солдат, безразличным тоном, как если бы сказал что-то вроде: «Жарко, однако». Четверым заключенным приказали взять тело и тащить его обратно в лагерь. Все были обессилены, и тащить дополнительный груз было изматывающим заданием. Каждые несколько минут охрана останавливала конвой, и новая группа заключенных брала тело. Когда мы подошли к воротам, был уже девятый час вечера.

Как только произвели пересчет и нас распустили по баракам, я отправился искать Виктора, чтобы спросить у него, как мне постирать свои штаны. Он раздобыл для меня немного воды, и пока я отмывался, Виктор предположил, что я мог бы поговорить с врачом и лечь в больницу на основании наличия диареи, а также сказав, что у меня снова началась горячка. «Ты не протянешь в каменоломне, - сказал мне Виктор, видя, насколько слабым я был. – Даже с таким мастером хитрой туфты, как твой друг Горелов. Поэтому лучше бы тебе попасть в госпиталь – не мытьем, так катаньем».

Так я и решил. После еще одной ночи, проведенной в борьбе с клопами и в попытках ухватить немного сна, я взял свой хлеб, выданный поутру, и направился напрямиком в госпиталь, не дожидаясь окончания завтрака.

Человек, который меня осматривал – он был заключенным, конечно – отнесся ко мне с симпатией. Перед дверями скопилась большая очередь из симулянтов, с разными видимыми причинами для госпитализации, некоторые из них выглядели действительно серьезно больными. Когда подошел мой черед, доктор сунул мне подмышку термометр и спросил мою историю. «Думаю, у меня снова приступ малярии», - проговорил я, стараясь звучать как можно убедительнее. Я жалел, что не принес с собой кружку чая, в которой мог бы погреть свои пальцы, или головку чеснока – хотя чеснок в лагере был такой большой драгоценностью, что его не стоило помещать в отверстие, для этого не предназначенное.

Врач пристально посмотрел на меня.

- Вы не латыш, случайно? - спросил он.

- Нет. Я - американец.
- Американец!

На лице доктора появилось восторженное выражение.

Он сразу же начал говорить по-английски, практически без акцента: «Я как раз пытался найти кого-то, с кем можно поговорить по-английски, - тепло произнес он. – Но нам не разрешено класть в госпиталь из-за диареи, и..., - он взглянул на термометр. – Гмм, температуры нет. Думаю, вы об этом знали. Дайте-ка подумать...»

Потом он добавил по-русски: «Это выглядит очень серьезно. Ждите в хирургическом. Мне нужно произвести более тщательный осмотр».

Когда оставшиеся в очереди были осмотрены, несколько минут спустя врач забежал в хирургию. Было видно, что он находится в сильной спешке.

- Послушайте, - шепотом обратился он ко мне. – Мне дозволяется каждый день оставлять только небольшое число пациентов, и на сегодня квота закрыта. Я собираюсь сделать вас по-настоящему больным, чтобы вас тут оставили. Вы согласны себя инфицировать – так, что я обещаю вылечить вас позднее?

- Все, что угодно! – ответил я. – Я готов на все, чтобы тут остаться. Каков план?

- У вас небольшой нарыв на руке, сзади, - ответил он. – Я его вскрою, и дам вам небольшое количество гноя на кончике спички.

Манипуляции его были точны и изящны – я едва их почувствовал. Потом он протянул мне спичку с большой каплей неприятной белой субстанции.

- Подержите, - сказал он. – Теперь мне нужно будет сделать надрез. Сможете потерпеть? Это не очень приятно.

- Давайте, - произнес я. Меня все это очень заинтриговало.

И опять, с быстротой и ловкостью, поразившими меня, он сделал надрез на задней стороне моей руки. Надрез был такой тонкий, что кровь едва выступила.

- Следующую часть я делать не могу, - произнес он с наполовину шутливым, наполовину серьезным тоном. – Моя профессиональная этика не позволяет мне инфицировать рану. Но вы можете. Я отвернусь.

Я сунул спичку в надрез и вытер ее содержимое с внутренней стороны ранки. Затем Ациньш – так звали доктора – послал меня к фельдшеру, чтобы наложить на рану повязку. Он сказал мне, что сможет оставить меня в госпитале на ночь, но следующим утром ему нужно будет обосновать свое решение взять еще одного пациента, а к тому времени у меня разовьется впечатляющая инфекция. Я вспомнил про ногу Васи в Куйбышеве, и мне стало дурно. Но этот молодой хирург, говорящий с мягким акцентом и действующий с такой ловкостью и изяществом, с самого первого момента нашего знакомства завоевал у меня абсолютное доверие и симпатию. Я был уверен, что он способен сделать все, что угодно.

Ациньш отослал меня в барак за моими пожитками, сказав, что проведет более полное обследование, как только я вернусь, чтобы найти что-либо, что поможет удержать меня в госпитале на более длительный срок.

В дверях я обернулся и спросил:

- Доктор Ациньш, почему вы делаете все это для меня?

- Я же вам говорил, - улыбнувшись, ответил он в дружеской манере. – Мне нужно практиковаться в английском, или я его забуду.

Мы стали очень хорошими друзьями – Арвид Ациньш и я. Начало этой дружбе положила та удивительно теплая связь, которую мог установить этот доктор со своими пациентами через касание кончиками своих пальцев. Доктор тщательно обследовал меня, и везде, где бы он не коснулся своими пальцами моего тела, у меня возникало ощущение, что процесс выздоровления уже начался.

Несколько дней подряд мои ноги оставались опухшими. Ациньш надавливал на кожу вдоль бедренной кости, и после того, как он убирал палец, углубление оставалось. «Должно быть, это с чем-то связано», - произнес он задумчиво. Потом он обнаружил причину. Ациньш внимательно изучал мое сердце – через постукивания, а также прослушивая через стетоскоп, потом снова стучал, слушал, стучал, слушал, нажимал – при этом закрывая глаза, словно бы он прощупывал своими пальцами мое тело изнутри. Затем мы сели, и он стал записывать очень длинную историю болезни – говоря со мной по-английски, конечно, и время от времени спрашивая то или иное слово, когда он забывал его. Арвиду нравился неформальный стиль английского языка, и с самого начала он провозгласил, что будет называть меня Эл – сокращенное от «Алекс», если я не буду против.

- Эл, - обратился он ко мне, - это серьезно. Но в этом есть и хорошие новости, потому что я смогу объяснить медкомиссии необходимость задержать тебя здесь на некоторое время. Если в руке у тебя разовьется инфекция, то наряду с отеком в ногах и с тем, в каком состоянии у тебя сердце, я думаю, что смогу сделать из тебя действительно тяжелобольного. Но ты при этом сможешь передвигаться и делать кое-какую нехитрую работу, и если тебе понравится, я обучу тебя кое-чему из медицины – мне нужен еще один ассистент, и тогда мы сможем работать вместе и говорить по-английски, сколько захотим.

- Погоди, - произнес я с тревогой, - а что там насчет моего сердца? Это серьезно?
- Ну, - Ациньш выдержал довольно длительную паузу, заставившую меня изрядно понервничать, - разреши спросить тебя об условиях, в которых ты был перед тем, как прибыл сюда. У меня сложилось впечатление, что у тебя чрезвычайно сильное тело, очень здоровое, в своей основе. Но, судя по всему, с ним не очень хорошо обходились в последнее время. Я прав?

Я рассказал ему об избиениях, о лишении меня сна, о холоде и голоде.

- Вероятно, это все объясняет, - продолжил Ациньш. – Левый желудочек твоего сердца сильно расширен. Без рентгеновского снимка я не могу сказать, насколько, но, судя по всему, около четырех с половиной сантиметров. Это довольно серьезно. Не думаю, что ты смог бы выдержать много тяжелой работы. Судя по всему, у тебя то, что мы называем ишемической болезнью сердца, и, принимая во внимание твою постоянную диарею и общее ослабленное состояние, это означает, что нам потребуется предпринять достаточно расширенную терапию.

Мне это подходило. Это означало отдых и еду. Ациньш подыскал мне койку и больничный халат. Он немедленно приступил к инъекциям витаминов и введению глюкозы через вену. К тому времени, как администратор больницы, капитан МВД, заглянул меня проведать, я лежал на койке, утыканный трубками, а моя правая рука была пунцовой от воспаления. Капитана все это впечатлило, как и планировал Ациньш, и он позволил мне остаться в госпитале.

Арвид Ациньш приступил к моей медицинской подготовке в тот же мой самый первый день в госпитале, чуть позднее. Он спросил, пойду ли я с ним делать обход – я согласился,

и он выдал мне белый халат и стетоскоп, чтобы я повесил его себе на шею. Мы осмотрели людей, больных туберкулезом и силикозом, с дизентерией и кишечной непроходимостью. Нашему взору предстало огромное количество разнообразных ран, полученных в шахте, каменоломне и на стройке. Покалеченные черепа и конечности, потерянные пальцы и выколотые глаза, рваные раны, порезы и ожоги.

Ациньш чрезвычайно доверял инъекциям витаминов; он сразу же показал мне, как стерилизовать кожу спиртом, расслабить мышцу, слегка ударив по ней, либо растянуть ее, в зависимости от типа инъекции, а также как удалить воздух из шприца для того, чтобы затем быстро воткнуть иглу. Пациенты недоумевали, что это за странный язык, на котором мы говорим, но Арвид Ациньш оставался доброжелателен со всеми и прилагал все силы, чтобы облегчить участь каждого из них. Для пациентов я был еще одним доктором: на мне был халат. Мне говорили «спасибо, доктор!» после того, как я делал инъекцию, и глядели на меня с уважением, которого я не заслуживал.

Внимательно следил за моими действиями и Ациньш. Позже, в этот мой первый день в госпитале, он сказал мне: «Знаешь, Эл, я думаю, что у тебя есть навыки к тому, чтобы стать врачом. Жаль, что ты никогда не изучал медицину. Но пока ты здесь, я буду стараться научить тебя как можно большему. Для тебя это единственная возможность выжить в лагере, с твоим-то сердцем – иметь навык, который поможет тебе обойти все минные поля».

Жестокая ирония – но именно превосходные медицинские навыки Арвида Ациньша впоследствии, спустя не так много лет, приведут его на то самое минное поле, а затем и к смерти. За годы своего нахождения в лагере я увижу много смертей. Одна из них совсем недавно до этого случилась практически у меня под ногами. Я привыкну к смерти как к факту, как к части пейзажа. Я буду горевать только по немногим, и Ациньш будет одним из них. Он был первым человеком в лагере, к которому я по-настоящему привязался. Он стал для меня путеводной звездой, возвращающей меня к моим собственным корням, по причине его великолепного английского. Он являлся прирожденным учителем, и одним из лучших, кого я встречал. Также он был и убежденным демократом. Его отец работал государственным министром в Латвии – перед тем, как ее оккупировали советские войска – и Ациньш часто рассказывал мне о том, насколько замечательной была раньше демократическая система в этой небольшой республике. После оккупации Латвии его отца расстреляли.

Также как и я, Ациньш был настроен на то, чтобы искать и находить всевозможные способы выживания в лагере. Однако он говорил мне: «Просто выжить без должной морали невозможно. Выжить необходимо почти любой ценой. «Почти» означает, что негодные методы выживания находятся за гранью этой приемлемой цены. Если ты выживаешь, наступая на других и потеряв чувство сострадания, то ты недостойн того, чтобы выжить».

Хотя Ациньш и был всего на несколько лет старше меня, я обнаружил, что смотрю на него как на Учителя и принимаю его наставничество безоговорочно – относится ли это к медицине, философии или политике. Когда он входил в больничную палату, лица пациентов светлели. Большинство наших пациентов большую часть времени тяжело страдали от боли, и присутствие Ациньша, казалось, уменьшало эту боль. Думаю, что в значительной степени это объяснялось его моральной чистотой. Себя я всегда считал настоящим демократом. Но Ациньш был первым человеком, вложившим в мою голову понимание того, что в основе демократии лежит нравственность. Не думаю, что перед встречей с Ациньшем я всерьез когда бы то ни было задумывался об этом. К человеку, который заставляет вас всерьез о чем-либо задуматься, потом всегда испытываешь чувство благодарности. Ациньш был убежден в том, что человек, лишенный свободы, склонен к моральной деградации. Вот почему он настаивал на том, что выживать нужно с достоинством. Эту свою мысль он привязывал ко всей истории человечества. Он знал

историю англоязычного мира лучше, чем я, и на самом деле преподавал мне историю Англии, которую рассматривал в качестве истории о том, как народ укрепляет свои нравственные силы путем развития институтов, служащих гарантиями свободы и расширяющих эту свободу. Раньше я не осознавал, чем на самом деле была сама идея демократии, и теперь я словно бы снял темные очки и увидел мир по-настоящему. Это стало для меня жизнеутверждающим опытом – даже в окружающей нас тьме мой взгляд на мир сделался более оптимистичным. Я возмател, как человек, вероятно, быстрее, чем когда-либо ранее – и это было прекрасное чувство.

Интересным опытом для меня также стало изучение медицины, в том числе в части моего собственного лечения. Ациньш постоянно чему-то меня обучал, всегда что-то показывая или объясняя – иногда это относилось к тому, что происходило со мной, иногда относительно других пациентов. Казалось, что ему радостно иметь потенциального ученика, даже последователя – если это не слишком пафосное слово здесь.

Через день или два после моего прибытия в госпиталь, Ациньш сказал мне, что собирается начать курс промывания кишечника с целью попробовать справиться с моей настойчивой диареей. Он выдал указание фельдшеру выполнить эту процедуру, состоявшую в том, что мне требовалось сделать огромную десятилитровую клизму – эту операцию следовало повторить несколько раз в течение нескольких дней. Я обеспокоился идеей вливания в меня такого большого количества жидкости. Ациньш предупредил меня, что в течение короткого периода времени я буду испытывать сильный дискомфорт, но жидкость потом практически сразу же из меня выйдет, и я вновь почувствую себя нормально. Снабдив меня несколькими сигаретами, чтобы успокоить и занять на время процедуры, Ациньш отослал нас с фельдшером в уборную. Я лег на скамейку и зажег сигарету. Фельдшер засунул трубку, высоко поднял воронку и начал вливать в нее воду. Я почувствовал, как мои внутренности медленно заполняет теплая вода. Через некоторое время давление возросло и дышать стало затруднительно – я предположил, что все десять литров уже почти у меня внутри. Затем я услышал, как дверь уборной распахнулась, и незнакомый голос командным тоном спросил: «Что тут происходит?!»

Я повернул голову и почти проглотил свою сигарету – там стояли три офицера МГБ в полной униформе и взирали на это странное зрелище – лежащего на скамейке человека с ведром воды, заливаемым в него через трубку в заднем проходе. От усилия, связанного с поворотом, а также по причине сложностей с дыханием, и от неожиданности такого визита, меня внезапно одолел приступ кашля. Вероятно, я проглотил немного дыма. Кашель вызвал ужасные приступы в моем вздувшемся животе. Содержимое моего кишечника принялось разбрызгиваться из воронки, в которую заливалась вода из ведра. Застигнутый врасплох фельдшер был не в том состоянии, чтобы что-то сообразить и опустить воронку ниже. Хотя, возможно, она была подвешена к потолку. Брызги разлетались по всей комнате – досталось и фельдшеру, и полковникам МГБ. Если бы я не продолжал кашлять, меня бы колотило от приступа смеха – и этот позыв, вероятно, заставил кашель продолжаться еще какое-то время. Я видел, как полковники в спешке покидают комнату, вытирая розовую жидкость, а также фрагменты коричневого и желтого цвета со своей безупречной униформы. Фельдшер был в ужасе, и когда я поразмыслил над тем, что только что сделал, мне тоже стало немного страшновато. Но ничего не произошло. Это была комиссия из МГБ, выявлявшая симулянтов. Они поняли, что вошли без предупреждения во время проведения медицинской процедуры, и оставили это дело без последствий. Присутствие Ациньша сыграло в этом свою роль – хотя он и был заключенным, но заслужил уважение даже со стороны сотрудников Органов. А я заслужил уважение всего лагеря, получив прозвище «Человека, насравшего на Органы».

На следующее утро Ациньш взял меня с собой в диспансер – место, куда приходили люди в надежде стать пациентами больницы, выстроившись в очередь. Он продолжил обучать меня основам фармакологии, а я продолжил делать инъекции под его присмотром. Одним из первых пациентов, которого мы осмотрели тем утром, оказался Эфроимсон. Он сказал, что ему нужен только аспирин, и Ациньш послал меня за ним, проинструктировав, где он находится и сколько его нужно взять. Когда я принес его Эфроимсону, он на краткое время склонился ко мне и произнес: «Мне он не нужен. Просто хотел передать, что Горелов и Китаец вчера решились бежать. Они сумели проехать через ворота. Потом километров через пятьдесят, в степи, у них кончился бензин. У органов есть небольшой поисковый самолет. Они их быстро нашли. Их очень сильно избили, но люди думают, что они выживут. Их закрыли в БУРе. Это все».

Он вежливо кивнул Ациньшу и поспешил к выходу.

Позже я рассказал Ациньшу эту историю. Он покачал головой. «Возможно, им повезло, а возможно и нет, - произнес он. – Обычно любого, кто пытается сбежать, пристреливают, а тело сваливают за воротами – чтобы мы его видели, пока тело не сгниет. Даже если их не пристрелили, отныне этим ребятам будет невесело, и для них было бы лучше, если бы они были мертвы. Об этом тяжело говорить».

По мнению Ациньша, я очень хорошо справлялся со своими инъекциями, и он спросил меня, не пугает ли меня вид крови. Я ответил, что, наверное, нет. Тогда Ациньш предложил мне поучиться ассистировать ему во время операции – хирургия была его настоящим призванием. Первым нашим пациентом был человек из шахты, которого принесли в госпиталь с рваной раной на голове. На него упало несколько кусков породы. Я увидел много крови, лоскутки болтающейся кожи – сам череп был немного деформирован от удара. Эта картина, как я обнаружил, не заставила меня испытывать тошноту, но я был сильно возбужден и нервничал, хотя и пытался этого не показать. Ациньш вручил мне острое лезвие и попросил выбрить голову вокруг раны, пока он будет собирать инструменты и готовить перевязочные материалы. Мои руки немного дрожали. Ранее я никогда не пользовался опасной бритвой, но признаться в этом не захотел. Тот человек находился в сознании, но пребывал в состоянии некоторого ошеломления от удара и был сильно испуган. Это нас объединяло. Его посадили на стул рядом с операционным столом, лицом к спинке, на которой он полулежал. Я поднес лезвие, и оно задело кусочек оторванной кожи, порезав ее. Не думаю, что он что-либо почувствовал – от удара вся эта часть должна была онеметь – но он ощутил мою неуверенность и произнес очень громким, командным голосом: «Если не знаешь, как это делать, не делай!» Я взглянул в сторону Ациньша, прося глазами помощи. Он быстро перехватил у меня лезвие, и затем я наблюдал, как Ациньш в течение каких-то тридцати секунд аккуратно и чисто выбрил голову мужчины вокруг раны. Потом он взял щипцы и очистил рану, приподнял несколько кусочков плоти, наложил повязку и отослал пациента в постель. Заняло это все какие-то мгновения. К этому времени я уже начал немного подумывать о себе как о подающем надежды враче, но удивительное мастерство и уверенность в руках моего друга сбили с меня немного спеси. Я понимал, что мне предстоит долгий путь для того, чтобы достичь *такой* степени мастерства – при условии наличия соответствующего таланта, которого у меня могло и не быть. Но в то же самое время я испытывал радость от обучения, а также от дружеского общения с одним из самых замечательных людей, встреченных мною в жизни.

Многие из тех, кого мы оперировали, делали себе мастырку. Частыми были случаи ампутации пальцев руки и ног. Несколько пациентов поступили к нам с гноящимися руками и ногами без видимых повреждений. В последствие я говорил с ними, когда они пошли на поправку, и сумел добиться признания от некоторых из них в том, что они сами инфицировали себя, используя нитку и зубной налет, либо другие способы – чтобы на

недельку-другую получить возможность отдохнуть от тяжелой работы и лучшее питание. Я спросил Ациньша, что он думает на этот счет и как все это сочетается с его моральными принципами выживания «почти» любой ценой. Ациньш рассмеялся. Он напомнил мне, что сам научил меня сделать *мастырку*, и не считает нужным как-то судить таких людей – до тех пор, пока все это не препятствует госпитализации пациентов с действительно серьезными причинами для этого. Изобретательности некоторых он даже восхищался. «Но ампутация – это глупо, - говорил он мне. – Это неуважение к телу человека. Я бы предпочел, чтобы они ограничились инфицированием себя».

Большую часть времени госпиталь был переполнен пациентами. Иногда они спали по трое на двух койках – и тогда одному из этих бедняг приходилось лежать на приподнятом крае между двумя койками, сдвинутыми вместе. В обязанность пациентов входило содержать палату в чистоте. У нас в штате имелись также санитары, из заключенных, которые разносили еду и убирались в операционной, выносили помой и т.д. Все это были работы для *придурков*, наверняка являвшихся стукачами – поэтому мы следили за тем, чтобы не сказать лишнего в их присутствии. Наши постоянные разговоры на английском их, безусловно, сильно разочаровывали. Рядом с госпиталем находился морг, и на третий или четвертый день Ациньш взял меня с собой туда, чтобы показать, как делаются поверхностные надрезы: они производились с целью очищения гнойников, образующихся в результате применения *мастырки*. Это было настолько частой процедурой, что Ациньш решил, что я смогу делать ее самостоятельно. Он вручил мне книгу по анатомии и начал обучать по ней.

Когда кто-то из пациентов умирал, то нам удавалось скрывать это, по крайней мере, до того, как еду раздадут дважды – чтобы забрать рацион умершего и раздать его остальным пациентам (Ациньш был очень щепетилен относительно этого). Потом, когда смерть скрывать далее уже было невозможно, Ациньшу требовалось произвести вскрытие и написать заключение. Он настоял на том, чтобы я тоже присутствовал на вскрытиях. На первых из них мне было довольно тяжело – в особенности когда вскрывали брюшную полость одного человека, в котором я узнал своего соседа по бараку. Но даже здесь присутствие и манеры Ациньша действовали на меня ободряюще. Своим негромким и спокойным голосом он доходчиво разъяснял мне найденные патологии – и в то время как он показывал мне больную печень, пораженное туберкулезом легкое, поврежденную артерию в сердечной мышце, закупоренный сосуд, склеротические сосуды и тысячи других признаков разрушения человеческого организма – мое отвращение постепенно переходило в живейший интерес. Периодически Ациньш экзаменовал меня относительно всего, что показывал мне ранее. Память у меня цепкая, и я знал, что был очень хорошим учеником.

Все это время моя инфицированная рука пребывала в том состоянии, чтобы ее можно было показать любому проверяющему из МВД, а промывания с помощью клизмы продолжались – моя диарея оказалась очень упорной. Отечность у меня спадала, а мышцы набирали тонус. Я опять приступил к своим физическим упражнениям на динамическую нагрузку, а также старался побольше ходить быстрым шагом – взад-вперед по коридорам нашего маленького госпиталя. Ациньш продолжал вводить мне глюкозу и витамины внутривенно, и, хотя мой пищевой рацион нельзя было назвать обильным, я все же понемногу снова начал обрастать плотью. Когда же администрация МВД совершала свои регулярные обходы, я всегда находился в постели с самым жалким видом. Ациньш предупредил меня, что если они увидят, как я хожу по госпиталю и делаю инъекции, это может плохо кончиться, и меня снова пошлют в каменоломни.

По причине того, что я вспоминаю Ациньша с особенной теплотой – он был сильной личностью и в то же время мягким человеком, не склонным к тому, чтобы кичиться чем-

либо – вам может показаться, что кроме него в госпитале не было других врачей, но это не так. Еще в этом госпитале был офтальмолог, Альберт Фельдман, ранее работавший вместе с Филатовым, впервые в Советском Союзе осуществившим трансплантацию роговицы глаза. Фельдман получил 15 лет за открытое исповедание религии (он был ортодоксальным иудеем), а также за критику атеизма. Фельдман завидовал нашему с Ациньшем английскому и просил меня давать ему языковые уроки. Как и многие заключенные, он разделял мнение, что война между Советским Союзом и США не за горами, и что Соединенные Штаты пошлют самолеты и сбросят оружие для нас, лагерных заключенных. Фельдман хотел быть подготовленным к такой встрече, чтобы поприветствовать американцев на их родном языке – и он был не один такой, хотя изучение иностранных языков, и в особенности английского, было в лагере под строжайшим запретом. Бедный Фельдман был немного надоедлив и почти слеп, по иронии судьбы, и потому все свои словарные записи он делал огромными буквами на всевозможных обрывках бумаги, что попадались ему под руку – эти обрывки торчали у него из карманов, были заложены за очки и попадались повсеместно. Всем было прекрасно известно, что Фельдман учит английский. Если бы это был не очевидно безобидный Фельдман, а кто-то другой, то он мог бы получить добавку к своему сроку и отправиться в карцер – так как изучение английского означало, что вы ожидаете американцев и готовитесь сотрудничать с ними. Если же вы уже знали английский, как я с Ациньшем, то это была совсем другая ситуация, и потому нас не заботили какие-то последствия нашего общения. Но Фельдман избежал наказания только потому, что был старым, слабым и практически потерявшим зрение. Стукачи видели его листочки с английскими словами, сотрудники МВД тоже их видели. Его ни разу ни о чем не спросили. И в то же время каждый раз, когда Фельдман задавал мне какой-то вопрос относительно языка, он нервозно шептал: «Только, ради Бога, не говорите никому ни слова про то, что я учу английский!»

Фельдман рассказал мне кое-что из общей офтальмологии, в частности о трахоме, но я никогда не проводил с ним много времени.

Люди на Западе находят странным то обстоятельство, что в тюремном лагере, где жизнь человека оценивалась столь низко, где людей целенаправленно заставляли работать так, чтобы лишить их сил, где их расстреливали без предупреждения буквально за один шаг из общего строя, где мертвым крошили черепа топором, а еще живых третировали на каждом шагу их лагерного существования, а также обращались с ними предельно жестоко везде, где только это было возможно – что в таком вот месте существовал еще какой-то госпиталь, причем в штате которого имелись настолько квалифицированные и опытные доктора. Я при этом должен объяснять вновь и вновь, что наличие госпиталя ни коим образом не означало существования какой-либо озабоченности состоянием здоровья заключенных со стороны лагерного начальства. Госпиталь существовал с единственной целью: чтобы соответствовать инструкциям. В каких-то советских бумагах было сказано, что каждое исправительное учреждение должно иметь медицинский лазарет такого-то и такого-то типа, в зависимости от количества заключенных, и что на определенное количество заключенных установлена квота, определяющая число допущенных к госпитализации, а также что заключенный с температурой более 38° должен быть госпитализирован, и так далее. Могло так случиться, что один бюрократ захотел бы выявить несоблюдение инструкций другим бюрократом, и учинить расследование, насколько все инструкции соблюдены – потому они и выполнялись, исключительно для отчетности.

К сожалению, моя удобная и интересная жизнь в госпитале вскоре подошла к концу. Несмотря на намеренное попустительство Ациньша, моя инфицированная рука зажила, и это означало – по лагерным меркам – что я был совершенно здоров для любого, кто бы

потрудились меня осмотреть. Моя отечность также прошла. Дизентерия тоже. Даже мое сердце стало работать лучше, не без удивления сообщил мне Ациньш. Он более не мог удерживать меня на госпитализации. Также, по его словам, ему не удалось на тот момент получить квоту на меня для работы в качестве помощника фельдшера. Поэтому, чтобы не создавать проблем для нас обоих, ему пришлось меня выписать. «Вы достаточно сильны, чтобы справиться, как мне кажется, - сказал мне Ациньш. – Мы будем видеться часто. Я напишу, что вы должны являться ко мне ежедневно на осмотр в течение ближайших двух недель, и мы продолжим инъекции глюкозы и витаминов. Ну а потом посмотрим, что будет. Удачи, друг мой».

И я с сожалением сложил свой небольшой узел и отправился в комнату администрации, чтобы разместиться в новом бараке и получить рабочее задание.

Глава 17

По причине того, что желудочки моего сердца были расширены, Ациньшу удалось вписать меня во вторую рабочую категорию – в результате меня не отправили на рудник, хотя мои ягодичные мышцы после отдыха и курса инъекций глюкозы достаточно округлились. Меня приписали к тому же барaku и к тому же бригадиру, Втырину, что и раньше. Все лето я провел в госпитале, и теперь дни становились короче, а по ночам было по-настоящему холодно. Бригаде Втырина было поручено разгружать кирпичи, цемент и бревна на железнодорожной станции. Работа эта была тяжелая, и изобрести какую-то *туфту* там было сложно. Моего друга Горелова больше со мной не было, и мне не удалось найти способ подкупить Втырина.

Прошло совсем немного времени, как моя уверенность в своих силах снова начала меня покидать. Работа была очень тяжелой – в соотношении с тем количеством пищи и отдыха, что мы получали. Люди умирали ежедневно, в особенности пожилые. С наступлением холодов смертность повысилась. Нам выдали перчатки и телогрейки, а также штаны, но они были сильно изношены и плохо защищали от холода, а температура падала все ниже. Руки у меня мерзли постоянно. В этой местности, где нет больших водоемов и растительности, сентябрь переходит в зиму очень резко. На холоде онемевшие пальцы плохо удерживают рукоятки, рычаги, бревна или ящики – поэтому часто случались происшествия, нередко со смертельным исходом. Одного мужчину раздавило, когда мы выкатывали бревна с плоской платформы, используя два бревна в качестве направляющих. Двадцать или около того бревен внезапно покатились вниз, а он был недостаточно проворен. Охранники выпихнули его тело с дороги на платформу, и сочащаяся кровью масса ждала нас там до наступления ночи, когда нам приказали отнести ее обратно в лагерь.

Мои проблемы с кишечником вновь стали меня беспокоить, а потом отступили. Друзья по барaku пытались убедить меня в том, что это не жиры, а недостаток жиров провоцирует приступы. Мне дали жирного мяса из продуктовой посылки, чтобы стабилизировать кишечник.

Теперь, когда мы, спотыкаясь, выходили по утрам из лагерных ворот, на улице еще было темно. Вокруг стояли конвоиры, направив на нас автоматы. На поводках рвались и лаяли собаки, из их пастей шел пар. Перед обыском нужно было снять рукавицы и расстегнуть телогрейку – неважно, какие при этом стояли холода. Многие начинали дрожать, теряли контроль над собой и падали во время обыска, а потом другие заключенные волочили их по пути к месту работ – до тех пор, пока они не могли двигаться самостоятельно.

Еще один мужчина был погребен под упавшими бревнами, и заключенных заставили нести обратно в лагерь кричащее и кровоточащее тело. Лагерь назывался Зоной. Двоих охранников с собакой послали сопровождать группу, несущую того человека на носилках в Зону. У мужчины были раздроблены тазовые кости, а также он получил множественные внутренние повреждения. Он прожил еще несколько недель в госпитале под уходом

Ациньша, а потом умер. Многие умирали по причине того, что теряли волю к жизни. Моя воля к жизни оставалась сильной, но меня тревожило, что я вновь начинаю ослабевать. К тому же я видел так много смертей вокруг, что возможность моей собственной близкой смерти воспринималась все более отчетливо.

Охранники, которые нас сторожили, были одеты в толстые валенки и овечьи дубленки поверх телогреек, заправленных в теплые штаны. У них были толстые меховые рукавицы. Они крали лес со стройки и разводили костры, чтобы греться. Когда температура стала опускаться почти до двадцати ниже нуля, нам тоже позволили разводить костры – если у нас было, из чего их сделать. Охранникам было все равно, откуда мы берем дрова для костров. Воровать можно было все, что угодно – кроме оружия. Все заключенные несли в лагерь древесину, чтобы пополнить тот скудный топливный паек, что выделялся нам на топку печи в бараке. Четверть всего принесенного забирала себе охрана для собственного использования. Они просто останавливали каждый четвертый ряд в конвое и приказывали – «сложить все сюда». Мы подчинялись. Если бы мы воспротивились, они бы просто запретили нам приносить дрова для себя – это было всем совершенно понятно.

Я помню, как в один из ужасно холодных дней мы разгружали оконные рамы. Несколько охранников развели из рам костер, и вскоре заключенные последовали их примеру. Чтобы согреться, в тот день мы сожгли половину из всех оконных рам, находившихся в том товарном вагоне.

От холода вставать по утрам стало еще более тяжело, чем когда-либо ранее. Холод изматывал нас – пища все более уходила на поддержание внутреннего тепла, а энергии в теле оставалось все меньше. По утрам было ужасно тяжело выходить из барака – температура в котором держалась едва выше нуля, поддерживаемая теплом наших тел и слабенькой печкой – на лютый пронизывающий пыльный ветер или колючий летящий снег при температуре в минус десять-пятнадцать градусов. Если кто оставался в койке спустя пару минут после крика «Подъем», их номера записывали, и вечером приказывали собрать свои вещи. Если потом кто и возвращался назад после отбытия срока в БУРе, или штрафной бригаде, куда их уводили, то выглядели они ужасно, и у многих развивались легочные заболевания от долгого пребывания в неотапливаемых камерах. Многие просто не возвращались. Новые этапы пребывали регулярно, и новые живые тела занимали место умерших.

Уводили людей в БУР также после того, как у них находили контрабанду – обычно под этим имелось в виду все, что могло быть переделано в нож или в другое оружие. Многие заключенные изготавливали себе ножи из обрезков стали. У многих их находили – либо по наводке стукачей, либо при обысках, которые обычно проводились тогда, когда мы были на работе. Ножи часто находили рядом с нарами, и их обладателей уводили. Но люди продолжали делать ножи – для каждодневных нужд, не в качестве оружия. В нашем бараке был один адвокат из Москвы. Некоторые безграмотные обитатели барака не понимали различия между адвокатом и прокурором, и потому решили, что он был плохим человеком – тем, кто сажает вас в тюрьму, и обращались с ним очень плохо. И вот группа украинцев, решивших, что он был прокурором, задумала наказать его. Просто в их головах утвердилось представление о нем как о плохом человеке, и они вознамерились получить сатисфакцию. Изготовив длинный и острый нож, они спрятали его в нарах адвоката – конечно, он про это ничего не знал – так, чтобы при проверке его быстро обнаружили. Их заговор, однако, сыграл с ними злую шутку. Нож выглядел настолько свирепо, что адвоката, после обнаружения этого ножа, бросили в камеру к особо опасным заключенным, совершившим попытки побега, отказавшимся от работы или пойманным за антисоветскими разговорами. Эта группа вела относительно легкую жизнь в БУРе – на тяжелую работу их не гоняли, к тому же частенько друзья тайком передавали им хлеб с основной зоны. Они с восторгом приняли адвоката в свою компанию, и со многими из них он подружился, преподавая им уроки права. Когда, наконец, адвокат вернулся в барак, то стал упрашивать работавших на стройплощадке принести ему обрезки стали, чтобы

сделать еще один нож. Украинцев эта ситуация совершенно сбита с толку, но в результате они от него отстали.

Однажды ночью, когда я спал на своей верхней полке с натянутым на глаза тряпичным одеялом, я почувствовал, что кто-то тянет меня за ногу. Была полночь. Рядом стоял человек в форме МВД.

- Ты СЯ- 265? - спросил он меня.
- Да, - ответил я.
- Собрать вещи и следовать за мной.
- Но я же ничего не сделал!
- Собрать вещи!

Меня повели через мерзлый плац. На улице разыгралась настоящая метель. К тому времени, как мы добрались до столовой, я уже сильно дрожал. Там находилось несколько сотрудников МВД, включая офицера. Они заставили меня раздеться, тщательно обыскали одежду, и потом приказали одеваться. «Что такое, что происходит?» - все время повторял я.

«Увидишь, не волнуйся» - отвечали мне. Фраза эта была мне знакома и звучала мало обнадеживающей.

Офицер раскрыл папку и спросил мою тюремную молитву. Я прочел ее. «Все правильно» - сказал он. Потом меня подвели к окошку, где выдавался хлеб. «Пайка на семь дней» - приказал капитан. Мне выдали несколько буханок хлеба, десять кусочков сахара в кулечке из газетной бумаги и две селедки. Я понял, что это означало этап, и просто спросил:

- Куда?
- Не твое дело, - ответил капитан.

Привели еще восемь заключенных. Кому-то выдали паек на пять суток, кому-то на три, кому-то на четверо. Я был единственный, кому дали на семь. Я попробовал сложить в уме эти числа. Некоторых из них направляли в другие лагеря. Я вычислил, что еду в Москву. Эта мысль привела меня в радостное возбуждение, так как я решил, что теперь меня, возможно, отпустят. Потом моя душа наоборот ушла в пятки, так как я предположил, что они могут везти меня туда, чтобы расстрелять. Не знаю, как у меня возникла эта мысль, ведь расстрел здесь, в Джекказгане, был совсем не такой уж редкостной процедурой. Я просто умирал от желания узнать правду. Когда капитан подошел ко мне поближе, я тихо произнес:

- Меня в центр ведь, да?

В ответ капитан улыбнулся:

- Ты догадлив.

- В таком случае мне нужно забрать мои оставшиеся личные вещи. Они в госпитале, - сказал я.

Это было неправдой – мне просто нужно было попрощаться с Арвидом Ациньшем. Меня провели в госпиталь. Тонкий слой снега на земле стал немного толще. Я нашел Арвида, разбудил его и рассказал обо всем. Глаза его засияли. «Дорогой Эл, дорогой друг, они собираются тебя отпустить! Я уверен в этом!» Он кинулся шарить кругом, нашел немного табака, мыла, сосисок и спички, и сделал мне прощальный подарочный узел из всего этого. Потом мы крепко обнялись.

- Что бы с тобой не стало, напиши про нас. Расскажи миру про нас. Люди должны знать. Я пообещал ему.

Охранник в дверях ругался и звал меня на выход. Я махнул Арвиду на прощанье и вышел. На улице, куда нас опять вывели, всюду бушевала метель. Продрасться сквозь нее от места сбора до ворот было нелегко. В стене рядом с воротами находился проход с будкой охраны, вделанной прямо в стену. Всех вывели мимо будки за пределы зоны, а меня остановили и приказали ждать в будке. Для меня так это было хорошо, потому что в будке стоял обогреватель – просто кусок проволоки на раме, подключенный двумя оголенными концами к розетке. Когда меня снова вывели наружу, в колкую метель, других семерых уже обыскали и посадили в фургон. Фургон уехал. Я стоял один, вокруг меня стояло несколько охранников с автоматами и собаками. Я чувствовал себя некой важной персоной, но никто бы не сказал мне, с чем это все было связано. Снег валил так густо, что фонарей вдоль лагерной стены в тридцати метрах от нас не было видно. Меня начала бить дрожь. Один из охранников принялся ругаться на запаздывающий фургон. Меня отвели обратно в будку. Ожидание продлилось полчаса. В фургоне внутри был большой отсек и одна маленькая камера. Меня запихнули в камеру, а в другую часть набилась охрана. На станции меня посадили в столыпинский вагон – камера в нем была по размерам вполовину меньше обычного купе столыпинского вагона. В камере имелось две двери – одна, внешняя, из тяжелого дерева, а вторая, внутренняя, представляла собой железную решетку. Деревянную дверь держали закрытой все то время, на протяжении которого других заключенных запихивали в вагон. Потом, когда никто из них не мог увидеть меня и поезд тронулся, дверь открылась, и на пороге возникли двое охранников в сопровождении двух офицеров – старшего сержанта и старшего лейтенанта. Офицер произнес:

- Заключенный, в этом поезде вы находитесь под особым конвоем, и обычный конвой не имеет к вам отношения. Только мне позволено говорить с вами. Вам не дозволяется говорить ни с кем иным, даже если кто-то обратится к вам. Все просьбы – только через меня. Если солдаты обычного конвоя будут обращаться к вам, не говорите с ними.

Итак, у меня был особый конвой – семеро человек, как оказалось – чтобы приглядывать за мной одним!

Это, в некотором роде, подтверждало мои опасения, что в Москву меня везут на расстрел, и от этой мысли дрожь усилилась – несмотря на то, что в камере было очень тепло. Но вскоре я снова уговорил себя на более оптимистичный исход и заснул. Очень приятно заснуть в теплом месте – говорил я себе; сейчас мое положение было намного лучше, чем у моих несчастных товарищей, дрожащих в бараках. Я всегда любил стук колес поезда в ночи, и у меня было достаточно пространства, чтобы вытянуться. Погруженный в различные мысли, придающие мне уверенности – некоторые из них были чистой выдумкой, некоторые вполне реальны – я заснул, и выспался довольно хорошо. Утром меня не погнали в туалет. Позже, когда я попросил воды, ее принесли моментально. И позже, когда я просил еще, мне всегда приносили столько, сколько я хотел. В течение всего путешествия никаких издевательств надо мной не было.

Моя камера находилась рядом с туалетом, и я слышал, как другие заключенные шептались обо мне, когда их утром выводили туда. Среди разных слухов было два наиболее популярных, исходивших от некоего авторитетного источника. Первый заключался в том, что я – американский генерал, захваченный в Корее. Вторая версия гласила, что я являюсь лидером грузинского правительства, пытавшимся сбежать из страны, и теперь меня везут в Москву на расстрел.

В Челябинске меня отвезли, опять в одиночном фургоне, в тюрьму МГБ, проведя по тротуару через двойную цепь солдат. Где-то в конце улицы раздался возглас: «Смотри! У него номер!»

«Они раньше не видели номера!» – подумалось мне. Узел, который мне приходилось тащить, был тяжелым, и я перекидывал его с одного плеча на другое – так, что номер на моей спине был виден. Другой женский голос произнес: «Посмотрите-ка! Такой молодой! Как жутко он выглядит!»

Меня посадили в одиночную камеру, где я провел несколько дней, выдав мне дневной рацион – поэтому свой продуктовый рацион, выданный на этап, я мог не расходовать. Снова очутившись в вагоне, я решил попробовать селедки – зная, что меня выведут в туалет в любой момент. Потом я выпил много воды.

Наконец, ранним утром, меня вывели из вагона в Москве и погрузили все в тот же серого цвета фургон с одиночной камерой, с эскортом из нескольких солдат. Что бы это ни было, подумал я, это все серьезно. Я предвкушал развязку – страх меня более не мучил, мне было чрезвычайно любопытно узнать, что все это значит и к чему приведет. Через некоторое время фургон остановился, и я услышал знакомый скрип ворот – это была Лубянка. Странно, но звук этот показался мне приятным. Человеком, который меня обыскивал, был все тот же мужчина с синюшным подбородком, который обыскивал меня там же два года назад. Он меня не узнал, но посмотрел на меня как-то странно, потом взял бритву и стал отпаривать номер от моего лагерного бушлата. «Что ты делаешь? – закричал я на него. – Не знаешь, что они тебя расстреляют за это?» Моя старая добрая привычка подкалывать своих мучителей вновь во мне проснулась. «Тебе могут грозить очень большие неприятности за это. Ведь это – мое секретное имя. Они так этого не оставят!»

Человек с синюшным подбородком уставился на меня молча, с выражением ужаса на лице. Ни слова не говоря, он положил мой бушлат и вышел из камеры. Немного погодя он вернулся в сопровождении офицера.

- У него есть гражданская одежда? - спросил офицер.

- Да.

- Убрать это в хранение, а ему выдать гражданскую одежду.

Таким образом, когда меня повели наверх, на мне снова были мои габардиновые флотские штаны, изношенная рубашка с эполетами и с четырьмя пуговицами, сделанными из хлеба. Кабинет, в который меня ввели, был, к моему удивлению, чрезвычайно богато отделан, с хорошей мебелью. Толстый элегантный ковер, хорошие портьеры, превосходная полированная мебель красного дерева. Сквозь этот кабинет меня провели в другой, поменьше, но еще более броский. Охранник тихонько постучал в дверь, потом открыл ее и указал мне на стул. Напротив, за столом, сидел человек среднего роста. Он что-то писал, не отрываясь, и в течение долгого времени не сказал ни слова. Это было мне знакомо. Я изучал его в ожидании. Изучал я его очень тщательно – до сих пор я хорошо помню, как занимался этим - но я не могу вспомнить его лица. Хотя помнить это лицо у меня есть все основания. Я помню каждое произнесенное им слово, звук его голоса, форму, которая была на нем, но не его лицо. Не знаю, почему это так. Других дознавателей, которые допрашивали меня, я помню очень хорошо. Я вижу оспины на лице Сидорова так же четко, как если бы он был рядом. Я узнал бы его где угодно. Но у этого человека – генерала Рюмина, как я узнал потом – для меня не осталось лица. Ничего, вообще ничего – как будто на голову ему натянули нейлоновый чулок. Даже более того – лицо без лица. Я не могу его вспомнить.

Но я запомнил его костюм. Элегантный немецкий костюм. На вешалке висела хорошая широкополая шляпа с британским ярлычком на ней. Настало время снова их подразнить,

подумалось мне. Рюмин все еще что-то писал и был немало удивлен, когда, вопреки всем правилам, услышал сказанное от меня громким голосом:

– Пятьдесят восемь, пункт десять.

– Что это? – сказал он.

– Пятьдесят восемь, пункт десять. Раздел первый. Восхваление одежды иностранного, не советского производства.

Я кивнул в сторону шляпы.

– А также ваш костюм, - добавил я.

Кажется, мои жизненные силы вновь ко мне вернулись.

– И ваш галстук, могу поспорить.

Рюмин встал из-за стола, обошел его и остановился передо мной. Потом он хлестко ударил меня ладонью по одной щеке и обратной стороной кисти по другой, словно плетью.

– Я слышан о твоей дерзости, - произнес он. – Повторять не требуется.

Потом он вернулся за свой стол.

– Почему, ты полагаешь, мы тебя сюда вызвали?

Я ответил, что понятия не имею.

– Что ж, конечно, у тебя уже есть твой срок – двадцать пять лет – и, в общем-то, мы уже с тобой закончили. Но нас очень интересуют операции, проводимые американской разведкой здесь, в столице, а также по всему Союзу. Конечно, большую часть информации мы знаем, но, по нашему мнению, ты можешь сообщить нам о кое-каких важных звеньях этой цепи. Мы не намерены создавать для тебя какие-то особые неприятности. Со временем мы отправим тебя обратно в лагерь. Мы ожидаем, что ты свободно расскажешь нам все, и не будешь чувствовать себя обязанным по отношению к своим американским друзьям, потому что уже прошло два года, и весь персонал разъехался по домам или был перемещен на другие позиции. Если ты будешь всецело с нами сотрудничать, мы предоставим тебе вполне приемлемые условия здесь, в камере с подходящими людьми. Тебе будет положено содержание в 200 рублей в месяц, и ты сможешь покупать себе дополнительно еды, а также фабричные сигареты. Что ты на это скажешь? Будешь ли ты всецело сотрудничать с нами в нашем расследовании?

Я просто молча уставился на него.

Рюмин разочарованно вздохнул. Повисла долгая пауза.

– Думаю, что ты помнишь такую тюрьму, как Сухановка, - произнес он, наконец.

Мне было сложно вновь отыскать у себя свой голос и заставить его работать. Я пытался этого не показать.

– Да, конечно, очень хорошо.

– Конечно, - отчеканил Рюмин. – Конечно, ты помнишь. Я могу тебя поздравить, ты справился с этим испытанием. Ты прошел через все эти бессонные ночи и все эти безобидные побои триумфально. Я не иронизирую, я не знаю никого, кто бы держался также хорошо, как ты. Ты вызываешь у меня уважение. Я знаю, насколько ты вынослив...

Все это он произнес почти в дружеском тоне. Но затем его голос изменился – он стал тихим, жестким и твердым:

– Я знаю, насколько ты вынослив. И я знаю, как сломать тебя очень быстро. У меня имеются все полномочия, чтобы применить любые физические и психологические пытки с целью выбить из тебя признание. И я полностью готов их использовать. Я забью тебя насмерть, если не получу признания.

Затем Рюмин откинулся в своем кресле, и его тон вновь стал мягким. Странно, что я могу вспоминать его жестикуляцию, каждое из сказанных слов в его многословной манере речи, но я не могу увидеть его лица. Он медленно повторил свои слова снова, но теперь почти приятельским тоном:

– Я забью тебя до смерти, если не получу твоего признания.

Потом он сложил вместе пальцы рук и выжидающе посмотрел на меня. Я не мог произнести ни слова. Я просто смотрел на него, пока спазм не оставил моего горла. Потом я произнес:

– Какое признание? Мне показалось, что вам нужны просто некие звенья в информации о том, как работает разведка Соединенных Штатов в этой стране.

Рюмин снова вздохнул. Его пальцы продолжали быть сложенными.

– Вы имеете в виду, что я – это одно из звеньев? – спросил я, пытаюсь изобразить невозмутимость.

Рюмин опять вздохнул.

– Я расскажу вам то, что я знаю, - продолжил я. – Это не так уж и много. Мне не приходилось участвовать в разведывательных операциях. Я был служащим в консульском отделе, и вы это знаете. Я готов говорить, но я не могу рассказать о том, о чем я не знаю.

Я старался изо всех сил, чтобы мой голос не выдал моего страха. Это у меня не очень хорошо получилось.

– Все зависит от тебя, - произнес Рюмин после некоторой паузы. – Я дам тебе несколько дней, чтобы ты все хорошенько обдумал. Потом, если ты не выскажешь желания сотрудничать, мы с тобой нанесем визит в Сухановку вместе, и тогда все это уже не займет долгого времени.

Рюмин нажал на кнопку вызова. Вошел охранник. Меня отвели в камеру – я находился в полуобморочном состоянии. Странно, что только по возвращении в камеру, прокручивая в голове произошедшее, я понял, что в той комнате с нами находился еще один человек, в форме полковника МГБ. Для меня по какой-то причине он был невидим – до того момента, как я вышел. Возможно, я вообразил, что он находился там – хотя довольно скоро после этого события я вновь с ним встретился.

На следующий день, в полдень, меня снова отвели к Рюмину.

- Ты будешь сотрудничать?
- Я рассказал все на своих последних допросах. Мне не в чем признаваться.
- Это твоя жизнь.

Снова в камеру.

На следующий день, в полдень:

- Ты все обдумал?
- Конечно.
- И ты нам поможешь?
- При условии, что мне было бы что рассказать. Но даже если что и было, то я многое забыл за эти два года. Меня били, я голодал, болел. Это не способствует хорошей памяти. Чего вы от меня хотите?
- Подробный рассказ о твоей шпионской деятельности в Москве.
- Мне нечего сказать.
- Это твоя жизнь.

Обратно в камеру.

На следующий день в полдень:

- Ну? Что скажешь? Хорошая тут камера у тебя, на Лубянке? Еда хорошая? Приятные собеседники? Или пытки и смерть в Сухановке?
- Разрешите задать вам один вопрос? - сказал я.
- Что ж, спрашивай.
- Почему? Почему вы привезли меня обратно? Зачем этот особый режим на этапе? Что вы надеетесь получить?
- Правду, конечно.
- Вы сказали, что все знаете. И что вам нужны только звенья.
- Охх.. – Рюмин опять вздохнул, поднялся из-за стола и принялся мерить шагами комнату.

Так продолжалось около минуты.

- Хорошо, я скажу тебе, - произнес он. – Не думаю, что должен тебе это говорить, но, возможно, это поможет тебе понять, что ты *обязан* с нами сотрудничать.

Он скрестил пальцы снова, и, должно быть, его лицо без лица некоторое время смотрело на меня в упор, пока он не стал говорить вновь.

- Будет большой публичный процесс. У нас имеется достаточно улик, говорящих о том, что посольство США в течение ряда лет участвовало в широкомасштабной разведывательной деятельности. И нам также известно, что и ты в этом участвовал. На этом процессе будут представлены некоторые советские граждане, которые, по несчастью, сотрудничали с тобой и с некоторыми твоими коллегами. Ты знаешь, о ком мы говорим. Это – приказ с самого верха. Ты понимаешь?
- Вы не считаете, что даже если бы у меня было, что сказать, я бы не стал этого делать, зная об этом процессе?
- Нет, я так совсем не считаю, нет. Я думаю, что если ты осознаешь, насколько безусловными к выполнению являются мои приказы, то поймешь, что у тебя нет

возможности, чтобы уйти от сотрудничества. Никто не может противостоять верховной советской власти.

- Свидетели в публичных процессах, - ответил я, - обычно впоследствии исчезают. Их расстреливают, чтобы они уже никогда не смогли отречься от своих показаний.

Некоторое время Рюмин гневно смотрел на меня. Потом он произнес:

- Не в твоём случае. Мне ты никогда бы не понадобился в качестве свидетеля. Мне нужно, чтобы ты только указал на некоторых офицеров-предателей. И дал дополнительный материал для того, чтобы ликвидировать отдельные пробелы в схеме, которую мы уже очень хорошо понимаем.

На какое-то время я призадумался. Я пытался изобрести некую нелепость, которая бы помогла мне спасти свою шкуру, но которая бы никогда не была воспринята всерьёз за пределами кабинета Рюмина – ни в Штатах, нигде. Нечто настолько очевидно дурое, чтобы наши граждане сразу поняли, в чём тут дело. Сознание мое было затуманено. Я проговорил:

- Я действительно рассказал вам все, что мог.

- Этого недостаточно, - проговорил Рюмин с нажимом.

Я попытался разыграть последнюю, обречённую партию.

- Если вы беспокоитесь по поводу моей поддельной подписи на всех протоколах, я подпишу их своей настоящей подписью. Это поможет? Или я могу выдумать что-то, если вы хотите. Но я не знаю ничего, кроме того, о чём я уже рассказал.

Рюмин подпрыгнул в своём кресле и заорал на меня:

- Мы не желаем, чтобы ты вел нас по ложному следу со своими придуманными изобретениями! Нам нужна правда, и мы её получим!

Рюмин нажал кнопку вызова охраны. Он давил её всё сильнее своим пальцем, снова и снова – палец изогнулся и побелел у сгиба. Потом он произнес, очень жестко:

- Что ж, увидимся в Сухановке! Можешь винить только себя одного за то, что будет!

Когда меня вывели из фургона, в Сухановке шел снег. Моя камера была под номером 18. Войдя в неё, я был совершенно уверен в том, что она станет моим последним прибежищем в этом мире. В течение первых нескольких минут я интенсивно курил, пока не вспомнил, что окно здесь открывают только на двадцать минут в течение дня. Я решил, что остаток табака оставлю на допрос. Это было некой защитой перед той реальностью, что ожидала меня за дверью комнаты для допросов. Во мне жил глубокий, ужасающий страх.

Должно быть, около половины девятого или в четверть девятого дверь в камеру отворилась.

- Приготовиться к допросу!

Я ощутил глубокий-глубокий внутренний страх. Внезапно я нашел в себе силы взглянуть на себя и увидеть, что я нахожусь на грани, чтобы сдаться. И я сказал себе: «Нет, Алекс. Никогда».

Страх одолевал меня.

Я сказал: «Попробуй! Ты должен! Ты делал это раньше! Ничего хуже быть уже не может! *Попробуй!*»

Каким-то образом у меня получилось отогнать страх и вынести вперед уверенность. Из камеры я вышел достаточно ровно. К тому моменту, как я прибыл к двери комнаты для допросов, я сконцентрировал внутри себя достаточно силы воли и энергии для достижения того, чего я желал достичь. Поэтому при входе в ту самую дверь на моем лице сияла широкая лучезарная улыбка.

Глава 18

Генерала Рюмина в комнате не было. Меня ждал тот самый полковник МГБ, которого я вначале не заметил в кабинете Рюмина четыре дня до этого. У него был высокий лоб с залысиной и комковатое, человеческое лицо. Он произнес:

- Пожалуйста, садитесь. Меня зовут полковник Чичурин. Я буду вашим дознавателем.

Я поймал себя на мысли, что меня это поразило. «Следи за ними, парень – сказал я себе, - у этих ребят много уловок. Где-то в перчатке прячется подкова».

Однако техника Чичурина полностью соответствовала его внешности и манерам. Говорил он тихо, не злился и ни разу не ударил меня. Начал он с многочисленных расспросов относительно жизни в Америке и моих политических взглядов. Несколько раз он сказал мне, что я нахожусь в очень затруднительном положении, но все в той же вежливой манере, напоминающей обращение к нерадивому школьнику. Мы прошлись по старым записям протоколов времен Сидорова и Кожухова, с которыми он был, несомненно, знаком. Были дни и ночи, когда весь допрос напролет мы обсуждали мировую историю, психологию, медицину – что угодно, только не мои обвинения в шпионаже и разведывательной деятельности. Я не мог определить, ждет ли он, когда заговорю первым я, давая мне возможность проявить инициативу, или просто пытается меня измотать. Я не мог этого понять. В начале каждого вопроса он произносил фразу:

- Вы собираетесь сегодня признаваться?

Я отвечал:

- Мне не в чем признаться.

Оставшееся время мы просто беседовали.

Помимо субботы и воскресенья, я не спал на протяжении всех дней недели, и вскоре начал терять сознание и вновь сваливаться со стула. Свою способность спать сидя на стуле в вертикальном положении я утратил. Для того, чтобы уцепить минутку сна в камере, возможности не было, а Чичурин никогда не заканчивал допрос раньше положенного времени. Однажды он пожаловался мне на то, что из-за меня он не видится с семьей, а также на то, как утомительно было для него спать на кушетке в комнате для допросов.

Таким образом, несколько недель прошли почти без особых событий, за исключением появления у меня ссадин в результате падения со стула, и того факта, что мое сознание практически все время теперь было замутненным. Я вновь начал считать свои шаги. Помню, что я пересек Испанию. На стене я сделал себе календарь из царапин, но часто я пребывал настолько в бессознательном состоянии, что не помнил, делал ли я в этот день пометку или нет – поэтому иногда в один день я мог сделать несколько пометок, и наверняка были дни, когда я не сделал ни одной.

Острое чувство страха исчезло, но я продолжал осознавать, что бессонница и мизерные порции меня, в конце концов, доконают. Я понимал, что у меня отсутствуют ресурсы, благодаря которым я смог продержаться в этом адском месте в первый раз. Это был только вопрос времени.

Однажды ночью, когда меня привели на допрос, Чичурин достал фотографию Михаила Ковко.

- Вы знаете этого человека?

Я даже не моргнул.

- Он кажется мне знакомым, - сказал я. – Не знаю. Моя память меня подводит. Возможно, я встречал его где-то. Мне трудно сказать.

Чичурин повысил голос.

- Я уверен, что вы знакомы с ним очень хорошо, не так ли?

- Не могу сказать. Не знаю.

Чичурин убрал фотографию.

- Мы знаем все о вашем путешествии в Киев с Диной, послушайте. Вы должны это признать.

- Ах, это! – воскликнул я. – Ничего особенного, просто развлечение.

- Пожалуйста! – Чичурин не кричал, но голос его стал тверже. – Пожалуйста, не испытывайте мое терпение. Я очень терпеливый человек. Это была секретная поездка. Мы это знаем, мы также знаем, что вы подкупили кондуктора, чтобы получить место в поезде. Мы знаем, что вы провели две недели в Киеве и загородом, и что вас принимал Михаил Ковко, являвшийся главарем украинского повстанческого движения. Поэтому, не лучше ли вам сейчас рассказать нам о том, что вы были направлены туда с целью организовать американскую помощь этому движению? Мы знаем, что именно это и было вашей целью.

Я рассказал ему все, что мог, про свое путешествие – за исключением инцидента со стрельбой и охранниками дачи Хрущева. Рассказал о том, что Ковко был другом моего отца, теперь живущего в Штатах. Чичурин настаивал на том, что наша поездка за город была связана с необходимостью обсудить в секрете наши преступные замыслы, а я настаивал на том, что мы поехали туда просто ради летнего отдыха.

Чичурин становился все более раздраженным по мере того, как я продолжал рассказывать ему правду. Он *верил* в то, что я был направлен туда с миссией. Я видел это по его поведению. Он считал меня просто упрямым, не желающим раскрывать карты. «Не думайте, что вы защищаете Ковко, - сказал он мне. – Мы его взяли, и уже осудили, поэтому не пытайтесь его выгораживать».

В конце концов, он сдался.

Спустя несколько недель я убедился в том, что Чичурин по своей природе был добрым человеком, и совсем не подходил для своей работы. Дважды, когда он приходил со своего полуночного обеда, он приносил мне хлеб с маслом, а также копченую сосиску. У меня все еще оставался табак, и когда я просил его дать мне немного бумаги, чтобы свернуть самокрутку, он всегда доставал свою пачку «Астры» и протягивал мне сигарету. Когда он уходил на обед, то никогда не указывал охраннику, чтобы тот пристально за мной следил, и мне удавалось вздремнуть на полчаса – что, вероятно, спасло мне жизнь. Позже на ночных допросах, когда он сам, бывало, засыпал, я делал также, а когда он просыпался, то

никогда не кричал на меня, а просто говорил мне просыпаться, и продолжал задавать свои вопросы. Мне он поведал, что во время войны служил в СМЕРШе – контрразведывательной организации – и что его только недавно перевели на работу в МГБ. Я пришел к убеждению, что он был предан своей стране и был искренним в своих усилиях вытащить из этого упрямого шпиона его историю.

Несмотря на легкость допросов у Чичурина, у меня не было в запасе сил, чтобы противостоять голоду и лишению меня сна. Таким образом, по прошествии пары месяцев я находился в крайне плачевном состоянии. Я часто говорил сам с собой, у меня были галлюцинации и провалы в памяти в течение долгих периодов времени – которые теперь для меня совершенно недоступны.

В один из дней в моей камере появилась муха. Должно быть, в начале апреля, когда вместе с теплой погодой из щелей в камнях начали появляться мухи. Я наблюдал за ней часами с терпением на грани отчаяния, потому что собирался поймать ее. Для компании. И я это сделал. Выдрал нитку из своего полотенца и каким-то образом, медленными движениями, причинявшими боль, завязал узелок у нее на крыле. Я называл ее *она*, - возможно, потому, что у нее был яйцеклад на конце брюшка, хотя она могла быть и трутнем, если у мух есть такое, или рабочей особью. Для меня главное было в том, чтобы иметь собеседника. Я давал ей немного своего сахара в капле воды, и благодарил, если она принимала его. С ниткой на крыле она не могла летать, и перед тем, как меня уводили на допросы, я клал ее на окно. Ее не было видно – окно с мутным стеклом было закрыто железной решеткой, и мою муху ни разу не нашли при обыске камеры. Но они видели, как я говорю с ней, и иногда я слышал, что дверь открывается - при этом я старался спрятать ее прежде, чем они войдут.

- Чем ты тут занимаешься?

- Ничем.

- Ты что-то странное делаешь, что это?

- Я не знаю. Я не помню.

Но однажды, когда меня привели с допроса, мухи уже не было, а меня отвели в комнату главного по блоку и зачитали длинную моралистическую лекцию относительно моего ужасного поведения. О мухе в этой беседе не было сказано ни слова. Когда я спросил: «На что же вы жалуетесь?», мне просто ответили: «Ты знаешь! Ты знаешь! И впредь чтобы никогда не делал таких ужасных вещей!»

Каждые десять дней меня остригали при помощи тупых ножниц – лицо и голову. Я скопил мыла от каждого посещения душа и сделал из него большой шар. Каждые несколько недель шар исчезал, и тогда я начинал все с начала. Я вновь задумался над своим планом самоубийства, и стал собирать кусочки туалетной бумаги. Думаю, в тот момент я не был столь серьезно настроен на это, но решил иметь этот план как один из вариантов выхода.

Меня сильно взволновали слова Чичурина о том, что органы планируют арестовать моих родителей в том случае, если я не признаюсь. И только значительное время спустя я узнал правду: они уже были на тот момент в тюрьме. Но у меня, конечно, не было возможности узнать об этом. Я сказал, что признаюсь в чем угодно и придумаю что угодно, лишь бы спасти своих родителей, но Чичурина это взбесило. Он сказал, что я должен говорить только правду, и выдумки не пройдут. Он говорил это серьезно. И опять я задумался над тем, как выдумать что-то, что сойдет за правду.

Я продолжал терять силы, и ужас состоял в том, что меня это не беспокоило. Улыбаться на допросах я давно уже перестал. Мое чувство юмора меня оставило. Я заметил, как оно ушло, и оставило внутри грусть.

Чичурин казался все более и более озабоченным. Он очень много курил, продолжал одалживать мне сигареты и торопил меня с признанием.

Затем, в один из ночных допросов, когда меня привели, он просто покачал головой и вздохнул, сказав, что сегодня на допрос придет генерал Рюмин. Он курил не переставая и много кашлял. Вошел охранник и что-то ему сказал. Чичурин отослал меня с двумя охранниками из кабинета – к этому времени им приходилось держать меня вдвоем, так как ходить самостоятельно я уже не мог в любом случае. Меня привели в комнату под номером 13. Мое сознание было настолько помрачено на тот момент, что у меня не возникло даже мысли о некой курьезности этой ситуации. Внутри пол был покрыт толстым персидским ковром, поверх которого посередине комнаты была настелена тонкая матерчатая дорожка. На ней имелись темные пятна. Окно было закрыто чрезвычайно толстыми шторами. Позади стола находился изысканный шкаф с полками из орехового дерева, в котором вверх тянулась узкая щель, из-за которой шел свет. Когда я сел и повернул голову, то увидел, что сзади меня имеется еще одна комната, с раковиной и краном.

А затем стена начала двигаться. На самом деле, это была электрическая дверь, отодвигающаяся в сторону. Вошел Рюмин – он дожевывал какую-то еду. Дверь за ним закрылась.

- Так-так, вот мы и здесь, - проговорил он.

Вошел Чичурин, и Рюмин попросил его закрыть окна и опустить шторы по всей длине комнаты.

- Не собираешься передумать и начать говорить? – спросил меня Рюмин.

Я находился в состоянии отупения и безразличия, и просто повторил, что мне нечего сказать. Рюмин открыл ящик и вытащил оттуда резиновую палку немногим более полуметра длиной и порядка двух с половиной сантиметров толщиной, с кожаным ремешком, который он одел на свое запястье.

- Ну что ж, думаю, что это ускорит процесс и поможет тебе передумать быстрее. Теперь крики достанут до небес. Чичурин, ты проверил, что окна закрыты? Заключенный, снимай штаны и ложись на пол.

Страх у меня не было. Думаю, что я был убежден, что ничего не почувствую. В течение долгого времени я чувствовал так мало, помимо тупой боли и усталости, что не мог поверить в то, что почувствую нечто большее. Штаны я не снял, а Рюмин и не сказал ничего по этому поводу. На пол я тоже не лег. Я просто продолжал сидеть на стуле в отупении и неподвижности.

- Что, будешь вот так сидеть? – рявкнул Рюмин, и просто сшиб меня со стула ударом в голову.

Боль пронзила меня насквозь – так, что я ревел от нее, падая на пол.

- Ага! – снова зарычал Рюмин.

Затем он приказал Чичурину сесть мне на ноги.

- Я знаю казачий способ битья. Я протягиваю при ударе. Ты никогда не испытаешь более жуткой боли. Никогда!

Я решил, что буду считать каждый удар, чтобы потом взыскать с этого человека за каждый из них. Но считать оказалось невозможно.

Это было жутко. Я сломал свои ногти об ковер. При отсутствии ягодиц удары приходились прямо по седалищному нерву, взрывались у меня в голове, во всем моем теле – просто оглушительные взрывы боли. Я потерял сознание.

Мне вылили на лицо воду. Кто-то прислонил стетоскоп к моей груди.

- Как у него сердце?

- Думаю, вы можете продолжать, генерал.

- Заключенный, ты будешь сознаваться?

- В чем, ради Бога? Что угодно – только скажите мне, в чем! Пожалуйста, скажите мне. Мне не в чем...

Ужасные взрывы вновь. Понятия не имею, сколько их было. Только сквозная боль через все тело, и сломанные ногти. Вероятно, я кричал, но в моей памяти этого не осталось. Когда я снова пришел в себя, они сидели на стульях. Каким-то образом я узнал, что было около трех часов ночи. «Увести его» - приказал Рюмин. Когда меня волокли, он бросил мне вслед: «Мы еще встретимся».

У меня оставалось три часа на сон, но возможности избежать боли не было. В шесть они подняли кровать, и я был оставлен на целый день в камере.

Я придумал песню, некую долгую нескладную песню обо всех тех жутких вещах, что происходили со мной в тюрьме. И я пел эту песню весь день, низким шепотом. Много ходил по камере – мои ягодицы болели слишком сильно, чтобы я мог сесть на них. Они просто пылали. Когда я, наконец, осмелился ощупать их пальцами, то почувствовал, как они вздулись, все покрытые рубцами. От мысли, что меня снова отведут к Рюмину, меня начинала бить сильная дрожь – однако я обнаружил, что если продолжать петь, так громко, как это только возможно, чтобы меня не услышали – мне удастся справиться с этой дрожью.

В течение долгих недель я страдал запором. Внезапно, как только настал вечер и я знал, что время подходит к 9 часам, мой желудок пронзила острая боль. Я едва успел дойти до своего ведра. Ко мне пришло осознание того, насколько глубоко и всецело всем моим существом овладел страх. Меня разобрал неконтролируемый смех. Охранник открыл задвижку и заорал на меня, чтобы я прекратил – но я не мог. Он убежал и вернулся с дежурным офицером. Они били меня по лицу до тех пор, пока я не остановился.

В девять тридцать они вновь пришли за мной. Ходить я не мог совершенно. Они отволокли меня в комнату Чичурина.

- Ты не думаешь, что тебе лучше сознаться? Ты же не хочешь, чтобы с тобой повторилось *это*, не так ли?

- Пожалуйста! Пожалуйста! Не дайте ему снова это сделать! – молил я Чичурина. – Я все вам сказал, все, что знаю. Ничего больше нет. Пожалуйста! Пожалуйста!!!

Рюмин послал за нами в полночь, и они начали снова. Я кричал, умолял и терял сознание несколько раз. Так называемый врач прислонял свой стетоскоп и говорил Рюмину, что он может продолжать. Потом снова обморок, обратно в камеру, лежу на животе, то выплывая из обморока, то снова погружаясь в него, потом снова яростная боль, и снова обморок. Утром я попытался стащить с себя штаны, чтобы осмотреть себя. Но они намертво приклеились слипшейся кровью к моим ягодицам, и малейшая попытка снять их становилась агонией, и я сдался в своих усилиях.

В какой-то момент женщина-врач осматривала меня в некоем лечебном учреждении – я помню ее белый халат. Должно быть, у нее получилось каким-то образом снять с меня штаны. Это была не та, что приходила на допросы со стетоскопом. Она воскликнула, в ужасе: «Откуда у вас все эти раны на ягодицах?»

Меня обуяла ярость. «Я сел на горячую раскаленную плиту, тупая сука!» - крикнул я. Она лишь поджала губки и принялась лить йод, а затем наложила повязку.

На некоторое время меня оставили в покое. На несколько дней, или только на один день. Мое сознание было замутненным, и я постоянно проваливался в обморок. Чичурин принялся допрашивать меня вновь, и в течение месяца или около того я видел его каждую ночь, весь день проводя в камере. Мне удалось немного поспать, я думаю – иначе бы я не выжил. Но совсем немного. Весь этот период смутно отобразился у меня в памяти. Чичурин умолял меня ничего не утаивать, постараться вспомнить, сделать все, чтобы избежать ужасных истязаний. Я уверен, что ему было больно смотреть на мое состояние. Через несколько недель он произнес: «Ты дурак. Рюмин возвращается».

Я не был удивлен. Всю ночь напролет я сидел в жуткой тишине, не вымолвив ни слова, одеревеневший от ожидания, в то время как Чичурин умолял меня начать говорить. Раны почти затянулись, но кожа была все еще тонкой, когда Рюмин начал снова. После первого же удара я понял, что это все. Я заорал: «Хорошо, я готов! Я сознаюсь!» Рюмин продолжал бить меня.

- Я готов! Я готов сознаться! – орал я.

- Тогда начинай сознаваться! – рычал Рюмин, ударяя меня снова.

- Пожалуйста! Мне нужно собраться с мыслями, - вымолвил я.

Он прекратил избиение. Меня отволокли в другую комнату и оставили в ней с охранником минут на сорок. Мой мозг работал быстрее, чем когда-либо ранее. Мне нужно было сочинить историю про себя и Дрейера, а также про Георга Тэнно, о котором они говорили мне до этого. Когда они пришли, я сказал им, что меня готовили вместе с Дрейером, и что Дрейер пытался завербовать Тэнно. Я придумал кодовые имена для каждого из нас. Рюмин и Чичурин писали, как сумасшедшие. Я пытался окружить свои фантазии как можно большим количеством деталей, чтобы они звучали правдиво, но я упоминал неверные даты – чтобы в случае суда всякий мог понять, что это ложь. Мне было не на что опереться – только на те вопросы, что они задавали мне о Дрейере, Тэнно и нескольких других, и работа была не из легких.

Они казались очень довольными. После часа или около того, Рюмин произнес: «Отдохни, перекури немного».

Он протянул мне сигареты – целую пачку, и коробок спичек. Потом нажал кнопку и вызвал охранника, послав его за едой. Охранник вернулся удивительно быстро, неся тарелку с превосходным копченым мясом и овощами, а также большую кружку настоящего чая, а также настоящий белый хлеб с маслом. Когда я закончил рассказывать все, что я мог безопасно для себя сфабриковать, дальнейших вопросов мне не задавали. Они тепло поблагодарили меня. Чичурин дал мне три пачки «Астры» и приказал охране отвести меня в мою камеру.

Мне позволили проспаться целую ночь. В течение десяти дней я спал столько, сколько хотел. Порции еды оставались такими же, но так как теперь я мог спать, чувство голода уменьшилось.

Мои раны начали заживать. Я никого не видел, кроме охранника.

И потом, в одну из ночей: «Приготовиться к допросу».

Мрачное предчувствие отдалось во мне приступом острой боли. Неужели в моей сфабрикованной истории нашлась ошибка?

По крайней мере, комната, в которую меня привели на этот раз, была не под номером 13. Вошел Рюмин.

- Ты решил нас обмануть, не так ли?

Он свалил меня ударом со стула. Затем принялся танцевать вокруг, размахивая резиновой палкой: «Признайся, что ты врал!» - кричал он. После двух или трех этих взрывающих меня изнутри болью ударов, я произнес: «Да, да! Я соврал. Я не знаю никакой правды!» Рюмин пнул меня в челюсть. Рвущая боль пронзила меня до задней части шеи. Струйка крови изо рта брызнула на ковер. Я в ужасе смотрел на нее. В глазах стояли слезы, но сквозь них я разглядел, что на запачканной тряпичной дорожке остались лежать два моих зуба.

Когда я очнулся, все вокруг плыло. Помню, что я сказал: «Хорошо, я скажу правду. Все. Но мне нужен отдых сначала, потому что у меня неясная голова».

Рюмин взмахнул палкой.

- Сейчас!

Ранее я провел несколько дней в камере, пытаюсь выдумать новую историю. Им она не понравилась. Меня отправили ждать в соседнюю камеру. Потом меня приволокли обратно в комнату под номером 13, и избивание продолжилось. Я был уверен, что умру. Я так отчаянно катался по полу, пытаюсь избежать ударов, что Рюмин ударил себя по ноге, выругался, прыгая на месте, а затем накинута на меня с еще большей яростью. Дважды я закатился слишком далеко, и палка опустилась мне на живот. Боль была такая, словно его вспороли, и настолько глубокая, что она не уходила – словно мне продолжали тисками сжимать мошонку.

Я выкрикнул третью версию своей истории. В отчаянном положении мне удалось сделать как-то так, чтобы она прозвучала убедительно. Удары прекратились. Несколько раз я терял сознание. Каждый раз фельдшер слушал мое сердце. В три ночи он сказал, что оно было слишком слабым, чтобы продолжать. На лицо мне плеснули воды. Я почувствовал иглу в своей руке и давление от некой впрыскиваемой жидкости. Потом я обнаружил себя истекающим кровью на полу своей камеры под номером 18. Мой живот сильно опух и вздулся. У меня был жар, а пульс казался ужасно высоким, возможно, 200 ударов. Я взглянул на свой живот. Туго натянутая кожа была окрашена бордовым и синим. Меня била неконтролируемая дрожь. «Теперь я умираю», - сказал я себе. Но я принялся барабанить в дверь и кричать, чтобы позвали доктора. Пришла женщина. Помню, что ее лицо выглядело сильно взволнованным. Она ушла, а через некоторое время послышался шум мотора автомобильного фургона. Вошло несколько человек с носилками. Я закричал, когда они положили меня на них, ягодицами книзу. Меня перевернули.

Очнулся я уже в Бутырке. К моей руке была прикреплена трубка. Я снова потерял сознание. Пришел в себя спустя несколько часов. Я мог едва пошевеливаться в каждом своем суставе, а кожа, казалось, вот-вот порвется от любого движения. На соседней койке я увидел лицо с длинными бакенбардами. И потом снова ушел в небытие.

Через некоторое время я опять пришел в сознание и принялся изучать свое тело. Когда я взглянул между ног, то испытал настоящий шок. Моя мошонка опухла и вздулась до размера детского мяча. Словно два кулака в мешочке. Часть кишок опустилась в него. Мужчина с бакенбардами оказался австрийским полковником. Он рассказал, что мне делают много инъекций и проводят курс внутривенного питания. Сам он пережил средней тяжести сердечный приступ во время допроса. Его привезли в Москву из лагеря, чтобы выяснить детали, касающиеся австрийской армии – хотя прошли уже годы с тех пор, как его похитили. Допрос проводился в виде легкой дружеской беседы, но у него развилось повышенное давление, на фоне чего произошел небольшой приступ.

Через две недели, в течение которых я в основном спал, меня отвезли на коляске в комнату для допросов. Там был Чичурин. Своим поведением он проявлял нетерпение и жуткую торопливость. Его дружелюбие испарилось. Он пребывал в некоем рассеянии и обращался со мной очень формально. Он протянул мне для прочтения протокол на пятнадцати листах. Из сфабрикованной мной истории он изобразил признательные показания. Сделано это было неплохо, и, как мне казалось, должно было выдержать пристальный разбор и удовлетворить Рюмина.

Чичурин все придумал сам. Выглядело это примерно следующим образом:

Вопрос: «Правда ли то, что перед вашим арестом американская разведка готовилась к тому, чтобы ввести вас в дело?»

Ответ: «Да».

Вопрос: «Было ли вам поручено заводить приятельские отношения с армейским персоналом?»

Ответ: «Да».

Вопрос: «С какой целью?»

Ответ: «Чтобы убедить их делиться информацией».

Вопрос: «В какой области?»

Ответ: «В области систем обороны Москвы».

И так далее.

Вопрос: «Является ли правдой то, что исключительно благодаря бдительности советских оперативников вам не дали выполнить ваше задание?»

Ответ: «Да, это так и есть».

Половина или более страниц протокола было посвящено восхвалению МГБ.

Я протянул листы назад:

- Все это очень интересно, но я это не подпишу.
- Тогда все начнется сначала, вы это знаете, - вздохнул Чичурин.
- Когда будет суд? - спросил я.

Чичурин помотал головой.

- Суда не будет.
- Почему?

Он снова помотал головой.

- Зачем же тогда вам нужно это признание?

Впервые за все время я увидел, как Чичуриным овладел приступ ярости.

- Подписывай, тупой ты сукин сын! Подписывай, или сегодня вечером тут будет Рюмин, госпиталь там, не госпиталь! Подписывай! Подписывай! Подписывай!!

Мне уже дали двадцать пять лет в любом случае – подумал я.

Никто этому все равно не поверит.

Я никогда не позволю им пытаться себя снова.

Я подписал.

Какого черта? Они все равно достали меня. Почему я не сделал этого намного раньше, чтобы избежать всей этой боли?

А потом я подумал: «Нет, Алекс, ты задал им изматывающую работенку! И за все за это они получили пачки вранья, которому все равно никто никогда не поверит. К тому же, они потеряли интерес».

Это было правдой. Месяцем ранее они готовы были из кожи выпрыгнуть ради своего постановочного суда. Теперь интерес к нему был утрачен. Я мог видеть это в повадках Чичурина – что-то изменилось. Что-то случилось. Возможно, очередная чистка в его ведомстве, или кто-то утратил высочайшее благоволение, или...

Чичурин говорил мне, что Рюмин был в непосредственном подчинении у Виктора Абакумова, министра государственной безопасности. Что касается Абакумова, то он, естественно, был правой рукой Лаврентия Берия. В то время как я читал протокол, в комнату зашли двое офицеров и что-то прошептали на ухо Чичурину. Я расслышал имя Рюмина и министра Абакумова. Все это относилось к некому телефонному звонку. Чичурин взял стопку протоколов и вышел из комнаты в некоем рассеянном состоянии. Больше я его никогда не видел.

Подпись под протоколом стала для меня облегчением. Все кончилось. Возможно, меня теперь вернут – я внутренне рассмеялся от слова, пришедшего на ум – к моей комфортабельной жизни в лагере. Мне вспомнился Ациньш, и я подумал, что смогу снова увидеть его, потому что теперь пройдет немало времени, прежде чем меня выпишут из госпиталя.

В течение некоторого времени я был в общей камере с другими, ожидающими этапа – всего там было около ста человек. Один высокий мужчина, в рваном военном костюме, не мог выпрямить колени при ходьбе – пытая, его подвешивали на устройство в виде трапеции. Оно называлось у них «треугольником». Действует оно таким образом, что выворачивает коленные суставы. Этот человек был единственным из встреченных мною людей, переживших Сухановку.

На этот раз поезд шел через Урал по другому маршруту, и мы остановились в Свердловске. Меня посадили в камеру с двенадцатью или пятнадцатью пожилыми урками. Я боялся, что они отнимут у меня все то небольшое, что оставалось в моем узле, включая мои хорошие штаны, но когда они увидели мою черную робу из Джезказгана с номером на ней, то приняли меня с уважением. Они слышали истории о Джезказгане. Эти люди, летом 1951 года, казались более осведомленными в плане политической ситуации, нежели Валентин и его когорта годом ранее. У меня с ними было много глубокомысленных разговоров о системе. Они были настроены к ней более цинично – у одного из них красовалась татуировка «Раб Сталина» поперек лба. Слово «Сталина» было частично замазано, но все же хорошо читалось.

После Свердловска у нас была короткая остановка в Петропавловске, а потом, в удушающей жаре, поезд прибыл в Джезказган. Я был слаб и все еще корчился от боли, но мой дух пребывал на высоте. Я был уверен в том, что допросы для меня закончились, и московских тюрем я больше не увижу. Я вспоминал своих многочисленных друзей, обретенных в течение нескольких месяцев пребывания в лагере, прежде всего Арвида Ациньша, а также Эфроимзона, Фельдмана, Виктора.

Мой этап был небольшим. Несколько десятков заключенных увели маршем вдаль, и я остался на станции с одним единственным охранником. Вскоре подъехал фургон. Когда мне помогали в него забраться, я поймал себя в какой-то момент на странной мысли о том, что вот я и вернулся «домой».

К своему сожалению, я обнаружил, что попал в какой-то странный лагерь. Это, конечно же, был Джебказган, и у меня не было никаких оснований считать, что из шести его частей, расположенных на этой территории, мне полагалось прибыть исключительно в ту самую, в которой я находился до этого. Но разочарован я был сильно. Эта часть находилась в нескольких километрах от прежней, и мне пришлось смириться с мыслью о том, что никого из моих прежних друзей увидеть мне не удастся.

Будучи в карантинном бараке, я встретил молодого москвича, с которым сдружился с первых же минут нашего знакомства. Его звали Эдик Л. Раньше он был студентом в московском университете. Однажды, находясь в холле университета, он услышал, как за соседним столом группа студентов рассказывает антисоветские анекдоты, которые всегда были в ходу в этой среде советского общества. Вот пример такого анекдота.

Заяц пытается удрать через границу. МГБ допрашивает зайца: «Почему вы захотели покинуть Советский Союз?», - спрашивает дознаватель. «Потому что, - отвечает заяц, - я слышал, что всех верблюдов кастрируют».

«Но ты же заяц?» - удивляется следователь.

«Конечно, - отвечает заяц. – но попробуй докажи, что ты не верблюд, после того, как тебя уже кастрировали!»

Вот примерно над такими анекдотами смеялись за соседним столом от того стола, за которым сидел Эдик. Трех из этой группы арестовали вскоре после этого, так как четвертый оказался информатором из МГБ. Эдика арестовали за то, что *он не доложил*. На первом заседании суда он проходил как свидетель. На второй день судили уже его самого. Пятьдесят восемь, двенадцать. «За недонесение». Двадцать пять лет.

В один из дней по бараку был пущен некий опросный лист. Я решил сделать все возможное, чтобы попасть на работу для *придурков*, а если не получится, то на любую работу, требовавшую некой квалификации, что избавит меня от работы на каменоломне или в шахте. Консервация энергии – вот первое лагерное правило, о котором говорил мне в свое время Орлов.

Поэтому в графе, где требовалось указать свои навыки или профессию, я решительно написал: «врач». Им все равно негде было проверить. Потом, так как предлагалось указать три варианта, я написал: «механик». И совсем непонятно откуда это взялось – наверное, это звучало как некая приятная, легкая, нетрудоемкая работа – на третьем месте я поставил «слесарь». Я совсем не разбирался в моторах и во всем, что имело отношение к механике, и точно также ни разу в жизни я не заглядывал внутрь механизма замка.

Эдик пометил в первой графе «электрик».

Через тюремный телеграф мы быстро выяснили, что лагерь наш располагался неподалеку от деревни под названием Крестовая, и что он был одним из трех лагерей, значившихся под одним и тем же почтовым адресом и управляемых единой администрацией. Рядом с нами находился лагерь КТР – так называемые «каторжане» - где содержались приговоренные к исключительно тяжелым видам работ. В основном контингент этого лагеря составляли военные преступники, то есть те, кто был в свое время захвачен в плен немцами, а также некоторые коллаборационисты. На нашивках перед номерами у них было указано – «КТР». У меня была все та же старая нашивка – «СЯ265».

На второе воскресенье моего пребывания в лагере карантин для меня закончился. Я попрощался с Эдиком и отправился на поиски госпиталя, даже не дожидаясь распределения в свой новый барак.

Как и первый лагерь, мой новый тюремный дом имел каменные стены по периметру, два метра шириной и около шести метров высотой. Примерно в полутора метрах до стены находился забор из колючей проволоки, примерно такой же высоты. От верхней части забора до земли тянулась под углом, в виде навеса, колючая проволока, уходящая в землю на расстоянии примерно девяти-десяти метров от основания забора. Далее по направлению к лагерю, в двух с половиной метрах от этого навеса из проволоки, была

натянута на коротких шестах одна толстая проволочная нить – она обозначала запретную зону между территорией лагеря и проволочным ограждением. Эта полоска земли имела наименование «огневой рубеж», и нас неоднократно предупреждали, что любой заход за эту линию будет считаться попыткой к бегству, и сделавший это будет без предупреждения расстрелян со смотровой вышки. В пространстве между забором из колючей проволоки и стеной по периметру была натянута еще одна проволока, проходящая примерно в полутора метрах над землей. Каждую ночь к ней привязывали немецких овчарок и пускали их по кругу, в качестве дополнительной меры безопасности от возможного побега.

Даже если вы приближались на расстояние в пару метров от огневого рубежа, охранники с вышек начинали кричать на вас, наставляя свои автоматы. Время от времени, как рассказывали, охрана на вышках, чтобы как-то разнообразить свою монотонную работу, подстреливала кого-то из тех, кто приблизился достаточно близко к огневому рубежу, - так, чтобы иметь возможность доложить командиру о том, что заключенному, бежавшему по направлению к рубежу, кричали, приказывая остановиться, перед тем, как застрелить его.

Между нашим лагерем и соседним КТР тоже была стена, в которой имелись закрытые ворота. И, хотя рядом с этой разделяющей два лагеря стеной не было заслона из колючей проволоки, огневой рубеж был и там.

Госпиталь располагался рядом с главными воротами – он примыкал к помещению для сбора заключенных. Я представился дежурному врачу по фамилии Шкарин, и через пару минут он подошел ко мне с двумя своими коллегами, их звали Каск и Адарич, чтобы те меня осмотрели. Я все еще находился в ужасающем состоянии. Не требовалось *мастырки* или прочих ухищрений для того, чтобы меня госпитализировать. Их заинтересовал мой рассказ о том, какую практику я прошел у Ациньша, и обсудили между собой возможность моего дополнительного обучения – с тем, чтобы сделать меня своим помощником, в котором они сильно нуждались, назначив меня фельдшером.

Каск оказался эстонцем – в своей стране он был известен каждому, так как ежедневно выступал по радио с лекциями на медицинские темы. Он был лабораторным работником – анализы крови, мочи, различные патологии и т.д. Он же в основном производил вскрытия. Каск хорошо говорил по-английски, и на этой почве мы сразу же сдружились. Третий, Адарич, был хирургом из Минска; в лагере он находился аж с 1934 года. Моя грыжа в мошонке его впечатлила – однако он предположил, что операция при моем нынешнем состоянии будет ошибкой, и мне нужно потерпеть, пока я не стану крепче. В дополнение к моей грыже и общей слабости, у меня наблюдался экссудативный легочный плеврит и жар около 39 градусов – тем самым, я вполне подходил для госпитализации.

В госпитале имелась операционная, лаборатория, терапевтическое отделение, несколько кабинетов, амбулаторная клиника и диспансер. А также морг. Госпиталь обслуживал все три лагеря нашей группы – собственно наш, КТР, а также ЗУР, находящийся в двух километрах. Последний представлял собой лагерь для особо «отличившихся» заключенных – совершивших побег, стойких симулянтов и т.д. Пока я находился в госпитале на поправке, Адарич начал с того, на чем закончил в свое время Ациньш. В те дни, когда у меня было настроение для этого, я вместе с ним ходил в морг и учился производить удаление аппендикса – делать разрез, зашивать, а также обучался ампутации пальцев на ногах и руках, что было частой процедурой, в особенности зимой из-за обморожения, и так далее.

Я познакомился с человеком, занимающимся снабжением госпиталя, по фамилии Кузнецов. Мне он признался, что больше всего его страшила перспектива нового срока поверх прежнего – за растрату. Каждый раз при выписке количество ложек в больнице уменьшалось в точности по количеству выписанных больных, и ему приходилось нелегко в попытках найти им замену. Обычно ложки можно было выкупить у заключенных в обмен на хлеб или сахар, или другие продукты – если, конечно, находились те, кто мог

продать свою ложку. В лагере ложки не производились. Приходилось есть пальцами, или пить с края своей миски. Кузнецов был уверен, что в один из дней его поймают – когда обнаружат отсутствие ложек, или что он продавал продовольствие, предназначенное для госпиталя – и тогда ему придет конец.

Я решил, что тоже украду ложку. Я вспомнил, как предполагал ранее заняться бизнесом с ложками – в том случае, если найду предложение. Подкупить охранника в типичной манере «цветного»? Сымитировать, что мой друг – пахан? Я не знал, как это будет, но я нашел еще одну нишу с критической потребностью, и я был уверен в том, что найду способ извлечь для себя из этого выгоду.

Через две недели меня выписали из госпиталя. Адарич, хирург, поведал мне, что ищет способы оставить меня в госпитале в качестве ассистента, но предупредил, что для этого понадобится время. Тем временем меня прикрепили к бригаде строителей, работающих в зданиях в открытой зоне степи, огороженной колючей проволокой, недалеко от деревни Крестовая. Называлось это ДОЗ – деревообрабатывающий завод. Здесь изготавливали многие части для домов, помимо, собственно, оконных рам и мебели.

Поначалу было очень тяжело. Дни стояли жаркие, постоянно дул сильный горячий и сухой ветер, приносящий с собой пыль и песок повсюду. Многие из заключенных почти задохнулись от пыли. Она оседала на домах, проникала внутрь через трещины в стенах барака. Стоило едва снять положенную правилами для ношения кепку, как волосы тут же окрашивались в серый цвет. Номера на тюремных робах выцветали в течение двух-трех дней. У лагерных ворот каждое утро, когда нас выводили на работу, всегда было два-три человека с кистью и ведром черной краски, чтобы обновлять номера. Если человек по профессии был художником, то ему назначалось поновлять наши номера по утрам, а в течение дня – декорировать комнаты офицеров, рисуя на стенах огненные закаты, водопады или корабли на море. Я жалел, что не умею провести даже прямую линию, не говоря о том, чтобы рисовать.

Моим бригадиром оказался сговорчивый парень, у которого на ДОЗе имелась хорошо налаженная *туфта*. Когда он увидел, насколько слабым я был, то помог мне отлынивать от работы в течение первой недели с небольшим, пока я немного не окрепну. Таким образом, я бродил по окрестностям ДОЗа, знакомясь со всем, что на нем происходит. Я увидел, как группа заключенных работает на токарных станках, и решил для себя, что это непыльная работенка. Также я понаблюдал за сварщиками – судя по всему, на этой работе можно было раздобыть пару рублей или немного хлеба, если придумать, что можно было бы изготовить. Потом я набрел на кузнечную мастерскую – к моему сожалению, она не пустовала, но работа в ней также выглядела не из тяжелых.

Я отметил для себя, что на стройке полно алюминия в виде проволоки, которую использовали сварщики. Мне подумалось, что если я найду способ ее расплавить, то можно было бы сделать ложки. Я немного поговорил с людьми, знающими толк, по всей видимости, в том, что они делали с металлом, и подцепил парочку идей, при этом не раскрыв своего замысла. Также я нашел несколько укромных местечек, где можно было укрыться и провести часть дня, отлынивая от работы, а также еще несколько мест, где можно было спрятать инструменты или куски алюминиевой проволоки.

Для своей литейной мастерской я изготовил два плоских ящика, стащил несколько кусков алюминиевой проволоки, в качестве грубого тигля взял тонкую железную пластину из мастерской, где делали кухонные плиты, выпросил немного хорошего угля и дизельного топлива – и, таким образом, был готов начать свое дело.

На следующий день – это было примерно через недели две после того, как я оказался на ДОЗе – я захватил с собой на работу свою ложку. Раздобыв немного песка и цемента, я начал экспериментировать с отливкой заготовки, используя свою ложку в качестве шаблона. К тому моменту я практически ничего не знал об искусстве литья. Это было совершенно незнакомое мне ремесло. Если бы не моя твердая убежденность и желание выжить, я бы никогда подобным не занялся. Основание формы было в порядке. Затем я

планировал вдавить ложку в мокрый песок, сверху на первый ящик водрузить второй ящик с направляющими в виде реек по бокам, наполнить его песком, проткнуть песок палочкой (в это отверстие я планировал заливать расплавленный алюминий), утрамбовать песок – так, чтобы он не развалился, когда я подниму верхний ящик – затем вынуть ложку и поставить верхний ящик обратно. Но песок, конечно же, провалился. Так или иначе, но в результате – случайным образом, или благодаря посетившему меня вдохновению – я нашел правильную формулу, смешав песок с цементом, и все получилось великолепно. Песок оставался на месте! Я расплавил несколько граммов алюминия в своем крошечном тигле, и когда на свет из формы появилась моя первая ложка, покрытая песчинками и ужасная на вид, словно переболевшая корью – моя гордость собой была подобна гордости отца, у которого родился ребенок. Раздобыв немного шкурки, я полировал свою ложку до того момента, пока она не стала идеальной. На следующее утро, перед завтраком, я отнес ее Кузнецову. Он был в восторге. Было совершенно понятно, что эта ложка не из тех его ложек, что он был вынужден выкупать обратно у заключенных. Ночью в больнице умерло два человека, и у Кузнецова имелся запас хлеба на них обоих. Он отдал мне весь их рацион – 450 грамм, и сказал, что сможет использовать все те ложки, что я ему принесу. Итак, я был в деле.

Вскоре я научился покрывать форму для литья золой, которая не давала песку приставать к заготовке. А потом я сделал форму для двух ложек и смог изготавливать по две ложки практически каждый день.

Одну из ложек я обменял у бывшего немецкого военнопленного на его немецкую флягу. Потом я выменивал на свои ложки у Кузнецова растительное масло, которое ему было несложно залить в мою флягу. В лагере нехватка масел и жиров была настолько острой, что мы постоянно чувствовали себя утомленными по причине нехватки калорий. Я погружал свой хлеб в масло и находил это чрезвычайно вкусным – хотя два года назад мне это так не казалось. Судя по всему, человеческий организм может выработать вкус к тому, что ему необходимо.

В один из дней я разговорился с человеком, который подновлял краской номера на наших тюремных робах. Его звали Павел Воронкин. Будучи еще ребенком, он оказался в Китае – в то время как его отец работал на строительстве железной дороги в Китай в начале 30-х. Как и тот китаец, друг Горелова, Павел, став уже взрослым человеком и состоявшимся художником, откликнулся на сталинский призыв к эмигрантам возвращаться на родину. Однажды Воронкин в дружеской беседе рассказал своему соседу о понравившемся ему американском кинофильме – судя по всему, это было военное кино, с Робертом Тэйлором в главной роли. Возможно, это было недопонимание, хотя скорее всего нет – но, так или иначе, когда Павел увидел протокол, содержащий в себе обвинительное заключение, там значилось, что он был арестован за сотрудничество с известным американским агентом Р. Тэйлором! Позднее, когда я уже изготовил и продал несколько сотен ложек, и благодаря моему ложечному бизнесу спрос на рынке немного упал, я уговорил Воронкина сделать для меня небольшую статуэтку голой женщины – с провокационными грудями, животом и ягодицами – размером с ручку для ложки. Он изготовил ее из дерева, а я потом приладил заготовку ручки к ложке и принялся отливать эротические ложки, которые продавались очень хорошо.

Мой бригадир не мог спасти меня от работы бесконечно. Это было бы несправедливо по отношению к остальным – пояснил он мне, потому что *туфта* имела свои пределы. Мне нужно было начать делать некоторую работу. Такой работой стало таскание камней для каменотесов. Это чуть не убило меня. Мне пришлось вспомнить, насколько слабым я был. И я понял, что мне необходимо найти что-то еще, и как можно скорее. Тогда я подошел к бригадиру мастерской, звали его Зюзин. Он был замечательным гитаристом, чьи нары в бараке располагались неподалеку от моих. Вечерами я подходил к его месту и слушал, как он играет на гитаре. Мне очень понравилась его музыка, и я попросил его научить меня играть. Он был польщен моим интересом и стал обучать меня простым аккордам, с

помощью которых я мог сыграть то, что он именовал «собачьими вальсами» - простые мелодии, такие, например, как «Очи черные».

После того, как мы подружились на основе моего гитарного увлечения, я поинтересовался, как бы невзначай, возможно ли присоединиться к его бригаде. На тот момент он со мной сильно сдружился, и идея присоединиться к его бригаде показалась ему замечательной – мы могли бы вечерами практиковаться в игре на гитаре, и так далее. Ему посчастливилось испросить для меня перевод, а я заверил его, что знаю все относительно слесарного дела.

Моим первым заданием стала нарезка резьбовых гаек, большого размера. Для этого требовалось наворачивать тяжелый нарезной винт на шестиконечную гайку, зажатую в тисках. Выглядело это дело легко, но оказалось оно чрезвычайно тяжелым. Но еще до того, как мне пришлось взять тяжелую сталь в свои слабые руки, я уже попал в сложную ситуацию, когда Зюзин послал меня в сарай за нарезными винтами для гаек. «Принеси метчики и ворот», - сказал он мне, т.е. «винты и патрон». Я услышал «метки у ворот». Для меня это ровным счетом ничего не значило. На складе меня выслушали с недоумением и послали в покрасочный цех. Там тоже ничего не знали. Я заглянул в кузницу. Бесполезно. В результате мне пришлось сознаться Зюзину, что никаких меток у ворот я не нашел. Ему это показалось очень забавным. «Не смущайся, Александр Михайлович, - сказал он мне. – Я знал, что все твои красивые слова об опыте слесарной работы были только словами. Ты всему здесь научишься, и я тебе помогу. Но только с этого момента будь со мной честен, и я постараюсь, чтобы ты не нажил себе неприятностей».

Ну что ж, это было неплохо.

Но сама работа вовсе не оказалась столь же неплохой, как я этого ожидал. Конечно, это было намного лучше, чем поднимать тяжелые камни. Но нормой для нарезчика было установлено делать 185 гаек в день. Это были большие гайки, примерно 3,5 см. толщиной. Вворачивать резьбовой винт в них нужно было рукой, прорезая твердый металл. Резьбу требовалось пройти несколько раз – начиная с грубой и кончая тонкой обработкой. Это означало, что, непрерывно работая в течение десяти-одиннадцати часов (если вы могли это выдержать – а выдержать этого не мог никто), вам нужно было делать по одной гайке каждые три минуты. И это при том, что на то, чтобы просто повернуть винт, у обессиленного человека уходят все его силы. В первый день на этой работе я сделал тридцать пять гаек. На второй – пятьдесят. По крайней мере, дважды в первый день я ломал патрон, держащий винт. На ладонях у меня вздулись мозоли. Мои руки и спина болели всю ночь напролет. Но более тревожащим меня было то, что я чувствовал, как слабею. И хотя во время перерыва на еду я по-прежнему урывал немного времени на то, чтобы изготовить парочку ложек, на которые я мог купить себе дополнительную порцию хлеба и масла, но я изначально не был силен настолько, чтобы справиться с этой работой. Слишком долгое время всей физической работой, которую выполняли мои мышцы, было уклоняться от сыплющихся на меня ударов. В моей спине, в плечах и руках не было нужного тонуса. Меня стало тревожить, что эта работа победит меня. И хотя я отчаянно пытался выполнить норму – в течение первых нескольких дней Зюзин успешно отмазывал меня, но мои показатели были очень далеки даже от его нормы туфты – моя производительность никогда не превышала 130 гаек, а чаще она была около 120. Если бы у меня получилось поднять это количество до 150, то у меня остался бы шанс удержаться на работе, но я знал, что никогда не смогу этого.

Поэтому я сделал паузу в производстве своих ложек и использовал обеденные перерывы для того, чтобы подыскать себе более легкую работенку. Сварка казалась легче всего.

Нужно было просто одеть маску, перчатки, и делать швы на металле. Никто не был против, если в обеденный перерыв вы брали их оборудование – и я воспользовался этим, чтобы понять, насколько это сложно. Я сделал несколько швов на обрезках металла, и для меня они выглядели вполне сносно. Так или иначе, стандартов для оценки моей работы у меня не было. Я практиковался как можно больше, стараясь сделать так, чтобы как можно

дольше удерживать шов, не прижимая электрод к стали слишком сильно, от чего он застревал, и не ведя его слишком небрежно, отчего шов терялся. После определенного времени у меня это начало получаться, и я сказал Зюзину, что настоящим моим призванием была работа сварщика, и что на этот раз я не пытаюсь его надуть. Зюзин посмотрел на меня с подозрением и ответил, что на работу сварщиком стоит целая очередь. Это подтвердило мои догадки о том, что работа сварщика считалась легкой. Я попросил Зюзина занести меня в список, при этом добавив: «Кстати, я знаю, тебе нужен работник на сверлильный станок. Это я точно могу делать, я занимался этим в Москве». Я врал, конечно.

Таким образом, меня поставили за сверлильный станок. В первое же утро я подсоединил кабель неправильно – он запутался в механизме, и я обесточил всю мастерскую. Зюзин отослал меня обратно нарезать гайки, но я продолжил охотиться на сварщиков, используя любую возможность, чтобы обучиться их мастерству – ну и, к тому же, чтобы утащить немного кабеля, содержащего столько отличной алюминиевой проволоки, необходимой для производства моих ложек.

Если бы не навыки Зюзина в том, что касалось *туфты*, я бы окончил свою жизнь в ДОЗе. Вам это может показаться преувеличением, но это работает именно так. Если вы выполняете норму, то получаете базовый паек, все его 100%, и он позволяет вам держаться на ногах. Если вы делаете меньше нормы, то ваш рацион уменьшается. С меньшим рационом вы становитесь слишком слабы, чтобы поддерживать тот же процент нормы, что выполняли ранее, и ваш рацион снижается снова. В результате паек снижается настолько, что вы начинаете голодать. На этом этапе, без дополнительной пищи, заключенный просто обречен на голодную смерть. У меня была дополнительная пища, но я боялся, что стану настолько слаб, что у меня не останется энергии на производство ложек, да и к тому же рынок для них не был надежным. Но Зюзину удалось идти по канату и не падать – благодаря ему мой паек, как и паек всех его бригадиров, как минимум, оставался полным. Делалось это путем подкупа офицеров МВД, писавших в своих отчетах о выполнении плана – там, где он выполнен не был; через приписки в книгах с отчетами, а также благодаря тому, что Зюзин держал членов бригады расположенными к себе, и никто из работников не стал бы на него стучать. Мы все следили, чтобы среди нас не объявился стукач, и были готовы остановить его прежде, чем он сделает свою работу.

Стукачей обычно убивали. В лагере существовал так называемый Народный Совет Правосудия, от имени которого в лагере выносились приговоры на уничтожение подобных деструктивных элементов. «Стукач идет с топором в спине», - это было расхожей поговоркой в лагере, и она была не просто фигурой речи. Обычной практикой до середины 1953 года в лагере было следующее: человек, исполняющий поручение Суда, должен был подойти к осужденному во дворе, быстро и тихо проговорить ему: «Народный Совет приговорил тебя к смерти», и быстро прирезать, пока он не успел что-либо сообразить. Профессиональные преступники предпочитали не зарезать, а обезглавить жертву. В лагере я встретил мужчину, который отсиживал небольшой срок за разбой. Он проиграл большую ставку в карты. В качестве расплаты ему требовалось обезглавить коменданта лагеря. Он не колебался. Нашел того во дворе, подошел к нему сзади с ножом и сделал свое дело. Почему его не застрелили – я не понимаю. А почему он оказался в нашем лагере – это понятно: убийство офицера МВД – это политическое преступление. Когда Народный Совет назначал палачом профессионала, известного среди крашенных своей смелостью, тот иногда мог взять только что срубленную голову и отнести ее ближайшему охраннику со словами: «Вот! Я поймал грязного стукача. Это один из ваших!». Затем он протягивал голову, и потом стойчески переносил свои три месяца в карцере. Если дело случалось зимой, то чаще всего карцер означал для него конец.

В 1953 году нас заставили подписать некий документ, который мы в шутку прозвали «мирным договором». Эта простая декларация гласила, что если о ком-то из заключенных станет известно, что он убил другого заключенного, то его расстреляют без суда. После того, как это было провозглашено, казни информаторов стали происходить тайно. Одна из таких тактик предполагала вырубить свет в бараке, перерезав провода. Почти сразу же после того, как свет гас, раздавался крик, переходящий хрипы, а затем – тишина. Или, иногда, приглушенные звуки борьбы человека, чей рот закрыли рукой в ватнике, а конечности скрутили. Однажды резкий шепот донесся до меня со стороны ближайших нар: «Иван Сергеевич Ростов, ты приговорен к смерти именем Народного Совета», а затем послышались неприятные булькающие звуки. После этого я услышал шаги босых ног, в то время как неизвестный исполнитель или исполнители прошмыгнули назад к своим нарам. И все это случилось за секунды после того, как погас свет. И еще через несколько секунд появлялись охранники, бранясь, с фонарями, заставляя кого-либо разжечь огонь на время, пока не восстановят освещение. Потом они обходили барак, скидывая одеяла, пока не находили синюшное перекошенное лицо или лужу крови и зияющее разрезанное горло. Одного из мужчин в моем бараке убили при помощи сверла, принесенного из каменоломни.

Такие вещи утверждали охрану в том, чему их учили относительно нас – что все мы были убийцами и врагами народа. По вечерам, когда постоянные дневные ветры пустыни стихали, голоса разносились со странной силой, то подымаясь, то стихая. И я помню, что часто, сидя в уборной в вечерней тишине, я мог расслышать, как охрана передает новой смене свою вахту на вышках по всему лагерю. У них была своя «молитва»: «Часовой номер сорок один. Пост третий. На защиту Советского Союза. На охрану террористов, шпионов, убийц и врагов народа. Часовой сорок один пост сдал».

И потом ответ: «Часовой номер девятнадцать. Пост третий. На защиту Советского Союза. На охрану террористов, шпионов, убийц и врагов народа. Часовой девятнадцать пост принял».

Они это проговаривали громко и четко. Ритуал никогда не изменялся.

В рабочую зону охранники часто заходили и бродили вокруг по мастерской или там, где мы работаем. На нас они смотрели как на животных в зоопарке. С поста на пост их часто переводили, а также из лагеря в лагерь, чтобы устранить возможность появления приятельских отношений с заключенными. Их требовалось огородить от того, чтобы они стали воспринимать нас как людей, и от понимания, что многие из нас отбывали наказания за ничтожные провинности или вообще ни за что. Солженицын, сидевший в лагере в Экибастузе, вспоминает такой диалог между охранником и заключенным:

- Какой у тебя срок?
- Двадцать пять лет.
- Что ты сделал?
- Ничего. Совершенно ничего.
- Ты врешь, заключенный. За ничего, совсем ничего, дают десять лет.

Для постороннего этот разговор выглядит как анекдот. Но это не было анекдотом. Охрана верила, что правильным сроком для людей вроде нас, если бы мы и ничего не сделали, было десять лет. Хотя они, конечно, ошибались. Двадцать пять, пять и пять – это было наиболее распространено.

Через некоторое время я сказал Зюзину, что продолжать нарезать гайки я просто не в состоянии. Это было просто фактом физической выносливости. Если бы я был сильным изначально, то со мной бы все было в порядке. Но теперь я не мог выполнить и 70% от плана, и я знал, что как бы не был находчив Зюзин, со мной у него начались бы проблемы,

особенно когда я стал бы делать еще меньше – а это бы неизбежно случилось, потому что я становился все более обессиленным.

Зюзин согласился. Он сделал меня слесарем. Для выполнения нормы нужно было делать по четыре замка в день, но никто и никогда об этом не вспоминал. Сил эта работа не отнимала – она просто отнимала время. Работа была не очень сложной. Нам нужно было следовать шаблону, из которого мы вырезали простые ключи. Потом мы делали простую металлическую коробочку, просверливали, вставляли пружины и другие изготовленные по шаблону части. В мастерской делали пружины, ну а мы делали все остальное. Получались грубые замки для выдвижных ящиков письменного стола, и одним ключом можно было открыть все эти замки. Вскоре я набил руку, и стал выдавать по два замка в день – до того момента, как запас металлических листов закончился. Я пошел к Зюзину.

- Листов больше нет. Что делать?

- Включи сообразительность.

- Но из сообразительности замков не сделать.

- Смотри. Кругом полно металла. Если у тебя чего-то нет, пройдишь вокруг, поищи, где ты можешь это добыть. Только не говори мне об этом. Все, что мне нужно знать – это готовые работающие замки.

- Украсть?

- Я ничего не хочу знать. Не кради. Просто добывай все, что тебе нужно, и старайся не попасться.

Я стащил нужное из мастерской, где делались кухонные плиты. Это были плиты с дровяной печкой, для которых они использовали листы металла – практически такие же, какие были нужны мне. Вот пример того, как *туфта* может работать замечательно – при условии, что у вас крепкие нервы: как только те, кто производили плиту, заканчивали свое дело, это было записано у них в журнале выполнения нормы, и им она больше не была нужна. Плиты забирали раз в неделю водители грузовиков, гражданские, чтобы вывезти со склада. И на этом этапе не было ничего, что могло ограничить мою сообразительность – потому что плиты крали все, включая охрану в погонах МВД. Поэтому я просто стащил плиту, зная, что человеку, который ее сделал, ничего за это не будет, и также, вероятно, никому другому. Самой сложной частью работы в моей карьере по изготовлению замков был этап кражи плит, на котором самая большая сложность заключалась в том, чтобы дотащить их физически. Потом я выбивал молотком заклепки, выпрямлял согнутые края, вырезал куски для корпуса замка, и продолжал выдавать по два из них в день. Одной плиты мне обычно хватало недели на две.

А потом у меня родилась идея. Я вспомнил кое-что из того, о чем мне рассказывал отец, говоря о технике массового производства. Подойдя к бригадиру, я сказал:

- Зюзин, как долго ты сможешь протянуть, не отчитываясь за мои замки? Неделю? Две?

- Ты к чему клонишь? - спросил он меня.

- Предположим, я буду делать по три замка в день, но ты их не увидишь на протяжении трех недель.

- Но никто и никогда не делал более двух в день. Два с половиной – самое большое.

- Думаю, что смогу делать три. Можешь подождать три недели перед тем, как отчитаться?

- Давай, - ответил он. Я все улажу.

Итак, я приступил к наладке производственной линии. Сначала я изготовил шаблон и затем при помощи молотка делал корпуса – только корпуса, пока их у меня не скопилось шестьдесят штук. Это заняло у меня неделю. Потом я приступил к внутреннему механизму. Это у меня заняло почти две недели. Ключи я сделал за день. На защелки – еще день. И так далее. А затем мне потребовался всего один день, чтобы собрать все

шестьдесят замков из готовых деталей. Я с триумфом отнес их Зюзину. Его реакция меня разочаровала. Он просто взял замки и пометил количество. Единственное, что он сказал, было: «Хорошо, продолжай». Он будто чего-то опасался, и выглядел растерянным.

- Что не так? – спросил я его. – О чем волнуешься?

- Да ничего особенного. Какой-то сукин сын крадет плиты, и на складе просто в бешенстве. Наверное, кто-то из этих гражданских, шоферов.

Теперь сил у меня было больше. В моей работе физическая сила в большом количестве не требовалась, кроме как для того, чтобы утащить плиту. Я снова начал изготавливать свои ложки во время перерыва на обед. Зюзин поймал меня за кражей алюминиевого кабеля, но не стал ничего говорить, когда узнал, что он нужен мне для ложек, а я помог ему закрыть на это глаза, отдавая часть от каждого литра масла, полученного от Кузнецова в госпитале.

Через несколько недель моя работа по изготовлению замков подошла к концу – Зюзин сказал, что мне понадобится снова возвратиться к нарезке болтов. Вакансия сварщика все еще не была открыта. Когда я частенько заходил в мастерскую за пружинами, мне казалось, что работа кузнеца сама по себе не особо сложная. У его помощника в руках был большой молот, но большую часть времени он проводил, держа в них щипцами всякие заготовки, или работая небольшим молоточком. Я долго наблюдал за их работой, и у меня появилась идея, что я тоже смогу это делать достаточно легко. Поэтому я спросил у Зюзина - а как насчет работы в кузнечном цеху?

Он посмотрел на меня вопросительно:

- Ты уверен?

- Конечно. Я все там знаю.

На лице Зюзина отобразилось все то, что он думает об этом заявлении. Меня он знал уже достаточно хорошо. Но он все еще был со мной на дружеской ноге, и потому отослал в кузнечный цех. «Там всегда нужны ученики», - сказал он мне.

Это было ужасно. Меня поставили в ученики к старому эстонцу по имени Арнольд.

Арнольд был человеком небольшого роста, жилистым и очень опытным. Мне нужно было помогать ему резать металл. Взяв в руки молот, я понял, что поднять его почти не могу.

Арнольд взял долото. Я умудрился ударить так, что ручка сломалась, а горячее металлическое лезвие вылетело через окно.

Арнольд был в шоке: «Как, черт возьми, ты это сделал? Такого еще никогда не случилось!»

Я пошел за долотом. Оно вылетело из окна, разбив стекло, и растворилось в снежной дали. Когда я принес его, Арнольд послал меня на склад за новой ручкой. Я взял деревянную ручку и поднес ее к горну. Кузнец разогрел долото, воткнул ручку в расширенное гнездо и немедленно погрузил в бочку с водой, чтобы металл сжался вокруг ручки.

Потом он решил попробовать снова. Кусок горячего металла был положен на наковальню, кузнец зажал долото и подал мне знак ударять. Я едва мог поднять тяжелый молот – в этом была проблема. И я не мог удержать его прямо. Он рухнул вниз под углом. Раздался звук – что-то среднее между выстрелом и звуком лопнувшей струны. Долото исчезло. Мы оба оглянулись кругом. Новых осколков разбитого стекла видно не было. На полу его тоже нигде не было видно. В конце концов, понимая, что это глупо, я пошел снова искать его в снегу на улице. Долото лежало там же, где и в прошлый раз – судя по всему, оно пролетело через уже выбитое окно.

- Как такой растяпа может быть таким точным? - произнес Арнольд.

Мы попробовали снова. Некоторое время у меня получалось бить прямо. На следующий день я сломал несколько ручек, а на следующий день еще несколько. Они часто улетали все через то же окно. Остальные работники мастерской стали звать меня «Долган-кривой глаз». Но Арнольд, кузнец, был слишком добр, и не жаловался. Он был из тех, кто ненавидит создавать сложности другим людям, но каждый раз, когда я отправлял долото в окно, на его лице читалась нарастающая боль. В результате с жалобой на меня обратился человек со склада. У него закончились ручки для долота, и ему грозили бы неприятности, если бы он запросил администрацию, чтобы ему дали еще. За три года работы ему не приходилось менять ни одной такой ручки. Я же сломал тридцать за две недели.

В один из дней, возвращаясь из кладовки с новой ручкой, я заметил какое-то смятение во дворе, где работали сварщики. Распахнулась дверь, и в нее внесли мертвого парня с ожогом, шедшим по рукаву его телогрейки. Он покончил с собой, схватившись за провод. Я выронил ручку и бегом помчался к Зюзину, тут же позабыв о моем добром эстонском начальнике. Думаю, что он так и стоял там в раздумьях – в какую же дыру провалился его подопечный, и не проваливался ли он в эту же самую дыру перед этим несколько раз? Я же в это время умолял Зюзина дать мне работу погибшего сварщика. Зюзин решил снять с себя ответственность. Он позвал главного инженера, из гражданских.

- Ты умеешь делать шов номер восемь? – спросил он меня.

- Конечно, запросто.

- А двойной шов на двух кусках арматуры?

- За кого вы меня держите? – с ноткой обиды в голосе произнес я. – Да это просто детская забава!

- Хорошо, пойдем со мной, и покажешь, - сказал инженер.

Мы вышли наружу. Я чувствовал себя совершенно уверенно – я же тренировался. Инженер вручил мне маску, сварочный аппарат, и указал на два куска металла, которые мне требовалось сварить. «Позови меня, когда сделаешь, и я посмотрю, на что ты годеи», - произнес он и удалился в цех.

Ну, это дело пустяковое, - подумал я.

Потом я вспомнил о том несчастном, которого только что пронесли мимо меня, и решил соблюсти все предосторожности. Я взглянул на одиннадцать остальных сварщиков, чтобы проверить – возможно, я не заметил чего-то ранее. Они все смотрели на меня. Внезапно я ощутил довольно сильное смущение – поэтому поскорее натянул перчатки и закрыл лицо маской. В ней я не мог ничего разглядеть. Я откинул ее, соединил куски металла, поднес электрод настолько близко, как только можно было, снова натянул маску и придвинул электрод ближе, чтобы начать варить. Но я поднес его слишком близко – и электрод сразу же увяз в металле. Я дернул, чтобы освободить его, а потом начал снова – теперь я был очень осторожен, и сварка пошла.

Под маской с меня градом лился пот. Я поднял ее, чтобы передохнуть, и огляделся – остальные сварщики все еще смотрели на меня. Снова надел маску. «Спокойно, Алекс, - сказал я себе. – Очень важно соблюдать спокойствие сейчас».

Пот заливал мне глаза. Время от времени я приподнимал маску, чтобы вытереть пот – и в эти моменты ловил на себе изумленные взгляды со стороны остальных сварщиков, заставляющие меня поеживаться от смущения – и затем продолжал свои попытки.

У меня ушел почти час работы на то, чтобы сделать эти два шва.

Я позвал Зюзина, а тот кликнул инженера. Был обеденный перерыв, и остальные сварщики ушли. Инженер взял в руки кувалду, чтобы проверить крепость моей работы. Но затем внезапно он опустил ее и наклонился, чтобы рассмотреть сварной шов более

тщательно. А потом просто отвел ногу немного назад и слегка ударил по железу ботинком – кусок распался на две части.

Я омертвел.

Инженер рассмеялся.

- Я покажу тебе, как нужно делать правильно. Основу ты понял, но учиться еще придется многому, - произнес он.

Этот инженер оказался человеком, способным на сочувствие. В течение перерыва он показал мне, как делать простой шов, который будет держаться, потом дал некоторую работу и оставил меня с ней.

На самом деле, я обучался новому делу быстро и относительно успешно. Передвигать листы стали, таскать прутья и куски арматуры – все это было для меня тяжелой работой, выполняя которую я неважно держался на ногах, и меня качало из стороны в сторону, словно пьяного. Но стоило мне усесться в положение сварщика, как я обретал некоторую устойчивость. Комбинезона у меня некоторое время не было – оставшийся от умершего сварщика был для меня слишком мал. В один из дней я не заметил, как искры от сварки подпалили подкладку моих зимних штанов. Скоро вся одежда стала дымиться, а я так и не замечал этого, потому как на рабочей площадке всегда было полно дыма. В следующее мгновение я уже прыгал словно ошпаренный – мне казалось, что все мои штаны охватило пламя. Мне пришлось прыгнуть на сугроб, чтобы стащить их с себя.

Моей работой было делать части лестницы для какого-то подвала: листы стали для ступеней, боковые стороны и т.д. У нас имелся для этого шаблон. Мы размечали его мелом на материале, вырезали при помощи сварки, а потом начинали сборку. Меня мотало из стороны в сторону каждый раз, когда мне приходилось что-либо нести, но при этом я был способен смеяться над самим собой – словно бы я наблюдал со стороны за кем-то другим. И хотя к концу дня я обычно был изможден, но время долгого марша обратно в лагерь было для меня радостным, потому что это время означало путь домой – к отдыху, пище и друзьям. Как правило, я нес с собой украденную доску, часть балки или дверного косяка в качестве дров, и когда ряд заключенных, в котором был я, охранники выбирали для конфискации, я относился к этому философски. Я стал осознавать и принимать, что для выживания требуется платить, и лучше принимать это как данность, чем пытаться противостоять этому. Многие другие ругались, и получали за это пинки в живот от охраны, забиравшей у них дрова. Я помечал про себя таких людей как менее опытных в деле выживания. Их протест просто забирал у них энергию.

Когда один охранник повел себя за пределами жестоко, заставив человека снять свои сапоги и обмотки, в снегу, при минус десяти, во время обыска, я почувствовал, как внутри меня подымается приступ ярости, но я не подал и виду. Какая бы от этого была польза? Однажды во второй половине дня я услышал несколько выстрелов. Все сварщики прервали свою работу, откинули маски, безмолвно посмотрели друг на друга, а затем продолжили сварку. Позже, в тот же день, я поранил руку об острый стальной край и отправился в медпункт за перевязкой. Внутри лежал молодой парень, которого застрелила охрана за то, что он подошел слишком близко к огневому рубежу. Здесь же, на полу, лежала его телогрейка. В том месте, где в нее вошла пуля, находилось маленькое аккуратное круглое отверстие. Там, где она вышла – кровавое месиво из фрагментов одежды, плоти и костей. Рука была практически оторвана повыше локтя, и держалась только на сухожилии. Парня продержали в ДОЗе несколько часов, наложив жгут. К тому времени, как его принесли к Адаричу, спасти уже омертвевшую руку не было никакой возможности. Подобные случаи вызывали во мне приступы ярости, но даже такие дикие примеры насилия не огорчали меня безмерно. Я осознавал, что нахожусь в сердцевине абсолютно негуманного общества, где моей первой обязанностью было выжить, и в котором чрезмерная чувственность или жалость, а также негодование или ярость только

бы высасывали мои силы, и, возможно, приблизили бы мой собственный приговор. «Будь начеку – твердил я себе. Не допусти, чтобы все это вымотало тебя настолько, что ты забудешь свою привычку искать любые возможности вокруг себя, чтобы выжить».

Однажды Арнольд, кузнец, вошел во двор, где стоял некоторое время, наблюдая за моей работой. Я лишь смутно увидел две пары ног через свою маску, и продолжил работать. Когда я откинул маску и взглянул вверх, то увидел, как жилистый старик смотрит на меня с дружелюбной улыбкой – я был рад его видеть.

- В кузнице теперь все не так, как раньше, Александр, мой мальчик, - проговорил он. – Вот уже три недели, как у меня все одна и та же ручка от долота, и наша жизнь стала менее веселой.

Мы оба посмеялись на этом, я достал своего табака, Арнольд вынул два лоскутка бумаги, мы свернули папироски и присели на сугроб перекурить.

- Я видел, как ты работаешь, Александр, - сказал Арнольд. – Я удивлен, как хорошо у тебя получается. Пожалуйста, не обижайся.

Я рассмеялся, ответив, что ничего обидного тут не вижу.

- Послушай, - продолжал Арнольд, - у меня есть идея, как заработать немного денег, чтобы купить хлеба. Как ты думаешь, насколько сложно время от времени откладывать по нескольку круглых прутьев, а также железных уголков?

Я ответил, что это несложно.

Арнольд объяснил, что говорил с некоторыми гражданскими - шоферами и рабочими – приехавшими на ДОЗ. Все они были очень недовольны, потому что когда правительственные чиновники уговаривали их ехать работать в Джекказган, то описывали Крестовую как образцовый поселок с оснащенными современными удобствами мебелированными квартирами, что здесь есть зоны отдыха, и т.д. Когда же они приехали, то обнаружили холодные, наполовину готовые квартиры, плохо сделанные (рабским трудом, конечно), без мебели. Никаких зон отдыха, конечно, тоже не было. Им было объявлено, что все это «планируется», но по причине «трудностей снабжения» строительство затягивается.

Но больше всего они ругались – а это в основном были молодые женатые пары – на то, что у них не было кроватей, и им приходилось спать на полу. Арнольд решил, что мы могли бы сработаться с ними, делая для них кровати на ножках. Я бы варил раму, а он бы делал орнаменты в кузнице.

Так мы образовали партнерство.

Мне пришлось отложить на время перерывы на обед и производство ложек, но обычно за неделю мы справлялись с изготовлением кровати, что давало каждому из нас по два кило хлеба, а иногда мы могли разжиться и жареным мясом, маслом или парой рублей, которые могли нам потом пригодиться для чего-то большего.

Мы никогда не спрашивали шоферов, как им удавалось провезти кровати через охрану, но я уверен, что охранники обыскивали машины только в поисках беглецов при выезде и контрабанды, наподобие ножей и оружия, при въезде. Хлеб и кровати их не интересовали. Как-то один шофер поведал мне, что им очень понравилась наша кровать, хоть и пружины (просто сетка из проволоки) были жестковаты. Он был восхищен нашим мастерством, как он сказал, и его жена спрашивала, не могли бы мы сделать для нее уют?

Уют стал настоящим испытанием. На изготовление утюга у меня ушло больше времени, чем на кровать, потому что мне пришлось использовать для этого несколько различных

видов стали. Сначала я вырезал днище в виде лодочки из толстого листа. Его требовалось отшлифовать снизу и с боков – делать это мне приходилось вручную, и на это уходили дни, чтобы я мог то здесь, то там уделить этому время, скрываясь от бригадира, окриков охраны или взглядов стукачей.

Сверху я сделал отделение для углей, с небольшой решеткой и вентиляционными отверстиями, куда нужно было класть кусочки угля. Я понимал, что все это должно выглядеть красиво, чтобы понравиться женщине, которая заботится о том, как она выглядит – причем настолько, чтобы гладить одежду в Джеккагане. Поэтому на последнем этапе я очень постарался. Утюги стали пользоваться большим спросом, и на протяжении некоторого времени я получал по три кило хлеба за утюг. Я начал ощущать себя богатым человеком – настолько хорошо устроенным, что мог проявлять щедрость по отношению к своим друзьям, особенно к Зюзину, который так тщательно меня оберегал до этого. Некоторое время, таким образом, дела шли очень неплохо. И, хотя я продолжал ощущать постоянную слабость, мое здоровье было на удивление хорошим, несмотря на небольшие приступы цинги, расстройство желудка время от времени и небольшую температуру.

Ежедневно я жил в окружении бесчеловечности в своих самых грубых проявлениях. Для людей, которые служили в охране, я был просто номером, СЯ265, и они использовали этот номер для того, чтобы властвовать надо мной и унижать меня. Где-то рядом всегда был охранник с куском фанеры и карандашом, которым он записывал ваш номер, если вы замешкались при подъеме с утра, если забыли снять шапку, шагая в конвое, если заступили за линию при марше. Имени у вас нет – только нумерованный объект, который можно бросить в холодный карцер, если вам не удалось чему-либо соответствовать, а также бросить в вагон с трупами – с номерным жетоном, прикрученным к большому пальцу ноги – если вам не удалось выжить.

Смертность в лагере была на уровне, как минимум, двух или трех человек в день, или около одного на тысячу. Вероятно, намного больше.

Сквернословие, жестокость и бесчувственность выставлялись напоказ и были нормой. Многие из заключенных становились такими же жестокими и бесчеловечными, как и охрана. Я избегал таких людей. Нередко в своей отчаянной попытке выжить они становились стукачами. Им было известно, что случалось с другими стукачами, но и это их не останавливало. Когда их находили, то обычно убивали – или, если никакой опасности они не представляли, их просто игнорировали – до такой степени, что они становились бесполезными для сотрудников МГБ, что их нанимали.

Пища у заключенного была скудной, если только он не проявлял чудеса находчивости – да и в этом случае витаминов в ней не хватало. Заболевания, вызванные нехваткой витаминов, такие как цинга и пеллагра, были широко распространены и часто оканчивались смертью. Зимой мороз пронизывал до костей, а ветер с колючим снегом причинял боль во время марша в колонне по пути на работы и обратно, а руки приходилось держать за спиной. Летом и осенью от жары у нас растрескивались губы и кожа. При работе под открытым небом без перчаток можно было получить ожог, взявшись за раскаленные камни или листы железа. От теплового удара падали многие заключенные, и лишь немногие из них затем вставали. Пыль была везде – ветер, несущий пыль, дул весь день и почти каждый день. Клопы были частью моего окружения, и психологически я к ним так и не привык, хотя мое тело и выработало иммунитет к их укусам, вокруг которых перестали формироваться отеки.

Вокруг меня люди постоянно сходили с ума, и ради собственного выживания я вынужден был научиться не обращать на это внимания.

Времени для сна всегда не хватало.

И, тем не менее, духом я был крепок. Я выкарабкался на некое плато, будучи на котором я был уверен, что выживу. Моя работа мне нравилась. Шум, лязг и обстановка в целом на

сварочной площадке, голубые вспышки электричества вокруг, кампания компетентных людей, запах озона: все это мне нравилось, как мне кажется, потому что я становился все более опытным и подошел близко к тому, чтобы выполнять в реальности установленные рабочие нормы. Я также научился самостоятельно поддерживать свою собственную туфту. И если для работы требовалось брать листы металла толщиной 5 мм., я брал из тех, что были толщиной 3 мм. – как я обнаружил, никто этого не проверял, а я мог отрезать куски быстрее от более тонкой стали.

Я мог делать гладкий единичный шов – это было быстро и легко – а затем записать, что я делал восьмерку или двойной шов, потому что мне «платили» за общую длину сваренных швов в день, в виде баллов, в которых была установлена норма. А проверяли они только общее количество произведенных единиц продукции: плит, лестничных секций, сейфов и т.д.

Я мог записать себе перевыполнение нормы и получить дополнительный паек, однако все еще не мог должным образом переносить что-либо. Когда мне приходилось нести металлический лист, я постоянно спотыкался, словно от порывов ветра. Мне удалось убедить Зюзина в том, что я мог бы увеличить свою производительность, и серьезно, если бы у меня был помощник. К моему восторгу, он каким-то образом вытащил из карантина моего друга, Эдика Л., и приставил его ко мне, а также перевел в наш барак, на соседние со мной нары.

И теперь, хотя вечера были печальны и одиноки – тогда, когда работа не заполняла все мое время целиком – у меня был Эдик, с которым я мог поболтать, и гитара Зюзина, которую я мог слушать. В это время я начал задумываться о том, чтобы серьезно начать учиться играть на гитаре самому, т.к. видел, насколько увлекает меня это занятие. Мне казалось, что оно поможет мне выжить – хотя для моих соседей это, возможно, и создало бы некоторые проблемы, так как я, определенно, не был прирожденным музыкантом. Несмотря на успехи в сварке, у меня по-прежнему сохранялись мои таланты в том, чтобы сделать какой-нибудь ляп. Мои ляпы всегда отличались особым классом – как, например, в кузнице, где я раз за разом посылал долото на улицу через одно и то же отверстие в окне. Время моей работы в отряде сварщиков не стало исключением. Вскоре после того, как ко мне присоединился Эдик, мы покончили с заданием по сборке лестницы и нам выдали шаблон для производства больших офисных сейфов, сделанных из достаточно толстых листов металла. Нам нужно было вырезать боковины, верхнюю и нижнюю часть, а также дверь, сделать петли, приварить петли к двери, а потом – петли к раме. Мне нужно было просверливать отверстие для глазка. Замки к нам приходили еще откуда-то. Мы с Эдиком получили шаблоны, хорошенько изучили их перед тем, как обвести мелом на листе металла. Сама по себе конструкция была достаточно простой, но нормы были невозможными по причине требуемых работ по резке: нам нужно было сдавать по три законченных сейфа каждые два дня. Мы решили, что если будем хитрить относительно толщины используемого металла, и если делать изнутри всего несколько точек сварки, в углах, вместо полного сварного шва, то сможем справиться с нормой, и, возможно, даже побить ее. Мы вдвоем приступили к резке – один при помощи нового ацетиленового оборудования, которое только недавно привезли и которым можно было работать быстро, а другой – при помощи сварочного, с которым работа шла медленно. Эдик, находившийся в хорошей физической форме, выполнял все работы, связанные с поднятием тяжестей. Он держал листы металла в то время, пока я их сваривал вместе. Первый блин вышел немного комом – нам пришлось заново сваривать один из швов, т.к. он получился кривым, но через некоторое время мы поставили раму на место, приварили петли к двери, освоились с работой и стали продвигаться гораздо быстрее. Как выяснилось позднее, слишком быстро. Эдик стоял внутри, чтобы держать дверь в требуемом положении, в то время как я приваривал к ней петли. Ему нужно было держать ее очень точно, чтобы потом она не цепляла за раму при открывании. Он прислонился к задней стенке сейфа, просунув пальцы в отверстие для замка, а снизу придерживал ее пальцами ног, и торопил меня, так

как ему требовалось употребить все свои силы, чтобы удерживать дверь в нужном положении.

Я торопился. И шлепал швы один за другим. Их требовалось делать так, как было положено, потому что они были видны, и я не мог схалтурить где-либо. Вскоре я сделал уже последний шов, а Эдик жаловался на жар внутри сейфа. Я закончил, сказав: «Все!». Мы сделали свой первый сейф, а время еще даже не приближалось к полудню, и я был уверен, что, употребив освоенную мной в слесарном цеху технику массового производства, мы сможем, при условии требуемого уровня обмана, выручить на этой работе много дополнительных паек. Поэтому я немедленно побежал на склад и начал обводить мелом большое количество днищ, боковых сторон, дверей и так далее. Посреди всего шума на площадке я услышал глухой голос Эдика. Он все еще был в сейфе.

- Давай, выходи! Надо продолжать, - крикнул я на бегу по направлению к сейфу.
- Я не могу! – ответил Эдик.

Оказалось, что я приварил дверь наоборот! Она открывалась только вовнутрь, а сама дверь была больше, чем внутренняя рама. Таким образом, Эдик оказался заключенным внутри, как жертва мстительного монстра из рассказа Эдгара По «Бочонок амонтильядо». Я побежал за горелкой. Эдик кричал, что поджаривается – в то время как я начал срезать петли. Но другого выхода не было. Я срезал так быстро, как только мог, но ко времени своего вызволения Эдик уже был без сознания от дыма и жара. Только через некоторое время после этого случая он снова стал общаться со мною на дружеской ноге.

Я был вовсе не единственным из тех, кто искал случая утащить что-либо с территории ДОЗа. Инструменты, куски стали, алюминиевые провода – все это исчезало в телогрейках заключенных или в тайниках, либо переправлялось вместе с гражданскими шоферами в дневное время, либо при помощи охранников из МВД в конце дня. Моя деятельность привела к тому, что на площадке стала ощущаться нехватка электрического кабеля. Благодаря остальным кабель исчез вовсе. Обычным решением в случае недостатка кабеля было соединить короткий кусок кабеля, идущий от трансформатора, с куском листовой стали или металлическим стержнем, лежащим на земле, а затем проложить дорожку из листов металла и стержней в направлении своей рабочей площадки, которая могла находиться метрах в десяти или больше в глубине двора. Потом положить лист металла поверх соединения, потом какую-нибудь балку, что удачно валялась поблизости – и так далее, до тех пор, пока у вас не получалось некое соединение до места работы. В один из дней, весной, я не обратил внимания на то, что некоторые части моей электрической линии, проведенной от трансформатора, стоявшего под навесом рядом с закрытой частью площадки, лежали в лужах растаявшего снега. Я послал Эдика на склад за электродами и попросил заодно включить рубильник на обратном пути. В течение некоторого времени перед этим мне приходилось изготавливать свои собственные электроды, покрывая тонкие металлические стержни силиконовым непроводящим составом, что позволяло регулировать скорость горения. Терпения на эту работу у меня не хватало, и мои электроды частенько разнились по своему качеству. Но теперь нам привезли некоторое количество нормальных электродов заводского изготовления, использование которых значительно убистряло работу. Я видел, как Эдик выходит со склада с пачкой электродов. Я видел, как он включил рубильник моего сварочного аппарата. Я видел, как он ступил в лужу талой воды.

Я подумал, что он сошел с ума. Эдик начал выплясывать некий странный танец, со сложными ритмическими движениями – при этом колени у него были согнуты, а верхняя часть тела и руки ходили ходуном, словно в конвульсиях. Я не понимал, что происходит. «Хватит придуриваться, нам нужно норму делать!» - крикнул я ему. Но Эдик не отвечал.

Колени его подгибались все больше, а затем он свалился наземь и, лежа, продолжал дергаться.

Эдик был большим охотником до шуток, но теперь мне показалось, что ему действительно нехорошо. Я положил свой сварочный аппарат на перчатки и направился к нему поперек двора. В это же самое время ворота открылись, и на площадку вышли три офицера МВД, два полковника и генерал – они вышли на инспекционную проверку, такую же, как и та, что прервала мою процедуру с кишечным промыванием. Результат этой был не менее мрачным, хотя я все еще ничего не подозревал. Три офицера, в своих чистеньких костюмах и длинных шинелях, начали все тот же странный конвульсивный танец – хлопая руками и дрыгая головами вперед и назад. Рты у них были раскрыты, глаза выпучены – но при этом они не издавали ни звука. Я бросился бежать. Должно быть, я наступил в лужу. Я почувствовал, как бешеный ток пронзил все мое тело. Я был в ужасе, и в то же время, как ни странно, мне хотелось смеяться. Я начал кружиться вокруг, хлопая руками, как крыльями, и дергая головой. Прошло совсем немного времени, и мы все оказались лежащими на земле. На счастье появился сварщик, понял, что произошло, и вырубил трансформатор.

Офицеры были в ярости. Генеральская шинель вся вымокла и измазалась в грязи и ржавчине. Они были убеждены – это была попытка убийства. Вся работа на ДОЗе в этот день остановилась – нахлынула охрана, тут же была образована комиссия по расследованию. Меня и Эдика исключили из числа подозреваемых, так как мы также оказались в числе пострадавших. В конце концов, найти виновного им не удалось. Зюзин и остальные бригадиры хорошо поработали, накричав на офицеров, что они вошли в опасную зону без эскорта, и офицеры вынуждены были уступить, согласившись с ними, что это был просто несчастный случай. Здесь имело место влияние начальственного авторитета, пусть даже это начальство и было из числа заключенных – им удалось убедить офицеров в том, что понимают, о чем говорят.

Но по той причине, что еще с прошлого лагеря за мной ходила слава как «Человека, насравшего на органы», а также «американского шпиона» (все в лагере были уверены в том, что эпизод с охраной дачи Хрущева был частью моей шпионской миссии), многие решили, что и это все тоже было моих рук делом; в результате моя репутация поднялась еще на одно деление выше.

Глава 20

Начало весны 1952 года. Вскоре мне должно было исполниться двадцать шесть. Воспоминания о холодном склепе в Лефортово и ужасах Сухановки немного отошли вдаль, хотя моя челюсть все еще болела в том месте, где Рюмин ее сломал, и на мне все еще были и есть шрамы от ботинок Сидорова и резиновой палки Рюмина.

Весна – единственный сезон в степи, когда там чувствуется какая-то жизнь. В течение очень короткого времени, измеряемого днями, растаявший снег оставляет после себя достаточно воды для того, чтобы вся эта обычно мертвая земля расцвела бутонами красных тюльпанов, а также поднялись в избытке стебли дикого чеснока. Когда мы выходили на работу за территорию лагеря, или когда имели возможность присесть или прилечь на землю за его воротами во время подсчета, то срывали чеснок и уносили с собой, чтобы пополнить дефицит витамина С.

На короткое время в этот период уровень смертности в лагере падал. Иногда проходил день или два, а в нашем маленьком городе из нескольких тысяч рабов никто не умирал. Мечты об американском вторжении, которому бы предшествовал воздушный мост, по которому нам бы сбрасывали оружие, расцветали, подобно степным цветам, в моей голове – и внутри себя я ощущал душевную бодрость, как никто другой, хотя этой своей фантазией ни с кем не делился. Некоторые старались выживать, вынашивая в себе чувство ненависти. В особенности это было заметно среди бывших высокопоставленных

партийных функционеров, попавших под чистки, и теперь возвращающих в себе чувство политической мести. Это были озлобленные люди, державшиеся своей кучки. С ними я никогда не завязывал отношений, потому что они были мне неприятны, хотя я понимал, как их злость помогает им выживать, и я смотрел на них сочувственно, но с расстояния. Некоторые, конечно, становились религиозны – и молитвы, безусловно, спасли многие жизни.

Моя собственная вера в Бога, и вера эта настоящая, больше зиждется на том, что дано, нежели чем является некой активной верой. Хотя я привычно ходил на мессу, будучи ребенком, я никогда не был церковным человеком, или склонным к соблюдению ритуала. Я верил, что только от меня зависит, насколько я смогу сделать лучше то, что Бог мне дал – и своим выживанием я обязан именно этой своей устремленности. Своей настойчивости в стремлении, по меньшей мере, выжить – а по большей мере выжить и найти в этом некоторое удовлетворение.

Я наблюдал множество случаев, когда люди теряли надежду, или изменяли своим убеждениям, а затем, без всякой видимой причины, умирали. По какой-то причине это случалось чаще с людьми из прибалтийских стран – не знаю, почему. В особенности странным это казалось при том, что им чаще, чем кому-либо еще, присылали продуктовые посылки из дома. И нередко именно прибытие такой продуктовой посылки вело за собой приступ отчаяния, глаза человека обращались в пустые глазницы, а сам он напоминал ходящего призрака, который никогда не разговаривает. А потом, под утро, часто около трех часов ночи, мы слышали вздох, за которым следовал конец.

Никакой физической причины.

Самоубийства происходили часто. У нас был молодой парень, лет двадцати шести или двадцати семи, он работал в ДОЗе. Его звали Вилунскас. Я не был с ним хорошо знаком, хоть он и жил в нашем бараке. Однажды весной, днем, перед тем как наступил сезон цветения маков, я шел с другом в почтовую комнату. Другу сказали, что для него там есть продуктовая посылка, и он хотел, чтобы при нем был свидетель, если охранник украдет что-то из посылки при обыске, и чтобы иметь защиту в случае, если кто-то из полукрашенных попытается стащить посылку по пути обратно в барак. Когда мы заходили в комнату, из нее выходил Вилунскас. Он читал письмо, и его лицо выглядело так, будто его ударили: он был поражен и невероятно удручен чем-то одновременно.

Когда потом мы вышли, он сидел на ступеньках на крыльце. Письмо было все еще у него в руке, но сам он завалился набок, правая рука внутри рабочей куртки. Я наклонился, чтобы спросить, как он, но он просто свалился с крыльца на землю, без сознания. Я позвал помощь. Несколько заключенных подошли и помогли отнести Вилунскаса в госпиталь. Я не мог не взглянуть, что было в этом смертельном письме, упавшем на землю. Это было письмо от его жены, в котором она говорила, что подала на развод. Меня захлестнуло волной сочувствия к этому человеку, которого я едва знал, почти моего возраста. Мне вспомнилась Мери, и хотя я понимал, что она должна быть свободна от своего обещания, данного мне, я почувствовал горечь. Глаза мои помутнели. Я смахнул слезу и уставился в землю, надеясь, что никто не заметит того, как я себя почувствовал. Что-то яркое на земле привлекло мое внимание – я склонился и поднял это. Маленький, сделанный вручную нож, складной, как для карандашей, только с лезвием длиной всего в два-три сантиметра. Кончик ножа был красный от свежей крови.

«Дурак!» – сказал я про себя в сердцах. Ему не следовало пытаться убить себя из-за этой женщины, во-первых, а во-вторых, если он, и правда, хотел это сделать, то нужно выбирать оружие, которым это можно сделать. Этот ножик ничего не пробьет.

Я кинулся в госпиталь, чтобы показать докторам, что я нашел, и встретил Адарича.

- Этот молодой человек умер, - сказал он мне.

- Это невозможно! - ответил я и показал Адаричу маленькое бесполезное оружие.

- Ну, - произнес Адарич, - он мертв, я не знаю, почему. Рана практически незаметна.

Позже он рассказал мне, что сделал аутопсию – крошечное лезвие пронзило сердечную оболочку, проникло в желудочек, и произошло кровоизлияние в грудную полость. Вилунскас был из Каунаса, из Литвы. Он был членом группы партизан, называемых «лесными братьями». Их было много в лагере. Они были мрачны, пребывали в состоянии задумчивости, и среди них было много случаев самоубийств.

Был в нашем бараке кузнец, латыш. Звали его Зеленьш. Впервые я встретил его, когда работал с Арнольдом, ломая те самые долото. Работа у Зеленьша была тяжелая, но он, казалось, вполне справлялся с ней в ДОЗе. По вечерам он почти никогда не разговаривал. Казалось, что он пребывает в ином мире. Однажды, в воскресенье, когда нам позволили остаться в лагере и работа на день прекратилась, Зеленьш погрузился в свое сумрачное состояние глубже, чем обычно. Утром пришли собрать то, что составляло нашу постель, для кипячения от клопов. Мы уселись кругом на голом полу, болтали, курили, заваривали чай на маленьких плитках, расположенных в разных концах барака. Во второй половине дня комендант лагеря, майор Гусак, пришел лично, с парой офицеров, и приказал нам всем выйти из барака для того, чтобы офицеры произвели обыск. Это было обычным развлечением для майора: испортить нам редкий выходной такого рода унижением. Они могли конфисковать книги – со стихами или религиозные; стереть наши номера, чтобы был повод сгноить кого-то в карцере или истощить сокращением рациона. Все это время, в течение часа или двух, мы должны были стоять снаружи – им на забаву. Гусак при этом расхаживал вокруг, грубо матерясь и всячески выказывая свою начальственность. Он обожал оскорблять бывших высокопоставленных армейских офицеров или заслуженных профессоров, или любого другого, у кого раньше была слава и над кем теперь он мог вдоволь изгаляться.

Большинство из нас ругались втихомолку и отпускали злобные шутки во время этого ритуала. В тот день Зеленьш просто стоял молча и смотрел вперед себя, ни с кем не разговаривая.

Когда все закончилось, мы вошли обратно в барак, сели на голые нары, и кто-то поставил кипятить чайник. Зеленьш лег на свои нары, положив руки под голову, смотря в потолок. Кто-то принес ему кружку чая чуть позже, но Зеленьш не ответил. Его глаза были по-прежнему широко открыты. Сосед взглянул в них более пристально и тихо произнес: «Отдал концы».

Многие из его знакомых подошли, пытаясь растормошить его, так как он выглядел хорошо и был вполне здоров – Зеленьш хорошо работал и получал хороший паек. Но теперь он был мертв. Ему было примерно тридцать пять.

Многие заключенные проводили все свое свободное время в разговорах о политике, ругая советскую систему. Меня пару раз также затягивало в эти разговоры, но, по правде говоря, весь этот негативизм меня не привлекал. Я продолжал клянчить у Зюзина чтобы он показал мне новые аккорды на гитаре, и он, наконец, чтобы от меня отвязаться, раздобыл где-то старую убитую гитару, которую я смог купить за пару буханок хлеба. Теперь, когда вечерами в бараке начинали петь, я пробовал аккомпанировать поющим, используя несколько аккордов из «собачьего вальса». Также я понемногу осваивал инструмент, внимательно наблюдая за грациозной игрой пальцев Зюзина, обращаясь то к нему, то к другому моему другу, Володе Степанову (он хорошо знал русские песни), чтобы они показали мне, как сыграть тот или иной аккорд. Однажды Володя (это сокращенное имя от «Владимир») сочинил песню о нашем лагере, и теперь весь барак – после того, как все уже выучили слова – начинал подпевать эту печальную песню.

Джезказган, Джезказган

По твоим бескрайним степям

Не проскачет никто, как твой друг
Кроме бурь песчаных да вьюг

Белым землю метель заметет
Воет день и ночь напролет
Я один в этом страшном краю
Эту грустную песню пою¹

Не все песни были столь печальными. В нашем репертуаре была русская версия «Большого корабля Титаника», полная иронии, а также много веселых мелодий из разных частей Союза. Но та песня, что объединяла всех нас в общей безысходной тоске – это была «Песня Джекказгана», что сочинил Володя.

Я начал помечать на листках, как правильно ставить пальцы для того или иного аккорда, а также пробовал запомнить их последовательность. В то же самое время по-настоящему меня вдохновляло обучение игре классических композиций по нотам – так, как это делал Зюзин. Он переписал для себя на ноты некоторые мелодии для аккордеона, найденные в лагере, и я был очарован тем, как бежали по струнам его пальцы, заполняя все вокруг потоком нежных мелодичных нот – это было намного прекраснее, нежели чем простое брэнчание.

Я решил для себя, что мне нужна классическая русская гитара – на ней семь, а не шесть струн – и через некоторое время нашел старого мастера по дереву в ДОЗе, который сказал, что может сделать такую. На протяжении нескольких месяцев я наблюдал, как он ее изготавливает, в то же самое время расспрашивая всех своих друзей о том, как бы найти книги с настоящей музыкой для гитары. Зюзина эта идея тоже очень вдохновила: ему, как и мне, очень хотелось найти новые гитарные композиции. Когда моя гитара была, наконец, закончена, Павел Воронкин нарисовал элегантную фигуру фавна среди деревьев на ее задней стороне. Нашлись и кое-какие ноты. Всего одна композиция, но это была настоящая музыка для гитары: «Итальянская Полька» Рахманинова, расписанная на ноты для русской классической гитары. Зюзин начал обучать меня чтению этой композиции. Это занятие оказалось очень утомительным. Мне до сих пор непонятно, как остальные в бараке были столь терпеливы к моим неуклюжим попыткам и бесконечным повторениям одного и того же, или двух тактов – в то время как я учил эту «Польку» от ноты до ноты. По дороге на работы я держал руку под телогрейкой, когда это было возможно, практикуюсь в игре и перебирая пальцами на своей груди тридцатисекундный музыкальный отрывок. Это занятие оказалось для меня чрезвычайно сложным, однако оно полностью поглощало меня – что мне более всего и требовалось. Я практиковался каждый вечер, до отбоя, лишь изредка отвлекаясь на чай или болтовню с Эдиком или еще с кем-то. На некоторое время я стал буквально одержим моим семиструнным инструментом и прекрасной «Полькой» Рахманинова, и, наконец, после недель, или, может, месяцев работы над этим произведением, я пришел к тому, что мог сыграть весь кусок, хотя и прерывисто, от начала и до конца – сверяясь с нотами.

¹ В оригинале:

Dzhezkazgan, Dzhezkazgan
Across your steppes that never end
No one rides with you as friend
But storms of dust and sand.
Winter blizzards blanket you with white,
Wailing through your vastness day and night.
I am alone in this land of fear.
My song laments in a cruel year.

А потом кто-то достал для меня несколько вальсов Шопена, и это стало для меня новым вызовом. Погружаясь в эту замысловатую музыкальную стихию, я забывал о метели, что выла за окном в зимней ночи, о назойливых клопах – и мог на некоторое время отгородиться в своей раковине от вездесущего запаха смерти. Музыка стала моим особым миром – прекрасно структурированным и требующим от меня максимальной концентрации. Я всегда мог обратиться к своей гитаре после того, как становился свидетелем ужасной смерти или акта грубого насилия, чтобы стереть невыносимые сцены из своего сознания. Пробираясь «домой» по вечерам сквозь пургу или удушающую пыльную бурю, я видел перед собой сияющее сосновое дерево деки моего возлюбленного инструмента, украдкой засовывал руку внутрь, под телогрейку, и играл, играл – на протяжении всей обратной дороги. И марш в лагерь становился короче, и ругань охраны и лай собак доносились до меня как будто из далекого далека...

Гитару я купил за деньги. Иногда я продавал излишки хлеба или масла заключенным, имевшим в запасе несколько рублей, а иногда вольнонаемные рабочие, приобретающие произведенную мной продукцию, платили мне деньгами. Используя тех же самых рабочих в качестве контрабандистов, через какое-то время я мог приобрести для себя в лагере и некоторые простые излишества. Одним из самых главных из них был чай: я обнаружил, что настоящий чай придает мне бодрости с утра, и с тех пор, как я нашел способ приобретать чай, он всегда у меня был – когда я мог себе это позволить.

Мне очень хотелось кофе. Иногда так сильно, что я буквально чувствовал его запах. В один из дней Павел Воронкин подошел ко мне на улице за бараком и произнес: «Думаю, грядут перемены. К лучшему. Они привезли нам настоящий кофе!»

Я едва мог в это поверить. «Как его раздобыть?»

«Он в мешках, рядом с бойлерной, - ответил Павел. – Забавно, но никто, кажется, не собирается его брать!»

Я схватил наволочку и помчался к бойлерной. Павел сказал правду. Там было три или четыре мешка с кофейными зёрнами. Запах был так восхитителен, что у меня моментально заурчало в животе. Из более чем трех тысяч человек в нашем лагере едва сотня знала, что такое настоящий кофе – поэтому настоящие ценители кофе вроде меня с Павлом смогли доверху набить свои матрасы и подушки запасами зёрен на месяцы вперед. С территории ДОЗа мы пронесли в лагерь несколько плоских камней, чтобы растереть с их помощью зёрна – и в течение некоторого времени у нас был кофе, более свежий, чем в большинстве американских домов. Одному Богу известно, каким образом настоящий кофе мог оказаться в Джекказгане, но это стало еще одним из моих контактов с реальностью – с моими американскими корнями, и это значило для меня намного больше, нежели чем просто хорошая утренняя порция кофеина. Павел объяснял явление кофе тем, что лагерные офицеры настолько привыкли к псевдо-кофейным порошковым напиткам, что поставлялись для МВД, что когда прибыли мешки с надписью «кофе», содержащие коричневые зёрна с сильным непривычным запахом, администрация решила, что это некий низкосортный продукт, предназначенный для заключенных. Таким образом, они просто вывалили эти мешки для нас, чтобы мы могли что-то для себя из этого употребить. Вероятно, он был прав. Прибалты, интеллектуалы и еще кое-кто набросились на находку, и содержимое мешков ушло довольно быстро – но в относительно небольшое число рук.

Думаю, что одной из причин, по которой музыка стала так важна для меня в этот период моей жизни, было то, что я, несмотря на свое знакомство со многими людьми в лагере и хорошие с ними отношения, не нашел в те времена такой же крепкой дружбы, как была у меня в свое время с Арвидом Ациньшем – который находился теперь, если и был жив, далеко в другом лагере в этой же местности. Эдик стал моим хорошим приятелем – у нас были общие политические воззрения, и в его компании мне было приятно находиться. Павел Воронкин был сообразительным и отзывчивым малым, мы ценили друг друга, и,

думаю, доверяли друг другу. Зюзин был добр, он покровительствовал мне, из него получился хороший учитель музыки, но близки мы не были. Вокруг меня не было никого, кто был бы мне по-настоящему близок, и поэтому я зарылся в страницы с Шопеном и Рахманиновым, постоянно практикуюсь и тренирую свои пальцы, которые травмировались каждый день тяжелыми кусками металла и перчатками сварщика и не были столь послушны, как мне бы этого хотелось.

В то время как я шагал по утрам на работы, или перебирал пальцами на груди тридцатисекундную гитарную композицию, или любовался чудесным сосновым узором корпуса моей гитары тогда, когда давал рукам отдых – я строил планы побега. Я отчаянно хотел бежать – но чем больше я слышал о том, какое количество попыток побега оканчивалось неудачей, тем менее я верил в эту возможность. Почти никто и никогда не подошел ко мне с реалистичным планом. И, хотя попытки предпринимались почти каждые пару недель, почти все они проваливались.

Этой самой зимой 1952 года, когда ветры дули настолько сильно, что охранникам из МВД пришлось протягивать веревки от бараков до пункта сбора и от пункта сбора до туалетов – чтобы мы не ходили кругами, замерзая насмерть по пути – один бывший армейский офицер, грузин по имени Георгадзе, каким-то образом раздобыл свою военную форму со склада, где хранили наши личные вещи. Он заново прицепил знаки отличия, оторванные в свое время, и в одну выюжную беспросветную ночь, когда никто, в здравом уме, не решился бы выйти на улицу, просто перебрался через колючую проволоку, а потом и через стену. Его нашли весной, когда снег начал таять, и лед, в который он вмерз, обнажился и открыл тело. Солдаты приволокли тело обратно и повесили на проволоку за воротами, оставив его там на пару недель, пока оно полностью не сгнило.

У меня был приятель по имени Вася, который раньше работал на автомобильном заводе вместе с моим отцом в Москве. Собственно, это было единственным основанием нашей дружбы. Часто по вечерам, перед тем, как закрывались бараки, я приходил к нему в барак, чтобы поболтать. Он рассказал мне о четырнадцатилетнем мальчишке, которого он встречал, и который пытался бежать дважды. Этот парнишка воевал на стороне украинских повстанцев, и в возрасте десяти лет был обучен в качестве убийцы. По причине того, что он был так мал, он легко избегал обыска, и его посылали в деревню, когда туда приезжал с инспекцией офицер МВД или другое советское официальное лицо, которого хотели уничтожить повстанцы. Он успел «казнить» десятерых и удрать, избежав обнаружения, перед тем, как его поймали. Его приписали к отряду Васи, работавшем в автомастерской – в этом отряде было несколько бригад из подростков, вольных, которые приходили туда каждый день, чтобы обучаться на механиков. И вот этот молодой террорист, как поведал мне Вася, раздобыл свою гражданскую одежду со склада и надел ее под свою черную тюремную робу, и так пришел в мастерскую в один из дней. Потом он ускользнул в туалет или в сарай, где избавился от своей лагерной одежды с номерами, и просто вышел из ворот. Охранники знали, что там были вольные подростки, и предположили, что он был одним из них.

Позже один из тех вольных подростков увидел его в городе и доложил о нем. МВД нашли его в кинотеатре Джезказгана, где он смотрел фильм и ел мороженое. Тот же самый паренек снова попробовал бежать, на этот раз спрятавшись в грузе камней железнодорожного вагона, одевшись в платье девочки. Его отправили в ЗУР – лагерь для предпринявших попытку побега и особо опасных преступников, и послали на особо тяжелые работы в каменоломне. Думаю, он понимал, что это его убьет. Он был тщедушного телосложения. Вероятно, особо сообразительным он не был, так как на следующее утро его увидели сидящим на куче породы грузового вагона, в Кенгире, что находится в двадцати семи километрах к северу. На нем все еще была его лагерная одежда, и выглядел он довольно беспечно. Его бросили в холодный карцер.

Другие двое эстонских мальчишек пытались устроить отчаянный побег, но план не удался. Они зашли в туалет, забрались внутрь через отверстия, и погрузились в смрадную жижу, оставив только нос наверху. Это была тщетная попытка. Они думали, что охрана уйдет с вышек, как это обычно происходило после того, как обыск заканчивался безрезультатно в зоне горных разработок, где они работали. Потом они рассчитывали ночью перелезть через проволочную ограду и уйти. На самом деле, пока заключенный находится в розыске после пересчета по головам в рабочей зоне, охрана остается на вышках, даже если пройдет неделя. Мальчишек обнаружили через несколько часов. Их даже не били – просто помыли струей холодной воды из шланга и дали по двадцать пять лет, включая три месяца в БУРе, в бараках для отбывающих наказание заключенных.

Удачные примеры побега вызывали огромный прилив энтузиазма. Другой грузин, по имени Григорий Ашвили, стал легендой Джезказгана. Он работал в железнодорожном депо, разгружая уголь, и, как и все рабочие на этом месте, приходил в лагерь вечерами полностью черным, с ног до головы – ничего, кроме пары глаз, смотрящих из черной маски на лице. Там с ними работало несколько гражданских, которые выполняли распорядительную работу и делали отчеты. Ашвили взялся за дело – точнее, за молодую женщину, с отчетливо поставленной целью влюбить ее в себя. Ему это удалось. Она отчаянно жаждала его освобождения, чтобы он стал жить с ней, и готова была пойти на любые риски. На протяжении недель и даже месяцев (все это, конечно, сложилось в единую картину позднее), он обучал ее при помощи схемы лагеря и своего барака в точности понимать, где там что расположено – так, чтобы она знала это не хуже его самого. Затем, в один из дней, она принесла ему гражданскую одежду, они где-то укрылись, и она надела на себя его лагерную униформу, вымазала лицо углем и срезала волосы. Она была такого же роста, как и он, и похожего телосложения – поэтому он ее и выбрал. Гражданских рабочих вечером не считали. А она заняла его место на пересчете по головам. Очевидно, что ей помогали другие заключенные – но удивительно, что ни один стукач ее не заметил и не выдал. Она прошла маршем в барак вместе с колонной. Так как пересчет по головам сошелся, все охранники из рабочей зоны ушли вместе с колонной, а Григорий Ашвили просто подлез под вагон с углем и был таков. Женщина оставалась в его бригаде на протяжении нескольких дней, а потом просто переделалась в свою одежду в рабочей зоне, помылась и ушла обычным образом. Насколько я знаю, их так и не поймали, и об этом предприятии разговоры в Джезказгане ходили годы спустя.

Как и о другой истории – длинной и печальной, истории «Саши-террориста». Саша родился в Москве, его отец погиб на войне, а мать взяла его, мальчиком, с собой в колхоз, чтобы, работая там, поддержать себя и своего сына. Его мать была хорошенькой молодой женщиной, и председатель колхоза положил на нее глаз. Он попытался склонить ее к близости – она сопротивлялась. Все кончилось насилием. В это время сын вернулся домой – в маленький нищий деревенский домик – что стало неожиданностью для председателя. Мальый прогнал его прочь.

Саша носил в себе все происшедшее какое-то время, а затем решил убить председателя. У него был пистолет – возможно, оставшийся от отца. Однажды вечером он выследил председателя, который поехал вместе со своей женой в лес на санях за дровами. Саша не был метким стрелком. Первая пуля лишь поцарапала руку председателя. Вторая пуля разорвала барабан старого ржавого пистолета и повредила Сашину руку. Председатель схватился за топор, соскочил с саней и почти расколол Сашин череп.

Председатель колхоза – это чиновник. Попытка убить его, таким образом, приравнивается к попытке политического покушения – неважно при этом, что он сделал с вашей матерью. Когда Саша выздоровел после своей ужасной травмы головы, его судили, и, конечно же, дали двадцать пять, пять и пять.

Его отправили в Джезказган и приписали к тому же проекту на железной дороге, где я однажды разгружал оконные рамы. Там его посвятил в свои планы побега человек по имени Литвиненко – от кого я и узнал потом эту историю.

Однажды, поздно вечером, в госпиталь нагрянули охранники и сказали мне, что в камере для задержанных в БУРе лежит человек, без чувств. Я позвал Адарича, и мы оба, под конвоем, были препровождены туда. Литвиненко лежал без признаков сознания на холодном бетонном полу. Его тело было покрыто следами от ударов сапог, кулаков и палок. Обе руки у него были сломаны. Адарич произвел тщательный осмотр – настолько, насколько это позволили обстоятельства – и объявил коменданту БУРа, что человек умрет от внутренних повреждений, если не будет госпитализирован. Комендант, таким образом, отправил Литвиненко, который походил более на мешок свежего отбитого мяса, с нами в госпиталь, где мы принялись за работу.

Литвиненко был молодым и сильным двадцатилетним мужчиной. Судя по всему, он обладал огромными внутренними ресурсами, которые позволили ему воскреснуть после такого. Несколько дней он находился между жизнью и смертью. Затем случился перелом, и он стал идти на поправку – медленно, но неуклонно, с каждым днем прибавляя сил и бодрости. Понемногу мы начали разговаривать, и он рассказал мне, что случилось с ним и с его другом, Сашей-террористом.

Сашино прозвище не имело ничего общего с его попыткой убийства председателя. Заключенные прозвали его так, потому что он, несмотря на то, что был всеобщим любимцем за свой открытый и легкий характер, имел судимость по статье 58.8 – «политический терроризм». Ему было всего шестнадцать. Иван Литвиненко начал присматривать за ним, будучи его покровителем, и они стали настоящими близкими друзьями, и часто делились друг с другом воспоминаниями и мечтами о своих семьях и доме, а также планами возможного побега.

Однажды они познакомились с другим заключенным, он был старше, которого они звали «Начальником». Он работал на чиновничьей должности на том самом железнодорожном проекте, и давно продумал план побега, а теперь лишь ждал появления сильных, молодых и надежных сообщников. Начальник отметил для себя, что заключенные, работающие на разгрузке вагонов с цементом, покрываются цементной пылью, в результате чего их лица и номера становятся неразличимыми. В своем начале эта история напоминала историю с Григорием Ашвили. Таким образом, Начальник заключил, что для него будет достаточно просто примкнуть к группе работающих на разгрузке цемента заключенных, не будучи при этом замеченным. Он предложил Саше и Ивану Литвиненко осторожно начать собирать доски, из которых затем можно было бы соорудить вторую внутреннюю перегородку в одном из этих вагонов – с фальшивыми заклепками по краям и так далее, измеренную до миллиметра и снабженную точными выемками и креплениями – для того, чтобы ее можно было соорудить за несколько секунд. Так как доски использовались заключенными в качестве носилок для выноса мешков с цементом из вагонов, их можно было пронести в вагон достаточно просто. А так как все ненавидели быть последними и чистить вагон от цемента, находясь в удушливой пыли, то ребята решили, что вызовутся почистить вагон – и, таким образом, окажутся в нем последними.

Итак, они собрали детали для своей фальшивой стенки. Саша и Иван репетировали ее сборку, оставаясь на очистку цементных вагонов. Они продумали вместе с Начальником все до деталей. У Начальника был доступ к расписанию, указывающему, когда и какие материалы прибывают в депо для разгрузки. В один из дней он сказал им начинать приносить на работу кусочки хлеба и сахара, чтобы сделать на станции запас – так, чтобы его хватило на несколько недель и чтобы быть, в таком случае, готовыми к побегу. Но в тот момент, когда у них было отложено не более нескольких десятков кусочков сахара, Начальник пришел к ним однажды утром в сильном восторженном возбуждении и объявил, что вагон с цементом должен прибыть в этот день, и что больше ждать он не может. Они были молоды, уверены в себе, беспечны, и тут же согласились. Начальник сразу предложил еще одну гениальную идею – что он найдет, пока те будут разгружать цемент, еще двух партнеров для побега. Если пропадут пятеро, доказывал он, охранники могут решить, что просто пропустили целую шеренгу, что было частым явлением.

Полуграмотный охранник, считающий шеренги из пяти человек, часто выкрикивал что-то вроде: «Двадцать-восемь!» (отметка карандашом на куске фанеры). «Двадцать... девять!» (еще отметка). «Двадцать-десять!» (Опять отметка. Он уже на тридцати, но с этими своими паузами в счете, когда он смотрит, что в шеренге и правда по пять человек, он начинает запутываться). «Тридцать!» (пометка карандашом).

Так, охранник выкрикивает «тридцать», когда на самом деле уже прошла тридцать первая шеренга. И когда он закончит подсчет, у него будет не хватать одной пятерки. И он будет считать опять – иногда по восемь или десять раз – пока он не получит нужную цифру. Ругательства, стоны, валяющиеся с ног люди от усталости и голода – все это может заставить его ускорить подсчет. И, может быть, предполагал Начальник – может быть, он снова ошибется и получит правильную цифру! А тогда, когда цифры сходятся, конвой отправляется «домой», а рабочая зона закрывается на ночь.

Саша и Иван Литвиненко поспешно согласились. Поезд вот-вот приедет, и им следовало начать действовать. Они принялись разгружать вагон, пронося свои доски в него, и прятали их в конце вагона, под слоем пыли и полными мешками с цементом. Начальник поспешно привлекает еще двух человек, по кличке «Бухгалтер» и «Мастак». В конце дня Литвиненко принес им мешок с цементом, они проскользнули в сарай и извалялись в пыли. Потом они присоединились к отряду, работающему на платформе. Пока все шло хорошо.

Затем Саша говорит товарищам по бригаде, что он с Иваном займется уборкой. «Молодец, старина Саша-террорист!», «на Сашу всегда можно рассчитывать!» - благодарная бригада уходит, чтобы успеть ненадолго передохнуть. Саша и четверо остальных хватают свои доски, вываливают их в цемент, прижимают Бухгалтера и Мастака к задней стенке, и хорошо отлаженными движениями начинают их закрывать. Внизу оставляют пространство для маленькой последней доски – Саша остается один снаружи. Он проскальзывает в проем, и они помещают последнюю доску точно на место как раз в тот момент, когда помощник бригадира заглядывает внутрь, чтобы посмотреть, как проходит уборка.

«И правда, молодец, этот ваш Саша-террорист!» - слышно как кричит помощник бригаде. Доски лишь едва приглушают его голос. «Эй, вы, там! Саша смылся, чтобы покемарить где-то, маленький грязный крысеныш. Давайте сюда, заканчивать уборку!»

Беглецы напряженно слушают, как лопаты скребут по фальшивой стенке. Потом слышатся ругательства, кашель, и затем возмущенная команда удаляется, а пятеро кудесников побега обмениваются рукопожатием в тесноте своего темного сорокасантиметрового ящика, и ждут следующего испытания.

Вскоре они слышат, как в вагон забирается солдат – по звуку его тяжелых сапог. Это длится полминуты – солдат видит пустой вагон, более-менее очищенный, и слезает с него. А потом наступает чудесный момент – паровоз трогается с места, состав вздрагивает, волна доходит и до них, и вот уже слышится еще более чудесный звук медленного перестука колес: поезд начинает понемногу выезжать из депо, потом из огороженной лагерной зоны, и, они надеются, что скоро покинут и Джекказган.

А у ворот тем временем охранники начинают подсчет. Слышится обычная смесь ворчания, проклятий и шуток, когда первый пересчет заканчивается неверно. Гнев нарастает, когда пересчет оканчивается также вторично. Офицер сердито забирает кусок фанеры для счета. Опять неправильно – в третий раз. Целая шеренга из пяти человек отсутствует. Наверное, не так пересчитали утром, когда колонну заключенных выводили из лагеря. Следуют телефонные звонки в лагерь. Темнеет. В это время начинаются поиски в рабочей зоне. Заключенные уже несколько часов дрожат на земле перед воротами в лагерь. Наконец, становится ясно, что поиски будут долгими. Некоторое число охранников оставляют на вышках. Конвой уводят – но не в лагерь. В рабочей зоне находилось около двух тысяч заключенных, собранных из нескольких лагерей. Их держат за периметром всю ночь, сбившимися в кучи. К утру собирают личные дела на все эти две

тысячи, и каждого проверяют индивидуально. Становится ясно, что пятерых нет, и становится известно, кто эти пятеро.

На третий день арестовывают нескольких человек из числа гражданской администрации, работавших на проекте. Начинается «интенсивное расследование», без перерыва. В течение двадцати четырех часов более десятка из них начинают умолять о пощаде и «признаются» - один в том, что вывез бежавших на грузовике, другой – в том, как купил им гражданскую одежду, третий – как сделал им паспорта и так далее. Все эти сфабрикованные признания, конечно, не совпадают, и следователи из МГБ начинают рвать на себе волосы.

К концу того же самого третьего дня пятеро беглецов в своем ящике находятся на пределе своей выносливости. Они ослаблены от голода, так как только начали было собирать еду, да и то только на троих. Воздух в коробке ужасно спертый, а запах мочи и испражнений так силен, что от него у всех болит голова. Поезд к этому времени уже сделал несколько остановок, но они все согласились, что пока еще не отъехали достаточно далеко.

И вот они осторожно поднимают крайнюю доску в своей стенке, и Саша впервые за долгое время вдыхает свежего воздуха. Снаружи – темная ночь, и Саша крадется к двери вагона, а потом отодвигает ее на пару сантиметров. Он видит, что они стоят на путях большой станции, где-то на окраине города. Остальные также выбираются наружу, чтобы оглядеться.

Начальник вызвался первым пойти на разведку. За ним отправился Бухгалтер. Назад они так и не вернулись. После нескольких часов ожидания нервы Мастака не выдержали – он сказал, что пойдет и посмотрит, где они там. Он сказал, что узнал город – это Свердловск, и что он знает окрестности и скоро вернется. Но этого также не произошло. Под конец Саша и Литвиненко соглашались с тем, что быть найденными в городе после восхода солнца будет самоубийством. Они решаются уйти из города, и им везет. Избегая городов и основных дорог, им удается через несколько недель пути перевалить через Уральский хребет. Питались они ягодами. Им удалось ограбить дом станционного смотрителя, раздобыв гражданскую одежду и еду. В свои ботинки они набивали крапивы, чтобы уменьшить отек своих ног. В гористой местности они шли по лесам, а потом, перейдя на равнину, через болота. И вот, после невероятного путешествия длиной почти в две тысячи километров, они миновали Куйбышев, Сталинград, и остановились в небольшой деревне в предгорьях Кавказа, на берегу реки Кубань, между городами Кропоткин и Краснодар. Несколько селян посочувствовали им и приютили их. Иван Литвиненко стал жить с женщиной, молоденькой школьной учительницей, которая попросила его жениться на ней, и обещала раздобыть для него фальшивые документы. Иван согласился, но искренен он не был. Как он, так и Саша – теперь они стали ближе друг другу, чем кровные братья – знали, что оставаться на чужой территории означает поимку. Они решили двигаться дальше на запад, в сторону Одессы. Их планом было найти родственников Ивана в Молдавии, где они могли пересидеть некоторое время в безопасности и набраться сил для того, чтобы совершить побег через одесский порт.

Задолго до этого Начальника и Бухгалтера арестовали в Свердловске. Они оба сознались. Их признанию не поверили. Их жутко избили, привели друг с другом на очную ставку, но они все продолжали утверждать то, что МГБ считало заранее придуманной фальшивкой. Но потом информатор сдал Мастака, и он также поведал все ту же историю. МГБ решило проверить тот самый вагон. Они начали опасаться, что история окажется правдой. Тем временем однажды ночью Иван ускользнул от своей учительницы, пока та спала, и вместе с Сашей двинулся далее на запад: часть пути они смогли преодолеть на поезде. В Одессе они разошлись. Иван должен был направиться в свою родную деревню в Молдавии, чтобы раздобыть денег у своих родителей. Он сказал Саше, чтобы тот прогуливался каждую пятницу у знаменитой статуи кардинала Ришелье, и когда у Ивана будут деньги, еда и план, он встретится с ним там. Но этому не суждено было случиться. На второй день пребывания дома его собственный брат сдал его МГБ. Тамошние

мгбшники обходились с ним хорошо, но затем его привезли обратно в Джебказган. Охранники прошли через унижения и угрозы, и вынуждены были всю ночь провести на ногах по причине его дерзкого поступка, и теперь решили отыграться на нем, избивая в мясо – но потом кто-то вмешался, а затем туда позвали меня и Адарича. Вот и вся история Ивана Литвиненко, им рассказанная. Но я сохранил ее в памяти как историю Саши Террориста – потому что, насколько мне было известно, он все еще был на свободе. Но любая обычная попытка побега была обречена. Скрыться было негде. На открытом пространстве степи человека было легко обнаружить при помощи небольших поисковых аэропланов. И если он не погибал от жажды, то его избивали или пристреливали, а затем – неважно, какое нужно было преодолеть расстояние – его отправляли обратно в лагерь, чтобы либо бросить в карцер, либо выставить труп на обозрение. Я твердо решил для себя, что не буду пытаться осуществлять никакого плана побега, если только он не будет железно проработан на предмет возможной дурацкой ошибки, и за все это время мне не попадалось ни одного такого плана.

Так, на всем протяжении весны и начала лета 1952 года я работал сварщиком днем, а по вечерам урывал время для своих музыкальных занятий, и, хотя я мечтал о свободе и молил о ней, я свыкся с тем фактом, что, по крайней мере на неопределенное время своей жизни, я – раб в лагере для рабов, и у меня нет никаких оснований ожидать чего-то другого. Но затем, в середине этого ужасающе жаркого лета произошли события, которые в начале выглядели плохо, но вскоре резко развернули мое существование в лучшую сторону.

Глава 21

Моя грыжа в мошонке начала пережиматься. Адарич, хирург, сказал мне в свое время, чтобы я приучился с этим жить до поры до времени, пока не окрепну, но я слишком запустил процесс. По прошествии некоторого времени, в начале, боли и тот дискомфорт, что она мне причиняла, ослабли. Было немного странновато ходить с мешком между ног, в котором можно было поместить несколько кулаков, но человек может приспособиться к множеству странных вещей, и я так и не возвратился к Адаричу с этим. Во-первых, болело уже не столь сильно, а во-вторых, наверное, потому что я опасался производить операцию на столь деликатном органе. У меня было несколько нехороших предположений, во что такая операция могла бы мне вылиться.

Но теперь, когда я поднимал тяжелые стальные болванки в ДОЗе, болело очень сильно. Несколько ночей я провел в попытках самовнушения, что боль уходит, но она не уходила. Наконец, мне пришлось признать тот факт, что вся область сильно воспалилась, и мне становилось все хуже.

Адарич и Шкарин были шокированы тем, что я ждал так долго. По их словам, операцию следовало делать в течение нескольких часов, либо меня мог ожидать серьезный перитонит: «У тебя в животе будет одна большая гангрена, мой мальчик», - произнес Адарич и повел меня в свою маленькую операционную. К этому времени я испытывал тупую сильную боль, пронзающую всю мою нижнюю часть живота. Адарич, как мог, пытался успокоить и расслабить меня, рассыпаясь в остротах относительно взаимосвязи размеров моей мошонки с моими сексуальными способностями, и тому подобное. Он посадил меня на операционный стол, сказав зажать голову в коленях, и сделал подкожную инъекцию у основания позвоночника, а через несколько мгновений – инъекцию в позвоночник. Он работал чрезвычайно искусно. Я почти не почувствовал дискомфорта. Несколькими моментами позже я уже лежал на спине, а Адарич с помощью иглы проверял чувствительность моих ступней, ожидая, когда она исчезнет. Ассистировали ему новый фельдшер по имени Михаил Кухланов и Леонид, бывший ранее

высокопоставленным армейским медиком. Они соорудили нечто вроде экрана, за которым мне не был виден мой живот или их руки, но лица я видел. Также я мог видеть инструменты, которые они готовили, и вид этого вызвал у меня ужас.

- Можно сделать общую анестезию? – попросил я. – Мне страшно.

- Послушай, - ответил Адарич, - с твоим слабым сердцем мы можем тебя и не разбудить. Это будет легкая операция – твоя брюшная стенка настолько тонкая, что я окажусь внутри с помощью одного разреза. Вот так!

Я понял, что он говорит серьезно. Я почувствовал, как внутри меня что-то тянут. Боли не было. По их глазам было видно, что они пробираются вовнутрь. Вовнутрь меня. Адарич болтал и шутил не переставая. Он сделал мне довольно больно, когда стал двигать мои кишки. Я пожаловался, и он оборвал меня: «Прекрати ныть, мальчик мой. Скоро ты увидишь то, чего никогда не видел ни один живой мужчина: свои собственные яйца!» Он попросил Леонида, чтобы тот приподнял мою голову, и показал мне два маленьких круглых розовых органа. Не знаю точно, что это было – мне было слишком страшно приглядеться пристальнее. Я даже не помню толком, правдой это было или нет.

Адарич работал фантастически быстро. Он объяснял каждый свой шаг: как использует ниже расположенную ткань для того, чтобы усилить поврежденное паховое кольцо и предотвратить появление новой грыжи; как он сшивает этот слой мышц с другим слоем... Кухланов ничего не говорил – просто подавал инструменты, держал зажимы и так далее. Прошло еще несколько минут, и все было кончено – Адарич кликнул Ваню, дюжего молодого санитаря, чтобы тот отнес меня, на руках, в койку.

Я чувствовал себя победителем, несмотря на некоторую глубокую боль в потревоженных кишках, так как остался в сознании в течение всего события. Мне это казалось неким достижением. Адарич предупредил, чтобы я был готов к сильному приступу боли после того, как отойдет спинной наркоз, и сказал, что придет проведать меня через пару часов. Боль была сильная – но я знал и намного хуже, и меня она не огорчала. Когда Адарич вернулся, он помог мне переключиться, рассказав, что все выглядит так, что он, вероятно, сможет обосновать потребность в еще одном фельдшере для госпиталя. А так как я, очевидно, не смогу вернуться к тяжелой физической работе в течение определенного времени, то мне стоило бы возобновить свое обучение. Если мне это интересно. Я немедленно согласился.

- Располагается по госпиталю Лавренов, капитан МВД, - продолжил Адарич. – Он любит выпить, но не так уж и плох кое в чем. Тебе нужно найти к нему подход. Он согласился с тобой встретиться, но боюсь, что после разговора со мной у него слишком большие ожидания от тебя, мой мальчик. Поэтому, надеюсь, он не спросит у тебя того, чего мы не проговаривали.

- Какая у него специальность? – спросил я.

- Ну, он не врач. Он армейский фельдшер. Думаю, что я мог бы рассказать тебе вкратце, какие вещи в первую очередь ему понадобятся. Инъекции, немного знаний об анатомии, ничего такого, о чем ты не смог бы рассказать. Но важно знать следующее: тебе нужно приготовить для него подарок.

- Взятку?

Адарич подмигнул мне.

- Тебе нужно очень хорошо постараться, чтобы это не выглядело, как взятка. Тебе надо найти что-то, что бы ему хотелось получить, и дать ему это так, чтобы это выглядело совершенно невинным образом. У тебя есть несколько дней. Здесь я буду держать тебя еще довольно долго, ты понимаешь. Но лучше бы тебе начать думать об этом сейчас.

Среди моих личных вещей на складе все еще находились моя паркеровская ручка и зажигалка фирмы Ronson. Если бы не дружба с Валентином Интеллигентом, они бы давно от меня уплыли. Но, чудесным образом, они все еще были у меня. Я сказал об этом Адаричу, и он согласился, что это был бы идеальный подарок.

По моему лицу Адарич прочитал, что послеоперационный болевой синдром разыгрался не на шутку.

- Дам тебе немного морфины, - произнес он, и встал, чтобы пойти за ним.

- Нет, доктор! – крикнул я ему в след. – Я не хочу стать зависимым от этой дряни!

Я был достаточно упрям. Он рассмеялся.

- Как хочешь, мой мальчик. Но утром я подниму тебя на ноги - вне зависимости от того, мучился ли ты всю ночь от боли, или нет!

Мысль об этом повергла меня в шок.

- Кстати, зовут меня Евгений Петрович, - добавил он. Ты можешь ко мне так обращаться. Думаю, мы с тобой будем теперь частенько друг друга видеть.

Адарич был одним из наиболее жизнерадостных людей из тех, что я встречал за время своего пребывания в лагере. Он был коренаст, лыс, с большими украинскими усами, свисающими прямо до линии подбородка. И, хотя он пробыл в заключении с 1934 года – уже восемнадцать лет – за свои симпатии к Троцкому, на его долю выпало относительно немного страданий – даже в тех сибирских лагерях, в которых он сидел и о которых ходили ужасные рассказы. Все благодаря его искусству фельдшера, которое везде было востребовано. Он был физически сильным человеком – утром, когда он пришел меня будить и я попытался протестовать, он просто поднял меня из кровати, нежно, но настойчиво, и поставил на ноги. Боль ударила меня с двойной силой. «Александр Михайлович, тебе нужно двигаться, чтобы твоя жирная американская кровь не свернулась, мой мальчик, и не закупорила твою легочную артерию. Поэтому, давай-ка, приподними правую и поставь левую, и – вперед, шагом марш!»

Он заставил меня пройти весь коридор, до конца, и обратно. Несколько раз за день он приходил и буквально ставил меня на ноги. Очень быстро я понял, что сопротивляться бесполезно. И, хотя мое нутро протестовало приступами острой горячей боли, я начал вставать самостоятельно и ходить, не дожидаясь прихода Адарича. «Вот так-то лучше, мой мальчик», - сказал мне на это Адарич, широко улыбаясь.

Через шесть дней он снял швы и сказал, чтобы я продолжал ходить, с осторожностью. На двенадцатый день Адарич дал мне выйти пройтись за пределы госпиталя – я шел медленно и осторожно, ожидая, что в любой момент что-нибудь может расклеиться во мне. Так я дошел до склада, чтобы забрать оттуда свою ручку и зажигалку. Во второй половине того же дня Адарич помог мне повторить те вопросы, которые, как он считал, задаст мне Лавренов. Таким образом, к концу моей второй недели пребывания в госпитале я чувствовал себя достаточно уверенно для того, чтобы встретиться с администратором. Я видел Лавренова к этому времени раза два или три. Однажды он решил проведать меня в палате и осведомился, в дружеском тоне, как мои дела. В другой день, вечером, я расслышал, как он ругается с Адаричем из-за спирта. Лавренов всегда выделял больше спирта для операций, чем того требовалось, чтобы потом явиться под вечер и забрать неиспользованную часть для личного потребления. В тот вечер он уже достаточно надрался и был довольно агрессивно настроен по отношению к Адаричу, который пытался, в своей добродушной веселой манере, удержать его от изъятия спирта, так как

его постоянно не хватало, к тому же Лавренову уже явно было достаточно. Но тот лишь выругался на Адарича, схватил небольшую флягу и с грохотом вышел.

Но когда я встретил Лавренова прогуливающимся в зоне несколькими днями позже, он был настроен легко и почти дружелюбно по отношению ко мне. Я решил подойти к нему немедленно.

- Гражданин начальник, - произнес я открыто и непосредственно, - разрешите обратиться!

- В чем дело, заключенный?

- Видите ли, мне очень понравилось находиться в числе пациентов вашего госпиталя. По сравнению с тем госпиталем, в котором я работал в предыдущем лагере, снабжение и управление в вашем госпитале поставлено на порядок выше, - выпалил я.

Лавренов уклончиво принял мой комплимент. Адарич проинструктировал меня, что мне не следует сразу же спрашивать о работе – для начала нужно просто обозначить свои знания и поддержать разговор. Лавренов стал расспрашивать меня о госпитале, в котором я работал под началом Ациньша. Я рассказывал, немного преувеличивая, о том, чем там занимался, и, восхваляя искусство Ациньша, не преминул упомянуть, что госпиталь под началом Лавренова управляется куда как лучше чем тот, которым заведует начальник Ациньша, офицер МВД. Это было, в определенной степени, правдой. Также в своем рассказе я постарался создать впечатление, что являюсь довольно известным человеком в Москве – конечно же, не упоминая американского посольства или каких бы то ни было связей с ним. Так или иначе, но Лавренова заинтересовал только мой опыт работы с Ациньшем. Он задал мне много вопросов, чтобы понять, насколько хорошо я разбираюсь в режиме работы госпиталя, вопросах гигиены, хирургических процедурах, послеоперационном уходе и так далее. Мне казалось, что я хорошо справляюсь. Затем я произнес: «Гражданин начальник, могу ли я попросить вас о небольшом одолжении?» Его лицо помрачнело.

Я продолжил: «Видите ли, я привез с собой из Москвы пару дорогих мне вещей, которые, боюсь, будут украдены, если я буду продолжать хранить их у себя. Меня сильно огорчит, если их украдут, и лучше я отдам их человеку, который способен оценить эти вещи по достоинству. Вы могли бы принять их от меня? Я боюсь, они просто исчезнут. Я уверен, что они вам понравятся».

Я рассказал ему, о каких вещах идет речь.

Лавренов был воодушевлен предложением. Он внимательно осмотрелся, чтобы удостовериться, что никто нас не видит – ведь принять подарок от заключенного означало совершить серьезный проступок. Затем он выразил свое согласие принять вещи, взял ручку и зажигалку, и ловким движением убрал в свой карман, высказав слова благодарности в мой адрес. Он был чрезвычайно любезен. Его манеры подчеркивали, что в этой ситуации профессионал говорит с профессионалом.

Через три дня он вновь появился в госпитале и пригласил меня пройти в операционную. Там он подробно проэкзаменовал меня об инъекциях, стерилизации инструментов, использовании глюкозы внутривенно и так далее. К счастью, большинство этих вопросов мы обсудили с Адаричем, к тому же многие из них относились к процедурам, через которые я уже проходил в качестве пациента. Потом он позвал пациентов, что выстроились в ожидании укола в то утро, и попросил меня продемонстрировать свои навыки.

Я чувствовал себя уверенно. У меня уже сформировался к тому времени навык работать очень быстро, не раздумывая и не примеряясь. Спустя долю секунды после того, как участок кожи был стерилизован спиртом, игла уже была в теле, и пациент даже не успевал чего-либо почувствовать. Я сильно натирал место укола спиртом, что действовало подобно небольшой местной анестезии, а затем – бац! Вводил иглу, в процессе отпуская

шутки и болтая с пациентом, чтобы отвлечь его. Лавренов одобрительно кивал, наблюдая за моей работой.

Затем он повел меня в морг. Это было сложнее. Там находился пациент, умерший от туберкулеза, и Лавренов приказал мне провести вскрытие. Я не делал этого ранее самостоятельно, но наблюдал, как это делали Ациньш и Адарич, а также помнил кое-какие советы, что давал мне мой англоязычный друг Каск. Внутренне я ужасно нервничал, но работал так, чтобы произвести впечатление, что все это было для меня привычным делом. Я благодарил Бога за то, что, по крайней мере, был научен Ациньшем делать правильные разрезы. Я взял скальпель так, как это следовало, и сделал первый разрез – от шеи до лобковой кости. Вскрытие грудной клетки было для меня непростой задачей, но я преподнес это так, будто эти сложности были вызваны болями у меня в животе. Я смог достать легкие, сердце, печень и так далее, и даже воспроизвел запомнившиеся мне ремарки, сказанные Ациньшем относительно патологических изменений, на которые следовало обращать внимание при вскрытии. Я работал так быстро, как только мог, и был настроен не выказать ни следа неуверенности или раздумий.

Все прошло хорошо. Я снял скальп и позвал санитаря, которого все звали «чертом нерусским» по причине его глухого черкесского национализма и отрицания всего русского. Он был убежденным христианином. Говорил он на ломаном русском и всегда твердил: «Я - не русский черт!». Так он и получил свое прозвище. Обязанностью Нерусского при вскрытии было орудовать пилой, которой вскрывалась черепная коробка. Он начал было пилить, но Лавренов сказал: «Не нужно, я удовлетворен».

Вот и все. Я стал фельдшером! Теперь у меня появилась настоящая работа «придурка», и к тому же мне предстояло научиться настоящей медицине.

В начале меня прикрепили к Васе Каргину – обучаться процедурам, осуществляемым на дежурстве. Потом, несколькими днями спустя, я приступил к своему первому полному заданию – им стала (я до сих пор не могу понять причин, по которым у них так было заведено) двадцати-четырёх часовая смена дежурного по госпиталю. Я брал одни сутки – с восьми утра до восьми утра – Вася брал следующие. Обычно нам удавалось немного вздремнуть во второй половине дня, но все это время мы считались на дежурстве. Как правило, с полночи до четырех утра было тихо. Адарич и Каск, как и остальные, спали в госпитале, и я мог их вызвать в случае чрезвычайного происшествия. Если ничего не происходило, я мог в течение какого-то времени попрактиковаться в игре на гитаре, а потом систематически читал все тексты по медицине, что находил вокруг. Каждые полчаса – быстрый обход отделения, чтобы убедиться, главным образом, что душевнобольные пациенты ведут себя тихо. Иногда требовалось разнести или вколоть лекарства, раз в два или в три часа.

В четыре тридцать я уходил в небольшую пристройку, служившую приемным отделением для пациентов с улицы, чтобы встретиться там с первыми из тех, кто надеялся получить отдых, отлежаться, симулировав болезнь, или кому требовалась серьезная помощь. Надежда найти поддержку и получить шанс провести несколько дней в постели – вот то, что, в основном, влекло сюда людей. Была там еще и внешняя комната, в которой я, как обученный фельдшер, мазал порезы йодом, перевязывал небольшие раны, выдавал аспирин и порошки от желудочных болей. Если пациент приходил с чем-то более серьезным, я должен был направить его к доктору, который обычно подходил к 5.30 утра. На мне был белый медицинский халат, и все заключенные обращались ко мне «доктор» автоматически, кроме тех, что были моими друзьями. Мои друзья хвалили меня за ту ловкость, с которой я получил эту легкую работу, и либо выражали зависть, либо желали мне удачи – либо и то, и другое одновременно.

К восьми утра мы обычно уже переделывали несколько дел: закончив с осмотром пациентов, разносили завтрак, потом делали обход, и иногда даже начинали оперировать в операционной. Затем прибывала моя замена, и я шел прогуляться в зону, подышать

свежим воздухом, если было не слишком жарко, а потом – обратно в свой старый барак, куда меня снова приписали, чтобы поспать или заняться чем-нибудь до восьми утра на следующий день. После того, как заканчивался пересчет рабочих бригад по утрам и зона снова запиралась, все имевшие основания в ней оставаться могли перемещаться по зоне без ограничений – держась подальше от огневого рубежа, конечно.

На второй или третий день моего дежурства в клинике на приеме, вскоре после начала дежурства, в комнату ко мне вошел пациент. Это был сурового вида мужчина со странным блеском в глазах и угрожающим выражением лица. Почти каждый сантиметр его тела, насколько было видно из-под одежды, украшали татуировки. Матерый урка.

- Доктор, - произнес он угрюмо, - у меня ужасные боли в животе.

- Где? – произнес я с сочувствием.

Он подозвал меня поближе.

- Здесь! – произнес он угрожающе, расстегивая рубашку. Правая рука у него была под рубашкой, и в ней он сжимал искривленный нож, выточенный словно миниатюрный ятаган.

- Мне нужен опиум. Меня тут всегда хорошо принимали. Ты новенький. И тебе надо знать, что если я не получу свой опиум, ты получишь мой нож.

Настойку опиума мы использовали в случаях крайне острой диареи. Я часто использовал ее. Пять или шесть капель на стакан воды – очень горькая.

Я был в трудном положении. Я понимал, что если откажу, он попытается меня убить, и, скорее всего, ему это удастся. Но если я дам ему то, что он хочет, я от него никогда не избавлюсь, и он получит определенную власть надо мной. Мне нужно было найти решение, и немедленно. Я взял мерный стакан в виде конуса и попросил его показать, сколько он обычно принимает. Он показал немного, чуть более сантиметра. Я быстро отвернулся и достал раствор железа, который мы использовали – экстракт *ferris romati* – и вылил внутрь несколько капель горькой субстанции, которую мы давали пациентам для улучшения аппетита. Затем влил немного воды и протянул наркоману. Я двигался так быстро, как мог – чтобы создать впечатление полной уверенности в том, что делаю. Затем я зашел за стол – чтобы он был между нами – в то время как он выпивал раствор, и нащупал рукой сзади себя скальпель – на случай, если он вытащит свой нож.

Но он просто протянул раствор мне обратно и произнес: «Отлично, доктор, спасибо большое», растянув по своему лицу хитроватую улыбку, преобразившую его суровые черты, а затем вышел.

Он придет ко мне снова – подумал я. Поэтому я сделал бутылку со своей волшебной настойкой, наклеив на нее этикетку «опиумный раствор», и убрал поглубже в шкаф – туда, где бы ее никто не нашел по ошибке. Я рассказал Леониду, другому фельдшеру, об этом. Он знал того наркомана. Тот же самый человек пришел ко мне снова, когда я был на дежурстве в следующий раз. Он сказал, что после последней дозы чувствовал себя отлично целый день. Я налил ему еще из своей фальшивой бутылки. Когда он пил, на его лице отобразилось некое недоумение. Я до сих пор помню лилии, змеи, сердца и бриллианты, которыми была полностью покрыта его рука, и имя «ВАНЯ» на кисти. В следующий раз, когда я его увидел, он пожаловался, что больше не ощущает того подъема, что был у него раньше от опиума. Он внимательно посмотрел на этикетку и попросил тройную дозу. После того, как я налил ему, он несколько минут походил по приемной с несчастным видом. Наконец, он тяжело вздохнул и произнес: «Ну, я не знаю». Потом он вышел, и я его больше не видел.

Позже ко мне приходил охранник по фамилии Завъялов. Он наводил ужас на заключенных своей беспощадной жестокостью. Войдя, он потребовал дать ему эфира.

- Зачем? – спросил я его.
- Я его пью, - ответил он с широкой счастливой улыбкой.
- Вас разорвет изнутри, - сказал я. – Это самая взрывоопасная жидкость, что у нас есть!
- Нет, - ответил он. – Я держу желудок открытым. Дай мне немного, я тебе покажу.

Я решил, что это безумие, но неприятностей мне не хотелось. Я протянул ему 10 кубиков в маленьком медицинском стаканчике.

Завьялов откинул голову, как это делают глотатели мечей, а потом он быстрым движением отправил стопку с эфиром прямо вниз. Изнутри послышался глухой рокот – в то время как эфир закипел от соприкосновения с жаром его пищевода и желудка. А затем вверх вырвался столб пара, которым мгновенно пропахла вся амбулатория.

Охранник поднялся со стула. Ухмылка расплзлась по его лицу еще шире, но глаза глядели странно. «Спасибо, большое спасибо, доктор!» - произнес он очень громким голосом. Я наблюдал, как он направляется к двери нетвердой походкой, делая неуверенные шаги, словно его ноги были закреплены на шарнирах. Первые несколько ступенек он пропустил, и рухнул во двор, лицом вниз. Больше ко мне за эфиром он не заходил. В следующий раз, когда я увидел Завьялова, годы спустя, это был сильно изменившийся человек.

По утрам, когда я сидел в приемной госпиталя и лагерь постепенно оживал, все выглядело, как в старом кино с замедленной съемкой: в четыре тридцать фонари в зоне еще горели, а по углам начинали появляться серые тени людей. Люди начинали выходить из барakov – и безмолвно и медленно передвигаясь, направлялись в сторону уборной. Люди, в обязанность которых входило принести хлеб на бригаду, направлялись к пекарне – с опущенными головами, протирая глаза ото сна, припорошенные пылью, двигаясь, словно в полусне. В это время, пока еще не поднялся ветер, тишину нарушали только слабые скрипы открывающихся дверей в бараках и глухие окрики охраны, поднимающие тех, кто упорно не вставал с нар. Но очень скоро темп возрастал. К дверям госпиталя начинала выстраиваться очередь. Сонная, ворчливая, все еще довольно приглушенная. Большинство в ней составляли симулянты. Фельдшеру требовалось внимательно отделить их от тех, кому действительно требовалась помощь. Когда симулянта раскрывали, он обычно просто смущенно ухмылялся и говорил: «Ну, может в следующий раз получится!» Самая распространенная симуляция заключалась в том, чтобы искусственно поднимать температуру – и нам нужно было внимательно проверять, соответствует ли повышению температуры учащение пульса: двенадцать ударов на каждый лишний градус. Если сердцебиение соответствовало норме – симулянт отправлялся на выход.

К нам часто приходил один литовец, он работал в шахте, и постоянно жаловался на боли в желудке, за что прослыл настойчивым симулянтом. Однажды вечером его принесли к нам на носилках – он жутко кричал, и, как обычно, держался за живот. Я собирался было снова отправить его обратно, но провел рутинное обследование, и к своему удивлению обнаружил, что мышцы его брюшной стенки тверды, как камень. Это означало что-то серьезное. Я положил его на койку, взял анализ крови и отнес его Каску. Число белых кровяных телец зашкаливало – мы поняли, что с ним происходит нечто неладное.

Адарич диагностировал прободную язву желудка, и диагноз оказался верным. Я помогал Адаричу при операции закрыть ее, и получил первый опыт промывания брюшной полости с последующим наложением швов. Большую часть последней работы я выполнил самостоятельно, направляемый шутивными замечаниями Адарича.

В том случае я был совершенно убежден, что человек, хотя и имевший давнюю репутацию симулянта, серьезно болен. Но часто определить это было сложнее.

Когда у нас скапливалось большее количество по-настоящему больных пациентов, чем мы могли разместить, Лавренову приходилось делать трудный выбор.

Чтобы остаться в больничной койке, требовалось многое. Позже, с наступлением зимы, когда нам приходилось в большом количестве ампутировать обмороженные пальцы на ногах, мы часто отправляли пациента в свой барак сразу после операции – если только не наблюдалось серьезного осложнения по причине инфекции.

Я много тренировался на пальцах рук и ног в морге, делая продольные разрезы в форме клина – чтобы оставить кожу, которой требовалось закрыть конец ампутированного члена. Затем я аккуратно разрезал сустав, рисуя в своем воображении, какая его часть здорова, а какая повреждена морозом, и затем закрывал его кусочками свисающей кожи. Вскоре я хорошо приловчился, и частенько помогал Адаричу при таких небольших ампутациях – либо делая разрезы, либо накладывая швы или вычищая поврежденные участки ткани и кожи. К середине зимы эта процедура стала почти обычной, и Адарич просил меня выполнять ее самостоятельно. Сначала он оставался со мной, чтобы помочь преодолеть неуверенность в том, что касалось моей ответственности перед живым пациентом, но вскоре он был удовлетворен, и после этого я сделал несколько ампутаций полностью самостоятельно. Обычно такие быстрые ампутации производились по вечерам, когда возвратившийся конвой приносил с собой неизбежные порезы, раны, раздробленные кости и другие травмы, бывшие следствием дневных работ.

В один из вечеров из темноты возникли два человека – они вошли, поддерживая между собой третьего. Этим третьим оказался Бородин – одноногий бывший военный моряк в звании капитана, имевший репутацию стукача. Бородин хромал на своей одной ноге, тихо поскуливая. Из темной точки у него на лбу сочилась струйка крови. Когда я пригляделся внимательнее, меня охватил ужас. Прямо в черепе у него зияла треугольная дыра, и жидкость с частичками мозга сочилась наружу. Рядом с раной были видны фрагменты кости, но сама она представляла собой четкий ровный треугольник. Удивительно, но Бородин был в сознании. Он повторял: «Помогите, пожалуйста, помогите». Я послал за Адаричем. Адарич послал за Лавреновым.

Все мы прекрасно понимали, что это была попытка убийства от лица «Народного Совета», или, по крайней мере, частная месть стукачу. Бородин утверждал, что не знает, кто это сделал, но что он помнит двух людей. Те двое, что привели его, сказали, что только что нашли его лежащим позади сарая в рабочей зоне.

Адарич собирался было госпитализировать его и начал приготовления к сложной операции, но Лавренов запретил ему это делать. «Просто перевяжи рану, просто перевяжи рану!» - приказал он, и выбежал по направлению к лагерному штабу.

Лавренов был уверен, что Бородин убьют в случае госпитализации, и при всем своем равнодушии к участи Бородина он совершенно точно не хотел навлечь на себя официальное расследование, случись в его госпитале убийство. Это могло стоить ему карьеры. Через полчаса он был уже снова в госпитале с документами на перевод – и Бородин был отправлен в другой лагерь.

Позже, несколько месяцев спустя, мы услышали, что в конечном итоге его привезли в лагерь под Тайшетом, в Сибири. И в то время как он, на этапе поступления, находился в душе, молодой заключенный, увидевший его деревянную ногу – предупрежденный тюремным телеграфом о прибытии стукача – зарезал Бородин прямо в этом душе. Уже через час после прибытия в лагерь он был мертв. Вот насколько эффективен был этот тюремный телеграф.

Все трупы поступали в госпитальный морг – умер ли человек в госпитале, был ли убит «народным советом», застрелен охраной, умер ли от утомления или безнадёги. Обычно у нас в морге находилось одновременно от шести до двенадцати трупов. Затем, после проведения вскрытия, Нерусский вызывал труповозку и загружал их туда самостоятельно, а потом они отправлялись дальше, чтобы пройти через ритуал разбивания черепа и быть захороненными в неглубоком рве в степи. Зимой, по какой-то причине, вместо разбивания

черепу им в грудь втыкали раскаленный железный прут. Обычно трупы зимой были замерзшие, так как помещение морга не отапливалось.

Морг был владениями Нерусского. Он должен был поддерживать там чистоту, смывать грязь, вносить и выносить трупы и т.д. Охранники никогда не заходили вовнутрь, отчасти из-за суеверия, а отчасти по той причине, что больничным персоналом пущен слух о том, что все трупы являются очень заразными. Нерусский поведал мне, что под столом, где проводится вскрытие, есть ниша, в которой лежат запрещенные книги и другая контрабанда – и что все это очень надежно спрятано. Поэтому, если я хочу скрыть какие-нибудь любые небольшие вещицы, чтобы в ходе регулярных обысков их не нашли и они не попали в руки МВД, то мне следует спрятать их в морге. Мы могли бы запросто схоронить там оружие, если бы оно у нас было. Если бы я был настолько везучим или глупым, чтобы иметь пистолет в лагере, то я бы прятал его в морге.

Вскрытие никогда не проводили позднее двадцати четырех часов после смерти – таковы были правила. Над каждым умершим в лагере производилось тщательное медицинское исследование. Убитых охранниками обследовали только в районе раны – писался рапорт относительно пути пули «дум-дум», выпущенной из автомата: точка входа, выхода, описание внутренних повреждений. Лавренов всегда присутствовал на таких вскрытиях лично, и затем составлял рапорт на имя местного командира МВД, которого в лагере звали «кумом».

Насколько нам было известно, кум был в основном занят тем, что создавал внутренние конфликты в лагере, натравливая украинцев против русских (что не было сложно) через распространение слухов и т.д., руководствуясь принципом «разделяй и властвуй». Но, при этом, его требовалось оповещать в случае стрельбы где-либо. Когда кто-то из охраны радостно давил на гашетку, чтобы пристрелить кого-нибудь на спор, или просто ради забавы, будучи уверенным, что это сойдет с рук, или в том случае, если кто-то заходил за линию огня – приходил кум и фотографировал труп; но приходил он не ранее, чем когда труп закидывали за линию, чтобы предоставить убедительную причину убийства.

И морг всегда был достаточно населен – по той или другой причине.

Однажды утром Нерусский подошел ко мне и спросил:

- Сколько трупов у нас должно быть сегодня?

Я проверил записи:

- Девять. Что-то случилось?

- О, нет, все в порядке, спасибо, - он ушел.

На следующий день, после того, как пересчет завершился и лагерь был закрыт, но до прибытия труповозки, Нерусский спросил меня снова. Смертей ночью не было. Я ответил, что у нас по-прежнему было девять, и попросил его пояснить, что все-таки случилось.

«У меня либо сложности с глазами, либо с головой, - произнес Нерусский с несчастным видом. – Я знаю, что вы правы насчет девяти, но вот уже два дня подряд я насчитываю десять. Пожалуйста». Он потянул меня пройти с ним.

Мы зашли в морг. Девять трупов. Я насчитал девять, вытянутых в своем нижнем белье на земляном утопанном полу. Нерусский также насчитал девять.

- Все хорошо теперь? – осведомился я.

- Нет. Десять минут назад я насчитал десять. Я это точно знаю. Что за чертовщина тут происходит!

На следующий день он снова пришел, и выглядел при этом ужасно.

- Мне нужно какое-то лекарство, - произнес он в тревоге. – У нас двенадцать трупов!
- Одиннадцать, - ответил я.
- Да, именно. Должно быть одиннадцать, но я насчитал двенадцать. Пожалуйста, пойдете туда снова!

Мы вошли. Пересчитали. Одиннадцать трупов.

Бедный Нерусский чувствовал себя ужасно. Думаю, сам по себе он был немного суеверен, несмотря на все свои шутки и ежедневные объятия с мертвецами. И думаю, что он был серьезно взволнован своим душевным самочувствием.

На следующий день он снова пришел ко мне – озабоченности на его лице больше не было.

- Пожалуйста, - попросил он с широкой улыбкой, - я знаю, откуда берется наш лишний труп. Пройдите, пройдите! Я хочу вам показать!

Он отвел меня на улицу. На крышу больницы вела лестница – мы пользовались ей зимой, чтобы убирать оттуда снег. Он показал мне следовать за ним, поднявшись на нее. Крыша морга была расположена ниже крыши госпиталя, и в ней было небольшое отверстие. Мы заглянули внутрь. Там, и правда, был дополнительный труп. Он сидел и читал одну из наших контрабандных книжек!

У меня в голове что-то щелкнуло. Я вспомнил, что уже несколько дней в лагере ищут *отказника* - человека, состоящего в группе тех, кто сознательно отказывается от работы по субботам; за это их постоянно били. Поиски осложнялись тем, что, несмотря на то, что этого человека никто не мог найти, пересчет по головам всегда сходился – таким образом, формально никто не считался потерянным.

Я сказал Нерусскому: «Смотри за входом в морг снаружи, а я пойду и поговорю с трупом».

Я его узнал: звали его Валька. Он лечился у меня в госпитале как-то, и в зоне я его тоже встречал. Когда я открыл дверь, он лежал посреди трупов, стараясь выглядеть одним из них. Я вошел в морг, напевая себе под нос некую мелодию. Потом я направился к нему и остановился над ним, уставившись прямо на него. Напевать я перестал – просто смотрел. В течение минуты я не издал ни единого звука. Думаю, он больше не мог выдержать неизвестности. Он приоткрыл свои глаза и виновато улыбнулся:

- Привет, Док.
- Расскажи мне, - ответил я.

Как оказалось, он смастерил себе отмычку из проволоки для замка и проскальзывал в морг по субботам, чтобы не ходить на работу. Свою одежду он снимал и прятал ее под трупом, и когда охранники открывали дверь для подсчета – так как внутрь они никогда не входили – он был для них одним из трупов. Тревогу так и не объявляли после того, как колонны выходили за пределы лагеря, так как общий подсчет сходился. Хотя бригадир отказника не мог найти его на своей рабочей площадке, и никто не мог сказать, где он находится. Когда лагерь на день закрыли, этот паренек на время покинул свое убежище и вернулся обратно следующим утром, чтобы спрятаться, пока не закончится пересчет по головам. Два или три дня после того, как мы обнаружили Вальку, ему удавалось прятаться где-то еще на зоне. Потом, утром, поблизости от госпиталя произошла некая заварушка. Его нашли. Гусак, комендант лагеря, был там лично – он орал на испытывающего ужас отказника прямо перед дверями госпиталя, у которых скопились страждущие пациенты. Комендант сыпал ругательствами, затем принялся бить парня кулаками, а потом взял его в охапку, бросил на землю и принялся яростно пинать. После этого он заломил ему руки за спину, нацепив на них пару наручников особо жуткого типа, которые затягиваются при каждом движении – пока человек не начинает биться в агонии. В них есть трещотка,

двигающаяся только в одном направлении – и если только вы не абсолютно неподвижны, что обычно невозможно, наручники продолжают затягиваться все туже и туже.

Пациенты, наблюдающие за сценой у дверей госпиталя, были в ярости от жестокости коменданта. С Гусаком был рядом только один охранник. Будучи перед госпиталем, они были не видны с ближайшей вышки, да и к тому же ни один охранник не решился бы стрелять в толпу, в которой находился Гусак. Пациенты бросились вперед, окружив Гусака и охранника, подхватили парня и отнесли его в госпиталь. Гусак и его охранник были унижены, но не могли идентифицировать кого-либо в толпе, так как все они были в своей нижней тюремной одежде, без номеров. Пациенты сняли с парня наручники, а потом тайком спровадили его обратно в зону, дав понять, чтобы на следующий день он как штык был на месте в своей рабочей бригаде.

Через полчаса в госпиталь явился охранник и потребовал вернуть наручники. Все пациенты демонстрировали непонимание. «Мы ничего не знаем ни о каких наручниках! Что вы имеете в виду?» Охранник вышел, и затем в госпиталь вошел офицер. Он был очень настойчив. Один из заключенных произнес, как бы извиняясь: «Простите, но их выкинули в парашу. Вам придется их откапывать». Офицер был в ярости: «Как я отвечу за утрату государственного имущества!» - крикнул он и вылетел вон. Инцидент был спущен на тормозах.

Позже, вечером того же дня, когда все улеглось, я пошел проведать того человека, что «извинился».

- Мне бы хотелось увидеть эти наручники. Очень интересно, - сказал я.

- Доктор, ты знаешь, что я выбросил их в парашу.

Тем человеком был Константин по кличке «моряк» - хитрый тип, цветной, долгие годы в свое время он провел в море. На его спине красовался не только целый корабль под парусами, бороздящий морской простор, но и стоял ценник, сделанный татуировщиком – в немецких марках, гласящий: татуировка – 97, чернила – 13, итого: 110 марок. Что-то вроде этого.

В госпитале он оказался после падения с высоты почти в двадцать метров в шахте, на медном руднике. Он приземлился на кучу резиновых шлангов, что спасло ему жизнь, но не уберегло от множественных внутренних повреждений. У меня всегда были сложности с ним, но его духом я восхищался. Я сказал: «Смотри, Костя, я знаю, что ты выбросил их в парашу, но мне все равно хочется на них взглянуть. Я много слышал об этой вещице, и мне нужно ее осмотреть, на случай, если мне самому придется иметь с ней дело».

Мы сидели на его койке, находящейся в затемненном углу госпитального отделения.

Наконец, он подмигнул мне и вытащил наручники, с ключом, из-под своего матраса.

«Принеси обратно!» - сказал он мне.

Я проскользнул в комнату для осмотра больных, чтобы разглядеть наручники при свете. Я вставил ключ в замок и наложил их на свои запястья. Закрыл. Я смогу согнуть пальцы и повернуть ключ – так я думал.

Устройство было дьявольски хитрым и жестоким. Малейшее движение рук – и трещотка двигалась, затягивая наручники. Я согнул руку, чтобы взять ключ. Наручники затянулись сильнее. Достать до ключа я мог только кончиками пальцев. Меня охватила паника. Боль становилась все сильнее, а мои пальцы начали опухать и синеть. Я нажал изо всех сил. Ключ сломался!

Я почувствовал жуткую растерянность, представляя, как в любую минуту кто-то может войти в дверь и увидеть, что я наделал. Мне нужно было найти выход. Я принялся ходить взад-вперед, обдумывая это, но боль было уже невозможно терпеть. Я набросил на свои руки больничный халат, в попытке скрыть свою ужасную оплошность, и пошел обратно в палату. Константин-Моряк спал.

- Костя, - прошептал я, почти задыхаясь, - проснись!
- Что такое? – промычал он сонно.
- Я сломал ключ и не могу снять эти наручники!

Он принялся хохотать. Остановиться он не мог. Вскоре вся палата проснулась, и Константин рассказывал эту историю всем.

- Костя, пожалуйста, ради бога! – умолял я.

Но он продолжал кататься от хохота. Наконец он произнес:

- Иди, принеси мне какую-нибудь иголку.
- Для чего?
- Ладно, неважно. У меня всегда есть, в подошве. Тебе бы тоже следовало так делать. Знаешь, даже доктор может оказаться в наручниках!

Он достал свои ботинки, вытащил потаенную иголку из подошвы, воткнул ее в замок, и я был освобожден.

- Возьми на заметку, доктор, - произнес Константин-Моряк. – Если на тебя когда-либо их наденут, они прижмут твои запястья к своим коленям, чтобы затянуть. А потом бросят тебя в камеру на полчаса. К этому времени ты будешь орать, как резаный, а твои руки еще полгода ни на что не сгодятся. Поэтому храни иголку в подошве. Как только окажешься в камере, начинай орать. Достань иглу. Ослабь наручники и оставайся неподвижен, чтобы они не затягивались снова, а потом ори громче и громче, пока они не придут, чтобы снять их. Понял?

Затем он принялся хохотать снова. Из отделения я выходил красный от смущения. Все пациенты весело аплодировали.

Вы можете предположить, что в тюрьме, большинство населения которой было слишком измождено, чтобы думать о сексе, к тому же все это население было мужским, венерические заболевания встречались нечасто – так и было, среди заключенных. Но достаточно часто ко мне подходили охранники с гонореей, так как они боялись наказания, которое ожидало любого советского солдата в те дни, если он доложит о наличии венерического заболевания в своей клинике. У нас в госпитале имелись в начале серосодержащие лекарства, позже появился пенициллин. Я лечил множество охранников, и обычно они становились, по крайней мере, относительно более доброжелательно настроенными ко мне в результате. Однажды утром один из таких доброжелательных охранников – очень хороший парень, на самом деле, что было крайне редким явлением – пришел в госпиталь и попросил меня пройти с ним побыстрее, так как в БУРе находился раненый человек. Нам нужно было принести носилки. Адарич куда-то отошел, поэтому я отправился туда вместе с Ваней и Нерусским.

БУР представлял собой тюрьму в тюрьме. Он был окружен своей собственной каменной стеной с трех сторон. Четвертой стеной была внешняя стена зоны, с простреливаемым огнем рубежом. Пока мы шли туда, охранник рассказал мне, что произошло. Группа информаторов, которую держали в БУРе для их же безопасности, была выведена на утреннюю прогулку. Один молодой человек, в течение многих дней находившийся в жуткой депрессии, отделился от группы – в то время как она проходила под вышкой – и принялся взбираться вверх по колючей проволоке огневого рубежа. Человек на вышке мог стрелять сразу. Но вместо этого он выкрикнул предостережение. Но бедный парень, к

этому времени стонавший от ран и порезов, только кричал: «Да! Застрели меня, пожалуйста! Я не хочу больше жить!»

Охранник тщательно прицелился и выстрелил ему в ногу.

Мы обнаружили парня висящим на колючей проволоке, на высоте немногим менее двух метров – он запутался в ней и был неподвижен. Нога у него болталась под странным углом, и из нее хлестала кровь. У одного из охранников были ножницы для проволоки, и он пытался освободить тело, когда мы прибыли. Через минуту или две его вытащили, мы побежали с ним в госпиталь и осмотрели ногу.

Нога была разбита пулей «думдум» ниже колена. Держалась она только на куске кожи и сухожилиях. О том, чтобы спасти ее, не могло идти и речи – я это понимал. Но Адарича не было, а Шкарин помогал где-то в рабочей зоне. Каск был лабораторным ученым и не дотрагивался до скальпеля со времени окончания медицинской школы. Кубланов был в ужасе от любого вида хирургического вмешательства.

Мне предстояло сделать это – я был единственным, кто был на это способен.

До этого мне приходилось наблюдать несколько ампутаций ног, но я почти не следил за деталями. Это было куда сложнее, чем ампутация пальца на руке или ноге. Мне требовалось больше знаний, чем было у меня в голове. Я сделал парню укол морфия, чтобы выключить его, и установил турникет на ногу выше колена. Потом отрезал остатки ноги, просто сделав чистый разрез через остатки кожи и сухожилия, которые все еще держались. Затем я наложил стерильную повязку вокруг раздробленной культи, оставив турникет на месте, и помчался в комнату для осмотра за книгой Адарича по хирургии. Рисунки были очень понятными. Я схватил книгу и побежал в морг, захватив ножи для ампутации. Мне нужно было вначале попрактиковаться.

На то, чтобы вымыть руки или сделать другие приготовления, времени не было. На столе для вскрытия все еще лежал труп. Я положил книгу на его зашитый живот и сделал первый разрез – прямой с одной стороны и в виде клина с другой, чтобы получить отрезок кожи, которым следовало накрыть культю. Далее я снял часть кожи. Как разрезать мышцы я не представлял – поэтому просто следовал рисунку. У меня получалось на удивление хорошо. Меня билась сильная дрожь, но я заставил себя продолжать, уделяя внимание сосудам, которые мне предстояло завязать, и наблюдая за тем, как укладываются все мышцы. Я знал, что зашить кожу я смогу замечательно – это не сильно отличалось от тех пальцев, что я удалял. Кость на трупе пилить я не стал. Разрезав все мышцы, я просмотрел рисунки, сверяясь с трупом несколько раз, чтобы удостовериться, что у меня в голове сложилась ясная картина предстоящей операции. Часть меня молила о том, чтобы появился Адарич. Другая часть начала говорить: «Все в порядке – ты можешь сделать это, так что теперь – вперед!» Я вернулся в операционную.

Я настоял на том, чтобы Кубланов ассистировал мне, поднося инструменты и помогая останавливать кровотечение. Ваню я послал за Нерусским: пилить кость было выше моих сил, и я считал, что Нерусский, который вскрыл столько черепов во время аутопсии, не будет возражать, если я доверю эту часть операции ему.

Наконец, настало время начинать. Я ослабил турникет и дал крови течь в течение нескольких секунд. Затем я взял скальпель и сделал глубокий вдох. Взглянув вокруг, я встретился взглядом с глазами остальных. Напряжение в операционной висело в воздухе, и взгляды всех были обращены на меня – помимо самого парня, бывшего без сознания. Но что-то в его лице нервировало меня, и я накрыл его тканью. Нерусский стоял напротив меня. В его добрых и сочувственных глазах я увидел теплоту, которая придала мне сил. Я снова взглянул в книгу, которую держал для меня Ваня. Мои руки все еще дрожали в тот момент, когда я сделал первый разрез.

Затем все пошло хорошо. Я отделил и отогнул назад кожу и лежащую под ней полоску ткани. Завязал большие сосуды. Потом поднял все это и отодвинул в сторону, чтобы обнажить около двух сантиметров кости повыше раздробленного конца, и кивнул Нерусскому. Он обнадеживающе кивнул мне в ответ, и потом я отвернулся, чтобы не

видеть, в то время как он взялся за пилу. Получился аккуратный, прямой разрез – кость выше разреза была целой и здоровой. Я обернул кусок мышцы вокруг кости, чтобы сделать подушку, и затем сшил все вместе. Мы оставили парня под капельницами с растворами соли и глюкозы, а Нерусский вызвался посидеть с ним, когда он очнется, чтобы вызвать меня или Кубланова, если ему потребуется обезболивающее. Мне же просто нужно было уйти и лечь. Я чувствовал себя полностью изможденным. Заснул я на кровати Адарича, и когда проснулся, Адарич сидел рядом со мной. Он тепло улыбался.

- Ты сделал отличную работу, Александр Михайлович, мой мальчик, - произнес он. – Я подумываю о том, чтобы отойти от дел, чтобы ты теперь смог бы занять мое место.

Парень поправлялся хорошо. Образовалась небольшая наружная инфекция, но Адарич приоткрыл несколько сантиметров шва и вставил дренажную трубку для промывания, и затем сложностей уже не возникало. В конце концов, парня перевели в барак, заполненный его собратьями-украинцами, и кто-то из них сделал ему деревянный протез для ноги. Он научился ходить, достаточно неплохо, и был назначен смотрящим за бараком – таким образом, ему более не пришлось выходить на работы. Его репутация как информатора, насколько я знаю, была позабыта и прощена. Так или иначе, но никто не пытался его убить, и я был огорчен, когда его снова перевели и его следы утерялись, потому что он, в некотором роде, стал для меня словно бы родным ребенком.

Во время моего пребывания в госпитале мое собственное здоровье улучшилось, и силы возвращались ко мне. К своему рациону я добавлял ежедневные инъекции глюкозы – делал я это поздно вечером, когда в госпитале устанавливалась тишина. У меня был доступ ко всем нужным мне витаминам, прежде всего – к витаминам В и С, а также к ниацину; таким образом, опасность цинги или пеллагры мне более не грозила. Знакомый мне охранник достал для меня некоторое количество дрожжевых таблеток из военной аптечки, и я принимал их по несколько граммов в день. Это, в свою очередь, дало развитие другому интересному повороту в жизни нашего госпиталя.

У нас был санитар-украинец по имени Музычко, который всегда откладывал немного хлеба, чтобы положить его в кувшин с водой, где в течение нескольких дней происходила ферментация; в результате получался слабый квас – напиток вроде пива, слабоалкогольный, но с приятным вкусом. Музычко раздавал свой напиток как пациентам, так и сотрудникам госпиталя ежедневно – и, хотя алкогольная составляющая в нем с трудом угадывалась, слабый пивной привкус поднимал всем настроение. Я обычно добавлял туда свой дневной рацион сахара, и в один из дней мне в голову пришла мысль, что есть более приемлемый способ принимать внутрь те самые дрожжевые таблетки, на вкус бывшие ужасными.

Только я закончил размешивать сахар и дрожжи в квасе, как вошел конвой – они принесли трех шахтеров, оказавшихся под грудой руды, случайно высыпавшейся из ковша. Двое из них были мертвы, а третий получил ужасные травмы, и мне пришлось удалиться, чтобы помочь Адаричу в операционной. Помню, как я обрабатывал его череп, серьезно разбитый, а он в это время продолжал произносить молитвы – не приходя полностью в сознание. Затем Адарич с осторожностью брал кусочки его черепа, стараясь сложить его снова вместе. Тот человек продолжал молиться до самой смерти. Прошло еще часа два, прежде чем я вспомнил о своем напитке и вернулся в комнату, где оставил его на подоконнике.

Жидкость почти бурлила. Ферментация происходила очень даже живенько. Я взял несколько капель в качестве образца, отнес их в лабораторию и положил под микроскоп Каска, наблюдая, как плодятся и бурлят в них микроскопические организмы. Мне подумалось, что у меня может получиться очень даже неплохо, когда процесс немного затихнет. Я вымыл несколько лабораторных емкостей, а потом нашел немного проволоки,

которой можно было прикрепить сверху стеклянные пробки; будучи совершенно неосведомленным относительно искусства пивоварения, я знал, что внутри образуется давление, и его нужно будет как-то удерживать. Поздно вечером, когда бурление вроде бы улеглось, я разлил настойку по своим маленьким бутылочкам, привинтил сверху проволокой стеклянные пробки и оставил емкости в шкафу, в комнате для осмотра пациентов. И, конечно же, следующей ночью, когда меня не было на дежурстве, они взорвались, почти до смерти перепугав нашего санитаря по имени Яныев. По этому случаю между нами произошел отчаянный кулачный бой, но позже некоторые из нас наладили постоянное производство, в маленьких бутылочках – таким образом, каждые три недели мы получали порцию пива, когда научились делать это должным образом. Позже, зимой, мои друзья в ДОЗе сделали по моей просьбе небольшой бочонок – и тогда мы смогли перейти к массовому производству, спрятав его в морге, под столом для вскрытия трупов. Но только лишь был готов наш первый бочонок, как новый фельдшер, Вася Каргин, напился и пошел гулять ночью по зоне, обнимая фонарные столбы и выкрикивая лозунги «Да здравствует президент Трумэн!» Охранники бросили его в карцер. Мы решили, что пивное производство становится немного опасным, и решили на время его приостановить. Вскоре после этого бочонок у нас конфисковали, и с этим было покончено.

Глава 22

К тому времени, как мои дни в госпитале подошли к концу, я сделал, вдобавок к ампутациям ноги и пальцев на ногах, три тренировочных аппендэктомии на трупе и одну – на живом пациенте. Теперь у меня по всему лагерю были мои бывшие пациенты, и многие из них остались моими друзьями до самого окончания срока моего заключения. Несколько охранников из тех, кого я вылечил от гонореи, делали мне небольшие одолжения – закрывали глаза в тех случаях, когда я немного нарушал правила и так далее. Моя уверенность в моих врачебных навыках росла, и вместе с ней улучшалось мое душевное состояние. Как только мое физическое состояние вновь обрело свою наилучшую форму, я разработал для себя напряженную программу упражнений. Будучи ребенком, я немного занимался акробатикой, и теперь я снова начал ходить на руках, обычно практикуясь в госпитальном коридоре, прогуливаясь по нему вдоль – он был около двадцати метров в длину. Однажды вечером я, напряженно сопя, отправился в обратный путь, пытаясь выполнить полностью сорокаметровую дистанцию, чего я пока еще не делал – как тут мои занятия прервал крик из конца коридора. Я вскочил на ноги и увидел старого польского профессора, которого мы лечили от гепатита – он, шатаясь, брел по коридору, обхватив руками голову и причитая: было похоже, что он читает молитву по-польски. Я не понимал, что с ним случилось. Пока я бежал к нему, он споткнулся об ящик с углем, упал, стукнулся головой, и остался лежать неподвижно на полу. Я, как можно тише, потащил его в операционную, где принялся обрабатывать ранку у него на голове. Я опасался, что он получил сотрясение мозга, хотя падение и не казалось таким уж сильным. Через несколько минут он заморгал глазами, а потом открыл их. Выглядел он крайне обеспокоенным.

- Я умираю, доктор. Пожалуйста, передайте моей семье. Адрес: Краковское Предместье, 655. О, Господь, смилуйся надо мной, смилуйся!

И так далее – он говорил настолько быстро, что я едва мог его понять. Я попытался прервать его, и, наконец, крепко взял за плечи и сильно встряхнул.

- Прекратите! – сказал я твердо. – Расскажите мне, в чем дело?

- Я умираю. Я умираю от печеночной дистрофии. Я знаю, что симптомами являются галлюцинации. Я встал, чтобы пойти в туалет, и – о, доктор! Когда я вышел в коридор, я увидел вас, идущим по потолку!

Он был шокирован, когда при этих словах я принялся хохотать. Но, когда я объяснил ему, что случилось, он испытал огромное облегчение, а затем обрел дополнительную уверенность после того, как я измерил у него давление, пульс, взял анализ крови и так далее. Под конец он и сам немного посмеялся над этой шуткой, завершил свой вояж в туалет и отправился обратно в постель.

Память очень легко выносит на поверхность такого рода вещи. Эти вещи создавали жизнь посреди смерти и человечность посреди постоянного сатанинского угнетения. Происшествия, подобные этому комическому случаю, моменты успеха в операционной или тайный бизнес по изготовлению ложек, кроватей и утюгов – все это радостные моменты, которые всплывают в памяти, когда меня спрашивают: «Как там было, в лагере?» Но все это были редкие моменты – маленькие яркие вспышки, практически полностью заглушаемые мраком и ужасом, из которых состоял каждый лагерный день. Годы спустя, когда мы сидели вместе за одним столом с членами «профсоюза» - так называли себя бывшие заключенные, чтобы не смутить в общей компании непосвященных – мы поднимали печальные тосты «за тех, кто в море», а потом делились веселыми воспоминаниями о тех ужасных днях. Мы вспоминали длинные и захватывающие разговоры с людьми необычайной силы духа и интеллекта, с которыми нам посчастливилось встретиться в нашем лагерном несчастье. Мы вспоминали каждую шутку, каждую бутылку изготовленного тайком пива, каждую веселую песенку и каждый забавный персонаж: это было легко. Вспоминать ужасы было тяжело, и мы избегали этого. Работая над этими страницами, я избегал этого до тех пор, пока это представлялось возможным, но более уже не могу – так как все это и является подлинной тканью моей истории. Я беру выходной – от страницы к странице, припоминая веселые вещи – а потом вспоминаю, что пора бы возвратиться к работе.

Несмотря на все то здоровое и положительное, что принес мне период моего пребывания в госпитале – касательно укрепления моего физического здоровья и моего роста как личности, в плане освоения новых навыков, и взросления, пришедшего вместе с ответственностью за жизни других людей, а также по причине пребывания в кампании увлеченных и человечных профессионалов своего дела, таких как Евгений Петрович Адарич, или удивительно человечных и простых, таких как Нерусский, который сидел у постели больных ночами напролет, в то время, как время его дежурства закончилось, нежно массируя лоб страдающих от боли, успокаивая, таская на себе парализованных до туалета, беря на себя часть чужого отчаяния – несмотря на все это мои воспоминания, когда я стараюсь сбалансировать их, чтобы они были точными и правдивыми, приносят мне чувство горечи. В то время моя душа в определенной степени огрубела, чтобы защитить себя. Но горечь иногда прорывалась через все выстроенные мной барьеры, и это было тяжело.

Я вспоминаю всех тех, кто так и не смог вернуться к своим семьям, кто умер в слезах одиночества. Всеобъемлющее, космическое одиночество отпечаталось на их лицах. В четвертой палате лежали кардиологические пациенты. Мы мало что могли сделать для их лечения. Уровень смертности был очень высок. Каждые несколько дней кого-то клали на койку только что умершего человека, и наблюдать за теми мучениями и тем страхом, что приходили к этому новому человеку вместе с этой койкой, было ужасно. Все это ускоряло смерть.

Раковые больные страдали ужасно. Расход морфия у нас был ограничен, его нужно было экономить ради поступающих в течение дня ходячих травмированных пациентов с чрезвычайно острыми болями. А здесь мы просто давали аспирин или легкие седативные

препараты, и поэтому палата раковых больных была пространством, наполненным болью. В то время я начал потихоньку откладывать раздобытые тайком ампулы морфия – даже Адарич не знал об этом. Когда раковый больной вплотную подходил к смерти, и боль становилась непереносимой, я брал одну или две ампулы из своего личного запаса и тихо вкалывал их в бедную агонизирующую душу. Потом я сидел ночью у постели, гладил руку и приговаривал: «Вот так. Боль скоро уйдет. Скоро вам станет намного лучше», - час за часом.

Я привык к тому, чтобы чувствовать в своей руке руку человека, переходящего из жизни в смерть. Рука в моей руке.

И в то же время, когда я сидел вот так вот с кем-то из этих умирающих людей, пытаюсь хоть немного облегчить страдания, я знал, что по всему Джекказгану в это время умирают люди – в одиночестве. В конвоях, вываливаясь из своего ряда – чтобы умереть, и чтобы идущие сзади такие же, как и они, рабы, вынуждены были спотыкаться об их тела. В карцерах – без какого-либо человеческого контакта или сочувствия. Или висят на колючей проволоке, с пулями в груди. Лежа на нарах в бараках всего в нескольких десятках метров от меня – просто потому, что в маленьком госпитале для них не нашлось места. Я знал, что большинство этих мужчин, почти все они, могли бы жить какой-то жизнью с другими людьми. Растить детей, любить жен, делать какую-то работу, в которой бы они находили удовлетворение. Принимать какие-то решения относительно того, куда идти в своей жизни. Они могли бы делать это все – если бы не государство, которому требовался их рабский труд и которое создало тщательно разработанную машину по созданию преступлений там, где никаких преступлений не существовало. Почти никто из тех, кого я знал, кто умер или жил в Джекказгане, не совершил ничего такого, что бы попадало под действие закона любой страны с демократически избранным парламентом и традицией лояльности к инакомыслию. Это все были невиновные люди. Я считал их смерти убийством – умерли ли они от пули, горячки, рака или отчаяния.

У нас был один парнишка, звали его Аркадий. Он был поэтом, из Москвы. Его сочли опасным, так как он примыкал к подпольной группе антисоветчиков. Он отличался неиссякаемым чувством юмора и неумным талантом по высмеиванию своих мучителей. В результате в лагере ему постоянно доставалось, и он провел много дней в морозильнике одиночного карцера в БУРе.

В Аркадии я сразу почувствовал родную мне душу. Я звал его «мальчик» – хотя он и был на год или два старше меня, ему было двадцать-семь или восемь – по причине его ребяческого энтузиазма и чувства юмора, что оставались с ним до самого дня его смерти. Он был из числа тех молодых диссидентов конца сороковых, что попали в сети органов с широко раскрытыми удивленными глазами. Он сочинял едкие сатирические стихи о режиме и его лидере, которые передавались из рук в руки. Для любого другого это показалось бы чистым самоубийством. Для Аркадия же это было единственным, что он мог делать для того, чтобы сражаться с несправедливостью и отсутствием гуманности – насажденным, как он был убежден, в его мире. Он любил Россию – но не то, что происходило с ней.

Когда его перевели к нам из БУРа, у него развилось двустороннее воспаление легких. Мы не имели возможности произвести хирургическое вмешательство при абсцессе легкого, и у нас не было антибиотиков, кроме сульфата. Он увядал с каждым днем, но несмотря на это был жизнерадостен, постоянно писал новые стихи – любовные стихи, стихи о людях, лежавших в палате, стихи о светлом будущем.

У Аркадия было веснушчатое лицо, что редкость для русского. Он был долговязым парнем, любившим фланировать по палате в своем тюремном нижнем белье, из-под которого торчали костлявые колени, декламируя стихи и рассказывая анекдоты. По ночам мы часами сидели вместе. Я приносил ему охлаждающую повязку на лоб. У него был постоянный жар, и его бил кашель, выносивший огромное количество зловонной

зеленоватой жижи из его груди. В его дыхании всегда присутствовал тяжелый запах разложения. Но я любил этого парня. Мы сидели рядом и болтали о том, каким мог бы стать мир, если бы все народы доверили свои судьбы парламентской демократии. Он считал, что это могло бы работать в Советском Союзе, хотя для этого потребуется долгое время и значительные усилия в области просвещения. Я раздобыл немного хорошей белой бумаги для Аркадия и сложил ее в форме книги, и он наполнил ее стихами – частью своими, частью теми, что помнил наизусть, авторства своих любимых русских поэтов, например, Гумилева. Мне нравилась поэма Гумилева «Капитаны» - о пиратах, морских волках, что жили за счет своей отваги и своего мастерства. Аркадий любил читать эту поэму мне, вслух, в перерывах между спазмами.

Он также писал стихи по-французски, а потом переводил их мне. Я помню романтическую балладу Ильи Сельвинского о римлянке, к которой приводили рабов в качестве любовников, а затем казнили, и она хранила их головы в качестве сувениров. Все это, конечно, относилось декадентской поэзии, по современным советским стандартам. Гумилева расстреляли в 1921 году.

Адарич сказал мне, что выжить Аркадию не суждено. Думаю, что Аркадий и сам знал это, про себя; он этого никогда не показывал. В другом лагере, неподалеку от нашего, был специалист по грудной хирургии, испанец, которого звали Фустер. Он мог бы сделать операцию – и одной из тех немногих причин, по которым я возненавидел Лавренова, стал его отказ от перевода Аркадия в тот лагерь. В течение четырех месяцев он постепенно уходил от нас, а мы наблюдали за этим и не могли ничего поделать. Четыре месяца пребывания по ночам рядом с его кроватью – вынося емкость с вонючей мокротой, стараясь снять его жар, наблюдая его постоянно смеющийся рот, каждые пару минут перекашивающийся от нового спазма.

Однажды он мечтательно произнес: «Как бы мне хотелось поесть лука!»

На протяжении всех этих четырех лет я ни разу не видел репчатого лука. Но каким-то образом, через дружественного мне охранника, через друзей Аркадия по всему лагерю (его хорошо знали), мы раздобыли несколько ярко-зеленых весенних луковиц. Он был в восторге.

Аркадий очень слаб. Я при первой возможности вводил ему, внутривенно, дополнительное количество глюкозы и спиртового раствора из ампул. Это помогало сбивать жар и давало ему больше сил, чтобы дышать – но воспаление в легком душило его, и мы оба понимали это. Однажды ночью я сидел подле него на краю койки. Мы не разговаривали – ему не хватало дыхания.

Он смог проговорить: «Ты не мог бы приподнять меня? Не могу дышать».

Я согнулся, положил его руки себе на плечи и бережно приподнял его в сидячее положение. Он указал на маленькую санитарную утку. Я поднес ее к его лицу, и он туда откашлялся. В емкости оказалось порядка ста кубиков вонючей жижи.

«Ну вот, давай-ка я уложу тебя, и потом схожу, вынесу это», - сказал я.

Он просто кивнул. Я осторожно положил его обратно.

Когда я вернулся, то снова присел и сказал: «Ну что, Аркадий, хочешь поспать теперь? Я отойду, и вернусь через часик проведать тебя снова, хорошо?»

Он не отвечал. Я согнулся, чтобы подтянуть одеяло ближе к его подбородку. Внезапно я понял, что не чувствую зловонного запаха от его дыхания. Я приложил руку к его груди.

Она была неподвижна. Я открыл веко – зрачок был сильно расширен. Я нажал на него со стороны нижнего века. Образовался овал – как у глаза кошки. Аркадий был мертв.

Я произнес: «Это смерть героя, но у меня нет возможности отдать ему почести».

Он умер, потому что верил в нечто прекрасное и отказался скрывать это или заключать со своей верой сделку. Я не мог и представить чего-то лучшего.

Я вышел наружу, за стену морга. На дежурстве у госпиталя находился дружественно настроенный охранник, и он не возражал, если кто-то из нас решал немного прогуляться ночью, при условии, что мы были неподалеку. Позади морга имелась тень, куда не

попадал свет прожекторов с вышек. Я мог побыть там наедине со своими мыслями. И увидеть звезды. Кто-то в лагере показал мне, где находится Сириус, и я решил, что это будет моя личная звезда. Я взглянул вверх, и сказал «до свидания» Аркадию - куда-то в звездную даль. Я представил себе звезду, движущуюся на запад, в сторону Америки. Попытался вспомнить лицо Мери. Но оно было слишком далеко. Попытался вспомнить свои собственные мысли четыре года назад. Всего четыре года? Я выросел слишком быстро. На моих глазах случилось столько смертей. Где он, тот беспечный американский парень, которым я был когда-то? Я почувствовал горечь – как что-то глубокое, жгучее, в области желудка. Мне хотелось побыть в состоянии некоего мира, в котором я мог бы ощущать эту горечь; мне не хотелось, чтобы она уходила – это было правильное чувство, необходимое мне в тот момент. Мне просто хотелось пребывать в покое с этим чувством – но я не мог ощутить покой, потому что в сотне метров от меня на вышке был человек, вооруженный автоматом с семьюдесятью двумя пулями «думдум» в своем изогнутом магазине, и я не мог обрести покой, находясь так близко к этой огромной силе, несущей смерть.

Я отчаянно жаждал любить живых. Но один из тех, кого я любил, только что умер, а другая была так далека, что ее лицо теряло очертания в моей памяти.

Я вернулся обратно.

На следующий день Адарич попросил меня со вскрытием Аркадия. Я только помотал головой и быстро вышел из комнаты.

И вот странная деталь, имеющая отношение к человеческой памяти. В течение двадцати лет я никогда не произносил имени Аркадия и никогда не вспоминал о нем. Образ этого мужественного молодого человека внезапно пришел ко мне из небытия, в то время как я работал над тем, чтобы воскресить в памяти дни и ночи в том госпитале в Джекказгане. И прошло еще немалое время, прежде чем я, восстановив всю эту историю, вспомнив стихи, ночи в палате и детали его смерти, вспомнил и его имя. Вот что ужасная боль может сотворить с памятью.

Однажды утром у одного пациентов, выстроившихся в надежде у двери приемного отделения, был настолько ужасный кашель и высокая температура, что, выглянув за дверь, я сразу решил, что этот человек обязательно нуждается в госпитализации. Таким образом, хотя нам разрешалось оставлять в госпитале в день не более трех человек, я мысленно закрепил за ним одно место еще до того, как приступил к осмотру пациентов - несмотря на то, что тот человек стоял в самом конце очереди.

Все говорило о том, что у него имеется острая пневмония в одном из легких. Температура была совсем немногим меньше сорока градусов. Щеки горели, глаза в уголках слезились. Очевидно, что передо мной находился очень, очень больной человек. И в то же время при взгляде на него мне хотелось смеяться. Он был высокого роста, с очень круглой лысой головой и впалыми узкими плечами. Его лицо было лицом клоуна, также как и его тело. Судя по всему, внешнее соответствовало внутреннему. Несмотря на болезнь, он улыбался и шутил все то время, что я его обследовал. Он был украинцем. Его перевели из КТР – лагеря с особо тяжелыми условиями труда. Звали его Марусич.

Я сказал, что собираюсь его госпитализировать, и попросил его побыть в комнате для осмотра, пока не приму последних двух-трех человек из очереди. Потом я отвел его в палату, чтобы показать ему постель. В ту минуту, когда мы вошли в палату, из ее дальнего угла раздался голос: «Бог ты мой, кого я вижу! Это ли не его превосходительство голова Житомира!»

Марусич уставился на говорящего на мгновение, а затем произнес: «Смотрите-ка! Голова Одессы!»

Два человека тепло обнялись. Я решил, конечно, что это шутка, но вскоре узнал, что оба этих человека и в самом деле занимали в свое время должности, аналогичные должностям

мэров в этих значительных городах. Но так как они продолжали руководить своими городами под немецкой оккупацией, их признали коллаборационистами, осудили за предательство и приговорили к двадцати годам. Я подружился с Марусичем и обнаружил, что он все еще был в «политике»: в лагере он являлся одной из ключевых фигур в сообществе западных украинцев, кем-то вроде лидера подполья, обладавшим значительной властью. Он был очень благодарен мне за то внимание, что я ему уделил, и сказал, что если мне понадобится силовая поддержка или помощь, чтобы выручить меня из беды, то я могу на него рассчитывать. На самом деле я не предполагал встретиться с ним снова, так как он был из КТР. Но всегда существовала вероятность того, что мы окажемся с ним на одной рабочей площадке – в том случае, если для меня настанет печальный день и я вынужден буду покинуть госпиталь, а я был уверен, что это случится. Поэтому я был рад такому предложению, искренне и тепло поблагодарил его, пожелав встретиться снова. Он оказался сильным человеком. Воспаление в легком у него прошло быстро, и мне было жаль расставаться с ним, потому что он был постоянным источником веселья в нашем печальном отделении. Так случилось, что мы действительно встретились, и довольно скоро, и его великодушные оказались очень востребованным для меня.

В нашем лагере был странноватый казах по имени Шаргай. Он постоянно пел песни, очень громким голосом, и днем и ночью, а спал он редко. И, хотя его соседям по бараку было сложно заснуть большую часть ночи, они с этим ничего не могли поделать. Когда они просили его замолчать, он глядел на них глазами, в которых выражалось полное непонимание. Если кто-то пытался его заткнуть при помощи физической силы, то ему доставалось – несмотря на свою добродушную натуру, такого обращения с собой он не терпел, а был он здоровенным и крепким малым. Таким образом, все заключенные жаловались на Шаргаю администрации, а администрация решила, что он сумасшедший, и решила отправить его к нам в госпиталь. В результате Шаргай стал уже нашей проблемой. Мы обнаружили, что у Шаргаи было две страсти: он обожал курить грубый, крепкий казахский табак, а также помогать другим заключенным – особенно тем, кому приходилось нелегко. Он ненавидел администрацию и вообще Органы особо лютой ненавистью, и считал, что любая их жертва заслуживает огромной симпатии. Но Шаргай не мог взять в толк того, что если он перестанет петь, то это было бы помощью: ведь у него был замечательный голос и он знал большое число казахских песен, а также множество китайских песен, которые услышал во время короткой службы в рядах гоминдановской армии Китая.

Я сделал две вещи. В начале я оповестил всех казахов в лагере, кого знал, о том, что один из их братьев находится у нас в госпитале в критическом состоянии, и единственное, чем они могут помочь своему бедному соотечественнику – это снабдить его достаточным количеством табака. Они откликнулись как настоящие братья, и, несмотря на то, что в госпиталь потянулся тяжелый запах этого жуткого курева, у нас время от времени воцарялась тишина.

Потом я обнаружил, что Шаргай любит помогать, таская тяжелые вещи. Когда у Нерусского появлялся слишком тяжелый труп, или нужно было поднести дрова – везде, где требовалась большая физическая сила, Шаргай вызывался помочь. И он был счастлив – молча – все то время, когда его мышцам требовалось поднимать или тащить некий груз. Я решил сделать его носильщиком воды. У нас в госпитале не было трубопровода. Всю воду приходилось вручную перетаскивать из центрального резервуара. И вот я объяснил Шаргаю, что нам постоянно требуются серьезные запасы чистой воды – мол, ее нам постоянно не хватает, пациенты слишком слабы, а сотрудники слишком заняты для того, чтобы носить ее. Шаргай это воодушевило: таская воду, он бы спас всех в госпитале! И если одно ведро воды поможет чуть-чуть, то сто ведер воды помогут в сто раз больше! Его глаза сияли от восторга, вызванного желанием спасти все эти жизни путем ношения воды. По десять часов в сутки он таскал воду, а по ночам падал от изнеможения и спал как

мертвец. У нас теперь было намного больше воды, чем требовалось, и нам пришлось объяснять пациентам, что воду нужно относить обратно. Но никто не был против, потому что Шаргай больше не пел по ночам, и, хотя он продолжал напевать понемногу, переводя дыхание – в то время как бегал взад-вперед со своими ведрами – это было негромко, да и на одном месте он долго не задерживался, чтобы беспокоить кого-либо.

У Шаргая случилось видение, предчувствие относительно Сталина. Хотя и ходили некие немногочисленные слухи о плохом состоянии кремлевского вождя, никаких явных признаков того, что со Сталиным что-то не так, не было, и немногие заключенные тратили свою энергию на то, чтобы переживать или надеяться на что-то в связи с его смертью. Несколькими месяцами ранее, осенью 1952 года, произошло странное событие. Время от времени сотрудники МВД собирались на политические совещания. И вот на одно из таких совещаний вторгся странноватый пожилой человек, в ведении которого находилась бойлерная, куда мы ходили за горячей водой, чтобы заварить чаю. Под мышкой у него был пакет. Он рявкнул: «Советская власть низложена. Стоять смирно!». Так он обратился к капитану, проводившему эти совещания – командирским тоном, не терпящим возражений. «Теперь я здесь главный! Доставьте этот пакет немедленно товарищу и вождю Иосифу Сталину. Я теперь здесь командую!»

По причине присутствия этого странного пожилого человека, бывшего многие годы ранее высокопоставленным членом Государственной Думы, капитана на мгновение охватила растерянность. К тому же он настолько привык подчиняться властному авторитету, что и на самом деле вскочил на ноги, отдал честь и взял пакет, предназначенный Вождю. Потом капитан вскоре понял, что имеет дело с сумасшедшим, восстановил порядок, а того человека отправил обратно в его бойлерную. Но в этом событии было нечто, что словно током ударило всех, бывших на том совещании, а потом распространилось и по лагерю – а именно фраза о том, что советская власть низложена. Люди восприняли ее как некое предзнаменование.

Случай с Шаргаем был куда более поразительным. Адарич и другие доктора часто собирались по вечерам на политические дискуссии. Не нужно говорить, что эти собрания мало напоминали начальственные собрания, одно из которых было прервано тем человеком из бойлерной. Эти обсуждения были откровенными и в значительной степени интеллектуальными. Другие два фельдшера – у них почти не было образования – как и санитары, бывшие почти неграмотными, на них не присутствовали. Но Шаргай прослышал об этих встречах и напросился быть допущенным посидеть с нами. Шаргаю объяснили, что ему не следует петь, потому что врачи в таком случае не смогут хорошо слышать друг друга. Шаргай очень уважал врачей. Можно сказать, что он их, или нас, любил – он преклонялся перед магией медицины и всеми теми, кто носил белый халат. Шаргай любил всех в нашем госпитале. Он излучал эту любовь. Но что касается врачей, то перед ними он преклонялся. Так как и мы тоже его любили, то разрешили ему присутствовать на наших встречах. Тогда мы еще не знали, что у Шаргая в мозге зреет огромная опухоль, но отмечали, что его ментальное состояние постепенно ухудшается. Он все чаще надолго погружался в заторможенное состояние, не реагируя на окружающее. Физически, однако, он все еще оставался силен, и с приходом зимы я поручил ему носить вдобавок еще уголь и дрова. Новые поручения он воспринял с радостью, но мы видели, что частота провалов памяти и периоды заторможенности у него увеличиваются, а обычное для него радостное состояние понемногу от него уходит.

На наших встречах он обычно сидел молча. Иногда, однако, он просил дозволения сказать и затем приводил жизненное наблюдение, обычно основанное на его опыте пребывания в Китае в рядах гоминдановского войска. Комментарии Шаргая не всегда были по делу, но было ясно, что его разум, несмотря на потерянные по причине болезни и запутанные

связи, хранит в себе значительный объем опыта и множество очень проницательных наблюдений, относящихся к человеческой жизни.

В середине февраля Шаргай обошел всех нас, членов дискуссионного клуба, по очереди. Очень вежливо он объяснил нам, что ему нужно сделать чрезвычайно важное сообщение, и спросил, не будем ли мы так любезны, чтобы позволить ему сделать это объявление на следующей нашей встрече. К этому времени все мы очень жалели Шаргая, и никто не решился ему отказать, хотя и все мы были совершенно уверены в том, что это будет какое-то странное и, вероятно, сложное для понимания заявление.

Как оказалось, мы очень и очень сильно заблуждались.

Около половины десятого вечера Шаргай пришел на наше маленькое собрание. Он сел и посмотрел каждому из нас в лицо очень мрачно.

- Мои дорогие, дорогие друзья, - произнес он. – Я так благодарен вам за то, что вы позволили мне придти и сделать это важное сообщение. Это очень важное сообщение.

- Ну, хорошо, Шаргай, - немного нетерпеливо перебил его Шкарин. – Мы слушаем, что ты хотел сказать.

Каждый из нас сразу же почувствовал себя смущенным, потому что Шаргай далее произнес:

- Я знаю, что вскоре умру. Очень, очень скоро. Через несколько дней, не позднее.

Он произнес это очень осознанно. Потом продолжил:

- Но не в этом мое сообщение. Мое сообщение в том, что вскоре после моей смерти жизнь всех вас, заключенных, резко и полностью изменится, к лучшему. На самом деле, пройдет не так много лет после моей смерти, как все вы станете свободными людьми. Как только я умру, все начнет меняться для вас.

Мы попытались подшутить над Шаргаем: «Ну, Шаргай, это все замечательно, расскажи еще. Что вызовет эти изменения?»

Шаргай продолжил:

- Произойдет одно событие крайней важности в Советском Союзе. Оно случится вскоре после моей смерти.

- Ну, Шаргай, что за событие? Оно связано с твоей смертью?

В течение долгого времени он не отвечал нам. Потом Шаргай произнес:

- Мои дорогие друзья, вы были так добры ко мне и я так вас всех люблю, и мне так жаль расставаться с вами, - по его длинному костистому носу побежали из глаз слезы и закапали на его огромные усы; ему пришлось откашляться, и вытереть нос перед тем, как он сумел вновь собраться, чтобы продолжить.

- Событие – вот оно: почти сразу после того, как я умру, вы узнаете, что Вождь мертв!

Несмотря на то, что это все звучало нелепо, в словах Шаргая об этой его фантазии почувствовалась какая-то сила. Никто из нас не знал, что и сказать. Не помню, кто из нас прервал молчание, но помню, что остаток вечера мы посвятили шуткам над бедным Шаргаем, так как знали, что относительно своей смерти он был прав в любом случае. Все серьезные политические дискуссии в тот вечер были позабыты.

Через несколько дней Шаргай начал бредить и жаловаться, когда он был в сознании, на ужасные боли у себя в голове. Его глаза вылезли из орбит, он выглядел дико и ужасающе. Но даже в бессознательном состоянии та глубокая любовь, которую он чувствовал к находящимся рядом людям, проявляла себя – как и желание почувствовать их любовь в ответ, в те моменты, например, когда его железная рука сжимала мою руку, в то время как я старался принести ему облегчение с помощью таблеток и инъекций.

Еще через день или два Шаргай погрузился в кому. Мы поддерживали его жизнь в течение сорока-восьми часов после этого. С легкими у него было плохо, после всех этих лет курения того ужасного табака. Дыхание его становилось все более затрудненным, и приносило с собой большое количество пены. В половине одиннадцатого вечера на второй день, во время моего дежурства, он умер. Я находился рядом с ним в течение последних нескольких часов. Когда он умер, я испытал облегчение, увидев, что боль не мучает его больше.

Нам нужно было ждать три часа, по крайней мере, перед тем, как отправить тело в морг. Я проверил глаза Шаргая, надавив на них и убедившись, что в результате появляется «кошачий глаз», знак прихода смерти. Вскоре тело остыло. Около часа ночи пришел Ваня, сказал, что хочет спать, и предложил разбудить Нерусского, чтобы отнести Шаргая в морг. Я ответил, что еще оставалось полтора часа, но он уже остыл. «Конечно, иди».

Они отнесли его из теплого госпиталя в замороженный морг. Ночь была очень морозная. Понесли они его через двор снаружи, и я услышал скрип их шагов по снегу.

Потом я услышал, как отворилась дверь морга. Ночь была очень тихая. Внезапно из морга раздались крики. Двое мужчин пробежали под окном и ворвались ко мне в комнату, не в силах произнести слова от страха.

- Он ожил! Он дышит! У него сильный пульс!

Я знал, что это не может быть правдой. И в то же время в Шаргае всегда было нечто жутковатое. Поэтому, несмотря на свою уверенность в том, что Шаргай был мертв и остыл, чувствовал я себя странновато. Я побежал к моргу. Глаза у Шаргая были приоткрыты, а изо рта регулярно подымался пар. Я упал на него и схватил его руку. Мертвецки холодная. Пульса не было.

Конечно, причиной случившегося был перенос бедняги из тепла комнаты, в которой он умер, в замерзшее помещение морга, что вызвало сжатие в теле, и воздух вместе с влагой стал выходить из его груди. Ваня, не знакомый с медициной, пощупал пульс своим большим пальцем и ощутил свое собственное бешеное сердцебиение.

Я вернулся в теплоту госпиталя с облегчением – с облегчением, почти позволяющим рассмеяться. Но затем вновь почувствовал печаль, подумав о Шаргае, а также вспомнив его слова, произнесенные с горячим убеждением, о том, что для нас все вскоре изменится.

Шаргай умер 28 февраля. Три дня спустя, 3-го марта, по всему лагерю раздавались радостные крики: откуда-то пришли новости о том, что Сталин умер. Два дня спустя, 5-го марта, мы получили официальное сообщение.

Шаргай оказался пророком. Вождь умер. И вскоре после этого события многое действительно стало для нас серьезно меняться.

Глава 23

В полночь в госпиталь зашел Лавренов. Раньше он так никогда не делал. Он был в сильном возбуждении. «Чего вы, заключенные, хотите добиться?» - спросил он.

«Что вы имеете в виду?» - переспросил я его.

«Ну, это, должно быть, заговор, или какое-то восстание. Целое отделение МВД окружает наш лагерь, с пулеметами!»

Позднее оказалось, что среди сотрудников МВД ходили слухи о том, что Лаврентий Берия, который на самом деле пытался возглавить советское руководство, собирается дать некий сигнал всем лагерным заключенным, чтобы они восстали одновременно. Трудно было вообразить большую нелепицу.

Слухи быстро распространялись по лагерю. Удивительно, насколько многое из них в той или иной степени соответствовало истине. Мы слышали о том, что маршал Жуков едет в Москву и что он окружает Кремль танками, чтобы подавить сопротивление войск МВД. Мы слышали истории о том, что Берия посадил под стражу Маленкова. Мы слышали массу различных версий о причинах смерти Сталина.

Армейские части, окружившие наш лагерь, были вскоре отведены, но ходили слухи о волнениях в лагерях по всему Архипелагу ГУЛАГу – так иронично именовали всю сеть советских тюрем и трудовых лагерей: острова в море угнетения. Единственным непосредственным следствием всего этого явилось зримое ощущение растерянности среди лагерного персонала. В некоторых случаях оно проявлялось в невероятном демонстративном дружественном расположении по отношению к заключенным. Ведь нас всех вскоре, массово, могли бы освободить – и было бы довольно тревожно оставаться в памяти семнадцати миллионов бывших заключенных в качестве тирана и садиста.

В лагере под номером три комендантом был офицер МГБ. Даже еще до того, как Сталин умер – в то время, как через лагерные стены поползли первые слухи о том, что он, возможно, болен – тот человек, Цукерашвили, поразил заключенных, привыкших к исключительно жесткому обращению с его стороны, тем, что принялся ходить по лагерю, пожимая им руки, обращаясь «товарищ» и предлагая достать для них табака из города, если нужно, и говоря заключенным о том, чтобы они замолвили за него доброе словечко, если его когда-либо станут обвинять в плохом обращении с ними.

Цукерашвили был из МГБ, а не из МВД, но он служил комендантом лагеря, потому что лагерь под номером три предназначался для беглых заключенных и заключенных, отмеченных в качестве «особо опасных». Офицеры МВД, прослышавшие о странной выходке Цукерашвили, решили от него избавиться и отрапортовали в Москву о том, что он сошел с ума. Его вызвали в Москву на проверку. По дороге туда он услышал о смерти Сталина. Когда он прибыл в Москву, то был помещен в заключение – до тех пор, пока передача власти не была завершена, и МГБ не обрело контроль над ситуацией. Затем его почтительно обследовали, объявили психически здоровым и возвратили на свой пост.

Однажды утром, в апреле или в мае, в то время как я производил инъекции и зашивал небольшие раны в комнате для осмотра, в нее вошел полковник МГБ – в штанах с багровыми полосками и с фуражкой в виде блина на голове. Он подхватил докторский халат, набросил его себе на плечи, потом подошел ко мне с дружеской улыбкой и произнес: «Доброе утро, дорогой товарищ. Я – полковник Цукерашвили».

Я в изумлении принял его рукопожатие. Истории о нем я слышал, но видеть его во плоти – это было нечто другое.

- Я пришел повидать вашего уважаемого коллегу, доктора Адарича, - продолжил он. – Он сейчас занят?

- Не думаю, - ответил я. – Вы, вероятно, можете найти его во дворе. Это через дверь и налево.

Но уходить он не собирался. Полковник оглядел комнату, цокая языком при виде инструментов и медицинских приспособлений. Он пронаблюдал за производимой мной процедурой, выражая свое одобрение звуками, вроде «хम्म».

Потом он выглянул наружу, посмотрел на очередь из ожидающих заключенных и сказал им «доброе утро». Когда я закончил с последней инъекцией, он высказал одобрение эффективностью работы нашей клиники. Я начал подозревать, что он думает, что я – из

МВД или еще что-то, несмотря на все слышанное ранее о нем, но вскоре он развеял мои сомнения. Он притянул к себе стул и сел на него наоборот, положив руки на спинку; потом предложил мне сигарету, и закурил свою.

- Конечно, вы в вашем положении считаете, что жизнь офицера очень хороша, и так далее, но вы даже не представляете, как эти сволочи, мои коллеги, вели и ведут себя все это время. Здесь я провел свою жизнь, пытаюсь сделать все, что могу, на этой тяжелой работе, и соблности интересы вас, заключенных, так, как только возможно, а эти сволочи начинают писать доносы о том, что я – сумасшедший. Отсылают меня в Москву! Можете ли вы в это поверить!

- Да, теперь они поняли, что к чему, все в порядке, - продолжил Цукерашвили, - но я могу вам сказать – не у вас одних в жизни есть небольшие неприятности, по меньшей мере, совсем не только у вас одних, дорогой товарищ!

Он выказывал признаки явного раздражения – потирал руки и пыхтел сигаретой, выпуская дым между зубов. Не докурив, он затушил свою сигарету и вышел искать Адарича, чтобы взять у него некоторые медицинские припасы для своего лагеря, как потом оказалось.

Не у вас одних есть небольшие неприятности в жизни!

Что касается Лавренова, то он всегда был довольно сносным, а теперь и подавно. Он по-прежнему много пил, может, теперь даже больше, но теперь он намного больше времени проводил в госпитале, пытаюсь быть полезным, а так как он был хорошо обученным фельдшером и добросовестным человеком, то он и в самом деле был нам полезен.

Через несколько недель он отвел меня в сторонку и объяснил, что я уже превысил срок пребывания на своей должности, предусмотренный для персонала госпиталя, не имеющего медицинского образования. Почти все рабочие задания для «придурков» имели ограничения по времени – кажется, в большинстве случаев это было полгода. Я пробыл в госпитале почти год, и по сравнению с жизнью почти всех, кого я знал, это был «замечательный» год.

- Ты первоклассный фельдшер. Я редко видел кого-то, кто бы так быстро учился, - сказал Лавренов. – Я буду рекомендовать, чтобы тебя перевели как фельдшера. Тебя назначат на тяжелую работу, ты знаешь, может быть, даже пошлют в рудник, но если ты пойдешь как фельдшер, с тобой все будет в порядке.

Мои ягодицы вновь обрели «первую медицинскую категорию». Наши доктора проверяли мое сердце каждый месяц или два, и заключили, к своему изумлению, что изначальное 4,5-сантиметровое расширение самопроизвольно уменьшилось менее чем до 2-х сантиметров. Я снова был здоров.

- Что бы ни случилось, - сказал Лавренов, - если тебя захотят послать в рудник, то это не будет пятьдесят первый. Его закрыли на время. Была ужасная авария, оборвался трос клетки.

Я ответил, что слышал о том, что все боялись поездок в клетях на 51-м руднике, так как они были в аварийном состоянии.

- Этот случай был наихудшим за долгое время, - ответил Лавренов. – Двадцать семь человек там было. Только один выжил, понимаешь. Он держался за прутья крыши. Переломал все кости, но, говорят, что с ним все будет в порядке. Кстати, - с усмешкой продолжил Лавренов, - в той клетке погиб один фельдшер, поэтому будь осторожен, если тебя пошлют туда.

- Буду, - пообещал я.

- Да, - продолжил он, - этот, как его, он был не фельдшером. У них не было фельдшера, и они где-то достали врача. Сейчас вспомню его имя. У него все внутренности были переломаны. Его принесли обратно в его собственный госпиталь, и он упросил своих коллег не оперировать его, представляешь? Он знал, что умрет, и поэтому сказал: «Не надо меня оперировать, ребята, со мной все равно покончено».

Во всей округе был только один госпиталь, о котором я мог подумать. Холодок пробежал по моей спине.

- Попробуйте вспомнить, как его звали, гражданин начальник, - проговорил я.
- Латышский врач.

Я почувствовал себя дурно.

- Ациньш, - произнес я.
- Да, точно, - сказал Лавренов. – Конечно! Я забыл. Ты же обучался у него, так?

В течение нескольких недель два человека, которые стали мне дороги, по особому дорожке, ушли из жизни – Аркадий и Арвид Ациньш. Я словно окаменел изнутри. Чувствовал я ненависть. Лавренов старался вести себя мягко, но он был не способен понять, почему мое лицо вдруг помрачнело.

Потом оно стало еще мрачнее. Через несколько дней меня послали к лагерному нарядчику. Нарядчик – это заключенный, которому доверяется производить распределение рабочих заданий и докладывать куму, начальнику лагеря. Таким образом, он считается стукачом, как бы это ни было на самом деле. Так как это ясно с самого начала, никто ему ничего не рассказывает, а он, таким образом, не рискует жизнью за стукачество.

Этот человек вызвал меня в приемную администрации и вытащил папку с моим «делом».

- Ты уходишь из госпиталя, - сказал он грубо.
- Где я буду работать?
- Пятьдесят первый рудник. Расслабься, братишка, тебе повезло. Ты направлен туда как фельдшер.
- Но послушай! – меня бросило в жар. – Этот рудник должен быть закрыт. Клеть сорвалась. И мой друг погиб в ней!
- Тебе кто-то обещал, что его закроют? – фыркнул он. – В любом случае, подъемник починили. Неделю, по крайней мере, он должен продержаться!

Вот и все.

Пришло лето.

Путь до рудника с моим небольшим медицинским ранцем был самой трудной частью дня, несмотря на то, что рудник располагался поблизости от лагеря, и от лагерных ворот были видны вышки и горы породы. Но в тени нередко было 43 градуса, а тени при этом не было. Жаркое солнце окрасило мое лицо и шею в цвет темной меди за несколько дней, а волосы приобрели цвет выгоревших колосьев пшеницы. При себе я имел все необходимое. В своем мешке я носил шприцы, перевязочные материалы, средства дезинфекции, пару ампул с морфином, некоторые сердечные препараты, такие как дигиталис, нашатырь и много аспирина. А также резиновый жгут. Также у меня с собой был скальпель и материалы для зашивания ран, зажимы – чтобы иметь возможность обрабатывать глубокие порезы прямо на месте. В руднике постоянно происходили несчастные случаи, и уровень смертности был велик. Я ожидал, что работы у меня будет много.

Поначалу спуск в шахту был облегчением, потому что на 240-метровой глубине царила прохлада, и позднее я брал с собой телогрейку, чтобы одевать ее внизу. У меня была небольшая ниша рядом с будкой механика, поблизости от подъемника, и я нарисовал большой красный крест на маленьком столике и скамейке, что мне выдали, и почувствовал себя так, будто открываю свое небольшое дело.

Между сменами в шахту спускались гражданские специалисты-подрывники, закладывая взрывчатку в отверстия, пробуренные предыдущей сменой, и подрывая породу. Потом приходила следующая смена и при помощи шлангов и сжатого воздуха выдувала дым, а следующая бригада подвешивала рабочие лампы. Потом приходили шахтеры, чтобы выбрать медную руду – чтобы потом, позже, в тот же день, снова начали бурить отверстия, чтобы подготовить следующий подрыв. Рудник работал круглые сутки. Снаружи высились гигантские рукотворные горы породы из зеленоватого камня – порода высыпалась из больших ковшей, соединенных звеньями и оборачивающихся вокруг огромного колеса для того, чтобы сбросить свой груз.

До того времени, как я попал на рудник, его бичом был силикоз, или рак легких – по причине пыли, постоянно висевшей в воздухе. Но после смерти Сталина была организована влажная добыча породы. К буровой машине крепился шланг, разбрызгивавший воду при бурении, и пыль осаждалась – в результате количество случаев легочных заболеваний резко пошло на убыль. Ранее породу добывали вручную. Тысячи и тысячи людей умерли от изнеможения. Теперь же работа осуществлялась при помощи больших буровых машин с электрической тягой – это значительно увеличило продуктивность и снизило число смертей.

Полости шахты соединялись туннелями, по которым бегали маленькие электрические поезда с дугой, питающей их от провода, протянутого под потолком. Они перевозили руду из полостей, где осуществлялась добыча – иногда за два километра от подъемника.

Любимой забавой шахтеров было подвешивать тонкую проволоку к проводу на потолке, чтобы дать почувствовать новичку хороший удар током. Со мной тоже это проделали. Я почувствовал себя так, будто меня сбили с ног ударом кувалды. Некоторый привилегированный статус, который сопровождал меня в госпитале, где все звали меня «доктор» и смотрели на меня снизу вверх, здесь на меня более не распространялся. Я был просто еще одним новичком, над которым подшучивали и к которому относились так же, как ко всем остальным.

Чаще всего мне приходилось иметь дело с разбитыми пальцами. У нас дома, в Америке, вас бы госпитализировали, если бы вы сломали себе палец. Но все, что я мог сделать здесь – это наложить повязку на искалеченный палец и дать бедняге-рабу горсть аспирина. Ему нужно было возвращаться к работе. В случае если была разбита целая рука или нога человека освобождали от работы, но если только я не кричал о том, что он умирает от потери крови, его оставляли в шахте до окончания смены, а затем ему нужно было идти в зону вместе со всеми остальными.

Почти каждый вечер я играл на гитаре вместе с Зюзиным, и мои музыкальные навыки улучшались день ото дня. Духом я был бодр. От тяжелой физической работы я был избавлен, и к тому же продолжал изучать медицину. Мне удалось взять на время несколько книжек по медицине у Адарица, и я изучал фармацевтику, физиотерапию и даже акушерство и гинекологию. Атмосфера в лагере становилась все более вольготной день ото дня. Никаких внезапных и больших изменений не происходило – просто понемногу отношение к заключенным улучшалось. Рацион по-прежнему был ужасен. Менее обученные искусству выживания по-прежнему умирали быстро, но умерших становилось все меньше, так как выживание требовало все меньше сноровки.

Частью «оттепели» стало сокращение часов работы с двенадцати до десяти – и так как у людей появилось больше времени для отдыха, их бедный рацион стал более адекватным. И по вечерам у нас стало больше времени для восстановления сил и развлечений. Туфта в

шахте широко практиковалась, включая систему, по которой трое заключенных вписывали произведенный ими объем руды в квоту одного вольнонаемного рабочего, которых там было довольно много – их привлекали на работы в шахтах обещаниями высокой зарплаты. При помощи трех заключенных свободный рабочий мог перевыполнять стахановскую норму по добыче руды ежедневно, получая значительную зарплату. Заключенным доставались крохи, но и это было для них хорошо, так как их вольный друг покупал им хорошей еды на воле и питались они лучше многих из «придурков».

Лето, проведенное мной в шахте, не было отмечено необычными событиями или памятными встречами. Эдик Л. в то время работал на той же шахте, но я редко с ним виделся. Хотя я и получал некоторое удовлетворение от своей постоянной работы, заключающейся в исцелении других и в препирательствах с сотрудниками МВД от лица пациентов, которым требовалась первая помощь, в целом эта работа была довольно скучной, и каждый день я с нетерпением ждал наступления вечера, наполненного занятием музыкой и разговорами в бараке.

Когда пришла осень и резко похолодало, находиться в шахте стало очень неудобно. В конце октября или ноября 1953 года несколько раз отключалось электричество в то время, когда мы находились под землей. Подъемник работал от электричества. Это означало необходимость спуска и подъема по лестнице – 240 метров вниз утром и 240 метров вверх вечером, при отсутствии освещения – лишь с тусклой карбидной лампой на каске. На ступени лестницы капала вода со стенок шахты, и там, где внутрь ее засасывался холодный воздух снаружи, она быстро замерзала. Таким образом, подъем был ужасающим и утомительным кошмаром, в процессе которого вы могли потерять хватку, или ваша нога могла поскользнуться на обледенелой лестнице в любой момент – а дно шахты находилось в трехстах метрах от поверхности. Было несколько случаев падения, с пронзительными криками, вниз, и даже охранники пребывали ото всего этого на нервах. Где-то в ноябре меня вновь оповестили, что нарядчик хочет меня видеть. Ходили слухи, что в соседнем лагере у него есть друг, тоже фельдшер, который присматривался к моему месту в течение некоторого времени. Поэтому когда я шел к нему, то ожидал худшего. Так оно и произошло.

- Ты переводишься в Желдор-поселок, - сообщил он мне безразличным тоном, как будто не был к этому причастен совершенно. – Твоим бригадиром будет Иванов. Ты будешь на строительстве. Тяжелые работы. Особо тяжелые работы, точнее.

Желдор-поселок был огромной стройкой на железнодорожной ветке, печально известный тем, что там постоянно гибли люди. Казалось, что, произнося свой приговор, нарядчик получает от этого удовольствие. Теперь я был уверен, что он выполнял указания администрации.

- Буду ждать встречи с тобой на воле однажды, - ответил я.

Он просто холодно смотрел на меня.

- Никогда не слышал о бригадире по фамилии Иванов. Ты уверен, что есть такой? – продолжил я.

- Я тебе разве не сказал: «особо тяжелые работы»? Это для тебя что-то означает? Иди, собирай вещи - через полчаса ты отправляешься с конвоем. Тебя переводят в КТР!

«Особо тяжелые работы» - это фраза, предназначавшаяся для тех, кто находился в лагере под номером один, или КТР. Я почувствовал холод. Смертность от изнеможения в этом

лагере была высочайшая. Неудивительно, что я никогда не слышал об Иванове. Я почти никого не знал из КТР.

Покидать свой родной барак также было для меня ударом.

Больше никаких музыкальных вечеров с Зюзиным. Никаких бесед с Адаричем.

Незнакомые лица и неизвестные правила, которым следовало обучаться. Ну что ж, подумал я, - бывало и хуже.

Я свернул свое одеяло, вытряхнул опилки из своей подушки и матраца. Все равно они уже нуждались в новой набивке. Я попрощался с инвалидом-стариком, присматривавшим за баракком в течение дня, и пошел в кладовку, чтобы забрать свои личные вещи, из которых оставалась только моя флотская рубашка да штаны. Все остальное к этому времени ушло – к Валентину и к Лавренову. Эти вещи – единственное, что напоминало теперь о моей Америке, и, несмотря на то, что они были заляпаны и порваны, я поклялся никогда с ними не расставаться. Перекинув вещмешок через плечо и взяв свою гитару, я в последний раз оглянулся и зашагал к воротам, чтобы встретить конвой.

В начале второй половины дня я прибыл в КТР, примыкавший к моему старому лагерю. Я бросил свои узлы на пол и стал дожидаться возвращения бригад из Желдор-поселка, чтобы потом найти Иванова и чтобы он указал мне мои нары. Когда конвой вернулся, меня поразило выражение лиц большинства людей – на них отпечаталась невероятная усталость. Они просто быстро вошли и упали на свои нары. Разговоров было немного, кроме как в небольших группах то здесь, то там – среди тех, кто, судя по всему, находил возможность производить большое количество «туфты», получать достаточно еды и не так много работать.

Иванов оказался неприветливым угрюмым мужчиной с темными волосами сорока с небольшим лет. Когда я представился, он лишь нахмурился и сказал, что подыщет для меня нары позже, когда будет готов. Я сел за стол и стал ждать. Внезапно я услышал громкий знакомый мне голос: «О, смотрите-ка! Не это ли его превосходительство доктор!» Я обернулся и увидел вздернутый нос и два смеющихся глаза – передо мной было лицо клоуна и фигура клоуна. Марусич! Мы бросились друг другу в объятия.

- Мой дорогой доктор! – восклицал он, - что за счастье свело нас опять вместе?

- Не уверен, что это счастье, Марусич, - произнес я, помрачнев. – Я потерял свой медицинский статус. И меня по какой-то причине послали сюда, на особо тяжелые работы. Приписали к Желдор-поселку.

- И у меня также! И я тоже! Вот радость! Мы, старые друзья, знаем, как управляться с такими делами, правда ведь? – Он подмигнул мне, растянул рот в улыбке и ободряюще хлопнул по руке.

- Пойдем, пойдем! – продолжил Марусич. – Ты будешь моим соседом по нарам. Я сейчас попрошу кого-нибудь передвинуться пониже.

Это было неслыханно. Только бригадир назначал места на нарах, а Марусич даже не был в той же бригаде, что я. Всего в бараке было пять бригад и пять бригадиров. Но человек, с которым поговорил Марусич, немедленно согласился и выказал к нему значительное почтение – тут я подумал, что, возможно, все будет не так уж и плохо на самом деле.

Потом я узнал, что Марусич имел назначение в качестве дневного повара, а это означало, что в его распоряжении находились мешки с зернами грубого помола, из которых варили кашу, и он мог распределять еду среди своих друзей и подкупать бригадиров. «Просто приходи в полдень в мою бригаду, - сказал он мне. – Я позабочусь, чтобы у тебя было все, что нужно, из еды. Какая радость видеть тебя здесь, дорогой доктор! Какое счастье!»

Марусич любил петь, и у него был прекрасный голос. По вечерам я доставал гитару и подыгрывал ему, и на лицах его товарищей появлялись слезы, когда в его исполнении

звучали задушевные украинские песни. Но, как оказалось, мне не пришлось проводить вместе с Марусичем столько времени, сколько нам бы обоим этого хотелось. Он был постоянно кому-нибудь нужен. Барак был переполнен украинцами с западной Украины, и Марусич был кем-то вроде распорядителя – он улаживал разногласия, а также руководил действиями в том, что касалось заговоров, направленных против русских или против действий администрации. Постоянно вокруг него что-то происходило. Я не так хорошо знал украинский, хотя и понимал очень многое по причине наличия значительного количества украинцев в нашем лагере. Многие из тех разговоров, что велись шепотом у нар моего покровителя, от меня ускользало, но было очевидно, что Марусич пользовался авторитетом как в бригаде, так и в бараке.

В тот первый вечер я больше так и не видел Иванова.

Утром, когда мы прибыли на стройку, Иванов начал раздавать задания. По бокам от него стояли два прожженных бандита, его помощники. Я просто ушел и подыскал себе место, где мог скрываться какое-то время, в сарае с инструментами. В полдень я вышел и отыскал небольшую полевую кухню Марусича, и получил две миски густой, питательной каши, а потом вернулся обратно в свое потайное место, чтобы вздремнуть. Когда я подошел к двери сарая, один из подручных Иванова уже ждал меня там – жилистый и заносчивый малый небольшого роста.

- Вот и все! – закричал он. – Ты идешь работать!

- Иди к черту, - произнес я спокойно.

Он подхватил короткую палку и пошел на меня, держа ее, как битую. На земле валялась полуметровая металлическая арматура в виде стержня, которым укрепляют бетон, и я ее схватил.

- Отлично, если хочешь, подходи и получи! – я танцевал вокруг него, приподнявшись на ступнях, словно боксер. Я был в хорошей форме – только что из госпиталя, быстр, подтянут, подвижен и постоянно на чеку. Он взглянул на меня немного испуганно, и попятился назад. Остаток дня я провел, бродя по стройке, наблюдая за тем, как кладут кирпичи, мешают цемент и носят бревна. Я делал вид, что иду по своим делам с одной площадки на другую, а также следил, чтобы не попасться на глаза Иванову и его головорезам.

Иванова я больше не видел, пока не вернулся в КТР. Когда я вышел из туалета, он и двое его подручных поджидали меня там. Мое положение выглядело не очень хорошо.

- Ты собираешься на работу? – сказал Иванов.

- Когда захочу. Не раньше. Может, я вообще не захочу.

Эти слова его ошаршили. Все трое начали двигаться в мою сторону. Я просто улыбался.

- Прежде чем что-то делать, - сказал я, - думаю, тебе стоит меня послушать. Хочу кое-что тебе сказать, одному. Отзови своих шестерок и подойди сюда.

Я был очень тверд и спокоен. Было видно, что это на них подействовало. Иванов махнул двум своим отойти назад и подошел ко мне.

- Если хочешь меня чем-то купить, то это должно быть что-то очень дорогое, - процедил он сквозь зубы, глядя на меня очень злобно.

Я ему улыбнулся. Меня весь этот спектакль очень забавлял, и он шел по моему сценарию.

- Послушай, ты попал, разве ты этого не понял? – сказал я. – Если что-то со мной случится, хоть что-то, если эти твои шавки меня избьют, или если ты настучишь на меня куму, или еще что, ты думаешь, что твоя голова долго останется у тебя на плечах? У меня очень влиятельные друзья, ты это знаешь!

Он подался назад. Даже если бы это было блефом, это могло бы сработать – настолько убедительно я выглядел. Но блефом это не было. Я добавил:

- Думаю, тебе стоит переговорить об этом с Марусичем. Бывай, Иванов.

Я просто сунул руки в карманы и ушел прочь.

Иванов и не попытался последовать за мной.

Марусичу я рассказал об этом в бараке. Он рассмеялся и хлопнул меня по спине.

- Отличная работа, мой дорогой доктор, отличная работа! Твои целительные способности просто восхитительны. Ты можешь залечить рану перед тем, как она появилась. Я впечатлен. Ну, а остальное предоставь мне, мой дорогой друг, я об этом позабочусь.

- Как? - спросил я.

Марусич снова весело рассмеялся.

- Это не твое дело, не твое дело. Предоставь это мне, предоставь это мне! - он удалился, громко распевая по-украински о любви, розах и разбитых сердцах.

На этом все и закончилось. Иванов был русским. Русских в нашем бараке было вдесятеро меньше, чем украинцев под предводительством Марусича. Я чувствовал, что в течение какого-то времени, по крайней мере, могу делать все, что захочу. «Если кум поймает тебя, дорогой доктор, - сказал мне Марусич, - ты сам по себе. Все остальное время, пожалуйста, ни о чем не беспокойся!»

На второй день, блуждая по обширной территории поселка, я остановился, чтобы помочь нескольким ребятам, пытающимся поднять здоровенную балку. Когда мы погрузили ее в вагон, они поблагодарили меня, предложили сигарету, мы сели под вагоном, потому что шел снег, и закурили. Эти ребята были из Москвы. Когда я поведал им, что работал раньше в американском посольстве, один из них сказал: «Значит, у тебя тут есть друг, брат. Его зовут Аксенов, и он тоже раньше работал в посольстве. Я скажу ему, как тебя найти».

Я не мог в это поверить. Я смутно помнил Аксенова, как одного из молодых советских сотрудников. Также я вспомнил, что он родился в Лондоне и говорил на отличном английском, но я не мог вспомнить, в чем заключалась его работа в посольстве. Переводчик, скорее всего. Но в этом имени для меня было что-то нехорошее, и вскоре я вспомнил, что именно. Один из протоколов, который показал мне Сидоров в конце моего первого допроса, был подписан Артуром Аксеновым. Очень скверный протокол. В нем утверждалось, что мы были с ним близко знакомы и проводили много времени в разговорах о политике, в которых я высказывался крайне враждебно о Советском Союзе. Я вспомнил, что, прочитав тот лживый протокол, мне захотелось убить того, кто написал все это. Теперь, подумал я, это того не стоит. Я просто избью его, получив в этом некоторое удовлетворение. Я не стал ждать, когда тот москвич подойдет ко мне Аксенова – я сам пошел на его поиски. Оказалось, что он лежит в маленьком госпитале в КТР – у него была цинга в серьезной степени. Я пришел в клинику под вечер и сказал фельдшеру, что мне нужно увидеть этого Артура Аксенова по некому формальному поводу, при этом я сделал несколько профессиональных замечаний, относящихся к медицине; фельдшера

устроило мое объяснение, и он пошел внутрь, а через пару минут ко мне вышел Аксенов в своем больничном белье. Он узнал меня сразу, поздоровался, но выглядел немного виноватым.

- Ну, и что ты хочешь мне сказать? – произнес я.

Воцарилась долгая пауза.

- Простите, - сказал он приглушенно. На меня он не мог поднять глаз. – Я был в Лефортово. Они меня почти убили. Мне нужно было подписать это. Я не мог выдержать избиений. Простите, мистер Долган. Мне, действительно, очень жаль.

Прошло много времени с тех пор, как я слышал, чтобы ко мне обращались по-английски и с почтением. Мой гнев куда-то ушел, в значительной степени. Я подумал – да, маленький бедный ублюдок, я могу поверить, что ты подписал это под давлением. Я тоже это сделал, но я не подписал ничего, что могло бы кому-то навредить.

Я ударил его дважды.

Он не реагировал, просто стоял, уткнувшись взглядом в пол. Я ушел, не обернувшись. Позже мы стали друзьями, но не близкими друзьями. Я знал, что мне никогда не понять его до конца, и как ни соблазнительно было поговорить по-английски, несмотря на его желание дружить, я никогда не проводил с ним долгого времени. Он был маленьким несчастным человеком. Он почти на коленях добивался моего внимания, и это отталкивало меня. Я преодолел свою ненависть к нему за то, что он мне сделал, но мне было неинтересно узнавать его ближе.

Я становился все более жесточенным к жизни, более циничным. Потеря Ациньша, даже пусть я мог и никогда более не увидеться с ним в любом случае, омрачила мой взгляд на вещи. Я все еще был оптимистичен относительно своего выживания и освобождения, в конце концов, но в моей душе копилась неприязнь к этому миру. Смерть Аркадия произвела похожий эффект. Я поклялся себе теперь, что сделаю все, что смогу, буду использовать все возможности, которые смогу найти – такие, например, как дружба с Марусичем – ради того, чтобы не отдавать свой труд этой бесчеловечной, сатанинской системе, отнявшей у меня жизни моих друзей.

На четвертый день в Желдор-поселке я обнаружил недостроенную бойлерную в подвале одного из зданий на стройке. По тому, как валялись кругом стройматериалы, покрытые пылью, я заключил, что работы здесь были приостановлены, и никто сюда не заходит. Неплохое местечко для того, чтобы проводить здесь день, подумал я. Там стояла бочка с тряпками для мытья полов, все еще чистых, из которых можно было соорудить лежанку, а также достаточно досок и кирпичей, из которых можно было сделать что-то вроде стенки – так, чтобы любой вошедший в подвал меня бы не увидел. Я взялся за обустройство этого места под свои нужды, и к концу дня оно стало достаточно удобным. Теперь все, что мне требовалось – это найти себе компанию. Я пошел бродить и нашел тех москвичей, поболтал с ними, и решил, что одному из них может быть интересно мое предложение. Я отвел его в сторонку и спросил, не хочет ли он проводить дневное время, отлынивая от работы. Он категорически отказался – у него не было никого, вроде Марусича, кто бы защитил его от бригадира. Мне понадобилось долгое время, чтобы найти кого-то, кто мог бы исчезнуть, как я, но, наконец, нашел парочку ребят, которые помогли мне довести наше место до ума – так, что оно стало практически незаметным. На протяжении нескольких дней мы спали, курили, болтали, и все это нам порядком надоело. В полдень я приходил к полевой кухне Марусича. Еще издали, на подходе, можно было услышать его громкое пение. «Опять соловушка распелся», - говорили о нем. Я съедал

свою кашу, болтал с Марусичем некоторое время, а потом удалялся к своим компаньонам в бойлерную.

В один из дней мы слышали шаги наверху, этажом выше, затем голоса и звуки спускающихся по лестнице людей. Не успели мы затушить свои сигареты, как ширма из досок перед нашим тайным местом разлетелась в стороны, и два полковника – один из МВД, второй – МГБ, ворвались внутрь. Тот, что из МГБ, оказался самим Волошиным – лагерным кумом. Он был в холодном бешенстве: «Заключенные, что вы делаете здесь!» Но еще в тот момент, когда разлетались доски от нашей ширмы, меня посетило чудесное вдохновение. Вместо того чтобы прятаться и выглядеть виноватым, я вскочил на ноги со своей сигаретой, держа ее повыше, как если бы пытался проследить, куда идет сигаретный дым, уносимый сквозняком в помещении.

Я произнес: «Товарищ полковник, боюсь, что из-за вас я потерял нить своих инженерных вычислений. Видите ли, мы занимаемся оценкой корректности расположения несущих воздухопроводов для того, чтобы уравновесить оксиметрический статус, и эти вычисления достаточно сложны. Если вас не затруднит подождать одну минутку, пока я не завершил с этой частью, я с удовольствием обговорю наши инженерные расчеты с вами».

Конечно, все это было откровенной чепухой. Мое здоровье и мой дух находились в то время на таком подъеме, что я был способен вытворять нечто подобное с настоящим размахом – также как в случае с Ивановым, когда я отказался от работы. Я знал, что сотрудников МГБ и армейских чинов очень впечатляют научнообразные формулировки, и вся эта псевдо-научная ахинея может сработать. Мой расчет заключался в том, что они не рискнут своей репутацией, пытаясь разоблачить меня и признав, что не понимают, о чем я говорю. Это сработало. Волошин уважительно произнес: «Нет, нет, мы не будем мешать. Пожалуйста, продолжайте выполнять свою важную работу. Мы просто проводим общую инспекцию».

Они ушли. Я отметил с облегчением, что никто не записал наши номера. Было понятно, что полковник позже задаст некоторые вопросы, как бы походя, и в результате обнаружит, что на самом деле никаких инженеров, работающих в том подвале бойлерной, не было. Наше укромное местечко потеряло свое предназначение, но побыть там было хорошо, пока оно у нас было. Теперь мне предстояло найти, чем бы еще заняться или где еще можно было скрываться, и я снова пошел бродить вдоль и поперек поселка, чтобы что-нибудь подыскать.

В конце стройки, с одной из ее сторон, находилось несколько двух- и трехэтажных строящихся многоквартирных домов. Вокруг были разбросаны строительные сараи и бытовки. Я бродил между ними, смотрел в окна, входил и выходил из домов. Особой цели у меня не было – просто разведать. Внезапно я, свернув за угол дома, столкнулся с высоким человеком, который шагал очень быстро. От удара я чуть не полетел на землю. Я собирался было заорать: «Смотри, куда идешь!», как тут осознал, кто это был: Виктор С.! Друг моих первых шести месяцев пребывания в Джебказгане. Мы просто стояли какое-то время, смотря друг на друга, а затем закричали одновременно: «Что ты тут делаешь! Вот здорово!». И так далее.

Виктор поведал мне свою историю. После того, как я оставил его в том первом лагере, когда меня отправили на допрос в Москву к Рюмину, Виктор устроился на работу «придурка» в конторе администрации. Но по окончании шестимесячного пребывания там, когда он проведал, что его снова направят на особо тяжелые работы, он прослышал об одной гениальной форме мастырки и решил ее попробовать, чтобы избежать тяжелой работы. Это была малоизвестная техника симулирования рака легких.

В кладовке среди личных вещей в своем мешке у него находилось небольшое серебряное колечко. Следуя услышанным инструкциям, и не представляя, приведет ли это к серьезному заболеванию или нет, он собрал небольшое количество серебряного порошка от кольца и смешал порошок с табаком, начинив этой смесью большое количество сигарет. Потом он курил эти сигареты, стараясь как можно глубже набрать дыму в легкие.

Теория гласила, что тончайший слой серебряной пыли осядет в легких – таким образом, чтобы сформировать сильную тень при рентгеновском обследовании, при этом не причинив легким серьезного вреда. Виктор продолжал курить сигареты, размышляя о том, не занимается ли он самоубийством, но ощутимого влияния на свое здоровье он в результате не почувствовал. Потом он отправился в госпиталь, кашляя так, как кашляли больные силикозом, которых он встречал, и потребовал сделать ему рентген. Снимок легких показал ужасающую тень, и его освободили от тяжелых работ. Потом его направили в Спасск – лагерь для неизлечимых: вот настолько серьезно выглядел его «силикоз» на снимке. А затем, незадолго до того, как мы с ним налетели друг на друга, в результате после-сталинской «оттепели», правительство объявило амнистию для всех неизлечимых заключенных, и Виктора освободили. Так как предполагалось, что все эти инвалиды, вычеркнутые из списка политзаключенных и освобожденные, скоро все равно умрут, им не дали прав на проезд по стране, и поэтому все они остались в Джезказгане, и Виктор записался на вакансию инженера в Желдор-поселке. Его взяли в отдел проектировщиков. Это была довольно легкая работа с небольшой, но подходящей оплатой. Виктор был уверен, что он сможет привлечь меня к ней. У него было много друзей среди инженеров, сказал он мне, а инженеры работали в тесном контакте с лагерной администрацией в том, что касалось рабочих заданий, поэтому устроить меня на другое задание было не так уж сложно.

Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой, но Виктор сдержал свое слово, и через несколько дней меня перевели. Мне выдали ведро краски, горсть кисточек и объявили, что отныне я – художник, ответственный за пропаганду и безопасность на стройке. Я возражал, говоря, что не способен нарисовать даже дом с двумя окнами, дверью и дымом, идущим из трубы. Мне ответили, что это не имеет значения: мне предстояло просто писать большими буквами транспаранты и плакаты, вроде «ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД ЛЕЖИТ ПУТЬ К ОСВОБОЖДЕНИЮ».

Или:

«ОДЕВАЙ КАСКУ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ».

Получалось у меня из рук вон плохо. Я начинал с букв высотой восемь сантиметров и очень тонких – так, чтобы лозунг не выбежал за пределы холста. Виктор был моим начальником, и ему это было безразлично. Инженеров это тоже не интересовало. Охранники по большей части были безграмотны, и все, что им требовалось делать – это наблюдать, чтобы заключенные, по крайней мере, делали вид, что работают. Таким образом, мои дни проходили в расслабленной обстановке, и компания у меня была подходящая. У нас с Виктором было достаточно времени на разговоры о политике, спорте, а также о возможном будущем вместе. После нескольких недель моих безнадежных усилий по рисованию плакатов кто-то из администрации кума пожаловался на дрянные плакаты, и Виктору пришлось переместить меня к нему в контору в качестве чертежника-проектировщика. Эта работа была чистой туфтой и не требовала от меня вообще ничего, помимо того, что теперь большую часть дня мы проводили вместе, и я был официально обозначен как инженер.

Любопытно, что вместе со всеми этими послаблениями режима, уменьшением часов работы и смягчением отношения охранников к заключенным я становился все менее дисциплинированным в том, что касалось отслеживания времени и поддержания некоторого распорядка в своей жизни. Это было странное время, в любом случае. Было объявлено несколько амнистий. Первой, кажется, была амнистия для детей возрастом меньше четырнадцати лет. Во всем лагере таких было только шестеро. И, хотя даже само присутствие шести подростков в таком ужасном месте является чудовищным обвинительным приговором всей системе, их освобождение ничего не поменяло для нас, всех остальных, но воодушевило немного, потому что это был знак перемен. Точно также были освобождены и реабилитированы все заключенные, приговоренные к пятилетним

срокам. Эта амнистия затронула, может быть, троих из трех тысяч, но она стала еще одним знаком.

В лагере, в КТР, находились в то время два армейских генерала, бывшие члены генерального штаба Жукова. Когда они шагали в конвое по пути в Желдор-поселок, охранники использовали любую возможность, чтобы принизить их и показать свою власть над этими двумя пожилыми мужчинами. Они вызывали их выйти из строя за выдуманные нарушения, материли их и плевали на них, обращаясь к ним «генерал» с издевательской интонацией все это время. Один из охранников, ответственный за конвой, любил назначать одного из генералов ведущим конвоя с целью изоциренного издеательства. Он говорил: «Мой сержант поведет генерала, а генерал поведет весь конвой!»

В один из дней генералов освободили от работ, и по лагерю распространилась молва, что приехал портной, чтобы снять с них мерки. Прошло немного времени, и им выдали новую униформу с полностью возвращенными регалиями, объявили амнистию и полную реабилитацию, а также посадили на поезд до Москвы. Согласно тюремному телеграфу, Беляков, комендант лагеря, проследовал с ними на станцию и предложил им рукопожатие перед тем, как они сели в поезд. Они оба плюнули ему в лицо.

Баракы в КТР в начале, когда меня туда перевели, имели тюремный статус и запирались после раздачи вечерней еды. Теперь тюремный статус был снят, и замки с дверей убрали. По этому случаю у нас случился праздник, и со всех окон были содраны решетки и сброшены на землю.

Ворота между КТР и прилегающим лагерем теперь были открыты, и, хотя стены периметра по-прежнему охранялись пулеметами и ворота лагеря запирались на ночь, заключенные могли свободно перемещаться между двумя лагерями и ходить в гости друг другу до того времени, как выключали свет. Ходили слухи, что заключенным из числа благонадежных выдают пропуски, чтобы перемещаться между лагерем и рабочей площадкой без необходимости марша в конвое: больше никаких лающих собак и ругающихся охранников для них. Все мечтали о том, чтобы получить такой пропуск. Вскоре на доске объявлений появился список номеров тех заключенных, которые могут обращаться за пропуском, и каждый день мы наблюдали все новые улыбающиеся лица счастливых, которым выпал этот волнующий шанс испытать имитацию свободы.

В конце концов, отменили и номера. Однажды утром я вошел в зону и обнаружил, что сотни заключенных кричат, смеются и сдирают льняные нашивки у себя с рукавов, со спины и с груди, а также с шапок и штанов. В воздухе носилась метель из оторванных бироков. Официального распоряжения еще не было, но тюремный телеграф принес новости о том, что это вот-вот случится, и мы просто приступили к выполнению без всяких распоряжений, и Беляков, комендант, позволил этому случиться – без всяких репрессий или даже угроз репрессий. Официальное распоряжение пришло на следующий день. Это событие может быть воспринято как нечто несущественное, но для всех заключенных Джекказгана номер являлся первым символом нашего рабства, сведения нашего положения человека до положения предмета. Исчезновение номера было словно началом нового прекрасного дня.

Ходили слухи о волнениях в трудовых лагерях Сибири, и охранники, администрация и даже кум становились заметно более дружелюбными, до тошнотворности, день ото дня. Была сформирована «культурная бригада», чтобы давать в лагере представления. Я записался в нее в качестве музыканта. Я нашел своего старого соседа по нарам, Володю Степанова, гитариста, и отрепетировал с ним несколько дуэтов под его руководством. Также я практиковал вновь и вновь отрывки из Рахманинова и Шопена, для сольного выступления. Бригаде позволяли собираться в общем зале по вечерам для репетиций. Мы завешивали одеялами окна, чтобы другие заключенные не могли нас увидеть до вечера представления, и усиленно готовились в течение того времени, пока не выключали свет.

По воскресеньям, ставшим теперь полностью выходными днями, наша «культурная бригада» практиковались целый день.

Одним из номеров было выступление акробата по имени Григорий Левко. Однажды вечером я покрасовался перед ним, пройдя на руках туда и обратно по всей длине зала. Он предложил мне поучаствовать в номере вместе с ним, и начал обучать меня удерживать его на своих руках в то время, как он вставал на свои руки, а также другим трюкам. Еще у нас в бригаде был замечательный баритон, украинец, а также имелись аккордеон и мандолина, и мы вместе репетировали оркестровые номера. Был даже конференсье и комик в одном лице, выполнявший роль ведущего вечера.

После нескольких недель репетиций мы провели наш первый концерт во второй половине дня в воскресенье. Помещение было набито битком. Мест в нем было примерно на пятьсот человек, а все население лагеря, включая два прилегающих, составляло более четырех тысяч: таким образом, мы давали одно и то же представление каждую неделю на протяжении нескольких недель. Вероятно, все наше выступление было сложно назвать профессиональным, но мы считали, что выступали отлично, и такого же мнения придерживалась и наша изголодавшаяся аудитория. Аплодисменты были оглушительными, а вызовы на бис столь настойчивыми, что, в результате, мы играли весь свой концерт заново с самого начала.

А потом случилось невероятное: нам привезли кинопроектор. И теперь по воскресеньям, вечером, раз в месяц, нам показывали кино. Все это были ужасные пропагандистские фильмы о героях-трактористах, но мы их обожали. Двух братьев по фамилии Бойко, бывших профессиональными электриками, сделали ответственными за работу киноаппаратуры – проектора и звуковой системы. Используя снятые с них доступные детали, они занялись сборкой радио. Об этом прослышал кум, но вместо наказания он принес свое собственное радио на починку. Вскоре им принесли еще радиоаппараты на починку, и братья Бойко получили возможность раздобыть дополнительные запчасти и дублировать электропроводку. Они сделали отличные радиоприемники и подсоединили их к громкоговорителю в каждом бараке – и отныне по всему лагерю у нас появилась музыка. По вечерам теперь нередко вспыхивали ссоры: «Выключи эту чертову штуку! – Нет, черт побери, оставь: это моя любимая симфония».

Шла ранняя весна 1954 года. Начало немного теплеть, но земля все еще была покрыта глубоким снегом. Боль в челюсти – в том месте, где меня когда-то пнул Рюмин, выбив зубы – стала с тех пор для меня небольшой хронической занозой, которой обычно можно было пренебрегать, но иногда она разыгрывалась не на шутку. В конце концов, я решил, что пришло время что-то с этим поделать, и уговорил дантиста из госпиталя в КТР осмотреть меня. Он обнаружил фрагменты корней зубов, и тут же их удалил, при помощи местной анестезии. В процессе он задел кровеносный сосуд, и кровь было невозможно остановить. В результате он засунул вату в дыру в десне и указал мне посильнее ее прикусить, и держать так долго, как только смогу. Я пошел обратно в барак, накачанный анестетиками, и решил, что буду прижимать этот кляп всю ночь, если придется. Но, конечно, все эти болеутоляющие, что дал мне дантист, вскоре свалили меня в сон, и я проспал всю ночь, вероятно, с открытым ртом. Когда я проснулся, то обнаружил рядом с собой на нарах целую лужу: судя по всему, кровь шла всю ночь. Чувствовал я себя ужасно. Кровотечение закончилось, но я потерял, по меньшей мере, литр крови. Меня шатало, и я ощущал озноб. Добравшись до госпиталя через снежные заносы, я получил разрешение оставаться в лагере в течение дня, вернулся обратно в барак и проспал несколько часов. Когда я проснулся, то чувствовал себя лучше, но все еще ощущал небольшое головокружение. Я поел немного хлеба из своих запасов под подушкой, и затем пошел на медленную прогулку по территории лагеря. На стене здания администрации висела доска с распоряжениями. Я редко их читал, потому что почти все, что там вывешивалось, распространялось по тюремному телеграфу намного раньше. Но

так как день выдался ленивым, я, как и всякий, кто не знает, чем себя занять, слонялся по округе и обращал внимание на вещи, на которые бы никогда не обратил внимания раньше. Поэтому я остановился почитать все известные мне новости на этой доске. В том состоянии, в котором я пребывал тогда, я мог бы читать написанное на задней стороне пачки с овсяной крупой.

Наш взгляд может пробежать по большому количеству слов, даже не видя их на самом деле, но то слово, что имеет для вас сильное психологическое значение, выпрыгнет из текста. Самое сильное из них – это ваше имя. Внезапно я наткнулся на свое имя – где-то в середине длинного списка, смысл которого я даже не уловил вначале. Я взглянул в его начало. «Заключенные, допущенные к выдаче пропусков: обращаться в администрацию». Я мигом позабыл о боли в челюсти, температуре и слабости. Я бросился бегом в комнату администрации, уверенный в том, что мне скажут, что это была ошибка. Но это не было ошибкой. Ожидалось, что мне понадобится покинуть лагерь вместе с культбригадой, чтобы выступать в других лагерях, и поэтому для меня был выпущен пропуск, позволяющий мне перемещаться вне сопровождения конвоя. Конечно, это могло бы показаться приглашением к побегу, но шанса пересечь пустыню и не быть замеченным с аэроплана, либо не умереть от жажды, не было. Таким образом, выпуск таких пропусков привел к очень малому количеству попыток побега. Охрана на железнодорожной станции и на дорогах сохранялась, и даже, возможно, была усилена.

Пропуск выписывался в будке охраны, рядом с лагерными воротами. Дежурный охранник вытащил папку с моим делом, сверил фотографию, выслушал «молитву» и выписал пропуск. Для меня этот процесс показался целой вечностью, хотя на самом деле прошло не больше минуты. Я ожидал, что в любой момент дверь распахнется, из нее выйдет кум и крикнет: «Отменить пропуск! Это опасный заключенный!». Но ничего не произошло. Охранник отворил дверь, ведущую на улицу с другой стороны лагерных ворот, и вот я уже был там – первый раз за пять с половиной лет, я стоял на открытом пространстве, а вокруг меня не было ни стен, ни охранников, ни лающих собак! Меня накрыла эйфория. Мне хотелось бегать и кататься по снеговым заносам, смеяться и плакать, петь и кричать. Я знал, что мне нужно было быть обратно в лагере к восьми часам вечера, но в тот момент это ничего не значило. В тот момент я был свободен, как настоящий свободный человек, и я не позволял ни малейшему чувству настоящей реальности помешать этому обретенному драгоценному ощущению.

Я мог бы забраться на дерево, если бы там было дерево, или нырнуть в реку, если бы там была река.

Но вместо этого я направился в Желдор-поселок повидать Виктора. Он тепло поздравил меня с выдачей мне пропуска. Я спросил, не может ли он оставить на время свою работу, чтобы пойти прогуляться, но он был занят чем-то серьезным и не мог этого бросить.

Тогда я решил пойти и осмотреть городок Желдор самостоятельно. Этот городок почти примыкал к Желдор-поселку, находясь от него на расстоянии пешей прогулки.

Туристической достопримечательностью назвать его было сложно – просто несколько однообразных домов для гражданских рабочих, парочка таких же серых магазинчиков, кусок небольшого рынка. Но сама идея того, чтобы пройти по улице, где я мог войти в магазин, в любой магазин, каким бы паршивым он не был, и купить пачку фабричных сигарет, или даже просто посмотреть на них, не покупая – все это было настолько сильным соблазном, что я не мог ему сопротивляться.

Едва войдя в этот небольшой городок, я тут же встретил одного своего бывшего пациента – молодого парня, которого лечил когда-то от гепатита. Он отсидел свои десять лет и теперь отбывал свой пятилетний срок ссылки в качестве вольнонаемного рабочего. Он радостно окликнул меня, предполагая, что меня тоже освободили. Когда я объяснил ему, что мне просто выдали пропуск, он сказал, что это также неплохо, ведь и он тоже не может выехать из этого места до окончания пятилетнего периода, и что в любом случае это следует отметить, не так ли? Я был не в том настроении, чтобы отказаться. Мы пошли

к нему домой, в квартиру. Там с ним проживало еще несколько человек, но все они были на работе в тот момент.

Мой друг раздобыл где-то две бутылки водки. Первую мы выпили очень быстро, поднимая стаканы за всякого, кто заслуживал нашей памяти: тост за Адарича и Каска, тост за Шаргая, за Виктора, тосты за друзей моего гостеприимного приятеля, и так далее. Когда положительные персонажи, которых стоило помянуть тостом, закончились, мы переключились на наших недругов, со смехом желая им самых различных напастей. Так мы выпили за кума и коменданта лагеря, за все МВД и МГБ, или КГБ, как они теперь именовались. Очень скоро бутылка закончилась, и я почувствовал себя неуязвимым. Больше ничего плохого не случится со мной – говорил я своему другу. Это – начало новой эры. Набрался я хорошо, и принялся болтать глупости; своему другу я говорил, что не представляю своего будущего без него, и так далее и тому подобное. Вскоре мы принялись за вторую бутылку.

Интерьер этой квартиры – это все, что я увидел в том городке, да и его вскоре я стал различать довольно смутно. В какой-то момент я осознал, что подходит время, когда конвои начинают выходить из рабочей зоны, направляясь обратно в лагерь. Внезапно меня охватила паника. Я полностью забыл, как я попал сюда, где нахожусь, и как найти обратную дорогу. Мой приятель пребывал не в лучшем состоянии, хотя у него до этого и было уже несколько месяцев или полгода для того, чтобы лучше подготовиться: я же не напивался серьезно уже более пяти лет как. Я уговорил его отвести меня к началу той дороги, что ведет обратно в лагерь, и указать направление. Идти по прямой ни один из нас не был способен. Каким-то образом он довел меня до дороги, махнул в нужную сторону, обнял и подтолкнул, чтобы запустить меня в обратный путь. Я плашмя шлепнулся в сугроб. Он помог мне подняться. Я обнял его и сказал, что он – один из самых лучших людей на свете. Затем я начал шагать обратно в поселок, а он направился в сторону лагеря. Он первым понял, что происходит, побежал обратно, повернул меня и снова подтолкнул. Я стиснул зубы, злобно выругал сам себя, и принялся за работу, чтобы глядеть вперед, стараясь при этом видеть только один ряд телеграфных столбов вместо двух – так как я был уверен в том, что там был только один. И вот так я принялся решительно ковылять обратно по дороге в лагерь. Проблема заключалась в том, что, несмотря на всю свою настойчивость в попытках ставить одну ногу впереди другой, меня продолжало мотать поперек дороги – таким образом, шел я по синусоиде, и то, что должно было бы стать трехкилометровым путешествием, для меня превратилось в пяти-или шестикилометровое. Оно заняло у меня долгое время. Мимо меня прошли несколько конвоев с заключенными, шагающими обратно – как в наш, так и в другие лагеря – они смеялись и улюлюкали, глядя на пьяного, плетущегося с ними по пути и то и дело налетающего на сугробы. Иногда меня узнавали, и тогда поднимался настоящий гул насмешливых голосов:

- Эй, Док, пополняешь больничные запасы?

- А я думал, что ты потерял тот бочонок!

Задолго до того, как я подошел к воротам, я понял, что рядом с ними стоит группка людей, ждущих под фонарем, и я опасался, что ждут они меня. Последние полкилометра дались мне особенно тяжело. Я постоянно спотыкался, и каждый раз, когда я падал, подняться было все сложнее. Мне просто хотелось уплыть отсюда, задремав в этих уютных сугробах. Когда я подошел ближе, то понял, что встречающая меня делегация состоит из Волошина, лагерного «кума», поймавшего меня однажды прохлаждающимся в бойлерной, и Белякова, лагерного коменданта. Рядом с ними находилось несколько охранников.

Наконец, я дошел до ворот. Позади меня стояла колонна из двухсот или трехсот заключенных, ожидающих обыска и подсчета – они подбадривали меня радостными

криками. Я замедлил движение, перейдя на самый достойный шаг, который мог изобразить, и вытянулся во весь рост перед Беляковым с Волошиным. Потом я поднес руку к голове, отдав каждому из них армейский салют. А потом снова повалился в снег. Охранник грубо схватил меня в охапку и поставил на ноги. Волошин обратился ко мне с речью сурового папаши:

- Заключение Должин! Вам не стыдно за себя!? Такой образованный человек, как вы! Человек со способностями! Инженер и интеллигент! Довести себя до такого свинячьего, ужасного состояния! Какая ужасная потеря достоинства!

Он говорил очень жестко и горячо. Но его слова почти потонули в криках Белякова, с которыми он обрушился на меня:

- Смерть тебе, ублюдок! Ты за это сгниешь за решеткой! Ты блядь, и блядский выродок и отец всех блядей! Я лично прослежу, чтобы тебя не стало!

Он приказал трем солдатам немедленно отвести меня в карцер третьего лагеря. Как мы туда добрались, я не помню. Я помню только, как проснулся от отчаянной боли в голове и трясучки в теле. Камера не отапливалась. К счастью, мне оставили всю мою одежду, включая телогрейку. Когда я попил немного воды и прошелся взад-вперед, то почувствовал себя немного лучше. Тогда мне захотелось покурить, но, обшарив карманы, я обнаружил, что у меня из них все вытащили. Когда охранник принес мне завтрак – просто кусок прокисшего черного хлеба и немного горячей воды – я попросил его принести мне обратно мои сигареты, потому что мне нужно было перекурить.

- Не положено.

Но я был к этому готов. Где-то на пути моей трансформации от испуганного, невинного, ошарашенного и уверенного в том, что «мой арест – это всего лишь ошибка, и меня скоро спасут» человека до моего нынешнего состояния опытного и умелого в науке выживания заключенного, я научился всегда хранить при себе немного табака в своей телогрейке, набитой клочками ваты – для именно таких вот случаев, как произошел теперь со мной. Нужно было просунуть палец в небольшую прорезь, и вытащить немного табака – так, чтобы хватило на одну сигарету. Также у вас должно было быть запасено несколько обрывков газеты, или той жесткой коричневатой бумаги, что выдавалась в тюрьме – все равно она явно не годилась для использования в качестве туалетной, если только, конечно, вы не ходили по большому совершенно сухими козьими комочками. Потом нужно было свернуть подобие сигареты. Также я научился тому, как добывать огонь, используя подкладку все той же телогрейки. Лучше всего этот метод работает в том случае, если предварительно вымочить некоторое количество подкладки в растворе перманганата калия и высушить перед тем, как снова засунуть в телогрейку. А потом вы достаете небольшой клочок обработанной химикатом ваты. Простая вата тоже подойдет, но с ней придется дольше возиться. Вы скатываете очень плотную палочку из ваты, примерно пять сантиметров в длину и примерно в полсантиметра или немного больше толщиной. Потом, перед тем, как она совсем завернется, вы подкладываете другой слой ваты под край скатанной палочки, и начинаете закатывать его в обратную сторону. Вскоре в у вас получается твердая, плотная палочка из хлопка, сердцевина которой свернута в одну сторону, а внешняя часть – в обратную.

Теперь вам понадобится что-то твердое и гладкое для использования в качестве скалки. Подойдет подошва крепкого кожаного ботинка. Я использовал крышку от ведра параша. Вы прижимаете им хлопковую палочку к цементному полу, и катаете ее взад-вперед очень быстро. Это требует значительного усилия. Но если вы уже практиковались в этом ранее,

вы знаете, сколько времени вам понадобится. Примерно одна минута или две. А потом вы быстро разворачиваете внешний слой ватной палочки, и обнаруживаете, что там, где два слоя соприкасались, вата черная и горячая, и вы осторожно дуете на нее, чтобы получить искру, которая затем быстро разбегается по ней, если вата у вас химически обработана – и тогда вы можете зажечь сигарету.

С охранником я разыграл настоящий спектакль. Он знал, что меня обыскали и отняли весь мой табак. В промежутках между его визитами я быстро выкуривал сигарету, и потом, когда он вновь подходил к двери и смотрел в глазок, камера была наполнена дымом. Он оказывался внутри через пару секунд.

- Курить не положено! Ты знаешь это!

- Как я мог курить? – я недоуменно пожимал плечами. – Вы отобрали у меня весь табак! Я смерть как хотел бы покурить. Как я мог курить?

Озадаченный охранник уходил. Я знал, что теперь в течение нескольких минут он будет заглядывать чаще. Я ждал, когда частота подсматриваний в глазок уменьшалась, а потом повторял представление. И опять он врвался в камеру, а дым был еще гуще, чем прежде.

- Я не знаю, откуда этот дым, - искренне недоумевал я. – Мне бы очень хотелось раздобыть хоть немного такого табака. Должно быть, что-то не в порядке с вентиляцией!

Он так ничего и не обнаружил. Табак у меня закончился на пятый или на шестой день. Но пока он у меня был, разыгрывание этого спектакля с охранником хорошо помогало мне скрасить время своего заключения.

Меня там продержали десять дней. Я ожидал, что это будет месяца три, и я знал, что мне придется непросто. Я уже начал вести календарь, снова принялся наставлять себя и повторять многое из всего того, что раньше так помогло мне в Лефортово и Сухановке. Я пел песни во все горло – и никто меня не беспокоил. Я знал, что выдержать три месяца изоляции я смогу, хотя мне будет ужасно одиноко. И когда меня выпустили в конце десятого дня, мое заключение показалось мне пустяком, хотя я и был жутко голодным и ослабевшим по причине мизерных рационов.

К счастью, за мной сохранилась моя легкая работа с Виктором, хотя у меня, конечно же, забрали пропуск, сказав, что другого я больше никогда не получу. Несмотря на то, что я голодал и дрожал в течение десяти дней, обратно в форму я пришел достаточно быстро. Теперь, когда ворота между лагерями были открыты, я мог бродить туда и обратно по территории лагеря по вечерам, регулярно навещая Адарича и Каска, а они тайком вкалывали в меня по нескольку кубиков глюкозы, чтобы помочь мне снова войти в ту отличную физическую форму, в которой я был до этого. Таким образом, физически со мной все было в порядке. Но я не для того уродился на свет, чтобы вести абсолютно бесполезную жизнь. Мне совершенно не хотелось возвращаться в рудник или даже к работе сварщика, но практически полная бессмысленность той туфты, что я делал в отделе проектировщиков, угнетала меня все сильнее.

Я прослышал о планах строительства нового поселка. Он должен был быть выстроен с нуля – новые улицы, новые дома, магазины, все новое, и «параша» передавала, что там будут брать на работу технических специалистов – электриков, каменщиков и так далее, а также что рабочие места будут заполнять за счет лагерного «населения». Также передавалось, что если нам повезет получить там работу, то будут выдаваться постоянные пропуска, и заключенные будут жить на стройке – практически как свободные люди. Попытка – не пытка. Я пошел к нарядчику и записался в списке желающих попасть на стройку. Тот поведал мне, что стройка называлась «Никольский проект», и что работа по расчистке территории уже началась. Он дал мне анкету, в которой я должен был отметить свою специальность. Я вписал туда «сварщик», конечно же, а также «сантехник», хотя я

ни разу не притрагивался к трубам. Мне казалось, что счастье жить на свободе стоило тех физических усилий, которые требовали работа сварщика или сантехника. С другой стороны, я прекрасно понимал, что благодаря своим приключениям с первым пропуском мои шансы заполучить второй были практически равны нулю – таким образом, все эти перспективы мне не улыбались.

Обычно все свои тревоги и весь свой пессимизм я держал при себе. Но однажды вечером я не удержался и вылил это все на Адарича.

- Я, и правда, не знаю, что делать, Евгений Петрович, - сказал я ему. – Я здоровее, чем когда-либо раньше с того времени, как прибыл сюда. У меня легкая работа в конторе с хорошим другом. Но я маюсь от безделья все свое время.

Адарич взглянул на меня с хитринкой в глазах:

- Помнишь предсказания Шаргая?

- Конечно, конечно, - ответил я раздраженно. – Все для вас изменится в лучшую сторону. Да, так и есть, все улучшилось. Я рад, что убрали ворота между лагерями. И что отменили номера, и что охранники не издеваются над нами так, как они это делали раньше. Это замечательно, но я смотрю на себя в конце каждого дня и спрашиваю: «Сделал ли ты шаг вперед с того места, где ты был, когда встал этим утром? Научился ли ты чему-либо? Стал ли мир вокруг немного лучше благодаря тебе? И ответом на все эти вопросы звучит «Нет».

- А почему ты не попросишь всех этих инженеров, чтобы они рассказали тебе – о материалах, расчетах, обо всех тех предметах, которые они знают?

- Потому что у этих ребят на уме одна тупфта. Им нет необходимости заниматься тупфтой, потому что им неплохо платят, ты знаешь, и они, практически, сами устанавливают себе свои нормы. Но все, что они хотят от жизни – это обманывать систему. Это жизненно важно, если работать в руднике. Ты это знаешь. Но этого недостаточно, чтобы вокруг этого построить свою жизнь. Собственно, а чему ты так усмехаешься?

Адарич смотрел на меня с хитроватым прищуром.

- А сейчас я собираюсь пророчествовать, - произнес он. – Мне не стоит тебе говорить ничего из этого, но в это самое время на следующей неделе твоя жизнь резко и полностью изменится, к лучшему, по причине одного события крайней важности в Советском Союзе.

Это были слова Шаргая. Я не был настроен на шутки и отгадывание ребусов.

- Хватит, Евгений Петрович, я не понимаю, что это...

И тут меня осенило.

- Ты имеешь в виду, я возвращаюсь?

Он лишь усмехнулся.

- Я ничего не говорил, - он демонстративно возмутился.

Этот разговор произошел в среду или в четверг. А в понедельник утром меня оповестил охранник:

- Тебе приказано сегодня остаться в зоне. Явиться к нарядчику в девять утра.

Это был уже другой нарядчик. Меня он не знал. Кажется, сносный парень. Ему пришлось долго копаться, прежде чем он нашел мою папку. Потом, наконец-то, он извлек ее. Я с трудом себя сдерживал.

- Ах, вот она. Был запрос на тебя из лагеря номер два. Ты сегодня переводишься туда. Собирай вещи и на выход с конвоем... Нет, извини, ты можешь просто пойти туда сам. Барак под номером пять. Бригадир Зюзин.

Зюзин! Мое сердце радостно забилося. Это означало возвращение обратно в ДОЗ, вероятно, если только его передвижная бригада не переехала снова.

- Что за рабочее задание? – спросил я мрачно.

- А, нет, ты не работаешь с Зюзиным, просто живешь там, - ответил нарядчик. – Ты не знал? На тебя прислали особый запрос из госпиталя на должность старшего фельдшера. Я думал, что ты уже знаешь об этом.

Глава 24

Это была тревожная оттепель. Большинство из нас были настроены оптимистично. Я в том числе. Но, несмотря на многочисленные признаки изменения к лучшему и определенные существенные перемены, уже имевшие место, среди нас также витало ощущение недостатка равновесия – так, как если бы все эти изменения могли развернуться однажды в обратную сторону, и снова бы подул холодный ветер. Лагерный персонал проявлял явные признаки тревоги постоянно, и наиболее умудренные среди нас, такие, как Адарич, говорили, что встревоженный человек не способен правильно реагировать в критической ситуации, и со всеми этими переменами, что постоянно происходят вокруг, может наступить некий кризис – полностью неожиданный и никем не предсказанный – в любое время. Я спорил с этой точкой зрения. На мой взгляд, чувствовать беспокойство во времена перемен – это нормально для человека. Я говорил, что слухи о бунтах в некоторых из наиболее жутких сибирских лагерей произвели позитивные изменения для нас, и что эти изменения к лучшему, скорее всего, продолжатся. Но Адарич, обычно настроенный весело и оптимистично, серьезно тревожился по причине отсутствия стабильности.

В госпитале дела, безусловно, шли много лучше. Шкарина больше не было – его выпустили, и Адарич полностью всем заведовал. Уровень смертности значительно снизился в результате сокращения рабочих часов и увеличения рациона, а также по причине более гуманного отношения к нам (настоящего, или просто по случаю) со стороны части охранников. Появившаяся надежда тоже, конечно, на это серьезно повлияла. Человек, имеющий надежду, не умирает так быстро, и многие с двадцатипятилетними сроками начали верить в то, что им не придется отбывать весь свой срок. Я был одним из них. Я был уверен, что моя невиновность, рано или поздно, будет выявлена, и что среди прочих амнистий выйдет и амнистия для невиновных. Возможно, я был романтически настроен. Если так, то я не был одинок. Если раньше у нас каждую неделю случалась, по крайней мере, одна смерть, которую можно было отнести только на счет отчаяния и полной утраты надежды, то теперь те немногие трупы, что появлялись у нас в морге, оказывались там по причине того, что отказывало старое тело, или старые болезни, оставившие свой след, похищали жизнь у человека после долгих лет недоедания и тяжелой работы. Вирусные инфекции по-прежнему уносили слабых. Несчастные случаи на рабочих площадках стали более редкими, но они все еще случались, и люди умирали от них. Но если раньше у нас в морге было обычно от восьми до двенадцати трупов в день, то теперь там лежали два или три. Отвратительный ритуал раскройки черепов, если еще и существовал, то выполнялся незаметно для кого-либо из нас, и, возможно, был

остановлен, хотя трупы по-прежнему грузили в вагоны голыми, с жетонами, прикрепленными к пальцу ноги.

Госпиталь теперь был намного лучше оборудован, а также увеличилось снабжение медикаментами. У нас в избытке имелся пенициллин, и случаи смертельного исхода при бронхиальных заболеваниях резко пошли на убыль.

Еще у нас появился рентгеновский аппарат, а также отделение физиотерапии с лампами для прогревания и другим оборудованием, которым заведовал тощий, как скелет, ученый по имени Карл Райв.

Райв был физиком. Мы звали его доктором, кем он и являлся, хотя он и не был врачом. Каск и Адарич с ним сдружились и пожалели его, когда он поступил в госпиталь в состоянии истощения и полного изнеможения незадолго перед тем, как меня отправили на 51-й рудник. Они решили подыскать для него местечко в госпитале, и когда внезапно к нам прибыло электронное оборудование, они получили возможность аргументировано спорить с начальством, доказывая, что Райв – единственный, кому можно доверить столь дорогостоящее оборудование, так как только он в нем разбирается.

Райв был немцем. Он и его семья были похищены, и Райва поместили в «шарашку», тюрьму для технических специалистов с облегченным режимом. Но он отказался проводить эксперименты и разрабатывать процессы и оборудование для своих похитителей, даже когда ему сказали, что арестуют его семью. Тогда ему дали двадцать пять лет и отправили в Джезказган, где бы он и умер, если бы Каск и Адарич не позаботились о нем. Он все еще так и не знал о судьбе своей семьи.

Райв был лыс, как бутылочное стекло. Каск решил использовать его в качестве подопытной крысы. Он уже в течение многих лет работал над лосьоном, который бы помог лысым снова обрести шевелюру, и Райв представлял собой случай наиболее лысого человека из всех тех, кто когда-либо попадался Каску. «Вот это вызов!» - любил повторять Каск мечтательно. Но Райв все отнекивался. Он заявил, что был лыс с тех пор, как ему исполнилось двадцать пять (теперь ему было уже за сорок), и, следовательно, ничего из этого не выйдет. К тому же, он уже привык быть лысым, и почувствовал бы себя странно, если бы ему удалось отрастить волосы.

Но Каск был не готов так просто его отпустить. Он спорил, что его «Розовый лосьон» может принести счастье миллионам людей по всему миру, если только он сможет испытать и подтвердить его свойства. Каск убедил Райва, что испытать лосьон – это его обязанность. Он говорил, что этот лосьон – плод труда всей его жизни, его призвание, и он не может отказаться от такого блестящего шанса провести эксперимент. Также он заявил, что если средство сработает, и если при этом Райв продолжит настаивать на том, что без волос он будет более счастлив, то он всегда сможет побрить себе голову – а также что он, Каск, лично поможет ему в этом. Человек с волосами всегда может побриться, а лысый – не может отрастить волосы, утверждал Каск – и так далее, снова и снова, пока бедный Райв, наконец, не сдался – просто чтобы его оставили в покое.

Забавно – но средство сработало! Хотя у Райва и не отросла шевелюра в полном смысле этого слова, но на голове у него появился пушок, как у только что появившегося на свет цыпленка. Этот пушок можно было заметить только тогда, когда свет падал на его голову сзади. Стричь Райва так и не пришлось, да и этот пушок не вырос длиннее и не стал толще. Каск был в восторге. Это доказывало, что он находится на верном пути, по его словам, и Райв, будучи полон сочувствия и терпения, проходил испытание за испытанием и осмотр за осмотром, в то время как Каск пытался вычислить, что пошло не так и что он делал правильно.

То беспокойство, что чувствовал Адарич, широко распространилось по лагерю, хотя оптимизм преобладал. Застарелая вражда между национальными группами, в особенности между русскими и украинцами, проявляла себя достаточно ярко. Некоторые из нас считали, что кум прикладывает все больше усилий для того, чтобы эта вражда не утихла

– чтобы, таким образом, устранить возможность появления мятежа, что было, безусловно, самым страшным постоянным ночным кошмаром для всех лагерных комендантов и начальников. Марусич и я были согласны в том, что силы национальных общин нашли бы себе лучшее применение в том случае, если бы использовались для борьбы с КГБ и комендантом, некими скрытными путями. Но сойтись вместе этим двум группам было трудно.

Теперь, когда в госпитале нагрузка у меня снизилась, а возможностей свободно передвигаться по лагерю стало больше, я стал навещать в каждую из этих групп, чтобы разведать, что я бы мог сделать для того, чтобы эти группы работали вместе, а не враждовали друг с другом. Любопытно, что меня, как американца, в обеих этих группах восприняли нейтрально, и пользовались моей помощью для передачи сообщений о переговорах между лидерами этих двух групп. Я был также полезен для обеих сторон тем, что мог устроить госпитализацию для членов их организаций в случае, когда по тюремному телеграфу приходило сообщение о том, что того или иного заключенного могут арестовать или перевести в другой лагерь. Иногда недели-двух в госпитале хватало для того, чтобы отсрочить это событие или полностью нарушить такой план, и человек мог остаться в группе и продолжить в ней свою деятельность. Моя роль во всем этом была очень небольшой, но в течение этого времени дух сотрудничества между различными группировками в лагере возрос, и, как мы вскоре узнали – в очень драматическом контексте – в других лагерях по соседству этот процесс также происходил.

В этот период, когда в людях возростала надежда, все большее количество заключенных принялось писать апелляции на свой приговор и полученные сроки. Среди нас было общепринятым мнением – несмотря на то, что большая часть заключенных были невиновными, а их «преступления» заключались не более чем в случайном разговоре, хотя у многих даже и этого не было – что пытаться писать апелляцию на свой приговор – бессмысленно, так как если однажды Органы назвали тебя виновным, то ты действительно виновен, и точка. Но теперь апелляции шли одна за другой. Один пожилой еврей из Смоленска писал их каждую неделю, и всегда на один и тот же адрес. Прошло двенадцать недель, а он так и не получил ответа. Имея в зачатке совсем немного денег, он попросил разрешения отослать телеграмму в Москву. Телеграмма состояла всего из одного слова: «Ну?»

Ответы на апелляции, когда они приходили, часто вызывали недоумение. Так, один человек тщательнейшим образом описал свою ситуацию, уведомив прокурора о том, что его обвинили в ведении шпионской деятельности и терроризме в Ленинграде в период 1940-41 гг, в то время как он служил в это время на Украине, чему имеется подтверждающий документ, а также есть многочисленные свидетели – поэтому, пожалуйста, не могли бы вы пересмотреть мое дело? В ответе, пришедшем много недель спустя, значилось, что в соответствии с его запросом было проведено расследование, в ходе которого установлено, что изъятие у него наручных часов было произведено правомерно. Иррациональные случаи, подобные этому, были нередки. Мы так и не узнали, было ли это просто бюрократическим идиотизмом или это делалось специально, чтобы отбить у пишущего апелляции человека желание досаждать правительству со своими жалобами.

В результате во многих из нас укреплялось намерение находить все новые пути для того, чтобы третировать наших мучителей, а также ускорить процесс нашего освобождения, делая так, чтобы им становилось все менее и менее выгодно держать нас в качестве рабов. Тем временем администрация лагеря пыталась заигрывать с нами, и мы легко этому поддавались, так как слишком много времени прошло уже с тех пор, когда у кого-то из нас в жизни было что-то, вызывавшее удовольствие.

Культбригада все еще разъезжала по лагерям. Меня на время отстранили, после того, как я пришел в лагерь пьяным из города, но вскоре я опять оказался в бригаде, и мы снова усиленно репетировали и работали над тем, чтобы разнообразить наш репертуар, два дня в

неделю, по вечерам. В это время мы получили известие о том, что нашу бригаду соединят с такой же бригадой из женского лагеря, также находящегося в Джезказгане, и что несколько женщин из этой бригады пригласят к нам для совместной репетиции в следующий раз. Нас охватило необыкновенное возбуждение. Все наши мужчины в тот вечер были самым тщательнейшим образом выбриты. Всего нас было десять человек, и когда вошли они, то их оказалось двое. Нас привели в здание администрации, которое находилось за пределами самого лагеря, и там произошла эта встреча – в большом зале наверху. С двумя женщинами-заключенными также находился охранник, тоже женщина. Обе женщины были певицами. Одна из них была радиооператором из Минска, работавшей ранее на станции глушения. Вся ее смена была арестована в ночь, когда часы опоздали на пять минут, и ее смена не успела заглушить первые минуты передачи из франкистской Испании. Она получила пятнадцать лет. Ее звали Зоя Тумилович. Вторая девушка была армянкой по имени Надя, но про нее я так и не смог ничего толком узнать, потому что, как только мы встретились с Зоей, нас словно ударило током. Все эти годы репрессий и лишения в правах, а также полного отсутствия женщин в моей жизни вызвали невероятное и непреодолимое желание быть ближе к этой женщине. Это была не влюбленность: просто мне было необходимо быть рядом с ней, держать ее за руку, когда это было возможно, флиртовать с ней, заглядывать ей в глаза, делать все, что было возможно, чтобы быть ближе к ней.

Охрана смотрела достаточно вольготно на все, когда наши группы впервые встретились. Нам позволили несколько минут неформально поговорить для того, чтобы установить отношения перед тем, как приступить к репетиции. Таким образом, мужчины по очереди подходили к женщинам – и те, и те были ужасно смущены – и церемониально обнимались, словно это была встреча старых знакомых одного и того же пола. Но, когда очередь дошла до меня, я не смог устоять, чтобы не дотронуться губами до щеки Зои и не прижать рукой сзади ее талию. Она взглянула в мои глаза и на ее щеках вспыхнул румянец, но не подалась назад. Я пристал к ней словно репей в эти несколько минут и дал ей понять настолько ясно, как только это было возможно, что она меня ужасно заинтересовала, и она ответила на это очень тепло. Ко второй или к третьей репетиции мы обменивались очень откровенными взглядами и тайком касались друг друга под носом у охраны. Все это чрезвычайно возбуждало, и в то же время разочаровывало, потому что никакой возможности оказаться вместе наедине у нас не было.

До концерта, который нам предстояло играть вместе, оставалось всего несколько недель. Я был убежден, что во время путешествия между лагерями и ажиотажа во время концерта Зоя и я найдем возможность побыть вместе. Но внезапно от этой моей уверенности не осталось и следа. Репетиции были отложены на неопределенный срок. Ходили слухи о жутком бунте в соседнем лагере под Кенгиром¹, примерно в двадцати семи километрах от нашего. Внезапно все снова стало таким же жестким, строгим и кошмарным, как тогда, когда я впервые прибыл в Джезказган.

Вот история, которую я собрал из многочисленных источников. Вначале ходили только смутные слухи. Вроде бы охранники конвоя в Кенгире прибыли на работу пьяными и застрелили человека ради развлечения, и весь лагерь в ответ объявил забастовку. Или охранник расстрелял целую колонну, шедшую на работу, и лагерь взбунтовался. Или другие варианты этих основных событий. Позже в госпитале появился Виктор. В то время он был в Кенгире и смог рассказать значительную часть из того, что произошло. Никто из наших охранников ничего бы нам не сказал. Лавренов молчал как рыба, и был явно обеспокоен. Так или иначе, но, в конце концов, мы прояснили эту историю. Она выглядела следующим образом. Конвоиры вели себя все более расслабленно в том, что касалось правил конвоирования: раньше маршировать нужно было молча, держа руки за

¹ Речь идет о знаменитом **кенгирском восстании** — восстание политических заключенных в 3-м лагерьном отделении Степного лагеря в посёлке Кенгир, расположенном в центральной части Казахстана (ныне посёлок находится в черте города Жезказган), 16 мая — 26 июня 1954 года. — прим. переводчика.

спиной, но с началом «оттепели» многие конвоиры закрывали на это глаза. В один из дней ведущий, который вел конвой, начал кричать на свою колонну – мол, они не выполняют правила, и что им требуется убрать руки за спину и заткнуться. Призыв был крайне резким, и вызвал много приглушенных ругательств со стороны заключенных. Один из охранников был пьяным – только один. Его занесло, или он был напуган тем, что заключенные выйдут из повиновения, или, возможно, ведущий конвоя подначивал его на это – никто не знает. Но известно, что он открыл огонь из своего автомата. Когда он опустошил свой магазин, в котором было семьдесят две пули дум-дум, девять человек лежали мертвыми, а более тридцати – ранеными, некоторые из них очень тяжело. Лагеря в Кенгире были хорошо организованы. Там находилось два или три женских лагеря, и между мужчинами и женщинами, которые никогда не видели друг друга, возник постоянный поток обмена любовными письмами. Мужские и женские смены сменяли друг друга на рабочих площадках, где они оставляли записки и рисунки друг для друга, в результате чего завязывались сложные и серьезные отношения. Когда колонна мужчин, идущая на работу, проходила мимо женской колонны, возвращающейся назад, раздавались крики, вроде: «Иван Степанович, ты здесь?», или: «Кто из вас Таня Л.?», «Таня здесь?», - таким образом, им иногда удавалось мельком взглянуть друг на друга, и годы спустя я обнаружил, что многие такие пары поженились после того, как вышли на свободу. В то время такие отношения были частью взаимосвязи, позволявшей всему комплексу в Кенгире, как женщинам, так и мужчинам, сообщаться друг с другом посредством очень быстрой *параши*, принимая решения всем лагерем в течение одной ночи. На следующее утро заключенные пришли на работу и просто сели, полностью отказавшись от работы – до тех пор, пока не будет наказан тот самый охранник, а также пока не прибудет специальная комиссия из Москвы для изучения условий в лагере. Начальство объявило о том, что охранник задержан и арестован. На несколько недель ситуация успокоилась. А потом пришло сообщение из другого лагеря, в другом регионе, через тюремный телеграф, что тот самый охранник появился там, и выглядел он при этом загоревшим и отдохнувшим, словно побывал на курорте, а также он красовался с новой медалью и вновь заступил на службу. Конечно, возможности подтвердить этого не было, и все это могло оказаться и выдумкой с целью провокации. Выдумка или нет, но ей поверили, и она спровоцировала дальнейшие события.

В КГБ распорядились привезти в лагерь большой этап профессиональных уголовников. Как ожидалось, урки будут вести себя, как обычно, притесняя политических, но в среде урок к этому времени наступили перемены. Впервые я столкнулся с такими переменами еще в 1951 году, когда во второй раз покинул Сухановку. Теперь урки знали намного больше из того, что происходило вокруг, и перестали называть политических «фашистами», и даже включали их, иногда, в круг «людей» - тогда, когда те имели достаточно весомые подтверждения своего сопротивления тюремным властям. К тому же эти вновь прибывшие урки были наслышаны о том, что в этом месте находится много женщин, и им не хотелось рисковать, чтобы потерять их благосклонность – в случае возможной встречи – из-за преследования тех мужчин, с которыми эти женщины, как было известно, были в хороших отношениях.

В этот раз кенгирский лагерь полностью остановился – согласно той истории, что дошла до меня. Появилась комиссия, состоявшая из московских генералов, но это только ухудшило ситуацию, потому что некоторыми заключенными эти так называемые генералы были опознаны в качестве кадров местного КГБ. Охранники вновь принялись с упоением жать на курок, и таких случаев со стрельбой стало намного больше. Заключенные сломали стены между лагерями. Внутри лагерей никогда не было вооруженной охраны, поэтому им это удалось – им только приходилось держаться подальше от вышек и использовать другие строения в качестве баррикад. После этого охранники полностью оставили лагерь. Заключенные принялись копать траншеи, был захвачен продовольственный пункт снабжения. Началась осада. Заключенные были

хорошо организованы под началом бывшего полковника армии по фамилии, кажется, Кузнецов. Они провозгласили местный совет, лояльный московскому правительству, и выдвинули требования только о том, чтобы произвольные расстрелы прекратились, и чтобы из Москвы прибыла настоящая комиссия для того, чтобы оценить ситуацию на месте. В лагере они наладили отличную дисциплину. Были поползновения убить всех известных заключенным информаторов, но Кузнецов добился того, чтобы убедить заключенных в том, что в их интересах - вести себя с максимальной сдержанностью и достоинством. Он тоже был романтиком.

Вокруг лагеря окопалась целая дивизия войск МВД. Внутри заключенным удалось смонтировать радиопередатчик, чтобы оповещать гражданское население извне о том, что происходит внутри. Также они сделали огромный воздушный змей, и запустили его на сотни метров вверх, чтобы с его помощью распространить листовки, позднее сброшенные над городом Кенгир. В этих листовках заявлялось о приверженности заключенных к тому, чтобы вести себя цивилизованным образом, и повторялись требования относительно вызова комиссии по расследованию.

Сотрудники МВД перерезали снабжение лагеря водой; заключенные прокопали глубокий колодец. Военные при помощи тракторов снесли ворота, и предложили тем, кто хочет, выйти, обещая им безопасность – это был жест, которым хотели выманить информаторов, которые, как предполагалось, опасались за свои жизни. Некоторые информаторы сбежали, но остальные заключенные построили баррикады с внутренней стороны открытых ворот, и заявили, что баррикады служат той линией, за которую никто не может выйти без одобрения лагерного совета.

Внутри лагеря заключенные проводили политические беседы, и офицерам КГБ была предоставлена возможность безопасно пройти внутрь и увидеть, насколько добросовестно поддерживался среди заключенных внутренний порядок. Они продолжали посылать наружу одно и то же сообщение всеми возможными способами, какие могли придумать – через радиопередатчик, воздушных змеев, с помощью политбесед с приглашением офицеров. Сообщение было следующим: мы не бунтовщики. Мы просто политические заключенные, которые пытаются отстаивать свои права, будучи советскими гражданами. Наконец, настоящая комиссия из Москвы прибыла. В течение трех дней велись переговоры за покрытым красным сукном столом с внутренней стороны ворот. Комиссия убыла, и на ее место прибыла дивизия штурмовых танков под названием «черные кошки» в составе десятков боевых машин, вооруженных холостыми зарядами. Танки завели стволы пушек в окна бараков и принялись стрелять. Сотни заключенных получили контузию. Тысячи охватила паника, и они выбежали из бараков на улицу, где многие были раздавлены танками, которые хаотично носились по всей территории лагеря. Улицы были мокрыми от крови, на них валялись оторванные конечности и вырванные кишки. Все сопротивление было полностью сломано, и позднее были вызваны бульдозеры, собравшие целую гору трупов для массового захоронения. Все это произошло на сороковой день, и в этот день мы обнаружили, что наш лагерь также окружен танками. Ворота были открыты, чтобы мы могли их видеть, и видеть направленные прямо в нашу сторону пушки. Мы не знали о том, что в Кенгире стреляли только холостыми. На работы в этот день никого не выгоняли, и ничего нам не было сказано. Нам было дано время, чтобы это бессловесное послание было усвоено. Нас все это ошарашило, и мы были полностью подавлены.

Я предположил, как только полная история из Кенгира начала проясняться, что мне больше никогда не увидеть Зою, и что все эти нововведения по поводу объединения мужчин и женщин будут отозваны после всего того, что произошло всего в нескольких километрах от нас. Но я ошибся. Возможно, в МВД предположили, что показательного силового устрашения было достаточно, и, возможно, они были правы. Эти танки, безусловно, положили конец любым мечтаниям, ходившим среди нас, относительно ослабления фундаментальных основ в среде власть предержащих, а также относительно

того, для чего использовалась эта власть и как она использовалась в случаях, когда ставки для власти становились высоки. Как только дым рассеялся, администрация показала намерения возобновить всю ту лагерную жизнь, которая остановилась на короткое время по причине событий в Кенгире. Репетиции культбригады возобновились. Вначале они шли немного настороженно, но постепенно мы снова обрели прежний энтузиазм. Смысла унывать не было. Мы прожили в тюрьмах уже долгие годы – для меня это было почти шесть лет, для других – двадцать. Наши выступления стали шансом подарить немного музыки, немного теплоты и человечности нашим братьям по заключению – всем тем, униженным и одиноким, кто находился посреди бескрайних вод Гулаговского моря. Мы просто смирились с этой ситуацией.

Первый смешанный концерт состоялся в помещении для сбора заключенных. Я стащил пятьдесят граммов чистого спирта из госпиталя, для храбрости, перед своим выступлением. Подробностей того концерта я не помню, кроме того, что все номера встречали валом аплодисментов, раз за разом - помещение было набито битком, люди даже сидели друг на друге. Я помню, что Зоя спела прекрасно, и меня охватило желание близости. Что до моего выступления, вероятно, я сыграл неплохо – мой «Седьмой вальс» Шопена был встречен так, как будто это было выступлением Артура Фидлера с оркестром Boston Pops¹. Наш акробатический номер прошел без запинки, несмотря на то, что перед выступлением я махнул двойную дозу спирта. Также там был юмористический номер, вызвавший смех еще до того, как была произнесена первая реплика. Чтобы сделать сцену, мы сдвинули вместе пять столов, а также организовали нечто вроде занавеса, который, как и большинство таких временных занавесов в любительских театрах, работал не очень хорошо. Примерной была кухня, и чтобы пробраться на сцену, нам приходилось перебираться по ногам через зрительский зал, с края первого ряда. Центр переднего ряда занимали коменданты и лагерные начальники – как нашего, так и окрестных лагерей, а также женского лагеря. Они также горячо аплодировали и с энтузиазмом следили за представлением, как и заключенные. За кулисами между номерами царил воодушевление и нервное возбуждение, характерное для первого выхода на сцену, которое, как я полагаю, всегда сопутствует любым театральным представлениям. Мы помогали друг другу с нарядами – для этого мы одолжили одежду у гражданских – и желали выходящим на сцену удачи, а также обнимались с каждым, кто шел исполнять свой номер. Хорошее настроение и воодушевление передалось даже охранникам, которые отпускали грубые деревенские, но не неприятные шутки, а также околачивались рядом, с любопытством наблюдая, что мы делаем за кулисами. Все мы почувствовали, что Кенгир был просто некой остановкой, отклонением на общем пути постепенных улучшений нашего положения. Мы с Зоей на протяжении всей оставшейся части дня обменивались друг с другом недвусмысленными взглядами. Нам по-прежнему невозможно было отыскать уединенный уголок, но я был уверен, что мы найдем какой-нибудь способ. Зоя поведала мне, что на следующей неделе ожидался еще один концерт, уже в другом лагере, и что мы скоро снова увидимся.

На следующее утро меня позвали к тюремному фотографу – заключенному по фамилии Эпштейн – где мне вручили гражданский костюм и сфотографировали в нем. Эпштейн не знал, для чего это было нужно. «Вероятно, в КГБ снова хотят тебя увидеть, - мрачно произнес он. – Может быть, для очной ставки. Так бывает».

Я попросил его сделать копию той фотографии для себя, и он согласился. К мыслям о том, что бы все это означало, я решил не обращаться.

Проще всего это было сделать, сосредоточившись на своих гитарных уроках, а также на отработке акробатических упражнений вместе с Григорием Левко. Левко научил меня исполнять сольный номер под названием «крокодил» - я лежал на полу, прижав локти к

¹ Boston Pops – американский оркестр, Бостон. В репертуаре в основном легкая классическая музыка. Arthur Fiedler – дирижер Бостонского оркестра с 1930 по 1979 гг.

туловищу, а затем поднимался над полом, держась на одних руках, ноги сзади не касались пола. Потом я постепенно поднимал одну из рук, так что все мое тело удерживалось в горизонтальном положении над полом на одной руке. Потом я начал работать над тем, чтобы подхватить губами платок, лежащий на полу, ходя на руках. Я приноровился подхватывать поставленный на пол спичечный коробок, но опуститься еще на три с половиной сантиметра вниз мне никак не удавалось. Я поставил перед собой цель – во что бы то ни стало достать этот платок. Такие вот небольшие неудачи плюс концентрация на своих гитарных упражнениях помогали мне отогнать мысли о возможности очередного свидания со следователями.

Второй концерт прошел даже еще более успешно, чем первый – хотя, возможно, он остался таким в моей памяти потому что я чувствовал себя достаточно уверенным, и мне не потребовалось подкреплять эту уверенность медицинским спиртом из госпиталя. Мы с Зоей использовали каждую возможную секунду для того, чтобы побыть вместе за кулисами. Несколько раз туда заходил охранник:

- Прекратить это, сейчас же! Или дождетесь неприятностей.
- В чем дело? Мы просто разговариваем, - отвечал я.
- Ты знаешь, в чем дело! А-ну, разойтись сейчас же!

Но от каждого прикосновения Зои меня бросало в жар, и я был уверен в том, что пройдет совсем немного времени перед тем, как мы сможем действительно быть вместе. И нам даже удалось по-настоящему поцеловаться – это было безумно чудесно – перед самым расставанием, когда никто не следил за нами.

На следующее утро я мог не вставать на работу – это были мои двадцать четыре часа, свободные от дежурства в госпитале. Я был наполовину спящим тем утром, в моей голове проносились сны наяву, в которых я видел нежные губы Зои в сотый раз – и вдруг я почувствовал чью-то руку на своем плече. Я открыл глаза. Это был охранник, бывший достаточно дружелюбным со мной, так как я лечил его в свое время.

Он тихо произнес: «Вставай, доктор. Приготовься к этапу».

Я мгновенно выскочил из кровати. Меня словно ударили снова в больную щиколотку. Я не мог в это поверить. Ведь я уже было прогнал все эти мысли из своей головы. Мое сердце бешено забилося. Слабость и ужас овладели мной. «Послушай, начальник, - произнес я. – Что все это значит, ты знаешь?»

«Нет, не знаю, Док. Все, что я знаю – тебе приказано явиться к нарядчику».

Это звучало забавно. Нарядчик обычно заведовал рабочими заданиями, направления на этап он не выдавал. С другой стороны, он, возможно, выполнял все предписания кума. Когда я подошел к зданию администрации, меня трясло. Мое дело уже лежало на столе. Мне была видна та самая фотография, которую сделал Эпштейн. Она была прикреплена к некой карточке, на которой стоял официальный красный штамп. Судя по всему, вид у меня был испуганный в тот момент, когда я спросил нарядчика глухо:

- Этап, или куда?
- Эй, не смотри так мрачно, ради бога, - произнес нарядчик. – Это не настоящий этап. Ты же записался сантехником, так?

Я молча смотрел на него, не понимая. Все это напрочь вылетело из моей головы.

- Проект «Никольский», - продолжил нарядчик. – Вот твой пропуск. Вот твое рабочее задание. Конвой встретишь у ворот в два часа дня. Из лагеря туда направляется четыре сотни человек, так что постарайся быть там пораньше.

Это было странное ощущение. Полчаса назад я был погружен в сладкие мечты о Зое. Теперь мне, возможно, больше не суждено было ее увидеть снова, и в то же время я вновь почувствовал себя счастливым, потому что всего мгновение назад мне казалось, что моя жизнь рушится. Самым ужасным мог для меня стать еще один этап до Москвы, где меня ожидали бы те ужасы, о которых я отказывался даже думать, и теперь все эти ужасы растаяли, как плохой сон. Мне предстояло стать почти свободным! Жить в месте, которого я раньше никогда не видел, и в очередной раз делать работу, о которой я совершенно ничего не знал. Этот сценарий, кажется, я уже не раз читал до этого. Внезапно меня охватила эйфория. Мне было жаль терять Зою, и я сожалел, что у меня не было никакой возможности связаться с ней, но это чувство потерялось где-то посреди тех жизнерадостных и новых надежд, которые охватили меня при мысли о своем будущем. В полдень я обратился на кухню, чтобы забрать хлеба. Стоя в нетерпеливом ожидании у ворот, я наблюдал, как мои будущие напарники по работе начали стягиваться сюда со всех направлений – мы знакомились, шептались друг с другом в тени этих жутких вышек, которые нам предстояло покинуть, возможно, навсегда. Мы строили планы, и наши глаза горели – впереди у нас открывалась новая жизнь и новые возможности. Что за удивительная штука – человеческий дух! Ни зарплаты, ни свободы передвижения по своему выбору; рацион, который северо-американский рабочий бы выбросил свиньям; никаких гарантий, что за поворотом не поджидает очередное несчастье – и, в то же самое время, если бы вы спросили любого из этих четырехсот несчастных в лохмотьях, собранных в стадо перед теми самыми воротами, у которых обычно притормаживали повозки с трупами, чтобы им раскроили топором черепа, о будущем – они бы ответили: «Будущее? Для меня все выглядит прекрасно!» Так, по крайней мере, ощущал себя я.

Глава 25

Нас, по одному, проводили через коридор в стене, мимо будки охранников. У будки было окошко, с проемом, как в банке: окошко с задвижкой. Оттуда выдавались все необходимые документы, сверенные с нашей «молитвой». Снаружи нас ждали грузовики. У всех в нашей группе было приподнятое настроение.

Но по мере того, как время шло, а мы все ждали и ждали без движения, среди нас начали проявляться неуверенность и сомнения. Заключение в архипелаге ГУЛАГ привыкли к лжи и разочарованиям. Вскоре уже десятки людей в нашей группе принялись обсуждать самые мрачные сплетни: нас в действительности вывозят из лагеря, чтобы расстрелять; нас направляют в Сибирь; нас отправляют в еще даже более ужасный лагерь, чем Джебказган.

Другие, с более холодной головой, напоминали о фотографиях и пропусках, а также о сообщениях «параши», где говорилось про Никольский проект – что он запущен, и возьмет на работы тысячи заключенных. Меня раздражало это ожидание, но оно меня не тревожило. Об этом новом проекте, несколько недель тому, мне рассказал в свое время сантехник по имени Марголиньш, когда он лежал у нас в госпитале, недолго. И сейчас он сидел тут же, рядом со мной, в грузовике. Я рассчитывал, что он покажет мне кое-что о своем деле перед тем, как я буду вынужден признать, что опыта у меня в этом нет никакого. Так или иначе, но тот факт, что он был здесь, подкреплял мою уверенность в том, что мы действительно направляемся в Николький, и все идет хорошо.

Наконец, грузовики заполнились людьми. Двое охранников водрузили стоячую платформу между нами и кабиной. У них не было автоматов! Это был чудесный знак, предвещавший нам удачную судьбу. Грузовики тронулись. Некоторые украинцы принялись распевать веселые народные песни. Я подошел к Марголиньшу и сказал ему, что рассчитываю на него.

«Ни о чем не беспокойся, Док, - ответил он с воодушевлением. – Я покажу тебе все, что я знаю. И если у нас будет возможность выбирать себе напарников, почему бы не сказать, что мы всегда работали вместе? Так у тебя никогда не возникнет никаких сложностей». Марголиньш был худым, веселым парнем; я решил, что работать с ним будет хорошо, и сразу же согласился на его предложение.

Примерно через полчаса мы прибыли в поселок Никольский. Он представлял собой мешанину из наполовину достроенных домов. Кучи камня, кирпича и бревен, машины с мешками с цементом, множество рабочих, идущих в разных направлениях. Мы проехали сточную канаву, и тут раздались восторженные крики со стороны сотен рабочих, орудующих лопатами и кирками: все они были женщинами! Вскоре мы поняли, что по большей части на проекте работают именно женщины. Восторженный гул пробежал по грузовику. Вскоре мы остановились около высокого забора с колючей проволокой – там было четыре смотровые вышки, но без капитальной стены. С внутренней стороны находилось несколько двухэтажных блочных домов. Через какое-то время это все должно было стать частью обычного города, который мы и прибыли строить – и, как оказалось, те дома, которые нам предназначено было строить, были и теми домами, в которых нам предписывалось жить. Но квартиры внутри периметра из колючей проволоки не были предназначены для нас. К нашему удивлению, нас направили через дорогу, к другой группе таких же домов, вокруг которых не было никакого забора. Я спросил одного из охранников, для чего предназначалась колючая проволока. Он засмеялся. «Женский лагерь, - ответил он. – Женщины работают тут вместе с мужчинами. Но мы не позволим им шляться по ночам с такими, как вы, сволочами по округе. Они остаются на ночь там». Это короткое известие пробежало по нашей группе, словно разряд тока. Мгновенно начали множиться планы о том, как сделать подкоп под стеной, перебраться через проволоку, найти легальный способ пробраться внутрь и выбраться невредимым обратно. Одной перспективы работать бок о бок с женщинами было достаточно, чтобы на всех этих худых, изможденных и в обычных обстоятельствах ничего не выражающих лицах появились широкие ухмылки, и люди принялись оживленно болтать между собой, словно дети. Я был таким же: у меня уже была возможность попробовать это на вкус, и этот вкус был опьяняющим.

Тем временем нас всех распредели по четверо в комнату, поселив в уже достроенных домах. С собой у нас были наши собственные матрасы и подушки, а в комнатах имелись металлические кровати. Все выглядело лучше и лучше. Я держался вдвоем с Марголиньшем, и нас расселили в доме вместе с другими сантехниками – с целой бригадой сантехников, вероятно, половина из которых имела примерно мой уровень квалификации. В каждом из двухэтажных домов имелось по восемь квартир. Утром нам выдали наши рабочие задания. Двум сантехникам полагалось монтировать трубопровод с холодной водой в восьми квартирах одного дома за семь дней. Для меня это не означало ничего, но Марголиньш был шокирован. «Как они предполагают, что мы это сделаем?» - произнес он с сильным латышским акцентом.

Но, очевидно, у нас не было времени на то, чтобы сидеть и рассуждать по этому поводу. Нам нужно было либо выполнять норму, либо изобрести некую хитроумную туфту, и на тот момент мы просто принялись за работу, отмеряя длину труб, изгибая их на грубом ручном станке, устроенном на нашем уличном верстаке, отрезая трубы нужной длины, накручивая на них резьбу, надевая переходники и заматывая их уплотнительной фиброй, и так далее...

К концу первого дня мы едва начали делать первую квартиру, и при этом уже не держались на ногах от усталости. С первыми лучами солнца мы уже были на ногах. Мы были убеждены, что единственным способом удержаться на этой «вольной» работе было выполнять норму, или довольно близко к ней подойти. Позавтракали мы еще в то время, когда на улице было холодно. В чае, который заварил Марголиньш, можно было пустить в

плавание гвоздь. Марголиньш выпил так много этого чая, что, к тому времени, как мы отправились на работу, он был чрезвычайно возбужден и ужасно жизнерадостен. «Подожди, и мы это ухватим! Мы это ухватим! Мы никогда не сможем делать по восемь квартир в неделю, но мы подойдем очень близко!»

Но к концу первой недели мы завершили только две квартиры из восьми в нашем первом доме, и мы были сильно утомлены, чтобы продолжать. Очевидно, что никакого дня для отдыха не предполагалось. Я начал подумывать, не задействовать ли нам американские техники по выпуску продукции в своей работе – такие, как я использовал при работе с замками. Теперь у меня не было доступа к повышенным дозам глюкозы, а мой рацион составляла обычная лагерная норма, и я живо представил себе снова такую ситуацию, в которой меня опять будет шатать от дуновения ветра, как на сварочной площадке – если только мы не изобретем некий способ, который поможет нам увеличить нашу производительность. Я предложил Марголиньшу измерить сразу пять домов – сорок квартир – а потом сделать отрезки труб, промаркировав их, чтобы затем приступить к сборке. Я был уверен, что таким образом мы сможем значительно увеличить свою производительность. И, хотя все это было для Марголиньша в диковинку, он просто налил себе еще одну чашку этого густого чая и произнес: «Поехали».

Мы так и не подошли довольно близко или даже просто близко к норме, по которой весь дом должен был быть сдан в течение одной недели – как и никто другой во всей бригаде сантехников. Но нам ужалось значительно продвинуться вперед по сравнению с теми 25% от нормы, которых мы достигли в первую нашу неделю. Мы были настолько утомлены, что наши первоначальные восторги по поводу наличия женщин просто улетучились. Марголиньш часто упоминал в разговоре о женщинах в первые несколько дней. Он повторял: «Вот подожди! Вот подожди, когда выпадут первые нерабочие дни. Мы идем немного выше нормы. Вот подожди!» Но вскоре он перестал говорить обо всех тех удивительных вещах, которые бы он сделал со всеми теми удивительными женщинами, которых бы он нашел. Я часто вспоминал Зою, и очень тосковал по тому влекущему чувству, которое возникло между нами, но на этом этапе я был настолько постоянно утомленным, что знал – если нам и доведется встретиться как-нибудь и каким-то образом найти кровать, чтобы лечь в нее вместе, я просто тут же засну.

В конечном итоге мы пришли к понимаю, Марголиньш и я, что это – самое большее, на что мы способны в своей работе. Мы знали, что идем впереди по сравнению с другими бригадами, благодаря нашей системе – несмотря на то, что те приходили по вечерам и докладывали, что они закончили столько-то квартир, а мы не могли доложить ни об одной, потому что проводили все дни в работе по обрезанию и изгибанию труб, подготавливаясь к финальной сборке, когда бы все пять домов были готовы за раз. И мы стали относиться к этой работе легче – это требовалось для выживания.

Однажды я обнаружил, что среди множества моих измерений есть те, которые ни с чем не соотносятся. «Хорошо, – сказал Марголиньш, – ты это делал, иди обратно и замерь снова». Меня расстроил этот момент, так как мы уже принаровились работать довольно быстро – в том, что касалось резки, изгибания труб и даже предварительной сборки. Но в то же время я был рад уйти, так как это давало возможность отдохнуть немного от физической работы.

Когда я подошел к нужному зданию, усталые и худые женщины, что возили на тачках штукатурку через дверной проем, отказались впускать меня внутрь. Они сказали, что я смогу войти туда, как они закончат свою работу. Я протестовал и кричал, что их дом все равно не будет сдан, пока мы не установим там водопровод. Одна из женщин махнула рукой в сторону строительной бытовки: «Иди к бригадиру. Если получишь разрешение, тогда мы тебя не задержим». Я пошел к бытовке. Изнутри до меня донесся высокий женский голос – этот голос жестким и не терпящим возражений тоном раздавал задания женщинам-строителям. Казалось, что там был мужчина, но с очень высоким голосом. Я

заглянул вовнутрь. Там находилась женщина – мощная, с широким лицом и светлыми волосами, лет тридцати-пяти. Она раздавала свои приказания так, словно бы делала это всю свою жизнь.

«Так, что тебе нужно?» - без лишних церемоний сказала она мне, когда я вошел. Она сидела на стуле, сильно откинувшись назад, сам стул покачивался на двух задних ножках. Ноги у нее лежали на столе. Это выглядело особенно странным, так как все женщины, в том числе и бригадиры, носили короткие юбки поверх длинных штанов, и юбка этой женщины сильно задралась вокруг ее бедер.

- Я сантехник, и мне нужно проникнуть в ваш дом, чтобы измерить его, - сказал я.
- Ну что ж, сейчас внутрь ты не попадешь! – ответила она.

Голос у нее был сильный и звучный, и очень привлекательный.

- Почему нет? – спросил я. Но я произнес это не так сердито, как мог бы. Вся эта сцена и эта необычная женщина показались мне очень интересными – не с точки зрения сексуальности, просто я встретил интересного, полного жизни человека. И я не спешил заканчивать этот разговор.

Не торопилась с этим и она, как выяснилось позже. «Потому что сейчас перерыв на обед. Возьми свою еду и приходи посидеть со мной, расскажешь, откуда ты».

Разговор у нас вышел очень интересный. Звали ее Галя Заславская. Когда советская армия продвигалась по оккупированной нацистами той части Украины, где был ее дом, ее насильно эвакуировали в Вену, вместе со многими другими молодыми украинцами. Там их заставили работать на заводах, обслуживая немецкую военную машину. В этот период она хорошо освоила немецкий разговорный язык, и у нее появилось много подруг среди других австрийских работниц. После окончания войны она осталась жить в Вене со своими подругами. У нее была хорошая работа, и комфортная жизнь, но в то же время она скучала по дому. В 1948 году она начала переписываться со своей матерью, которая осталась на Украине. Мать умоляла ее вернуться. Она писала, что поговорила с официальными лицами, и те убедили ее в том, что ни о чем, относительно ее возвращения домой, волноваться не стоит. Галя вернулась. Ее арестовали и обвинили в предательстве. Причина? Она позволила нацистам насильно отправить себя в Австрию. Ей дали двадцать пять лет.

Она была очарована тем фактом, что я был американцем. «Я слышала, что тут есть девушка, в Никольском, которая влюблена в американца-заключенного. Ты об этом что-то знаешь?» - спросила она.

Однажды перед этим до меня доходили слухи о некоем американском полковнике, захваченном в Корее, который тоже должен был находиться где-то в Джебказгане, но я так и не смог его разыскать.

- У тебя есть какие-то подробности? – спросил я.

- Нет, - ответила Галя. – Посмотрим, может быть, смогу что-то узнать. Боже мой, я только что вспомнила! У нас же здесь тоже есть американка. Она так хорошо говорит по-русски, что я полностью забываю иногда, что она американка!

Галя вскочила со своего стула. Меня эта новость настолько ошарашила, что я едва мог сдвинуться с места. Около минуты я судорожно пытался сообразить, не может ли это быть моя сестра Стелла, даже несмотря на то, что она должна была бы находиться в безопасности в Англии. «Пойдем, пойдем, - скомандовала Галя Заславская. – Пойдем, ты ее увидишь! Она тоже из Нью-Йорка, как и ты!»

Я выбежал наружу вслед за Галей. Мы пробирались через завалы из досок, битых кирпичей и прочего строительного мусора, обычно имеющегося на стройплощадке, и,

наконец, подошли к группе женщин, которые сидели в кружке рядом с мешками с цементом и курили.

Галя выкрикнула:

- Эй, ты! Встречай своего товарища, соотечественника!

Худая, темноволосая девушка осторожно поднялась и подошла ко мне, протянув руку. Ее английский был безупречен.

- Здравствуйте, - произнесла она, - меня зовут Норма Шикман. Я из Бруклина, Нью-Йорк.

Меня охватило странное чувство. Раньше мне казалось, что любая американская женщина мгновенно меня очарует, но по отношению к Норме Шикман я ничего не почувствовал, кроме того, что мне было радостно поговорить о своем доме с кем-то, кто тоже был оттуда родом. Она преподавала английский в Москве, и ее арестовали за шпионаж. Ее история напоминала мою: отца, технического специалиста, пригласили в Москву по контракту, а затем забрали в армию. Мы с Нормой хорошо подружились и часто стали видеться друг с другом – как в лагере, так и позднее, уже в Москве, но ничего большего из этого не возникло. Я спросил ее, знает ли она что-либо про другого американца, который тоже должен был находиться в этом районе, и про ту девушку из Никольского, но она ничего не смогла на это ответить. Мы пожали друг другу руки, как если бы были мужчинами-приятелями, и я отправился на замеры своего дома. Я был уверен, что мы еще встретимся, а она обещала разузнать все, что можно, про другого американца в лагере.

Несколько недель спустя всем стало ясно, что наш подход к возведению водопровода был более эффективным. Начались разговоры о том, чтобы назначить Марголиныша бригадиром среди сантехников и распространить нашу систему на все остальные бригады. Я стал смотреть на все эти наши нормы более спокойно. В середине дня я устраивал себе перерыв, чтобы побродить по Никольскому, присматриваясь вокруг, встречаясь с людьми. Время от времени я брал с собой свою пайку хлеба и отправлялся к Гале Заславской, чтобы пообедать вместе. Однажды она сказала мне:

- Знаешь, Алекс, ты тут пользуешься большим авторитетом. У нас в библиотеке есть женщина, поэт, и она мечтает встретиться с тобой.

- Ты шутишь? Я даже не знал, что у нас тут есть библиотека.

- Да, есть. Зовут ее Руфь...

Несколько дней спустя, когда в женском лагере произошли некоторые неполадки с водопроводом и мне выдали пропуск для прохода за забор, чтобы починить трубы, под свои рабочие штаны я надел пару хороших брюк и захватил с собой обед. Как только протечка трубы была устранена, я спросил, где находится библиотека, и затем направился прямо в то здание, на которое мне указали.

Руфь я нашел внутри, в отдельно расположенном крыле здания, отданным под крошечную библиотеку. Она встретила меня очень радушно, сказав, что слышала о том, что я был начитан и у меня имеется много чего интересного рассказать об Америке. Мне все это очень польстило, и я даже не догадался спросить ее о том, от кого она все это услышала. Я предположил, что это была Галя Заславская.

- Вы не сделаете мне одолжение, чтобы вместе пообедать? - спросила Руфь. Очень формально.

- Конечно, мне будет очень приятно, - ответил я.

Мы прошли к ней в комнату, смежную с библиотекой. Комнатка была крошечной, но в ней разместилась маленькая плитка, и Руфь поставила на нее воду для чая. У меня было озорное настроение в тот момент, и я произнес:

- Вы не возражаете, если я сниму штаны?

Следом я принялся расстегивать пуговицы. Бедная Руфь. Я тут же пожалел о том, что сказал, так как она мгновенно побледнела, и губы ее задрожали. Позже она призналась мне, что подумала, что сейчас над ней совершат насилие. Я еле удерживался от того, чтобы не захохотать, с одной стороны, а с другой стороны чувствовал себя сконфуженным.

- Я имел в виду, что просто хочу их снять, чтобы мне было удобнее.

Эти слова возымели еще худший эффект. Я решил просто продолжать. Ее глаза расширились от ужаса в тот момент, когда мои рабочие штаны начали спускаться на пол. Потом она увидела чистые штаны под ними. Некоторое время мы оба не могли говорить от смеха. Я извинился за свою шутку.

- Вы понимаете, столько случаев насилия вокруг, - объяснила она. – Я не уверена, что смешать вместе мужчин и женщин было хорошей идеей. Некоторые из этих мужчин, они как дикие звери.

- Даже не понимаю, как у кого-то находятся на что-то эдакое силы, - ответил я.

- Ну, вы-то на вид вполне здоровы! - воскликнула Руфь, и тут же снова густо покраснела, а ее губы опять задрожали. – Я не это имела в виду, - продолжила она, извиняясь.

Так оно и было. Как оказалось, она страдала от жуткого одиночества, тоскуя по американскому полковнику Уолтерсу, с которым встречалась несколько месяцев в Москве перед тем, как ее арестовали за связь с этим полковником. Позже я узнал, что сотрудники КГБ во время допросов унижали ее, заставляя в самых подробных деталях описывать все свои сексуальные контакты с полковником Уолтерсом, с которым я как-то мельком встречался. Этот полковник и был причиной, по которой Руфь хотела меня видеть – так как я тоже был из Америки. Между мной и Руфью не было никакого флирта. Наши взаимоотношения были в то время и позже исключительно платоническими, и значительная часть наших разговоров касалась ее возлюбленного полковника. Мы стали хорошими друзьями. Руфь звала меня почаще заходить за книгами, и я так и делал, когда у меня находились силы и настроение, чтобы снова что-нибудь почитать. Позже, годы спустя, когда мы встречались в Москве в обществе членов нашего «профсоюза», наши с Руфью воспоминания о том, как я снимал штаны в ее комнате в Никольском, заставляли стены в квартире дрожать от всеобщего смеха.

Когда мы с Марголиншем принялись за установку наших подготовленных частей водопровода, то во втором доме столкнулись с бригадой электриков. Мне всегда нравилось наблюдать за работой того, кто действительно знает в своем деле толк – и тут я был очарован одной из женщин с гибкой и изящной фигурой, которая управлялась с проволокой, с кусачками и с плоскогубцами с необыкновенной скоростью и ловкостью. Из-под кепки у нее пробивался пучок светлых волос. Она на мгновение остановилась и сняла рукавицы, чтобы вытереть пот со лба – меня ужаснули отметины на внешних сторонах ее ладоней: они были в шрамах, как я предположил, от ударов током. Должно быть, она почувствовала, что кто-то наблюдает за ней сзади, потому что повернулась ко мне на короткое мгновение – и в это мгновение я увидел удивительное по красоте лицо; она бросила в мою сторону холодный, отчужденный и явно оценивающий взгляд. Глаза у

нее были темные, тогда они показались мне карими, так как брови над ними были, как ни странно, темно-коричневого оттенка, несмотря на волосы цвета светлого меда. Позже я обнаружил, что глаза у нее были темными, но темно-голубыми, почти черными. Больше таких глаз я не встречал нигде. Ее взгляд остановился на мне на какое-то мгновение, потом ее брови приподнялись, словно бы говоря – «Чего тебе? Проваливай!» - и она снова принялась за свою работу.

Я был приворожен. Мне было необходимо узнать, кто эта девушка. Мне показалось, что ей не более двадцати одного или двадцати двух лет. Губы у нее были полные и чувственные, а посередине подбородка – маленькая ямочка. Обычно я действую всегда очень целенаправленно и открыто, но в этот раз я чувствовал, что сначала надо произвести некоторую разведку. Я направился к Гале Заславской.

Галя рассмеялась. «Ты совсем не первый про нее спрашиваешь. Эта девушка – из Латвии, зовут ее Гертруда. Половина мужчин в лагере в нее влюблены, хотя и не обмолвились с ней ни словом. Но и тебе, друг мой, лучше бы об этом забыть. Они с ней не говорили, потому что она не дает никому приблизиться к себе. Ее зовут недотрогой, и она холодна, как лед».

Я не мог в это поверить. Я решил специально поработать в том здании подольше, находя причины, чтобы пройти мимо того места, где работала она, или чтобы установить трубу там, где она делала проводку. Я старался делать свою работу с усердием и ловкостью, когда она была в одной со мной комнате, и ни разу не попытался заговорить с ней. В один из дней, когда я стоял на коробке, пытаюсь прикрутить соединение трубы у себя над головой, орудуя при этом двумя тяжелыми разводными ключами одновременно, один из них выскользнул у меня из руки. Я стоял на одной ноге, придерживая трубу, и если бы спустился вниз за ключом, то все бы выронил. Так я балансировал на одной ноге, пытаюсь сообразить, что делать, когда Гертруда оставила свою работу и подбежала ко мне, протянув мне ключ. Я поблагодарил ее, в достаточно отчужденной манере, и продолжил свою работу.

Когда пришел обеденный час, мы сели на полу вместе и принялись есть свой хлеб, в молчании. Я старался не смотреть на нее, совсем не поднимать на нее взгляда, несмотря на то, что вид этих темных глаз у меня в голове заставлял ее идти кругом в попытках избегать этих самых глаз.

Внезапно она произнесла чистым, мягким голосом: «Откуда ты?»

Мое внутреннее напряжение разом спало, и я ответил, не думая: «Москва».

«Нет, я слышала, как ты говорил со своим напарником, - продолжила она. – У тебя небольшой английский акцент, не так ли?»

Я сказал ей, что я американец, из Нью-Йорка. Она посмотрела на меня задумчиво, и сказала, что всегда мечтала жить в стране, где человек сам может определять свою судьбу. Не обязательно в Америке, уточнила она – на самом деле, она мечтала о своей родине, в том положении, что предшествовало советской оккупации. Или о Франции, или Англии. Мы тут же погрузились в политические дискуссии. Гертруда и правда была очень холодна. Я осознавал, что если между нами и суждено будет завязаться некой дружбе, то на этот момент такая дружба должна будет ограничиться уровнем тех разговоров, с которых мы и начали. Ее очень вдохновляла мысль о том, чтобы уехать из Советского Союза. Ее родителей арестовали, так как они были кем-то вроде диссидентов, и Гертруду, которой тогда было всего четырнадцать, также арестовали вместе с ними. Она сказала, что ей всего восемнадцать. Я был очарован. Она сняла свой рабочий халат на время обеда – в маленькой комнате было довольно тепло – и я увидел, насколько изысканной была ее фигура. Я понимал, что не могу удержать себя, чтобы не влюбиться без памяти, и в то же самое время мне нужно было проявлять сдержанность.

«Тебе нужно понять, что я очень цинично сужу о людях, - произнесла она с холодной печалью в голосе. – Многие мужчины пытались со мной подружиться, и я им доверяла, пока не нашла, что все, чего они хотели – это переспать со мной. Тот же опыт был у меня

и с женщинами. Знаю, что все говорят, что я очень холодная; да, это так. Мне причинили немало боли в моей жизни, и теперь я решила быть очень осторожной».

И, тем не менее, со временем, если я не искал ее компании в обеденный перерыв, то она искала меня. Мы начали говорить, довольно туманно, о будущем, в котором мы оба будем вне Советского Союза, в некоей стране, где каждый может сам строить свою жизнь. В этих разговорах присутствовали только очень слабые намеки, как с моей, так и с ее стороны, о том, что это будущее, возможно, мы сможем построить вместе. Но было совершенно ясно, что в лагере наши отношения могут быть только исключительно духовными. И эта духовная привязанность между нами стала очень сильной. Но в то же время передо мной вставала сложная дилемма. По мере того, как я становился все сильнее и был все менее изможден, сексуальное влечение внутри моего двадцативосьмилетнего организма, находящегося в окружении множества привлекательных женщин, все возрастало, и достигло уже своего пика. И, в то же самое время, я не хотел никого, кроме Гертруды.

На день или два я был избавлен от поисков решения своей дилеммы в результате нового счастливого стечения обстоятельств. Однажды вечером, вернувшись в свою комнату, я застал там ожидающего меня Лавренова.

- Как дела? – спросил он меня.

- Очень хорошо, гражданин начальник. Как у вас?

- Ну, есть кое-какие проблемы. Поэтому я и пришел тебя проведать. Нет ли у тебя тут чего-нибудь выпить?

- Сожалею, гражданин начальник, у нас ничего нет.

- Ну, неважно. Я пришел сказать, что у нас так много случаев небольших травм, простуд, инфекций и так далее здесь, в Никольском, что нам приходится использовать слишком много транспорта, чтобы привозить всех этих людей в госпиталь. От женского лагеря в Кенгире сюда направили фельдшера, чтобы обслуживать женскую часть. И вот я хочу назначить тебя присматривать за мужской частью. Ты согласен?

Согласен ли я? Это означало меньше утомления, более интересную работу, намного больше свободы, чтобы передвигаться по округе. К тому же, я полюбил медицину, и, на самом деле, наслаждался своей ролью в качестве «доктора».

Лавренов сделал все распоряжения. Несколько дней я был занят тем, что обустроивал свою маленькую клинику прямо в квартире и заготавливал для нее все необходимое. На третий день я сделал перерыв и отправился на поиски Гертруды, чтобы рассказать ей о моем счастливом назначении. Никто не знал, где она была. Так получилось, что мне потребовалось пройти внутрь женской закрытой части в тот день, поэтому я прихватил свой хлеб и отправился в библиотеку.

Руфь пригласила меня в свою маленькую комнатку и поставила чайник. В глазах у нее играл какой-то хитрый огонек. Она достала две только что сваренные картофелины, свежий помидор и зеленую луковицу. Как она с усмешкой объяснила мне, это все принес ей некоторый любитель чтения. Руфь приготовила для нас из этих простых ингредиентов настоящее угощение. Наконец, я спросил у нее, чему она так улыбается.

- Я то уж думала, что ты никогда не спросишь, - ответила она почти кокетливо. – Видишь ли, я узнала, кто тот другой американец заключенный, и что это за девушка, что в него влюблена.

Я почти пролил свой чай.

- Кто! - закричал я.

- Заключенный американец – бывший сотрудник посольства Соединенных Штатов в Москве, - триумфально заявила она.

- Руфь, ради Бога, кто это? Хватит меня мучить. Как ты все это узнала?

- Я узнала это от девушки, которая в него влюблена. Она не видела его с последнего концерта культбригады. Ее зовут Зоя Тумилович! – на этих словах Руфь закатилась от смеха.

Зоя! Я знал, что если найду Зою, а также некий способ сблизиться с ней, моя дилемма будет решена. Гертруда может быть моим будущим, но мои потребности в настоящем проявляют себя слишком остро. Руфь объяснила мне, где Зоя работает, и я сразу же отправился на ее поиски. Наконец, я встретил ее на улице. Проявить свои чувства демонстративно там было невозможно, но Зоя знала, как показать то, что она чувствует, через свой взгляд. Наша встреча продолжалась всего мгновение, все кругом смотрели на нас, но в этот момент все обещания были сделаны, ни говоря ни слова, и теперь нужно было только найти момент для уединения.

Когда я вернулся в свою клинику, там меня ожидал Лавренов. В комнату были внесены шесть кроватей, чтобы соорудить маленький изолятор, и Лавренов проверял мои медицинские запасы. У меня было в достатке простых медикаментов, а также некоторые сердечные препараты, множество шприцов, шины и биндажи, йод и аспирин, а также глюкоза для внутривенного вливания. Лавренов предложил мне перенести мою кровать в приемную комнату, чтобы всегда находиться поблизости от пациентов, когда они у меня будут лежать в изоляторе. Также он прислал мне в помощь санитаря, который уже усердно все мыл и чистил.

- Думаю, тебе надо бы познакомиться с фельдшером из женской части, - сказал Лавренов. – В случае острой необходимости, когда не будет возможности ждать Адарича или еще кого-то с зоны, ты бы мог звать ее. Она работает всего в нескольких минутах ходьбы отсюда. Я сказал ей подойти к тебе сегодня, во второй половине дня. Следи за ней. Она с норовом. Во время войны она работала на немцев. Не знаю, так это или нет, но говорят, что она проводила для них некоторые эксперименты на заключенных. Будь осторожен.

Я обещал, что буду.

Около трех часов дня дверь отворилась, и в мою маленькую клинику вошла броская темноволосая женщина с ярко-красными губами и сверкающим взглядом.

- Меня зовут Ирина Копылова, - заявила она. – Так как мы теперь будем коллегами, я решила, что нам следовало бы узнать друг друга. Можешь сделать чай?

Мне пришлось извиниться – кроме горелки у меня пока ничего не было.

- Неважно, - ответила она, и произвела на свет из своей сумки небольшую бутылку чистого спирта, немного белого хлеба, а также маленькие баночки с маслом и вареньем. Потом она намазала хлеб на масло, размешала ложку варенья в небольшом количестве воды и добавила в нее хорошую дозу спирта.

- Давай! – скомандовала она, разливая розоватую смесь по двум медицинским стаканчикам. – Мы же всегда сообразим, когда хотим, не так ли?

Мы выпили за здоровье друг друга. Ирина пригласила меня присесть, в то время как сама она ходила взад-вперед по клинике, не отрывая от меня своих глаз.

- Я слышала, что ты американец.

- Да, это правда.

- Хорошо.

Долгая пауза. Она взяла стул и пододвинула его вплотную к моему, усевшись так, что ее колени касались моих.

- Думаю, что мы с тобой станем очень хорошими коллегами, Алекс, - произнесла она. – Буду с нетерпением ждать, когда мы сможем очень близко поработать вместе.

Не зная, что ответить, я просто поднял свой стакан, отдал ей салют и выпил до дна. Она тотчас же наполнила его снова.

- Пользуясь своим положением, я могу добывать пропуски для тех, кому нужно попасть внутрь женской зоны, - сказала она. – И у меня там есть очень приватные уголки. Возможно, ты захочешь как-нибудь туда наведаться, чтобы сделать ответный визит?

Я ответил, что очень бы этого хотел. Эта женщина заставляла меня ужасно нервничать, и в то же время ее откровенные сексуальные намерения меня очень возбуждали. Также я подумал, что пропуск в женскую зону поможет мне решить проблему свиданий с Зоей, а это стоило того, чтобы использовать мои шансы с доктором Копыловой. Несколько дней мне удавалось пользоваться пропуском, который пришел ко мне в тот же день нашего с ней разговора, уклоняясь от встречи с похожей на тигрицу женщиной-врачом. Мне удалось попасть в здание, где жила Зоя, под предлогом поиска некоего пациента. Я был облачен в свой лабораторный халат, со стетоскопом на груди. Мое появление произвело всеобщее возбуждение. Каждая женщина, что попадалась мне на пути, восклицала: «О, доктор, вы не могли бы послушать мою грудь?» И так далее. Вошла Зоя, и мы провели немного чудесного времени наедине, яростно обнимая и целуя друг друга – так жадно, что, кажется, были готовы взорваться. «Мой дорогой Александр! – произнесла она, затаив дыхание. – Я пытаюсь договориться с одной из своих соседок по комнате. Подожди пару дней, мой хороший! Мы найдем способ!» И потом я вынужден был ускользнуть.

Марголинш пришел проведать меня. Теперь он официально был назначен бригадиром водопроводчиков, но у него были новости и поважнее, как он заявил мне.

- Ну? – спросил я.

- Не здесь! Не здесь!

Мы находились в изоляторе, вместе с тремя или четырьмя пациентами, которые лежали у меня в кроватях с горячкой и с кишечными расстройствами. Марголинш поманил меня пальцем пройти с ним в смотровую комнату. Мы прошли туда, прикрыв за собой дверь.

- У меня есть женщина!

Он провозгласил это так, словно бы речь шла об объявлении войны, очень яростно. Я поздравил его с этим достижением и спросил, кто это.

- Санитарка у твоей знакомой, женщины-врача! – продолжил он возглашать в апокалипсической манере.

Кажется, что сочетание возможностей проникнуть в святая-святых, врачебную часть, и осуществить в то же самое время исполнение своих сексуальных желаний настолько вскружило ему голову, что это стало для него событием космического масштаба.

- Женщина-врач приглашает нас всех на вечеринку! – прогудел он, не обращая внимания на тот факт, что дверь, которую он так предусмотрительно закрыл, была сделана из тонкой фанеры. - Завтра в полдень! Она выдала мне пропуск для проведения работ в ее здании! Доктор! Доктор! Это будет рай! Я знаю, знаю! Я же говорил тебе – только подожди! Только подожди!

И, пританцовывая, он покинул клинику.

Во второй половине дня я получил записку от Ирины, в которой подтверждалось ее приглашение.

Все мы собрались у нее в клинике ровно в полдень. Марголиньш раздобыл где-то темный, в полоску, пиджак, на два размера меньше своего размера, который он застигнул на все пуговицы – так, что живот у него был туго стянут в обхвате. Санитарка оказалась такой же рослой, как и Марголиньш, но намного шире его. Она вся раскраснелась, и на лице у нее застыла торжественная, смущенная улыбка; она почти ничего не произнесла. Усы у Марголиньша были плотно закручены и торчали прямо, как карандаши.

Ирина распорядилась, словно в армии. Она сказала каждому из нас, где ему сесть, затем намазала масло на хлеб, положила сверху кусочки копченой сосиски, и приказала съесть – голосом, не терпящим возражений. Потом она наполнила четыре стакана розовой смесью варенья и спирта с водой – хотя я сомневаюсь, что в моем стакане было хоть немного воды. Каждый раз, когда она приближалась ко мне, ее дыхание становилось тяжелым. При этом она всякий раз касаясь меня – или проводя своей рукой по моей, или прислоняясь своей грудью к моей руке, наклоняясь, чтобы наполнить мой стакан. Я шел на эту встречу с намерением ее выдержать и уйти, поддавшись в результате не более чем на некий флирт. Но все эти провокации и повторяющиеся порции розовой жидкости, которую она подливала мне в стакан, сокрушили мою первоначальную решимость. Я помню, что после этого торопливого угощения, во время которого Марголиньш хищно поглощал свой хлеб с мясом, сжимая рукой талию раздумывавшейся нескладной санитарки, Ирина внезапно скомандовала ей, чтобы она удалилась с Марголиньшем в другую комнату, а также чтобы она удостоверилась, что все пациенты оповещены о том, что клиника закрыта до дальнейшего распоряжения. В тот момент, когда дверь за ними закрылась, мы с жаром кинулись друг к другу в объятия. Для меня прошло уже почти семь лет – даже не знаю, сколько это было для нее. Какое-либо благоразумие и чувство щепетильности уступили место яростному желанию осуществления простой физической необходимости. Она не стала тратить времени на то, чтобы раздеться; мы жадно целовали друг друга в губы в то время, как ее руки спустились вниз, нашли и расстегнули мою одежду. В следующий момент она толкнула меня на стул и бросилась на меня сверху. Спустя несколько минут все было закончено. Бессмысленно, но необходимо, подумал я – здесь чувство стыда и удовлетворения смешались друг с другом. Взяв небольшую паузу, чтобы придти в себя, Ирина поднялась из своего положения верхом, оставив меня на стуле, быстро подчистилась, поправила прическу, посмотрелась в зеркало, наградила меня некой одобрительной улыбкой – как если бы я исполнил небольшое, но важное поручение должным образом – убедилась, что моя одежда была в порядке, и открыла дверь. Затем она вышла со мной в другую комнату, а Марголиньшу с его санитаркой указала пройти внутрь.

Глаза у Марголиньша были влажными и светились от счастья, а улыбка растянулась так же широко, как и его усы. Дверь закрылась. Из-за нее раздались стоны, звуки некой возни, а потом все надолго затихло. Затем послышались приглушенные голоса – ее голос

звучал немного капризно, его же тон, как мне показалось, был извиняющимся. Но слов мы расслышать не могли.

Время шло. Ирина начала ерзать на своем месте. В ящике своего стола она нашла немного табака и приказала мне свернуть сигаретку. Мы оба закурили, долгими затяжками, медленно выпуская дым, и ждали.

К входной двери подошла женщина:

- Доктор Копылова, у меня...

- Закрой дверь. Клиника закрыта еще на полчаса! – резко оборвала ее Ирина. Женщина ушла.

Наконец, внутренняя дверь открылась. Из нее показался Марголиньш со своей подругой – оба выглядели несчастными. Они не смотрели ни друг на друга, ни на нас с Ириной.

Марголиньш быстро собрал свои инструменты, отвесил нелепый поклон своей подруге и выбежал прочь. Мы с Ириной обменялись понимающими профессиональными взглядами. Санитарка бросилась в слезы и исчезла в комнате для осмотра.

Я повесил стетоскоп на шею, мы обменялись с Ириной рукопожатием, я поблагодарил ее заплетающимся языком, и направился гордой, насколько я мог это изобразить, походкой обратно к себе в комнату для осмотра – добравшись до нее, я указал санитару закрыть дверь, сославшись на то, что мне нужно провести некий эксперимент. Затем я растянулся на своей маленькой кушетке и предался двухчасовому крепкому сну.

Марголиньш был в клинике через полчаса после начала вечерних часов приема пациентов. Я был удивлен, что это заняло у него так долго.

- Доктор, доктор! Это был не рай. Это был ад. Думаю, что я покончу самоубийством, если ты мне не поможешь. Что мне делать?

Я улыбнулся ему. К этому времени для меня это было известной проблемой, про которую я прочел все, что только смог, и которую обговаривал с Адаричем во многих случаях.

Нечто вроде импотенции по причине романтической задержки. Столько заключенных жаловались на это явление после своего освобождения и первого опыта с женщиной, что я, откровенно говоря, опасался за свою рабочую квалификацию – и, возможно, меня спасло лишь розоватое снадобье СНЗСН2ОН по рецепту доктора Ирины. Виктор спустя несколько месяцев после освобождения встретил женщину, которую очень полюбил и женился на ней, но их первая ночь была ужасна. У него, как и у Марголиньша, возникли мысли о самоубийстве, когда он пришел ко мне тогда. Марголиньшу я прописал все то же лечение: шесть капель настойки стрихнина на стакан воды, с условием, что он придет за еще одной порцией перед ожидаемым сексуальным контактом. Более важной частью терапии была хорошая доза ободрения, а также объяснение того, как повышенное ожидание и нетерпение могут разрушить все в первый же раз. От меня требовалось также внушить ему четкое понимание того, что положение человека в качестве заключенного в течение такого долгого времени служит безусловным его оправданием, и что этот опыт вовсе не означает, что его мужская сила утрачена навсегда.

Марголиньш вернулся за второй порцией стрихнина спустя несколько дней. Больше она ему не понадобилась – и каждый раз, когда я встречал его с тех пор, он улыбался, напевая себе под нос некую латышскую песню. Розовощекую санитарку я также встречал несколько раз, и она выглядела также вполне удовлетворенной. Мои взаимоотношения с доктором Ириной Копыловой были, после той нашей встречи, исключительно профессиональными и немного отчужденными, хотя и не были мне неприятными. Она подыскала себе русского бывшего армейского сержанта, которому нравилось исполнять приказы, а я вернулся к поискам возможностей, которые бы позволяли мне проводить побольше времени с Зоей, с нетерпением ожидающей нашего свидания.

В конце концов, это оказалось легким и совсем несложным. Для Зои, с ее открытой и щедрой душой, не составило особого труда уговорить двух своих соседок побыть на карауле, в то время как мы занимались любовью у нее на квартире. Вероятно, большинство женщин в здании знали об этом, но никто нам и слова не сказал. Кровать Зои ужасно скрипела, и нам пришлось бросить матрас на пол – но это было неважно. Мы оба хорошо осознавали, что происходит. Это совсем не было влюбленностью – просто мы распознали друг в друге сильную взаимную физическую страсть, а также некую гармонию в нашем стремлении к тому, чтобы делить друг с другом удовольствие от этой страсти. Все это не осложнялось какими-либо душевными порывами. Никаких глубоких вздохов или еще чего-то – просто физическое наслаждение и радость от проявления нежности. В наших судьбах уже так давно не было хотя бы немного этой драгоценной нежности. Вскоре Зоя подружилась с женщиной-охранником, а я раздобыл некоторый запас больничного спирта, что смог утаить от Лавренова, который теперь, в качестве моего начальника, должен быть присматривать за двумя госпиталями. Я передавал Зое маленькие медицинские бутылочки каждые несколько дней, а она отдавала их той женщине из охраны, что закрывала глаза на отсутствие Зои в зоне по ночам. В течение некоторого времени мы проводили вместе почти каждую ночь. Мы уходили подальше от жилых строений, находили стопку мешков в сарае с инструментами, или брали с собой телогрейки, чтобы расстелить их где-нибудь. Раз или два мы смело ушли на несколько километров в степь и предались любви прямо под невероятными звездами пустыни. Я чувствовал некоторую неловкость в том, что касалось Гертруды. В то же время я был молод и настроен достаточно романтично для того, чтобы полностью разделять для себя те возвышенные и исключительно духовные отношения, что связывали меня с ней, и легкие, плотские и не осложненные ничем иным встречи с Зоей. Зоя и я – мы были честны друг с другом. Мы знали, для чего мы нужны друг другу, и находили это совершенно приемлемым. Мы искали наслаждение в телах друг друга и не пытались строить предположений о каком-либо совместном будущем. Мы бы никогда не смогли жить вместе, и мы осознавали это вполне.

С Гертрудой же, однако, мы начинали все чаще и больше говорить о том, как нам найти способ быть вместе «после». Я предавался бесконечным фантазиям относительно того, чтобы взять ее в Америку, увидеть с ней Великие озера и Ниагарский водопад, а также Гранд Каньон, и, конечно же, побродить вместе по улицам Нью-Йорка, который теперь казался таким далеким. Ни в одной из этих фантазий не присутствовал секс. Для меня Гертруда была воплощением чистоты в человеке, и находилась где-то вне секса. Я знал, что когда, в один из дней, мы выберемся отсюда вместе, и у нас будет свободная жизнь в свободной стране, то мы поженимся, и у нас будут дети – но в этих мыслях не было ничего от Зои; все это находилось на другой планете. Мы говорили друг с другом все больше каждый раз, как встречались. Гертруда стала более живой в общении со мной, и в этом общении появилась теплота, но мы только держали друг друга за руки, не больше.

В Кенгире для женщин-медиков был устроен семинар, куда пригласили доктора Копылову. Ко мне пришел Лавренов и объявил, что мне придется взять на себя женскую клинику на несколько дней. Женщины настолько изголодались по мужскому прикосновению, что во время моего там пребывания посещаемость клиники утроилась. Многие из них хотели, чтобы я послушал у них грудь. Я никогда раньше не работал, как медик, с женщинами, и меня это все ужасно смущало, но я никогда не выгонял их и не насмехался над ними, даже тогда, когда было понятно, что причина обращения ко мне – исключительно недостаток внимания. Бог знает, что это было действительно им необходимо. Я прописывал им пару капель чего-либо – или немного аспирина, или

валерианы, которая хорошо успокаивает – и говорил им придти в следующий раз. Интересно, что в своем состоянии повышенной сексуальной возбудимости и сексуального аппетита я ни разу не почувствовал намерения воспользоваться этими бедными женщинами, и я ни разу не сделал этого.

Самое большое замешательство я испытал тогда, когда у меня на приеме появилась Галя Заславская. У нее была почечная инфекция, и ей требовались инъекции пенициллина. Ирина оставила для меня ее историю болезни для изучения. Галя пришла в клинику и отказалась снять свои штаны для инъекции. Я пытался ее уговорить, но в результате мне пришлось накричать на нее, приказав хотя бы приспустить край своего нижнего белья, чтобы я мог сделать укол в верхнюю часть бедра. Ей требовалось делать укол каждые три или четыре часа, и каждый раз она противилась тому, чтобы спустить свои брюки. Над этим эпизодом мы также впоследствии немало хохотали, годы спустя, в Москве, когда Галя Заславская и ее муж стали особо доверенными членами из кружка нашего «профсоюза».

Когда бы у меня не объявлялся Лавренов, он либо уже был навеселе, либо ему требовалось выпить. К этому времени мы были друг с другом на дружеской ноге, но наши разговоры становились все менее и менее частыми. Если он не заходил, то от него я не получал никаких вестей, и, судя по всему, тех записок, что я ему слал, он также не получал. Когда же он заходил, то с трудом вспоминал, о чем мы говорили ранее, и в особенности он был забывчив относительно моих просьб, связанных со снабжением медицинскими препаратами.

Благодаря своей бывшей практике с Адаричем и Ациньшем, я уделял значительное внимание терапевтическому эффекту инъекций различного рода. Но шприцов не хватало, и, несмотря на то, что я был очень аккуратен, всегда определенное их количество пропадало – какие-то ломались, какие-то крали. А Лавренов никогда не помнил о том, что мне требуются шприцы.

В один из дней я решил, раз я был «свободен», отправиться в город Джезказган самостоятельно, чтобы посмотреть, можно ли купить в местной аптеке шприцы. У меня имелось некоторое количество собственных денег, которые все равно не на что было потратить, и я решил устроить собственные запасы, надежно закрыв их от посторонних. На следующей встрече с Лавреновым я поднял этот вопрос, он дыкнул на меня перегаром и дал свое разрешение. Я разузнал, что машина скорой помощи в один из дней совершит круговую поездку, выехав из нашего поселка в город, потом отправившись в другие лагеря, и затем вернется обратно, проехав мимо Никольского затемно тем же вечером. Я попросил водителя подвести меня до города, и тот согласился. Он высадил меня в районе рынка, и мы договорились, что встретимся на этом же месте вечером в пять часов.

Рынок в Джезказгане представлял собой подобие большого двора, окруженного пыльными желтыми двухэтажными каменными домами. В центре несколькими рядами тянулись столы с навесами на столбах, под которыми размещался выложенный товар. Казахские женщины бродили между прилавками, раскладывая куски сырой ягнятины, сушеное мясо и лепешки. Когда им требовалось сходить по малой нужде, они просто присаживались на корточки на улице – поэтому на улицах городка стоял сильный запах человеческой мочи. Я заметил аптеку наискосок через площадь и направился к ней. Было позднее утро. Жара стояла выше 30 градусов, и вокруг почти никого не было. Только подойдя к аптеке, я сразу наткнулся на трех своих знакомых: Феликса Запорожца¹, Георгия Жорина, и еще одного, которого я лечил в зоне, но имени его не помнил. Они очень тепло меня поприветствовали – их недавно освободили, сроки у них кончились, но

¹ Отец Феликса Запорожца, Иван, был заместителем начальника ленинградской тайной полиции (НКВД), и был обвинен в убийстве главы ленинградского партийного комитета, Сергея Кирова, в 1934 году. Позже его и его жену расстреляли. Феликса, бывшего тогда подростком, отправили в трудовые лагеря. – прим. автора.

оставался период ссылки, который они должны были отбыть в Джезказгане, где работали на разных стройках в качестве вольнонаемных.

- Привет, Док! Куда направляешься?

- В аптеку, надо купить немного шприцов, - ответил я.

- А, к черту шприцы, пойдем, выпьем и отметим! Сколько не виделись!

И т.д., и т.д.

Да – правда, мы долго не виделись, хоть эти ребята и не были моими особенно близкими друзьями. Но вот я был здесь, снова на свободе, и идея выпить звучала очень заманчиво. Что-то внутри меня говорило: «Помни прошлый раз!» - но я был уверен, что смогу удержать контроль над собой, и поэтому сказал: «Конечно, пойдем, выпьем».

- Тогда, значит – в аптеку! – провозгласил Жорин.

Я не понял этого.

- Нет, - сказал я. – Я согласен. Давай лучше выпьем.

- Правильно, - ответил Жорин. – В городе водки нет, поэтому нам придется пить духи.

От этой мысли на этой удушающей жаре в желудке у меня сделалось нехорошо. Я вспомнил, как те, кто напивался духами, уходили в туалет, и после них все здание пронизывал отвратительный запах испражнений, смешанный с ароматом духов.

- Нет, это не для меня, спасибо! – ответил я.

- Да ладно, Док! – произнес Феликс Запорожец. – Мы отнесем это домой и размешаем кое с чем, ты даже не почувствуешь запаха духов. Эй, ну ты же наш приятель! Пойдем!

К счастью, в аптеке духов не оказалось, по причине нехватки в городе водки. Я испытал облегчение, когда мы вышли наружу. В кармане я придерживал рубли, на случай, если нам где-нибудь попадетсЯ водка. И в этот момент Жорин сказал: «Эй, смотри-ка, кто опять в деле!»

Речь шла о грузине, торговавшем морсом. Моих друзей он, судя по его приветствию, знал очень хорошо. Морс – это такой подслащенный клюквенный напиток. «Морс!» - провозгласили парни, и направились через площадь к маленькому прилавку. У грузина были густые черные брови и крючковатый нос, свешивавшийся почти до подбородка. Он встретил нас очень радостно. Налив большие кружки морса, он затем произнес: «Ну, братья, не хотите ли теперь напитка под номером один? Конечно, у меня лучший морс в мире, но если вы хотите его немного подкрепить, у меня есть также отличная чача». Чача – это грузинский самогон. Я его раньше никогда не пил. Мы все сказали чаче «да». Грузин поднырнул под прилавок и произвел на свет бутылку почти прозрачной желтовато-молочной субстанции. Он щедро разлил ее по всем кружкам из-под морса. Вкус был ужасен. Меня чуть не стошнило.

- Не самая лучшая чача в мире, - продолжил грузин, вытирая руки о свой белый передник.

- Но точно лучшая из тех, что вы сможете где-либо найти. Вот, еще немного.

Мы выпили еще. Я обрел некоторый контроль над своим желудком. Грузин настороженно поглядывал по обеим сторонам улицы каждый раз, как подливал нам свое пойло – но нас ничто не тревожило. Снова и снова Жорин просил грузина просто дать нам пару бутылок, чтобы взять их с собой к нему на квартиру. Грузин каждый раз раздражался причитаниями о том, насколько это для него опасно – продать нам целую бутылку чачи – его за это

заберут, и т.д., и т.п. Но мы были настойчивы. В конце концов, мы заплатили за его бутылку в три раза дороже обычной цены такого нелегального пойла. Затем мы направились в квартиру Георгия Жорина, где радостно и от души напились.

Внезапно я вспомнил про пять часов. Ребята помогли мне вернуться обратно на базарную площадь. Я был хорошо навеселе, и свалился на землю прямо перед машиной скорой помощи. К счастью, у машины оказались хорошие тормоза. Я вернул себя в вертикальное положение и обратился к водителю: «Едем назад?» У водителя на лице играла усмешка – думаю, выглядел я довольно забавно. Но он ответил: «Конечно. Запрыгивай».

В тот момент, когда я захлопнул заднюю дверь машины, в которой, кроме водителя, никого не было, он нажал на газ и помчался с невероятной скоростью. Мне пришлось вцепиться в носилки и висеть на них, пока машину швыряло из стороны в сторону по этим мерзким дорогам. Шторки на окнах были опущены, и я не видел ничего снаружи. Я был уверен, что буду чувствовать себя мерзко к концу поездки, и не мог понять, почему она длится так долго. Затем – после, как мне казалось, часа поездки, хотя на самом деле она заняла, по всей видимости, менее сорока минут – мы остановились, и водитель провозгласил: «Приехали. Все – на выход».

Я практически выкатился из задней дверцы и плюхнулся в пыль, чувствуя себя ужасно. Потом я услышал, как машина уезжает. Потом я понял, что это была совсем не пыль, в чем я лежал – это была асфальтированная дорога. В Никольском, как я помнил, асфальтированных дорог не было – только пыль. Некоторое время я бродил по округе, рассматривал здания и уличные указатели: «Рабочий клуб», Пролетарская улица, улица Коммунистического труда. Все улицы – асфальтированные. Приятный город. Наконец, я увидел табличку: «Городской рынок». Сукин сын привез меня обратно на то же самое место. Я пошел на рынок. Нет, рынок другой. Какое-то другое место. Где я, черт побери? Эта мысль заставила меня протрезветь. Мимо проходил человек.

- Извините, товарищ, не могли бы вы сказать мне, где я?
- Прямо тут, - ответил он грубо, продолжая идти своей дорогой.

Я последовал следом.

- Какой это город?
- Тот же самый.

По его выражению было видно, что я вызываю у него отвращение.

Наконец, я узнал, что нахожусь в Кенгире. До Джекказгана было 27 километров, а Никольский находился где-то между ними.

Темнело. В девять должна была быть перекличка. Они отметят меня отсутствующим, и моему пропуску придет конец.

Опять на дороге, иду вперед так быстро, как только могу. Идти всю ночь, если придется – и притвориться невинно спящим на рассвете. Может, мне это сойдет с рук.

Мимо проезжает колонна грузовиков. Ослепительный свет фар. Поднимаю руку, прошу подбросить. Грузовик останавливается. «Залезай», - кричат мне.

Я залезаю.

Потом бросаю взгляд на человека. Сразу трезвею: полковник МВД. Его знаки различия читаются в свете от панели приборов. Водитель включает передачу, и колонна отправляется дальше. «Откуда ты?» - спрашивает полковник дружелюбно.

Я сделал фатальную ошибку. Конечно, мне следовало обратиться к нему «товарищ», но лагерная привычка, выработанная за много лет, взяла свое.

Я сказал:

- Гражданин полковник, я живу здесь, в Кенгире. Направляюсь в Джезказган навестить друзей.

Полковник поджал губы и взглянул на меня с хитринкой в глазу. Затем он постучал по крыше кабины. Едущий снаружи солдат заглянул в окошко. Полковник сказал ему что-то, а потом что-то – шоферу. Мне не было слышно. Через несколько минут грузовик остановился перед высокими воротами с вышками по сторонам.

- Ты заключенный, - произнес полковник. – Я всегда могу вас узнать.

Охранникам он приказал кинуть меня в камеру до утра, когда он придет на меня посмотреть.

Они меня продержали там весь следующий день. Я умирал от ожидания. В животе у меня все сводило.

Наконец, полковник послал за мной. Оказалось, что он был начальником по безопасности всего Карагандинского района, включая Джезказган, Кенгир и многое другое. Я сорвал настоящий джек-пот!

Я сказал: «Да, я заключенный. Я работаю врачом в поселке Никольский. У меня не было шприцев, и я поехал в Джезказган. Я собирался купить шприцы на свои собственные деньги. Там я встретил старых лагерных приятелей. Они меня напоили какой-то дрянью. Я бы к ней не притронулся, если бы знал заранее. От нее мне стало нехорошо. Я никогда так не напивался. Мне очень стыдно. И я очень беспокоюсь за своих пациентов».

И много еще подобных красивых слов. Возможно, это сработало в какой-то мере.

Полковник сказал мне, что был уверен в том, что я планирую совершить побег через Кенгир, служивший большим железнодорожным узлом. Но теперь он собирался обвинить меня только в пьянстве, и это означало, что на моем пропуске ставится крест. Он вытащил пропуск из маленькой папки, которую составили на меня.

- Пожалуйста, не зачеркивайте его!

- Именно это я и сделаю, - ответил он.

Он поставил два жирных креста чернильной ручкой поперек моей фотографии и всего остального. На обратной стороне он написал: «Лишить любых пропусков навсегда». Это было чем-то вроде смертного приговора.

Когда я вернулся в лагерь, то вначале мне удалось уладить дела с охранником, не досчитавшимся меня на перекличке. Я сказал ему, что Лавренов разрешил мне покинуть территорию, и что я был у пациента в другом лагере, и так далее. Удивительно, но мне это сошло с рук. Но я знал, что если они когда-нибудь спросят о том пропуске и увидят, что на нем написано, меня ждут крупные неприятности – поэтому на следующий день я его сжег.

Как я узнал впоследствии, я был объявлен в розыск, и задавались вопросы, но Лавренов, который, вероятно, не был уверен в том, что за разрешение он мне в свое время давал, вступился за меня. И, если бы не юбилей Октябрьской революции, то со мной бы, вероятно, все было бы нормально – потому что все то время, что я был в Никольском, никто ни разу не спрашивал у меня этот пропуск.

В среде лагерной администрации присутствовала нервозность относительно того, что празднование октябрьской годовщины может стать спусковым крючком для мятежа или восстания, и за неделю перед праздниками нас всех отправили обратно в Зону, где нам пришлось жить в перенаселенных бараках. Конечно, когда пришло время отправляться обратно в Никольский, мне нечего было предъявить в качестве пропуска. Я думал, что мне и это сойдет с рук. Но Волошин – лагерный «кум», однажды уже поймавший меня,

когда я напился – лично допросил меня. Он был уверен в том, что я продал свой пропуск, или отдал его кому-то другому.

Им было известно, что два дня я отсутствовал, и что Лавренов не дал хода этой информации. «Ты знаешь, - сказал Волошин, - что в отношении тебя есть открытое дело. Мы всегда можем обвинить тебя в попытке побега. Единственный способ, которым ты можешь себя защитить – это говорить правду».

У меня имелись свои представления о том, как эти сволочи относятся к правде. И о том, как они обращаются с теми, кого они вынудили давать признательные показания. Но я не видел другого выхода. Я рассказал ему о чаче, не приводя имен. И добавил: «Смотрите, я все это время не бродил где-то по округе. Я был в вашей же тюрьме, в Кенгире. Наведите справки».

Он проверил. После этого его настрой в отношении меня смягчился – единственным пунктом преткновения оставалось то, что я не мог произвести на свет свой пропуск. Я не сказал ему о том, что пропуск был отменен начальником по безопасности, и я надеялся, что он никогда этого не обнаружит. Но он просто сказал: «Заклученный, больше пропусков не будет».

И я больше так и не попал в Никольский.

Хуже всего было то, что я не мог видеться с Гертрудой и не имел возможности заниматься любовью с Зоей. Я писал им обеим при каждой возможности. Я посылал письма вместе с водителями грузовиков – Зоя писала мне часто, ее письма были наполнены теплом и страстью, воспоминаниями о ночах под звездами, и она писала, как скучает по мне, и так далее. Гертруда писала печальные письма о том, что еще пройдет долгое время перед тем, как она когда-либо увидит свободу, и о своем намерении найти способ покинуть эту страну. Иногда в этих письмах появлялись смутные отсылки к будущему, в котором был и я. Эти слова дарили мне огромную надежду.

Когда я писал Зое, мои письма начинались так: «Моя дорогая, любимая Зоя». К Гертруде начало всегда было таким: «Моя дорогая, драгоценная Гертруда».

Меня отправили обратно в ДОЗ. Теперь я был намного более компетентным и осторожным, и вскоре приступил к работе на токарном станке с пятью скоростями, вытачивая на нем детали с определенной степенью точности. Работа была не так уж плоха, но опять я был вынужден маршировать в конвое с охранниками и собаками, и мне пришлось собраться с силами вновь, чтобы постоянно напоминать себе о том, что у меня есть повод, чтобы с оптимизмом смотреть в свое будущее.

К этому времени ввели систему оплаты. Шла осень 1954 года. У нас у всех появилось немного денег. При условии, что вы старательно откладывали, по несколько рублей в месяц, можно было позволить себе купить немного конфет, или сигарет в пачках, или зубную пасту и прочие мелкие излишества подобного рода. С воли мы могли получать маргарин и другие продукты, и по большей части со здоровьем у меня все было великолепно.

Один мой литовский товарищ, у которого имелся пропуск, подружился с тремя учительницами в Джекказгане, одна из которых преподавала английский язык. Он уговорил меня начать переписываться с ней, чтобы помочь ей с английским и поднять мое настроение. Таким образом, теперь я переписывался с тремя различными женщинами. Мой литовский друг добился у них расположения, принося им дрова. Каждый день он обвязывал деревяшки стальной проволокой и оставлял связку висеть на двери их квартир, и через некоторое время они преодолели свой страх относительно разговоров с заключенным и вполне подружились с ним. Мои письма к учительнице английского, звали ее Елена, были написаны наполовину по-русски, а наполовину – на простом английском уровня начальных классов: это все, что она могла осилить. Несмотря на всю свою простоту, эта переписка стала для меня еще одним из тех инструментов, что помогли мне пройти через то время - которое, как я надеялся и о чем молился, становилось для меня теперь все короче.

Все больше признаков говорило о переменах. Теперь заключенные уделяли внимание своей одежде. Мужчины разрезали изнутри швы своих штанов на концах, соединяли врезкой ткань под углом – и, таким образом, на пятнадцать лет раньше, чем мода на брюки-клеш появилась в Америке, мы щеголяли в Джекказгане в расклешенных штанах. То же касалось и обуви. У заключенных появилось время и силы для того, чтобы делать вещи для себя, и они мастерили высокие ботинки на кожаной подошве, с цветным орнаментом по бокам – теперь такая мода распространилась на весь лагерь.

Через некоторое время Лавренов позвал меня вернуться в госпиталь, и, хотя Волошин так и не остыл в достаточной степени для того, чтобы выдать мне пропуск за пределы лагеря, я вернулся к своей старой работе в качестве фельдшера. Оказаться снова в госпитале мне было радостно. Теперь случаи запущенных инфекций, как других заболеваний, связанных с чрезвычайным изнеможением и недостатком питания, значительно снизились – как и уровень смертности. У нас по-прежнему было много пациентов-сердечников, и агонию их смерти наблюдать для меня было иногда тяжелее, чем когда-либо ранее. Я становился, в определенной степени, все более нетерпеливым, циничным и эгоистичным. Я прослышал о том, что собираются ввести систему так называемых «зачетов». Согласно этой системе, каждый день, проведенный на тяжелой работе, засчитывался за два, которые вычитались из срока заключения. И, если у вас хватало духу пойти в медные шахты, то за каждый проведенный рабочий день там списывалось по три дня. Меня все более одолевало желание побыстрее выбраться на волю. По какой-то причине я был уверен, что Гертруда выйдет раньше меня, и я подумал, что если освобожусь намного позже, то никогда не увижу ее снова. Я обдумывал это в течение долгого времени, а затем подал заявление на работу в медных шахтах. Адарич сказал мне, что я сошел с ума – но я то знал, что если и есть кто-то, кто способен на такую туфту, то для него и дни в шахте станут вполне сносными, то этим кем-то был я. Я уже все повидал – так мне думалось. Но даже если и нет, все равно – мне настолько сильно хотелось выбраться из лагеря, что я был готов даже к тому, что мне предстоит выполнять тяжелую работу. Этот период не стал богатым на воспоминания. Я впрягся в свою работу – просто закрывал глаза и заставлял себя идти по этому пути. Меня определили в сборочную бригаду, занимавшуюся сборкой электрических тяговых машин. Часть работы мы выполняли наверху, и часть – под землей. Наверху мы распаковывали детали и проверяли их. Потом мы грузили их на подъемник. Внизу, в шахте, нам требовалось их разгрузить и затем приступить к сборке. Я нашел эту работу сносной, но затем в один из дней двух моих напарников раздавило упавшей глыбой породы. Один из них погиб, второй лишился обеих ног. После этого у меня появился сильный страх от пребывания под землей, которого раньше никогда не было. Я находился поблизости от тех ребят, когда все произошло, и в моей памяти осталась картина того, как целый участок, где произошел обвал, стал темно-красным от крови. Тогда я решил, что мне лучше найти способ снова начать отлынивать от работы, и чем скорее, тем лучше – а если я его не найду, то попрошу Лавренова забрать меня обратно в госпиталь, и я просто забуду об этих дополнительно списываемых днях.

В Джекказгане появилось множество женщин. Некоторые из них искали своих мужей. Иногда в конвое мы проходили мимо нескольких женщин на улицах Желдор поселка, а иногда и при выходе с территории шахты. Они оглядывали нас очень встревожено, а мы смотрели на них с большим любопытством. Иногда, это случалось редко, раздавался крик: «Алексей, Алексей!» Кто-то узнал своего мужа. И затем налаживалась связь через отправку весточек, а если тот мужчина работал в таком месте, как Желдор поселок, где с охраной было не так строго, то бывшие заключенные помогали этой женщине пройти внутрь, чтобы найти потаенное место, где они вдвоем могли встречаться и строить планы на будущее, которое, как мы все были уверены, становилось для нас все ближе. Ходили

слухи, что из Москвы собирается приехать специальная комиссия для пересмотра всех наших приговоров, и, возможно, многие будут освобождены. Провозгласили очередную амнистию. Тысячи и тысячи военнопленных – русские, которых пленили немцы, и которых потом отправили в заключение по возвращении домой, теперь были амнистированы и реабилитированы. Вероятно, моя знакомая доктор Ирина отбыла на волю с этой группой. Лагеря стали выглядеть серьезно обезлюдившими. Я опасался, что Гертруду тоже выпустили вместе с этой группой, потому что письма от нее внезапно перестали приходить. Но друзья сообщили мне, что она погрузилась в депрессию и ни с кем не разговаривает, и поэтому перестала писать мне. Параша – тюремный телеграф, которому обычно стоило доверять – принесла новости о том, что долгожданная комиссия из Москвы приступила к своей работе. Никто не мог сказать, когда эта комиссия доберется до Дзержказгана, но новости были следующими: тысячи заключенных освобождались ежедневно. Так как в Советском Союзе на начало пятидесятых имелось порядка семнадцати миллионов политических заключенных, то до того времени, как волна освобождения докатится до нас, как мы предположили, пройдет некоторое время – но эта новость не была плохой. Плохой новостью было то, что не освобождали исключительно тех, кто не был осужден через суд, а был приговорен комиссией или трибуналом, или через иную особую процедуру. Гертруда была осуждена комиссией – суда у нее не было. Как передавали друзья, она решила, что останется в лагере на все оставшееся из ее двадцатипятилетнего срока время, и поэтому погрузилась в депрессию. Я пытался приободрить ее в своих письмах. Но мне было сложно подобрать слова. Ведь я сам был осужден через особую процедуру.

Глава 27

С самого начала мне было запрещено отправлять или получать почту. Внезапно, без объяснений, 20 августа 1955 года я получил письмо от своей матери. Оно было очень простым. Написано письмо было слабой и дрожащей рукой, что навело меня на мысль о том, что она была больна. Но в письме мать писала, что с ней все в порядке, и что в МВД ей выдали мой адрес, и что она хотела узнать, как мое здоровье. Это было почти все. Я быстро запросил у Эпштейна, фотографа, ту другую копию моей фотографии на пропуск и отослал ее матери с коротким письмом, которое должно было удовлетворить цензора. В нем я написал, что со здоровьем у меня хорошо, что мне было очень радостно получить от нее весточку, и что если она может прислать мне продуктовую посылку, я бы с удовольствием полакомился угощением. Обычное для любого другого заключенного в лагере письмо.

Прошло не так много времени, и посылка пришла. Судя по всему, ее прислала из Америки Стелла, а моя мать переправила ее ко мне. В посылке было кофе «Максвелл»! В вакуумной жестяной банке. Я не помнил запаха настоящего кофе со времени того праздника, когда мы нашли мешки с кофейными зернами за бараками несколькими годами ранее. Аромат был оглушающим, и он навевал на меня ностальгию. В посылке были еще масло и бекон в консервированном виде – тоже настоящие драгоценности – так как жиры все еще сложно было найти. А еще там была целая упаковка сигарет «Честерфилд». Большая часть сигарет досталось охраннику, обыскивавшему посылку на предмет контрабанды. Я был близок к тому, чтобы потерять и все остальное, так как вошел в раж, сражаясь с ним из-за сигарет, но вскоре я остыл и осознал, что все имеет свою цену. Он позволил мне сохранить две пачки из десяти.

Сигаретами я поделился с Павлом Воронкиным, поселившимся в нашем бараке и ставшим для меня близким другом. Во время одного из наших смешанных концертов в рамках культбригады я повстречался с притягательной юной девушкой из Харбина – города, в котором Павел жил в детстве. Ее отцом был русский специалист в Китае, как и у Павла. Я рассказал ей о Павле, они стали переписываться и влюбились в друг друга, при том что не

виделись друг с другом ни разу. Потом, несколько месяцев спустя, им удалось встретиться, и их связало по-настоящему серьезное чувство. Они условились, что поженятся, если только им удастся когда-либо выбраться из лагеря на волю живыми. Павел виделся с Юлей всего дважды перед тем, как она была освобождена в одну из первых амнистий. Но они продолжали интенсивную переписку. Юля оставалась в этом районе и была намерена дожидаться его. Ее письма были длинными, теплыми, и приходили часто. Многие из этих писем проносили в зону вольнонаемные рабочие из Желдор поселка, в сапоге. Ее письма позволяли Павлу на самом деле выжить в этот период, так как он начал думать, как и моя возлюбленная Гертруда, что ему никогда не суждено освободиться. Павел также был осужден решением особой комиссии. Я добился разрешения о переводе в Желдор поселок. В моем рабочем задании значились тяжелые работы, поэтому мне полагались двухдневные «зачеты». На самом деле я с легкостью устроил для себя льготную жизнь благодаря полной «туфте», как и ранее. Вокруг бродила масса будоражающих слухов о свободе, и я находил для себя проведение времени в безделье достаточно терпимым. Я убедил себя в том, что отказ от освобождения осужденных, приговоренных комиссиями, не имеет абсолютно никакого смысла, и это положение скоро исправят. Хотя, конечно, глубоко внутри меня жил страх, который я подавлял, как только мог – страх того, что я, возможно, неправ.

Осень и начало зимы 1955 года остались в памяти серыми и рутинными, за исключением пары случаев грандиозных снежных бурь с сильнейшими снегопадами. Впервые нам было позволено отметить наступление Нового года небольшим праздником. Волошин, который все еще отказывался смягчиться и выдать мне пропуск, был довольно дружелюбен, в своей неприятной манере, когда я встречался с ним в зоне. Теперь он частенько по ней прогуливался, пытаясь реабилитироваться в глазах заключенных. Ходило множество историй о самоубийствах среди лагерной администрации по всему Союзу, в особенности среди офицеров КГБ. Та тяжелая и циничная маска, которую они всегда надевали на себя перед нами во время допросов, не могла укрыть их от осознания того факта, что в основе всей их жизни лежали ежедневные мерзкие бесчинства, творимые в отношении своих сограждан – мужчин и женщин. И теперь перспектива того, что миллионы этих прошедших через надругательства тел будут бродить по улицам Советского Союза, принесла к ним в дом некое ощущение понимания реальности. Вероятно, большинство из них убило себя из-за страха. Но я надеюсь – точнее, мне даже хочется в это верить – что некоторые из них сделали это из-за отвращения к себе. По нашему региону череда самоубийств прокатилась в январе 1956 года, когда та самая Комиссия прибыла в Кенгир. В течение суток нам стало известно, что они пересматривали приговоры за две-три минуты, и все это было практически исключительно формальностью. В первый же день было объявлено об освобождении более чем сотни человек.

Теперь мы поняли, зачем строился весь этот городок – Никольский. Многим из освобожденных было некуда ехать. Их жены или мужья, дети или родители либо умерли в тюрьмах, либо были расстреляны, либо пропали без вести. Многим из освобожденных все еще нужно было отбывать срок ссылки. Также имелась насущная необходимость сохранить шахты в Джезказгане в рабочем состоянии, а рабочих планировалось набрать в основном за счет бывших заключенных. Никольский должен был стать для них домом. Вскоре по «параше» до нас дошли детали того, как работала комиссия в Кенгире. Она состояла из четырех человек. Один из них был представителем центрального комитета коммунистической партии; один – представителем генерального прокурора, генерала Руденко, которым и была подписана санкция на мой арест изначально; еще там был высокопоставленный КГБ-шник и человек, представляющий политических заключенных.

Каждый день приходили потрясающие новости об освобождении еще сотен людей в Кенгире. Радостное возбуждение в нашем лагере достигло небывалого подъема. Дисциплина стала очень посредственной, даже в шахтах. Даже самые тупые, грубые и жестокие охранники стали пытаться вести себя подобно человеческим существам. У многих из них это не выходило без того, чтобы не выглядеть при этом глупо или по-детски – они никогда не знали, как можно вести себя по-человечески со взрослыми людьми. К концу февраля атмосфера в лагере была наэлектризована. Сначала один, а потом и второй лагерь в Кенгире были опустошены и объявлены закрытыми. Тех немногих заключенных, что не были освобождены, переводили в соседний лагерь, в то время как комиссия продолжала свою работу. Потом к нам пришли судьбоносные новости: комиссия прибудет в Джезказган 1 марта.

Появились списки. В первый день стоящих в очередь к зданию администрации людей с взволнованными, тревожными лицами окружил почти весь оставшийся лагерь – кто-то шутил, кто-то желал удачи, а кто-то просто беззвучно смотрел.

Вести пришли в течение часа, когда первые освобожденные вернулись в лагерь. Человек поднимался по ступеням в комнату, где заседала комиссия. Дверь за ним закрывалась. Через пару минут он выходил, пошатываясь, словно пьяный, и ухмыляясь; кто-то прыгал от радости, кто-то был бледен и ошеломлен.

Некоторые ложились на свои нары. Некоторые сидели, будучи в трансе. Немногие принимались по-деловому методично собирать свои пожитки, потом обходили друзей, жали руки, а потом направлялись к воротам – и были свободны, вот так вот просто. Первым группам освобожденных требовалось подождать несколько дней – в течение этого времени оформлялись их паспорта, железнодорожные билеты и справки об освобождении.

На третий день стало понятно, что многие из них не имели ни малейшего представления о том, как существовать вне лагерных стен. Многие погибали от алкоголя, а также от несчастных случаев в результате пьянки, или потому, что люди просто выходили на дорогу перед грузовиками – по всей видимости, не видя их, при этом будучи совершенно трезвыми. Всех выходящих на свободу предупреждали о том, что им следует вести себя осторожно, но многие из них просто не были способны слышать что-либо вообще. Причиной была неожиданность происшедшего, сопряженная с беспокойством. В один момент вы – заключенный. В следующий момент вы можете стать свободным, но вы не осмеливаетесь надеяться на это, потому что жизнь и судьба уже нанесли вам столько ударов, что вы привыкли к разочарованию. Затем, когда вы заходите вовнутрь, вас просят прочесть свою «молитву», потом задают вопрос относительно особых обстоятельств вашего дела, и представитель прокурора отвечает, что их нет, и дальше вам объявляют, что вы свободны и реабилитированы – и в этот момент вы совершенно к этому не готовы. Вам не нужно было врать или спорить, доказывая что-то, или вообще что-либо делать – нужно было просто постоять там и выслушать некий ритуал, который к этому времени был сокращен по времени менее чем до одной минуты, если в деле не фигурировали особые обстоятельства. Слишком многое нужно было осознать.

Комиссия работала в течение пятидесяти минут, потом выходила перекурить, а потом возвращалась назад. В течение часа они обедали, и потом приступали снова. В один из дней они выпустили рекордное количество заключенных – три сотни.

Первый лагерь опустел и был закрыт. Сотню или около того из тех, кого еще не вызывали, перевели из соседнего КТР, и ворота между лагерями, открытые вот уже больше года, снова были закрыты.

Имя Павла Воронкина появилось в списках очень скоро. «В» - третья буква русского алфавита, она такая же, как английская буква В. Когда Воронкин вышел, он выглядел разбитым. Он знал, что это может случиться, но мы все подбадривали его, заставляя смотреть в будущее с оптимизмом. Он открыто разрыдался, он был сломан. Из его слов выходило, что по причине того, что он был осужден особой комиссией, его дело должно

было быть пересмотрено через некоторое неопределенное время в будущем. Я почувствовал холодок внизу живота от его слов. Я был практически уверен в том, что меня ожидает то же самое. И я оказался прав. Я вошел в здание администрации. Я стоял перед комиссией с сердцем, которое колотилось так сильно, что, казалось, от его стука сейчас вылетят окна. Четверо за столом выглядели очень усталыми. Один из них был при полном обмундировании – это был генерал Тодоров, и он представлял политических заключенных. Он сам отсидел семь лет, и теперь был полностью реабилитирован. Тодоров произнес усталым голосом, после того, как я прочел свою «молитву»: «Мы не можем пересмотреть ваше дело, Должин. У нас нет ничего, кроме листка бумаги с вашим обвинением. Нам нужно послать запрос в Москву в КГБ на ваше полное дело. Это займет от одного до двух месяцев, и мы пригласим вас обратно. Это все. Теперь вам нужно идти. Пригласите следующего».

Вот и все.

Через несколько недель они переехали в женский лагерь Джекказгана. Я как-то успокоился внутри себя – не помню, каким образом. Думаю, мне помогала музыка по вечерам, много музыки. Мы с Павлом проводили долгое время за игрой в шахматы, бродили по наполовину опустевшему лагерю, рассматривали имена, даты и стихи, нацарапанные или написанные на стенах пустых барачков, подбирали ложки, тетрадки, книги или другие разные вещи, оставленные тысячами тех, кто в нетерпении только и ждал того момента, когда можно будет вырваться из лагеря немедленно после объявления об освобождении. Нам пришлось вернуться на работы. В Желдор поселке я встретил много старых знакомых лиц, только теперь они были свободными мужчинами и женщинами. Я получил короткую теплую записку от Зои: «Прощай. Буду вспоминать о тебе. Обнимаю, Зоя». Ну что ж, это было хорошо. Я был рад за нее. От Гертруды не было известий.

Адарич ушел, его выпустили в первый же день. Ушел Каск. Ставший почти родным «не русский черт», «Нерусский», человек с огромным сердцем, подошел ко мне, просто и не говоря ни слова обнял, а затем распрямил свои усы, спину и вышел из ворот с котомкой за плечами – высокий, быстрый и счастливый.

Ушел Зюзин, со своей замечательной гитарой и практичным складом ума. Ушел Эпштейн – больше никаких фотографий. Кубланов и Фельдман. Кузнецов, волновавшийся по поводу ложек. Дорогой Эдик, которого больше никогда не заварят в сейфе. Аксенов, чье лицо стерлось из моей памяти.

Не осталось также Григория, акробата, и музыканта Степанова. Все старые друзья ушли, кроме Павла Воронкина, с которым мы становились все более близкими друзьями, и поклялись, что останемся таковыми до конца своих дней. Павлу часто приходили письма от Юли. Нередко я захватывал их с собой, уходя из Желдор поселка.

Я получил еще одно письмо от своей матери. Рука у нее дрожала так сильно, что письмо сложно было читать, а из написанного невозможно было вообще чего-либо понять.

Некоторых заключенных на определенное время оставили в лагере – до того момента, когда им определят новое место для проживания. Чтобы сократить количество случайных смертей, администрация ввела определенный порядок для вновь освобожденных. С течением времени каждый из них либо получал работу и жилье в Джекказгане или Никольском, либо место в поезде, отправляясь домой. Вскоре во всем лагере осталось всего несколько сотен заключенных. Мы прослышали о том, что город Джекказган и Никольский подверглись настоящему набегу со стороны профессиональных преступников, пользующихся непригодностью вновь прибывших к жизни на воле, знавших о ней так мало. «Не промышляют ли там и мои старые знакомые, урки, из племени, возглавляемого Валентином Интеллигентом?» - подумалось мне.

Старый лагерь КТР по соседству с нами, лагерь под номером один, бывший закрытым, открылся снова. В нем разместили целый железнодорожный состав молодых комсомольцев – как мы узнали, это были добровольцы, отправившиеся по призыву

Хрущева осваивать целинные земли. Они прибыли для строительства нового города – Никольского. Который уже был построен нами. Каждый вечер до нас доносились песни и подвыпившие голоса. Они орали на протяжении всей ночи, до самых ранних предрассветных часов. Вскоре в «Правде Джебказгана», местной газете, появились парадные статьи о том, как комсомольские бригады с энтузиазмом возводят «с чистого листа» новый город Джебказган, возводят в чистом поле, где ничего не было раньше – и так далее. Мы горько усмехались по этому поводу.

Павлу сложно было развеселиться. Он был склонен верить в то, что комиссия лгала ему, чтобы отправить восвояси – когда ему было сказано, что его дело будет отправлено вскоре на пересмотр. Проходила неделя за неделей, новостей не было, и даже теплые письма от Юли не снимали тяжести у него с сердца. Он потерял аппетит, стал очень худым и слабым. Со мной он говорил редко. Я, как мог, старался разговаривать с ним на темы нашего будущего. Они вместе с Юлей решили обосноваться в Ташкенте, и время от времени мне удавалось пробудить в нем огонек надежды, когда я просил его рассказать побольше о том, что за жизнь они там планируют. Но обычно он был мрачен и молчалив.

Однажды я вернулся с работы и обнаружил, что он стоит посреди зоны и выглядит очень странно. Я испугался, подумав, что он неожиданно сошел с ума. Его голова дрожала, он подзывал меня жестами руки, рот у него то открывался, то закрывался – по всей видимости, он пытался мне что-то сказать, но у него ничего не выходило.

Я побежал к нему так быстро, как только мог. «Что случилось, Павел? Ты не болен? Тебе нужно лекарство? Нам нужно пойти в госпиталь?»

Он отрицательно помотал головой и попытался выговорить слово. Наконец, хотя голоса у него не было, только шепот, я расслышал слово «телеграмма», которое он силился произнести. «Какая телеграмма?» - спросил я.

Теперь ему удалось прохрипеть мне в ответ:

- Телеграмма. Из Москвы.

- Что в ней?

- Телеграмма из Москвы! – Казалось, что он не в себе.

Я взглянул ему в зрачки. Они были расширены, но не слишком сильно. Он помотал в изумлении своей головой, а потом упал на меня, сжав в объятиях настолько сильно, что я едва мог вздохнуть. Потом он снова обрел голос. Голос был очень хриплым. Он произнес:

- Алекс, это так чудесно, я не знаю, что и сказать. Меня полностью реабилитировали. Ни записи, ничего. Я совершенно свободный человек. Свободный человек! Решение было принято еще до того, как комиссия прибыла сюда. По бюрократическим причинам что-то сбилось. Я был свободным человеком вот уже три месяца как, только никто не вспомнил, чтобы сказать мне об этом!

Мы уставились один на другого. Я почувствовал, как мой рот расплывается в улыбке. Внезапно мы оба принялись хохотать. Павел Воронкин хохотал и скакал вокруг, как ребенок. Его худое лицо покраснело и сияло, после многих недель смертной бледности. Мы побежали к бараку. Я помог ему собрать свои вещи. «Юля где-то в Джебказгане! - говорил он. – Я буду с ней этой ночью, Алекс! Понимаешь ли ты, что это значит?» Я кивал. Я старался не показывать, что для меня значило то, что мой последний друг в лагере покидает меня. Но Павел прочел мои мысли. «Ты будешь следующим, Алекс! Ты увидишь. Ты будешь следующим, и потом мы все станем свободны. Они не смогут держать тебя здесь больше».

Павел Воронкин скрылся за воротами, а я медленно побрел в сторону сильно сократившегося числа обитателей барачных корпусов, среди которых не было больше никого, кого бы я достаточно хорошо знал или кто был бы мне дорог.

Вскоре нас, шестьдесят или семьдесят оставшихся в старом лагере человек, погрузили в грузовики и перевезли через холм в другой лагерь.

Когда я слез с платформы грузовика, меня поджидал Лавренов. Выглядел он хорошо, но в его дыхании ощущался запах перегара, а было всего около десяти часов утра. Лавренов сказал мне, что теперь он работает в другом лагере неподалеку от Джезказгана, в Крестовом. Он сказал, что я – единственный оставшийся медицинский работник с опытом во всем этом районе, и предложил мне принять должность главного врача в госпитале. Настроение у меня в то время было слишком мрачным, чтобы это предложение меня хоть как-то обрадовало. Но я знал, что это именно то, что мне нужно, что поможет мне прожить столько, сколько еще потребуется, в этом новом одиноком существовании. Новый лагерь был заполнен оставшимися заключенными, собранными со всех других джезказганских лагерей. Поначалу там было почти двенадцать тысяч человек, но они освобождались большими партиями, и через неделю или две моя работа стала не особо тяжелой.

В один из дней человек, которого я узнал – он был из Никольского, но я не был знаком с ним – пришел в госпиталь, чтобы меня увидеть. В это время лежачих пациентов у меня было немного. Лагерь опять уменьшился всего до нескольких сотен. Я просто сидел и с отвращением смотрел на замусоренный и пустой двор. Человек, судя по его виду, нервничал, но больным он не казался.

- Что вам нужно? – спросил я его.

Он был смущен, и некоторое время смотрел в землю. Наконец, он произнес:

- Меня попросили придти, чтобы увидеть вас.

- Кто попросил? – спросил я.

- Из женского отделения, в Никольском. Мне сказали, что вы – близкий друг Гертруды, возможно, единственный ее друг.

Внезапно меня охватила паника. Я почувствовал холод. Мне захотелось вышвырнуть этого человека вон, закричать на него: «Я не хочу слышать то, что ты пришел сказать мне!»

Вместо этого я просто молча уставился на него.

Он долго облизывал свои губы перед тем, как снова заговорить. Наконец, он произнес:

- Она была сильно удручена, вы знаете. Она выкладывалась на работе. И...

Думаю, я упросил его закончить своим взглядом.

- Вчера она работала наверху, на высоковольтной линии. Подсоединяя ее к основной. Она просто сняла перчатки. Все видели – она очень спокойно и намеренно просунула руки в распределительный короб, и взялась за два контакта.

Я просто смотрел перед собой. Мои глаза были сухими. Моя жизнь была иссушена.

- Там было шесть тысяч вольт, понимаете. Все случилось мгновенно. Должно быть, она ничего не почувствовала.

Он подождал некоторое время. Думаю, он был очень хорошим человеком. Когда он увидел, что я не могу говорить, то тихо встал и пошел к двери.

- Мне очень жаль, Доктор.

Когда он ушел, я продолжал сидеть, смотря в пустое небо цвета меди. Становилось все темнее, а я все сидел и смотрел. В комнате никого не было. Не было никого в лагере, никого за пределами лагеря, никого в целом Советском Союзе и никого на всем белом свете. Теперь я знаю это чувство - полного, совершенного одиночества. По утру я увидел приближающийся рассвет, и я знал, что ничего не выросло и не родилось на земле в эту ночь.

Глава 28

Шел июль месяц, но жары я почти не замечал. У меня осталось мало воспоминаний о днях как о днях. Они не были отмечены общением с людьми. Эти дни были пустыми и стоили того, чтобы их забыть. Я испытывал отвращение. Теперь я знал, что меня никогда не освободят. Я знал, что однажды, в один из дней, я снова соберусь и найду тот способ существования, что поможет мне пройти через оставшиеся годы в лагере, но сейчас я просто позволил себе погрузиться в это состояние отвращения ко всему окружающему и испытывать жалость к себе.

Почти все свое свободное время я спал. До меня донеслись вести о том, что комиссия прибыла обратно. С каждым днем вокруг было все меньше и меньше заключенных. Однажды утром меня разбудил, грубо растолкав, охранник, едва мне знакомый.

- Это ты Должин, сукин ты сын? – зло кричал он на меня.
- Ну, - ответил я очень угрюмо. – Я Дол-гин. Что тебе, черт побери, надо?
- Мне надо из тебя душу вытрясти, если ты не поумнеешь. Ты все еще заключенный, не забывай этого! Встать!

Я собирался объяснить ему, что я, безусловно, не забыл, что я заключенный, но он продолжал говорить.

- Мы три дня пытались тебя найти! Ты хоть когда-то смотришь на доску объявлений, сукин ты сын? Кругом такой бардак здесь, никто не знает, кто где. Тебя вызывает комиссия. Одевайся и выметайся отсюда на раз-два!

Я не спешил. Я знал, что они будут кидать мне отсрочку за отсрочкой, как обычно. Я умылся, сходил в уборную, немного позавтракал и вышел, чтобы убедиться, что мое имя указано на доске. Оно там было. Я услышал, как меня окликают чей-то голос: «Эй, Док!» Это был Вася Каргин. Я предполагал, что он освободился уже давно. Но у него был приговор от специального комитета, как и у меня, хотя я этого не знал. Он не испытывал оптимизма, но был в лучшей форме, чем я.

Я спросил его, где он живет.

- Да вот здесь, в зоне. Как ты?

Я был настолько погружен в свою хандру, что даже не знал, как оказалось, что здесь были мои кореша, с которыми я мог бы коротать свое время.

У здания администрации выстроилось около сотни мужчин. Все знали о том, что пересмотр дела проходит строго по одному шаблону. Занимало это порядка пяти минут. Если вас намеревались освободить, то прямо заявляли об этом по окончании разговора. Если нет, они просили вас выйти, чтобы посоветоваться, а потом, несколько минут спустя, они посылали охранника, чтобы он передал, что вас пока не освободили. Думаю, эта комиссия не отличалась крепкими нервами, и они просто не могли более выносить того горестного выражения, с которым человек встречал известие о том, что его не освобождают.

Я был настроен соответствующим образом – цинично и зло. Я знал, что эти ублюдки все еще рассматривают меня как американского шпиона, несмотря на полное отсутствие доказательств и полностью сфальсифицированные протоколы, состряпанные Чичуриным. Не было и никаких свидетельств того, что со стороны моего правительства предпринимаются какие-либо попытки вытащить меня. Я был полностью оставлен, и я знал, что так будет продолжаться до конца моих дней.

Когда меня, наконец, вызвали внутрь, мое лицо приняло то угрюмое выражение, что сделалось когда-то моей фирменной тюремной маской. Я устало произнес свою «молитву». Вперед я почти не смотрел. Голос произнес:

- Вы признаете себя виновным по обвинениям в шпионаже и антисоветской пропаганде, которые были выдвинуты против вас?

Я вскинул свою голову и оттянул назад уголки рта. Меня по-настоящему взбесило это представление. Я рывкнул:

- Неужели вы поверите заключенному, избалованному врагу народа, а не сотрудникам МГБ, которые составили эти протоколы? О чем вы спрашиваете меня? Конечно, я виновен!

Такое поведение граничило с безумием, и я действительно в каком-то смысле обезумел, хотя, безусловно, я держал себя в руках даже тогда, когда разум меня покидал. Они увидели, в каком волнении я нахожусь. Кто-то произнес, не без симпатии в голосе:

- Должин, выйдите пока, перекурите и успокойтесь.
- Ну да, конечно, - произнес я угрюмо.

Произошло именно то, чего я и ожидал. Сказать в лицо у них не хватило духу. Слизняки. Я вышел, не говоря ни слова, и кивнул охраннику, который привел меня из лагеря:

- Давай, малый, пойдём.

Старый матерый зек, идущий обратно в свой единственный настоящий дом. Жесткий. Циничный. Уставший. Но он пройдет через это все, как-то пройдет. И ему даже ничего не будет за то, что он обратился к охраннику «малый». Матерого волка видно всем. Не шали с матерым. Я скоро стану «Отшельником из Джезказгана». Все уйдут, кроме меня. Мы прошли примерно две сотни метров, когда я расслышал, что кто-то меня зовет. Я обернулся. Заместитель председателя этой комиссии вприпрыжку бежал наискось, крича мне и махая рукой. Он был на костылях, вместо второй ноги была деревяшка, и потому двигался он довольно медленно, но так быстро, как только мог, и яростно махал мне.

- Возвращайтесь, возвращайтесь! – кричал мне он.

Я обернулся к охраннику и пожал плечами:

- Что еще за дерьмо они мне приготовили?

Охранник пожал плечами в ответ.
Заместитель председателя подошел:

- Мы же вам сказали выйти перекурить и вернуться назад. Теперь вы немного пришли в себя?

Я уставился на него с подозрением. В какой-то момент я почувствовал, как мое сердце начинает биться более учащенно, и я знал, где-то внутри во мне зародилась робкая надежда. Я подавил ее. Своим голосом Матерого Зека я произнес:

- Ну да, ну да. Я в порядке.

Я снова предстал перед комиссией – жестким и сосредоточенным. Председатель произнес:

- Скажите, куда вы хотели бы поехать?

Вопрос ввел меня в замешательство.

- Что вы имеете в виду, куда бы я хотел поехать? О чем вы говорите?

- Я имею в виду, где бы вы хотели проживать? У вас есть родственники? – мягко ответил председатель.

Я произнес, все еще не веря в то, что происходит:

- Ну, моя мать живет в Москве.

- Вы хотели бы поехать в Москву?

Я просто долго смотрел на них. Потом спросил, прерывистым голосом:

- А вы пустите меня в Москву?

Внезапно я почувствовал себя подавленным, и в то же время чрезвычайно готовым к диалогу. Тон Матерого Зека куда-то тут же улетучился.

Председатель произнес:

- Да, мы отпустим вас в Москву, но это условное освобождение. Вам требуется прочесть этот документ. И вам нужно его подписать.

Документ этот оказался довольно длинным. В нем говорилось о том, что во время моего пребывания в лагере я был натурализован (без моего согласия, разумеется!) в качестве советского гражданина. И что в случае моего отбытия в Москву я должен принять в качестве условия обязательство не предпринимать никаких попыток связаться с посольством США. И что в случае какой-либо моей попытки связаться с посольством или покинуть Советский Союз я буду немедленно помещен в тюрьму закрытого типа, не в лагерь, до конца жизни. Без суда и без возможности обжалования. И что я постоянно буду находиться под наблюдением КГБ.

Это вам полностью понятно?

Да, сказал я, мне все полностью понятно. Я подписал.

- Да, хорошо. Теперь можете идти, - сказал председатель.

Заместитель председателя выскочил за дверь и объявил охраннику, что я свободен. Вот и все.

Было 13 июля 1956 года. Похитили меня 13 декабря 1948 года. В паспорте, выданном мне позже, стоял штамп от 12 июля – таким образом, все это рассмотрение было не более чем формальностью.

Я испытывал шоковое состояние. Я стоял и ждал охранника, чтобы тот отвел меня обратно в лагерь.

- Чего тебе надо? – спросил он меня.
- Мне надо обратно в лагерь, собрать свои вещи, - ответил я.
- Так иди, малый. Я жду здесь, надо посмотреть, будет ли кто-то, кого они не отпустят.

Я отошел за здание и присел на горячую землю. Никто не обращал на меня внимания. Теперь к этому уже привыкли. Мысли с бешеной скоростью проносились у меня в голове. Помню, что я курил сигарету за сигаретой.
В реальность меня привел голос. Это был Вася Каргин:

- Эй! Док! Я свободен! Ты тоже?

Я в оцепенении кивнул ему.

- Ну, так, черт возьми! – сказал он. – Черт возьми! Пойдем! Так давай же, пошли!

Мы ушли с ним, держась за руки. Понемногу нас стал разбирать смех. Шли мы в сторону Джезказгана, в сторону города. Потом мы стали петь разные песни. Не помню, что пел Вася. Я пел свою любимую –

Give me land lots of land
Under starry skies above!
Don't fence me in!¹

*(Дай мне простор, много простора
под звездными небесами,
Не запирай меня в клетке!)*

Я перевел ее Васе.

Потом мы порылись в своих карманах и обнаружили, что у каждого из нас было несколько рублей.

- Давай купим бутылку водки!
- Давай купим две бутылки водки!

Любители выпить из лагеря хвастались, что они могут осушить бутылку целиком. Мы договорились с Васей, что попробуем это сделать.

Мы купили две бутылки. Кроме водки единственным, что было в магазине, были банки дорогих сардин. К черту их – решили мы.

Потом мы нашли уединенное местечко позади стройки, подобрали старую кружку, помыли ее в городе где-то под краном и устроились с водкой между нами. В качестве стакана мы использовали эту кружку.

Сначала наливал и пил Вася – наливал и пил, пока его поллитра не закончились.

Я проделал то же самое.

Я вообще ничего не почувствовал.

¹ Don't Fence Me In - Баллада ковбоя из кинофильма «HOLLYWOOD CANTEEN», 1944.

- Давай сходим еще за одной бутылкой, - предложил я.
- Давай. Я так пока ничего и не почувствовал, - согласился Вася.

Мы сходили в магазин и опустошили еще одну бутылку.
Вася поднялся и произнес:

- Ну, Док, я в расстройстве. Чувствую себя по-прежнему таким же ошарашенным, как и тогда, когда они мне сказали. А ты как?
- Тоже самое, - ответил я.

Позже, в тот же вечер, Вася внезапно почувствовал себя пьяным, взобрался через окно в недостроенный дом, провалился через недоделанный пол в канаву, пролежал в ней всю ночь, а утром его пришлось вытаскивать оттуда с помощью веревки.
Я же возвратился в лагерь в состоянии ступора, так и не почувствовав опьянения.

В лагере я оставался еще неделю, в течение которой мне оформляли дорожные бумаги. По большей части я спал. Мне позволили послать телеграмму матери с датой моего прибытия в Москву. Наконец, я забрал свою гитару, собрал большой мешок шприцев, таблеток и медицинской литературы. Было 20-е июля. Меня ждал поезд.
Человек, в обязанности которого входила организация нашей транспортировки до станции, Завьялов, тоже был пьяницей. У охраны по большей части имелись автоматы. Теперь они мне казались далекими и нереальными. Я спросил у Завьялова, зачем им автоматы.

- Чтобы держать вас вместе, чтобы вы не выбежали на дорогу перед грузовиком и не убились. Ужасно, Док, сколько рапортов о случайных смертях нам приходится писать. Паршивая у нас работенка. И нам совсем не хочется больше этим заниматься!
- Нет тяжелее ноши, чем чувство ответственности. Не так ли, Завьялов? – сказал я ему.

Он отнесся к моей реплике вполне серьезно.

В документе о моем освобождении говорилось, что я отбывал срок заключения в трудовом лагере с 13 декабря 1948 года по 13 июля 1956 года. Освобожден, особых записей не имеется, Указ номер, и т.д. С обратной стороны значилось: «Направляется в: Москва».

Мы сели на поезд. Я узнал множество бывших пациентов. У многих из них было достаточно денег для покупки еды. У меня с собой было совсем мало, всего 14 рублей, но они поделились едой со мной. Поезд катился по пустыне, а мы смотрели из окон на красное заходящее солнце. Потом на небе высыпали звезды.

Никто не спал. Вскоре начались песни. Я достал свою гитару. У кого-то была балалайка, у кого-то – аккордеон, а кто-то подыгрывал на самодельной скрипке.

Джезказган, Джезказган
По твоим бескрайним степям
Не проскачет никто, как твой друг
Кроме бурь песчаных да вьюг

Я смотрел, как звезды катятся вместе с нами вдоль зазубренного горизонта. «Путешествие в неведомое», - подумалось мне. Эта мысль показалась мне важной. Она осталась со мной.

Белым землю метель заметет
Воет день и ночь напролет

Перестук колес отбивал ритм в десять раз быстрее нашей песни. Я пел и наигрывал мелодию этой медленной, печальной песни, но мысли в моей голове проносились с огромной скоростью. Песня была неотесанной и сентиментальной, но она глубоко откликнулась в моей душе. Я был здесь, в поезде, заполненном незнакомыми людьми – людьми, которых я знал ближе, вероятно, чем кого-либо на этой земле. Людьми, с кем я разделил тот кошмарный опыт, который никогда не узнает кто-либо из тех, кто не провел годы в таком же, как наш, лагере, находящемся за пределами этой реальности. Если вы с кем-то пережили один и тот же ночной кошмар, то вы хорошо знаете этого человека. Мы здесь все прошли через один и тот же кошмар.

Я один в этом страшном краю
Эту грустную песню пою¹

Теперь уже не совсем один.

Трое молодых ребят взяли меня под свое покровительство. Все трое были моими пациентами, хотя я и не знал их достаточно хорошо. Двое были прибалтами, из Эстонии и Литвы. Третий был украинцем. В Москве их ждала пересадка на другие поезда, что отправлялись к ним домой. Они меня хорошо кормили, и мы были вместе все время нашей поездки. Подошло время нашего прибытия в Москву – то время, что я телеграфировал моей матери. Но мы все еще были далеко за городом. Я начал волноваться из-за нее – она будет ждать меня, а поезда нет.

Наступил вечер. Вдали показались огни Москвы, когда поезд делал дугу на повороте. Но теперь поезд шел очень медленно. Перед тем, как мы подъехали к окраинам города, он несколько раз останавливался. Когда мы подъехали к центру, небо уже снова начало светлеть. В конце концов, мы опоздали на семнадцать часов. Я сошел с поезда вместе со своими тремя юными друзьями. Все мы были тяжело нагружены. У меня был мой узел с вещами, а также мешок с медицинскими принадлежностями и книгами. Под всей этой тяжестью, в попытке ее дотащить, мне пришлось согнуться вдвое. На мне были одеты моя тонкая, в заплатках, протертая флотская рубашка, а также настолько же изношенные флотские габардиновые брюки: остатки вещей, бывших на мне в тот день, когда меня взяли. Я носил их с гордостью.

Я оглянул кишашую людьми платформу в поисках матери, хотя и едва ожидал увидеть ее здесь после всей этой задержки. Сяду на автобус и доеду до ее дома, подумал я.

Внезапно я почувствовал руку, тянущую меня за рукав. Я изогнул шею, чтобы заглянуть за свои мешки. Там я увидел высушенное, ужасно старое лицо, слишком старое – лицо, которое я целовал когда-то, и которое вспоминал так часто. У матери в глазах стояли слезы, но она не плакала. Она произнесла: «Мой бедный Алекс. Как же они тебя искалечили!».

Я выронил свои вещи и остался стоять. Мы просто смотрели друг на друга какое-то время, и затем она была у меня в объятиях, смеясь и плача одновременно. «Да нет, ты совсем не искалечен! Ты в порядке, правда, мой бедный, бедный Алекс, мой бедный, бедный Алекс!»

¹ В оригинале:

Dzhezkazgan, Dzhezkazgan
Across your steppes that never end
No one rides with you as friend
But storms of dust and sand.
Winter blizzards blanket you with white,
Wailing through your vastness day and night.
I am alone in this land of fear.
My song laments in a cruel year.

Моей матери было только пятьдесят семь. Выглядела она на семьдесят пять. С ней вместе была еще одна старая женщина, мать познакомила меня с ней. Эта женщина работала терапевтом, и с ней моя мать делила квартиру на улице Кирова – от вокзала туда можно было идти пешком. Врач понесла мою гитару, и я смог шагнуть дальше прямо со своими двумя мешками.

Перед дверями квартиры моя мать заставила меня покраснеть. Она сказала: «Алекс, ты сошел с поезда вместе с тремя ребятами. Где они?»

Я позабыл о своих спутниках. Я рассказал ей о них, и она настояла на том, чтобы я пошел и разыскал их. Для этого мне потребовалось около часа. К тому времени, как мы все добрались до квартиры, я совсем вымотался, но мать быстро приготовила еды на всех нас. Выглядела она нервной, была забывчива, а ее поведение казалось немного странным. Мне хотелось поскорее избавиться от своих друзей, несмотря на чувство большой признательности за их помощь, потому что я понимал, что с моей матерью что-то не так, и мне хотелось как можно скорее услышать от нее обо всем. Наконец, мои друзья вынуждены были нас покинуть, чтобы пересесть на свои поезда. Подруга моей матери незаметно вышла из комнаты и ушла на прогулку, оставив нас наедине.

- Что случилось? – сказал я.

Мать начала сжимать и разжимать свои кулачки. Глядела она странно. Внезапно мой взгляд выхватил нечто: ее ногти были жутко обезображены и поломаны. Я схватил ее руки. Ужасное прозрение пришло ко мне.

- Ты была в тюрьме! Они пытали тебя!

Она кивнула. Говорить она не могла. Теперь я разглядел шрамы на ее висках и на лбу, и я понял, что ее избивали. Мне становилось плохо. В то время как она рассказывала свою историю – медленно, прерывисто, смущенно – мне приходилось держать себя в руках, чтобы меня не вырвало.

Ее арестовали в 1950-м. В течение многих месяцев она запрашивала МГБ (тогда это все еще было МГБ) обо мне. В начале ей сказали, что меня расстреляли, как шпиона. На некоторое время это ее сломало. Но вскоре после этого она получила мой треугольник из Куйбышева, в котором я спрашивал, выдали ли ей в американском посольстве мои личные вещи. Она пошла в посольство просить помощи. Сотрудник МГБ арестовал ее у ворот посольства. Эмоционально она все еще переживала все это. Ее били резиновыми дубинками с целью выбить показания на меня. Ей загоняли иглы под ногти. Теперь ее ногти никогда больше не будут прямыми. Через небольшой промежуток времени после всего этого рассудок у нее помрачился, и вместо того, чтобы дать ей срок, ее поместили в тюрьму для душевнобольных в Рязани.

Слушая эту историю, я сидел, трясая головой от ужаса, по мере того, как она мне ее рассказывала.

Потом она произнесла, со страхом в голосе: «Алекс, у меня не совсем в порядке с головой и даже сейчас».

Я упросил ее продолжать. Спрашивать об отце я осмелился едва. Поэтому я просто сказал: «Расскажи мне все, что случилось». Помню, что голос у меня был очень хриплым, но я при этом не плакал.

Ее выпустили в начале 1954 года, и она вернулась в Москву без копейки в кармане. «У меня было ужасное время, когда я сюда вернулась. Они отобрали мою квартиру. В ней поселился тот офицер МГБ, что меня допрашивал. У него осталась вся моя мебель. Мне сказали, что я – враг народа, и недостойна что-то иметь».

Вскоре слезы полились у меня по щекам, но я не рыдал. Она рассказала мне, что ходила в милицию снова и снова, запрашивая свои вещи. В ее справке об освобождении не было

указано каких бы то ни было политических обвинений, и поэтому в милиции эту бумажку принимали как несущественную. Если бы она была осуждена, и потом освобождена, то они были обязаны подыскать для нее жилье, но она не была осуждена, и поэтому ее просто отправляли обратно на улицу.

Она вынуждена была ночевать под мостами в Москве!

Она была совершенно одна. Теперь речь зашла о моем отце. Через два дня после того, как взяли ее, взяли и его. Обратно в Москву он вернулся в 1955. К этому времени ей выделили малюсенькую комнату. Суд решил, что в обычном порядке ей положено было вернуть свою квартиру и вещи, но так как ее сын и отец были осуждены и признаны врагами народа, более просторного жилья она не заслуживает. Площадь комнатки, которую ей выдали, была десять квадратных метров¹, но ей сказали пойти в свою бывшую квартиру и затребовать свою мебель. Когда она пришла туда, квартира была пуста. Сотрудники того МГБшника прослышали о решении суда, и он продал все, кроме столика на кухне, который мой отец смастерил собственными руками. Представители суда опросили соседей и выяснили, что у нас имелась американская мебель и книги, а также иное имущество, которое было оценено в 11 000 рублей. По советским законам, ей должны были возместить утраченное, но только в размере десяти процентов. Она получила 1100 старых рублей, или около пятидесяти долларов, и на эту сумму она смогла прожить в течение некоторого времени. Когда мой отец вернулся, ожидая, что он въедет к ней, она, по ее словам, впала в истерику. Она набросилась на него за то, что он привез всех нас в этот ад, и сказала ему уходить и никогда больше не возвращаться. Мой отец решил убить себя. Но один человек, которого он знал по работе в транспортном отделе прокуратуры – писатель Лев Шейнин², бывший однажды главой уголовного розыска СССР, но имевший несчастье уродиться евреем, и потому проведший некоторое время в лагерях – отговорил отца от самоубийства и помог ему устроиться на работу в Истру, городок в пятидесяти пяти километрах от Москвы. Теперь мои мать и отец никогда не виделись друг с другом. Они стали друг другу совершенно чужими.

Я был обессилен после путешествия днем и ночью, а также после всей той эмоциональной истории, через которую провела меня моя мать. Внезапно рефлексы моего тела взяли верх, чтобы спасти меня. Я был не в состоянии сдерживать зевоту. Мы смастерили себе постель в этой крошечной квартире. Вернулась женщина-врач. Некоторое время я стоял и смотрел в окно перед тем, как упасть в кровать. «Мне нужно будет как-то выбраться из этого ужасного места!» – подумалось мне.

Но это не могло быть просто. Я поехал повидаться с отцом. Он был одинок и несчастен, но увидеть меня ему было очень радостно. Я понимал, что он пострадал из-за меня, как и моя мать, и потому чувствовал свою вину и перед ним также. Чувство этой вины было достаточно болезненным. Но моего отца арестовали по статье 58.10. Двое свидетелей подтвердили, что слышали, как он дважды сказал о том, что советские автомобили хуже американских. Так как именно американские автомобили использовались чиновниками высшего уровня после войны по всему Советскому Союзу, это замечание можно было бы считать вполне резонным – но оно стоило моему отцу приговора в десять лет и срока в трудовом лагере в Мордовии.

Моя мать и я не могли далее обременять ее престарелую подругу, и переехали в крошечную комнату матери. Хотя с первых дней было понятно, что жить рядом с ней будет непросто по причине ее душевного здоровья, я хотел оставаться с ней до тех пор,

¹ В оригинале – ten feet square, то есть около одного квадратного метра. Судя по всему, просто ошибка в тексте.

² Шейнин Лев Романович (1906-1967) – советский юрист, писатель, сценарист. Работал в уголовном розыске, в прокуратуре, участвовал в громких политических процессах 30-х гг., затем был сам арестован и отправлен в лагерь на Колыму. Затем был освобожден, участвовал в Нюрнбергском трибунале. 19 октября 1951 года был арестован по делу В. С. Абакумова, затем обвинялся в организации антисоветской группы еврейских буржуазных националистов, содержался в тюрьме на Лубянке. 21 ноября 1953 года освобожден из-под стражи. После 1953 года занимался литературной деятельностью.

пока мне не выдадут мою собственную комнату – а это могло занять и месяцы, и годы. Я не мог даже обратиться за постановкой на очередь на свое жилье до тех пор, пока не устроюсь на работу. Найти работу было моей первой задачей после того, как меня пропишут в квартире матери. Все, что вы делаете в Советском Союзе, должно быть официально зарегистрировано.

Я пошел в районный паспортный стол, чтобы зарегистрироваться. За наш дом отвечал молодой и напыщенный низкорослый милиционер младшего звания.

Я написал прошение о регистрации, подписал его и подал ему, вместе со своим паспортом и справкой об освобождении из лагеря. Милиционер взглянул на мои бумаги. Потом он посмотрел в домовую книгу, где была запись о комнате моей матери. Потом он просто мотнул своей головой и протянул мои бумаги назад.

- Извините, - сказал он.

- Что это значит?! Я только вернулся из лагеря. Мне негде жить. Это моя мать. И это мое единственное жилье.

- Слишком мало для двух человек. По закону требуется девять квадратных метров на человека. У нее только одиннадцать квадратных метров. Вам не повезло.

Мной овладела ярость.

- Хорошо, тогда что вы предлагаете мне делать? Спать на улице?

- Это меня не касается, есть закон. Вам нужно покинуть Москву.

Я уже собирался начать кричать снова, но он грубо сказал мне, что если я хочу жаловаться, то у меня есть право обратиться к начальнику паспортной службы московской милиции по адресу Ленинградский проспект, дом 22.

Я пошел через всю Москву пешком. К моему удивлению тот милицейский чин, с которым я разговаривал на Ленинградском, 22, отнесся к моему делу с большим вниманием. Я оставил свою обычную настороженность и поведал ему всю свою историю с самого начала.

Он прослушал ее со все более возрастающим изумлением. В конце он помотал головой, внезапно стукнул кулаком по столу и встал. «Вы хлебнули сполна, товарищ, хлебнули сполна. Подождите здесь. Я скоро вернусь».

Он быстро вышел из своего кабинета. Менее чем через пять минут он вернулся, подмигнул мне и кивнул головой в сторону: «Шеф хочет вас видеть». Потом снова кивнул, указывая направление, куда. «Входите».

У шефа на погонах были генеральские звезды. Он тепло пожал мою руку и предложил сигарету. «Знаете, эти районные сволочи ужасно безответственны и толстокожи. Я хочу, чтобы вы знали, товарищ – мы им даем указания, инструктируем, чтобы они делали все, что возможно, чтобы помочь таким несчастным товарищам, как вы, снова зажить нормальной жизнью. Не знаю, в чем тут дело!»

Он взял телефонную трубку и позвонил тому маленькому официозному слизняку, что вернул мне мое прошение. В течение двух минут все было улажено, при этом генерал продемонстрировал впечатляющую силу чиновничьего авторитета. Никого крика, никакой ярости. Просто не терпящий возражений приказ. Теперь я мог проживать в комнате моей матери.

Также пешком через Москву до дома матери. Подпись на еще одном заявлении. Получаю официальное разрешение.

- Но это только на месяц! – предупреждает мелкий слизняк. – Потом, если у вас не будет работы, вы должны будете выехать из Москвы насовсем.

Ему нужно было оставить за собой последнее слово, конечно же. Москва в это время представляла собой гигантскую стройку. Я был уверен, при всем своем опыте в строительстве, что найти работу не составит труда. Но я ошибался. Ежедневные поездки в центр, где я смотрел вывешенные списки на досках объявлений, разочаровывали – все предложения были на простую физическую работу. Хотя я был готов заняться и этим, если мне придется, но я был уверен, что с моими разнообразными навыками я мог бы зарабатывать намного больше – так, чтобы моя бедная мать получила возможность жить в каком-никаком комфорте, а не в этом крошечном и мрачном закутке. Я выжидал. Появилось несколько вакансий сварщика, но к тому времени, как я обратился за ними, позиции были уже заполнены. Пришел и прошел сентябрь, и мне исполнилось тридцать. Большую часть начала своей взрослой жизни я провел в тюрьмах и лагерях. У меня появилось чувство напрасной утраты, и мной овладело страстное желание добиться некоего положения в обществе и зажечь приемлемой жизнью, пока у меня все еще есть силы, чтобы насладиться тем, что мне осталось от моих молодых лет. Я хотел жениться и хотел растить детей. Я хотел всех тех вещей, что хочет от жизни нормальный молодой американец. Я знал, что только немного из этого мне будет доступно в Москве, но я чувствовал, что как только моя жизнь как-то устроится, я смогу вернуться к выработке плана относительно того, как нам вместе с матерью перебраться обратно в Соединенные Штаты.

В середине октября на доске объявлений появилась вакансия, которая выглядела обещающе:

ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Машинистка с рабочим знанием английского языка.

Обязательно: уметь пользоваться печатной машинкой с английским алфавитом.

В России просто не существовало такого понятия, как машинист-мужчина. Но я этого не знал. Начальница по кадрам в издательстве Министерства здравоохранения была изумлена, когда я подал ей свое заявление. Я сказал ей, что мне нужно содержать свою мать. Она ответила: «Смотрите, во-первых, зарплата составляет только 78 рублей в месяц (около \$75), и этого недостаточно. Во-вторых, это работа для женщины. В-третьих, у вас слишком серьезная квалификация. Разрешите мне вновь посмотреть ваши документы». Она посмотрела на мою справку об освобождении. Потом прочла характеристику, выданную Лавреновым. Она была благожелательно настроена ко мне и сказала, что у меня очень высокая квалификация и что я вполне подготовлен к тому, чтобы работать самостоятельно в каком-нибудь медпункте, а также что я могу замещать квалифицированных хирургов во многих случаях.

Она спросила меня о моем английском. Я ответил ей, что родился в Нью-Йорке. Я не упомянул о том, что работал в американском посольстве, так как был уверен, что меня бы никогда не приняли на эту работу, если бы знали об этом.

Ее, по всей видимости, чрезвычайно впечатлило все то, что я показал и рассказал ей. Она поведала мне, что при министерстве собираются открыть новый филиал, который будет заниматься медицинскими публикациями на иностранном языке, и они не могут найти никого, кто мог бы возглавить отдел англоязычной литературы, и что я идеально подхожу на эту должность.

- Смотрите, - произнесла она, - почему бы вам не взять эту работу машинистки на месяц. А в это время мы откроем вакансию на должность главного редактора в отделе публикаций. Это хорошо оплачиваемая работа, товарищ, и эту заявку обработают не так быстро. Вот почему я предлагаю вам взять работу машинистки, на время.

- А как насчет того факта, что я был политическим заключенным? – спросил я. – Не будет ли это препятствием? Для такой высокопоставленной должности?
- Вы, должно быть, очень наивны, - ответила она мне с насмешкой. – Вокруг так много высококвалифицированных бывших политзаключенных в Москве, что мы бы не смогли заполнить и половину своих вакансий, если бы отказались от них.

Я подавил в себе желание спросить у нее, какого же черта они отказались от них всех изначально. Но это была не ее вина.
Она продолжила:

- Однако мне нужно узнать, как так получилось, что вы родились в Соединенных Штатах, и где вы работали перед тем, как попали в лагерь.

Мне нужно было быстро найти выход из ситуации, и я принял трудное решение. Я решил солгать. Я сказал:

- Ну, вы знаете, в двадцатые годы в Америке было множество советских специалистов. Мой отец работал торговым представителем там в течение нескольких лет. Мы вернулись обратно, когда мне было два года.

Она записала мою ложь.

- А ваша последняя работа перед тем, как вас отправили в лагерь?
- Я был... - я быстро подумал и солгал снова, - я работал в Министерстве иностранных дел.

Я не сказал, чьих иностранных дел.

Она была впечатлена. Потом она записала еще что-то, а затем сказала:

- Вот и все. Только принесите мне письмо из министерства, подтверждающее, что вы там работали, и я уверяю вас, что вы идеально подойдете на эту отличную работу.

Она наградила меня дружеской улыбкой. Я улыбнулся в ответ, но внутри я чувствовал себя ужасно. Способа раздобыть такое письмо не существовало, кроме как подделать его. Я едва расслышал ее разъяснения относительно того, куда обратиться в понедельник за работой машиниста. Я вышел оттуда в мрачном настроении и отправился до дома пешком, пытаясь по дороге что-нибудь придумать.

Я чрезвычайно тщательно обдумал свое положение. Мне была крайне необходима эта работа, и я им также был очень нужен. Наконец, я решился на смелый шаг. Я написал подробное письмо, описывающее всю мою ситуацию, кроме единственной детали – того, что я солгал начальнику отдела кадров. Я просто констатировал, что Министерству здравоохранения требуется справка, в которой говорится о том, где я работал перед своим арестом, и что мне было запрещено по условиям освобождения идти в посольство. Я также написал, что мне бы очень хотелось вернуть свои личные вещи из посольства, и, так как я не могу пойти туда самостоятельно, то не может ли министерство иностранных дел, используя свои регулярные контакты, запросить вернуть мои вещи и передать их мне. Этот шаг был задуман для того, чтобы дать американским официальным лицам знать о том, что я жив и нахожусь в Москве. Это был первый шаг к моей репатриации. Одежда, книги и остальные вещи – все это было второстепенным. Существенной необходимостью было осуществить контакт и дать моей стране знать о том, что у нее все еще был живой и дышащий гражданин по имени Алекс Долган.

В своем письме я был честен и прямо говорил обо всем том, что касалось моего рождения и обстоятельств приезда в Москву. Я перечитал это письмо несколько раз. Потом я положил его в конверт и написал «к особому вниманию В.М.Молотова» (министра иностранных дел). Я отправил это письмо, надеясь на удачу.

Потом я пришел в издательство министерства здравоохранения и начал свою работу в качестве единственной в СССР машинистки мужского пола. В конце первого дня мне выдали справку о трудоустройстве, в которой говорилось о том, что я принят на работу, а также там было положение о том, что мне следует обратиться в свое отделение милиции для регистрации и получения военного билета, означавшего постановку на воинский учет.

В справке с места работы из отдела кадров мое имя значилось как «А.М.Довгун-Должин» - таким образом, была увековечена та необъяснимая ошибка в правописании, которую в свое время сделали в МГБ многими годами ранее. В справке говорилось, что меня приняли на работу в качестве машинистки со знанием английского языка и зарплатой в 78 новых рублей.

Фамилия Должин, в отличие от Иванов/ Иванова и других русских фамилий, не указывает на пол человека. Глава домуправления – высокая, полная женщина за пятьдесят – взглянула на справку и произнесла недовольным тоном: «Ну, и почему эта машинистка не пришла сама?»

- Она пришла, - ответил я.
- Так и где она, черт побери?

Я рассмеялся и ответил:

- Прямо здесь. Это я.

Женщина растерялась. Она взглянула на справку, перегнулась через стол и посмотрела на мои брюки, покраснела и, запинаясь, произнесла:

- Простите, пожалуйста, это моя ошибка. Я не поняла, что «она» - это вы.

Что касается воинского учета, то этот пункт меня немного волновал. Вовсе не по той причине, что я предполагал, что с моим давлением и увеличенным сердцем и историей с грыжей меня могут обязать служить хоть в какой-то армии. Но я знал по своей работе в консульстве посольства, что по американским законам любой, кто по своей воле служит в чужой армии, может рассматриваться в качестве человека, отказавшегося от своего американского гражданства. Я просто не хотел испытывать судьбу. Я пришел в районный военкомат и сказал дежурному офицеру, что являюсь очень больным человеком с высоким кровяным давлением и слабым сердцем, и обратился за медицинским освидетельствованием с тем, чтобы быть признанным негодным к службе. Мне обещали его провести и сказали, чтобы я не волновался. Пока же мне полагалось носить военный билет – с тем, чтобы в следующем году, когда проводится ежегодный пересмотр статуса военнообязанных, меня полностью осмотрели, и если все, как я сказал, подтвердится – как сказали мне – то меня, конечно же, объявят негодным.

Следующие несколько недель прошли без особых событий – я занимался тем, что печатал документы министерства здравоохранения на английском языке для использования в иностранных публикациях. Этот период я мог бы назвать для себя спокойным временем, по причине регулярности и простоты моих занятий, за исключением одного происшествия, случившегося дома.

Однажды я проснулся посреди ночи с внезапным ощущением грозящей опасности. Когда я перевернулся на своей маленькой кровати в нашей комнате, то увидел свою мать в

сумраке – она приближалась ко мне украдкой с поднятым в руке молотком, словно собираясь меня ударить. На ее лице отображались как испуг, так и решимость. Я выскочил из кровати и схватил молоток. Она совершенно не сопротивлялась.

- Тебе привиделся кошмар во сне! – сказал я.

Она помотала головой – нет, убежденно.

- Это не сон, Алекс. Я слышала, как они говорят в коридоре. Я подозревала, с тех пор, как ты вернулся, что на самом деле ты из КГБ. И теперь, когда я услышала, как они шепчутся за дверью, я это знаю. Они хотят, чтобы ты отравил мою еду, это так?

- Мама! – я включил свет. – Проснись, мама. Это всего лишь ночные кошмары.

Я открыл дверь и показал ей пустой коридор.

- Смотри, родная. Там никого нет. Тебе это приснилось.

- Нет, Алекс, - произнесла она убежденно. – Теперь ты не сможешь скрыть от меня этого. Теперь я знаю, что ты – с ними.

Потом она легла. Я не спал до конца ночи. С одной стороны, мне было горько из-за ее рассудка, а с другой меня охватил страх относительно того, что она может попытаться сделать.

По утру ее сознание было ясным, как если бы она и вправду спала во время своего странного ночного припадка, но смотрела она на меня по-иному. В течение следующих нескольких недель я пришел к печальному пониманию того, что она действительно верила, что я был из КГБ, и что она слышала голоса чаще, чем давала мне знать об этом.

Три недели спустя ко мне пришло письмо от одного из заместителей Молотова, в котором говорилось, чтобы я принес паспорт и остальные документы в Министерство иностранных дел в комнату под номером таким-то, где меня будет ждать человек по имени Петров.

Никаких иных пояснений не было.

Я отправился туда на следующий день. У человека на охране был выписан пропуск на мое имя, и он указал мне, как найти комнату Петрова. Я постучался, вошел и представился.

- Ах, да, - сказал Петров. – У меня есть для вас кое-что. Одну минуту.

Он вышел из комнаты и вскоре в нее вернулся.

- Вот ваши документы, - сказал он. – Пожалуйста, прочитайте, чтобы проверить, все ли верно.

Удивительно, но этот документ подтверждал мою ложь. Почему они решили это сделать, запрашивали ли они мое заявление на трудоустройство из министерства здравоохранения, или какими мотивами они руководствовались – я об этом не узнаю никогда. Но в том документе, который выдал мне Петров, просто значилось, что с 1942 по 1948 я работал в дипломатическом корпусе министерства в качестве референта. Это слово для меня ничего не означало. Самое близкое понятие, которое я мог бы привести в английском языке, это «человек по отношениям»¹, но это тоже ничего не означает.

¹ reference man – в оригинале

Когда я отнес этот документ начальнице отдела кадров в издательстве при Министерстве здравоохранения, она взглянула на него, а потом посмотрела на меня и широко улыбнулась.

- Товарищ Должин! – сказала она. – Вам нужно было сказать мне! Вы очень скромный человек. Почему вы не сказали, что вы были одним из нас!

Я не представлял себе, что это значит. Поэтому просто посмотрел в пол, пожал плечами и произнес:

- Ну...

- Скажите, - продолжила она, - сколько вам доплачивали за вашу работу на МГБ?

Это меня ошарашило. Каким-то образом мне удалось от нее отвязаться. Я сказал, что это конфиденциальная информация, или что-то в этом роде. И поныне я не знаю, то ли она меня проверяла, то ли слово «референт» было своеобразным кодовым словом, используемым среди работников министерства иностранных дел, или само министерство иностранных дел получило каким-то образом нелепую информацию о том, что я имел отношение к МГБ. Возможно, моя мать была не единственным человеком в Москве, введенным в заблуждение, подумалось мне. Кто знает – в российской чиновничьей среде случались безумные вещи. Позже я узнал, что некоторые службы министерства иностранных дел практически неотличимы от подразделений секретной полиции, но что дало той женщине подумать обо мне как об одном из «них» - до сих пор я могу это только предполагать. Я дал понять, что моя работа была настолько секретной, что я предпочитаю об этом не говорить, и этот номер прошел. И, как она и обещала, работа редактора дождалась меня. На следующий день я начал свою работу в разделе периодики, на улице Петровка.

К 1956 году советское министерство здравоохранения выпускало более сорока медицинских журналов по всему свету. Бюджета делать выпуски этих журналов на разных языках не хватало, поэтому для наиболее значимых статей делались конспекты, выпускавшиеся на английском языке для англоязычных стран. Моей работой было находить переводчиков для этих англоязычных конспектов, заключать с ними договора, редактировать их работу и проверять точность изложения медицинской тематики. Мне предстояло приступить к организации всей этой работы в рамках нового отдела в нашем издательстве.

Работа была интересной. Зарплата была почти вдвое больше той, что была назначена мне при приеме в качестве машиниста. На некоторое время я с головой погрузился в дела, и эта работа меня вдохновляла – так, что меня не очень отвлекали все эти темные страхи моей матери и голоса, которые она продолжала «слышать» из коридора, или через стены или потолок. Возможно, что-то от моего энтузиазма, связанного с новой работой, перепало и ей. На некоторое время жизнь в нашей маленькой комнатке стала полегче. Несколько часов я стоял в очереди за покупкой нового холодильника, чтобы она могла пить чай со льдом, и мы могли держать в нем свежее молоко. Когда же я прошел вовнутрь, в сам магазин, то обнаружил, что очередь стояла на самом деле за тем, чтобы вписать себя в список желающих приобрести холодильник. Предлагалось два типа холодильников: подороже и подешевле. По причине своего воодушевления я выбрал вариант подороже. Затем требовалось оставить почтовую открытку – ее должны были выслать по адресу человека тогда, когда его номер подойдет. Меня предупредили, что это может занять более года.

Затем я начал предпринимать шаги по возвращению моей одежды, книг, радиоприемника и фотоаппарата из американского посольства. В том письме, которое я получил от заместителя Молотова, помимо направления меня к Петрову за справкой с места прежней

работы, содержалось также указание связаться с юридической коллегией при министерстве иностранных дел по вопросу возврата моих вещей. Это было государственное агентство, которое сотрудничало с иностранными представительствами по вопросам наследства и прочим юридическим делам.

Когда я смог на некоторое время отпроситься с работы, получив на это разрешение директора издательства, я встретился с представителем коллегии. Он с сочувствием выслушал мою историю. «Вы знаете, - сказал он, - обычно государство удерживает двадцать пять процентов от ценности того имущества, которое вы требуете обратно. Но я бы рекомендовал снизить эту пошлину до десяти процентов. Вы столько вынесли, товарищ, что я уверен, государство не должно требовать от вас слишком многого теперь!» Через неделю меня вызвали в коллегию для официального собеседования. Там меня представили председателю, а также приятному молодому человеку с острыми чертами лица, которого мне представили как «товарища Александрова», юриста. Я тут же отметил его как КГБшника. Их там, в этой коллегии, должно было быть, как тараканов. Но я решил поиграть пока с ними в их игру, и вести себя так, как если бы Александров и в самом деле был только юристом, и никем иным.

- Мы поговорили с посольством Соединенных Штатов, - произнес председатель. – У них есть деньги для вас, и они будут рады вас видеть. Все, что вам нужно сделать, это лично пойти туда, и они вам все вернут. Наш юрист, - кивок в сторону Александрова, - пойдет с вами, чтобы проконтролировать, что все пройдет должным образом.

Я был в игривом настроении и решил заставить Александрова показать свое обличье. Поэтому я произнес:

- Ну, я не могу пойти в посольство США, вы же знаете. Это запрещено условиями моего освобождения. При воротах посольства всегда дежурит оперативник КГБ, и как только меня увидят, мне снова в тюрьму, и я думаю, что вы понимаете, что я не буду так рисковать.

Председатель произнес:

- Послушайте, товарищ Должин, я клянусь вам, пока вы с нашим юристом, все будет в полном порядке. Мы уже проводили такую работу. Мы хотим, чтобы вы забрали деньги, и мы закроем это дело. Вы не можете попасть в какие-то неприятности, пока вы – с товарищем Александровым.

Я наслаждался этим спектаклем. Я понимал – все, что они говорят, безусловно является правдой – но я хотел вынудить их доказать мне это. Я обратился к Александрову:

- Простите, но я просто не могу отправиться туда с вами.

В комнате повисла напряженная пауза.

- Единственным человеком, с которым я могу туда пойти, - продолжил я, - может быть только офицер госбезопасности.

Председатель был раздражен.

- Это вовсе не обязательно! Мы – официальные лица, представители государства. Вы в совершенной безопасности. Вы...

Но я просто продолжал отрицательно мотать головой.
Терпение у председателя кончилось. Он произнес:

- Ну, хорошо, Александров. Покажите ему свое удостоверение.

Александров показал мне корочку. Точно такую же, как ту, что показали мне на улице Горького восемь лет назад. Красно-синюю. Александров М. И, старший оперативник, КГБ.

Я изобразил изумление:

- Почему же вы не сказали мне! Конечно! Замечательно!

Председатель произнес:

- Только еще одно. Американцы очень враждебно настроены к нам сейчас из-за кризиса вокруг Суэцкого канала. Мы просим вас находиться как можно ближе к нему во время вашего визита. Так как вы – бывший американец (бывший? – подумал я), то это даст Александрову некоторую защиту.

Какая ирония, - подумалось мне. И потом я осознал, что это было просто мерой предосторожности с их стороны, чтобы не упустить меня. В любом случае, пытаться что-то предпринимать тогда я не собирался.

Замаскированный гебист, стоящий у ворот, отказывался пропускать нас внутрь до тех пор, пока Александров не уговорил его сделать звонок для того, чтобы согласовать мое посещение. Затем мы прошли вовнутрь. Чувства мои были очень странными. Вот это место, которое должно было быть местом моей работы. Вот эти люди, которые не сделали ничего для меня все эти годы. Я чувствовал внутри себя странный холод и отстраненность. Вышел консул. Он также вел себя очень сдержанно. Он произнес:

- Мистер Долган, у нас есть тысяча долларов для вас. Вы хотели бы перевести их на свой счет в Нью-Йорке, или получить здесь наличными?

Ни слова о том, как я, или «не хотели ли бы вы, чтобы мы действовали от вашего имени» – ничего подобного. Просто «как ты хочешь получить свое бабло?»

Я ответил не раздумывая:

- Я только вернулся из лагеря. Я устроился на работу, но мне пока не заплатили. Я возьму сумму в рублях.

Собственно, вот и все. Я подписал квиток на получение моих пенсионных накоплений. Никаких упоминаний о том, чтобы заплатить мне за эти восемь лет, или о выплатах за ту опасность, которой я подвергался, или о том, что они осознают, через что мне пришлось пройти в попытках не скомпрометировать свою страну – в то время как Сидоров и Кожухов делали из меня отбивную. Я ощущал сильное разочарование.

- Что насчет моих личных вещей? – спросил я.

- Ну, - ответил он, – мы провели тут полную инвентаризацию, понимаете. Все эти вещи находятся на одном из наших складов, но для этого нужно пересмотреть тысячи ящиков. Мы дадим вам знать.

Годы спустя я узнал, что моя сестра Стелла задолго до этого дала свое разрешение на то, чтобы передать мои вещи советскому «Красному кресту». Я так и не узнал, обманывал ли меня консул, или просто записи были в таком беспорядке, что он, на самом деле, не знал об этом. Все то время, что я заведовал консульским отделом хранения информации, все записи были в идеальном порядке.

Уже на улице Александров, казавшийся неплохим парнем – с учетом того, что он был из КГБ – сказал: «Вам нужно было взять доллары, понимаете. В Москве можно многое купить на валюту без очередей. К тому же, это дешевле».

Я просто пожал плечами.

С этого времени я с головой ушел в свою работу. Я был настроен на то, чтобы найти способ уехать из этой страны, рано или поздно, но на данный момент мне требовалась нормальная жизнь и достаточно денег, чтобы сделать эту жизнь достойной для себя и своей матери. Тяжелая работа была для меня вроде наркотика. Транквилизатором. Число журналов, с которыми мы работали, увеличилось с сорока до шестидесяти, многие из них представляли специальные материалы для Всемирной Организации Здравоохранения. В это время мне пришлось нелегко – нужно было подыскать достаточное количество переводчиков, которые бы сотрудничали с нами на договорной основе и могли бы работать с медицинской тематикой. Я уделял работе много сверхурочного времени. Чтобы увеличить свои доходы, я предлагал свои услуги в качестве фрилансера другим издательствам, и переводил книги различной тематики, включая медицину и спорт. Я начал копить деньги для покупки автомобиля. Я внимательно следил за тем, чтобы у моей матери была хорошая еда. Я приносил ей цветы и делал все от меня зависящее для того, чтобы сделать ее жизнь комфортной. Нередко к ней опять возвращалась мания по поводу моей принадлежности к КГБ, и убежденность в том, что я был вовлечен в заговор, чтобы снова посадить ее в тюрьму, и, по крайней мере, дважды она снова бросалась на меня. Я понимал, что ее нужно госпитализировать, но не мог смириться с тем, чтобы отправить ее в учреждение. Регулярно я ездил за шестьдесят километров в Истру, чтобы увидеться с отцом. Он работал автомехаником, и зарплата у него была очень маленькой. Я при каждом своем визите оставлял ему немного денег. Между нами установились теплые отношения, он был любящим отцом, и отчуждение между ним и моей матерью ужасно меня печалило. Несмотря на свою нагрузку по работе в отделе, вскоре я начал подыскивать для себя дополнительную подработку. Мне удалось заключить договор на перевод книги по акушерству и гинекологии. Это означало убийственный объем дополнительной нагрузки, но обещанный гонорар мог позволить мне осуществить свою мечту по приобретению автомобиля, поэтому я погрузился и в это.

Однажды на улице я столкнулся со своим старым товарищем и напарником по лагерю – Эдиком Л. Мы бросились обниматься, как сумасшедшие, прямо посреди улицы, среди прохожих, и вновь и вновь хохотали, вспоминая эпизод с сейфом. Потом Эдик произнес:

- Угадай, кто здесь! Феликс!

- А, эта сволочь! Он так напоил меня чачей, что я чудом не провел в Джекказгане остаток своей жизни. Он хороший парень. Давай встретимся, - ответил я.

- И это еще не все, - продолжил Эдик. – Феликс женился на Гале Заславской. Помнишь ее?

Конечно, я ее помнил. В следующие выходные у нас состоялась грандиозная вечеринка, мы пили много вина и вспоминали былые времена. С собой я привел девушку из издательства. Ничего серьезного. Я был намерен жениться, но в то же время я решил отказаться от этой идеи на некоторое время. Частично по той причине, что меня преследовали воспоминания о Гертруде, и частью потому, что я понимал, что в случае, если мне удастся разработать план бегства, то мне лучше быть самому по себе.

На нашей вечеринке Феликс сказал: «Алекс, сегодня кое-кто придет, с кем бы мне очень хотелось, чтобы ты встретился. Один из великих членов нашего Профсоюза. Ты когда-нибудь слышал о Георге Тэнно?»

Все рассмеялись, услышав это предложение. Георг Тэнно был легендарной личностью. Никто другой из всех, кого бы мы знали, не пережил более чем одной попытки побега. Тэнно совершил целых две феноменальных попытки побега, и был все еще жив, чтобы поведать об этом. Громче всех там смеялся я, поведав собравшимся историю о том, как меня избили до полусмерти по причине моего предполагаемого знакомства с Тэнно.

- Ну-ну! – сказал Феликс. – Значит, теперь мы сделаем из тебя честного человека, и познакомим с Георгом Тэнно. Он придет сюда сегодня!

Георг Тэнно оказался худошавым, статным мужчиной, с длинным аристократическим носом и выразительными умными глазами, смотрящими на вас с впечатляющим спокойствием и уверенностью. Мне он понравился. Он крепко пожал мне руку и произнес: «Конечно, я узнал вас! Меня заставляли изучать ваши фотографии. Интенсивно и болезненно. В Лефортово, в сорок восьмом и сорок девятом».

Мы с Георгом Тэнно вскоре стали близкими друзьями. Георг был командиром на флоте, офицером связи с британцами во время войны, и он часто путешествовал с конvoями, осуществлявшими поставки союзников через Архангельск и Мурманск. Во время своего последнего путешествия обратно он сильно подружился с капитаном британского крейсера, с которым его назначили работать. Этот человек после войны дослужился до вице-адмирала. В 1948-м, вспомнив любовь Георга к определенному сорту британского табака для трубки, этот вице-адмирал послал рождественскую открытку в Москву, вместе с порцией табака. В это же самое время Георг проходил специальную подготовку. У него был превосходный английский, и его намеревались отправить в Соединенные Штаты в качестве разведчика.

Но в МГБ решили, что эта рождественская весточка от британского вице-адмирала пахнет конспирацией. Они арестовали как Георга, так и его жену, Натали. Его допрашивали в течение двух лет, в течение которых ему пришлось пережить очень тяжелые испытания. В конце концов, его отправили в Джезказган, а Натали – в отдаленный северный лагерь. Им обоим дали двадцать пять лет за государственную измену.

А затем, после того, как его реабилитировали во время хрущевской амнистии для высших военных офицеров, его тут же позвали обратно его бывшие преподаватели из ГРУ – службы военной разведки.

Они знали его квалификацию, и они хотели, чтобы он вернулся. Но Георг не желал их больше видеть. Теперь он хотел выбраться из России. Ему совершенно не хотелось заниматься шпионской деятельностью от чьего бы то ни было имени. И для того, чтобы избежать как обратного приема в партию, так и службы в разведке, ему пришлось симитировать душевнобольного. Он потребовал обследования в психиатрической клинике. Он говорил психиатру, который его обследовал: «Понимаете, в тюрьме я много страдал. Меня пытали. Конечно, я преданный советский гражданин, но как только я вижу сейчас жирную морду какого-нибудь партийного чиновника, мне хочется дать ему пинка. Это ужасно. Я понимаю, что это неправильно, но это выше моих сил. Что-то щелкает у меня в голове, и я... Ой, простите!»

В этот момент он ронял на пол спички. Во время беседы Георг нервно крутил две спички между пальцами. Каждую минуту или около того он их ронял. В такой момент он прерывался на полуслове и произносил очень вежливо: «Простите. Конечно, вы понимаете, что мне нужно их подобрать?»

Он бросался на пол, подбирал свои спички, и все повторялось снова.

Вероятно, это было внушающее представление. После многочисленных проверок Георга признали неподходящим для военной службы, и о нем позабыли. Потом он начал работать в качестве редактора в исследовательском Институте Физической Культуры.

Наличие такого хорошего друга, которому можно было довериться, как Георг Тэнно, становилось для меня все более необходимым в начале 1957 года, в то время как напряжение от непредсказуемого поведения моей матери все более нарастало. Георг стал для меня источником стабильности в жизни. Я мог всецело полагаться на него, и с ним мне никогда не было тяжело. Моя мать не страдала. Я имел возможность сделать ее физическое существование очень комфортным, даже несмотря на наш жалкий угол. Большую часть времени ее сознание было ясным – в том, что касалось наших разговоров – и она могла вполне хорошо ухаживать за собой. Но нередко ее потаенные ужасные страхи относительного того, что ее снова заберет КГБ, и ее печальное, горькое наваждение о моей вовлеченности в заговор против нее прорывались на поверхность, и иногда это выражалось достаточно бурно. Дружба с Георгом – это все, за что я мог держаться, чтобы не сойти с ума самому.

Наконец, к счастью, этот вопрос разрешился. Однажды во второй половине дня мать заснула, оставив чайник на включенной газовой плите. Чайник выкипел. Мать проснулась от запаха гари: днище чайника расплавилось. Ей овладела мысль о том, что это было частью заговора против нее, и что в этот заговор вовлечены соседи по нашему дому. Мать пошла по дому, устроив скандал. Она обвинила их всех. У одной из тех женщин, мы знали ее, муж был милиционером. И та обратилась к своему мужу. Все они знали историю того, что моя мать раньше находилась в заключении в психбольнице. Тот милиционер вызвал соответствующую службу. Мою мать забрали для осмотра, и назад она уже не вернулась. Ее отправили на постоянную госпитализацию, поставив диагноз «параноидальная шизофрения». И, хотя на протяжении многих дней это тяжело меня угнетало и меня душило от злобы на эту безумную порочную систему, которая довела мою мать до такого состояния, я смог успокоить себя пониманием того, что теперь она в большей безопасности, что ей там хорошо, и что для нас обоих жизнь будет теперь более терпимой, чем была до этого.

Я мог навещать мать дважды в неделю, и приносил ей еды (без которой она бы голодала, кстати – вот так это устроено в России). Она вскоре очень полюбила больничному персоналу, и ей отдали ключи от бельевой комнаты – она с большим удовольствием исполняла порученные ей обязанности, и я думаю, что в определенной степени это поддерживало в ней жизнь. Со мной она была очень радушна, когда я ее посещал, но мне она сказала, что провести ее вокруг пальца не удалось – она прекрасно понимает: так называемый госпиталь является учреждением КГБ, и я, конечно же, сотрудник КГБ, и никакие мои протесты не смогут поколебать в ней этого понимания. Несмотря на все это, мои визиты к ней стали для меня источником, пополнявшим мои душевной силы. Мы говорили о Нью-Йорке и том, как чудесно было бы вернуться, а также об ее дорогой сестре Тесси из Нью-Джерси, а также о моих кузинах – и, таким образом, несмотря на ее безумие, между нами возникла теплая нить взаимной привязанности, поддерживающая нас обоих.

Однажды меня попросили поговорить с главным психиатром отделения в этой больнице. Эта женщина усадила меня, и очень мрачно объявила, что моя мать страдает буйной паранойей, отмеченной колоссальными и необъяснимыми бредовыми состояниями. Я ответил, что мне известно, что у нее имеется несколько искаженное представление о некоторых вещах, но я вовсе не считаю, что это настолько ужасно.

- О, товарищ, это очень серьезно! Она рассказывала нам истории о жизни в Нью-Йорке, вы представляете? В ярких красках! Она описывает улицы и здания с такой достоверностью, что я ей почти поверила. Редко когда можно встретить такой

запущенный случай. Мне очень жаль, что я вынуждена сказать вам о том, что она ушла очень, очень далеко в мир своих фантазий.

Я сидел и слушал эти декламации в течение нескольких минут, не подавая врачу ни единого знака. Когда она закончила описывать все те признаки, что убедительно доказывали, по ее мнению, то ужасное состояние, в котором пребывает моя мать, я выдержал паузу около минуты, а затем рассказал ей правду о своем происхождении, и о том, почему моя мать оказалась в том состоянии, в котором она была. Я был достаточно раздражен, и мне хотелось поставить ее в неловкое положение. Однако врачи не извиняются – особенно если их подловил кто-то со стороны. Она меня выпроводила, пребывая в сильном замешательстве, но при этом продолжая бубнить о том, что я должен понять, что моя мать нуждается в строгом наблюдении и серьезном уходе, и что мне важно регулярно ее навещать, и так далее. Как будто мне требовалось это говорить.

В своей маленькой комнатке мне было одиноко. Я занимал себя работой, а также разговорами с Георгом Тэнно относительно планов побега. На работе моего начальника впечатлило мое усердие, а начальников по партийной линии это впечатлило даже более того, чем я бы желал. В один из дней ко мне пришел секретарь парткома нашего издательства по фамилии Кудряшов. После небольшой беседы о том, как хорошо у меня идут дела с развитием нового отдела, он перешел к цели своего визита.

- Пришло время для вас, товарищ, взять на себя определенную общественную работу – и у меня есть для вас такое задание, на добровольных началах, с которым, как я уверен, вы справитесь очень хорошо.

Я опасался, что рано или поздно этот момент настанет. От каждого в этой стране ожидают участия в некоем объеме так называемой «добровольной» общественной работы. Где-то она связана с политикой, а где-то – нет. Мое задание было исключительно политическим. Кудряшов хотел сделать меня агитатором! Это означало, что во время выборов я должен был оформлять лозунгами и флагами дома в своем районе, напоминать людям, что они должны идти и голосовать, отмечать все имена в списках, размещать предвыборную агитацию – и, в целом, содействовать процессу принудительного голосования.

- Послушайте, товарищ, - сказал я, - я был бы рад содействовать вам во всем этом, но у меня очень слабое здоровье, понимаете. У меня слабое сердце, скачет давление, а также есть много других болячек, оставшихся со времен тюремного заключения. Все, что мне по силам – это протянуть на своем рабочем месте до конца дня. Я не представляю, как я могу взять на себя какие-то дополнительные обязанности.

Кудряшов был очень откровенен.

- Я думаю, товарищ, - продолжил он, - что вы не понимаете. Хотя это задание является, конечно же, исключительно добровольным, от него нельзя отказаться. Это было решено для вас на треугольнике.

«Треугольником» именуется правящий политический триумвират, присутствующий в каждом советском агентстве и чиновничьем учреждении, а также на любом заводе, в магазине, в больнице и так далее. Состоит этот треугольник из начальника учреждения (или директора завода), местного главы профсоюза и партийного секретаря. Эта тройка имела практически абсолютную политическую власть в стенах издательства, и я понимал, что мне придется смириться с этим, если только я не хочу поставить под вопрос свою должность. Выборы, к счастью, проходили только раз в год.

Поэтому, как только подошло время весенней кампании, я был на улице – с записной книжкой, отмечая голосующих! Я ненавидел это. В особенности я ненавидел сам день голосования. На каждом избирательном участке, что размещались в школах и библиотеках, были установлены громкоговорители. Я должен был встать рано утром и принуждать всех тех, кто был у меня в списках, придти на участки до полудня. Это делалось для того, чтобы досрочно объявить стране о результатах голосования. Но, так как нужное голосование было гарантировано в любом случае (всего было два кандидата, и требовалось голосовать за них обоих), настоящей целью досрочного голосования было предоставить чиновникам возможность хорошо повеселиться в оставшуюся часть своего выходного дня. На избирательных участках столы сдвигались в длинные ряды, а над ними висели таблички с большими буквами, от А до Я. Вам нужно было встать в очередь к букве по фамилии, потом расписаться в нумерованном бюллетене и заполнить его перед официальным лицом. Согласно конституции, в Советском Союзе разрешено отмечать на бюллетене, что вы – против этого кандидата, и на участках даже имеется закрытая занавеской будка, куда вы можете пройти, если хотите воспользоваться своим правом на тайное голосование. Но никто не осмеливается сделать такой шаг – просто последующее за этим порицание крайне неприятно.

На следующий день после выборов я сильно разволновался по поводу своего участия в этом. По американским законам, как я вспомнил из своей работы в консульстве, американский гражданин, голосующий на иностранных выборах, рискует потерять свое американское гражданство. Я мог бы спорить, что мое участие было вынужденным, но все равно меня это волновало. Я обсудил этот вопрос с Георгом Тэнно.

- Эл, о чем же ты думал – голосовать за этих ублюдков? – Георг взорвался. – Почему ты, черт побери, не сделал то, что сделал я? Просто заявляешь, что тебя не будет в городе в день голосования, говоришь, что собираешься голосовать в Загорске или Истре, куда ты едешь навещать своего отца, или еще где-нибудь!

- Но я знаю, что ты этот выходной провел в городе.

- Конечно, - Георг смеялся надо мной. – Конечно, так и было, но я вначале подал заявление. Я сказал, что собираюсь поехать к своим родственникам в Таллинн. И остался здесь. Они никогда не проверяют!

В конечном итоге я так и стал делать, хотя мне приходилось исполнять обязанности агитатора на протяжении двух лет перед тем, как с меня сняли эту обязанность.

Однажды поздно вечером, несколько месяцев спустя после того, как мою мать госпитализировали, я работал над переводом книги по акушерству и гинекологии – и в это время в дверь моей комнаты постучали. Гостей у меня почти не было, и я предположил, что это сосед, которому нужна какая-то помощь. Я открыл дверь и остановился в оцепенении, увидев знакомое с лагеря лицо, дополненное еще и униформой МВД: Лавренов, начальник лагерного госпиталя.

Я был не очень рад его видеть, но он распахнул руки для объятий и шагнул в комнату перед тем, как я успел и слово вымолвить. Он обескуражил меня крепкими объятиями: «Дорогой, старина! - восклицал он снова и снова. - Как чудесно, что я, наконец, тебя отыскал! Я искал и искал тебя. Ты даже не представляешь, как это здорово, тебя видеть. Думаю, вряд ли у тебя тут найдется что-нибудь выпить, дома?»

Так случилось, что у меня была бутылка вина, дожидавшаяся следующего заседания нашего «профсоюза». Но я решил, что стоит, возможно, воспользоваться ей, чтобы утихомирить Лавренова и избавиться от него. Эта сволочь огорчилась, увидев, что это не водка. Он принял от меня наполненный стакан и разочарованно смотрел, как я наливаю стакан себе. Он развалился на стуле, ослабил свой галстук, выпил свой стакан и снова

подал его мне. Я снова его наполнил. Он выпил половину. Потом вздохнул и вытер рот тыльной стороной кисти. снова тяжелый вздох.

- Да, да, - произнес он печально.

- В чем дело? – спросил я.

- Дорогой друг, - начал он, - ты даже не поверишь, до чего этот мир несправедлив.

Я просто спокойно смотрел на него, не обратив внимания на его слова. Он сам не представлял себе той иронии, которая в них прозвучала.

- Послушай, - продолжил он, - послушай, что со мной произошло. Это ужасно. После всех этих лет моей службы, они меня просто вышвырнули из МВД!

- Нет! – воскликнул я, стараясь, чтобы в голосе прозвучало негодование и симпатия. Я просто надеялся на то, что он закончит с бутылкой и вывалится вон. Я налил ему из своего стакана. Он принял это с отсутствующим взглядом и опрокинул стакан в себя.

- И не только это. Они еще и выгнали меня из партии, разве это не ужасно? Они сказали, это потому, что я слишком много пью. Я люблю выпить. Кто не любит? Но это не причина, чтобы вот так вот наказывать человека. Знаешь, почему я думаю, они это сделали?

Он снова протянул мне стакан. Бутылка была пуста. Лавренов разочарованно двинул бровью.

- Это все, что у тебя есть?

Я кивнул.

- Так почему они тебя выгнали? – спросил я.

- Ну, я тебе скажу правду, потому что ты поймешь ее. Никто другой мне не верит! Это из-за того, что я всегда так много делал, чтобы помочь политическим заключенным. Вот почему! Они решили, что я был слишком мягок с вами, ребята. Сволочи. У тебя нет дома водки, а?

У меня было немного, но я не мог позволить себе, чтобы Лавренов к ней притронулся. В любом случае, он был из того рода пьяниц, которых хорошо разбирает от половины бутылки вина, а он опустошил уже почти всю бутылку, поэтому я поднялся, чтобы указать ему на дверь. Он не пошевелился.

- Теперь мне придется вернуться домой, в Белоруссию, понимаешь. Буду работать обычным фельдшером, это все, что я могу делать. Я уезжаю завтра. Идти некуда. Комнату свою я потерял, все потерял.

По пьяни он прослезился. Потом хмуро оглядел комнату. Я просто стоял там, где стоял.

- Послушай, старина, - произнес он через некоторое время. – Мне негде спать. У тебя здесь есть еще одна кровать. Пожалуйста, могу я переночевать у тебя? Утром я уйду.

Мне подумалось – ну, хорошо, я от него, наконец, избавлюсь. К тому же он, все-таки, обходился со мной неплохо в лагере, и делал мне поблажки.

- Конечно, - ответил я.

Он снял свои сапоги, накрылся пиджаком, в качестве одеяла, и через пять минут уже храпел. Полночи я не мог уснуть из-за его храпа, и утром у меня не было сил сопротивляться, когда он попросил у меня 600 рублей, чтобы помочь ему добраться до Белоруссии. Он обещал, что вышлет их мне обратно, как только получит свою первую зарплату, но, конечно, я понимал, что ни денег, ни Лавренова я больше не увижу. Так и случилось.

Однако мне позвонил снова тот Александров из КГБ. Он сказал, что у американского посольства есть для меня другая денежная сумма, и мы договорились, чтобы вместе сходить туда и забрать ее. Александров был со мной очень любезен, и когда мы вышли из посольства с суммой в 270 долларов – в долларах, как он и советовал – он отвел меня в специальный валютный магазин, где можно было купить все виды импортных товаров, хорошего качества и по очень низкой цене. Вместе мы посмотрели предлагаемые модели холодильников, и я выбрал большую автоматическую модель, которую можно было купить сразу же, на месте, и за которую я заплатил 140 американских долларов. Я сказал Александрову, что записался в свое время в очередь на получение обычного холодильника. «Ну, теперь он вам не понадобится, – сказал Александров. – Когда подойдет ваша очередь, не могли бы вы мне позвонить? Мне бы холодильник очень пригодился». Было ужасно странно делать что-то полезное для офицера КГБ, но в то же время Александров мне понравился, и я не мог этому противиться. Я согласился передать ему свою очередь на холодильник, когда она подойдет.

В 1958 году отделение периодики переехало с улицы Петровка в огромное здание Министерства Здравоохранения в Рахмановском переулке, и вскоре после нашего обустройства там ко мне опять пожаловал Кудряшов. «Что ему теперь, черт подери, от меня нужно?» – подумал я. Как оказалось, он хотел, чтобы я вступил в партию!

В глазах советского гражданина такое предложение, конечно, было бы воспринято как огромная честь. Для меня же это являлось непристойным оскорблением, но я едва ли мог высказать ему это. Я гадал, как же мне отказаться, и при этом не быть подвергнутым за это третированию.

Я сказал ему:

- Товарищ секретарь, вы позабыли, что я восемь лет провел в лагере в качестве врага народа. Меня так и не реабилитировали. Я освобожден условно. Просто немыслимо, чтобы такая великая честь была оказана кому-то вроде меня!

- Чепуха, чепуха, дорогой товарищ! – загудел Кудряшов. – Полная чепуха. Это вовсе не препятствие. В сталинское время было совершено немало серьезных ошибок. Многие невинные люди по ошибке были посажены в тюрьмы. Вы не должны даже и думать об этом. Я с радостью походатайствую за ваше членство. И с удовольствием найду второго ходатая, поверьте, вы того стоите, дорогой товарищ. Найти второго для меня не составит труда, будьте уверены в этом. Что скажете? Разве вам не приятно быть приглашенным?

- Я ошеломлен, - ответил я ему вполне искренне. – Для меня это очень неожиданно, товарищ секретарь. Думаю, что вы понимаете, что мне нужно несколько дней, чтобы обдумать все это.

- Конечно, конечно! – радостно ответил Кудряшов. – Я зайду к вам в начале следующей недели.

Когда он снова пришел, я изобразил на лице горестную маску и сказал ему: «Послушайте. Я изучал литературу, чтобы подготовиться к принятию этой великой чести. И я пришел к выводу, что мне пока не хватает должной политической зрелости для того, чтобы пополнить почетные ряды Коммунистической Партии. Поэтому с огромным сожалением я вынужден отклонить ваше предложение.

Ему было просто нечего на это ответить.

В Советском Союзе все является частью некой кампании. Вскоре началась кампания по набору дружинников, или помощников полиции, которые бы «добровольно» патрулировали улицы три вечера в месяц. В качестве стимула им было обещано по три оплачиваемых выходных, но я послал все это к черту. Из психиатрической клиники мне удалось получить справку о том, что моя мать является душевнобольной, и я – единственный человек, который ей помогает. Это позволило мне избавиться от разнарядки по записи в дружинники. Два вечера в неделю я проводил с матерью, другие вечера – со своими друзьями, либо за работой над своими переводами.

Под обещание о выплате мне гонорара за перевод книги по гинекологии я смог одолжить достаточно крупную сумму денег, а также у меня оставались накопления от других подработок, и все это вместе составляло сумму, равную примерно четырем тысячам долларов – достаточную для покупки подержанного «Опель Олимпия» с пробегом 56000 километров на одомере. Стоимость бензина составляла всего около тридцати центов за литр, и теперь по выходным я мог ездить в Истру, чтобы с отцовской помощью содержать машину в должном состоянии. К сожалению, я был вынужден вскоре продать этот автомобиль, так как срок выплаты одолженной суммы наступил раньше, чем мне перечислили деньги за книгу, но позже я приобрел очень хорошую «Победу» с пробегом – примерно за пять с половиной тысяч долларов – и с тех пор до конца моего пребывания в Москве у меня всегда была машина.

Автомобиль, как мне думалось, я мог бы использовать и для своего побега. Я знал, что границы охраняются очень серьезно – но для того, чтобы добраться до морского побережья или до границы, захватив с собой все необходимое для выживания или все то, что потребуется для пересечения этой границы, безусловно, требовался автомобиль. Побег, по большей части, был главной темой моих разговоров с Георгом Тэнно во время наших встреч.

Когда же мы, время от времени, встречались с остальными членами нашего «профсоюза», то всегда поднимали два обязательных тоста. Первый тост был «за тех, кто в море» – этот старый моряцкий тост отныне посвящался тем, кто все еще находился в тюрьмах и лагерях. Второй тост был адресован советским правителям – «чтоб они сдохли, как собаки». Иногда мы с печалью вспоминали тех наших друзей, кого оставили там навсегда. Но сознанию человека необходим отдых от таких воспоминаний, и по большей части мы говорили о забавных или удачных эпизодах из нашей лагерной жизни. Печальным фактом являлось еще и в то, что для некоторых из выживших просто не существовало других тем для разговоров. То, что было для них худшим временем в жизни, трансформировалось по иронии судьбы в лучшее время – самое значимое время. Будущего для них не было; чтобы увидеть смысл в своей жизни, им требовалось обратиться назад – в то ужасное время, когда все лучшее в них было затребовано для того, чтобы выжить – и теперь сил у них не осталось. По всему Советскому Союзу живут тысячи, а может быть, миллионы тех, для кого работа и обычные дни – просто промежутки между такими вот встречами, когда можно собраться и предаться воспоминаниям вместе со старыми друзьями по лагерям Тайшета, Кенгира, Колымы или Джезказгана, или любого другого из тысяч существовавших сталинских лагерей рабского труда. Как мне, так и Георгу Тэнно было печально наблюдать за такими людьми. Мы были настроены на то, чтобы не попасться в эту ловушку. Мы сопереживали таким людям, но для нас будущее существовало, и в этом будущем была цель – выбраться из России.

Мы брали совместные отгулы и отправлялись в долгие поездки, изучая маршруты, которые бы кратчайшим образом привели нас к границе, где в минимальной степени присутствовал бы пограничный контроль – задача которого заключается в том, чтобы не дать советским гражданам, желающим выбраться из страны, такой возможности. Однажды мы даже купили акваланг и приладили специальный клапан для компрессора, работающего от двигателя моего автомобиля. Согласно нашей задумке, мы собирались на

выходные отправиться на Черноморское побережье неподалеку от Новороссийска, надеть акваланг, погрузиться ночью, перехватить отходящий из порта иностранный корабль, забраться на борт и попросить убежища. Нам пришлось отказаться от этой затеи, когда один из моряков, друзей Георга, рассказал ему, что во всех таких местах устроены специальные устройства для предотвращения именно таких вот попыток. Судя по всему, мы вовсе не отличались оригинальностью в своем плане и были далеко не единственными из тех, кто хотел таким вот образом выбраться из страны.

Одна из рабочих поездок Тэнно в Эстонию повлекла за собой цепь событий, которые на некоторое время, как тогда казалось, положили конец моим планам побега – и, в том числе, моей свободе. Мне позвонил глава следственного комитета МВД. Потом меня пригласили «на небольшую беседу» в их центральном штабе в Москве. По поводу «небольшой беседы» с их стороны у меня не было иллюзий: «Ну что ж, все повторяется», – сказал я себе, и попробовал вернуться в то эмоциональное состояние старого матерого волка, что было со мной в конце лагерного заключения. Я купил десяток сигаретных пачек и кучу спичек, набив ими свои карманы. Потом позвонил всем своим друзьям по «профсоюзу», до которых смог дозвониться, и предупредил, что все это может быть началом новой кампании против бывших политических заключенных. В моем прошлом таких кампаний было множество, и в лагере я встречал самых разных «повторников» – жертв подобных кампаний.

В девять утра, с хмурым выражением лица и злой внутри, я появился на пороге их главного управления. Меня сразу же начали спрашивать о Георге Тэнно – куда мы ездили вместе, что мы замыслили, почему мы ездили на автомобиле. Все это выглядело скверно. «Может, они поставили у нас жучки?» – промелькнула у меня мысль. Я сохранял свое хладнокровие и рассказывал только правду (хотя, конечно, не всю правду).

Георг ездил на встречу атлетов в Таллинне, что на берегу Финского залива, в октябре. Когда меня спросили, знаю ли я что-то о его недавних поездках в Таллинн, я перепутал даты по какой-то причине, и сказал: «Конечно. В середине сентября. На атлетическую встречу».

Эффект от моих слов в комнате был внезапным: по ней словно пробежал электрический ток. Следователи в радостном возбуждении принялись о чем-то шептаться между собой. Я попросился в туалет. Кажется, ко мне они на время потеряли интерес.

По дороге из туалета охранник перепутал комнаты и открыл дверь в другую комнату для допросов. Я успел заглянуть внутрь. Там сидела Натали Тэнно. Вид у нее был изможденный.

Через два дня меня выпустили оттуда – конечно, без каких-либо объяснений причины, по которой я там находился все это время. Прошла почти неделя до того момента, как я снова увиделся с Георгом. Вот в чем было дело. Как оказалось, в середине сентября в Таллинне произошло крупное ограбление банка. Три человека подъехали к банку в середине дня, застрелили охранника и всех других свидетелей, которые были при этом, и убрались восвояси, прихватив более двух миллионов новых рублей.

Одного из грабителей поймали. Он понимал, очевидно, что пока остальные на свободе, его будут держать живым, и поэтому он сочинил достаточно правдоподобную историю. Ранее он сидел в одном лагере с Тэнно, и, зная его репутацию, он рассказал следователям, что именно Тэнно спланировал все это ограбление и являлся главарем банды. Следующим вечером, когда Тэнно с женой возвратились домой из театра, в темной квартире их поджидало шестеро вооруженных сотрудников органов. Тэнно на самолете отправили в Таллинн для очной ставки с грабителем, а потом перевезли обратно в Москву для допросов. Но алиби у Георга оказалось железное. Его поездка была в октябре, а не в сентябре, как я заявил по ошибке (Натали допустила ту же промашку, кстати), и все сотрудники Георга поклялись, что в день ограбления он находился на работе, как и весь предшествующий этому месяц. В конце концов, милиционеры извинились перед Георгом, хотя передо мной или Натали никто извиняться не стал.

В течение всего этого времени я замечал за собой слезку на улице. Позднее, когда дома у меня появился телефон, он прослушивался – внешнее вмешательство можно было расслышать. Со здоровьем у меня было множество проблем, доставшихся мне со времен Сухановки и лагеря – поэтому, когда я пытался избежать дополнительных нагрузок по работе, жалуясь на плохое здоровье, все это не было выдумкой. На меня мог внезапно найти приступ рвоты из-за скачка кровяного давления. В животе случались частые и глубокие спазмы. Сломанная челюсть нередко ужасно болела. Когда мне казалось, что слезка за мной никогда не закончится, мое давление могло подскочить до 200 и выше. И на протяжении всех этих нелегких времен Георг служил мне неизменной моральной опорой, и я всегда мог на него всецело положиться.

Однажды, это было в начале шестидесятых, Георг сказал мне, что недавно говорил с одним своим другом, из бывших заключенных, который написал повесть о лагерной жизни. Он передал мне подпольную самиздатовскую копию этой книги. История самого Георга была отчасти представлена в этой книге персонажем по имени «командир Буйновский». Этот же персонаж воплотил в себе историю другого реального человека, встреченного мной в лагере, морского офицера по имени Борис Бурковский¹ – впоследствии он стал командиром исторического революционного крейсера «Аврора», ставшего плавучим музеем в Ленинграде. Во время Ялтинской конференции Бурковский служил в качестве офицера связи, и, к своему несчастью, станцевал там с Катлин Харриман (Kathleen Harriman), дочерью американского посла в Москве. Я говорю «к несчастью», потому что именно за это «преступление» позже, в 1948 году, его обвинили в государственной измене и приговорили к двадцати пяти годам лагерей. Мы с Бурковским в лагере частенько играли вместе в настольный теннис. Я прочел эту повесть с большим интересом и нашел эту книгу очень хорошей и очень точной – относительно того, как в ней описывалась лагерная жизнь.

Потом Тэнно сказал мне, что автор хотел бы расспросить меня о моем тюремном опыте – для следующей книги, которую он готовит. Это было немного рискованно, и поэтому мы придумали код, основанный на результатах футбольных матчей. И вот, в один из дней, Георг позвонил мне, и, упомянув в обычном приятельском разговоре счет футбольного матча, дал мне знать время, когда мне следовало прийти к нему на квартиру для встречи с этим писателем.

Я пришел ровно в семь вечера, как и оговаривалось. Поднялся по ступенькам и постучал в дверь. Георг представил меня хмурому, гладко выбритому человеку с задумчивым взглядом, стоявшему в прихожей со старой кожаной армейской сумкой на ремне через плечо. Одет он был в старую армейскую гимнастерку. Георг церемониально произнес: «Познакомься, пожалуйста – Александр Солженицын».

Мы пожали друг другу руки.

По прошествии двух наших встреч я провел с Солженицыным несколько часов. Так как ему никогда, сколько бы он не искал, не приходилось встречаться с человеком, выжившим после Сухановки, он чрезвычайно интересовался моим опытом – чтобы понять, как я смог там выжить. Его также очень впечатлили мои рассказы о психической камере 111 в Лефортово и о моих техниках самоорганизации во время длинных периодов одиночного заключения². Позже я узнал от Георга о том, что Солженицын пытается свести воедино некий монументальный труд, посвященный тюремной системе, в книге, названной им

¹ **Бурковский Борис Васильевич** (1912—1985) — участник войны, капитан 2-го ранга, з/к в Бутырской тюрьме и в Экибастузе, начальник филиала Военно-морского музея на крейсере «Аврора». Был включен Солженицыным в список «свидетелей Архипелага ГУЛАГ», состоящем из 257 имён тех, «чьи рассказы, письма, мемуары и поправки использованы при создании этой книги». – прим. переводчика.

² Сам Солженицын упоминал автора, «Александра Д.», как единственного из встреченных им людей, сумевших выйти из Сухановки с неповрежденным рассудком.

«Архипелаг ГУЛАГ». А той книгой, где история Георга Тэнно была скомбинирована с историей Бурковского была, конечно же, повесть «Один день Ивана Денисовича».

Избежав повинности по патрулированию улиц в качестве «дружинника», я понимал, что буду в дальнейшем первой мишенью для Кудряшова. И, конечно же, в один из дней он снова объявился и заявил, что меня назначили в качестве добровольца возглавить добровольческую команду пожарных, состоящую из пятерых сотрудников нашего отдела, и что за это мне полагается дополнительный выходной. Я нашел это вполне сносным; здесь не было никакой политики, и было обширное поле для туфты. Я писал длинные отчеты о том, как мы оставались на дополнительные часы по вечерам, проверяя огнетушители, безопасность газовых плит, пути эвакуации и так далее. Я писал восхитительные доклады об учениях по пожарной безопасности, никогда в реальности не проводившихся. И, конечно же, я проводил огромную работу по «агитации» среди моих сотрудников – исключительно с целью того, чтобы моя репутация как добросовестного пожарного была отмечена вниманием на «треугольнике». Возглавлял я эту пожарную команду до конца своего пребывания в Москве. Кудряшова же поймали на откатах, которые он брал от авторов, и он вынужден был «уйти на пенсию».

Все это время вопрос о моем военном билете и о том, что я явлюсь военнообязанным, не выходил у меня из головы. Обещание, что меня обследуют и исключат из списка военнообязанных, так и не было выполнено, но так как со стороны военкомата ничего не было слышно, я решил, что поднимать этот вопрос с моей стороны сейчас не стоит, и просто позабыл об этом. Но в 1962 или 1963 году всех мужчин обязали получить новые военные билеты – в этот раз они представляли собой небольшую книжечку с несколькими страницами – больше работы для бюрократии. Я хорошо запомнил урок от Георга Тэнно – и, когда пошел получать свой новый военный билет (также было необходимо заполнить анкету, информация из которой должна была быть включена в новую книжечку), я обратился к дежурному майору, поведав ему встревоженным голосом о том, что мне очень нужно поговорить с ним с глазу на глаз. Тот предложил мне сесть и сказал, что готов меня выслушать.

Я вынул две спички и начал нервно вертеть их между пальцами. Я произнес:

- Послушайте, товарищ майор. Я очень болен. Меня нужно обследовать. Я уже служил... Ой! Простите. Вы, конечно, понимаете, что мне нужно их поднять.

Я бросился на колени на пол, сгреб свои спички, снова уселся и с невозмутимым видом продолжил:

- Я уже служил. Девять лет. В американских войсках в Корее. Потом я провел восемь лет в рядах... Ой! Извините!

Снова на пол. Потом обратно на стул.

- На чем я закончил? Да. Восемь лет я служил в рядах КГБ. И это еще не все, дорогой товарищ майор, далеко еще не все! У меня есть диплом. Я закончил школу акушерства и гинекологии при посольстве Соединенных Штатов, где обучался в 1943-48 гг. Теперь вы, конечно, понимаете, что я просто не могу служить!

Майор выглядел сильно обеспокоенным. Он произнес успокоительно:

- Хмм, смотрите, вот стакан воды. Пожалуйста, успокойтесь. Мне нужно...

Я оборвал его:

- Извините! Вы, конечно, понимаете, что мне нужно их подобрать!

Я подобрал спички.

- Итак, что вы говорили, товарищ майор?

- Хмм, да. Мне нужно поговорить с начальством, одну минутку.

Меня отвели к начальнику. Я повторил всю эту абсурдную, сумасшедшую историю, и снова проделал все свое представление со спичками. Начальник смотрел на меня сочувственно, но озабоченно. Он сказал:

- Смотрите, товарищ. Я, и правда, уверен, что вам не о чем волноваться. Я уверен, что на следующей медкомиссии вас исключат. Пожалуйста, успокойтесь.

Они быстро меня отослали. Несколько дней спустя моя книжечка - мой новый военный билет - пришла ко мне по почте. На странице «бывшая подготовка» значилось, что А.М. Довгун-Должин является «рядовым, не прошедшим военную подготовку», а под заголовком «гражданская специальность» было написано: «окончил акушерскую школу, посольство США, 1943-48 гг».

Никакого упоминания о девяти годах в Корее или восьми годах в рядах КГБ. Но эта книжечка стала настоящим хитом на собраниях нашего Профсоюза. Когда на такую встречу приходил кто-то из новеньких, кто-нибудь обязательно говорил: «Алекс, покажи ему свой военный билет!» Эта книжечка всегда вызывала бурю веселья.

Позже в том же году подошла моя очередь на комнату, на которую я подал заявление в то время, как только начал работать в издательстве. Мне потребовалось ждать этого момента всего-навсего шесть лет. И теперь мне официально полагалось две комнаты – комната моей матери, где я был прописан, и еще одна. Тем, кто знаком с уловками московской бюрократической системы, понятно, что я теперь мог обменять эти две комнаты на маленькую квартиру, примерно четыре на пять метров, со своей собственной маленькой ванной, туалетом и кухней. В Америке мы называем это малогабаритной квартирой¹. В Москве это рассматривалось как роскошь.

Это была квартира в девятиэтажном блочном доме на северо-восточной окраине Москвы, на Сиреневом бульваре, у конечной станции метро под названием «Щелковская». Мои окна выходили в маленький внутренний дворик. Также оттуда была видна улица, на которой глава московского городского Совета планировал высадить километры сирени – перед тем, как его схватили с поличным за взятки, которые он брал за выделение комнат и квартир для людей. На кухне у меня была плита с двумя комфорками и маленькой духовкой. Мне удалось втиснуть туда свой большой, купленный за валюту холодильник. Теперь у меня также имелась собственная ванная и туалет, чему я был по-настоящему рад. Ездить до своей работы в центре Москвы на машине мне приходилось теперь далеко, но я предпочитал машину долгой поездке в метро, потому что к этому времени я разузнал, как заправлять полный бак всего за один рубль. Водители грузовиков всех мастей обычно отчитывались за большее число поездок, чем они на самом деле совершали, в результате получая за это больше денег. Они подкручивали километраж на своих грузовиках при помощи спички. Но затем им требовалось избавиться от излишков топлива. Миллионы литров бензина просто сливались в канализацию где-нибудь на окраинах Москвы. Удивительно, что город просто не взорвался. Но многие водители – такие же, как я – договаривались с шоферами о регулярных встречах, покупая целый бак топлива за рубль. Это примерно семь центов за литр – и все были довольны. И снова «туфта».

¹ efficiency apartment – в оригинале

Самым большим риском для владельца автомобиля в Москве было то, что у вашего автомобиля могли украсть колеса. В связи с этим в городе расцвела целая полуподпольная частная индустрия, занимавшаяся изготовлением защитных приспособлений для машин, с оборотом в миллионы рублей. Они делали наборы болтов для колес с гладкими, круглыми головками, к которым бы не подошел ни один ключ, кроме специального ключа, вставляемого во внутреннее отверстие болта и изготовленного исключительно для ваших болтов. Воры ответили на это тем, что начали использовать большие трубные ключи с крепким зажимом, способным захватить круглый болт. Тогда частная индустрия стала производить болты с внешним вращающимся воротником, который просто прокручивался, если вы накладывали на него трубный ключ. Воры принялись открывать центральный колпак ступицы и снимать концевую гайку полуоси – чтобы стащить все колесо, тормозной барабан и т.д. Частная индустрия ответила тем, что стала производить пластины, закрывающие всю ступицу, держащиеся на болтах с внешними вращающимися воротничками. И так война продолжалась.

Однажды, годы спустя после того, как я переехал в эту свою квартиру, я получил по почте выцветшую открытку. На ней была моя собственная роспись. Эта было то самое заявление на холодильник одиннадцатилетней давности. Я вспомнил про Александрова и позвонил по его рабочему телефону.

- Помните того американца, которого вы сопровождали в посольство США?

Короткая пауза, а затем добродушный смех.

- Конечно, помню! Вы Довгун-Должин?

- Это я. Вам все еще нужен холодильник?

- Какой холодильник? Подождите-ка! Вы имеете в виду, что, наконец, получили свою карточку?

- Верно!

- Я сейчас пошлю к вам курьера.

Таким вот образом тот маленький должок был возвращен.

В отделе публикаций теперь под моим руководством имелось значительное хозяйство. Там работало шесть человек на постоянной основе – помощники редактора, литературные редактора, корректоры и машинистки. По договору я привлекал для работы еще двадцать восемь переводчиков. Когда нужно было сделать определенную работу, которая выбивалась из графика, я отдавал ее знакомому, но загруженному работой переводчику, выполнял ее сам и получал за это сверхурочные выплаты.

Я смог легко погрузиться в повседневную жизнь московского бюрократа – в том, что касается практического, но не эмоционального или духовного аспекта такой жизни. Я открыл для себя, что «туфта» для человека в Советском Союзе является такой же частью обычной повседневной жизни, как и для жизни заключенного в лагере. Никто не смог бы выжить, не обманывая систему; потому все и всегда прибегают к «туфте». В России многие люди ведут двойной образ жизни с целью приспособиться к существованию в условиях того чрезвычайно жесткого контроля и регулирования, с помощью которого правительство пытается управлять своим обществом.

Мне приходилось периодически отправляться на курсы политического просвещения. Каждые два или три месяца приходил кто-то из вышестоящего учреждения с расписанием «дней политического просвещения» на следующий квартал и заявлял: «Вот, это ваше расписание; мы знаем, вы добровольно согласились на это» - хотя я вовсе не соглашался! «Вы будете изучать вот эти главы из работ Ленина, или вот эти речи генерального секретаря Брежнева» - и т.д, и т.п.

Никто не хотел ходить на эти занятия, но никто и не хотел подвергаться остракизму, который следует в случае отказа. На каждом из таких курсов от нас требовалось написать по десять страниц анализа к той или иной изучаемой главе или политической идее. И здесь опять на помощь приходила «туфта». Мы все обманывали. Мы писали эти отчеты, просто переписывая несколько страниц текста из Ленина или Брежнева, изменяя слова – так, чтобы тексты выходили написанными обычным русским языком – вместо всего того неудобоваримого, плохо читаемого идеологизированного дерьма, что был в оригинале. Хотя, все это не имело особого значения. Те отчеты, что мы писали, никто не читал; это могли быть хоть страницы из Достоевского или Петра Великого – администрации было все равно. Все, что они от нас требовали – это столько-то страниц текста, написанного своей рукой. Когда нас собирали для «обсуждения», нам нужно было просто зачитать вслух определенные страницы того текста, что мы изучали – и потом, если собрание вел какой-нибудь молодой и идейный партиец, действительно верящий в эту систему, вам просто нужно было в течение часа слушать все это чтение и его сухой анализ, пытаясь при этом не заснуть. К счастью, наши собрания на протяжении нескольких лет вел очень понимающий деятель. Он обычно объявлял: «А сегодня, товарищи, мы будем изучать с вами следующие четырнадцать страниц. Но так как я знаю, что вы все хорошо начитаны и политически образованы, мы просто пройдемся с вами по заголовкам и нескольким наиболее значимым параграфам, а затем вы будете свободны, чтобы в оставшееся время более подробно ознакомиться с материалом».

Мы проходились по четырнадцати страницам в течение нескольких минут, и затем он отпускал нас пораньше. Среди нас была также одна старая и упертая женщина, член партии, которая хотела зачитывать вслух главу целиком, когда подходила ее очередь. Слова иностранного происхождения она не могла произнести; она была почти безграмотна, но при этом отличалась жутким энтузиазмом. Нашему ведущему приходилось ее увещевать: «Достаточно, товарищ, очень хорошо, действительно, очень хорошо. Но вы понимаете, мы здесь все очень подкованные, наши товарищи читали эти работы много раз. Они почти знают их наизусть, и я думаю, что мы можем на этом остановиться!»

Все это было рутиной. Каждый чиновник боится потерять свое место. Если он не будет соблюдать правила, кто-нибудь доложит об этом. Партийный секретарь или кто-либо из надзорного партийного органа должен докладывать о том, что партийной идеологической работой охвачено 100 процентов сотрудников (добровольно). Конечно, это невозможная цифра для добровольного посещения, но в то же время везде именно так. «Туфта». Вот и все. Вся жизнь в этой системе – это «туфта». В лагере, когда заключенный умирал от тифа или какого-то иного заболевания, которое уже двадцать лет как «искоренено» в Советском Союзе, нас обязывали записывать в качестве причины смерти некое сердечное заболевание, или еще какое-нибудь неинфекционное заболевание. Все эти инфекционные заболевания, убившие так много людей, десятилетиями никак не фигурировали в отчетах в Советском Союзе. Многие педиатры и фельдшеры рассказывали мне позднее, что такая практика была обыденной и для гражданской медицины. В те времена, если некий честный и наивный врач докладывал о вспышке холеры, например, ему следовал нагоняй от вышестоящего медицинского учреждения и приказывалось изменить свой отчет, потому что «разве ты не знаешь, что у нас больше нет таких эпидемических заболеваний?»

В 1964 году я встретил свою жену Ирину. Мы поженились в 1965, и в том же году родился наш сын Андрей. Георг Тэнно был с нами при всех значимых событиях нашей жизни, как печальных, так и радостных. Ирина вскоре, так же как и я, полюбила его и восхищалась им. Он все еще планировал свои феноменальные побег. Летом 1968 года он отправился в Эстонию, чтобы забрать два пистолета у друзей из тамошнего подполья. До Эстонии он так и не доехал. По дороге он внезапно и серьезно заболел. На самолете его отправили

обратно в Москву. Через своих друзей в министерстве я организовал ему осмотр у лучших специалистов. Они провели операцию в ходе обследования. У него обнаружился фиброзный рак с множественными метастазами. Он умер в течение месяца. Ему было пятьдесят шесть.

Все мои лучшие друзья умерли. Но, по крайней мере, теперь у меня была Ирина и замечательный сын. И еще был один человек, которому предстояло сыграть свою роль в последнем значительном поворотном моменте моей жизни – моя сестра Стелла. Мы переписывались со времени моего освобождения – это была переписка из той серии, где можно было безопасно сказать «со мной все хорошо, как ты», и ничего более. Чего я не знал – так это того, что Стелла медленно и неуклонно призывала всех, до кого она могла достучаться, выслушать ее, убеждая в том, что ее брат, сотрудник иностранного представительства Соединенных Штатов, жив, существует и насильно удерживается в Москве, а также что пришло время для американского правительства уже что-нибудь сделать по этому поводу. Это время тогда еще не подошло, но оно приближалось.

Глава 29

Моя сестра Стелла вышла замуж за подданного Великобритании, летчика Королевских ВВС, в Москве, в 1942 году. Она встретила его в военной миссии Великобритании, где работала во время войны. Начало этой свадьбы в первой половине дня было бы намного менее радостным, если бы кто-нибудь знал о том, что принесет с собой вторая половина дня. К половине седьмого вечера советские власти уже посадили ее свежее испеченного мужа на поезд до Мурманска, где ему предстояло пересест на корабль, идущий в Англию. В глазах властей Стелла являлась советской гражданкой, а свадьбы между советскими и иностранными гражданами были просто недопустимым явлением. Причина, по которой Стеллу воспринимали в качестве советской подданной, состояла в следующем. Когда ей исполнилось шестнадцать, то единственным условием получения продовольственной карточки было наличие советского паспорта, а единственным способом получить советский паспорт было сдать свой американский паспорт. Я избежал этой ловушки, устроившись на работу в американское посольство; для Стеллы же альтернативой был голод.

В течение нескольких лет, последовавших за этой оборванной свадьбой, Стелла направила пять официальных просьб на выезд из Советского Союза для воссоединения со своим мужем. Все ее просьбы были отклонены. Затем, в 1946 году, на приеме в Кремле, посол Соединенного Королевства, сэр Арчибальд Кларк Керр (Archibald Clarke Kerr¹) подал личное прошение Сталину от ее лица, и в течение пары дней все было решено. Вот как в те времена можно было решить вопросы в Советском Союзе. В сущности, это был единственный способ. Если бы подобные просьбы на самом высшем уровне были сделаны в самом начале от моего лица, то, скорее всего, я избежал бы знакомства с порядками в Лефортово и Сухановке. Но все, что тогда было сделано для меня со стороны посольства США – несколько писем, в которых выражался протест. Одним из этих писем Сидоров яростно тряс у меня перед лицом.

Когда Стелла прибыла в Англию в 1946 году, то ей предстояла встреча с мужем, которого она едва знала. Слишком много времени прошло. Все сильно изменилось. Без каких-либо обид они согласились разойтись, и в ноябре 1946 года Стелла отбыла в Нью-Йорк, где устроилась в качестве переводчика в новообразованной Организации Объединенных Наций. По крайней мере, раз в месяц она писала мне, а я всегда писал ей в ответ, обычно достаточно пунктуально.

Поэтому, когда Стелла ничего не получила от меня на Рождество в 1948 году, это ее озадачило. Сначала она была больше раздражена, чем обеспокоена. Я был немного

¹ Арчибальд Кларк Керр – британский дипломат, барон. В 1942—1946 годах – посол Великобритании в СССР.

ветренным, сосредоточенным на себе и забывчивым. Она предположила, что я просто уехал куда-то на Рождество и позабыл написать ей об этом. Первым человеком, от которого она узнала о том, что в действительности произошло, была Мери Като. Когда я так и не пришел на встречу, чтобы вместе пойти на «Князя Игоря» в Большой, в тот вечер понедельника 13 декабря 1948 года, Мери сначала подумала, что я ее подставил. Она никак не могла знать, что в это же самое время я ходил взад-вперед по душной камере в Лубянке, и, как мне кажется, она не восприняла серьезно мои романтические фантазии относительно некой миссии, будет ли она меня ждать и так далее. Поэтому прошло несколько дней перед тем, как она решила связаться с посольством и обнаружила, что происходит. Ей сухо и официально ответили, что я пропал, и лишь потом у кого-то хватило доброты рассказать ей в частной беседе, что имелись опасения, что меня арестовали советские власти – но при этом ей не следует делать из этого какие-то выводы, так как подтверждения этому не было. Мери написала об этом Стелле, которая в это время уехала в Париж на генеральную ассамблею ООН. Когда она вернулась в Нью-Йорк, то решила попытаться достучаться до Государственного Департамента, чтобы там предприняли какие-то действия в отношении моего случая, а также принялась собирать сведения о моем местонахождении, узнавать, жив ли я – или наоборот.

От государства помощи было немного. Там ей отвечали, что мало что обо мне знают. Они допускали, что я нахожусь в какой-то тюрьме. Также ей говорили, что отношения между Соединенными Штатами и Россией в данный момент настолько сложные, что, если предпринять какие-то шаги от моего имени, то меня могут расстрелять. Сотрудник Государственного Департамента Ричард Девис (Richard H. Davis¹), с которым я встречался в Москве ранее и вернувшийся к тому времени обратно в Вашингтон, даже позвонил моей двоюродной сестре, Мери Джексон, и, напугав ее возможными последствиями, убедил в том, что со стороны нашей семьи не стоит предпринимать никаких попыток придать этому делу публичную огласку. Все члены семьи были напуганы и, конечно же, замолчали – хотя Стелла и не оставила своих попыток.

Отношения между США и СССР на самом деле были очень сложными в то время. Холодная война стала мрачной реальностью. Большинство американцев опасались коммунистических шпионов, в то время как идеи сенатора Джозефа Маккарти (Joseph Mc Carthy) и его кампания по охоте на ведьм захватили американское политическое поле на многие годы. В Советском Союзе в то же самое время Сталин развязал новую волну террора. Подозрительность распространилась на все аспекты отношений между двумя странами. Поэтому, хотя Стелла и мыслила реалистично, но она была молодой девушкой, Америка была ей немного в новинку по возвращении, и поэтому она склонялась к тому, чтобы делать все так, как ей говорят важные официальные лица.

Однако она искала совета везде, где могла бы его получить. Наша двоюродная сестра, Стефани Хазак (Stephanie Hazzak), работала в Вашингтоне в качестве помощника и секретаря у секретаря командующего военно-воздушных сил. Она организовала массу встреч для Стеллы. Лишь немногие из тех, с кем она встречалась, изъявляли какое-то практическое желание помочь. Одним из таких исключений стала встреча со старым сенатором Лангером (Senator Langer) из Южной Дакоты². Когда он сказал о том, что ничего не может сделать, если только не придать эту историю огласке, Стелла расплакалась. Старик печально обнял ее и попытался утешить, но руки у него были связаны вот этим замечанием о том, что огласка в моем случае только повредит мне. Даже мой бывший начальник, Беделл Смит (Bedell Smith³), совершенно ничего не мог предложить, чем бы он мог мне помочь.

¹ Richard H. Davis – заместитель помощника госсекретаря США по европейским делам в 1960-х.

² Вероятно, речь идет о сенаторе Вильяме Лангере (William Langer, 1886-1959 гг.) от Северной Дакоты.

³ Walter Bedell Smith (1895 – 1961) – американский военный генерал, политический деятель. Был главой американской дипмиссии в СССР с 1946 по 1948 гг.

На протяжении почти трех лет Стелла так ничего и не смогла сделать или разузнать, и находилась почти в отчаянии. Потом пришли известия. Обрывочные и тревожные, но в то же самое время это были известия обо мне. Случилось это странным образом.

Во время моих путешествий в столыпинских вагонах между Москвой и Джекказганом в 1950-м на каждой из остановок заключенные обменивались информацией с другими заключенными, которых везли в противоположном направлении, в надежде, что так случится, что весточка дойдет до родственников или друзей. Я никогда не верил, что такой обмен может к чему-то привести, но один добрый немец – которого я совершенно не помню, но, тем не менее, премного ему благодарен – сумел в 1951 году донести до Стеллы известия о том, что он встретил меня во время этапа и что я нахожусь в лагере подневольного труда в центральной Азии. Это было все, и это были не очень хорошие новости, но для Стеллы это означало, что я, по крайней мере, жив, и это придало ей решимости делать что-то для меня.

Но те люди, которых она встречала в государственных учреждениях, а также те, кого она ежедневно встречала в ООН – среди них была Элеонора Рузвельт – говорили ей, что придание этой истории публичности несет в себе риск того, что меня пристрелят.

К этому времени моя мать получила мой треугольник из Куйбышева и отправилась вместе с ним в посольство в Москве, где была схвачена сотрудниками МГБ. Теперь на свои регулярные письма к нашей матери Стелла также не получала ответа, а через некоторое время сами ее письма и даже ежемесячные денежные переводы, что Стелла ей посылала, начали возвращаться к ней обратно в Нью-Йорк с припиской: БОЛЕЕ НЕТ ПО ДАННОМУ АДРЕСУ. Вот и все.

Если бы Стелла и смогла расшифровать ту реальность, которая скрывалась под этой короткой отметкой, она бы не смогла поверить в нее; когда я рассказал ей правду многие годы спустя, это настолько ее шокировало, что она не могла прийти в себя в течение нескольких часов.

Только в 1955 году Стелла снова получила письмо от матери. Оно было написано такой дрожащей рукой, и содержание письма было настолько странным, что Стелла поняла, что что-то не так, и решила, что мать, должно быть, очень больна. В письме говорилось только о том, что я нахожусь в Средней Азии, что мне нужны жиры, и мать спрашивала Стеллу, не может ли она прислать немного еды. Стелла тут же отправила матери посылку. Это была та самая посылка, которая чудесным образом была переправлена ко мне в Джекказган – с маслом и беконом, а также с кофе Maxwell House и сигаретами Chesterfield.

И затем, в 1956 году, появилась первая обнадеживающая новость, заставившая сердце Стеллы дрогнуть. Это было письмо из Государственного Департамента: «Ваш брат посетил посольство в сопровождении офицера КГБ. По всей видимости, он в отличной физической форме. На вопрос, нужна ли ему помощь, он ответил, что нет. Сотрудники посольства выдали ему по его просьбе причитающиеся ему пенсионные накопления». Если кто-то в посольстве и спрашивал меня тогда, нужна ли мне помощь, он говорил, по всей видимости, очень тихо – я такого не слышал. Так или иначе, но Стелла в очередной раз отправила запрос в Государственный Департамент о том, что они могут для меня сделать теперь, когда я вышел из лагеря, где пребывал в заключении. Ей ответили, что нужно ждать. Ей ответили, что они ничего не могут поделать до тех пор, пока я сам не сделаю каких-либо шагов для этого. Стелла не могла в это поверить. Она правильно понимала, что я нахожусь не в том положении, чтобы предпринимать какие-то шаги. К этому времени мы с ней уже переписывались. Конечно, мне требовалось соблюдать осторожность. Я бы никогда не стал пытаться использовать некий код, или даже ссылаться на какие-то наши общие воспоминания ради того, чтобы передать некое скрытое послание. Я отдавал себе отчет в том, что мои письма подвергались самому пристальному изучению в секретном отделе КГБ, и что любые попытки рассказать ей правду о моем положении могли быть рискованными. Я ограничивался сообщениями о

том, что у меня хорошая работа главного редактора, что я регулярно вижу с матерью в госпитале, время от времени навещаю отца, и что погода стоит хорошая.

Стелла не имела никакой возможности узнать, нуждался ли я в помощи или нет. Из того, что было на поверхности, казалось, что нет. Стелла старательно отвечала на мои письма и ждала, что я подам ей знак.

В течение этого времени я изучал различные возможности, конечно, и обсуждал планы побега с Георгом Тэнно. Я предполагал, что если когда-либо и выберусь, то исключительно благодаря собственным усилиям – собственно, поэтому мне и не о чем было здесь говорить. Я не подавал никаких знаков.

Стелла снова вышла замуж. Ее новым мужем стал обаятельный и энергичный сотрудник ООН. Они переехали в Вену. Новая волнующая жизнь, полная впечатлений, захватила ее, что было вполне объяснимо. В своих письмах я не давал никаких поводов считать, что со мной что-то не так, и до середины шестидесятых Стелла практически полностью могла погрузиться в тот радостный и волнительный круговорот, что приносит с собой материнство. В наполненной жизнью городе у нее подрастали двое смысленных сыновей. Время от времени она вместе с мужем посещала и другие западноевропейские столицы, и каждые два года они проводили пару недель в Нью-Йорке.

Конечно, она подумывала и о том, чтобы сестра на поезд до Москвы, получив туристическую визу, чтобы повидаться со мной. Вот просто так. Это в характере Стеллы. Но она тоже была осторожна. Когда она искала совета по этому поводу – как у сотрудников Организации Объединенных Наций, так и у американских представителей – ответ у них у всех был один: так как она покинула Советский Союз с советским паспортом, то в их глазах она все еще является советской гражданкой. И, поехав туда, она рискует больше не вернуться обратно. Я был свидетелем множества именно таких вот историй, находясь в лагере, и я бы тоже, со своей стороны, дал бы ей тот же самый совет, несмотря на то, что безумно хотел ее увидеть.

Матери я показывал все ее письма. Мать обычно смотрела на них и протягивала мне обратно: «Это не Стелла», - говорила она, показывая на семейные фотографии, которые Стелла мне посылала. «Нет, это не дети Стеллы. Все это придумано в КГБ. Видишь, теперь я все это очень хорошо понимаю».

В конце своей жизни она так и не принимала реальность того, что у Стеллы были дети, и она так и не верила, что я переписываюсь со своей сестрой. Когда у меня родился сын, Андрей, в 1965-м, я принес его в госпиталь, и моя мать была очарована им и приняла его безоговорочно. Она ужасно гордилась своим внуком, которого могла увидеть воочию; она просто не верила в существование моих племянников, живущих в Вене.

Стелла также поверила в то, что у меня появился сын; со стороны казалось, что я все глубже укореняюсь в своей московской жизни. Но в 1966 году двоюродный брат мужа Стеллы приехал в Москву с деловым визитом. Он оказался достаточно смел и добр для того, чтобы навестить меня и Ирину с нашим малышом в квартире на Сиреневом бульваре. Я был так взволнован этим визитом, что практически потерял свою бдительность и сдержанность. Но, включив радио на полную громкость, я придвинулся к этому первому своему посланнику из плоти и крови, и сказал ему напрямую, что рассчитываю на помощь Стеллы. Что ей нужно сделать что-нибудь для того, чтобы вытащить нас из Советского Союза. И что, если у нее появится любая возможность приехать повидать меня, пожалуйста, пусть она сделает это как можно скорее. В этом я был очень настойчив. Когда ее кузин вернулся в Вену, он сказал Стелле, что если она не придет повидать меня, мое сердце будет разбито – и она принялась искать способ, чтобы безопасно осуществить такую поездку. Но, прежде чем у нее это получилось, должно было пройти немало времени. Слишком много времени. Зимой 1967 года мою мать отвели в больничную баню в нижнем белье. В результате она простудилась, началась пневмония, и она умерла. Мы похоронили ее в очень холодный, холодный день. Вместе с нами на похоронах был Георг Тэнно. Я чувствовал тяжелую утрату – несмотря на ее сумасшествие

всех этих последних лет, моя мать служила мне эмоциональным якорем, и мои визиты к ней были той живой ниточкой, что соединяла меня с моим прошлым. И я был почему-то убежден, что она вскоре увидится со Стеллой, и что их встреча станет началом нашего возвращения домой, которое когда-то должно было произойти. И теперь все это ушло. Я не осмеливался написать Стелле обо всех тех обстоятельствах, что сломали жизнь моей матери.

В начале 1968 года я получил письмо, по прочтении которого мои руки задрожали от радостного возбуждения. Стелла собиралась в Москву. Ее мужу предстояла деловая командировка по линии ООН. Она должна была ехать с ним, обладая дипломатическим иммунитетом. Мы, наконец, сможем с ней увидеться. Я был слишком занят на работе, чтобы поехать в Истру и сказать об этом отцу, но я немедленно написал ему, и он ответил, что очень рад, и приедет в Москву ко времени их визита. Но он так и не сделал этого. Отец подавился куском мяса и умер от удушья. Визит Стеллы планировался на август; я похоронил отца в марте.

Стелла вместе со своим мужем прибыла в Москву на поезде, через Польшу, 18 августа 1968 года, в воскресенье. Она позвонила на мой домашний телефон в половине двенадцатого в первой половине дня. Голос у нее был ровный, бодрый, уверенный и очень возбужденный в то же самое время. «Алекс, дорогой, мы сейчас в отеле, собираемся. Мы скоро приедем к тебе на такси».

Я едва мог ждать. Я ходил по квартире вперед-назад, пока Ирина не сказала, что сойдет с ума. Два шага вперед, полшага вбок, два шага обратно. Руки сцеплены сзади. Старая привычка, из Сухановки. Я по-прежнему так реагирую, когда сильно взволнован чем-либо.

Мы смотрели в окно. Наконец, Ирина, стоявшая с Андреем у окна, сказала: «Такси!» Два на удивление полных человека в европейской одежде вышли из машины. Я едва мог поверить, что одним из них была моя сестра, хотя она и выглядела, как Стелла. Вскоре послышался стук в дверь. Я открыл ее. Это была Стелла, очень полная. Но на время я позабыл об этом – мы бросились друг другу в объятия; слезы и смех перемешались. Потом мы присели. «Расскажи мне все!» - сказала Стелла. Я в ужасе делал предупреждающие знаки руками и бровями, проговаривая при этом: «Конечно, конечно». Потом я произнес, смущенно: «Стелла, дорогая, ты немного пополнела». Они оба расхохотались. А потом принялись раздеваться. На какой-то момент Ирина смутилась. А потом мы поняли, что они оба надели под свою одежду по два комплекта американских вещей. Все эти костюмы и платья они везли в качестве подарков, но государственные служащие предупредили их, что если увидят, как они входят в квартиру с сумками, полными вещей, то нас могут обвинить в спекуляции на черном рынке. Поэтому единственная вещь, которую они пронесли открыто, была пластиковая игра «Лего» для Андрея.

Мы со Стеллой все никак не могли успокоиться и хихикали, глядя друг на друга. Чтобы немного обезопасить себя, я положил на телефон подушку, и включил радио и телевизор на полную громкость. Потом я рассказал сестре, что случилось за прошедшие двадцать лет. Двадцать лет! Целая жизнь, которую предстояло пересказать за два дня, и по большей части все это был рассказ об ужасных событиях. Стелла держалась стойко – она предполагала услышать кое-что из той истории, что я ей рассказал, но воспринять все это в полной мере она не была готова. Волны эмоций, испытываемых ею, были физически ощутимы. Я же не мог остановиться, пока не очертил всего контура этих двух кошмарных десятилетий. Стелла не теряла самообладания – до тех пор, пока я не рассказал ей о том, как нашу мать, которую она так любила, пытали в тюрьме, в результате чего она сошла с ума. Это для Стеллы было уже чересчур. В конце концов, как Стелла мне потом сказала, именно история нашей матери переполнила ее воображение кошмарами, и на этом фоне все случившееся со мной было вытеснено для нее тем горем, что охватило ее от моего рассказа о матери.

Наиболее важную тему разговора – наше будущее – мы отложили, чтобы перенести этот разговор в более безопасное место по сравнению с квартирой на Сиреневом бульваре. Мы пошли на могилу матери. Когда мы полностью были уверены в том, что никого нет в поле нашего зрения, Стелла сказала:

- Хорошо. Скажи мне. Ты хочешь выбраться отсюда?

- Хочу ли я выбраться! – воскликнул я. – Послушай, Стелла. Я бы пошел отсюда пешком, голый, задом наперед, на карачках, если бы это было единственным способом. Мне нужно выбраться отсюда! Но мне нужно быть осторожным. Мне нужно забрать с собой Ирину и Андрея, потому что они никогда не будут в безопасности, если я их тут оставляю. Возможно, я смогу раздобыть туристическую визу в Югославию, и просто не вернусь. Нам необходимо найти способ сообщать друг другу о том, что происходит, а это означает, вероятно, личные встречи, и это значит, что все это потребует времени. Но мы не можем позволить себе рисковать, чтобы разрушить все, ты понимаешь?

- Я понимаю, - твердо ответила Стелла. Она очень крепко обняла меня. – Я не собираюсь больше позволять им забыть о тебе, - продолжила она.

Я знал, что Стелла сдержит свои слова, и впервые начал верить в то, что я действительно снова увижу дом, и это случится достаточно скоро.

Когда Стелла вернулась в Вену, она написала личное прошение на имя президента Линдона Джонсона. Ответ, который она получила из Государственного Департамента, вызвал у нее ярость.

«Мистер Долган – один из многих, кому не посчастливилось иметь двойное гражданство, - так там говорилось, - и кто хотел бы увидеться со своими родственниками за рубежом». Надежд на это немного, - подытоживало то письмо.

Стелла не согласилась. Она написала заказное письмо Авереллу Гарриману (Averell Harriman¹), в подробностях описав мою историю. Гарриман был в прошлом, в конце концов, послом в Москве, и, как говорили, очень нравился русским. И если посол Кларк-Керр смог вытащить ее саму в 1946 году, обратившись за этим персонально, то, может быть, Гарриман – это тот человек, что способен вытащить меня?

Гарриман не отвечал до ноября.

«К сожалению, случай с вашим братом подобен многим случаям, относящимся к лицам с двойным гражданством, проживающим в Советском Союзе. Так как Советы продолжают рассматривать вашего брата в качестве советского гражданина по своим законам, любые дальнейшие действия от его лица со стороны правительства США, вероятно, будут не более успешны, чем те действия, что были совершены в прошлом».

В этот раз Стелла расвирипела еще больше. Она-то знала, что я не был никаким «лицом с двойным гражданством». Я родился в Штатах. Я был на службе в иностранном представительстве на момент моего похищения. А что касается этих так называемых «действий от моего лица» - здесь стоило только горько усмехнуться, вспомнив то письмо с протестом из 1948 года – и с тех пор никто и пальцем не пошевелил.

Стелла написала Ричарду Х. Девису, моему бывшему коллеге по работе в посольстве, в то время служившему послом в Румынии. Он ответил, что все это представляется для него безнадежной затеей. Стелла продолжила засыпать письмами Государственный Департамент. Она предъявила им правду относительно моего гражданства и моего статуса в качестве иностранного представителя. В начале не было никаких признаков того, что помощь придет. Но теперь в Вашингтоне сменилась администрация: на пост президента был выбран Ричард Никсон. И Стелла снова написала, персонально, на самый верх – тому

¹ Averell Harriman (1891 - 1986) – американский государственный деятель, специальный представитель президента США в Великобритании и СССР (1941 — 1943), посол США в СССР (1943 — 1946), посол по особым поручениям (1965—1969).

человеку, что обещал сделать так много в сфере международных отношений. На свое письмо она так и не получила ответа.

В январе, после того, как Стелла просто забросала письмами Государственный Департамент, в одном из полученных ответов промелькнул лучик надежды. Было высказано предположение относительно того, что Алексу следует обратиться за выездной визой и работать по обычным каналам, - так заявил тот чиновник, и затем добавил: «конечно, трудно смотреть на ситуацию оптимистично в этом отношении».

Но это было не в характере Стеллы. Все это ее уже порядком разозлило, но ее оптимизм никуда не уходил. Она продолжала засыпать письмами всех, кого могла вспомнить, и попросила мою тетю из Нью-Джерси прислать мне официальное приглашение – с тем, чтобы я ее навестил. Бумаги пришли, они были написаны как по-английски, так и по-русски, и содержали в себе скрепленное подписью согласие покрыть все расходы, связанные с поездкой и издержками на мое проживание «во время нахождения на территории Соединенных Штатов».

Вооруженный этой бумагой, которая, по крайней мере, показывала, что я собираюсь навестить своего настоящего родственника, я вознамерился сделать решительный шаг и рискнуть, подав собственное заявление.

В первую очередь для этого требовалось получить «персональную характеристику» от начальства в моем издательстве. Когда кто-либо человек в Советском Союзе собирается совершить поездку за рубеж, государство возлагает на плечи его работодателя значительную долю ответственности за то, чтобы путешественник вернулся обратно.

Работодатель должен предоставить характеристику на своего работника. В реальности это ни что иное, как оценка работодателем шансов на то, вернется работник или нет. Если работодатель рекомендует заявителя к заграничному путешествию, и путешественник потом сбегает с корабля, то затем работодателя ждет очень непростое время. Поэтому такие характеристики выдаются совсем непросто.

В моем случае характеристику просто не выдали. Точнее, они ее отослали – таковы были предписания – но в ней значилось, что мне «не рекомендуются поездки за границу». Судя по всему, они догадывались, в какую сторону я наострил лыжи. Так или иначе, но на свое заявление я получил отказ.

Тогда я подал заявление снова, на этот раз для получения разрешения поехать к своей сестре в Вену. Поездка в Австрию, как я предполагал, будет выглядеть менее политически осложненной, чем в США – и, к тому же, прошение навестить сестру будет, считал я, иметь больше веса, чем прошение навестить свою тетю.

Я ждал восемь месяцев. В то же самое время непрекращающиеся усилия Стеллы в деле написания писем начали, по крайней мере, приносить плоды в виде более человеческих ответов, и в феврале 1969 года письмо из консульства США в Вене обозначило возможное начало неких действий. В чем заключались эти действия, консул не прояснил, но в письме было сказано, что «мы надеемся, что упорство и последовательные усилия могут убедить советскую сторону предоставить вашему брату разрешение на выезд».

Означало ли это усилия с моей стороны? Или с их стороны? И вообще, означало ли это что-либо? Стелла не была в этом уверена, но, по крайней мере, впервые кто-то из американских официальных лиц сказал что-то, что имело позитивную составляющую. Ответ на мое прошение о выезде в Австрию я получил по телефону – мне позвонила женщина по фамилии Иванова из визового отдела.

- В том, что касается вашего прошения, товарищ Должин, вам отказано.
- Хорошо, - сказал я, - хотелось бы знать причину.
- Причина не указана.

Я произнес раздраженно:

- В соответствии с законом вы обязаны указать причину!
- Да. Причиной является то, что вы хотите навестить дальнего родственника. Только визиты к близким родственникам могут быть одобрены.

Я рывкнул в телефонную трубку.

- Извините, товарищ Должин?
- Вы сказали, «дальнего родственника»? Я подал заявление на визу, чтобы навестить свою сестру!

Повисла пауза.

Потом она ответила:

- Да. Я вижу. Пожалуйста, подождите, один момент. Мне нужно проверить.

Момент сильно затянулся. Пока я ждал, меня все сильнее охватывала ярость. Наконец, она подошла к телефону.

- Итак, я проверила, вы были правы. Но это не имеет значения. Вам по-прежнему отказано. Вам требуется ждать год для повторной подачи заявления.

Я собирался протестовать дальше, но она уже повесила трубку.

В сентябре 1969 года сенатор Хью Скотт¹ из Пенсильвании, с которым Стелла смогла пообщаться благодаря помощи друзей, написал ей, что в глазах государственных органов я по-прежнему имел двойное гражданство. Если они думали, что это сможет немного охладить Стеллу, лучше бы они подумали дважды. Она попросту еще более усилила свое бомбометание письмами.

Стелла прислала ко мне своего друга, пакистанца. Он находился в Москве в деловой поездке по линии ООН и имел дипломатическую неприкосновенность. Мы встретились с ним в баре отеля, и за нами, конечно же, следили. Я сделал ему знак, что здесь нельзя говорить ни о чем серьезном, и я также понимал, что в случае, если мы проведем довольно длительное время вне отеля, это будет выглядеть скверно. Мы направились к выходу из гостиницы «Россия», словно два закадычных приятеля. В то время как мы спускались по лестнице, я прошептал скороговоркой: «Дайте знать Стелле, что я подаю прошения через обычные каналы, и мне чинят много препятствий. Я буду пытаться. Также пусть делает и она».

Он ответил: «Ей нужен формальный знак от вас, если вы захотите, чтобы она активизировала свои усилия. Она пришлет вам галстук. Если вы сочтете, что время подошло, чтобы устранить все препятствия, напишите ей, что галстук вам нравится. Если вы сочтете, что ей нужно подождать, напишите, что галстук не подходит».

Он махнул мне на прощание газетой, и растворился в темноте улицы. Мы не проговорили и шестидесяти секунд. Органы меня не побеспокоили.

Через месяц я получил яркий цветастый галстук. Я написал Стелле, что просто в восторге от него.

Теперь, благодаря непрекращающейся и интенсифицирующейся кампании со стороны Стеллы, появились признаки того, что давно было омертвевшая государственная машина начала понемногу шевелиться. «Мы пытаемся сдвинуть это дело с мертвой точки», - написал один из госслужащих.

«Отлично», - сказала себе Стелла, и разослала еще больше писем.

¹ Hugh Doggett Scott (1990 - 1994) – американский юрист и политик, представитель штата Пенсильвания в американском Сенате с 1959 по 1977 гг.

Наконец, в декабре 1970 года, свершился прорыв. В письме из Государственного департамента говорилось, что мой случай является уникальным – как Стелла и утверждала с самого начала. Больше никаких разговоров про «одного из многих, имеющих двойное гражданство».

Но Стелла была уже сыта письмами, идущими в обе стороны, и решила лично обратиться к некому высокопоставленному американскому чиновнику. В Вену прибыл посол Джон П. Хьюмз¹, назначенный Никсоном. Так как это было политическим назначением, а не карьерным по дипломатической линии, Хьюмз был менее стеснен в своих действиях, чем кто-либо из тех чиновников, к которым ранее обращалась Стелла. Он принял ее лично, с изумлением выслушал ее рассказ, и, узнав всю мою историю до конца, заявил, что «чрезвычайно возмущен».

«Мы что-нибудь сделаем с этим», - сказал он. Судя по всему, он действительно имел это в виду. Он пообещал Стелле, что будет поднимать этот вопрос на самом высоком уровне. Также он попросил ее держать его в курсе относительно новых подвижек в моем деле. В течение нескольких недель он сообщил ей, что назначил встречу с госсекретарем Вильямом П. Роджерсом², и что он собирается просить Роджерса поднять этот вопрос перед верховными советскими руководителями. Также он просил Стеллу сообщить мне о том, что я должен обратиться за выездной визой на постоянное проживание. Посол Хьюмз был хорошо осведомленным и проницательным дипломатом. Он знал, что для того, чтобы привести в движение советских чиновников, я должен теперь показать всю серьезность своих намерений и действовать дерзко.

Члены «треугольника» в министерстве были ошарашены, когда я сказал им, для чего мне нужна новая характеристика. Они затормозили процесс, конечно, в обычном для бюрократии стиле. Но я звонил им каждую неделю. Они продолжали тянуть. В конце концов, они решили испробовать очень странную стратегию. Меня пригласили на беседу с директором издательства, его фамилия была Маевский.

Он сказал: «Послушайте, никто из нас не может понять, почему вы захотели уехать из Советского Союза. Но так как вы настаиваете, то мы, конечно, выдадим вам характеристику. Все, что вам необходимо, это пройти медкомиссию, чтобы она показала, что вы подходите физически».

Я был настолько готов к тому, чтобы дело снялось с мертвой точки, что даже не спросил, какое отношение к моей характеристике может иметь заключение о том, здоров я или нет. Маевский предложил вызвать свою личную машину, чтобы отвезти меня к доктору. Очень великодушно, как мне показалось. Я принял предложение. А дальше произошло вот что: мы остановились напротив государственной психиатрической лечебницы, что находится рядом с Театром Красной Армии. Интересное место, подумалось мне, для прохождения медицинского обследования.

Я был прав. Меня продержали там в течение трех недель. Все обследование, что я прошел, заключалось в регулярных измерениях давления. Главный психиатр на мой вопрос о том, что за чертовщина тут происходит, просто ответила, что «треугольник» попросил ее продержать меня под наблюдением некоторое время. Мою работу мне доставляли в госпиталь. По большей части он был заполнен диссидентами, а не душевнобольными – теми наивными людьми, кто, к примеру, жаловался на коррумпированный «треугольник». Я начал догадываться, куда это все ведет. Дискредитировать меня через нахождение в психиатрической лечебнице.

Когда я вернулся на работу три недели спустя, я напомнил Маевскому, что я выполнил его условия, и что он обещал мне мою характеристику. Но ставить мне палки в колеса со своей стороны он на этом не прекратил.

¹ John P. Humes – американский посол в Австрии в 1969-1975 гг.

² William P. Rogers (1913-2001) – американский политик, государственный секретарь в 1969-1973 гг.

- Я выдам характеристику немедленно, - сказал он. – Все, что вам нужно сделать теперь, это привести вашу жену для собеседования с треугольником.
- Зачем? – потребовал я от него объяснений. – Она здесь не работает. Вам нет до нее никакого дела. И вы не можете что-либо требовать от нее!

Маевский был очень холоден.

- Вам нужна ваша характеристика или нет?
- Вы даете слово, - ответил я, - что после этого собеседования выдадите мне характеристику?
- Да, даю.

Мы пришли в пять на следующий день. Я поговорил перед этим с Ириной. Она очень вспыльчива, и я знал, что она жаждет увидеть этих мерзавцев, чтобы бросить им в лицо их же собственное дерьмо, поэтому я предупредил, чтобы она постаралась быть с ними сдержанной. «От этого может зависеть все. Ты должна держать себя в руках, Ирина. Ты обязана».

Она глухо и коротко рассмеялась – она так смеется тогда, когда очень зла. Ее прекрасные серые глаза смотрели из-под темных ресниц очень сосредоточенно. «Не волнуйся!» - сказала она.

И она была великолепно.

Я был с ней во время собеседования. В начале они пытались выяснить причины, по которым я хотел уехать в Соединенные Штаты.

«Зачем вы спрашиваете меня? Запросите министерство иностранных дел, и они ответят вам все, что вам полагается знать», - отвечал я, понимая, что у них нет полномочий, чтобы делать такого рода обращения. Они отвязались от меня, и обратились к Ирине.

У членов треугольника все вопросы были заготовлены на листках бумаги. По напряжению мышц в уголках рта Ирины я понимал, что она сдерживается изо всех сил, и что огонь вот-вот готов вырваться наружу, но она не предоставила им такого удовольствия. Когда атмосфера накалилась, и с их стороны посыпались многочисленные вопросы, подразумевающие, что ее желание поехать в такое ужасное место, как Америка, связано с отсутствием стабильности в ее жизни, и когда слышались предположения о том, что ее замечательный советский мальчик закончит гангстером и, вероятно, застрелится – она просто опустила голову и смотрела в пол, отчаянно пытаясь взять свои эмоции под контроль.

Они сказали ей, что с ее стороны было предательством не пытаться отговорить меня от этой затеи с отъездом. Она отвечала им односложно. Они заявили, что миллионы были потрачены на ее образование, и сейчас она, по-сути, крадет эти миллионы у СССР, собираясь уехать в Соединенные Штаты. Она снова опустила голову. Когда я пытался сказать за нее, меня обрывали. Все это продолжалось долгие три часа, и, когда мы, наконец, вышли на улицу, Ирина произнесла: «Если ты мне не купишь прямо сейчас бутылку вина, я сойду с ума».

Мы выпили две.

А затем, спустя удивительно короткий промежуток времени, они выдали мне просто превосходную характеристику. Чудесную характеристику! Меня называли в ней замечательным работником, преданным своему делу шефом пожарной команды, первоклассным переводчиком и редактором, усердным тружеником в своем коллективе, хорошим руководителем.

И – да, конечно. «Неоднократно проходил госпитализацию в клиниках для душевнобольных. Не рекомендован к выезду за пределы Советского Союза».

Все это было выслано в ОВИР – визовое бюро. Ту характеристику я ни разу не видел. Но в министерстве у меня были хорошие друзья, которые ее видели.

Вероятно, мне нужно было молчать, но я не смог. Я разыскал чиновника, который, как я считал, был ответственным за написание характеристики, и встретился с ним лицо к лицу.

- Почему вы солгали! - спросил я. – Почему вы написали, что я неоднократно проходил госпитализацию в клиниках для душевнобольных.

Он отозвал меня в сторонку.

- Послушайте, какое это для вас имеет значение, один раз или несколько. Мы так сформулировали, чтобы просто обезопаситься!

Я обратился в ОВИР. Отказ последовал незамедлительно. «Просто не существует такой вероятности, чтобы Соединенные Штаты выдали вам разрешение на въезд, поэтому, забудьте», - ответили мне.

К этому моменту я представлял собой смесь из ярости и холодного расчета. Иногда, после очередного отказа или очередного примера наглости со стороны высокопоставленных лиц, как в случае с клиникой для душевнобольных, давление у меня буквально зашкаливало – выходя за пределы измерительной шкалы. В другое время я был настроен философски, принимая как данность, что все это потребует времени, будучи уверенным, что с помощью Стеллы все в результате закончится хорошо. Мы с Ириной решили взять отпуск. В августе мы положили вещи в машину, взяли с собой Андрея и отправились к Черному морю.

2 сентября 1971 года. Мы вернулись к себе в квартиру, отдохнувшими, в хорошем расположении духа, снова готовыми к прохождению через всю эту бюрократическую волокиту. В почтовом ящике мы обнаружили чудесное послание. Письмо из посольства Соединенных Штатов Америки в Москве. Они хотели меня видеть – в связи с моим отъездом из Советского Союза. Советское Министерство иностранных дел проинформировало их, что «соответствующие службы не будут препятствовать моему визиту в посольство».

Также в письме имелась копия на русском языке, которую мне нужно было показать охране у ворот посольства.

Мне это было неизвестно – но к этому времени мой вопрос рассматривался уже на очень высоком уровне. Вскоре я напрямую узнал об этом, что заставило меня поволноваться. Но в то время, как мне и полагалось сделать, я позвонил человеку, подписавшему письмо из посольства, Питеру Свиерсу¹, консулу, и назначил встречу. Он сказал мне, что встретит меня у ворот. Хорошо, что он так и сделал. Они не хотели меня впускать. Три сотрудника КГБ в форме милиционеров преградили мне путь. Они отказались смотреть на письмо. Но их старший, определенно, получил предварительно мою фотографию для изучения, потому что он очень внимательно всматривался в мое лицо.

- Откуда вы? – наконец, произнес он.

- Оттуда, - я показал рукой на посольство.

Он повернулся и посмотрел на Свиерса, стоящего внутри. Свиерс кивнул. Затем кгбшник кивнул в мою сторону. «Пропустить», - сказал он.

Меня охватило чудесное чувство от пребывания внутри. Воздух был полон надежд. Свиерс оказался чрезвычайно любезным молодым человеком. Прежде, чем я успел что-либо сказать, он извинился, и написал на листке бумаги: «Не говорите здесь. Жучки. Безопасно только в кабинете посла».

¹ Peter Swiers

Он приступил к формальностям по оформлению паспорта. Затем, когда рутинная бумажная работа была завершена, мы отправились в кабинет к послу Биму¹, где между нами состоялся длинный дружеский разговор. Когда я вышел оттуда, на руках у меня был документ «для предъявления по месту требования», удостоверяющий, что Соединенные Штаты готовятся выпустить въездные визы для меня и моей семьи. Этот лист бумаги был для меня словно слиток чистого золота.

Вскоре после этого до меня дошли известия о том, что мой случай рассматривается на самом высшем уровне. Произошло это таким образом, что меня бросило в холодный пот. Зазвонил телефон. Это была Стелла, из Вены! Я почувствовал, как мое давление зашкалило. Я знал, что мой телефон прослушивается, и теперь, когда мы были так близки к успеху, я не мог предположить, зачем Стелла подвергает малейшему риску весь тот процесс, который, наконец, пришел в движение – пусть это движение и было медленным. Но Стелла прекрасно знала, что делает. Посол Хьюмз разговаривал с ней об этом. Она сказала, очень отчетливо, произнося слова по-русски:

- Алекс, дорогой, я хочу, чтобы ты знал – твой вопрос сейчас рассматривается на самом высшем уровне, двумя сторонами!

Я почти выронил телефон. Как она может делать такое со мной? Я закричал:

- Стелла, Стелла! Что ты говоришь!

- Тебе не о чем волноваться, - отвечала она спокойно. – Секретарь Роджерс провел личные переговоры относительно тебя с мистером Громыко². Ты понимаешь это?

Я не мог ответить. С широко раскрытым ртом я уставился на Ирину, стоявшую в противоположном углу нашей маленькой квартиры. Внезапно я отчетливо понял, что делает Стелла.

- Алекс, Алекс? – звала она меня.

- Я слушаю, Стелла. Клянусь, я слушаю!

- Хорошо, тогда я снова это повторю. Государственный секретарь Роджерс, государственный секретарь Соединенных Штатов...

- Да, да! Я слышу тебя!

- Лично обсудил твой вопрос с мистером ГРО-МЫ-КО!

Повисла пауза.

- Также он провел переговоры о тебе с послом Добрыниным³. По его мнению, все эти переговоры дают ему хорошее основание считать, что результат будет положительным. Это понятно, дорогой?

Это было отлично понятно, чудесно понятно. Если у кого-то из сотрудников КГБ, прослушивающих мой телефон, теперь появились бы какие-то сомнения, то они бы отныне никогда ничего не сделали, не сверившись очень тщательно с мнением на самом верху. Стелла бы никогда мне не сказала ничего подобного, если бы все это не было правдой. И когда сотрудники КГБ, следящие за мной, получают подтверждение всего этого, они будут с этого момента чрезвычайно со мной осторожны.

¹ Jacob Duneley Veam (1908-1993) – американский посол в СССР в 1969-1973 гг.

² Громыко, Андрей Андреевич (1909-1989) – в то время – министр иностранных дел СССР (1957-1985 гг.)

³ Анатолий Фёдорович Добрынин (1919-2010) - советский дипломат, посол в США с 1962 по 1986 гг.

Сердце выпрыгивало у меня из груди. Я чувствовал головокружение. Я едва мог говорить с Ириной. Мы взяли Андрея и отправились на долгую прогулку. Когда я был уверен, что любой возможный хвост остался далеко позади, я рассказал ей, что, по моему мнению, происходило. Ее глаза вспыхнули серым огнем.

Когда я вновь обратился за нашей визой, то теперь ОВИР потребовал каждого из нас внести депозит в размере 10 процентов от общей суммы в 800 новых рублей. В течение недели по почте пришла карточка – там говорилось, что визы были готовы. Письмо из американского посольства и переговоры на высшем уровне, судя по всему, уладили дело. Я мысленно поблагодарил Вильяма П. Роджерса – это была почти что молитва.

Но издевательства надо мной вовсе не подошли к концу. Они продолжились вплоть до самого конца.

Например: для получения временных советских паспортов, которые нам необходимо было иметь в дополнение к нашим визам, нам требовалось сдать все свои документы и получить свидетельство о том, что они сданы. Когда я отправился сдавать свой военный билет («Рядовой, не прошел подготовку. Окончил акушерскую школу» и т.д.), мне сказали, что выдать мне справку они не могут, пока я не покажу им свой паспорт.

- Но я не получу паспорта до тех пор, пока не принесу доказательство, что сдал военный билет!

- Извините, товарищ. Таковы правила.

- Дайте мне поговорить с майором.

Вышел майор. Я пригласил его, очень уверенно, пройти в сторону, где мы сможем поговорить конфиденциально. Я сказал: «Майор, я думаю, вы понимаете. Я направляюсь за рубеж, в Соединенные Штаты, на самом деле, на, хмм...»

Я оглянулся украдкой, чтобы убедиться, что никто не слушает.

«Хмм... По очень важному делу. Думаю, вы меня понимаете?»

Майор тут же откликнулся на мой заговорщицкий тон. Ему это льстило. Он понизил голос и произнес: «Конечно, товарищ. Что мы можем для вас сделать?»

Я сказал: «Ну, вот этот человек сказал мне, что не может выдать мне справку за возврат военного билета. И я не очень понимаю, как смогу объяснить в Министерстве Иностранных Дел, что военные чинят препятствия на пути данной миссии. Это может закончиться... Ну, я уверен, что вы понимаете необходимость держать все это... хмм... Вы понимаете?»

Майор был чудесен. «Ни о чем не волнуйтесь, товарищ. Я распишусь за ваш билет под свою личную ответственность».

И он так и сделал.

Когда я отправился в посольство Соединенных Штатов с советскими паспортами, чтобы официально подтвердить нашу готовность к выезду, «милиционеры» из КГБ у ворот попытались отвести меня в сторону и запереть в своей будке – и они бы так и сделали, если бы Свиерс не накричал на них и не вцепился одному из них в рукав. Они были ужасно напуганы этой сценой.

Тем временем в Вене – что мне было, конечно, совершенно неизвестно – терпение у Стеллы практически закончилось. Она просто не могла поверить в то, что после вмешательства Роджерса возможны еще какие-то задержки. Она разработала хитроумный план моего «похищения» и собиралась приехать в Москву, одеть меня и членов моей семьи в современную американскую одежду, чтобы мы выглядели, как американцы, и затем отвезти к посольству, где бы она показала свой паспорт и потребовала приема. И затем – в случае, если бы нам препятствовали – на противоположной стороне улицы стоял бы фотокорреспондент, готовый сделать фотографии свалки, или нашего ареста, или всего, что бы ни происходило, а рядом бы находились трое корреспондентов ведущих западных изданий, готовые придать огласке всю эту историю – в том случае, если бы нас

немедленно не освободили. Если бы нас пропустили внутрь, то мы бы немедленно попросили убежища. Это был дерзкий, сумасшедший, чудесный план – полностью в стиле Стеллы. Но когда она предупредила посла Хьюмза, что готовится к тому, чтобы «действовать самостоятельно», он упрямил ее не «саботировать то, что уже проводится», и, наконец, убедил ее в том, что развязка уже очень близка.

Так и было. Я отвел свою семью в посольство в начале декабря, чтобы получить свой американский паспорт. На самом деле, его держали в посольстве для меня до самого конца в целях безопасности. Питер Свиерс провел нас к кассе, чтобы купить билеты до Вены – мы должны были лететь туда авиакомпанией Air Austria – а также билеты из Австрии на рейс Pan Am до Нью-Йорка. Рейс Air Austria был выбран по той причине, что ранее было слишком много случаев, когда кто-то с выездной визой отправлялся рейсом «Аэрофлота», и самолет затем делал внеплановую посадку в Ленинграде, а потом будущего возможного эмигранта уже никогда не видели.

Минуло 13 декабря – прошло двадцать три года с тех пор, как я отправился на ту короткую прогулку вдоль по улице Горького, и часы на здании центрального телеграфа в моей памяти навсегда остановились на десяти минутах второго. Сон для меня был почти невозможен. Мы уже поцеловали на прощание всех своих друзей – круговорот лиц, море обещаний. Отдали холодильник; книги, письма и фотографии – матери Ирины; отдали мою гитару, на которой я не играл так много лет. И, наконец, квартира на Сиреневом бульваре была освобождена от всего, что было связано со мной, и ее дверь закрылась в последний раз. 21-е декабря 1971 года. Питер Свиерс отвез нас в аэропорт. Но цепкие убудки и тут еще не перестали чинить нам препятствия.

Сотрудник КГБ на паспортном контроле взглянул на наши визы.

- Нет, они не в порядке, - твердо заявил он, и указал нам на небольшую комнатку для допросов в аэропорту. – Вам придется пройти сюда, - заявил он тоном, не терпящим возражений. – Пустяки, я уверен. Всего пять минут. Не волнуйтесь.

Не волнуйтесь! Я уже слышал это раньше. Меня почти парализовало. Я в панике посмотрел на Свиерса. Свиерс прекрасно знал, что делать. Он перепрыгнул через ограждение, словно олимпийский атлет, и принялся кричать на кгбшника.

- Что не так с этими документами! – кричал он. – Я представитель правительства Соединенных Штатов, и я требую, чтобы вы ответили мне, ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ НЕ ТАК С ЭТИМИ ДОКУМЕНТАМИ!

- Пожалуйста, пожалуйста! – кгбшник упрашивал громким шепотом. – Пожалуйста, говорите тише!

- Я НЕ БУДУ ГОВОРИТЬ ТИШЕ, ПОКА ВЫ НЕ ОБЪЯСНИТЕ!

Кгбшник покраснел от испуга.

- Взгляните, взгляните, - прошептал он, запинаясь, - у нее виза не такая, как у него.

- Конечно, они разные! – ревел Свиерс, только немногим менее раздраженно. – Она – советская гражданка, а он – американец. Конечно, у них разные документы. Читайте их!

Кгбшник был совершенно запуган. «Конечно, конечно, - произнес он мягко. – Да, конечно, конечно». И махнул нам проходить.

Я с трудом что-то видел. После всех пережитых ужасов, после всего этого долгого времени в тот момент, кажется, моя судьба более всего висела на волоске. Все было словно в тумане. Размытые приятные и доброжелательные лица девушек,двигающиеся вокруг нас в самолете, предлагающие еду, напитки и кофе, бегло говорящие по-русски и

по-английски, с немецким акцентом. Размытая взлетная полоса, уходящая прочь.

Размытые крыши домов. Удаляющаяся земля.

Дороги, ведущие прочь от Москвы. Те самые дороги, по которым я так долго «шел» в коридорах Лефортово, в камере Сухановки – дороги к свободе, теперь размытые, слишком далекие, чтобы четко их распознать, дороги к свободе – покрытые белым снегом, окруженные темными массивами лесов, и непривычный гул и вой реактивных двигателей, и добрые руки, приносящие напитки и кофе, и Ирина – слезы в ее глазах, тихонько напевающая что-то про себя, чтобы приободриться, в надежде, что после всего произошедшего самолет все же не рухнет.

Международный аэропорт Швехат¹, Вена. Стелла, ее муж. Слезы и смех. Море улыбающихся, теплых, странных лиц. Сильная, гостеприимная рука Джона П. Хьюмза. Широкая улыбка. Теплый прием.

Рождество на свободе, с моей неутомимой сестрой, в Вене, в городе музыки.

Удивительная, неисчерпаемая любезность посла Хьюмза, который даже оплатил наше пребывание в Вене и Нью-Йорке – до нашего обустройства – и лично распорядился заменить наши билеты в туристическом классе на первый класс. Дипломат, не согласившийся с тем, что я – «один из многих». Человек, благодаря которому все это свершилось.

А потом настал тот восхитительный день в январе, когда мы взошли на борт Боинга 707, американского самолета, несущего на своем фюзеляже большой синий глобус с надписью Pan Am², который я никогда прежде не видел.

На носу самолета выведено краской его имя: «Большие Надежды».

Океан под нами. Океан, по дну которого я шагал в своем воображении, прокладывая себе путь в сторону своего дома, в Америку. Как давно это было? Где я в точности был в то время, когда в своем воображении оставил испанское побережье, и вошел в море, и ушел под волны, продолжая шагать на запад? Сколько еще сегодня шагов? Пять тысяч триста? Сколько это в километрах? Заставляя себя думать, Алекс! Произведи вычисления. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-Choo?³

Ирина внезапно сжимает мне руку и показывает вдаль. Там, на горизонте, из облаков, вырастают знакомые очертания города – самые знакомые из тех, что есть в моей памяти, хотя прошло уже тридцать восемь лет с тех пор, как они пропали из вида за бортом корабля, названия которого я не могу припомнить.

Международный аэропорт Джона Фицджеральда Кеннеди. Кругом все говорят по-английски! А вот все мои двоюродные сестры. Тесси, любимая сестра моей матери! Я вижу их лица размытыми. Перед тем, как мы сядем в машину, я оглянусь назад, и посмотрю на небо, в сторону востока. Там тоже остались лица. Дорогие мне лица. Если бы они могли разделить со мной все это...

Георг Тэнно, прежде всего.

Мать. Отец.

Павел Воронкин и Виктор С, и Галя, и Адарич, и добрый «Нерусский». Зоя Тумилович. Аркадий.

Гертруда.

Арвид Ациньш. Который сказал мне в последний раз, когда я его видел: «Что бы ты не делал, напиши о нас. Расскажи миру о нас. Люди должны знать».

Я обещал, что сделаю это.

Конец.

¹ Schwechat - Вена-Швехат (нем. Flughafen Wien-Schwechat) или Венский международный аэропорт.

² Pan American World Airways или Pan Am — одна из крупнейших авиакомпаний в истории США. Была основана в 1927 году как «Pan American Airways», прекратила существование в 1991 году.

³ Строка из песни к фильму "Серенада солнечной долины"